

Т.В.Петкевич



Жизнь —
сапожок
непарный



Т. В. Петкевич

*Жизнь –
сапожок
непарный*

ВОСПОМИНАНИЯ

АСТРА-ЛЮКС. АТОКСО

Санкт-Петербург
1993

Издание книги оказалось возможным благодаря финансовому вкладу друзей автора: Эндрю ШАРПА (Австралия), директора Ленинградского областного научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Л. П. ШАХНОВОЙ, В. БЕЛЯЕВА (Латвия) и других, проживающих в России и Соединенных Штатах Америки.

Редактор *М. Госкина*

Художник *И. Архипов*

ОТ АВТОРА

Эта книга могла возникнуть только потому, что во мне жила не отменяемая потребность вернуть в жизнь хотя бы некоторые имена, обстоятельства прежних лет и судьбы ушедших людей. Эти люди мучились, страдали и погибли, не реализовав своих богатейших возможностей. Их мужество, человечность, их дружба сформировали и спасли меня. Спасли тогда, когда спасение казалось невозможным. Моя благодарность им предела не имеет.

Если эта повесть затронет души тех, кто найдет в себе желание пройти вместе с нами по этапам отчаяния и надежд, я буду полностью вознаграждена.

Хочу всем сердцем поблагодарить всех, кто поддержал меня своей глубокой личной взволнованностью и широтой, верой в меня и словами одобрения после создания этой книги. Особенно благодарю В. А. Галицкого, А. В. Тмарченко, Г. Е. Тмарченко, В. Б. Яровую, К. Л. Рудницкого, С. В. Дружинину, К. Е. Теворовскую.

Петкевич Т. В.

ГЛАВА I

...И никакого розового детства...

Анна Ахматова

Начало двадцатых. Петроград.

Вокруг многое доламывалось. Многое только начинало быть. Революция, гражданская война,— все, что произошло с устоями общества и убеждениями людей,— все это пришлось на пору молодости моих родителей.

Отец и мать встретились на фронте во время гражданской войны. Мать — Ефросинья Федоровна — русская, тогда только-только окончила гимназию. Как и многие ее сверстницы, уверовав в революцию, ушла на фронт, где ее определили машинисткой при штабе дивизии, комиссаром которой был мой отец.

Отец — Владислав Иосифович — поляк, родился в Риге. Незадолго до первой мировой войны подошел возраст призыва, его взяли в армию. Там, по-видимому, и сформировались его взгляды. Во всяком случае, его приход в революцию был шагом вполне обдуманным. В 1918 году отец стал членом РКП(б).

На его фотографии, подаренной маме и помеченной февралем 1919 года, написано: «...вспоминай Вилейку, Мозырь, Гомель, Бобруйск...» Очевидно, это пункты перемещения их дивизии. Как они потом попали в плен к Петлюре, не знаю. Нелюбопытная к жизни родителей юность уточнить эти обстоятельства не удосужилась. Запомнила только, что оба были приговорены к расстрелу, но весной, «в валенках», бежали из плена. Знаю также, что на фронте отец был тяжело контужен.

Родители поженились после войны. Я родилась в 1920-м. В том же году они переехали в Петроград и поселились в довольно занятом доме.

На Петроградской стороне эмир бухарский с помощью комиссионеров построил в начале века несколько доходных домов. Квартиры были дорогие. Снимала их публика состоятельная: крупные инженеры, врачи, чиновники. В 1918—1920 годах многие из них бежали за границу. Бежали, видимо, поспешно, успев захватить лишь драгоценности, одежду. Мебель, посуда, утварь остались. Старой закалки дворники запирали эти квартиры. Держали все в целости и сохранности на случай, если хозяева вернутся.

Создавая в те годы кооперативные товарищества, советская власть дома обобществила. Став членом кооператива, мой отец занял квартиру в одном из «эмирских» домов на набережной реки Карповки, 30.

Украшенный колоннами дом имел башню; лепные орлы, химеры и возлежащие на постаментах у подъезда львы должны были, по всей видимости, охранять его от злых сил.

Квартира была с балконами. Казалось, они покоились на сильных, мускулистых руках трех атлантов, которые, наклонив головы, глядели на прохожих пустыми известковыми очами, но при артиллерийских обстрелах города в 1942 году атланты рухнули, балконы же уцелели.

Транспорта в этом уголке города не было никакого. Глядя в окно, за час можно было насчитать пять, от силы девять прохожих. Вода в речке Карповке стояла мутная и сонная. Вдоль берегов тянулись покосившиеся деревянные перила. Береговые откосы, поросшие лопухами громадных размеров, одуванчиками, белой и красной кашкой, были замусорены битыми стеклами и кирпичом. Правда, спустившись по берегу вниз, сачком можно было ловить замечательной красоты стрекоз и бабочек.

Напротив дома, на другом берегу Карповки, возле монастыря, обращаясь к замурованным там мощам Иоанна Кронштадтского, стоя на коленях, молились приходившие туда верующие, куда-то спешили монашки.

На Каменноостровском проспекте, пересекавшем Карповку, самое людное место было у пивной, в витрине которой в небольшой тарелочке лежали муляжные красные раки, обложенные зеленым горошком. С клубами теплого воздуха в стужу оттуда выскакивали пошатывавшиеся мужчины. Едва начинало смеркаться, на тротуаре напротив питейного заведения располагался старик скрипач, наигрывавший одну и ту же мелодию. Мелодия была печальна. Старик — беден и стар. Мама давала монетку, я бросала ее на облезлую бархатную подкладку футляра и, уходя, оборачивалась, чтобы посмотреть, кинет ли кто-нибудь еще.

Грудой камней лежал бывший скетинг-ринк, где раньше, как объяснила мама, нарядные люди катались на роликах. (Ныне на этом месте возведен Дворец культуры имени Ленсовета.) Мусора и хлама доставало и здесь.

Наводнение 1924 года усугубило разор. Мы возвращались с дачи. Стоя коленками на сиденье трамвая, я смотрела на вывороченные пашки торцовой мостовой.

— Это ремонт? — спросила я маму.

— Нет, детка, наводнение. Здесь все было затоплено водой, и деревянные торцы всплыли.

На фасаде нашего дома после этого события появилась белая черта с надписью: «Уровень воды при наводнении 1924 года». Вместе с другими девочками я «примерялась». Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья-реликвия: на ней в наводнение папа приплыл домой.

В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромной — из шести комнат. Круглый зал с нишами, столовая, папин кабинет, гостиная, детская... При кухне еще комната — седьмая, для прислуги. Меня, вероятно, нередко оставляли дома одну, потому что помню, как в загустевшей тишине я бродила по всем комнатам.

Папин кабинет был самым таинственным. С резных дубовых спинок и подлокотников кресел, с ящиков письменного стола свисали морды деревянных львов, их пасти были раскрыты. Я с опаской совала туда свой палец. Нет, не кусались.

Стены полупустого зала украшали два расфранченных бронзой зеркала в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиками пальцев по их стенкам, хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был в столовой серебряный звончок. Он висел над столом чуть ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Этим звончком оповещали прислугу во время обеда: можно подать второе, третье... Звончок не был лишним, потому что прислуга у нас тоже была.

Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас? Мои родители этого не знали.... Что было в квартире наше, что нет, осталось неизвестным мне...

В просторных апартаментах в начале двадцатых мы жили здесь вчетвером: мама, папа, наша домработница и я.

У красивой и женственной мамы был мягкий характер. Она не работала. На ее попечении находились весь дом и я.

Отец — натура сильная и страстная — был поглощен идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, в те годы отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало.

В воскресные дни к нам приходили гости, преимущественно фронтные друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили завоеванное им на фронте уважение. К нему и в последующие годы чаще обращались не по имени и отчеству, а: «Комиссар, объясни. Как полагаешь, комиссар?»

Гости рассаживались в папином кабинете, вспоминали былое, спорили, курили.

С особым вниманием я слушала папин рассказ о том, как, едва они однажды с бойцами расположились на привал, разоггли костер и сварили кашу, откуда-то появилась оборванная девочка лет десяти. Завороженно глядя, как бойцы управляют с едой, она стала быстро и упрямо повторять не сразу понятное: «Я б ни йила б, я б ни йила б! (Не ела бы — то есть)». И когда ей наконец протянули миску с кашей, мигом заглотнула ее.

Из разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей скоро совсем не будет, все будут жить одинаково хорошо; дома будут строиться по-новому: привезут много земли, на крышах домов

посадят цветы и деревья, соорудят бассейны. Хозяевам не нужно будет готовить обеды — за них это сделают фабрики-кухни. Но самым замечательным из всего должны будут стать детские сады.... В кадках — пышные растения, везде зелень и еще аквариумы, в которых будут плавать диковинные рыбки.... Дети сыты и одеты. Родители за них спокойны, свободны и потому после работы каждый вечер ходят в кино. Кино, разумеется, бесплатное.

Наша квартира одно время превратилась просто-таки в «показательную».

— Приехали немецкие коммунисты. Завтра придут к нам, — говорил маме отец.

Или:

— Приехала болгарская делегация. Будут у нас... В воскресенье надо принять испанских товарищей...

И они приходили с переводчиком. Хорошо одетые, степенные люди осматривали квартиру, обедали, задавали вопросы.

Для первых лет советской власти наша жизнь так, вероятно, и выглядела: сообразной, более чем представительной. Меня эта сторона дела никак, понятно, не занимала. Мое внимание целиком было поглощено внутрисемейными раздорами, о которых никто из окружающих, кажется, не подозревал. Родители ссорились между собой. Ссорились без крика, правда не без повышенных тонов. Но затаенные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. Примостившись на корточках за узорчатыми чугунными креплениями балконов, я следила за родителями, прохаживавшимися вдоль Карповки, одержимая единственным желанием, чтобы они помирились.

Не исключено, что, помимо сугубо личных, терзавших моих родителей проблем, одной из причин разногласий был и вопрос моего воспитания. Я не раз слышала неуступчивое папино «нет!». В рождественские дни, скажем, дворник приносил елку. Мама принималась ее наряжать. Застав ее за этим занятием, папа чеканил:

— Я как коммунист не могу разрешить, чтобы в доме была елка!

— Но ребенку это нужно, — возражала мама.

— Пусть растет без елочек и свечечек!

В столовой продолжала стоять никому уже не нужная елка. Вместе с ней в душе поселялось чувство боязни отца.

Что-то похожее возникло и по приезде одной из бабушек. У меня их было две. Мать отца, бабушка Урсула, жила в Риге, по тогдашним понятиям — за границей. Мамина же мать умерла чуть ли не при родах. Воспитавшую ее тетю мама называла мамой, а я бабушкой Дарьей.

Именно с приездом бабушки Дарьи в мою жизнь вошли тепло, прибаутки, говор с милой белорусской прибавкой «ти»: «Ти пойдешь ты, ти нет?» С необычайной жадностью я впитывала бабушкины сказки про соперничество старого принца Алмаза и юного принца Колокольчика, про кисельные берега и молочные реки, про Золушку,

и непритязательным этим сказкам в известном смысле суждено было сыграть спасительную роль.

Бабушка Дарья быстро научила меня играть в «дурачка» и так же быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал.

— Не смей водить ребенка в церковь! — разъярился папа.

Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора:

— Без Бога-то нельзя. Ходить все равно будем, да только потихонечку.

«Потихонечку» — усекли. Бабушка уехала. А я начинала понимать, что означает: «У папы трудный характер».

«Стоило мне где-нибудь задержаться на станции, — рассказывала мама своей подруге об их военном прошлом, — как он, никому не разрешая меня позвать, отправлял эшелон. Сломая голову догоняла состав. Получала нагоняй, да еще какой! От придирок и замечаний не было спасения...»

Мама признавалась своей приятельнице, как отчаянно боялась крутого комиссара и как была обескуражена, когда он внезапно объяснился ей в любви.

Разделяя мамину боязнь и остро ей сопереживая, я в то же время чувствовала себя заинтригованной трудным характером папы. «Ему самому, наверное, трудно», — рассуждала я, исподтишка наблюдая за ним. И бурно радовалась, когда в нашем доме случались сюрпризные воскресенья. Утром из кухни доносился вкусный запах. Папа пек булочки. Они получались пышные и ароматные. Папа преобразался, становился неузнаваемым. Поддразнивал меня, шутил с мамой. Мама в такие дни сияла. И я страстно хотела, чтобы так было всегда.

Когда из Риги приехала бабушка Урсула, папа-сын, бережно и любовно ухаживавший за своей матерью, тоже мне очень нравился.

Навестившая нас «заграничная» бабушка только теперь познакомилась с мамой. Восхищалась ею. В белоснежной с вышивкой блузке, плиссированной юбке, мама была очень хороша. Знакомые ее называли Венерой Милосской. Они с папой были красивой парой. Папа тогда носил темно-синюю толстовку с бантиком. Вместе с благообразной бабушкой, по настоянию отца, всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография В. И. Германа.

В Риге оставались сестры отца и младший брат. Я с удовольствием повторяла их имена вслух: Иогася, Леокадия, Виктория, Исидор. Там же жила моя кузина Бенита. Позже родились еще две двоюродные сестры — Вероника и Бригита. Папа переписывался со своими рижанами.

Если я оказывалась в состоянии почувствовать, как папа любит приехавшую бабушку и маму, несмотря на то, что часто с ней ссорится, то понять, как он относится ко мне, было не под силу.

Мечтая о детском благоденствии, о великолепии детских садов будущего, мои родители весьма своеобразно занимались мною. Хорошо одевали. Помню красивые банты для волос, белое с голубыми розами платье, подаренное ко дню рождения. Чтобы я была под

надзором, однажды в доме появилась даже бонна. Ярче, чем она сама, запечатлелась мебель, с которой она водворилась в детской: софа, туалетный столик, ширма, обитая кремовым штофом, на котором были вытканы экзотические цветы и попугаи.

Бонна, правда, не задержалась. Ее сменила очередная домработница, а в общем я была предоставлена сама себе. Мало что понимая про окружающее, совсем ничего — про себя, я познавала мир самостоятельно, дичком. Чувствуя себя отстраненной от непонятной, раскаленной жизни родителей, я даже не всегда решалась что-то у них переспросить.

— Принеси несколько газет! — кричала мама из другой комнаты.

— Сколько — «несколько»? — спрашивала я.

Мама сердилась:

— Упрямая девчонка!

Я знала: один, два, десять. Так и не поняв, сколько это «несколько», тащила маме все газеты, какие были.

Папа рассказывал: «Стою в трамвае на площадке..»

«Но ведь площадка — это место за домом, где играют дети. При чем же здесь трамвай?» — недоумевала я. Вопросы, однако, не задавала.

— Кто потерял двадцать копеек? — спросила, откопав однажды во дворе из-под снега двугривенный.

— Я! Мои! — бросилась дочка дворничихи Гриппа.

— На.

— Вот дура какая, — отозвалась наша домработница на мой выкрик.

«Почему дура? — силилась я понять. — А-а, значит, Гриппа сказала неправду».

Неумолимее было другое.

Добросовестно пытаюсь вспомнить, за что меня наказывали, — и не могу. Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом. Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире? На улице разбивала коленки? Было! Не слушалась? Наверное. Что-то, разумеется, в причины возводилось. В спальне родителей на спинке их никелированной кровати висела кожаная, сплетенная в косу, плетка. Плетка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала ее, она была совсем не страшной. Но когда папа ею хлестал меня... О-о!

Как-то всегда неожиданно отец брал ее в руки и принимался меня бичевать. Делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распалили его.

— Папочка, миленький... не надо... папочка, миленький, я больше не буду! — кричала я, извиваясь в тисках его рук и ног. — Папочка, не бей меня, не бей меня, пожалуйста!..

Но «папочка» угрюмо продолжал меня полосовать. Я начинала сама слышать, как визжу, до побеления закатываясь в плаче. Крик и визг будто отделялись от меня и повисали где-то рядом. А отец стегал и стегал по плечам, по спине и ниже, по ногам и рукам.

От порки к порке я училась больше терпеть, меньше кричать и без прежней готовности просить прощения. И впрямь становилась «упрямой девчонкой», хотя по-прежнему слепо боялась отца.

Если я после очередной экзекуции не выпрашивала прощения, меня ставили еще и в угол. Вечер переходил в ночь, родители ложились спать, гасили свет. Сухо и пусто было в душе, слезы и всхлипы глохли, умолкали уличные звуки. Говорить «папочка, прости» — не хочу. Мир плохой и жестокий. Воображение раздваивалось. Темноту в углу у шкафа начинало заливать сверкание. Всплывал в сиянии серебра замок принца Алмаза из сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись взаправдашние мыши, били двенадцать настоящие часы и... Золушка, сбегая с бала, теряла свой хрустальный башмачок...

Мама не выдерживала, вскакивала с постели:

— Иди, детка, попроси у папы прощения — и пойдешь спать.

Буднично и тускло я все-таки говорила: «Папочка, прости», меня отпускали, и я проваливалась в сон.

Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многоугольной буквы «Ж», переключенной с «Ф». Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то затем опадал, будто у него внутри были легкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я силилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятении. Кто знает, может, так являлся мне знак Судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать.

Были и бессонные ночные часы. Иногда мне снилось, что мама умерла. Я в страхе вскакивала, на цыпочках подбегала к спальне родителей послушать, дышит ли мама, но после этого долго не могла уснуть. На улице под окном раскачивался фонарь. То треснет паркет, то скрипнет вдруг дверца шкафа... С пустырей доносились пугающие звуки ноющего и лязгавшего на ветру железа, заржавевших и полуоторванных дверей погребов и складов... Нет, я не боялась, но мне было одиноко, и ночью острее, чем днем, я чувствовала, что никому не нужна.

Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Д. Отец — врач, мать — биолог и двое детей — мои ровесники — Леля и Вова. Иногда брат и сестра приходили играть ко мне. Им нравился наш аристон, отличавшийся от граммофона тем, что пластинки были из прочного лакированного картона. Чаще же отпрашивалась я:

— Мамочка, можно, я пойду к Вове и Леле?

— Не больше чем на час, — отвечала мама.

В квартире Д. было не много мебели. До блеска натерт паркет, весь день открыты форточки. На письменном столе их мамы микроскоп. Но меня больше всего манила к себе трапедия. Она висела в дверном проеме между двумя комнатами. Поочередно мы учились на ней выжиматься на руках, что было достаточно трудно. Я часто падала, но, перемогая боль, не сдавалась, чтобы не отстать от Вовы.

У меня был повышенный интерес ко всему, что происходило в этом доме. Когда родители Вовы и Лели приходили с работы и все

усаживались ужинать, отец спрашивал: «Ну-у, рассказывайте, как у вас прошел день». Связывая в цепочку значительные и малые события дня, дети отвечали. Я вся обращалась в слух, с удивлением отмечая, что взрослым интересно все детское.

— Тетя Мария, за что меня отец не любил? — отважилась я спросить свою родственницу, будучи уже взрослым и много пережившим человеком.

— Как это не любил? — устала она на меня. — Отец очень даже тебя любил.

Тогда что же? Я была не похожа на гордую девочку его суровых дней, повторяющую: «Я б ни йила б» вместо «Есть хочу»? Я с детства слышала от друзей родителей: «Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет!» Чувствовала и сама: папа был вовсе не злым человеком. И вряд ли разгадка тому, почему он без пощады порол несмышленную еще девочку, кроется в чем-то однозначном. Возможно, то были издержки фронтовой контузии. А может, таким образом избывалась скопившаяся за годы гражданской войны жестокость. Никто мне этого сейчас уже не объяснит, а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном: я была несвоевременным ребенком.

У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта. Само это слово вселяло в меня тайный ужас. Как вкопанная останавливалась я, когда из дома напротив выводили парами детей, одетых в серое. Непростеганные серые сатиновые ватники вместо пальто, серые суконные шапки. Смирным строем шли они в баню или на прогулку. Осенью возвращались из леса с одиноким листиком клена, зимой — с еловыми ветками в руках. Про приютских детей говорили: сироты. Предела мой страх достиг тогда, когда однажды меня наказала мама.

Чтобы вынуть чашку из буфета, надо придвинуть стул, забраться на него и только тогда достать ее из верхней половины. Но гораздо быстрее пойдет дело, если встать одной ногой на ключ, который торчит в нижней дверце буфета, — тогда можно дотянуться до чашки мигом. Так я все и свершаю. Ключ подо мной ломается, я лечу на пол, чашка разбивается. Мама входит в комнату, все это видит и...

— Ты что безобразничаешь? — кричит она. — Сейчас же вон из дома! Одевайся — и марш в приют!

Я не смею верить тому, что слышу.

— Вон, в приют! — не унимается мама, подводит к буфету, отрезает краюху хлеба и протягивает мне. — Это тебе на первый случай. Одевайся и уходи к приютским! — Рука ее властно указывает на дверь.

Меня начинает трясти дрожь. Я уже не плачу, я, кажется, вою. Разумеется, никто меня никуда не выгнал. Но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее

меня затем не один десяток лет, берет начало где-то здесь. Я, шестилетняя, тогда не умела понять, где кончается мама и начинается женщина со своими горестями и несчастьями, которых было предостаточно.

Добрым событием детской жизни стало мамино решение отдать меня в «группу» к француженке. «Француженкой» была русская, Екатерина Ивановна, — жена царского генерала Баланина, перешедшего во время гражданской войны на сторону советской власти. Одна из комнат их квартиры, в которую меня допускали, особенно живо запечатлелась в памяти. Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с эполетами. Солнышко ютилось в мяготи кресел, скользило по овальным и круглым полированным рамам. Было заповедно тихо. Молчаливый старик с пышными усами — сам генерал Баланин, — сидя в одном из зачехленных кресел, читал.

Екатерина Ивановна, седая, с высокой прической, одетая в шерстяную бордовую кофточку и длинную черную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, десять-одиннадцать детей, учились писать, считать, клеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, называемой «раффи», сооружали шкатулки и коробочки. Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом восстала школа (за реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению).

В рождественские дни елка здесь устраивалась обязательно. Собирались и дети, и родители.

В инсценировке басни Крылова «Мышь и Крыса» я в «группе» сыграла свою первую роль. Никто не мог понять, отчего, разучив текст Мыши, я не захотела надевать сшитый для этого персонажа серый балахон. Сама же я не решалась признаться, что он напоминает мне уютное пальто и поэтому так страшен.

Здесь же я получила прозвище «любимчик». Я — «любимчик» Екатерины Ивановны. Ее старческая рука гладит меня по голове, в ее живых глазах теплота. Я плачу ей пылкой привязанностью, преданностью и успехами.

«Группа», однако, просуществовала недолго. Конец ее связан с ничего для меня не значившими тогда словами: «их сослали». Они есть, но как-то не здесь, а далеко. А как же та стена с красивыми фотографиями? Как все будет без Екатерины Ивановны?

На летние месяцы мы с мамой выезжали в Белоруссию. И было одно причудливое лето, когда мы вдвоем оказались в покинутом и разоренном, оставленном людьми, но не Богом, имении Пучковс. Если то был произвол маминого желания — будь оно благословенно! Во веки веков!

Мне и поныне кажется, что у моего существования два начала. И подлинный сокровенный зачин берет начало в том радостном лете.

Хорошо запомнила, как мы ехали туда, в то имение, сначала лесом, затем через поля. Потом пространство стало организовываться стеной высаженных деревьев, перешедших в аллею с хорошо утоптанной ровной дорогой. За поворотом справа — сад, слева — каменный белый дом, соединенный жасминовыми и сиреневыми аллеями с другим — двухэтажным, деревянным, с террасами.

И ни единой души вокруг. Ближайшая деревня Попадино в полутора верстах.

Поселились мы в одной из уцелевших комнат каменного дома, с каменными же гулками полами, повывбитыми зеркальными стеклами в дверях, винтовой лестницей, ведущей на чердак. Вокруг дома на клумбах цвели белые и розовые маргаритки. За домом, примерно на версту, тянулся фруктовый сад.

Этот обломок прошлого, будто выпавший из времени, был в то необычайное лето предоставлен разрушению и... нам. Для чего? Скорее всего, чтобы узнать, каким бывает приволье, и чтобы затем всю жизнь вспоминать о естественном уголке земли, освоенном прихотливой фантазией человека.

Мы поднимались рано. Мама вручала мне ножницы: нарежь букет роз. Розовый сад — за оградой через дорогу. Множество кустов с белыми, алыми, чайными и даже почти совсем черными розами. Трава и листья были еще в росе. Она холодила. Шипы вонзались в пальцы, царапали руки, казалось, героически защищали цветы, которые я все-таки срезала.

Солнце было еще не жарким. На стеклянных ярко-синих крыльшках то зависали, то планировали стрекозы. Жужжа, пировали осы и пчелы. Захлебывались песнями птицы. Этот безнадзорный сад уходил от человека, уводя в одичание свою красоту. Он, как живой, давал ощутить свой нрав, протест и... беззащитность.

За аллеями и садом начинались поля. Забравшись в горох с его перепутанными, ползучими сочными и ломкими стеблями, разнимая половинки стручков, я пробовала сладкие горошины и наблюдала, как в жаркий полдень высоко в небе резвился и заливался песней малюсенький жаворонок. У опушки леса собирала землянику. Ягод было полно и в саду: малины, крыжовника, смородины. Мама в медном тазу варила варенье.

Как никогда раньше, сумасбродка мама здесь много пела, и пела именно о том, что происходило вокруг. «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...» Воды озера, куда мы ходили купаться, действительно румянились, и «быстрая чайка» касалась крылом его глади. На озере сохранилась старая купальня, зеленый мох на одной из уцелевших стен задержал оброненное мамой обручальное кольцо. Никого не стесняясь, кого-то и что-то славя, мама победно кричала: «Нашла!..» И я самозабвенно любила маму.

В глубоких заводях озер по имени Удача и Устивье водились сомы. Но я была уверена, что там в придачу водятся и черти. По узкому болотистому перешейку между озерами были проложены мостки. Их называли «кладки». Не решаясь признаться маме, что опасаясь чертей при наших с ней походах через облитый лунным

светом сад в баню, находившуюся в деревне, я смотрела не под ноги, а по сторонам: вдруг выскочит рогатый и черный? И каждый раз проваливалась между досками кладок.

Бог мой! Каким нестрашным был тот детский страх.

Изредка наше уединение нарушали откуда-то наезжавшие и взрослые, и дети. Играя в «горелки», все становились по двое.

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо: птички летят,
колокольчики звенят.
Раз... два... три...
Последняя пара, беги-и-и...

И вместе со всеми, огибая кусты и кочки, я мчалась, чтобы успеть соединить руки с тем, с кем была в паре.

Схватившись за канаты, раскачивалась с кем-нибудь вдвоем на висевших в саду качелях: выше, еще выше и отчаянней, чтоб взлететь над забором, над садом, схватить глазами кусочек дальнего поля, вырваться на простор, заглотнуть толику головокружительной выси. Что такое воля, наступление утра, сумерек, я поняла здесь.

Много лет спустя узнала: до революции имение Пучково принадлежало бывшему помещику Шишкину, содержавшему в Петербурге Малый театр. Говорили, что управляющий у него был зверь, а помещика называли — добрый. В имение он приезжал с артисткой — цыганкой, которую любил. Была у него еще причуда: ежегодно менял мебель. Год — карельской березы простоит, потом на красное дерево поменяет, затем на орех, а ту, что отслужила, велел на чердак стаскивать. Во время революции помещик уехал за границу, а крестьяне окружавших деревень снабдились этой мебелью.

В Пучкове мы провели только одно лето, году в двадцать пятом. В последующие же годы ездили в соседнюю деревню Попадино, где жили братья бабушки Дарьи: дядя Гриша и дядя Коля. Всего братьев было четверо. После смерти отца каждый получил в надел по девять десятин земли. Два брата по-своему распорядились наследством и уехали, а дома двух оставшихся в Попадино братьев стояли рядом, были разделены забором. В хозяйстве у обоих имелись коровы и другая живность. Оба сами сеяли хлеб, сами убирали. Огород и сад давали овощи, ягоды, яблоки.

День начинался с зарей. Хозяйки выгоняли из хлева подоенных, неуступчиво толкавших друг друга, мычавших коров. Бренча колокольцами, собранное пастухом стадо уходило на пастбище. В доме просыпались, завтракали и отправлялись в поле. Вместе со всеми по холодку шла и я. Иногда мне давали серп, и я жала; иногда дергала лен, увязывая его в маленькие снопики. Когда солнце было в зените, наступала пора «шевелить сено», и, протрясая его небольшими детскими граблями, я выбирала отсыревший низ кошенины, чтобы его прогрело солнце. Но чаще всего мне доставалось милое дело: гонять коня на молотье. Посередине крытой пристройки к току стоял столб с перекладиной, к которой был привязан конь. Сидя сбоку, я погоняла коня, что приводило

в движение молотилку. Устав, соскакивала и бежала смотреть, как взрослые задавали в молотилку снопы, как шумно оттуда сыпалось шелковое зерно и как из веялки оно выходило совершенно чистым, без половы.

С отрадой я вспоминаю всегда, как в обед пили квас, ели огурцы с медом и хлебом, отдыхали в тени, перед тем как вновь приняться за работу.

Конечно, меня отправляли домой раньше; уже сидя на крыльце дома, я видела, как хозяйка встречала коров, зазывая их по имени — Рыжуха, Буренка, Капелька, и, взяв ведро, принималась их звонко доить.

Солнце катилось к закату. И на фоне смуглого неба на горизонте появлялись девушки, возвращавшиеся с поля. На плечах у каждой мирно лежал острый серп. Тягуче раскатывая слова, они выпевали: «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой...» Быстро темнело. В хату вносили лампу, разливали в жбаны парное молоко. Садись ужинать. Ели молча и расходились: кто спать, кто гулять.

В этой деревне, среди сверстников и взрослых, в атмосфере дружного труда я избавлялась от чувства одиночества. Меня замечали как всех, кормили как всех, как со всеми шутили.

Как в некий слаженный целостный мир, успела я там окунуться не только в атмосферу трудолюбия, но и в обрядовую стихию. В Петров пост в июне вывозили на поля навоз. День этот назывался «толока». После столь нечистой работы, по обычаю, любой человек мог окатить водой другого. Вот и окатывали, а то и просто хватали на руки и бросали в озеро, благо деревня стояла на самом его берегу. И никто не смел обижаться.

Самым поэтичным летним праздником был, конечно, Иванов день — день Ивана Купалы. Девушки в этот день плели два венка, бросали их в озеро и жадно следили, соединит их или разведет вода. Если соединит — быть замужеству, а нет — так в этом году ему не случиться. Праздник, однако, разгорался к ночи. Считалось, что в эту ночь цветет папоротник и тот, кто увидит его цветущим, найдет клад. Боясь наступить на лягушку, страшась и сырости, и кромешной тьмы, я без оглядки углублялась в чащу: вот-вот увижу что-то немыслимое, невообразимо сверкающее. Нет, цветущего папоротника увидеть не довелось, но во мгле то и дело мелькали светлячки, зеленовато-фосфорический огонек в руках оказывался куском гнилушки. Лес обманывал. Я возвращалась на поляну, где уже вовсю полыхал огромный костер. Пахло дымом, гарью и ночной свежестью. Взрослые с разгона перепрыгивали через огонь. Куда-то ввысь отлетали их пронзительные возгласы.

И вдруг в деревне Попадино все изменилось. Идиллический мир раскололся, едва только откуда-то выметнулось слово золото.

Скорее всего, эти события не задели бы моего сознания, если бы к ним не был причастен отец. Государство реквизирировало церковное золото. Блилежащим городом был Невель. В деревне перепуганно и гневно говорили, что из невельской церкви забрали

золотую и серебряную утварь. Шептали: «Грех-то какой!!» Боязливо крестясь, вешали: «Бог накажет! Кошунство!» Людей, которые вершили столь святотатственное дело, называли «антихристами». Среди них был мой отец, по описи принимавший это имущество.

Не понимая, что значит «антихрист», с любопытством и испугом я смотрела на возвращавшегося по деревенской улице спокойного и, видимо, убежденного в своей правоте папу, сопровождаемого мрачными взглядами здешних жителей и... не верила в его спокойствие.

Позже, в 1929 году, в детское сознание вкатились два еще более тяжеловесных и беспощадных слова: «раскулачивание» и «ссылка». И второе, связанное с моей первой учительницей Екатериной Ивановной, стало теперь даже зримым. В семейном альбоме дяди Коли хранились фотографии двух старших дочерей. Они были сфотографированы по отдельности, каждая в фате и подвенечном платье, со стоявшими подле них женихами. С этими фирменными соседствовали тусклые любительские фотографии из Якутии и Соловков. Я не верила, что красивые лица невест и непохожие на них суровые на любительских карточках одни и те же Мария и Нина. Взрослые объяснили, что они так не похожи на себя потому, что одна больна теперь туберкулезом, а у другой — порок сердца. Первой была раскулачена и сослана в Якутию семья мужа Марии. Вторая сестра, Нина, вышла замуж за работника ОГПУ, жила в Москве. К ним и приехал сбежавший из ссылки муж старшей сестры. Жильцы донесли, что у работника ОГПУ кто-то прячется. Проверили. Подтвердилось. Муж Нины и сама она тут же получили ссылку в Соловки.

События развивались быстро, раскулачивание дошло и до Попадино. Недолго спорили, к «середнякам» или к «кулакам» отнести глав семейств. Дядя Коля, имевший земли больше (ему переписал свой надел старший брат) и бравший в горячую пору «наемную рабочую силу», был раскулачен первым. Дядя Гриша, в доме которого я жила то последнее лето, — вслед за ним. Обоих выслали. И один, и другой имели по шесть детей. Тех, что были еще несамостоятельны, раскидали по детприемникам для трудновоспитуемых, остальных — куда попало.

Так из Попадино были выдворены и эти, и другие семьи. Пахучий, вкусный, налаженный и осмысленный уклад деревенской жизни, способный отстраивать человеческую душу, был стерт с лица этой земли.

Менялось многое и в городе. Примерно с 1926—1927 годов полупустой Петроград интенсивно превращался в перенаселенный Ленинград. Люди стекались сюда из деревень, из других более мелких городов. Началось так называемое «уплотнение». В нашу шестикомнатную квартиру одна за другой направлялись семьи с ордерами на площадь. И вскоре за нами остались только две комнаты.

Каждый из новых жильцов устанавливал на кухне свой стол. Став центром, кухня превратилась в говорливое и шумное место, загудели тугим огнем примусы, зачадили керосинки. Сначала казалось, что это временные, ненадолго зашедшие сюда люди, но вскоре и я поняла, что они поселились здесь навсегда. Как и все остальные, наша квартира стала коммунальной.

Иногда здесь бранились. Бывало, над кем-то подтрунивали. Коммунистка Комманова, как называли жиличку, поселившуюся в самой большой комнате, выкинула как-то в помойное ведро фильдеперсовые чулки. Наша домработница, посчитав, что они годны для носки, вытянула их оттуда и взяла себе.

— Ты только подумай, — смеялась мама, пересказывая эту историю отцу. — Она выхватила у Фени чулки и стала кричать: «То, что я выбросила, не может никому принадлежать!»

Курьезов в «коммуналке» хватало.

В 1927 году в нашей семье произошло важное событие: у меня появилась сестра. Несколько дней я перебыла у родственников отца. Вернувшись домой, застала свою сестричку спящей в большой коробке из нежного сандалового дерева. Когда она рассматривала потолок, я прилагала немалые старания, чтобы попасть в поле ее зрения. Мама хотела назвать ее Галиной. Папа воспротивился: пусть будет Валентиной.

Здесь же, на карповской квартире, три года спустя родилась еще одна сестра — Реночка, Рената.

В семье стало хлопотнее, теснее, но и уютнее. Родители в конце концов выяснили свои отношения, перестали ссориться. Папа по-прежнему с работы приходил поздно. Но в те редкие вечера, когда от оказывался в семейном кругу, я замечала, что к сестричкам он относится несравненно нежнее, чем ко мне.

Друг мой папа исчез. Какой-то человек на улице «опознал» в нем царского офицера, и папу арестовали. Посадили его в тюрьму на Шпалерной. Спустя несколько дней маме разрешили с ним свидания, на которые она брала с собой и меня. На выяснение ошибки ушло около месяца. После выхода из тюрьмы папа был переведен на другую работу.

К раскулачиванию в Попадино он никакого отношения не имел. Но коммунистов стали мобилизовывать, и вскоре папа был отправлен «на раскулачивание» в Сибирь. Из разговоров окружающих явствовало, что «классовая схватка» в деревнях переросла в настоящее сражение: «кулаки убивают из-за угла, могут сжечь живьем». В самый разгар таких пугающих разговоров отец и уехал.

Письма от него приходили редко. Мама нервничала. Навещавшие маму друзья также тревожились за отца. Меня просто ошеломила присланная из Сибири папина фотография. Я его не узнала. Он отпустил бороду, выглядел необыкновенно измученным и худым.

Пробыл отец в Сибири около года и вернулся оттуда действительно каким-то другим, совсем замкнутым.

По обрывкам фраз и, главное, по некоторым его алогичным, казалось, поступкам можно было заключить, что он в те годы жил

сложной внутренней жизнью, разрываясь между велениями партийного долга и простой человечностью. Не знаю, что ему стало понятно в Сибири, но, возвратившись оттуда, он забрал в Ленинград и прописал у себя двух сыновей попадинского раскулаченного дяди Гриши: старшего — Колю и моего милого сверстника Володю. Колю устроил на работу, на рабфак, после чего тот поступил в институт. В полном согласии с маминым желанием позже родители прописали к нам уже на другой квартире троих детей второго раскулаченного дяди Коли: Марию, Феофана и Шурика.

Не вспомню, почему и каким образом я оказывалась вместе с отцом на заседаниях или собраниях, но хорошо помню его восседавшим в президиуме. Как загипнотизированная смотрела я на его нахмуренное, чем-то недовольное лицо. Скорее всего, это была даже гримаса неприятия, которую я ни при каких других ситуациях не замечала.

То и дело в родительских разговорах стало возникать слово «чистка». Очередное эпохальное обозначение прочно прописалось в их лексиконе. «Чистка» означала, что там, где папа работает, происходит очередная проверка социального происхождения, выяснение, есть ли за границей какие-нибудь родственники, и т. д. На последний вопрос папа отвечал «есть», поскольку в Риге жили бабушка и сестры. Кого-то из партии периодически «вычищали», что вызывало дома множество толков. Вкус к доламыванию старого быта искал себе продолжение в новых формах разрушения.

По ходу жизни менялись отношения среди фронтовых друзей отца. У одних «вспыльчивые» прожекторские упования двадцатых годов уступили место более трезвым оценкам, у других они непредсказуемым образом переродились. Обозначившееся материальное неравенство сказывалось даже на внешнем облике старых знакомых. В тех же фронтовых шинелях приходили к нам Тихонов и Красовский, зато один из прежних друзей был переведен в Москву, в Кремль. Его наезды в Ленинград превращались в сущее празднество. Он привозил такие вкусные вещи, о которых мы просто не имели представления: например, хурму, которая была тогда заморской редкостью, икру, ветчину... Обещая хорошо устроить, Шлемович и отца уговаривал переехать в Москву. Но папа наотрез отказался: «Из Ленинграда никуда не уеду. Трудности — дело временное. В том, чтобы их одолеть, вижу свое назначение».

Самым близким товарищем отца был Иосиф Антонович Курчевский. Папа давал ему рекомендацию в партию. Назначенный на пост директора завода имени Козицкого, Курчевский соблазнил отца стать его заместителем. Немаловажную роль в согласии принять предложение сыграло, думаю, обещание отдельной квартиры. Родителей тяготила «коммуналка».

Так мы переехали в гораздо худшую, чем на Петроградской стороне, но в отдельную квартиру на Первой линии Васильевского острова. Она была на первом этаже, и окна выходили на северную сторону, что делало ее безрадостной. Однако нам, троим сестрам, нравился двор, уставленный поленницами дров, в который мы выходили гулять. При игре в «казаки-разбойники» за эти поленницы было интересно прятаться. Когда темнело, окна четырех этажей вспыхивали оранжевыми, зелеными и золотистыми абажурами. Двор становился уютным, и было жаль покидать его, когда из открывшихся форточек нас, сдружившихся между собой детей этого дома, одного за другим выдергивали родительские голоса: «Лидя, домой!!», «Коля, хватит», «Валя, Тамара, быстро ужинать!».

Еще в 1927 году я пошла в школу № 182, располагалась она на углу площади Льва Толстого и Большого проспекта Петроградской стороны. Прежняя система обучения в тот период подвергалась пересмотру. Вводились новации: то один преподаватель должен был вести все предметы («комплексная система»), то опробовался «бригадный метод», при котором спрашивали одного ученика, а отметки ставили всей бригаде, на которые был разбит класс. В класс приходили педологи, на какие-то доли секунды разворачивали перед нашими глазами цветные таблицы, пестрые плакаты, рисунки с кольцами и треугольниками. По памяти мы должны были воспроизвести количество предметов, цвет, форму и расположение. На их анкеты «Кем хочешь быть?» ученики отвечали с вызывающей непринужденностью: «налетчиком», «змеей», «фокусником». Я написала «машинисткой». Уже в четвертом классе изучался доменный процесс. Прежде чем учить, где следует ставить запяты, мы узнавали, что такое «шихта». Знаний я из этой школы вынесла немного. Больше, чем учителя, запомнились вожатые в юнгштурмовках.

Когда при переезде на Васильевский остров меня зачислили в школу № 4 на Среднем проспекте, мне шел одиннадцатый год. В этой школе решительно все пришлось мне по душе: и ученики, и педагоги. Заниматься стало интересно, привлекали ботаника, физика, химия.

С питанием и одеждой становилось все хуже и хуже. Для руководящих партийных работников в те годы был установлен партмаксимум. Оклад не должен был превышать шестисот рублей. Несмотря на то что отец получал четыреста и был прикреплен к закрытому распределителю «Красная звезда», родители бились как могли. Стремясь что-то добавить к бюджету семьи, мама на зингеровской машине строчила для артели чехлы и рабочие брезентовые рукавицы. Нам, детям, давали пить темно-красную микстуру «железо» и рыбий жир, который мы спешили заесть посолненным кусочком хлеба. Как нечто из ряда вон выходящее я долго вспоминала визит к папе на работу, где он отвел меня в столовую и накормил картофельным пюре с кусочком мяса.

Однажды из командировки отец привез пару живых гусей. Несколько дней их держали в сарае, затем переселили в ванную. Как раз в этот момент и пришли ко мне девочки из школы. Желая им

показать степенных белых птиц, я немедленно повела их в наш «зоосад из двух гусей». И когда через несколько дней в классе зачитывали список прикрепленных к диетстоловой, одна из побывавших у меня одноклассниц подняла руку и сказала: «А Петкевич не надо прикреплять. У них дома гуси!»

Потрясение от ее слов было непомерно велико. Сначала я восприняла это как не очень еще понятный, но донос, а затем пыталась понять так, как это комментировала мама: «Семья девочки не прикреплена, как мы, к «Красной звезде», девочка живет хуже. Это надо понимать».

Сидя дома, я как-то рассматривала старую подшивку журналов, на страницах которых было бесчисленное множество фотографий времен первой мировой войны: вырытые ямы и еще не сброшенные туда убитые солдаты, непролазная грязь, по которой тащились усталые вояки, и снова могилы, и опять трупы, трупы. Фотографии поразили. Я спросила маму:

— Мамочка, что страшнее всего не свете?

Будучи уверенной, что мама ответит «война», удивилась, когда, опустив шитье, она тихо, но четко выговорила:

— Голод, детка!

Значит, не война? А что такое голод? Этого я еще действительно не знала.

Социальное положение отца тем временем заметно менялось. Как сказали бы теперь: «он выпал из номенклатуры». По каким-то частным вопросам он, как говорила мама, имел особое мнение, часто его высказывал и стал «неудобным и неугодным».

Тогда бытовало выражение: «бросать на прорыв». Отца по партийной линии и стали «бросать» на хозяйственно-административную работу то в одно, то в другое место.

Ленинград нуждался в топливе. Вокруг города в болотистых местах имелись залежи торфа. Их надо было разрабатывать. Отца назначили директором торфоразработок, названных Андогостроем под Череповцом.

Лето первой папиной загородной службы запомнилось хорошо. В светлую звучную июньскую ночь с преогромным интересом я смотрела, как сквозь пелену клубящегося тумана на реке Суда причалила к берегу деревянная толща парома, перекинувшего нас затем на другой берег. Выходило солнце, дымилась гладь реки; среди пересвиста и перешелкивания птиц я пыталась распознать соловьиное пение. «Ну, слышишь? Вот же он, вот!» — подсказывала мама.

Увидев приготовленное для нас жилище, перегороженную на две половины цветастой ситцевой занавесью комнату, я растерялась. Мама, однако, звонко рассмеялась и сказала: «Мне здесь решительно все нравится!» Тогда и мне здесь тоже все понравилось, особенно мамин смех и благодарная улыбка отца.

По реке Андоге сплавливали лес. Сбитые в плоты стволы то затирало, то безудержно несло по течению. Задавленная плывущим деревянным настилом река почему-то отпугивала. Сколько раз я

здесь видела на открытых делянках змей, как часто меня застигала гроза в лесу, но все обходилось. Моя любовь к лесу граничила с одержимостью. И лес миловал меня.

В семье между тем возникла сложная, никак не жданная проблема. После перенесенного еще на холодной карповской квартире воспаления легких у моей средней сестры Валечки начался туберкулезный процесс. Поставить ее на ноги могло только усиленное питание. После долгих и мучительных раздумий родители приняли решение: выписать бабушку Дарью, оставить меня с ней, чтобы я продолжала учиться в Ленинграде, а самим с младшими детьми уехать к месту следующей папиной работы на Ларьянстрой под Тихвин, поселиться там в деревне и купить корову, чтобы молоком и маслом поддержать здоровье сестер.

Это была коренная ломка всей прежней жизни.

Многое мне сейчас видится в неординарном решении родителей. Во всяком случае, предельная степень серьезности в оценке главного и второстепенного, способность самоограничивать желания и привычки. Они оставались приверженными идее «строительства нового общества» и заботе о здоровье детей.

Итак, все уехали.

Мы остались вдвоем с бабушкой Дарьей. На самом деле я отныне, более чем когда-либо, оказалась предоставленной самой себе.

В школе самым любимым моим предметом была литература. А самым любимым учителем — Михай Никифорович Глазков. Читая «Муму», в самых душещипательных местах он умело выдерживал паузу, как бы стараясь не заплакать, подносил к глазам платок. Наблюдая это, и мы давали волю слезам, чего он от нас и добивался.

Открыв мир книг, я поглощала их одну за другой. Все подряд. От подаренных отцом за хорошие отметки сказок Андерсена, братьев Гримм и классики до отъявленных бульварных романов, невесть откуда появлявшихся в доме.

Нащупав эту заповедную страну, я погружалась в мешанину домислов и правды. Вера Засулич, Наташа Ростова, Жанна д'Арк плотно заселяли мир, который я почитала истинным. Он был ослепительным, достоверным, настолько ярче и значительнее мира окружающего, что я спешила отделаться от школьных домашних заданий, дабы приняться за Данилевского, Войнич или Лермонтова.

Меня также безмерно волновала музыка. Заранее вычитав по радиопрограмме, когда будут транслировать концерт Бетховена, когда Вагнера, я придвигала к топившейся печке оттоманку и, глядя, как огонь превращает поленья дров в светящуюся раскаленность, слушала музыку.

При очевидной внутренней и внешней робости на меня накатывала порой какая-то всепоглощающая сверхбезумная уверенность в том, что сама могу сейчас раскрыть рояль, к которому никогда не прикасалась, и бурно, с безошибочной технической точностью воспроизвести некую музыку эфира, которую «слышала». А иной раз чудилось, что, властвуя над миром, запою красивым, как у Консуэло, контральто.

Разрыв между прекрасной жизнью, которую я проживала в часы уединения, и действительным существованием явился причиной тяжелого душевного кризиса, который я пережила в четырнадцать лет. Не принимая несправедливости, обостренно реагируя на грубость, я мало кому верила, чувствовала себя отверженной и разочарованной в жизни. Избегая общения, в школе во время перемен убегала на нижний этаж, чтобы скрыться от вопросов, от подруг. Думала о самоубийстве — жить было незачем.

Однако заземленность школьных интересов выравнивала существование. Нашими отличниками Ильей Грановским, Ноем Левиным, Борисом Магаршако и Асей Чижиковой гордилась вся школа. В первых ученицах числилась и я. Чтоб не уступать в изобретательности ответов другим, надо было постоянно что-нибудь придумывать. Скажем, для убедительности мотивировок своей нелюбви к Маяковскому за его обращение к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на „П“, а я на „М”» — у доски я мелом рисовала кубы, над означенными „П” и „М” воздвигала условные схемы поэтов и, торжествуя, цитировала журнал «Бегемот»: «Дорогой товарищ, обратите внимание, между нами стоит некоторое „Но”». Я торжествовала, а умные глаза педагога Гильбо, преподававшего литературу в седьмом классе, снисходительно жалели меня.

Каждый год меня в школе выбирали или председателем отряда, или председателем класса.

От мальчиков я получала записки с объяснениями в любви. Именовалась в них «мадонной» и «колдуньей». Отличала самые смешные из них, вроде: «Открыть только в 12 часов, непременно при красном свете». Сама не влюблялась. Была немало ошарашена, когда одна из учениц, задержав после уроков, спросила:

— Скажи, что ты делаешь, чтобы нравиться мальчишкам?

Я не думала, что об этом можно так деловито спрашивать. И потом считала, что все мои ровесницы от кого-нибудь получают похожие записки. Однако после разговора с девочкой начала понимать, что нравлюсь мальчишкам больше, чем другие.

На диспутах «О любви и дружбе» отстаивала веру в великую любовь и великую дружбу. Вопрос: «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» — воспринимался как подножка. Я даже не искала на них ответа, поскольку такие «закавыки» могли расшатать мои романтические представления о жизни. Мы и не подозревали, насколько близко время, когда придется отвечать на эти вопросы по самому глубинному существу и в действии.

1 декабря 1934 года — день убийства С. М. Кирова — застало отца дома. Ни с кем не разговаривая, уронив голову на руки, папа сидел за столом. Меня послали за газетой.

Падал сухой снежок. Возле газетного киоска на углу Первой линии и Среднего проспекта в ожидании «Вечерки» на определенной дистанции друг от друга, вытянувшись в длинную очередь, стояли умолкшие люди.

Вернувшись домой, я застала папу в прежней позе.

Растерянность отца, очевидная глубина его переживаний придавали событию зловещий смысл.

Газета ничего не прояснила: кто убил и почему? Возникшее позже неизвестно из какого «около» имя убийцы — Николаев — тоже мало что говорило.

Ранним декабрьским утром, когда еще не рассвело и горел электрический свет, нас в школе построили и повели прощаться с Кировым. Мы вступили в бесконечный скорбный людской поток, молча прошли мимо гроба. Неяркое освещение, шарканье ног, траурная музыка и — то ли мне приснилось позже, то ли пригрезилось там, наверху, на галерее, появившееся на мгновение и исчезнувшее лицо Сталина — такими я запомнила те дни.

На мои четырнадцать лет это пришлось первым реально задевшим сознание политическим убийством.

При вступлении в пионеры, произнося текст торжественного обещания: «Обязуюсь бороться за дело рабочего класса», я ощущала просто-таки ужасный испуг и стыд. Теперь, после убийства Кирова, на вопрос отца: «Ты готова вступить в комсомол?» — я пылко и чистосердечно ответила: «Да!» Готовность совершать полезное и угодное Родине была живой и высокой.

В Василеостровском райкоме комсомола я без запинки ответила на вопросы о международном положении, назвала фамилии наркомов, и мне торжественно вручили комсомольский билет.

В 1936 году во все средние школы присылались так называемые «комсорги ЦК». Это были люди с высшим образованием и специальной подготовкой. Мы мгновенно и весело сгруппировались вокруг умного, интересного Давида Самуиловича Хейфица, назначенного в нашу школу. Выпускали стенгазеты. Клеили, рисовали, переписывали, вывешивали. Вместе совершали экскурсии по музеям, прогулки по городу, останавливаясь у памятников, у мемориальных досок. Часто ходили в театр. Форма культпохода ничуть не мешала театральным потрясениям. Я не замечала никого ни вокруг, ни рядом. После «Маскарада» Лермонтова навсегда «заболела» театром. Александринский театр стал любимым. Оперные спектакли Мариинского театра, такие, как «Русалка», «Мазепа», также поражали воображение.

С приходом в школу комсорга моя общественная деятельность стала особенно активной. Как делегата меня стали посылать на районные и городские конференции. Перед ноябрьскими праздниками 1936 года сказали, что в Смольном на мое имя выписан специальный пропуск: я удостоена чести в день парада стоять на трибуне. Взволнована этим была не только я, но и родители. Увиденный 7 ноября с трибуны парад и демонстрация закрепились в сознании как зримый образ мощи, согласного и радостного единства людей, окружавшей меня действительности.

Пыл юности, заносчивый подъем помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о которой так часто говорил отец, стали не только «дымом» возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская

война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долорес Ибаррури, провозглашенная ею формула: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — импонировала необычайно. Я верила в то, что «но пассаран!» — преграда любой несправедливости, и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины-идеалы, мужчины-герои. Я была влюблена в этих героев. Восхищение добровольно уезжавшими на войну принимала за личную причастность к событиям.

Ленинградские семьи охотно разбирали смуглых мальчишек и девчонок, прибывавших из Испании. И это также было прекрасно, человечно и празднично. Да, все мы, живущие на земном шаре, — одна семья; победа Народного фронта не за горами.

Посещение Дома политкаторжан, куда меня отец брал с собой, идеи интернационального единства, привитые им, убеждение, что в жизни не должно быть места неправде, как нельзя лучше дополняли одно другое.

Меня волновала мысль, что, оказывается, и сегодня, сейчас — а не только в легендарные времена Жанны д'Арк — можно совершать великие подвиги, героически сражаться и погибать за идеалы свободы и братства. Испания сблизила мечту и реальность. Это было самое потрясающее чувство, испытанное мною в те годы.

Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло упругость. О событиях стали говорить глуше, путаннее и туманнее, а потом вдруг вообще как-то все распалось. В душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая пребывала там много-много лет.

Тем не менее война в далекой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во все, что происходило и в моей стране.

Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Вера в газету равнялась безоговорочной вере в Правду и Справедливость, а ими и только ими вымерялась жизнь. Дело промпартии, скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталеv и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судила и об оппозиции: «левая» ли «правая» — было несущественно.

Впрочем, на безоблачное восприятие общественной жизни иногда наползал мглистый туман.

Один незначительный случай тех дней не пожелал уйти из памяти. Я из-за болезни не пошла на первомайскую демонстрацию. Рвалась. Переживала? Мама уступила в малом — разрешила постоять возле ворот дома. Мимо проезжали празднично разукрашенные грузовики с разного рода макетами, знаменами, портретами вождей. С оркестром и песнями шагали демонстранты. С аэропланов сбрасывались листовки. Я подхватила одну из них: «И тот, кто сегодня

не с нами, — было написано там, — тот против нас!» Поэтиче-ско-политическая строка как-то впрямую относилась к тому, что я не в рядах шагающих в колоннах. Слова резанули огульной недобротой. Не вникая в причины, меня кто-то уличал, даже обвинял.

Праздничный настрой померк. Я в ту пору яростно противилась попыткам вправлять свободную душу в «рамки».

Не много у меня было доверительных бесед с отцом. Но одну из них я хорошо запомнила.

Каждый комсомолец шефствовал над пионеротрядом. После проведения сбора, подражая любимому учителю литературы, я читала своим пионерам тоже «Муму», страстно мечтая вызвать у подопечных такие же слезы, какими плакала сама... Это удавалось. Я с охотой бегала на эти сборы. Но однажды, придя в назначенный час, увидела на своем месте другую пионервожатую, девочку из параллельного класса.

— Теперь я вожатая этого отряда, — без смущения сказала она.

Круто повернувшись, я ушла. Дома неутешно рыдала. «Кто ее назначил вместо меня? Отчего со мной никто не поговорил? Почему меня не предупредили?» Я поделилась с отцом. Но вместо того, чтобы разделить со мной обиду, папа стал отчитывать меня:

— Кто дал тебе право неизвестно на кого бросить отряд и уйти? Ты разве знаешь эту девицу? А может, она — враг? Ты обязана была выяснить, в чем дело. Должна была бороться!

Не ведая, как следует себя вести в подобных ситуациях, я, вероятно, чувствовала какую-то правоту отца, но понятие «враг» и формулу «бороться» выносила за скобки. Это было не по мне. По моему разумению, бороться можно было за победу в Испании. Но в своей школе, отряде, среди учеников?..

Глагол «бороться» я отталкивала еще и потому, что он прямолинейно связывался с тем, что, продолжая меня наказывать, отец «боролся» со мной.

Я уже привыкла жить с бабушкой, в известной степени отдалилась от родителей. Свою добрую и ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами: не сделаешь по-моему — не буду обедать; не позволишь пойти гулять — не сяду за ужин; не так сказала — вообще не притронусь к еде. Когда родители присылали нам провизию — творог, сметану, масло, — не задумываясь над тем, как это им достается, собирала своих подружек, и они в один присест уминали все, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложились во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны. Бабушка чуть ли не плакала, а отец, приезжая в город, опять учил ремнем. Поделом, конечно, но я становилась старше. Мучительное чувство стыда и унижения переносила трудно. С течением времени, правда, «кожаные» изделия сменил другой род наказания.

Мне было уже шестнадцать лет, когда в школе разрешили на вечерах танцевать. До этого запрещалось. А тут вдруг объявили,

что на школьном вечере будут не только танцы, но и вовсе — маскарад.

Это было так романтично и ново, что наша фантазия разыгралась в полную меру.

На нас с одной девочкой возложили обязанность поехать в театральные мастерские и отобрать там костюмы.

С неописуемым энтузиазмом я рылась в кладовых, подбирая самые экзотические костюмы: арлекина, русские с кокошниками, цыганские, испанские. Себе выбрала польский костюм: казакин из голубого бархата, отороченный мехом, и белую бархатную юбку, расшитую серебром. Оформление квитанций задержало нас допоздна. До начала оставалось около получаса, когда я забежала домой. Ворвавшись в квартиру, налетела на маму:

— Дай скорей поесть!

Вот тут и возникло грозное папино:

— Как ты смеешь таким тоном разговаривать с матерью? Как смеешь требовать?

Снова отец был прав. Я тут же бросилась к маме просить прощения. Мама простила. Но папа был не в духе, и это решило дело.

— Никуда не пойдешь, никаких маскарадов!

— Папочка, прости, я была не права. Разреши мне, пожалуйста!

— Нет.

Все было кончено. Я знала, как неколебимо отец отстаивал свое слово.

Доводы, что в школе никто не знает, как распаковать мешки с костюмами, тоже впечатления не произвели.

— Позвони и расскажи по телефону.

Плакали мои сестренки, просила за меня мама. Ничего не помогло. По времени маскарад был уже в полном разгаре, а я, опухшая от слез, сидела взаперти. Сестренки «доносили», что разговаривать с отцом пошел мой дядя. Совсем уже поздно дяде-парламентеру удалось уломать отца, мне разрешили пойти, но за время этого сражения я так перемучилась, что уже и сама не хотела.

— Как же я там появлюсь с заплаканными глазами? — обратилась я к своим защитникам.

Сообразив, что маскарадная маска, о которой сестренки были наслышаны от мамы, поможет скрыть опухшее от слез лицо, они куда-то умчались. Решив, что именно это и есть аксессуар маскарада, притащили не что-нибудь другое, а противогаз. В быту этот противозащитный от химической войны предмет также именовался маской. Плохо запомнив первый в своей жизни маскарад, поскольку исправить настроение было уже нельзя, никогда не могла забыть открытой радости своих сестричек за то, что была прощена. Не оставляло и недоумение от пристрастия отца наказывать именно меня.

Как-то, встретив меня под Тихвином зимой на розвальнях, папа выбрал дальний кружной путь через лес. Ярко-багровое солнце садилось. Безмолвный заснеженный лес был неправдоподобно красив.

Я вообразила, что, самолично встретив меня, отец преподнес мне эту красоту в подарок, как бы желая, чтобы я забыла его прошлую жестокость ко мне. Всю последующую жизнь я вспоминала нашу молчаливую поездку, звучный скрип полозьев, мороз и красноватый предзакатный лес.

Если под Тихвин я ездила к родителям на летние и зимние каникулы, то в близкую Ириновку, куда папа был позже переведен, — еженедельно, с субботы на воскресенье. Для семьи здесь был отведен отдельный домик, фактически хутор. От вокзала он отстоял версты за три. Забавы и кокетства ради в семье его называли «виллой». Место было уединенным, живописным.

Зимой мы с сестрами здесь лихо скатывались на санях с высокой горы. В одиночку я слезя голову мчала с горы на лыжах, взбиралась наверх и снова съезжала, не ведая, что такое страх или осторожность. В теплое ириновское лето научилась ездить верхом на лошади. Вряд ли я тогда ведала, что во мне проживает такой сорвиголова. Лыжи ли, сани или верховая езда — я овладевала всем мгновенно. Мчаться на коне по полю, сшибаясь со свистящим ветром, было ни с чем не сравнимым блаженством. Чувство легкости и могущества наполняло ликованием и манило опять его испытать в скачке.

Впервые в жизни я имела здесь отдельную комнату. Днем ее заливало солнце, вечерами наводнял лунный свет.

Приволакивая из лесу срубленные ветви, я водружала их в ведро, и комната продолжала необозримый ириновский простор. Перечитывала «Войну и мир», читала Шпильгагена, Кервуда, Марлитт. Стряпала свою жизнь из лунных вечеров, ароматов, грез, из литературных ситуаций и образов. Даже ручей в лесу для меня был овеян романтикой, позаимствованной из книг, а не журчал сам по себе. В старом доме священника, где жила моя подруга Настенька, была необычная старинная библиотека. Мы выбирали сонники и книги о хиромантии. Переборов сопротивление упругих и сильных ветвей сирени, открывали небольшие оконца. Стегая по рукам, по раме, ветви врывались в комнату. Усевшись на подоконник, мы отыскивали пяти-шестилепестковые соцветия «на счастье». Я зарывалась лицом в дурман щедрых и жирных гроздьев персидской сирени. И потому, я думаю, была так поражена затем картинами Врубеля. Остолбенев, стояла против его «Сирени», безоговорочно уверовав в то, что все на свете одушевлено, все внутри имеет свои глаза, наделено способностью укорять и разговаривать.

Сочетание городской «цивилизованной» жизни и загородного «варварства» воспитало романтическое мироощущение. И ничто этого не умаляло.

Я ходила на торфяные болота и смотрела, как брандспойты размывают коричневый торф, как его режут на кирпичи и складывают в невысокие колодцы-штабеля. При виде общего негонкого, но расторопного труда я неизменно испытывала радость.

Папой было заведено, чтобы вся семья принимала участие в субботниках, которые устраивались на стройках. Если паче чаяния

сирена возвещала о торфяном пожаре, бежали его тушить даже дети.

Никаких поблажек для семьи! Сколько раз на строительствах к маме обращались начальники отделов снабжения: «Ефросинья Федоровна! Ну пусть Владислав Иосифович „с заскоком“, зайдите сами на склад, выберите себе и детям обувь, материал. Нельзя же так...» Однако это было против семейных принципов и воззрений. Во главе угла была личная честность. Родители относились к этому свято-серьезно. Мама предпочитала перешивать мне свои платья, Валечке и Реночке — мои.

Непривычно и странно было видеть маму ухаживающей за коровой, разбалтывающей в ведре отруби. Еще так недавно, на том же Андогострое, небольшой кружок умных и интеллигентных ленинградцев воспевал маму в серенадах. Теперь роль «принцессы» отошла в прошлое. Ее сменила другая — батрачки.

Я видела, как сильно изменился отец. Он надевал брезентовый плащ, сапоги и уезжал на стройку, где пропадал до ночи. Разговаривал простуженным голосом. Вечно кто-то срывал ему сон: то пришел состав с грузом, то пригнали колонну машин за торфом. Он поднимался и уходил в темень. Папа жил по законам водоворота. Я вообще не помню, чтобы он когда-нибудь был в отпуске, не помню, чтобы хоть раз весело рассмеялся. Бывший комиссар, мыслящий человек, страстный спорщик, в Ириновке он еще больше посуровел. Под глазами у него набрякли нездоровые мешки.

Вместе с папой в дом приезжали усталые, всегда чем-то озабоченные сослуживцы. Они усаживались за стол, где непременно возникала водка. Все чаще и чаще я стала видеть отца пьяным.

Как и прежде, меня не допускали к проблемам родительского бытия, но выпивки настолько не вязались с идеалами и обликом отца, что я впрямую спросила маму:

— Папа стал пить? Почему?

Стараясь объяснить происходящее, желая защитить отца в моих глазах, мама растолковывала, что у отца сейчас такая проклятая должность. Как начальник строительства он то и дело вынужден «выбивать» необходимое: доски, кирпич, железо, транспорт. А чтобы уламливать представителей разных ведомств, волей-неволей приходится с ними выпивать: с кем бутылку, а с кем и две. Получалось, будто выхода не было и каждодневные выпивки — неизменный удел начальника стройки.

Я видела, что отец погибает. Но однажды острая жалость к нему уступила чувству неожиданному и незнакомому — вспыхнувшей ненависти. Случилось это так.

Июньской белой ночью мы возвращались домой от тех самых Перекрестовых, которые, приезжая к нам, увлекали на луг играть в серсо. Ехали от них на тарантасе, сестренки спали, приткнувшись друг к другу, я дремала под цокот копыт и сквозь дрему слышала, как родители бранятся. Зная, что отец много выпил, я старалась

не вслушиваться в его пьяную брань. Но вдруг он сильно, с размаху нанес маме удар, да такой, что она не удержалась и вылетела из тарантаса. Дико заорав, я на ходу соскочила за мамой. Отец натянул вожжи, лошадь остановилась, и мама, вскочив на ноги, выхватила из тарантаса обеих сестренок. Все это заняло какие-то секунды, я только успела подняться с земли и увидеть искаженное злобой, чужое лицо отца. От тут же яростно хлестнул лошадь, и тарантас шальным зигзагом одними левыми колесами влетел на мост без перил, правые колеса повисли над пустотой. Как тарантас не перевернулся, как не свалился в реку — уму непостижимо. Но вряд ли отец даже понял, что в этот миг произошло. Проскочил мост и умчался.

Убедившись, что руки-ноги целы, мы с мамой с трудом успокоили разревевшихся сестренок и пошли пешком домой. Я была не в себе. В первый раз в жизни я увидела, что отец поднял руку на маму.

Дома горел свет, и отец зверем метался по комнате. Он искал и не находил свой бумажник. В бумажнике была большая пачка казенных денег. Поняв, чем это чревато, мама, строго глянув на меня, сказала:

— Иди. Ищи вдоль дороги. Надо найти. Надо, понимаешь?

Было часа четыре утра. Превозмогая страх за маму и сестер, я вышла из дому к проселку и, внимательно осматривая обочины, побрела вдоль дороги. Прошла версты две и увидела в канаве толстый отцовский бумажник.

Щебетали птицы. Первые лучи солнца осветили стволы берез. А возвращаться надо было к жизни некрасивой, дикой, которую я не хотела принять в себя. Войдя в дом, я бросила бумажник на стол. Отец не поблагодарил. Его помрачненное в тот миг сознание занимал уже другой вопрос.

— Где мама? — спросил он зло.

Я знала, где мама скрывалась в те вечера, когда он приходил пьяным. Но с вызовом ответила:

— Ее нет!

Мой тон привел отца в бешенство.

— Говори, где она!

Тогда, не помня себя, я крикнула ему в лицо:

— Не скажу, где она! Не ска-жу! Понял?

Отец двинулся на меня. Он был страшен. Я видела, что он готов смести меня с лица земли. Глаза его налились кровью, пальцы сжались в кулаки. Но в тот момент и я свилась в сплошной ком жгучей ненависти. Не пытаюсь заслониться, не отступая ни на шаг, знала одно: ударить себя сейчас не позволю. Не дам. Ни за что на свете. Смотрела ему прямо в глаза. Он процедил сквозь зубы:

— Уйди! Убью!

— Убей! — выкрикнула я, не помня себя. — Убей!!

Отец запнулся, обмяк и сел.

После происшедшего отец дал слово никогда не пить. Слово свое сдержал. Больше я никогда его не видела даже выпившим. Характер у него был сильный.

Я же была озадачена и ошеломлена силой вспыхнувшей во мне тогда ярости. Недоумевала: где это вызрело, как? Грыз стыд и чувство вины.

Мне очень хотелось быть признанной отцом, но нашим отношениям с ним, как видно, не суждено было сложиться. Я страдала. Знаю, спроси я его: «Папа, почему ты никогда не поинтересуешься, что у меня на душе?», он бы сказал: «Делай хорошо свое дело. Это скажет о тебе все. Вот и вся премудрость».

Среди папиных сослуживцев были такие, которые кочевали за ним со стройки на стройку. Инженер Михаил Иванович Казаков был одним из его постоянных спутников. Он чаще других бывал у нас в доме. Когда-то поддразнивал меня — девчонку, потом перестал. И однажды в Ириновке постучал ко мне в комнату.

— А я сбежал от них, — сказал он о тех, кто шумел в столовой.

Окно у меня было раскрыто. Теплынь и свет красноватой августовской луны окунали в себя. Его приход ничего не нарушил. Это был добрый человек. Визит, однако, был необычным. Он стал говорить, как ему грустно сознавать разницу в годах: он уже стар, ему тридцать пять, а я так молода. И — поцеловал меня.

У меня теперь была собственная тайна. О поцелуе я никому не рассказывала.

Иосиф Антонович Курчевский в очередной раз переманивал папу переехать, теперь уже на Назиевские разработки.

По сравнению с прежними назиевское строительство считалось обжитым. В поселке, размещавшемся на станции Жихарево, были двухэтажные дома, стадион, теннисный корт и клуб. На стройке работало много молодежи. Приехав туда, я сразу очутилась в компании выпускников ленинградских технических вузов. По субботам уже на станции меня поджидала веселая компания, и даже папа смирился с тем, что я окружена молодыми людьми.

Каждый из них стремился сочинить какую-нибудь поэму, сатирические стихи или рассказать компании какую-нибудь занятную историю. Это вносило дух соревнования. Когда подошел черед Ч., он заинтриговал своим рассказом, как никто.

— Один советский специалист, находившийся в командировке в Лондоне, проходя по площади, увидел, как от стены собора отошла дама в черном и быстрым шагом направилась к нему. Бросив к его ногам записку, мгновенно исчезла. Поколебавшись, инженер поднял записку, попытался при свете фонаря ее прочесть, но увидел, что она написана на незнакомом ему языке.

Утром, придя в советское посольство, он рассказал о случившемся и показал записку. Записку унесли, но через несколько минут, вместо того чтобы познакомить его с переводом, приказали: «Через час из порта в Советский Союз отходит пароход. Вы должны на нем отбыть отсюда». Он пытался протестовать, ссылаясь на то, что

его работа еще не закончена. Его не слушали. Приказ есть приказ. А записку ему вернули.

Удрученный нелепо сложившимися обстоятельствами, советский гражданин стоял на палубе, когда начался сильный шторм. Команде приказали сбрасывать лишний груз в море. Он присоединился к команде и заметно помог при аврале. Когда же шторм утих и капитану доложили о самоотверженной помощи пассажира, тот велел пригласить его к себе в каюту. В разгаре беседы, доверившись дружескому тону, наш специалист поведал капитану историю с запиской, не без основания полагая, что капитан знает не один язык и сможет ему перевести загадочную записку. Но, прочитав ее, капитан изменился в лице, приказал запереть инженера в карцер и держать его там до тех пор, пока пароход не войдет в советские воды. У обескураженного инженера оставался шанс показать записку жене по приезду домой. Его жена преподавала иностранные языки. После первых минут встречи он поведал о своих зловключениях, ожидая наконец разгадки всему. Но, глянув на записку, жена сказала, что он должен немедленно и навсегда покинуть их дом и больше в семью не возвращаться. Объяснений дать не пожелала.

Отчаявшийся инженер ухватился за последнюю возможность: обратиться в бюро переводов. Уж тут-то ему будут просто обязаны перевести записку. Но, когда инженер пришел в бюро и полез в карман за запиской, ее в кармане не оказалось.

Мы слушали упоенно и были заинтригованы до последней степени. С подобным концом никто не хотел мириться. Все требовали разгадки. Но, как мы ни просили Ч. раскрыть нам, что же там было написано, он нам не уступил.

На следующий день, встретив меня, рассказчик сказал, что, если мне действительно интересно, что было в записке, то он может написать текст. Условие одно: способ перевести я должна найти сама. Записка была вручена. Я ее развернула. Не по-немецки. Не по-французски. Не по-английски. Как же ее перевести?

Игра продолжалась. Было интересно.

В нашем классе Илья Грановский изучал эсперанто. Я без колебаний дала ему записку. Нахмурившись, Илья сказал, что это объяснение в любви.

Способ объясниться, придуманный Ч., немало позабавил, даже поразил. Все эти воскресные впечатления были как бы внепрограммными, «внеочередными», идущими в обгон возрасту, равно как и мое признание маме, когда в газете появились первые фотографии новых маршалов: «Мамочка, я влюбилась!»

— В кого? — испуганно спросила она.

— В Тухачевского!

— Ну, дочь, ты далеко пойдешь, — оценила мой выбор мама.

Газеты и радио тем временем оповещали о новых политических заговорах. Выяснялось, что недавние руководители страны устраивали крушения на железных дорогах, аварии в шахтах, отравляли продукты и т. д... «Вожди» оказывались «врагами».

Сфера, в которой происходили столь непонятные и жуткие события, была настолько далека и чужда, что вообще казалась не имеющей отношения к жизни живой. Разуму были доступнее любые мировые события, чем происходящее в этих кругах собственной страны. Но чутье — своевольно.

Одну из самых сильных эмоций вызвало самоубийство Гамарника. Сама по себе эта фигура была так же далека, как Каменев и другие. Пригвоздил факт самоубийства как свидетельство человеческого отчаяния, безысходности. Увиденное когда-то на газетном снимке лицо, обрамленное черной бородой, казалось значительным, заставляло думать о себе. Сама не знаю, почему я была убеждена, что этот человек ни в чем не виноват, но, будучи невиновным, чего-то и кого-то страшно боялся.

Подвиги челюскинцев, перелет через Северный полюс перекрывали муть этих странностей и неудобоваримых судов над членами правительства. Но слово «враг» приблизилось и к нашей семье. Нечаянно. В Москве арестовали фронтового друга родителей. Того самого Шлемовича, который работал в Кремле и всегда привозил вкусные гостинцы. Написала об этом его жена. Отец и мама собирались послать ему посылку. Я хоть и не вмешивалась в дела родителей, на этот раз пыталась их поторопить. Выяснилось, что нет адреса. Надо ждать.

Я видела, как отец подавлен арестом друга.

Все чаще доносились известия об арестах знакомых, соседей, сослуживцев отца. Тогда еще не говорили, не признавались другим, что по ночам не могут заснуть, прислушиваются к скрежету тормозов, к шороху автомобильных шин, и если машина останавливается возле дома, то цепенеют от страха. Мысль о том, что в разладе «с партией и народом» могут оказаться мои родители, мне тогда, понятно, в голову не приходила.

По Ленинграду в те годы расхаживали дяди в габардиновых пальто. Часто с собаками на поводке. Они представляли собой особый тип людей. У всех у них было что-то общее. Явственнее всего это общее проявлялось в вальяжной хозяйской походке, когда человек от каждого собственного шага получает наслаждение и прятать это нет надобности.

У моих телефонных разговоров с подругами и друзьями были обжитые темы: о заданных уроках, о кино, о молодых людях и т. д. Но вот среди привычных звонков раздался необычный. Бабушка позвала к телефону. Спросили:

— Это Тамара Владиславовна?

Так меня еще никто не называл.

— Да.

— Здравствуйте. С вами говорит друг ваших родителей.

— Здравствуйте. А кто вы?

— Вы меня не знаете.

— Нет, я всех знаю.

— А меня не знаете. Как они поживают?

— Спасибо, хорошо.

— Значит, вы живете на этой же квартире, не переехали?

— А вы у нас бывали?

— Неоднократно. Кровать в большой комнате стоит справа, буфет у стены тоже справа. Трюмо у окна в углу. Так?

— Так. Но если вы у нас бывали, тогда я вас непременно знаю. Как вас зовут?

— Михаил Михайлович.

— А как ваша фамилия?

— Это я вам скажу, когда мы увидимся.

— Вы хотите к нам прийти? Но мама с папой сейчас живут в Жихарево.

— Знаю. Нет. Я хочу, чтобы вы сейчас подошли к углу Первой линии и набережной. Я вас буду там ждать.

— Зачем?

— Мне надо кое-что передать для папы, вы ведь поедете к ним на выходной день?

— Посду. Но вы лучше тогда принесите к нам домой.

— Я вас прошу прийти туда, куда сказал. Жду вас. Приходите минут через пятнадцать.

Он повесил трубку.

Имени Михаила Михайловича я никогда у нас не слыживала.

От разговора остался чрезвычайно тягостный осадок. Но уклониться от встречи я посчитала себя не вправе. Что-то хотят передать папе — значит, нужно пойти. У меня в тот момент была подруга, и я попросила ее сходить со мной к назначенному месту.

На углу набережной и Первой линии было дежурное место свиданий, и там стояло несколько человек ожидающих. На мой вопрос: «А как я вас узнаю?» — мне было сказано: «Я к вам сам подойду». Мы ждали. К нам никто не подходил, и я решила уйти. Но едва мы сделали несколько шагов, как меня окликнули: «Тамара Владиславовна, можно вас на минуту?» Меня подозвал холеный мужчина лет сорока в дорогом драповом коричневом пальто, сильно надушенный. Запах его духов меня долго потом преследовал.

Михаил Михайлович начал с выговора:

— Зачем вы пришли с подругой?

— А разве нельзя?

— Конечно. Вы должны были прийти одна.

— Что вы хотели передать папе?

— Раз так получилось, то уж лучше в следующий раз передам.

С тем я и ушла, мало что понимая в происшедшем. Человек этот, несмотря на свою респектабельность, показался мне неприятным.

В субботу я поехала в Жихарево и рассказала не отцу, а маме про звонок и про свидание. Мама добросовестно пыталась вспомнить Михаила Михайловича среди бывших знакомых, но безуспешно. Что же он хотел передать папе? Это оставалось вопросом, который мы с мамой решить не могли.

Главного инженера стройки звали Яков Ильич. Очень сдержанный человек. Он научил меня играть в теннис. Корт был недалеко, и, когда я приезжала к родителям, он кричал под окном: «Том, нас ожидает корт».

Вечером в клубе был концерт ленинградской бригады, и мы пошли все вместе. Сели в первый ряд: мама, Яков Ильич, я, еще несколько человек. Последним в программе был фокусник. Он манипулировал платками, кувшином с водой, еще чем-то и, подойдя к краю сцены, обратившись ко мне, предложил подняться и подтвердить, что в кувшине действительно нет воды. Я не изъявила желания принять в этом участие. С присущим ему добродушием Яков Ильич уговорил:

— Да поднимитесь, загляните, что там.

Когда я прыгнула на свое место обратно, объявили антракт. Наперекор толпе навстречу нам двинулись трое незнакомых. Они вплотную подошли к Якову Ильичу.

— Следуйте за нами! — И, взяв его в кольцо, повели к выходу.

Яков Ильич ни звука не проронил, даже не обернулся. Так вот и ушел между этими людьми. Просто ушел. Арест был произведен у всех на глазах, в людном клубе. Действительность показалась нереальной. Все как-то сместилось, сдвинулось. Я не могла поверить, что присутствовала при аресте хорошо знакомого человека, усомнилась в том, что видела своими глазами нечто, имеющее отношение к смыслу и сути того, что было жизнью.

Более чем через год, когда многое изменилось уже в судьбе и нашей семье, я встретила его на улице. Едва узнав, все-таки забежала вперед: да, это был он. Яков Ильич оказался «счастливым», его выпустили после следствия на волю. Он был скуп на слова, почти ничего не рассказывал, но, загнув обшлаг пальто и пиджака, показал «браслет», выжженный вокруг кисти руки. И пояснил: следователь тушил таким образом папиросы.

И снова не верилось в то, что вижу это своими глазами.

А человек, объявивший себя другом родителей, опять позвонил через месяц. И опять не захотел назвать своей фамилии. Но я почему-то именно в этом вопросе проявила настойчивость. Тогда он ответил: Серебряков.

— Как дома? — осведомился он.

— Спасибо, хорошо. Я спрашивала о вас маму, она вас не помнит.

— Ну, об этом после. Сейчас есть дело поважнее. Вы собираетесь ехать в Жихарево на воскресенье?

— Да.

— Так вот. Вам на этот раз не следует ехать.

— Как? Почему?

— Ничего особенного. Беспокоиться не надо, но ехать тоже не надо.

— Объясните, почему? Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Но я прошу вас не ехать. Все!

Я уже боялась этого человека. Боялась его имени, недомолвок, его усеченных фраз.

Как всегда в воскресенье, я собралась ехать к семье, однако сажалась в поезд с чувством неуверенности. По приезде во все посвятила маму. Ей было виднее, в какую минуту сказать об этом отцу. Не выходя, весь день просидела дома. На звонки просила маму отвечать, что меня нет.

Папа уже давно, разговаривая с кем-нибудь из посторонних, не без гордости представлял меня: «Это моя старшая дочь». Мне стало видаться в этом, что он гордится мною.

К вечеру того дня папа отправился на товарную станцию встречать состав с вербованными, которых набирали в Центральной России. Я попросила его взять меня с собой. Было неодолимое желание по-взрослому, серьезно поговорить с отцом о Серебрякове самой. Готовилась к разговору, как «старшая дочь».

Папа в сапогах, в брезентовом плаще шагал впереди. Я едва попевала за ним. На станции выгружались приехавшие на заработки люди. Папа приветствовал их речью. Духовой оркестр хрипло, в захлебе от полившего дождя, проиграл марш. Мы возвращались к дому, когда уже стемнело. За пеленой дождя перемигивались огни стройки.

— Папочка, — начала я, — знаешь, несколько раз звонил какой-то человек, отрекомендовавшийся твоим другом. Я не знаю, что ему надо, но он просил меня сегодня не ехать сюда.

Папа отмахнулся:

— Это тебя твои кавалеры разыгрывают.

— Что ты! Я видела этого человека. Он пожилой, он...

— Ерунда!

Отец не встревожился, не поверил мне, не захотел продолжать разговор. Диалог опять не состоялся.

Часов в десять вечера я уезжала в Ленинград. Поскольку мой приезд уже перестал быть тайной, на вокзал, как обычно, меня провожали друзья. Мама тоже пошла.

Со ступеней вагона я обернулась, чтобы еще раз попрощаться, и в тот же момент увидела, как от станционного помещения к поезду с собакой шел Серебряков. Мама почувствовала, как я испугалась, и мгновенно обернулась именно на него. Он сел в один из первых вагонов. Поезд тронулся. Только этот взметнувшийся мамин взгляд и был для меня каким-то утешением. Мне было страшно сидеть в полупустом вагоне пригородного поезда, зная, что рядом едет непонятный, что-то знающий про нас человек. Может, и не враг, но и не друг. Я неотрывно смотрела в вагонную дверь, ожидая, что он войдет сюда вместе с собакой.

Он подошел лишь на перроне в Ленинграде.

— Ну что ж, будем знать, что вам доверять нельзя, что вы человек несерьезный. — И прошел мимо.

Я ничего не ответила, да и не сообразила бы, что сказать. Фразу эту запомнила. Она обижала, мешала, замутняла мое существование.

Через несколько дней арестовали директора строительства Иосифа Антоновича Курчевского.

Папа был настолько потрясен арестом друга, что ни с кем не мог разговаривать. Не откладывая в долгий ящик, папу тут же исключили из партии за то, что он давал рекомендацию в партию «врагу народа» Курчевскому. С поста заместителя директора отец был смещен на должность начальника транспортного отдела.

Мама рассказывала, что отец трое суток не ложился спать, повторяя только одну фразу: «Какое эти трое имели право исключать меня из партии?» Исключали его не на общем собрании, а три человека из бюро. Мама плакала: «Владек! Тебя тоже арестуют!» Папа яростно кричал: «За что? За что меня арестуют? Не городи глупости! Не смей произносить это вслух!»

В пятницу, 22 ноября 1937 года, мама приехала в Ленинград, чтобы забрать кое-какие вещи. В субботу после школы мы вместе должны были их увезти. Мама переночевала дома. Вернувшись из школы, я ее не застала.

- Где мама? — спросила я бабушку.
- Садись пообедай, — заплакала она.
- Где мама?
- Сядь поешь, — повторила бабушка.

В комнату вошел наш сосед, которому родители сдавали комнату.

— Тамара, вы взрослая девочка, — сказал Давид Абрамович, — надо быть мужественной. Сегодня ночью арестовали вашего отца.

Еще плохо понимая, что с нами случилось, я только слышала, как гремели и заглушали все остальное слова «папу аресто-ва-ли!»

Телефонистка из Жихарева рассказала маме, как ночью пришли за папой, как делали обыск, как папа, по словам понятых, в несколько минут стал весь белый — поседел на глазах. Когда его уводили, сестренки бежали за ним до станции. Их отгоняли, но, не зная, куда им деться, они все бежали за ним и плакали. Телефонистка подобрала их и до утра продержала у себя.

После ее звонка мама кинулась на вокзал к первому попавшемуся поезду. Схватив оставленные мамой вещи, я бросилась следом за ней.

В трамвае люди разговаривали между собой, словно ничего не произошло. Все вдруг стало посторонним, чужим.

В поезде, забравшись на вторую полку, чтобы ни с кем не общаться, я смотрела в окно. Уже выпал снег. Папа возник где-то в глубине сознания. В сердце. И там его вели двое с винтовками. Папа оступался, проваливался в снег... двое подталкивали его. Я не могла одолеть, перевернуть эту картину: молчаливый папа все шел и шел под конвоем в неопределенном направлении... Я, оказываясь, сильно любила своего сурового, безупречно честного отца. Едва не проехав станцию, забыв в вагоне все вещи, все-таки успела выскочить из поезда.

Дома после обыска все оставалось разбросанным. Из угла комнаты без слез смотрели перепуганные сестренки. Ни к чему не притронувшись, лежала в постели мама. Попросила протопить комнату и что-то сварить поесть. Я хотела пойти к позвонившей в Ленинград телефонистке, но мама остановила:

— Этого нельзя делать. Она просила к ней не приходите. Для того чтобы позвонить нам, она ездила на другую станцию.

И уже без всяких вопросов я многое стала понимать сразу. Папы не было. Мира, в котором мы до сих пор существовали, не стало. И никакого другого не было тоже.

Было 23 ноября 1937 года.

Мы сразу оказались в полной изоляции. Как в ночь резни гугенотов, ворота нашего дома оказались помеченными знаком уничтожения. И ничто уже отныне не могло этого отменить.

Не просто было сообразить, что надо делать сперва, что потом. Мама все время плакала. Решений никаких принимать не могла. Я поняла и это.

На следующий день я неуверенно сказала: «Надо переезжать в Ленинград». — «Да», — послушно ответила она. Стало ясно, что я имею право голоса. И теперь, очевидно, решающего. Но я не была готова к новому положению. Следовало через что-то перескочить, нащупать под ногами какую-то прочность.

Начали собирать вещи. Их надо было переправлять на вокзал. Мама позвонила в правление Назиевстроя. Жене арестованного начальника транспортного отдела в транспорте отказали. Вдвоем мы начали перетаскивать вещи на себе.

В такие минуты рождается острое внутреннее зрение, душевная зоркость. Я еще верила, что, увидев, как мы с мамой тащим на себе наш скарб, мои поклонники, столь изобретательно объяснявшиеся мне в любви, ринутся на помощь. Нет. Поселок будто вывели. Из окон домов глядели знакомые, но на улицу не выходили.

И все-таки, когда мы волокли на себе швейную машину, один человек не выдержал, вышел навстречу. Это был тот самый Михаил Иванович Казаков, который в Ириновке в один из лунных вечеров постучал ко мне в комнату и с которым меня связал первый в жизни тайный поцелуй. Когда он, твердо ступая по земле, шел к нам навстречу, что-то из стремительно исчезающего мира задержалось.

Михаил Иванович дорого заплатил за порыв души. Через пару дней он был исключен из партии «за связь с семьей врага народа».

Мы переехали домой в Ленинград. Папу надо было выручать, надо было начинать искать по тюрьмам. А как это делается? Куда и к кому обращаться?

ГЛАВА II

Со дня папиного ареста я стала именоваться «дочерью врага народа». Это была, так сказать, первая политическая кличка, полученная мною от Времени. В школе меня перестали вызывать на уроках. Под каким-то предлогом пересадили на последнюю парту. Но потрясение от происшедшего в семье было так велико, что частности принимались послушно, почти как должное.

Папин арест обязывал ко многим незамедлительным решениям. В частности, к устройству на работу. Занятия были заброшены. Я вычитывала объявления на доске: «Требуются на работу». Мозаичный цех, выплачивающий ученикам стипендию, показался наиболее приемлемым, и я с тоскливым чувством отправилась в школу забирать документы.

Выслушав меня, завуч Нина Васильевна Запольская плотно прикрыла дверь учительской, негромко, но решительно сказала: «Что бы там ни было, Тамара, надо закончить десятилетку. Осталось всего полгода. Я тебя не отпущу! Для приработка найду тебе учеников».

Твердая позиция завуча школы по отношению к судьбе одной из учениц была, казалось бы, естественной, но не в трясине опешенности и растерянности конца 1937 года, когда в одночасье нормальное превратилось в свою противоположность. Вмешательство завуча Нины Васильевны, как и помощь Михаила Ивановича Казакова при нашем переезде в Ленинград, воспринималось мигающими огоньками чего-то еще существующего. А я со всей страстью цеплялась за устойчивость прежних представлений о жизни.

Нина Васильевна нашла мне учеников. Главное как будто уладилось. Фокус, однако, заключался в том, что главным стало разом все: розыски тюрьмы, где находился отец, мамино здоровье, присмотр за сестрами, попытки совместить учебу с работой. Жизнь начиналась всерьез.

Буквально через пару недель после папиного ареста меня вызвали на бюро комсомольского комитета. Длинный стол был покрыт кумачом. Над столом — портреты Сталина и Ежова. Солнце косой трубой высвечивало неприкаянность пылинок.

Новый комсорг и члены бюро приступили к разговору. Было сказано, что я всегда была примерной комсомолкой, поэтому мне и хотят помочь. В данный, решающий момент все зависит от меня самой. Для того чтобы всем было ясно, что при создавшемся положении вещей я продолжаю мыслить как настоящий член ВЛКСМ и гражданин своей страны, я должна публично отречься от своего отца — «врага народа». Долг каждого честного человека — поступить именно так. Другого выхода нет. Как я отношусь к сказанному, что думаю, спросили меня в заключение.

К тому, чтобы отречься от отца? Об этом думать было нечего.

— Мой отец ни в чем не виноват! — отрезала я.

— Откуда ты это можешь знать? Кто тебе дал право ручаться за отца? — жестоко наступали на меня.

— Право? Никто не давал. Сама знаю! Не виноват!

— Что ж, докажи.

Что значит «докажи»? Была вера, не допускающая и мысли о виновности отца. Я могла рассказать о его перетруженности, бескорыстной самоотдаче, о том, как важно ему было, чтобы дети росли правдивыми и честными. А «доказать»?..

Впрочем, разговор об «отречении» представился средством, используемым для устрашения, для проверки меня. Не может же быть в самом деле серьезным предложение отречься от отца!

Через несколько дней я прочла объявление: состоится комсомольское собрание. Один из вопросов повестки дня — обо мне.

На собрании я слушала, но опять не верила, что все это относится ко мне. Председатель очерстевшим голосом докладывал о какой-то Петкевич, как о «дочери врага народа», для которой органы НКВД не являются, видите ли, авторитетом. Она не верит, что ее отец арестован за дело, и не желает отказаться от него, что и ставит ее в данной ситуации вне комсомола.

— Кто за исключение Петкевич из рядов ВЛКСМ?

Поднялся лес рук. «За» не проголосовали лишь двое: отличник нашего класса Илья Грановский и мальчик из параллельного класса.

Решение формулировалось так: исключить из комсомола — 1) за потерю политической бдительности (за то, что прозевала в собственной семье «врага народа» — отца); 2) за клевету на органы НКВД (поскольку неверие в виновность отца равняется недоброму в справедливые действия Наркомата внутренних дел). Третий пункт почему-то не запомнила вообще.

Казалось еще, кто-то непременно и немедленно должен это все аннулировать. Я ждала этого. Ежесекундно... Уж во всяком случае в последней инстанции — райкоме комсомола — возмутятся решением комсомольского собрания. С этим туда и шла, когда вызвали.

— Положи на стол комсомольский билет. Решение правильное. Ты больше не комсомолка! — хладнокровно подытожили там.

«Положи комсомольский билет. Ты больше не комсомолка!» Вынув из сумочки комсомольский билет, я подошла к столу секретаря райкома и положила его.

Меня еще долго преследовала картина «леса рук» и райкомовского вышвыривания. На нервной почве (как сказали врачи) у меня отнялись ноги. В доме запахло лекарствами, отварами трав.

В дверь никто не звонил. Мы оказались отрезанными от мира, от привычного течения жизни. Но вошедшая в дом нужда, как жестокий и верный лекарь, в упор потребовала разобраться с собой.

Сразу же по приезде в Ленинград мы стали разыскивать папу. Кто-то подсказал нам поехать на пересыльный пункт. На меня глянули беспомощные мамины глаза, и я поняла, что ехать придется мне.

На пересыльном пункте папа в списках не значился. В «Крестах» папиной фамилии тоже не нашли. Встреченные там женщины объяснили, что первым делом следует обратиться в справочное бюро Большого дома на Литейном. Дом действительно был большой. Особенно по тем временам. Построен он был уверенно, фундаментально. Серое современное здание олицетворяло незыблемость и прочность власти.

Пересыльный пункт, «Кресты», Большой дом заново открывали не только город, в котором я знала памятники и дворцы, трамвайные и автобусные маршруты, но и вовсе другую жизнь. Названия тюрем, решетки на окнах, растерянные лица людей, с которыми пришлось стоять в очередях, стали зримой границей, за которой попросту

виделся конец света. Но там находился отец. Ему надо было помочь во что бы то ни стало.

До того как войти в справочное бюро Большого дома, я считала, что мы относимся к тем особым, но все-таки немногим, на кого накатила беда. Похожий на вокзал, огромный, с колоннами, зал справочного бюро оглушил. Он был до отказа забит людьми. Нельзя было понять: это толпа или безнадежно огромная очередь. Если очередь, то где искать конец? Стоял гул, а многие люди, возле которых я оказывалась, вроде бы молчали, иступленно глядя в одну точку. Степень общей наэлектризованности была так велика, что и меня заразила мгновенно. Прежде чем понять неизмеримость несчастья, я его увидела глазами, почувствовала кожей. Свежая, вспотрясающая мощь боли, исторгавшаяся невиданной массой людей, непостижимым образом не рушила стен этого здания.

Ошеломленная, не зная, куда ткнуться, я все же отыскала конец очереди.

Внутри этого чрева совершенно незнакомые люди вполголоса доверительно делились друг с другом тем, как все это случилось: позвонили, вошли, сказали. ...Начали все переворачивать, ворошить белье, книги, письма... закончили обыск... увели... Рядом женщина подробно рассказывала, как муж, столько ночей прислушивавшийся к каждому ночному звуку, стал вдруг необыкновенно спокоен, только ее все просил не терять мужества, странно улыбался и подбадривал.

— А мой муж, — говорила другая, — повторял только одно: «Верь мне! Слышишь? Ты должна верить в то, что я ни в чем не виноват! Ты и детям должна внушить, что их отец невиновен. Это очень важно. Больше я тебя ни о чем не прошу!»

— А мой муж кричал: «Не имеете права! Это недоразумение! Не смеее невинного человека заирать!» — добавляла третья.

И вдруг кто-то из стоявших рядом тихим отстраненным голосом спросил:

— Как думаете, их там пытаются? Говорят, страшно бьют, одному ребра сломали.

Именно с этой секунды я знаю: не каждый вопрос, не всякое слово сознание успеваеет перехватить у других чувств. Все внутри похолодело от страшного вопроса. Какие-то люди могут папе ломать ребра? Один живой человек другому? За что? Как это? Я не умела о таком думать. Но понятие «арест» стало обрастать изнутри еще большим ужасом.

Последними в очереди были немолодая дама со взрослым сыном.

— Кто у вас? — спросил юноша.

— Отец. А у вас?

— Тоже отец.

Последовали вопросы. Когда арестовали? Сколько человек в семье?

— Как ваше имя? — спросили новые знакомые.

Я назвалась.

— А вас?

— Меня — Эрик. А маму — Барбара Ионовна.

Над одной из дверей этого адского зала начинал звенеть звонок с интервалом примерно в минуту-две, что означало: следующий, заходи. В справочном пропускнике не задерживали. Вопрос, ответ, окошечко захлопывалось. Оттуда выходили прямо на улицу. Но очередь была неистребимой. В тот первый день она до нас не дошла. Договорились, что на следующее утро мать и сын скажут, что я стою перед ними.

— Фамилия? — спросил назавтра лысый человек в окошечке справочного.

— Петкевич Владислав Иосифович.

— В тюрьме на Шпалерной.

И деревянная задвижка выхлопнула точку.

Памятуя о случае 1926 года, когда в папе опознали царского офицера и посадили в тюрьму на Шпалерную, мама так и говорила: «Я знаю, знаю, он на Шпалерной».

В очереди Большого дома я узнала, что ежемесячно в тюрьму можно передать тридцать рублей, что день передачи определяет начальная буква фамилии арестованного. Оказалось, и у Эрика фамилия начиналась с буквы «П». На Шпалерной нам дообъяснили:

— Буква «П»? Второе число каждого месяца.

Комиссионные магазины Ленинграда в 1937—1938 годах походили на свалки дорогих старинных вещей: ковров, картин, изысканных люстр, серебра, хрустала, мехов и одежды. На Невском проспекте, у Главного штаба, в сером, ложноготического стиля здании под «комиссионку» был отведен весь первый этаж. Отстояв немалую очередь, мы с мамой сдали сохранившиеся у нас тарелки с вензелями и хрустальные бокалы. Часть вещей отнесли в скупку, где деньги выдавали сразу на руки. Так мы насобирали папе на передачу и себе на жизнь.

Второго декабря, в день передачи, поднялись в пять утра. Зажгли электрический свет. Проснувшиеся сестренки испуганными глазами наблюдали за тем, как мама плакала, «навьючивая» на меня теплый платок и заставляя надеть валенки. В то темное жгуче-морозное утро я садилась в первый вышедший из парка трамвай насильственно повзрослевшей.

На Шпалерной увидела шмыгавших в парадную, наискосок от тюрьмы, таких же, как я, людей. На лестничной площадке третьего этажа шла запись. Более двухсот человек стремились протиснуться к записывающему, волей-неволей производя шум. Заспанные жильцы дома открывали двери своих квартир, возмущенно ругаясь, гнали непрошенных гостей на улицу. Услышав угрозы позвать дворника и милицию, люди шли искать другую парадную, откуда их таким же образом выставляли. От ворот тюрьмы прогоняли также, поскольку туда то и дело подкатывал «черный ворон». Шпалерная пасть открывалась и заглатывала тех, кого привозили в «вороне».

Мы дрогли на морозе. Наконец в восемь часов утра открыли двери тюрьмы. Очередь смолкла, вытянулась в цепочку. Я не сумела понять, отчего, войдя в помещение тюрьмы, вдруг лишилась сознания.

То ли от самого явления тюрьмы, то ли от еще не осознанного более глубокого предчувствия.

Когда моя очередь подошла, я передала в окошечко тридцать рублей на папино имя, плохо представляя внутри тюремных коридоров ларек, где папа мог бы что-то прикупить.

С моими знакомыми по справочному бюро мы договорились теперь встретиться в прокуратуре, чтобы добиться приема у Позерна. Но буквально через несколько дней в газете появилась статья, клеймившая его как «врага народа». Советовали идти к Заковскому, затем к Гоглидзе, но они тоже оказывались «врагами». Перемалывание имен продолжалось. В приеме как таковом всем отказывали, предлагая изложить просьбы в письменном виде. И вряд ли кто-нибудь знал, куда девались заявления с мольбой «ввиду невинности... прошу освободить моего отца... мать... мужа...».

Однажды, когда в приемной прокуратуры все сосредоточенно писали, неожиданно поднялся мужчина и стал громко и жарко говорить о том, что на наших глазах совершаются преступления в отношении старых большевиков и вообще настоящих людей, что, если мы будем сидеть и ждать у моря погоды, истребят всех прочих... Один человек говорил, остальные жадно, с испугом ему внимали. Никто его не прерывал, никто не арестовывал. Фактически это была страстная политическая речь. И удивительное дело, она казалась необыкновенно смелой, волнующей, но... преувеличенной. Ведь существующей властью считался отстрадавший свое историческое время класс рабочих и крестьян. Вред могли нанести жертве — этой власти, но не она же сама своему народу.

Во время посещений разного рода приемных Эрик рассказал, что учится в медицинском институте на третьем курсе. Мечтает стать хирургом. При одной из встреч в прокуратуре вдруг спросил:

— Что же с нами будет?

— Что вы имеете в виду? — насторожилась я.

— Как что? Ведь семьи арестованных высылают.

— Почему высылают? Куда?

— Потому что мы родственники «врагов народа». Куда? Во всяком случае не близко.

Я об этом слышала впервые. Значит?.. Нет! Я это тоже сочла преувеличением. Не может быть такого! Это страшно! Маме я решила вовсе не говорить о ссылке.

Хотя я и продолжала ходить в школу, жизнь фактически переместилась в «казенные дома».

Валечка и Реночка учились. Мама болела, постоянно плакала, и я ее никуда не пускала.

В один из вечеров к нам пришел верный папин фронтовой друг Красовский. Он долго не видел отца и пришел его проведать.

Дома было мрачно, голодно и тускло. Услышав от мамы, что отца арестовали, Красовский буквально взвыл, рухнул на колени перед папиным портретом, висевшим на стене, и громко, жутко запричитал:

— Комиссар! Батька ты наш! Что ж они натворили? Тебя — и арестовать? Да если тебя... так на чем тогда свет держится? Что они там с тобой делают?

Я до этого и представить себе не могла, что мужчина может так плакать. Та папина прежняя, неизвестная мне жизнь, которой я не интересовалась, обозначилась вдруг как главная, превратилась в точку отсчета Судьбы. Слова же Красовского: «Что они там с тобой делают?» — мигом связались с тем, что я слышала в Большом доме о пытках. Я вообразила невыносимое и... поверила в существование потемок мира, в реальность подземелий, где человеку причиняют невообразимую боль, которую он не в силах вынести.

Красовский сходил за вином. Они допоздна сидели с мамой, говорили о папе, вспоминая военную молодость. И мне казалось, уже никогда не будет ничего, кроме мрака, страха и натуги.

После Нового года, 2 января, я снова передала на Шпалерной для папы тридцать рублей. А когда мы с семьей П. встретились там еще через месяц, удивились поредевшей очереди.

— Моего отправили в этап, — повторяли многие, один за другим отходя от окошечка.

Словарь пополнялся. Возникавшие словосочетания «судила тройка», «отправили в этап» были исполнены непонятного и пугающего смысла.

В открытое окошечко и мне ответили: «Петкевич? Отправлен этапом». То же сказали Эрику. Этап? Дальняя дорога? Куда? И на сколько? Возникли измученные папины глаза. Его выводили через эти ворота? Ночью? Гнали в машину, потом в вагон? И в какую нереальную даль везли теперь из Ленинграда?

Провожая меня до трамвая, Эрик сказал, что написал мне письмо, но просит прочесть его дома. «Нехорошо, что в такое время, в пору такой трагедии я говорю вам это, — было написано там. — Но мы не знаем, что с нами будет завтра. Может, и вас, и нас сошлют. Вас в одну сторону, а нас — в другую. Я не могу без вас жить. Я вас люблю».

Издалика пришлось бежать моему сознанию к смыслу написанного. Я ничего подобного не чувствовала. И в помине не было похожего, ответного. Письмо как-то все осложняло, казалось придуманным. Я не поверила тому, что прочла. Отвечать не стала. Эрик позвонил по телефону. Сказал, что понимает, как меня стеснило признание, и просил считать, что его не было: «Мы должны остаться друзьями».

Снова надо было идти в справочное Большого дома. Только там могли сказать, на сколько отца осудила «тройка» и куда отправили.

Уже обвыкшаяся, притершаяся к обстановке справочного зала, я стала замечать здесь каждого в отдельности. Никогда я больше не встречала вместе такой бездны прекрасных женщин. Вольготно

было бы здесь художнику в выборе красивых осанок и лиц, но веками накопленная прелесть, достоинство были помечены страданием и мукой.

Такие женщины не бились в истерике. Они даже туда приходили строго и элегантно одетыми и причесанными. Их потрясенные умы владели искусством оценивать ход вещей пронзительно ясно и точно.

Одна пленительно красивая, поразившая мое воображение женщина обратилась ко мне:

— Кто у вас, дитя мое?

— Папа.

— Отец? А у меня муж.

Она так песенно произнесла слово «му-уж», что, казалось, разом открыла, как прекрасна бывает любовь и ее тайна. Расспрашивала меня о семье. Рассказывала о себе. И я не заметила, как и почему так легко стала с ней откровенна. Я говорила ей то, чем ни с кем до сих пор не делилась, сказала ей даже, что не прошу тех, кто отвернулся от нас с мамой в день отъезда из Жихарева, как и тех, кто голосовал за мое исключение из комсомола. Она слушала меня и, не выразив ни согласия, ни одобрения, мягко и печально резюмировала:

— Запомните, дитя мое, вот что: никогда не надо торопиться делать выводы.

Может, не словами был оттиснут смысл этого совета, а интонацией мудрости, но он остался со мной навсегда. И не однажды пригодился мне в жизни совет прекрасной, задумчивой дамы. Красота ее лица, продолговатые серо-голубые глаза, волосы, собранные в пучок, изысканность речи и этот совет живут во мне как память об исчезнувшей человеческой культуре. Там в беседах завещали и дарили столь нестандартные советы, что многие из них осмысливались значительно позже и служили вечно...

— Меня, конечно, сошлют, но вы такая юная. Дай Бог, чтоб вас оставили! — сказала она на прощание.

— Моя знакомая, — донеслось откуда-то сбоку, — красивая очень женщина, глаз не отвести, и смелая необыкновенно, дошла, представьте себе, до прокурора. Диван у него стоит в кабинете для просительниц. Ну и заверил, что мужа освободит Обещанного, конечно, не выполнил. А теперь сам загремел.

Иные, застигнутые врасплох чувствами люди, избывая здесь горе, все еще сохраняли осколки наивной веры в «гарантии». Многие пытались отыскать логику, назвать ошибкой свой случай. Но кто-то горьким скептическим замечанием обрывал эти попытки:

— Господи, да неужели вы не понимаете, что все это обдуманно, что делается специально, чтобы уничтожить интеллигентных людей?

Мне, семнадцатилетней, еще невозможно было поверить ни в правдивость рассказов о прокуроре и прорвавшейся к нему на прием красивой женщине, ни в прозорливость догадок об умышленности репрессий.

Очередь моя подошла. Как всегда перед справочным окошком, перехватило горло, и я не сразу смогла выговорить папину фамилию.

— Десять лет, Магадан, — ответили мне. — Без права переписки. Так порешила «тройка».

Всю дорогу меня не покидала мысль, что маму известие о десяти годах и Магадане сразит. Я решила сказать ей не все сразу, но, увидев мамнины глаза, смотревшие прямо в душу, ответила как есть. С того момента между нами установился взрослый язык правды во всем.

Позже кто-то надоумил сходить еще раз в справочное Большого дома. Когда этап доходит до места, говорили, там дают более точный адрес.

Тот, последний визит в Большой дом был отмечен одним острым, пронзительным впечатлением. Это случилось вдруг: ровный, приглушенный шум голосов сник. Изнутри зала накатила тишина. Все смолкло внезапно и тревожно. Как и многие, я не сразу поняла, где и что произошло. Появившись из боковых дверей, пробиваясь, прорезая толпу, гуськом шли с котомками в руках мужчины с обритыми головами. Их было человек двенадцать-пятнадцать. Кто они? Куда шли? Но инстинкт плотной толпы мгновенно организовал им коридор.

Первый из идущих внезапно остановился и захлебывающимся голосом выкрикнул женскому скопищу:

— Матери! Жены! Дочери! Слушайте нас! Хлопочите! Вы здесь не напрасно! Пишите всюду! Видите, мы первые из тех, кого выпустили благодаря вашим хлопотам! Женщины, родные, добивайтесь правды! Боритесь!

Боже, что тут началось! Освобождают!!! Все взорвалось. Справочное бюро НКВД превратилось в шумное воспаленное поле. Всклипы рыданий, возгласы и лавина вопросов:

— Откуда вы? С этапа? Из тюрьмы? Сколько отсидели? Кормят как? Скольких выпустили?

И облегчение: ну, конечно же, этого и надо было ждать! А вы говорили! Дурной сон прошел! Недоразумению конец! Выпускают!

Администрация Большого дома уже наводила порядок, мужчин подгоняли, а женщины еще наперебой цеплялись за них вопросами. Царило ликование. Возрожденная вера взвинтила нервы, опьянила. Верить хотелось зримому, услышанному, а не тому, что было уже Судьбой и не поддавалось пониманию.

Не все предались ажиотажу. Нет. Многие тут же поостыли. И даже я, несмотря на начавшийся пляс воображения, ощутила в себе раздвоенность. Домой я, тем не менее, мчалась с вестью: «Видела, выпускают!»

Мы пили чай, строили планы: папа вернется, его надо будет подлечить; ни о каких отъездах из Ленинграда теперь и речи быть не может; какая досада, что его успели отправить на этап, на возвращение уйдет больше времени, ведь дорога дальняя...

Папа?! Нет, он не вернулся.

Маленький отряд, пересекший зал справочного бюро Большого дома, мог быть случайной партией выпущенных на свободу заклю-

ченных. Мог быть инсценировкой, провокацией, как считали некоторые.

Все виденное позже давало основание считать, что попытки мужественных и честных людей в аппарате рвануть руль в другую сторону действительно имели место. Место, но не успех. За отчаянный помысел преградить сумасшедший потоп, лавину арестов им самим пришлось затем разделить судьбу репрессированных.

Ушедшие эшелоны с арестованными продолжали отстукивать версты к восточному краю Союза, к океану, к бухте Нагаево, к смерти. Дармовая рабочая сила заключенных уже приносила стране доход. Дело было задумано прибыльное.

Магадан — папин адрес. И все. Что такое «без права переписки» — поняли буквально.

Я думала о папе постоянно. Так получилось, что, битая им, так и не узнавшая, что такое отцовская нежность, я оказалась связанной именно с ним особенно прочно и навсегда.

В наследство достались неразрешимые вопросы: почему с моим отцом, со множеством таких, как он, жизнь обошлась именно так? Точкой отсчета для его воззрений была «бесправная и нищая Россия». Он руководствовался светлой идеей строительства нового, справедливого общества, стремился быть полезным ему. Это в его жизни было главным, поэтому, когда такой руководящий аргумент, как «я — коммунист!», оголтело перекрывал все остальное, как самоценность утверждался в столь бешеном темпе, что проскакивались традиционные представления о нравственности, отец на свой страх и риск умел остановиться и сделать так, как подсказывала ему совесть. Беспощадность отца к членам семьи угнетала. Тепла было мало. Душевность заносилась в излишество. Самым страшным злом в семье была объявлена ложь. Органическое ее неприятие. Ни в чем. Ни одной копейки помимо жесткой зарплаты. При этом в доме никогда не велись мелочные разговоры. Никакого мусора в общении, в словах. Он в молодости был красивым. Худым и изможденным вернулся после коллективизации из Сибири. Опростился и огрубел на строительствах. И совсем больным стал ко времени ареста! Четче всего я отца представляла таким, каким уже никогда его не увидела: вырванного из инерции бега, обескураженного и горького. О чем он думал сам, что чувствовал при аресте? Потом, идя ему вслед, я уже не разумом, а клетками ощущала, как он переносил свою долю.

Отец Эрика получил тоже десять лет. Место назначения — тот же Магадан «без права переписки». Не успели мы освоить «выданные» нам новости, как раздался телефонный звонок Эрика.

— Мы получили повестку. Нас выселяют из Ленинграда. В трое суток должны освободить квартиру.

Первая мысль: «Значит, и нас...» Высылка — мгла, почти что смерть. Мама рвалась к телефону поговорить с Барбарой Ионовной. Представив, что сейчас происходит в их доме, я отговорила ее. Эрик просил приехать к ним утром.

В их темноватой квартире, обставленной добротной мебелью, был беспорядок. Вещи складывались, связывались, готовились на продажу. Сдержанная и суховатая Барбара Ионовна собственными руками разорвала десятилетиями создававшийся дом и не плакала.

Мы с Эриком стаскивали вещи в скупку: перегруженные «комиссионки» не вмещали то, что несли семьи, отправлявшиеся в ссылку.

На освобождавшиеся квартиры охотники были уже изготовлены. Чаще всего это были следователи и работники НКВД. Нередко хорошая квартира сама по себе являлась прямым поводом для высылки семьи арестованных.

Место ссылки семье Эрика не назвали. Только в Москве им предстояло узнать, куда следовать дальше.

События громоздились одно на другое. Расположить их в какой-то последовательности оказывалось невозможным.

Через три дня Эрик с матерью уезжали с Московского вокзала. Вновь мама просила взять ее на проводы этой семьи. Я не решилась и на это. Она могла не выдержать сцены прощания матери со старшим сыном. Эрик избегал внятного объяснения, почему не тронули старшего брата.

Так и получилось, что моя мама не познакомилась ни с Эриком, ни с его матерью. Только живая и лукавая моя сестричка Валечка упросила как-то взять ее с собой на встречу с Эриком. Сестричке было одиннадцать лет. По каждому поводу она выносила собственные суждения. Эрик ей понравился. На вопрос «чем?» сказала: «Понравился, и всё. Он красивый и хороший».

На вокзал пришли несколько человек. Эрик питал иллюзии, что в Москве они выхлопочут отмену ссылке. Ни на шаг не отпускал меня от себя, просил клятвенных заверений, что буду отвечать на его письма. И перед отходом поезда опять сказал.

— Я вас люблю. Это навсегда, что бы со мной ни случилось.

Барбара Ионовна заплакала только в последнюю минуту. Все было смутно, неестественно.

Поезд тем временем уже отошел от платформы. Приходившие провожать Эрика шли впереди, переговаривались, даже смеялись. И, уходя с вокзала, я отчетливо поняла, что далеко не все потрясены происшедшим. Я не однажды ловила себя на том, что смех или веселый говор окружающих воспринимала как что-то ненатуральное, даже кошунственное. И долгое время оброненная кем-то формула «жизнь продолжается» оставалась для меня непонятной и оскорбительной.

Со дня на день и мы ожидали повестку на выселение, но она не приходила. И наша вроде бы «незаконная» жизнь стала набирать привычный ход. Вера в то, что ссылочное несчастье нас обошло, поделенное на постоянную в том неуверенность, стала нормой жизненного самочувствия.

После папиного ареста круг наших знакомых распался. Многие друзья родителей были арестованы, семьи высланы. Оставшиеся, посочувствовав им и нам, ушли в свои заботы. Мое исключение из комсомола отсеяло большую часть и моих друзей. Был период, когда мы существовали в абсолютном вакууме.

Один визит стал для меня в тот период событием огромной внутренней значимости. Накануне одного из выпускных экзаменов я заночевала у своей подруги Нины, которая оставалась мне верной.

Рано утром за мной прибежала Валечка:

— Иди скорее, у нас что-то случилось!

Не ответив на вопрос «что именно?», она умчалась. Я за ней. Взволнованная мама встретила словами:

— Приехал какой-то странный человек и спрашивает тебя. Я чувствую, что этот человек от папы.

В комнате сидел мужчина не совсем понятного возраста в сильно поношенном костюме и с таким бледным, пастозным лицом, что казался неизлечимо больным. Я представилась. Человек начал задавать вопросы. В каком я классе? Работает ли мама? Как и на что мы живем?

Я понимала, что приехавший спрашивает об этом не из пустого любопытства. Не желая спугнуть гостя, прилежно отвечала. На завтрак у нас был один перловый суп. Мама разогрела его, подала на стол, мы вместе поели, и только после этого приехавший полез в карман и вынул оттуда письмо. Конверт был надписан папиной рукой... Письмо адресовано мне: «Дорогая доченька, пишу тебе, так как уверен, что маму с маленькими выслали. Думаю, что тебе дали возможность доучиться...» Папа писал, что ни в чем не виноват, спрашивал, где мама, как себя чувствует, как сестренки, на какие средства мы существуем. О себе сообщал, что работает в бухте на Охотском море по колено в воде. В конверт было вложено сто рублей.

Нас с мамой бил озноб. Мы не могли понять ни условий папиного существования, ни состояния его здоровья, ни происхождения денег. Бросились к приехавшему с вопросами: как, что, где? Он срезал поток вопросов неожиданным:

— Я не знаю вашего мужа и отца. Я никогда его не видел.

Мы не поняли ответа. А письмо?

И наш гость стал рассказывать то, что воображение не могло измыслить. В том лагере, где находился отец, мало кто знает друг друга по фамилии. Все заключенные — под номерами. Номера нашиты на бушлатах. Только находящиеся в одном бараке имеют представление о своих соседях. На ночь бараки запирают на замок.

Значит, тюрьма, арест — это еще не все? Есть нечто более ужасное? Как может человек ходить «под номером», без фамилии? На папе, на людях нашиты номера? Если бы мне, например, сказали, что превратят в какое-то животное, я была бы не в состоянии представить себе конкретность такого превращения, могла бы ощутить лишь ужас. Ужас и сопровождал неправдоподобие рассказа о номерах,

о словах: «бушлат», «барак», «замок», «работа по колено в воде». Жизнь заполняли противоестественные понятия. От них некуда было деться.

— Как получилось, что вы привезли нам письмо от отца, которого не знаете? — спросили мы этого человека.

Оказалось, существует очередь из тех, кто осужден «без права переписки». Каждый освобождающийся должен развести несколько писем от них. На его освобождение пришлась папина очередь.

— А вы сами из Ленинграда? Ваш дом здесь?

— Нет, сам я из Средней России.

— Значит, вы специально приехали привезти папино письмо?

— Можно считать, что так.

После того как первая схема верований была разбита в пух и прах, идеалы сокрушены, а нужда в них была сверхогромной силы, я слушала этого человека голодно, ненасытно, что-то отталкивая, чем-то пропитываясь. В сознании раздвигались границы ранее существовавшего пространства, делая его шире и страшнее.

«Должен был привезти вам письмо?» Глядя на болезненное лицо приехавшего человека, я понимала, что это героизм. Подлинный, не рассчитанный на внешний эффект, не книжный, а исходящий из еще неизвестных глубин.

Инстинктивно я чувствовала, что выражать ему свой почти что восторг неуместно. Надо было что-то сделать для него. Но что?

Мы с мамой приготовили ему ванну, положили на лучшую нашу постель, просили у нас погостить. Я побежала покупать билеты в театр. Выбрала свою любимую Александринку.

Сидя в уютных, обшитых темно-красным бархатом креслах на спектакле «Таланты и поклонники», я главным образом поглядывала на соседа: нравится ли ему Негина — Парамонова? Великатов — Гайдаров? Сама Корчагина-Александровская? Доволен ли он? И поняла, что спектакль ему не слишком интересен, но очутиться в обстановке театра приятно. Он как-то размягчился, отдыхал, но был где-то очень далеко.

То, что этот человек привез нам первое и единственное письмо от папы, следуя обязательствам личного долга, убеждало в том, что человечность, в которую так пошатнулась вера, на этом свете существовала. Более скупая, но емкая, она находилась в другом измерении. Не там, где арестовывали отцов, высылали семьи «врагов народа», исключали из комсомола. Не там!

Ко всему наш гость, словно угадав наши с мамой мучения, сказал, что попытается связаться со сплавщиком леса и попросит его передать от нас письмо отцу. Сам предложил это и к вечеру приехал с согласием сплавщика. Мы с мамой писали нескончаемо длинное письмо, стараясь уверить отца, что у нас все благополучно, что мы все вместе, в Ленинграде, ждем и дождемся его.

Дошло ли это письмо до папы? Нет, разумеется. Слишком бы это было хорошо. Больше мы никогда ничего от него не получали и ни от кого о нем ничего не слышали. Через двадцать семь лет Валечка сделала запрос о папе. Пришел ответ:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

П-Б № 293408

Гр. Петкевич Владислав Иосифович умер 10 февраля 1942 года. Возраст 66 лет. Причина смерти — абсцесс печени, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1956 года 29 числа произведена соответствующая запись № 2. Место смерти — город, селение — Место регистрации — Мгинский райзагс Ленинградской области. Дата выдачи 29 июня 1956 г.

Заведующий бюро записей
актов гражданского состояния
(Подпись)

Чиновник, составлявший справку, не потрудился даже высчитать папин возраст. Если он действительно погиб в 1942 году, ему было всего пятьдесят два года. Безразличие руки, составлявшей документ, тоже История.

Одиноким и заброшенным, в полной безвестности погиб мой отец. Место смерти не означено, стоит прочерк. Свалочная яма, что считается могилой отца, — Тайна Государственная.

А злобешая дата его гибели: февраль 1942 года? Ей еще суждено появиться в биографии нашей семьи.

Заверение главы государства о том, что «сын за отца не отвечает», известно было со времен коллективизации, когда сыновей и дочерей раскулаченных высылали в Якутию, Соловки, в дома трудновоспитуемых, а тех, кто уцелел, не принимали в вузы страны.

В 1937—1938 годах этот аншлаг обрел вторую жизнь, когда «дети врагов народа» в большинстве своем были высланы.

Мы составили исключение. «Должны быть благодарны!» — говорили нам не однажды.

— Но ведь с тремя же детьми... — оправдывалась мама.

— Что ж, что с тремя. И с шестью высылали, — резонно поправляли ее.

Были правы. Норм не существовало.

В конце 1938 года, когда черное слово «арест» стало возникать пореже, меня неожиданно вызвали в Василеостровский райком комсомола, где некоторое время назад отобрали комсомольский билет. Без каких бы то ни было объяснений, тени виноватости или извинения на этот раз объявили:

— Можешь взять свой комсомольский билет.

«Отдай! Положи!», а теперь: «Можешь взять!». Так просто? Комсомол для меня включал все лучшее и высокое, чем жив человек. Проголосовав за мое исключение, провозгласив: «Ты больше не комсомолка!», молодежный союз самоуничтожил себя. Я помнила недели своей тяжелой болезни после исключения. По-прежнему считала отца невиновным. На его бушлате был нашит номер, он работал по колено в воде. Ничто во мне не встрепенулось на холодное «возьми». А если так, бесчестно было брать отобранный документ. Я окаменело ответила:

— Не надо!

И ушла.

Отказу от комсомольского билета ужаснулись все — и взрослые, и ровесники. Меня хором назвали глупой, слишком гордой, «с фанатериями». Особенную боль причинило «логическое» умозаключение: «Значит, правильно исключили».

С того момента, видимо, на меня было заведено особое «досье».

Ведомая одними эмоциями, из всех сложностей я выходила на своевольные ориентиры. Только согласие собственных чувств с поступком давало ощущение правоты и свободы, устанавливало тот режим мироощущений, который многое определил и в дальнейшем.

Мой приработок, приобретенный к деньгам от продажи вещей, был недостаточен для содержания семьи из пяти человек (бабушка тогда еще жила с нами).

Выручила случайность. В период папиной периферийной службы мама сдавала комнату семье Д. После ареста папы комната осталась за ними. В разговоре с мамой они делились намерением обучить свою старшую дочь, мою ровесницу, росписи тканей. Есть-де у них приятельница, которая за плату обучает этому выгодному ремеслу. Навестив их, эта знакомая постучала к нам в дверь:

— Разрешите позвонить от вас по телефону?

На плечах у зеленоглазой эффектной женщины была накинута косынка с необычайно смелой цветовой раскадровкой: от туманно-красноватого, оранжево-желтого цветов через болотный она уярчалась до буйно-зеленого. Я загляделась. Она неожиданно предложила:

— Давайте я вас, Тamarочка, научу рисовать батиком?

Мы с мамой поблагодарили и отказались.

— Бесплатно, конечно, — угадав причину отказа, тут же прибавила она.

Так запросто участие и насущная помощь вошли тогда в наш дом. Как призналась потом сама Елизавета Егоровна (так звали эту художницу, впоследствии моего друга), интерес ко мне пробудился у нее «от противного». Семья Д., рассказав ей про наши обстоятельства, охарактеризовала меня как личность малоинтересную, заурядную, в чем были совершенно правы. Я не являла миру ни дарований, ни человеческой законченности, а представляла собой бесформенный моток фантазий и чувств. Итак, прежде урока мастерства росписи тканей я получила от Елизаветы Егоровны или, как ее называли «бель Лили», прекрасный урок — искать в человеке лучшее и обратное тому, что о нем бывает сказано.

Первое время я работала как подсобница у нее на дому. Работая в артели, Лили брала и частные заказы. Среди ее клиентов были известные ленинградские балерины и ленинградские модницы. На однотонный или тускло расцветенный отрез заказчицы она наносила затейливый узор, превращая ткань в яркое многоцветье. Думаю, что непринужденная обстановка этих рисовальных уроков и возгоревшаяся дружба между тридцатилетней художницей и мною помогли

развиться во мне импровизационному началу. Я увлеклась росписью на ткани и не раз бывала смущена похвалами своей наставницы.

Позже у меня в артели приняли экзамен, и я стала самостоятельной надомницей. Привезла из артели подрамники, резиновый клей, анилиновые краски, парашютный шелк, который тогда выдавали для росписи продукции — дамских косынок, и «гнала» заказы. Новым промыслом увлеклась и моя сестренка Валечка, став моей верной помощницей, немало подвигая меня к поиску новых композиций своим наивным восхищением. Заработок действительно оказался более чем приличным, и мы стали «оборачиваться». Дома все делали сами. И как будто установилась некая норма жизни и быта семьи. Мы начали верить, что справимся, сумеем прожить.

Близилась выпускные экзамены. Лили распорядилась, чтобы мы купили самый дешевый материал — лионез, натянула его на подрамник, разрисовала. Мама отыскала кусочек черного бархата, и платье для выпускного вечера было создано.

Это я так раньше думала, что не прошу «леса рук» за мое исключение из комсомола. Но свойства юности внесли поправки в отношения с одноклассниками. Меня признавали одной из самых красивых девочек в школе, стремления к дружбе тоже нельзя было искоренить, и к выпуску я позабыла обиды. Нас всех ждала новая жизнь, в испуге и радостных ожиданиях растворилось все преходящее. За столом у моей тарелки лежал стих:

Тамара сегодня докажет собой,
Что розы цветут в нашем крае зимой!

Не надо было гадать, кем он был написан. Ильюша Грановский отвел меня к окну, за которым звенели трамваи, сказать, что следующее утро для него будет самым злым, потому что не надо идти в школу, а следовательно, ждать встречи со мной.

— Ты ведь не захочешь видеть меня без школы? Скажи!

Другой мальчик следил ревнивыми глазами. Третий уже шел приглашать танцевать.

Учителя после раздачи дипломов с неучительской интонацией желали нам удачи и счастья. Педагог по литературе Гильбо декламировал: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атамаи...» Мы как будто впервые видели его. Казалось, вовсе его не знали. И когда через много лет стало известно, что он одним из первых погиб в блокадном Ленинграде, вспоминали его именно таким — озорным и неожиданным. Строгая математичка утратила свою неприступность, а очаровательная физичка высказала вдруг уверенность, что «первой замуж выйдет, конечно, Тамара». Оказалось, что это было общей уверенностью. У меня это вызвало глубочайшее недоумение и обиду.

Вечер этот, с веселыми и печальными словами, вальсами и польками, объяснениями и растерянностью, не до конца понятной виной и благодарностью друг к другу, жизнь отложила в неприкос-

новенности и неповторимости на долгие десятилетия для тех, кто остался из нас в живых.

Все спрашивали: «В какой институт пойдешь?» Я хотела держать экзамен в институт иностранных языков на английский факультет. Прельщали перспективы литературных переводов. Никак не лежала душа к преподавательской деятельности, а реально институт сулил последнее.

С мамой мы все обсудили. Она не возражала. Днем — учиться, вечером — работать. Стипендия и приработок. Должны были обойтись. Я сдала экзамены в 1-й Государственный институт иностранных языков.

Дортуары прежнего Института благородных девиц источали романтический дух, хранили эхо тайн и стонов давних сверстниц. Я была влюблена в здание института, в сад, выходящий на Неву, в его полуразвалившуюся каменную стену, в прелестных девушек, сдававших со мной экзамены, в факт приобщения к студенческому сословию, даже в трамвайную линию к институту — через Дворцовый мост, где только успевай рассмотреть, какого цвета небо над Петропавловской крепостью, над Зимним дворцом, тускло или ярко отсвечивает шпиль Адмиралтейства. Мне было восемнадцать лет. Вопреки всему, я попросту безумно влюблялась в жизнь и снова ей верила. О-о! Мое будущее будет прекрасным! Бессовестно-победно, не усмиренный несчастьем, бил в глубине источник жизни, ни названия, ни силы которого я не ведала.

Пророки ошиблись. Предложение выйти замуж не заставило себя ждать, но я отказала.

После сдачи экзаменов в институт мама уговорила меня съездить к дяде, который жил под Тихвином, там, где когда-то работал отец. Я помнила одушевленный сумеречный омут сиреневой гущи, ржаные поля, распевающих птиц, вечерние туманы тех мест.

Дядя на вокзале усмешливо сказал:

— А тебя здесь ждут!

— Кто? — спросила я, уже догадавшись.

История была давней и памятной не столько страхом перед взрослым плановиком стройки, всегда пристально наблюдавшим за мной, четырнадцатилетней, сколько тем, что родители этого будто бы не замечали. «Отпустите вашу дочь покататься со мной на велосипеде», — обратился он как-то к родителям. «Спросите ее сами», — ответила мама. Куда-то сбежав, я искренне удивилась: «Он так странно смотрит. Я его боюсь. Неужели мама не видит этого?»

Поселок очень застроился. Невырубленные сосны придавали ему курортный вид. Папа začínал все это. Его не было. Выходило, и вправду — «жизнь продолжается».

— Решай сама: принимать приглашение или нет. Мать Юзефа ждет нас на пироги, — забавлялся дядя.

— Принять, — распорядилась я.

Возраст требовал романтических сюжетов. Появился первый из них.

На столе роскошный ужин. Юзеф Ксаверьевич так же неотрывно и жадно смотрит. Ко мне внимательны и мать Юзефа, и его сестра!

Внезапно на поселок обрушилась гроза. Гром, заглушивший звуки скрипки, на которой играл «странный» человек, широкая роспись молний по тучам опозитизировали званный вечер.

Через неделю Юзеф по всей форме сделал предложение. Я ответила «нет». Все было как положено: жених «в отчаянии», и сердце у меня замирало. Потом он обещал прийти и не пришел. Чуть жалости, немного вины и острое любопытство вытолкнули меня из дома. Я обнаружила единственное светящееся окно в конторе-службе. Скинув туфли, чтоб не скрипнули половицы, я поднялась на второй этаж, приблизилась к полуотворенной двери. Юзеф сидел в задумчивости, любопытство было удовлетворено, я убежала. Через несколько минут явился потрясенный жених и рассказал, что у него галлюцинация: он ясно видел меня в белом платье, миг... и я исчезла.

Перебурдаженная собственной экстраординарной и сумасбродством, вознагражденная мистическим эффектом, я не на шутку была озадачена сама собой: зачем я это вытворяю? Получается так, что я себя не знаю! Это — новость.

В мольбах и обхаживаниях матери и сестры Юзефа крылась какая-то истинная разгадка сватовства, но я это отбрасывала. Не подоплека событий нужна была мне, только краски и знаки. Жизнь сыпала их. Этого было достаточно.

Поездка открыла куда более важную ценность. Не успела я в Ленинграде открыть дверь квартиры, как мама воскликнула:

— Господи, я тут чуть голову не потеряла. Отправила тебя — и только тогда вспомнила, что там Юзеф.

Так снялось недоумение по поводу родительского невмешательства. Значит, мама и тогда все видела, понимала, боится за меня и теперь, мама любит меня. А мне это нужно более всего остального на свете.

С раннего детства я была приучена называть родителей «папочка», «мамочка». Так и называла их всегда. Маму очень любила. Но несколько лет жизни врозь в отрыве от родителей образовали некоторую брешь. И хотя я с мамой была откровенна, глубокой доверительности не доставало. Теперь иное слово, реплика заново открывали ее. Как-то в домовой прачечной мы с ней стирали белье. Стоя над деревянным корытом, не различая за клубами пара маму, я стирала и пела. Мама неожиданно подошла, поцеловала меня и сказала:

— Спасибо, что ты поешь.

Униженность, благодарность, еще Бог весть что было в этом. Тут и песня осеклась, и сердце зануло. Фактически я не знала, что происходит в маминой душе. Она то совсем отступала от дел, и мне начинало казаться, что я чуть ли не глава семьи, то вдруг требовала полного послушания. Какое-то равновесие мама обрела только года через полтора после папиного ареста. Сказала, что пойдет работать, и действительно устроилась на недолгое время. Но то было преддверием еще более тяжелого ее душевного состояния.

Уступкой неумолимости жизни стало мамино решение определить бабушку в дом престарелых. Идею подала сама бабушка, надеясь втайне, что ее уговорят остаться. Но вскоре бабушка безропотно

переехала туда. Опять все было мучительно непонятно. Дом, в который я ездила навещать бабушку, напоминал уют, которого я так боялась в детстве. Свой век бабушка закончила там.

Вообще же я то и дело как вкопанная останавливалась перед собственными поступками или чувствами. Мне и в голову не приходило, например, задуматься, люблю ли я своих сестер. Они были неотъемлемой частью меня самой. Выяснилось, что я сущий дикарь в своих чувствах к ним.

Выйдя однажды из квартиры, увидела, как Валечку во дворе бьют двое мальчишек. Не успев даже подумать, что совершаю, выхватив из куба уложенных дров полено, я запустила им в одного из нападающих. Полено угодило в голову, и вечером к нам в дом явились родители пострадавшего с картинным доказательством моего хулиганства: мальчишка с огромным желваком на лбу. Стыд и уверенность в своей правоте спорили во мне. Случись опять такое, как поступила бы, не знаю.

Младшая, Реночка, была воплощением доброты. Если кого-нибудь наказывали, она плакала, всегда всех мирила, сама никогда и ничем никого не обидела. Больше всех папа любил ее.

С Реночкой и произошла умопомрачительная история. Возвращаясь из булочной, я увидела возле ворот возбужденную чем-то толпу. Заметив меня, соседка бросилась утешать: «Не волнуйся, все обошлось!» Поняв, что приключилось несчастье, я ни вопроса задать, ни слова вымолвить не могла. Реночка, как рассказали, выбежала на мостовую, была сбита грузовиком, но так, что, подкинута вверх, перевернулась и, падая, села на подножку притормозившего грузовика. Свидетели происшедшего говорили, что не верили своим глазам. Самой Реночки нигде не было видно. Бросаясь то в одну сторону, то в другую, я отыскала ее в одном из парадных. Белая как стена, онемевшая, она сидела под лестницей. Казалось, что она больше никогда не заговорит вообще. Схватив на руки, прижав ее к себе, совсем обезумев, я металась с ней как угорелая, пока она, наконец, не выговорила первых слов.

Из города Фрунзе, места ссылки Эрика и Барбары Ионовны, одно за другим прибегали письма. Самым мучительным наказанием было то, что никто из них не знал срока ссылки. Пожизненно? Пять или десять лет? Об этом их не оповестили. Как недипломированный врач Эрик смог устроиться санитарным инспектором и на четверть ставки в амбулаторию. Оба тосковали по Питеру. Эрик описывал Киргизию — климат, быт. Они снимали комнату в частном доме. Жили в хате с земляным полом. Воду носили из колодца.

В каждом письме Эрик писал, что любит меня. На письма я отвечала. На чувства его — ничуть. Но в душе проживало ощущение вины за то, что я учусь, а он лишен этой возможности, за то, что им хуже, чем нам.

Со временем определился круг моих постоянных товарищей. Как ничто другое, дружба давала ощущение причастности к живой,

настоящей жизни. Совместная учеба, интересы, тайны, которые поверялись друг другу, постепенно стали составлять мою отдельную, собственную жизнь.

С Давидом Н. мы вместе росли, жили в одном доме, учились в одном классе. В трудные времена он не предал дружбы. Сначала по-детски, потом по-юношески был влюблен. Бросал в окно цветы, выведывал у мамы, что мне нужнее всего, чтобы сделать ко дню рождения подарок; находил способ подкинуть в дом арбуз или шоколадку, а то и упросить свою мать «перешить Томочке платье». Всего не перечать.

А подруг было четверо. Все учились в одной группе, на английском факультете. Нина И., с которой мы закончили одну школу и вместе держали экзамены в институт, была самой близкой подругой.

Жила Нина вдвоем с мамой. Отец имел другую семью, но любил дочь, часто ее навещал. Обширная библиотека, в которой было много теософской литературы и собраний сочинений классиков, была его подарком дочери. Мы с Ниной запойно читали Соловьева, Кржижановскую и верили в переселение душ.

Дом у них был своеобразный: старинная мебель, мягкие бездонные кушетки; золотистые и розовые абажуры со стеклянными воланами создавали празднично-томительное освещение. Жардиньерки, цветы, книги, белые кресла и стулья. Уют.

Нинины отношения с матерью казались мне удивительными. Они были дружны и напоминали больше подруг, чем мать и дочь.

Сама Нина была неизменно добра, говорила негромко, лишних слов не употребляла. Задумчивая и глубокая, девочка своими огромными карими глазами смотрела на мир так, словно ей известна тайна бытия. Лицо ее иногда озарялось таким внутренним сиянием, что я замирала. Степень ее одухотворенности выражала не чрезмерность, а естественность ее чувств. Через много лет, когда они с матерью, разочаровавшись и в семейных и в прочих мирских отношениях, ушли в религию, я не удивилась: а куда еще можно было поместить подобное душевное богатство?

Лиза Р. — тростиночка с живыми черными глазами — была подъемной и пылкой, часто влюблялась, и всегда в очень красивых молодых людей. Все события начинали в ней свою жизнь с шумов и ароматов: шины попискивали, асфальт был мокрый, лунный свет заливал дорогу, пахло черемухой. И только после подобного вступления появлялись «он» и его слова. С поразительной последовательностью она воспроизводила происходящее во всех подробностях и оттенках.

Лиза родилась в многодетной семье. Мать ее имела властный, деспотический характер. Деньги ставила превыше всего на свете. Сознание Лизы было порабощено бездной предрассудков, регламентировано словом «нельзя». Мать так прочно вколотила в нее неуважение к естественным порывам, что вся ее жизнь и тогда, и после превратилась в борьбу живых чувств с различного рода запретами. Стремясь вырваться из-под кабальной материнской опеки, Лиза жадно впитывала всех и вся. Открытость и искренность ее были поразительны.

Интересная, наблюдательная и скептическая Рая Ш. была самой умной из нас, самой серьезной, ироничной. Остроты ее были невеселыми, с горчинкой. Рая говорила нарочито неторопливо, отекая нивая не только слова, но и слоги. «Так вот, я и го-во-рю...» Груз еще не понятой нами жизни тяготел над ней. Ум был острым и точным. Ее влюбленность в студента гидрографического института Е. радости приносила мало. Однако она была предана своей сердечной склонности. Жила Рая с мамой и очень любила свою младшую сестренку Машеньку.

Мы все были очень разными, но ощущали себя органическим сплавом.

В нашу компанию вошли и два Кирилла. Одного из них, блондина, мы называли «Кира-белый», другого, брюнета, — «Кира-черный». Оба учились в гидрографическом институте. Остроумный Кирилл-белый, которого ввела в наш круг моя школьная подруга Сара, был душой компании, постоянно пересыпал речь английскими словами. Излюбленным его тостом было: «За процветание!» Кира-черный — полная противоположность ему. Неразговорчивый, осторожный, скрытный. Был образован, но грешил самоуверенностью.

И еще один сокурсник — Коля Г., внук художника Маковского, — был в нашей компании. Жил Коля через три дома от нашего в прекрасной квартире, которую украшал красивый лепной потолок. Высоченные окна с мраморными подоконниками выходили на Неву. В комнате стоял рояль, а оба Кирилла хорошо играли. Потому чаще всего мы проводили время у Коли. Однако после того как мама сказала: «Прошу тебя не встречаться с молодыми людьми по углам, пусть твои подруги и ваши мальчики приходят к нам в дом», часто собирались у меня.

Это была компания очень неглупых, интеллигентных молодых людей. Объединяла нас не только приязнь друг к другу, но и любовь к музыке, стихам. Слушали Скрябина, Шопена, Шуберта. Читали Есенина, Ахматову, Северянина. Говорили о книгах, были в курсе всех конкурсов, спорили о Боге, в ходу были афоризмы Оскара Уайльда и... вздор юности.

Время от времени появлялись в компании и новенькие. Я была крайне смущена, когда ко мне в институте подошла студентка французского факультета Роксана Сиобори и сказала, что приходит к нам на факультет специально для того, чтобы полюбоваться мною. Пробормотала ей в ответ что-то светское. Однако она проявила настойчивость, попросила разрешения зайти ко мне домой.

Едва знакомство переставало быть мимолетным, я тут же предупредила: «А вы знаете, у меня арестован отец».

Роксане сказала также. Обстоятельство это она приняла как-то особенно близко к сердцу, сочувственно, подкупив тем и маму, и меня.

Приехав к нам однажды и засидевшись допоздна, Роксана себя плохо почувствовала. Мы ее оставили у себя ночевать. В последующие дни ей лучше не стало. Таким образом она пролежала у нас около

двух недель. Мы с мамой выходили ее, и она стала своим человеком в доме.

Роксана училась на пятом курсе французского факультета, была старше меня лет на семь. Внешность у нее была броская: некрасивая, худощавая, с черной челкой на лбу и выпирающей челюстью.

Несмотря на сохранившееся между нами «вы» и возрастную разницу, мы увлеченно разбирали с ней весь мир «по косточкам». Если у всех моих подруг были семьи, то Роксана была одинокой.

Осложнялась эта дружба тем, что Роксану категорически не приняли все остальные. Не нравилась она им, и все тут. Я находилась в нелегком положении человека, который сводил несводимое. Как верный друг, я отвоевывала для нее сантиметр за сантиметром.

— Ну можно, Роксана придет сегодня вечером со мной? Ей так тоскливо!

Соглашались, хотя и скрепя сердце. Мало рассказывая о себе, Роксана все-таки не скрывала того, что ей нравится один человек. Говорила, что хочет знать, каким он покажется мне. Так она однажды пришла с голубоглазым интересным мужчиной с седой шевелюрой. Знакомый Роксаны представился: «Яворский».

Гость рассматривал нашу компанию, коллекцию открыток Парижского салона, составлявшую гордость Коли Г. С одной из них он подошел ко мне. На разъяренном мифическом животном, изо рта которого извергалось пламя, а шерсть стояла дыбом, вцепившись в гриву, сидела обезумевшая нагая женщина. Называлась картина «Страсть».

— Он мне не понравился, — сказала я Роксане.

— Такие мужчины не могут не нравиться! — занозисто ответила она. — Если вы будете утверждать, что остались к нему равнодушны, я не поверю. Вы вообще со мной не откровенны, — не могла уже остановиться она, — у вас столько поклонников. Вы хотите, чтобы я поверила, что вам никто не нравится? Да? — настаивала на чем-то Роксана.

— Никто мне не нравится. В самом деле, — убеждала я ее.

Роксана неожиданно взорвалась:

— Ну да, за вами хвост молодых людей, но вам никто не нужен, а я вот не нравлюсь Яворскому, и, по-вашему, за мной ухаживать больше некому? Так знаете: ухаживают! И романов у меня достаточно! Представьте! Да, да! Бывает так: ночью он приезжает за мной на машине, увозит к себе, становится передо мной на колени и целует подол вот этой самой дерюжной юбки. Целует! Да!

В Роксанином монологе был странный драматический вызов, отчаянная попытка утвердить себя и... прорвавшаяся неприязнь ко мне. Непривычная тональность разговора поразила. И трудно сказать, почему в достоверность картины: ночь, машина, он, стоящий на коленях и целующий край ее юбки, — я так безоговорочно тогда поверила, еще не зная, как важно вовремя остановиться возле того, что смущает неясным подтекстом. В нем, оказывается, куда больше правды, чем в буквальном, дословном.

При столкновении с казуистикой своего времени я чаще, чем следовало, оказывалась примитивной и тупой.

Прочно связанный с папиным арестом, Серебряков регулярно напоминал о себе. В телефонной трубке то и дело возникал его вкрадчиво рокотающий баритон, которым он задавал ошеломлявшие вопросы. Стоило мне понять, что звонит он, как сердце падало и все начинало во мне вибрировать, как под током. Я не находилась, не знала, что отвечать.

Папу еще держали на Шпалерной, когда Серебряков позвонил в очередной раз.

— Тамара Владиславовна, хотите, я устрою вам свидание с отцом?

Это в ту пору, когда я упрямо прохаживалась под стенами тюрьмы в надежде, что окно папиной камеры выходит на улицу и он увидит меня. Надо ли было спрашивать: хочу или нет? Я только не понимала самого Серебрякова. Зачем и почему он стремится сделать нам доброе? И не злое ли его доброе?

— Хочу, — отвечала я чуть ли не в обмороке.

— Прекрасно. Я знал, что вы так ответите. Тогда выходите сейчас к дому с паспортом. Я подъеду.

Паспорт? Я знала, что паспорт постороннему доверять нельзя. Но ведь при первой встрече Серебряков отрекомендовался папиным другом. И хотя это ничем не подтверждалось, слово «друг» все-таки зависло над его именем. Что было делать? Ведь речь шла о том, чтобы увидеть отца. Я мучилась, колебалась, не находила решения этой задачи.

«При обыске у вашего отца взяли общую фронтную фотографию и „Историю партии“ Кнорина», — сказал он сразу после папиного ареста.

Мама проверила: так и было. Кто же он?

Из дому я вышла, но паспорт с собой не взяла.

— А почему надо паспорт?

— Вы что, не верите мне?

— Верю, — отвечала я, не желая обидеть его другим ответом.

— Тогда в чем дело?

Я молчала. Серебряков не помогал. Ждал. И в очередной раз бил без промаха:

— Ну что ж, не очень, значит, хотите видеть отца!

Горячка душевного разброда толкала к кустарной логике. Слышала ли я, чтобы кому-то давали свидание? Нет. А если Серебряков может устроить тайное свидание, зачем тогда ему паспорт? И тут же контрольный виток: а вдруг... такой ход мысли — уловка и оправдание собственной бесхарактерности? Трусости? Вдруг я вправду могла увидеть отца? Разве Серебряков не имеет права на смелый план, в который меня нельзя посвятить?

Когда Серебряков еще до ареста папы не велел ехать в Жихарево, а я поехала, и он на Московском вокзале, уличая меня в ненадежности, бросил: «Так и запишем, что вам верить нельзя», им был применен точный психологический расчет. С тех пор я и

«выкручивалась» в одиночку, только бы доказать ему свою надежность. Я будто держала перед ним экзамен. Неправда! Мне верить можно! И положиться — тоже.

Папа был уже отправлен в Магадан, а Серебряков то и дело звонил, придумывая «благотворительные» акции:

— У меня к вам срочное и важное дело. Выходите к воротам своего дома. Я сейчас подъеду.

Возле ворот Серебряков стоял вместе с шикарно одетым человеком маленького роста.

— Познакомьтесь. Это — Дейч Ричмонд.

Дейч Ричмонд протянул руку. А у меня все сжалось внутри и стало почти дурно. Знакомство с иностранцем в 1938 году? Тогда, когда переписка с рижскими родственниками инкриминировалась как «связь с границей»?

— Тамара Владиславовна, я хорошо знаю, как вы бьетесь, как трудно вам живется. Дейча надо обучить русскому языку. Он хорошо заплатит, а деньги вам пригодятся. договорились?

Дейч улыбался, будто только догадываясь, о чем идет речь. Я чувствовала, что разыгрывается инсценировка. И содержание ее нечисто. Но опять же: кем разыгрывается? Я поблагодарила и отказалась, сказав, что не сумею и не возьмусь.

Маме я не все рассказывала про Серебрякова. О паспорте, например, ни словом не обмолвилась. История с приводом Дейча Ричмонда превосходила прежние опыты. Я оказалась в тупике. Шпионы они? Работники НКВД? При мысли о следующем возможном звонке я вся сжималась. Надо кому-то рассказать, чтоб помогли. Но кому? Кому?

Мои друзья знали о Серебрякове как о странном папином друге. Но ни один из них не смог ответить на вопрос: кто он? Тема папиного ареста все-таки отчеркивала меня ото всех и всего. Я решила: авторитетом для меня являлся бывший комсорг по школе Давид Самуилович Х. С чувством неуверенности в том, что поступаю правильно, я все-таки решила сделать его своим «доверенным лицом».

Давид Самуилович откликнулся, велел соглашаться на встречу, но непременно до этого позвонить ему.

Очередной звонок с «безотлагательным» делом не заставил себя ждать. Я успела дозвониться до Давида Самуиловича. Он сказал: «Беги» — и действительно подоспел к моменту встречи. На этот раз Серебряков пригласил в кино.

Подъехали мы к кинотеатру «Баррикада», когда сеанс уже начался. Серебряков склонился к окошечку кассы, и мне показалось, что я уловила жест, о котором слышала: работники НКВД отворачивают лацканы, когда нужна «зеленая улица». Шла картина «Комсомольск». Героиня актрисы Макаровой ловила на Амуре шпиона.

— А вы могли бы так? — спросил Серебряков.

Я не знала, сумела бы схватить шпиона или нет. Но почему так оскорбительно и плоско меня об этом спрашивают?

На обратном пути в автобусе, увидев Давида Самуиловича, я успокоилась. Но именно успокоения Серебряков и не желал допускать.

— Не простудились прошлой ночью на Неве? — «заботливо» спросил он.

Около двух часов ночи мы действительно выходили с нашим соседом к Неве. Было наводнение, и мы пошли проверить, насколько поднялась вода, поскольку жили на первом этаже. На набережной в тот момент находилось человека три-четыре. Серебрякова среди них не было. Откуда же он мог знать, что я выходила ночью на Неву? Откуда? Мне стало очень страшно.

— Вам идет зеленое платье, — не отступал он.

В зеленом платье я была на днях у знакомых. Серебрякова не было и там. Что же это все значит? Серебряков все глубже всаживал копьё осведомленности. Я уже почти плакала. Да что же это такое?

Давид Самуилович попросил дать ему день или два. Я едва дождалась часа, когда он меня позвал.

— Ну, кто он? Что ему надо?

— Успокойся, — ответил Давид Самуилович, — больше он не будет тебе звонить.

— Но кто он? Кто он? Кто? — жадно спрашивала я.

— Я сказал тебе все, что нужно. Ни о чем больше не беспокойся. Ответ Давида Самуиловича был равнозначен предательству. Он что-то знал и не открывал мне. Я поняла: это запрет. Чей-то.

Страшные «кто-то» и «что-то» не разрешали обнаруживать себя. Их методом было подсылать, надзирать и мучить.

Почему я не решалась сделать самого простого — взять и сказать ему однажды: «Оставьте меня в покое, не смейте мне звонить»? Я инстинктивно чувствовала в нем представителя непонятной мне силы и власти. И ничего, кроме рабского терпения, не могла этому противопоставить. Тридцать седьмой год выучил: для власти не существует запертых дверей. Не достоинство и право человека открывают их, а сама эта власть, ее прихоть.

Нет, Серебряков не исчез. Под разными предложениями он то и дело напоминал о себе. Но некоторый перерыв после вмешательства Давида Самуиловича был дан.

Спасительным было одно: врученное природой мироощущение. Оно возмещало то, что съедала проклятая угнетенность.

Перед майским праздником, когда корабли вошли в Неву, отец Кирилла пригласил нашу компанию на экскурсию. Мы осмотрели рубку корабля, кубрик, потом нам подали по большущему куску мясного пирога, густо посыпанного сахарным песком. Все было необычным. Грело майское солнышко, невская водичка язычками облизывала могучий корпус корабля. Матросы, их молодость, дисциплина, вид набережных с воды, осмысленно бегущий по ним транспорт, дворец, невыразимо любимый город — все слилось для меня в дивное ощущение настоящего. Казалось, нас окунули в идеальную сферу налаженности и безупречности порядка. Таким здесь все было ясным, здоровым и гармоничным. Я чувствовала, что принадлежу этой жизни, пронзительно люблю ее, что все меня

касается. И благодарила судьбу за то, что стою здесь, не выброшена, не лишена этого. Я верила во все счастливое и особое.

И хорошее ведь было. Были сестренки, мама и, в конце концов, жив был отец. Вокруг шумел невыразимо любимый город. Была уйма всякой всячины, частности, которые так важны в восемнадцать лет. В жизнь буквально ворвался друг моего детства на Карповке. После переезда на Васильевский я ни разу не видела брата и сестру, с которыми так дружила. И вот через восемь лет передо мной предстал Вова. Громкий, восторженный и уверенный в себе студент медицинского института.

В белые ночи мы мчались наперегонки на велосипедах по опустевшим улицам и набережным или отправлялись через Тучков мост за цветущей яблоневой веткой, которую мне непременно хотелось получить. Наши прогулки на остров были веселыми и легкими. Шли пешком через мосты и наперебой читали: «Идет-гудет Зеленый Шум...» Все Вовины «извержения» начинались со слов: «Слушай, что я тебе скажу!»

— ...Спускаться тебе по мраморным ступеням посольств, окруженной дипломатами и советниками. Отвечать тебе по-английски и по-французски на вопросы государственной важности. Быть тебе второй Коллонтай! Так пророчествую я — Владимир первый.

— Не быть! — отвечала я, стараясь попасть ему в тон, снижая все реальным пониманием вещей.

Основанием для допущения Вовиных фантазий была репутация нашего института. Многие студентов с третьего курса отправляли за границу на практику. Делились впечатлениями вернувшиеся из Америки, рассказывали фривольные и анекдотические истории побывавшие в Париже. О самой практике умалчивали. Но ощущение перспектив, далеко идущих возможностей было очевидным для многих студентов. Ходили слухи, что тех немногих молодых людей, которые у нас занимались, уже загодя готовят к дипломатической деятельности. Относилось это и к некоторым студенткам.

У меня для подобного будущего не было чистой анкеты. «Запятнанная» биография служила прочной гарантией того, что в этом плане приятных неожиданностей не последует. Не было к тому же честолюбия, не было и нужного уровня успеваемости. Мои подруги после занятий шли домой выполнять домашние задания, а я бежала в артель рисовать косынки. (Неожиданно вышел приказ, запрещающий работать на дому. Рисовать надо было ходить в артель, как на службу.)

И в институте я была не совсем своя, а в артели среди немолодых женщин чувствовала себя вообще неприкаянной и случайной. Переквалифицировавшиеся бывшие пианистки, учительницы и домохозяйки за работой в артели болтали. Самой актуальной темой были мужчины. О них говорили без стеснения, разделяли их со знанием дела. Да и о жизни женщины были нелестного мнения.

— Жизнь? А будь она неладна! — начинала самая старшая, Людмила Ивановна, — не заметила, как состарилась. Ну, со мной

ясно, а ты вот, — обращалась она к соседке, — тебе тридцать лет, посмотри, на кого ты похожа! Вся в морщинах, опухшая, вялая. Ну что это за дело? Плюнь ты на него! Мужики все скоты. Им только дай да подай. Вот скажите: найдется такой дурак, который откажется поцеловать нашу Тamarочку? А кто подумает о том, чтобы она не ходила в стоптанных туфлях? Кто ей в дождь принесет калоши и зонтик?

Разговоры эти коробили. Святое и бытовое в моем сознании никак не соотносилось, тон женщины казался вульгарным. Как можно не верить в прекрасные чувства и отношения? Целостность веры — защита.

Первой на эту целостность покусилась Лили.

Она не нравилась моим подругам. По-иному, чем Роксана, но так же категорически. Ей ставили в укор практичность, предприимчивость. Но я не забывала ее доброты при первом посещении нашей семьи и была к ней по-настоящему привязана. Для меня она оставалась доброй феей.

У нее был любопытный дом. Свою большую комнату она попеременно превращала в две или три, выгораживая спальню для детей, для себя и уголок гостиной. Талантливая, с отменным вкусом, неистощимая в выдумке, она могла покрасить стены в интенсивный синий цвет, потолок — в кремовый, а через некоторое время оклеить эту же комнату имитирующими дворцовый штоф обоями. Сочиняла себе экстравагантные туалеты. Была гостеприимна. Любила музыку. С игривым задором посвящала в секрет того, что она «из рода Малюты Скуратова». Но вот пришло испытание. Не справляясь с частными заказами, она время от времени просила ей помочь. Один из свиты молодых людей напрашивался мне в помощники и попутчики. И мы привыкли, что Лева натягивает нам шелк, а мы с нею быстро, в четыре руки рисуем. В один из воскресных дней во время работы Лили воскликнула в истоме:

— Ах, Тамарейшен, скажите мне что-нибудь!

Уловив счастлирое состояние ее духа, с намерением поддержать его, я заговорно начала:

— А мы вас любим. Я люблю. Лева любит...

Лева грубо оборвал меня:

— Кто вас просил? Что вы наделали?

В первую секунду я опешила, а в следующую поняла: не знаю что, но что-то скверное. Рванулась бежать из комнаты, но Лили, опередив меня, повернула в двери ключ.

— Нет, нет, Тamarочка, останьтесь, не уходите. Вы должны понять нас и простить. Вы на десять голов выше и чище нас, но мы любим друг друга.

Было стыдно и больно. Я задыхалась. Требовала открыть дверь. Они каялись, просили в чем-то помочь. Я ничего не слышала. Меня потряс не Лева. Он мне был безразличен. Но Лили? Их общий обман был невыносим.

Узнав к тому же про Леву, муж Лили, который ко мне хорошо относился, не поверил, что я была в неведении. Назвал меня

«ширмой», что я восприняла как оскорбление. Объясняться с ним по этому поводу не стала и на всю жизнь унесла ощущение бессилия перед такого рода «превратностями».

Отношениям с Лили была подведена черта. Они были загрязнены: «Это и есть жизнь? Для чего рождается человек?»

Наступил тяжелейший душевный кризис. Я просто заболела.

Однако через пару месяцев Лили позвонила по телефону. Сорванным, слабым голосом простонала:

— Тамарочка, приезжайте скорее, я умираю!

Муж от нее ушел. Левин след тоже простыл. Она лежала одна, температура выше сорока. Лили то бредила, то приходила в сознание и тогда просила ни в коем случае не вызывать скорую помощь. У нее нашли заражение крови и еле-еле спасли.

Она жила с чувством вины передо мной. В наших отношениях еще долго сохранилась неловкость.

— Приходите сегодня, я хочу вас познакомить со своей сестрой! — попросила она как-то.

Сестра приехала с мужем в гости. В юности Лили и К-ский (муж сестры) любили друг друга. Однажды поссорились. Она уехала в Днепропетровск навестить мать. А через некоторое время туда пришла телеграмма от родной сестры: «Поздравь меня, я мадам К-ская». После предательского замужества сестры с отчаяния Лили тоже вышла замуж. Через год с ребенком ушла от мужа. У второго мужа была старая привязанность. Она звонила Лили по телефону: «Милочка, принимайте мужа, он пошел от меня домой, совсем еще тепленький». Лили со слезами вспоминала свое прошлое. Я от подобных открытий съезживалась.

«Взрослая» дружба с нею приблизила к пугающей стороне жизни, в которой не существовало ни великодушия, ни уступчивости, где умение захватить что-то хитростью и силой возводилось в доблесть. За всем этим таились неизвестные, непонятные драмы. И самым страшным было то, что они исходили из отношений между супругами.

Я смотрела на импозантного К-ского, с видом побитой собаки следовавшего по пятам за Лили, на самоуверенную непривлекательную сестру, которая только посмеивалась, и всеми силами души отвергала все это. Жаль было только Лили. Она открылась мне, как человек несчастной Судьбы.

В результате из всех пережитых наших отношений выработалось что-то вроде обоюдного сострадания. Многие даже называли ее моей «дубль-мамой». Она часто пыталась заслонить меня собой.

Я знала много ее знакомых. Чаще всего это были драматурги, журналисты. Мне нравились дома тех ее друзей, где сохранялись традиции давнего времени к обеду собираться всей семьей, делиться впечатлениями от спектаклей. Встречая, кстати, впоследствии на афишах знакомые имена, я не однажды в пианистах, эстрадных актерах узнавала детей, выросших в этих семьях.

Имя одного человека, с которым меня познакомила Лили, должна упомянуть особо. Москвичу Платону Романовичу было тридцать два года. Работал он в Наркомате кинематографии по обмену фильмами

с заграницей. Он был как раз из тех, которые приходят встречать в дождь с зонтиком и калошами. Вскоре после знакомства я услышала:

— Давайте-ка пойдем в «Пассаж» и купим вам новые туфельки.

Разговор о «Пассаже» я приняла в штыки; от заботы все-таки дрогнула. Поняла, что в жизнь поступался внимательный и добрый человек. На его влюбленность отозвалась лишь дружбой. Для продолжения этих редкостных отношений жизнь изготовила впоследствии странное место и время.

Меня тянуло к сверстникам.

Влюбиться? Выйти замуж? Ну конечно же, все это ждет меня, но еще не пришло. Три мои подруги уже давно влюблены. Моя дорогая Ниночка заламывает руки, благодаря Бога за радость любви к своему избраннику.

— Ты не представляешь, какое это счастье! — затаенным голосом говорила она. И глаза ее полны слез.

Я и сама видела, как она счастлива.

— Мой Е. собирается в экспедицию на Северный полюс. Вот бы поехать вместе! — мечтательно произносит изысканная, умная Раечка.

— Се-ре-жа! Се-ре-жка! — выпевает Лиза влюбленно. — Верно ведь, он лучше всех? Ну скажи!

А я? Немного увлеклась пустым А., потому, наверное, что он дразнит меня за привязанность к Загоскину, начисто перечеркивает «Юрия Милославского» и «Аскольдову могилу», в которых я многое нахожу для души.

По отношению к нашему кругу все остальное было как бы пришлым, добавочным. А в кругу друзей-сверстников царило тогда безоглядное доверие. Мы радовались тому, что кому-то идет новая шапочка. Утоляли потребность поделиться соображениями о жизни, о человеке. Мы знали все не только друг о друге, но и о своих мамах и сестрах. Перезванивались по телефону и виделись ежедневно. Наш дом никогда не пустовал. В нем все существовали открыто и раскованно.

Именно поэтому стало как-то тревожно и смутно, когда в ритме встреч явно что-то нарушилось: то один долго не приходит, то другой, вовсе без объяснений или с туманными.

Первой явилась с неожиданным и страшным разговором прямая, искренняя Лиза.

— Поклянись, что никому не скажешь! Меня вызывали.

— Куда?

— В Большой дом. Спрашивали про всех нас. Про тебя тоже.

— Что?

— Про тебя, в общем, мало. Они только сказали: «Ну, настроение этой девочки нам понятно. У нее арестован отец. Она не может хорошо относиться к советской власти...» Они ведь про всех спрашивали, чего ты так испугалась?

— А ты?

— Что я? Сначала перетрусила. Но тот человек такой внимательный. Знаешь, как он меня принял? Снял пальто, усадил. Мне, конечно, было приятно, что они мне доверяют. Про Раю спрашивали.

— А там что, не один был?

— Двое.

— А про Раю что?

— Сказали: «Вот вы все так бедно одеваетесь, а у вашей Раи есть беличья шуба. Вы не задумывались, откуда она у нее? Ведь ее мать мало зарабатывает».

— При чем тут шуба?

— А правда, откуда у Райки шуба? Она что-то говорила про дядю. Может, он ей купил? Мы ведь, правда, не задумывались: откуда?

Пересказанные Лизой вопросы столь мрачного и злодейского для нашей семьи государственного учреждения, как Большой дом, заледенели, навели на меня ужас. По десяткам оттенков я улавливала, что сама Лиза ничуть не смущена состоявшимся вызовом. Напротив, горда. Вызов делал жизнь Лизы значительнее, осмысленнее. Она, как и все мы, была простодушна. В том, что походя была занесена зараза недоверия друг к другу, она не разобралась. Недоверие только посеяли. Прорасти оно должно было само.

Прежде про такого рода вызовы мне слышать не приходилось. Теперь я стала всматриваться в каждого из друзей.

Следующим был Давид.

— Ты только не волнуйся, Томочка. Меня вызывали в Большой дом. Интересовались, что делаем, когда собираемся, о чем говорим. Почему собираемся у тебя и у Коли. Я прикинулся недоумком. Сказал: «Ну, собираемся. Как все, так и мы», — только и добавил Давид.

Больше о вызовах никто не рассказывал. Можно было только гадать: вызывали Кириллов? Или Раю? А Колю? Нину? Может, они решили молчать, как им было велено? Ни одного из них я не спросила об этом. Если человек сам ничего не говорит, значит, не хочет. К Лизе и Давиду сохранила глубокую благодарность за прямодушие.

Большой дом?! Там вечно освещены окна. Там занимаются «врагами народа». И теперь — мной. Безыскусный Лизин рассказ о вызове оказался неисчерпаемым поводом для размышлений.

Слишком много уже было в жизни неясностей. Начиная с того, что мы больше ничего не знали о папиной судьбе. Непонятно было, для чего около меня маячит Серебряков, почему мой комсорг отказался пояснить, что это за фигура. Все вместе это выглядело сухой тьмой, но после Лизингого рассказа я обрела хоть какую-то возможность представить себе точку зрения на себя, на нашу семью органов власти. С тоской раздумывая над каждым пересказанным Лизой словом, я поняла, что сентенция «Настроение этой девочки нам понятно... У нее арестован отец. Она не может хорошо относиться к советской власти!» — фактически повешенная на меня этикетка «Брак!». Меня как бы выставляли из действительной жизни.

Но я срослась со своими сверстниками, хотела верить, что выпустят папу, все объяснится, хотела быть участницей жизни своего поколения. Я любила жизнь. Была полна сил. Обида и бунт попеременно сменяли друг друга. Вера в прояснение, в свою счастливую звезду побивались отчаянием.

Коля Г. был самым сдержанным из нас, молчаливым. Мои родные любили его больше других. Маме он не отказывал ни в одной просьбе: чинил электричество, врезал замок. К сестренкам был неизменно внимателен, баловал их. Меня — любил.

О вызовах больше никто не говорил. Мы продолжали собираться, хотя не так часто, как прежде. Однажды Коля пригласил меня в комнату отца, чтобы сказать нечто «важное». Зажег старинную лампу, имевшую форму костра. Усадил меня в вольтеровское кресло. Собравшись с духом, произнес: «Я тебя люблю. Будь моей женой».

Я Колю не любила. Пока не было этих слов, было легко. Теперь, когда надо было сказать «нет», все осложнялось. Тем не менее трудное «нет» было произнесено, и мы вернулись в большую комнату, где Кирилл-белый играл на рояле.

За окном слышался непривычный грохот, гул. Поначалу на него никто не обратил внимания, но он усиливался. По Первой линии Васильевского острова шли войска, ехали походные кухни, двигались танки. Мы уселись на широкие мраморные подоконники в ожидании конца шествия. Оно не прекращалось. И тогда кто-то из мальчиков произнес слово: «Война?!»

На улицу из домов стали выходить люди. Образовались толпы. Так мы в тот вечер увидели начало финской войны. Услышали же о ней утром, когда объявили по радио.

В те годы повсюду были развешаны плакатики: «Чужой земли не хотим, но и своей ни пяди не отдадим!» Вопрос внешних государственных отношений казался беспроблемным. И вдруг. — война. Откуда? Почему?

Через несколько дней обоих Кириллов взяли в лыжный батальон. А Коля Г. попросился на фронт добровольцем. Когда мы пришли к военкомату проститься с уходящими на фронт, мальчики показались незнакомыми, осунувшимися. Их нарочитое бахвальство сковывало. Плакали родные. Мысль о том, что кого-то из них могут убить, казалась невероятной. Я казнила себя за Колю. Дома на меня смотрели как на злодейку. Все его жалели: довела, мол.

Ленинград затопила темнота. На фонарных столбах и в подворотнях зажглись синие лампочки, едва освещавшие тротуары. Зима выдалась лютая. Без электрического освещения улицы города выглядели незнакомо. Разной конфигурации и высоты дома представляли при лунном свете сросшейся каменной массой, искусственным нагромождением полуживых квартир.

Линия Маннергейма, выстроенная под носом у города, оказалась неодолимым препятствием. Финны боролись яростно, с ненавистью,

организованно и в одиночку. Рассказывали, как, замаскированные белыми халатами, они спрыгивали с деревьев на наших бойцов и зверски расправлялись с ними: финками вырезали у них со спины полосы кожи, выкалывали глаза. Будто даже раненные, очутившись на операционных столах наших госпиталей, умудрялись всадить врачам в живот финки.

Письмо, пришедшее от интеллигентных Кириллов, также ошеломило. Они описывали, как при взятии Выборга наши красноармейцы громили и крушили квартиры, ломали мебель и били зеркала.

Все, что становилось известным про войну, лишало права судить поступки одних и других прежними, «мирными» нормами. Что-то круто меняло людей.

По окончании войны, услышав, что войска возвращаются, я вместе со всеми выбежала на ту же Первую линию Васильевского острова. Ликующие ленинградцы опустошали ларьки, раскупая папиросы и плитки шололада, чтобы бросать их красноармейцам. Но сами красноармейцы, не разделяя восторга победы, которую только что добыли, сидели в открытых грузовиках настолько измученные и усталые, что мало-помалу крики стихли. Нечеловеческая выпотрошенность солдат умерила возгласы и усмирила толпу.

Наши мальчики возвратились живыми. Кира-белый разрывной пулей был ранен в ногу. Он вскоре женился на моей однокласснице Саре. Совсем неожиданно объявил о своей женитьбе клявшийся мне недавно в вечной любви Коля Г. Из Белоруссии к нему приехала милая, спокойная женщина и поселилась у него. Дома теперь, напротив, за Колю заступалась я.

Платон Романович, приезжая из Москвы, постоянно уговаривал меня пойти с ним в театр на оперетту или в ресторан.

— Как? Вы ни разу не были в ресторане? — удивился он.

— Ни разу.

— В таком случае пойдемте в «Европейскую».

Мне было уже девятнадцать лет, но без маминого разрешения я никуда не ходила.

— Ну что ж, иди, — не воспротивилась она.

Платон Романович приехал с рыжим другом.

— А это Сема. Самый мой близкий дружище. Знакомьтесь.

Сверкающий зал «Европейского» ресторана своей перемонностью, усердием электрических лампочек, туго накрахмаленными скатертями, мраморными колоннами, бра, разноцветными бокалами зажег незнакомые чувства. Помимо воли хотелось иначе ступить, быть по-иному одетой. Я чувствовала себя потерянной.

Когда подошли вышколенные официанты, я на вопросы Платона Романовича, что заказать на ужин, ответить не смогла. Чутье подсказало моим спутникам, что на некоторое время меня следует оставить в покое.

На эстраде ярким пятном смотрелся цыганский хор. Дружные смычки выводили вольную мелодию, что никак не вязалось с обликом

зала. Едва я успела освоиться с новизной обстановки, как заметила вошедшего в зал крупного человека с пшеничной шевелюрой. Он неторопливо прошел к середине зала, меланхолично прислонился плечом к колонне и, медленно поворачивая голову, обводил взглядом сидящих в зале людей.

В появившемся человеке я узнала тещу Яхонтова. Впервые слышала его в Ленинградском лектории, будучи школьницей восьмого класса. В его программе тогда была речь Димитрова. В то время сама эта страстная, меткая речь поражала. В ярком артистическом исполнении Яхонтова она производила неповторимо победное впечатление. Слышала я и другие его программы. И вот сейчас недосягаемый человек находился в этом зале.

И так взвинченная непривычными эмоциями, я едва поверила в истинность происходящего, когда встретила с ним глазами и увидела, как, не отводя от меня взгляда, он направился прямо к нашему столику. Сердце застучало где-то в горле. Как сквозь сон, я услышала голос Платона Романовича, воскликнувшего:

— Володя! И вы в Ленинграде? Садитесь к нам!

Едва ответив на приветствие, отмахнувшись от ритуала знакомства, Яхонтов в продолжение какой-то своей фантазии плавно перенес свой стул к моему, поставив его чуть позади, и, наклонившись ко мне, шквальню обрушил:

— У одной дамы умирал муж. О-о, как она горевала! Стоя у смертного одра, клялась, рыдая: «Мой дорогой, я буду тебе верна до последнего дня своей жизни!»...

Мгновенно приняв условия игры, почувствовав себя безгранично счастливой, я вся обратилась в слух.

— «...Дорогая, — произнес умирающий, — будет достаточно и того, если ты останешься мне верной до тех пор, пока не высохнет моя могила», — продолжал тем временем тещ. — Пришедшая к соседней могиле вдова была поражена, увидев, как дама в черном обмахивает могилу веером. «Что это значит?» — спросила она у служанки. — «Муж моей госпожи только что умер. На смертном одре сказал ей, что будет вполне достаточно, если она будет ему верна до поры, пока не высохнет его могила...»

Яхонтов закончил притчу. Ему аплодировали. Платон Романович разлил вино, они уже о чем-то говорили, а я все еще хмелела от воздуха надвешней страны, в которую так внезапно и преудивительно попала. Не принимая участия в разговоре, я, замерев, гадала: уйдет этот великолепный артист или нет?

Он не ушел. Во мне все пело. Звездная дистанция сокращалась. Трое мужчин провозжали меня до дома. Яхонтов читал Маяковского.

— Как? — спросил он.

— Не понимаю Маяковского, — ученически ответила я.

— Вот и прекрасно. Об этом мы и поговорим завтра в двенадцать дня у Медного всадника, коль эти двое не поняли, что им давно следовало убраться!

Перемахивая сумасшедшими прыжками дворные лужи, не понимая, в шутку то было сказано или всерьез, я неслась домой.

— Мамочка, завтра в двенадцать дня Яхонтов назначил мне свидание!

И, почти не уснув в ту ночь, прогуляв на следующий день в институте лекции, ни в чем не уверенная, к двенадцати отправилась к назначенному месту.

Город был погружен в густое молоко тумана. Его мгlistая зыбь поглотила здание Сената, памятник Петру, съела простор над Невой. Туман топил человеческие фигуры, глушил гудки машин.

Мы возникли друг перед другом внезапно. Крупный человек по-деловому подхватил меня под руку и опять же, в продолжение собственного пира, заново рождал слова: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид!..» Я понимала, что главное для Яхонтова — он сам. Град Петра и я — аудитория. Но Боже мой, разве этого мало для счастья? Размыкались неизвестные мне еще силы, рушились стены обыденной жизни, текла музыка. Он пел себя, город и все-таки немножечко меня. Это был — восторг!

На громкое рифмование из тумана вынырнул милиционер. Отсмотрев кусочек непонятной яви, увяз в нем опять. У памятника явственнее всего просматривались хвост и копыта коня Фальконета. Потом мы шли вдоль набережной, слушая, как волна бьет в свои гранитные одежды, казавшиеся в тумане особо оберегающими и защитительными.

Может, та прогулка в океане «всемирного» тумана под руку с Владимиром Николаевичем, читающим стихи, была лучшим днем моей юности. Скорее всего что так.

Городские афиши извещали о том, что вечером в Филармонии он будет читать «Ромео и Джульетту».

— На ваше имя будут оставлены два места, — сказал он.

Кого же взять с собой? Того, кто потише. Кто не спрашивал бы и не говорил, а только присутствовал.

У окошечка администратора собственная фамилия прозвучала, как пароль у входа в Зазеркалье. Выдав две контрамарки середины пятого ряда, мне будто сказали: «Ах, ваше сиятельство, Вы? Пожалуйста!»

Очутиться в хрустальной сказке филармонического зала, опереться локтями о полированный, цвета слоновой кости, подлокотник кресла — уже праздник. Но когда понимаешь, слушая сильный певучий голос, что он обращен к тебе, звучит для тебя (я была выбрана чтецом как адресат), тут уж вовсе голову теряешь.

В антракте мы с подругой даже не поднялись, чтобы выйти в фойе. На меня с любопытством оглядывались. Подруга произнесла: «О-ой!» А я сидела не шелохнувшись, дабы не спугнуть случившегося чуда.

Но вот на себя обратила внимание шагавшая по галерее женщина цыганского типа. Она шла смело, почти что с вызовом. Волосы были распущены, в ушах — кольца золотых серег, и почти слышно, как бренчат браслеты. «Это — к нему, за кулисы. Первый раз так не идут!» И «цыганка» пригасила волшебство.

— Почему вы не зашли ко мне? Почему меня не подождали? — спрашивал Яхонтов по телефону на следующий день.

Про «цыганку» сказать не посмела. Звонку обрадовалась. Тому, что сказал затем: «Жду вас в вестибюле гостиницы в три часа. Почему молчите? Я жду!» — воспротивилась. Понимала: номер гостиницы, один на один. Но что-то внутри подтолкнуло: «Ступай! Я спасу!»

Загипнотизированная необычайностью, страшась «обычности», пошла. Владимир Николаевич ждал внизу. Мы поднялись в номер. Он позвонил и заказал вино и фрукты. Опять читал Маяковского. Говорил, что поэта нельзя не любить. Спрашивал, чем он мне неугоден, разливал шампанское, резал яблоки и отщипывал для меня виноградины. Я думала о том, как интересно будет рассказать об этом всем и как будет плохо, если он сейчас подойдет ближе, чем следует. Он и подошел. А я была далека от взрослых игр такого рода!

Стремительно сбежав оттуда, я ныталась посмотреть на ситуацию с точки зрения его самого. По отменно банальному варианту я выходила чуть ли не обманщицей: зачем же шла?

С Олимпа ступени ведут все туда же, вниз? Таков итог? Тем более я была обрадована не погасшим интересом, когда была приглашена на следующий концерт. В программе был Зоценко. В первом ряду сидел автор с женой. Он мало смеялся, но аплодировал. Рассказы Зоценко пользовались тогда необычайной популярностью. Яхонтов читал их отнюдь не весело, а с каким-то выпуклым, подчеркнутым «пониманием» незадач зоценковских персонажей. В «Путешествии по Крыму» усаживался в выемку рояля и, раскачиваясь между его боками, пластикой передавал муки пути, переводившие удовольствие в кошмар. В зале стоял беспрерывный хохот.

Мама заметно нервничала, когда я уходила на второй концерт. Я спросила, что ее беспокоит. И тут выяснилось следующее. Роксана, по-прежнему находившаяся на положении нашей полужилицы, подзуживала маму:

— Вы что думаете, эти походы носят невинный характер? Ведь он не мальчик!

Зачем Роксане понадобилось вносить разлад между мамой и мной? Для чего она травит маму? Как может при этом с прежней жадностью расспрашивать обо всем, если не верит в мою искренность?

— Вы на меня за что-то сердитесь? Сердитесь, да? — вытаскивала из меня Роксана.

— Нет.

— Я же чувствую. И мне жизнь не в жизнь. Ну, простите, если я в чем-то виновата. Я ведь вас так люблю! Я вас боготворю!

«Да, она действительно меня любит», — думала я, не в силах устоять перед ее уверениями.

Уезжая в Москву, Яхонтов просил писать ему. И я ни за что не вспомнила бы содержания своих наивных писем, если бы Владимир Николаевич не звонил по телефону и не пересказывал бы, что его

в них поразило. Он говорил, что первым делом в груди корреспонденции отыскивает мои конвертики.

— Помните, как вы написали, что были невольны призвать из будущего ту себя, которая могла бы ответить на мои притязания? — напоминал он мне. — Помните, что сказали о картине, где голубые море — небо, втягивая в себя, рассыпают яхту и паруса?

Разного рода оттенки отношений убеждали меня не столько в степени мужской увлеченности мною, сколько в великодушии и безграничности человеческих чувств вообще. И я представляла, каким головокружительным и невыразимо глубоким будет счастье, когда я полюблю сама. Один из наших институтских преподавателей сказал как-то: «Смотрите, я вам не прошу, если вы выйдете замуж за несовершеннолетнего человека. Ваш муж должен быть и красив, и умен, и тонок». А как же иначе? Я была намерена оправдать самые высокие ожидания, ни на йоту не погрешив ни против красоты, ни против содержания.

Пока же трезвая прозаическая жизнь спорила с идиллическим воображением. Своеволие и чувство независимости соседствовали с болезненной неуверенностью в себе, с заботостью, оставшейся с детства. Несуразное сочетание нередко приводило к острому разладу с собой, грозило прищемить и даже уничтожить всю.

Мама, на которую я смотрела как на атрибут жизни детей, вдруг спросила:

— Тамочка, ты не возражала бы, если бы к нам пришел один человек?

— Зачем? — настороженно и холодно спросила я.

Мама замолчала. Она уповала на то, что старшая дочь поймет ее, не воспротивится праву быть жаждущей и живой. И обманулась. Ей было всего тридцать девять лет. У нее было свое сердце. И мы могли в тот момент стать очень близкими друзьями... Но где-то в бухте Нагаево по пояс в воде папа грузил камни. На его бушлате был нашит номер. Он был лишен права писать нам и получать от нас письма и помощь. А разве мама жила не с этим? Драматизм ее жизненного ощущения в полной мере проступил, когда все чаще и чаще мама стала покупать вино и в одиночку выпивать рюмку-другую. С неизбывной тоской в глазах, стыдясь и казня себя, она искала в том спасение.

— Где мое платье, мамочка?

— Оно... Я его продала, детка.

Увидев, что это не шутка, я ужаснулась и возмутилась, бушевала, грозила уйти из дому. И однажды ушла в институтское общежитие. Но, прибежав домой и застав маму в постели с компрессом на голове, увидев замкнувшихся сестреночек, тут же вернулась.

— Мамочка, не делай этого! Перестань!

— Я больше не буду!

Но все начиналось сначала. Рушилась мамина и наша жизнь. Судьба бесчинствовала. Мама и вино? Она прошла фронты и плен.

Любила петь старинные романсы. Ее женскому очарованию поклонялись. Когда принципиальность отца стала в партийном аппарате неуютной и его сместили на хозяйственную работу, она спокойно, без надрыва следовала за ним по стройкам, размешивала пойло для домашней коровы!

Тридцать седьмого года моя мамочка-мама перенести не смогла.

Несмотря на «болезнь», которую мы всячески старались скрыть от окружающих, мама оставалась высшей инстанцией семьи.

Все вещи были проданы. Подрастали сестры. Их надо было одевать. Мама вдруг спохватывалась, оформлялась на работу и по три-четыре месяца работала, пока не побеждало безволие.

В Ленинграде свирепствовали различного рода эпидемии. Тяжело заболела и я. Угодила в больницу. Довольно долго там пробыла. Больные рассказывали, как ходили смотреть на «такую молоденькую умирающую». Лечащий врач, желая опробовать новое лекарство, вывез меня с другого отделения как безнадежную, но вылечил. Почувствовав себя уже совсем здоровой, я спросила его, когда меня наконец выпишут.

— Через пять дней я уйду в отпуск, и вас выпишут, — ответил врач.

И в день выписки распорядился:

— Получите свои вещи, оденьтесь и идите направо к воротам. Я вас буду ждать там с машиной.

Я не хотела замечать «выразительных» взглядов тридцатилетнего доктора, о машине слышать — тем более. И когда Валечка принесла мне в больницу вещи, мы пошли с нею к трамваю и благополучно добрались до дому. В квартире пахло куриным бульоном. Царское, по нашим возможностям, мамино приготовление к встрече растрогало.

Не прошло и получаса, как в дверь позвонили, и явился доктор.

— Разрешите? Здравствуйте! Как же так, Тамарочка еще так слаба, почему она не захотела, чтобы я привез ее домой? А-а, у вас еще две дочери? Вам, наверное, нелегко живется?

Доктор обаял маму, соседей, тетю и зачастил к нам. Усаживая на колени сестренку, интересуясь делами тети, он подолгу беседовал со старшими.

— Как же это вы, — говорил он маме, — столько лет не выезжали на дачу? Это необходимо и детям, и вам. У меня в Вырице дом. Приглашаю вас к себе на все лето. Там и лес рядом, и река.

Я возненавидела его. Никак не могла понять окружающих: что в нем нашли? Начиная от внешности, голоса, приторности обращения, мне все в нем было неприятно.

— Что Тамуленька хочет? — спрашивал он меня в третьем лице.

— Ящик конфет, — выпалила я, желая ему досадить.

Мама лишилась дара речи, когда на следующий день он выгружал на стол товарный ящик сластей.

— Никто меня не учил таким выходкам! — оправдывалась я перед мамой после его ухода. — Но я не хочу, чтобы он ходил к нам.

Хотела сказать больше: «Ему здесь делать нечего! Он мне отвратителен. Я не могу находиться с ним в одной комнате! Не смей его принимать!» Но я не разговаривала с мамой так равноправно.

Врач М. предложил выйти за него замуж. Защищена диссертация. Есть дача. Квартира. Есть рояль. «Тамуленька и дети будут учиться музыке».

Подруги иронизировали: бывает, мол, находят «счастье» на курорте, в хорошей компании, но чтобы в больнице?! Никто из них не принимал всерьез такого «жениха». Увидев его, Лили не постеснялась сказать ему:

— И думать не смейте об этом! Как вам не стыдно!

Не так просто обстояло дело с «домашним советом». Соседи, хоть и не были близкими друзьями мамы, очень жалели ее. Тетя тоже видела, как мы бьемся. Исходя из этого, все заняли четкую позицию.

— Что ж, Тамара, ты — старшая, выучилась. Закончила школу. Теперь сестер поднять надо. Думать надо не только о себе. Человек с положением. Любит тебя. Что тебе еще надо? Посмотри на маму, на младших своих. Да и пора уже замуж.

Беспощадная правда стороннего взгляда на жизнь нашей семьи. Чужая разумность. Жизненный опыт. Даже требовательность, не только укор. Как реально и ощутимо это надвинулось тогда и стало теснить, наступать на меня. Я вглядывалась в непротестующее выражение маминого лица и запутывалась еще больше. Да разве можно желать, чтобы я вышла замуж, не любя???

При мысли о докторе М. как о муже у меня все леденело внутри. Я стала дурно спать и, как ни пыталась себя в поисках выхода, кроме мысли о том, что лучше броситься в Неву, чем выйти замуж за М., ничего на свет произвести не могла. Как к самому главному испытанию готовилась к разговору с мамой. Дома уединиться было негде. Я позвала ее пойти со мной пройтись:

— Мамочка, ты хочешь, чтобы я вышла замуж за доктора?

В глубине души я надеялась, что мама накинется с упреком: «Как ты могла подумать? Ты что, с ума сошла?»

Мама не накинулась. С беспредельной усталостью ответила примерно так, как я и хотела:

— Раз ты его не любишь — нет. Конечно, я хочу, чтобы ты была счастлива.

Но я увидела, я поняла, что в маминой некатегоричности надежд и правды неизмеримо больше, чем в уклончивых словах. Она надеялась именно на такое замужество старшей дочери.

Маминим словам я сказала «спасибо», скрыв, что сумела за ними прочесть. Свое «не могу» властно прорывалось к жизни. Я его переступить оказалась не в силах.

Еще в школе по книге «Занимательная грамматика» я научилась, приблизив текст к уровню глаз с наклоном на сорок пять градусов, читать суженные, вписанные в круг буквы. Написанное таким способом Серебряковым письмо пришло из Крыма. Кроме приветов и сообщения о погоде, там не содержалось ничего. Напоминая о своем существовании, ему важно было держать меня в состоянии постоянного страха.

Недели же через две тетя рассказала, что, позвонив, в квартиру вошел мужчина, одетый во все кожаное, и принес убитого зайца.

Через час позвонил Серебряков:

— Я был на охоте, и мой шофер должен был завезти вам подарок.

Олицетворявший абракадабру, убитый заяц произвел сверх меры тягостное впечатление. Я не знала, что ему ответить. Но расхрипевшаяся мама неожиданно вырвала у меня трубку.

— Приглашаю вас на зайчатину! — вырвалось у нее, к моему удивлению.

Все рассказанное мною о Серебрякове казалось ей неубедительным. Ей захотелось самой составить впечатление о непонятном человеке.

Серебряков приехал с «двоюродным братом» (так он отрекомендовал спутника, носившего три шпалы в голубых петлицах военного мундира). В презент была привезена коробка дорогих конфет и бутылка шампанского. Я смотрела, как оба, раздеваясь, водружали на вешалку один — свое коричневое, драповое, надушенное пальто, а другой — шинель, и опять чувствовала, как все в душе пустеет и почва уплывает из-под ног.

— Вы говорили дочери, что знали моего мужа, но я вас ни разу не видела, — уже говорила ему мама.

Тщетно было ждать смущения. Серебряков легко и добродушно отвечал:

— Ну, мы с ним преимущественно встречались на службе. А у вас я как-то был. Вы, наверное, забыли.

Трудно было представить, о чем мы будем говорить. Но Серебряков начал живописно рассказывать об охоте: о токовании и повадках глухарей, о том, как приходится, затаив дыхание, выжидать, пока не выследишь тетерку, или утку, или зайца.

Напротив матери с тремя дочерьми сидел совсем нестрашный человек и увлеченно расписывал утреннее пробуждение леса, а во мне только крепнул страх. Если бы он взял и сказал: «Да, да, следим за вами, наблюдаем, куда было бы легче. Пусть мучительно, но перенесла же я открытие НКВД: «Она не может хорошо относиться к советской власти».

— Несимпатичный человек, — только и сказала мама после визита Серебрякова. — Нет, я его никогда раньше не видела. Не помню.

Соседка рассудила по-своему: «Он просто влюблен в тебя. И какой респектабельный мужчина!»

Мне часто говорили в ту пору: «У тебя чересчур обостренное восприятие всего. Мистическое чутье мешает тебе жить». Мистиче-

ское? Чересчур? Но люди, которые вызывали это «чересчур» к жизни, были реальны, зрими и активны. Почему же окружающие слепы?

Я больше ни с кем и ничем не делилась. В одиночку пережила и то, что случилось вскоре. Возвращаясь из института домой в трамвае, я выронила рукавичку. Сидевший рядом человек молниеносно поднял ее. И только я хотела вымолвить: «Спасибо!» — как он внятным шепотом процедил: «Нельзя быть такой рассеянной, Тамара Владиславовна!» Я в испуге глянула на него. Нет, никогда нигде раньше я этого человека не видела. Не знаю. Даже тип такого рода людей был мало знаком. Откуда он может меня знать? То же серебряковское «Тамара Владиславовна». Кто он? Его стертая улыбка была уже отрешенным, будто совсем не он только что назвал меня по имени и отчеству: «Считайте, мол, что утробный шепот исходил от кого угодно, а я ни при чем». На секунду даже самой показалось, что обманулась, что на меня нашло затмение. Но я уже была в состоянии понять, что сказанное — личная прихоть шпика. Догадывалась о том, что, нарушая инструкцию, он в удовольствие сам себе разрешил насладиться эффектом моей растерянности. Не рыцари, а филеры перекочевывали в мою жизнь из книг. И мне ночами стало сниться, что меня томят и травят, как на охоте.

Тяжело было перенести визит Серебрякова, происшествие в трамвае. То, что произошло вслед за этим, — больнее.

Моя сокурсница Ирочка Шарнопольская пришла ко мне однажды с двумя своими земляками из Севастополя. Оба Миши учились в Ленинградской военно-морской академии. Старший из них, Миша К., стал часто заходить. Не слишком разговорчивый, всегда жадно хватавшийся за книжку, отсидев в воскресенье пару часов, он просил разрешения прийти в следующее. Ему явно нравилось бывать в нашем доме. Мама часто говорила: «Славный человек Миша!» Он и вправду был славным. Простой и цельный. Очень какой-то надежный. Иногда, взяв коньки, мы вместе отправлялись на стадион. И вот он пришел очень расстроенный. Попросил выйти с ним на улицу.

Наперекор ветру мы дошли до сфинксов напротив Академии художеств, и Миша без пауз сказал:

— Мне в академии велели выбирать: или вы, или академия!

Сначала даже не было больно. Опержая себя, я успела выговорить:

— Вы все правильно решили, Миша. Конечно, академия.

— Понимаете, моя мать возлагает надежды на меня...

Но, еще раз бросив: «Все правильно!» — я уже неслась по набережной, потом по Первой линии к дому, мимо дома. Боль набирала силу и гнала меня. Откуда узнали в академии, что он бывает у нас? Почему к нам нельзя приходить? Я — чума? Как мне быть? Как жить? Это — навсегда? «Настроение этой девочки...» «Или вы, или академия...»

Я понимала, что государственное учреждение перечеркивает меня. Нацеленно, неостановимо. Но с такой же силой я не желала этого

принимать. С эгоизмом молодости утешала себя тем, что не оставлена дружбой Роксаны, Раи, Давида, Нины и Лизы, что наперекор всему буду счастлива. Буду!

В стремлении обойтись этим собственным миром я в девятый, десятый раз отправлялась в кинематограф, чтобы погрузиться в утреннюю прелесть венского леса, где синкопы пастушьего рожка и цокот копыт тощей Розы помогали рождению вальса и любви Карлы и Штрауса, той прекрасной любви, что так терзала добрую милую Польди.

Настоящей все-таки была жизнь на экране. В ней таились подлинный смысл и радость. Это должно происходить в человеческой жизни. Того, что было в моей, быть не должно!

Получив к ноябрьским дням поздравительные телеграммы от Эрика из Фрунзе, от Яхонтова и Платона Романовича из Москвы, я находилась в радужном настроении. Но когда к вечеру следующего дня от Эрика принесли еще и денежный перевод «на дорогу», как там было сказано, от хорошего настроения не осталось и следа.

Перевод полоснул по душе чем-то острым, словно несчастье. Пригвоздил.

Все, касающееся Эрика: знакомство, ссылка, — все, тесно связанное с нашей семейной бедой, занимало в жизни особое и неоспоримое место. Поначалу эта переписка велась как бы по долгу. Обращение, повторяющееся в течение трех лет ко мне как к «любимой и единственной» сделало ее даже необходимой, хотя и литературной. Денежный перевод нарушал установившийся характер отношений. Этот резкий жест был, скорее всего, кем-то подсказан, и я догадывалась, кем. Старший брат Эрика Валерий, возвратившись из Фрунзе, куда ездил навещать родных, сказал как-то: «Надо вам скорее пожениться. Чего вы тянете? Имей в виду, там за Эркой многие охотятся». После такого совета я даже на какое-то время прервала переписку. Слишком он был бесцеремонен.

Как бы то ни было, нынче перевод требовал меня к ответу. Не оттягивая, не отговариваясь, кратко и определенно я должна была ответить: приеду или нет. Об этом просил человек, сам лишенный прав передвижения. Долг это? Или подспудная надежда на счастье?

Семья! Институт! Ленинград!.. Все бросить?

Педагогического будущего — не жаль. Это не мое. Я сама еще не знала, кем хочу быть. С кем-то из знакомых мама делилась: «Слушаю, как моя дочь пересказывает спектакли и фильмы, которые вместе смотрим, и ловлю себя на том, что не видела ничего подобного. Слушать ее интереснее, чем смотреть». Мама угадывала мою «тайную страсть» проникаться подробностями искусства, раздумывать над тем, что потрясло. Но я не предполагала тогда, что это может стать основанием профессии.

— Что ответить Эрику, мамочка?

— Смотри сама.

Сама? Отослать перевод? Приписать «не приеду» и жить, как жила? Я сердилась на перевод Эрика, но ответила: «Приеду». Сомнений в том, что, если решусь там остаться, смогу существенно помочь своим, не было.

Не знала я одного, самого простого: как люблю мою несчастную маму, младших сестер, свой город.

Когда я перед самым отъездом объявила друзьям и знакомым о своем решении, переполох поднялся неопиcуемый. Меня называли «сумасшедшей», призывали «опомниться», «остановиться», «отменить». Говорили: «Ты не можешь этого сделать».

Но я почему-то могла. Все холодело внутри, но... могла...

Мне все «мое» не нравилось в ту пору. Собственная внешность казалась навязанной, чуждой, работа — механической, формальной. Не нравились душевная смута и страх, беспомощное ожидание удара от кого-то, чего-то, слезка государственных служащих, осуждение окружающих за то, что не вышла замуж за доктора. Преследовало чувство: папин арест сорвал и толкнул меня с места, я с бешеной скоростью мчусь на санях с горы к пункту, назначенному чьей-то темной волей, и мне с нечеловеческой силой хотелось соскочить с этих саней, обманув «пункт назначения», чужой воле противопоставить свою, пусть безрассудную. Ведь я еще не начинала жить. Пора было стать самой собой, отыскать свое, установиться на нем. Должны же были кому-то понадобиться мои фантазии, мой бред и душевные силы? Вдруг все это нужно именно там? Я мысленно протирала окно вглубь. Оттуда проступала верность и долготерпение Эрика.

Гнала и другая сила, суть которой до конца не открывается человеку. Нераспознанную, повелительную и грозную, чаще всего ее называют Роком.

Единственным человеком, поддержавшим меня, была Лили.

— Эрик молод, красив. Его любовь к вам заслуживает удивления. Но запомните: в ту секунду, как увидите его, вы поймете, надо вам оставаться или нет. Это будет одно мгновение, но вы это почувствуете сразу. Если он не ваш человек, немедленно дайте мне телеграмму, я вышлю деньги на обратный путь.

Для отступления этого было не так уж и мало. Уверовав в то, что мгновение, выговаривающее Истину, приходит к человеку, я немного успокоилась. Но среди шума и предотъездной толчеи вдруг начисто утратила уверенность в нормальности того, что совершаю. И когда поняла, что это действительная разлука с мамой и сестрами, смертельно ее испугалась, как еще никогда и ничего.

Все уже двигалось само собой. Я, как утопающий за соломинку, хваталась за сказанное Лили. Все хлопоты она взяла на себя. Собрала даже что-то вроде приданого, сказала, что поедет проводить меня до Москвы. Накануне отъезда по телефону заказала номер в гостинице «Националь».

На перроне у вагона стояло человек тридцать, может, и больше. Кроме мамы и сестер, я никого не видела, не воспринимала. До этих предотъездных минут мне и в голову не приходило, что сердце может испытывать такую надсадную боль, такую рвущую смертель-

ную тоску. Мы с мамой смотрели друг на друга и начинали понимать то, что до этого не умели объять ни умом, ни сердцем. И ошибки свои, и промахи, и все случайное, и самое большое, глубокое. Во мне все кричало: «Мамочка моя, Валечка, Реночка! Я не хочу, не могу от вас уезжать! Мои родные, единственные! Я не понимаю того, что совершаю, того, что происходит!»

Поезд тронулся... Уже не стало видно мамы, сестер... И только вровень с вагоном, прихрамывая, до самого конца платформы все бежал и бежал Давид. Друг моего детства и юности в последнюю секунду сунул мне в руки пакет: коричневую кожаную сумку с монограммой — «Дорогой Томочке. Давид». В сумке лежало пятьдесят рублей и записка: «Дорогая Томочка! Зачем ты это делаешь?»

Не помня себя, не стесняясь, я навзрыд плакала, уткнувшись в железный угол тамбура. Поезд набирал скорость.

В Москве нас встречал Платон Романович со своим рыжим другом Семеном. Был ясный, прохладный ноябрьский день. Номер, заказанный в гостинице «Националь», был непривычно шикарным. Окна выходили на Манежную площадь, прямо на Кремль.

До этого бывать в Москве не приходилось. По улицам ходили двухэтажные автобусы. Кривые переулки с деревянными домишками казались уютными, названия улиц милыми: Мещанские, Арбат, Калашный Ряд. Москва понравилась.

Присутствие Лили спасло от одиночества и потерянности. Я на какое-то время перестала даже ощущать смысл и цель путешествия. Но вот по телефону заказана плацкарта до Фрунзе. Это значит, что через два дня я уеду дальше.

Менее всего в таком состоянии я была пригодна для объяснений. Платон Романович на них настаивал. Узнав, куда и зачем я еду, он не слишком поверил в то, что я сказала всю правду.

— Ехать самовольно туда, куда людей высылают? Для этого должны быть веские причины. Надо очень любить человека. Если это так, могу понять. Но ведь этого нет?

— Не знаю.

— Именно это и необходимо знать! Боже мой, вы ведь его не любите! Точно так же, как и меня. Так выходите за меня замуж. Я вас люблю. Одумайтесь! Ну услышите меня! Люблю! Люблю!

Но я в тот момент шла без оглядки и, как бы тяжело мне ни было, ожидала счастливого будущего. Какими разумными доводами можно преградить этому путь?

Мы вышли с Лили посмотреть Красную площадь. В предвечерних сумерках зажглись пухлые кремлевские звезды. Казалось, туда налит жидкий огонь. Прихватывал легкий морозец. Мы медленно поднимались вверх. И вдруг я увидела вышагивавшего нам навстречу одетого по-зимнему Яхонтова. Уверенности, что он меня узнает, не было, а сама я не решилась бы его окликнуть. Но он увидел. Узнал.

— Как? В Москве? И не дали знать?

У него был свободный вечер. Вместе дошли до площади, вернулись в гостиницу, посидели, а там он потихоньку предложил мне удрать. Вдоволь набродившись по Москве, мы зашли поужинать в Новомосковскую гостиницу. Владимир Николаевич заказал себе гору раков. Ел он красиво, с аппетитом, читая при этом незнакомый литературный текст, как некий «он» поедал таких же раков... Сидевшие за столиками посетители узнавали его, голоса стихали. Почувствовав внимательную аудиторию, Яхонтов стал читать громче. Получился импровизированный концерт, по окончании которого раздались горячие хлопки благодарной публики. Нам принесли кофе. Владимир Николаевич умело орудовал кофейником и чашечками на подносе. Как и в Ленинграде, когда я ныряла за ним в туман, я в тот московский вечер чувствовала себя необычайно празднично.

При выходе из зала Яхонтов задержал меня в холле вопросом, куда еду, зачем и почему. «Это любопытство, а не живой интерес», — решила я про себя и сказала что-то сумбурное. Выслушав ответ, Владимир Николаевич стал сосредоточенным. Не знаю, каким мыслям он отвечал, когда с неожиданной озабоченностью сказал:

— Вы совершаете ошибку. Этого делать нельзя!

И это я приняла как некое общее соображение. Но, став незнакомому серьезным, он спросил:

— А если каждый месяц посылать вашей маме пятьсот рублей, тогда не поедете во Фрунзе?

Вопрос можно было считать странным. Но я услышала в нем только оберегающее и широкое. Было хорошо от того, что такой вопрос существует на свете. Мир все-таки за что-то мне переплачивал. Наверное, за то, что, несмотря на беды, я считала его прекрасным.

То, что Платон Романович и Владимир Николаевич старались довести до моего сознания, будто мой отъезд — ошибка, я воспринимала как любовь одного и заботу другого. Но оба не были людьми моей Судьбы. Тот, к кому я ехала, мог таковым оказаться. Я сама должна полюбить. С этого начнется истинная жизнь. А в ссылке то или в столице — дело десятое!

К поезду Платон Романович привез корзину: набор продуктов и коробку конфет — «для вашей будущей свекрови». Лили заплакала: «Мне так надо, чтобы вы у меня были счастливы! Но если хоть что-то не так, немедленно телеграфируйте и возвращайтесь обратно».

Опять все происходящее казалось нереальным. Слезы мешали сказать что-нибудь вразумительное. Я просила передать приветы домой.

Поезд отошел. Я обреченно заняла свое место. Впереди было пять суток пути к неизвестному городу ссылки Эрика — Фрунзе, к нему самому.

По дороге в Среднюю Азию я чувствовала себя продрогшим, потерявшим шенком. Неизвестен был край, город, семья и, главное, тот человек, к которому лежал путь. Всеми способами я силилась представить себе Эрика и Барбару Ионовну не такими, какими увидела их три года назад в очереди справочного бюро Большого дома, а сегодняшними. Барбара Ионовна казалась мне воплощением интеллигентности. А я к этой ценности тянулась все равно, что к почве и воздуху жизни. Эрика дорисовывали письма. Даже для друзей имя «Эрик», «письма от Эрика» были олицетворением любви и постоянства. Мне не раз говорили: «Прямо-таки „Гранатовый браслет“!»

В Эрике я не сомневалась. Все дело было во мне: отзовусь ли я на его любовь? Свершится ли при встрече то таинственное пробуждение природы, о котором я так много слышала от других?

Уже откатился назад российский пейзаж, начались степи. За окном я увидела верблюда с гордой осанкой, буднично жующего траву, и воскликнула:

— Смотрите, верблюды!

На меня равнодушно глянули: «Ну и что?» Поскольку экзотика никого не удивила, я решила, что с минуты на минуту увижу редкостных птиц, поразивших когда-то воображение на прекрасных иллюстрациях бремесских томов. Но на телеграфных проводах сидели воробьи, а с земли то и дело взлетали озабоченные, мрачные вороны.

День, другой, третий, четвертый. Невозмутимо и педантично время обращало часы в сутки.

Степи сменила пустыня. Там бесновался песчаный буран. Песок набивался в оконные щели, в рот, попадал под колеса. Говорили, скоро будет Арысь, откуда одна ветка пойдет на Казахстан, другая — на Киргизию.

Из равнинной скуки выметнулись горы, отроги Тянь-Шаня. Гуще стали тесниться селения — белые мазанки, заслоненные пирамидальными тополями.

Вдали виднелись снежные вершины. Зачастили туннели. Вырываясь под открытое небо, поезд какое-то время шел по ущелью из зеленоватого камня. Красивый и чуждый еще пейзаж поражал смирной уживаемостью степного раздолья с заносчивостью гор.

Кончились пятые сутки пути. Мы подъезжали к станции Пиш-Пек. Следующим должен был быть город Фрунзе. Боже мой! Что меня здесь ждет?

На подходе к вокзалу поезд последний раз толкнуло, и он остановился. Руки и ноги налились тяжестью, в голове шумело. Ощущение провала. Безвременье. За окном появилось лицо Эрика. Я сразу узнала его. Он очень возмужал. Как в безвоздушном пространстве, услышала его голос:

— Мама, она здесь!

Эрик пробирался в вагон наперекор течению выходящих. Мы коротко взглянули друг на друга. Его лицо освещала улыбка безудержной радости.

— Где чемодан?

— На полке.

Барбара Ионовна смахнула слезы, обняла меня, сказала неопределенное:

— Н-у-у, Тамара!

С вокзала Эрик шагнул куда-то вправо и повел окольными, незаасфальтированными улочками — как потом признался, намеренно, чтобы затем поразить главной улицей столицы Киргизии.

Город походил на дно чаши, обрамленной горами со снежными вершинами. Вдоль улиц в арыках негромко лепетала вода. За тополями, обронившими последние листья, ютились мазанки. В едином транспортном потоке наряду с автобусами и машинами вышагивали несущие поклажу верблюды, ишаки.

Дорогой мы перебрасывались ничего не значащими фразами. Все было как в странном сне. Эрик никак не мог согнать с лица улыбку, одновременно выражавшую и торжество, и неуверенность. В непривычном, новом мире эта улыбка стала единственной точкой опоры.

На улице Токтогула стоял вытянутый в длину своих четырех комнат дом, в котором они жили. Двери каждой из комнат выходили прямо в палисадник. Мы вошли в общую семейную комнату. Там сидели старший брат Эрика Валерий, его жена Лина с маленькой дочкой Таточкой. Я не знала, что они тут гостят.

Попросив Валерия, чтобы он довел меня до поликлиники после того, как я отдохну, Эрик убежал на работу проводить амбулаторный прием.

— Как в Ленинграде? Слышно ли что-нибудь про папу? Возвращается ли кто-нибудь из ссылки? Что об этом говорят?..

Несмотря на то что Валерий и Лина только что приехали из Ленинграда, Барбару Ионовну интересовало все:

— Правда ли, что с Невского собираются снять трамвайную линию? А фонари на проспекте все те же?

Я раздавала гостинцы, отвечала на вопросы. Валерий торопил:

— Ну пойдем, пойдем, я тебя провожу к Эрику.

В смутном, взбаламученном после дороги состоянии, так ни минуты не отдохнув, я направилась в поликлинику. Из кабинета, на котором было написано «Хирург», вышел больной. Больше в очереди никого не было. Эрик в белом халате и белой шапочке поднялся навстречу. Валерий ушел. Мы остались вдвоем.

Вот и смолкли все шумы мира, я услышала горячие слова, сказанные прямо в душу:

— Я не верил, что ты приедешь. Не верил! Понимаешь ли ты, что для меня значит твой приезд? Конечно же, не понимаешь!

Эрик говорил о том, как ждал, как мечтал, как любит меня.

И я уже знала, что никуда отсюда не уеду, потому что пришла тишина, почти покой, почти радость, потому что я в первый раз в жизни поняла, что значит сделать человека счастливым. И я никогда не слышала так близко стук другого сердца. Предрекаемый Лили миг подсказал? Был ли он? Когда? На вокзале? Или в те секунды? Да, конечно, он был.

Мне отвели комнату Эрика, самую дальнюю. Электрического света не было. После вечернего чая, когда вся семья собиралась за общим столом, мы вдвоем уходили в город, рассказывая друг другу обо всем том значительном, что поместилось в три года, разделявшие нас. Под журчание арыков вышагивали по черной мякоти земли незамощенных улиц. Шаг к шагу. Слово к слову. Молчание к молчанию. Над нами сиял звездный свод. Почему он на чужбине такой яркий?

На 26 декабря 1940 года была назначена наша свадьба.

Высланные жили без паспортов. Каждые десять дней они должны были «отмечаться» в милиции (чем свидетельствовали, что безвыездно проживают в предписанном месте). Поскольку у Эрика не было паспорта, загс отказался нас регистрировать. Пришлось затратить немало усилий, чтобы выхлопотать подобие временного удостоверения личности. Именно в него ему и поставили штамп о браке. Мне же по всей форме — в паспорт. Процедура оформления была казенной и краткой. Без каких бы то ни было свидетелей. Дома Барбара Ионовна и Валерий по очереди сказали: «Ну, поздравляем!» И только Лина зачем-то повесила мне на шею связку сухек. Не понимая, что это может означать, я приписала это или неизвестному мне обычаю, или стремлению хоть чем-то выделить свое поздравление.

Из Ленинграда от мамы и от друзей пришли поздравительные телеграммы.

Мне исполнилось двадцать лет. Эрику — двадцать два. Он приятно улыбался. Был мягок, вкрадчив и полуленив в движениях. Обаяние прикрывало какую-то неявную, лично ему принадлежащую силу.

Вспыхнувшая любовь к нему привела меня в неизвестную праздничную страну. Ждать, слушать, узнавать его шаги, по выражению глаз угадывать желания, поражать его десятками затей и выдумок стало смыслом ежеминутного существования и затмило все остальное. Уверовав в единственность наших с Эриком отношений, я безоглядно вручила ему свою душу.

С бытом освоилась без всякого труда: таскала из колодца воду, мазала кизяком земляные полы, бегала на базар за провизией для всей семьи. Растрафаретив всевозможные тряпочки, наводняла наше жильё «коврами» и салфетками. Сложив вдвое марлю, настрачивала простыни.

В каком бы конце города Эрик ни находился, в обеденный перерыв он прибегал домой. Иногда ради пяти-десяти минут — «проверить: правда ли, что это — правда?». Но если в эти выкроенные минуты он не успевал заглянуть к матери, Барбара Ионовна

сердилась. Я считала, что она права, и пеняла Эрику за упущение: конечно же, раньше сын целиком принадлежал ей, она к этому привыкла, и теперь ей больно.

Над старым диваном в общей комнате висела прелестная фотография моей свекрови: она — совсем молоденькая, в белом платье, с белой розой, в день своего первого выезда на бал. Ее ностальгические погружения в отошедшую жизнь вызывали сострадание. Я была преисполнена чувства глубочайшего к ней уважения и участия. Каждый день она вспоминала мужа, надеялась, что он жив. И о чем бы ни говорила, начало было неизменным: «Видел бы меня Толя в этой обстановке!..» Мир измерялся одной мерой: «Толя бы пришел в ужас!», «Толя бы за меня рассчитался!».

Ссылные, в моем книжном представлении о них, должны были пребывать в кипении мысли, спорах об истине. Я чаяла встретить здесь значительных и умных людей, которые могли бы мне помочь прорваться к зрелости, к ясности, побороть царивший в сознании хаос. Но ссылные во Фрунзе жили тихо, закрыто, хотя между отъединенными друг от друга людьми завязывались приятельские и дружеские отношения.

В городе я часто спрашивала Эрика: «Кто эта дама? А эта?» Он объяснял: жена, дочь, сестра дипломата, комкора, торгпреда, комдива и т. д. Женщины с дивными лицами и совершенными фигурами смешивались на улицах с коренным населением. Одни еще следили за собой, другие медленно опускались. Одинаково растерянные люди по-разному несли свой крест.

Несхожие по интересам, запросам и целям существования, все фрунзенские ссылные почитали себя счастливчиками, поскольку местом их ссылки был город.

— Подумайте, одна из жен Тухачевского, с которой он разошелся лет за десять до ареста, — услышала я в одном из разговоров, — та, которая была выслана в кишлак, говорят, отлично держалась, хорошо одевалась, абorigены на нее пальцем показывали, а потом сорвалась, начала пить и теперь совсем спилась...

— А я вчера получила письмо от дочери своей приятельницы, тоже из кишлака, — отвечала собеседница, — пишет, что мать не выдержала и повесилась. Девочка в полном отчаянии. Надо как-то ей помочь. Пошла бы хлопотать, чтобы ее сюда перевели, но боюсь.

«Боюсь!» Сама ссылка, оказывается, не являлась пределом наказания. У факта проклятия имелись «дочерние» муки вроде страха перед внутренними ссылками по Киргизии. Такие перемещения несли с собой нередко смерть.

Вместо активно и энергично пульсирующей мысли высланных, которую здесь надеялась найти, я встретила с горьким стремлением просто выжить и устоять.

Барбара Ионовна имела свой узкий круг знакомых.

Ее приятель, Николай Михайлович, человек до чрезвычайности аккуратный, чистюля, не уступал, например, ссыльному быту ни одной из своих привычек — сам себе готовил, сервировал стол,

заправлял за ворот белоснежную салфетку. «С чувством, толком, расстановкой» праздновал за трапезой в хибаре свое одиночество и казался драматичным и жалким в желании заслониться от всех проблем «формой».

Другая знакомая свекрови, Клавочка, которую все называли «милой», билась над решением вопроса, выходить ли ей замуж. От ее кручины, от снисходительно-одобрительных поддакиваний окружающих ее доводам, что-де бессмысленно ждать мужа, которому предстоит еще сидеть десять лет, тоже исходил щемящий драматизм.

Как о близком друге, в семье много говорили об Ане Эф. Муж ее тоже получил десять лет лагерей. Одного этого было достаточно для сочувственного отношения к ней. Тридцатилетняя, маленького роста женщина пригласила нас в гости. Усадив за стол, часто убежала на кухню, подолгу не появлялась, скрывалась за ширму, плакала, и я никак не могла понять, почему мы не уходим, раз так не ко времени оказались в этом доме. Причиной ее слез, объяснила Барбара Ионовна, была какая-то история с сыном, о которой она обещала рассказать дома. При всем том я успела резко не понравиться Ане Эф. Прощаясь, она довольно едко заметила, что понять, зачем я приехала сюда сама из Ленинграда, ей не под силу. Я была обескуражена и тоном, и смыслом сказанного, но постаралась ничем не выдать тяжелого чувства, возникшего к приятельнице свекрови.

Были во фрунзенской ссылке и совершенно замечательные люди. Чаще и более, чем о ком бы то ни было другом, Барбара Ионовна рассказывала об Ольге Александровне П., с которой дружила. Ольга Александровна происходила из царской польской фамилии ЗамоЙских. Ее муж, генерал П., во время гражданской войны перешел на сторону советской армии, имел от Ленина охранную грамоту, невзирая на которую в 1937 году был арестован и расстрелян. Жену с сыном-историком выслали. Говорили, что Ольга Александровна была образованнейшим человеком, владела пятью или шестью языками, хорошо музицировала, была когда-то любимой ученицей Падеревского. Я жаждала ее увидеть, но, когда она пришла к Барбаре Ионовне, отказалась признать в ней потомственную графиню. Встретив ее на улице без предварительной аттестации, подала бы ей милостыню. На пожилой женщине было одето грязное, заскорузлое пальто. Седые волосы сбились в колтун. Ее запущенный вид привел в полное замешательство, но спокойствие и достоинство речи поразили с первых же фраз. Понадобилось немало времени и навык, чтобы научиться сводить воедино небрежение к внешнему облику с тем содержательным, что открывалось в разговоре с человеком. Я потом не однажды встречалась с Ольгой Александровной, выслушала немало ее удивительных рассказов и всегда заново приравнивалась к блеску ее речи, меткости и остроумию. Вспоминая прошлое, она оживлялась, пересыпала свой рассказ французскими фразами, уверенная в том, что собеседник обязан их понимать. Как захватывающие новеллы, воспринимались ее описания скачек, которыми они увле-

кались с первым мужем. Во время одной из них этот блестящий молодой офицер сорвался с лошади и погиб.

Неумело лавируя между кроватью и столом, забывая о комнате, похожей на склад ветоши, где все было разбросано и накидано, где высилась груда грязной посуды, она вытаскивала из чемодана альбом с фотографиями. Разглядывая его, я переселилась в другое время. На кабинетных фотографиях была запечатлена ослепительно красивая, с величественной осанкой женщина. Великолепие волос, сдержанная улыбка, сознание собственной неотразимости; с плеч спадают то соболий палантин, то горностаевая накидка, — и это все она.

— Вы всегда в мехах, Ольга Александровна! — заметила я.

— Да, я меха предпочитала бриллиантам, — оживилась она.

Теперь жизнь низвела все гербовые и родовые преимущества Ольги Александровны к нулю: Полнейшая непригодность к физическому труду, созданию бытового уюта отрешали ее, в свою очередь, от реального ссылочного мира. И самым удивительным было то, что она не чувствовала себя обездоленным человеком. Мать и сын всюду появлялись вдвоем. И куда бы они ни шли, между ними велся нескончаемый, целиком поглощавший их разговор. Все внешнее обоим было глубоко безразлично. Глядя на их увлеченное погружение друг в друга, я понимала, каким значительным, духовно наполненным был их мир. Не этот ли образ единого царства двоих был жадной моей потребностью и заветной мечтой?

Больше всех ссыльных по душе мне пришлось Варвара Николаевна Крестинская, сестра заместителя наркоминдела Крестинского, бывшего одно время нашим послом в Берлине, а затем в Париже. Но это, можно сказать, было уже моим личным знакомством. Я с радостью откликнулась на предложение Варвары Николаевны «вместе походить».

Сдержанная, строгая, всегда в безукоризненно белой блузке, она располагала к разговору о самом для души насущном и важном. После одной из бесед я стала почитать ее высшим для себя нравственным авторитетом.

От отца-адвоката Эрик унаследовал интерес к юридическим наукам. Изданный к тому времени двухтомник «Дел и протоколов» допросов Пятакова, Каменева, Бухарина, Крестинского и других он, разумеется, купил. Читал мне вслух. Опубликованные не в газете, а под единой обложкой, пространные, охотные признания подсудимых в умышленном вредительстве повторно и более наступательно возвращали все к тем же вопросам, что и в тридцать седьмом году. «Неужели? Зачем? А если они невиновны, то почему приписывают себе преступления, которых не совершали?» Я по-прежнему инстинктивно противилась необходимости додумать мысль о том, что их к признанию вынудили пытками. Слишком «все» от этого зависело.

— А ты как думаешь? — со страхом спросила я однажды мужа.

— К ним применяли химию, — высказал Эрик свою версию.

— Что значит химию?

Химия? И живой человек? До опасного знания прямолинейности подобных связей было еще не близко.

Когда эта тема возникла в разговоре с Варварой Николаевной, я довольно бестактно спросила ее, как она относится к признаниям брата. Варвара Николаевна скорее отрезала, чем ответила:

— Я фальшивок не читаю. Я знаю своего брата. Мой брат ни в чем не виноват!

Впору было стореть со стыда за грубый вопрос. Подсознательно я надеялась на некое политическое разъяснение. Но откровение тайлось в другом. Твердый, литой ответ «я знаю своего брата» содержал куда больше. Неподверженность общественному психозу обвинений была не только личным правом близкого человека, но и его обязанностью. Варвара Николаевна «узаконила» то, к чему я вслепую подошла после папиного ареста.

Сколько ясного и здорового я унесла в жизнь после этого разговора.

Находясь в плену у своих сердечных чувств, по макушку занятая делами по дому, я не сразу заметила, что все чаще наталкиваюсь на холодность, а то и вовсе на откровенное недружелюбие родственников Эрика. Но вскоре сомнения в том, что отношения с родными мужа не заладились, исчезли окончательно. Барбара Ионовна была со мной неровна. Лина просто враждебна. В их комнате часто велся разговор в повышенных тонах, но стоило мне войти, как его пресекали. Эрик приходил от них расстроенный, но отмалчивался.

Обедали мы все вместе. Сидя во главе стола, Барбара Ионовна делила мясо на порции и раскладывала всем в тарелки с супом. Однажды она оставила мою тарелку пустой. Я бы не придавала этому особого значения, если бы Эрик не вспыхнул, не посмотрел выразительно на мать и демонстративно не переложил мясо из своей тарелки в мою. На глазах у всей семьи происходило что-то постыдное. Не зная, как следует себя вести, я растерялась. По моему разумению, отношения с людьми должны были быть отражением того, что сам несешь к ним в сердце.

Впрочем, и меня порой что-то смущало. Казалось, например, что мать разговаривает с сыном на незнакомом нравственном диалекте.

— Эрика, хочешь, я тебе продам для твоей Тамары свое осеннее пальто?

— Сколько ты за него хочешь?

— Ну, я его, конечно, поносила как следует, но драп еще хороший.

И она назначала цену. На язык моей семьи такое было непеводимо.

— Слишком ты любишь, слишком балуешь моего сына, Тамара, — покачивала она головой.

Что значит «слишком» и почему об этом сокрушается мать, я тоже не понимала.

Денежная ситуация в доме Эрика была запутанной и сложной.

Как я узнала позже, Валерия, занимавшего в милиции должность младшего следователя, оставили в Ленинграде потому, что он отрекся от арестованного отца. Это уберегло его от ссылки, но с работы он некоторое время спустя все равно был уволен. Валерий смертельно обиделся, не стал никуда устраиваться и приехал во Фрунзе, как выяснилось, не в гости, а насовсем. Существовали они здесь без определенной программы действий. Внутри семьи это без конца дискутировалось. Меня в это не посвящали.

Ввиду огромного наплыва ссыльных во Фрунзе практически устроиться на работу не было возможности. Получалось так, что семья из шести человек существовала на заработки одного Эрика.

Было бы у меня больше практической сметки, я бы элементарно представила себя «лишним ртом» в семье. По сути, я была нищей невесткой, не только не принесшей в дом никакого достатка, но и явившейся в чужой клан с заботами о собственной семье. Для того чтобы посылать маме подмогу, я выискивала аккордные заказы вроде изготовления таблиц и вывесок для больниц и амбулаторий. К этим заработкам Эрик добавлял какую-то сумму из своей второй зарплаты, чтобы я ежемесячно могла посылать маме мало-мальские деньги.

Еще в Ленинграде в 1937 году ссылка Эрика и Барбары Ионовны была осмыслена и прочувствована как сверхнесчастье. Все несправедное, что исходило от Барбары Ионовны и теперь, для меня засвечивалось именем этого несчастья и вроде было неподсудным.

Но вот я надписала Барбаре Ионовне нашу с Эриком фотографию: «Дорогой маме от любящих ее детей». Тут и были поставлены все точки над «i». Прочитав надпись, она как хлыстом стеганула меня по чему-то самому незащищенному.

— Я мать для своего сына. А таких дочерей у меня может быть десяток!

Слова и тон настолько потрясли, что я в ответ и слова вымолвить не могла.

В нерешительности я спросила Эрика, не лучше ли нам столоваться отдельно. Он обрадовался и объявил матери, что будет им давать деньги, но питаться мы будем самостоятельно.

Хозяйка дома, в котором мы снимали жилье, видя, что я часто плачу, сказала:

— На-ка тебе сковородку, чайник, дам пару кастрюль, примус у тебя есть, вот и жарь-парь себе в удовольствие. И подальше от них, — кивнула в сторону общей комнаты.

Готовить-то я как раз и не умела. Стала на рынке прислушиваться к диалогам между хозяйками, подходила к наиболее симпатичной и храбро просила:

— Скажите, пожалуйста, а что можно сделать из такого куса мяса? Можно, я провожу вас немного, и вы мне расскажете?.. А после того как обваляю в муке?.. А сколько лука?.. И научите меня, пожалуйста, делать вареники... А потом? А сахар нужен?

О-о, мир был населен добрыми людьми. И, вооруженная десятком рецептов, я бегала «жарить-парить», гордо выставляла на стол свои достижения и радостно выслушивала Эрика.

— Ну и ну, я такого вкусного не ел никогда!

Мой дом! Мой Эрик! Его любовь, его немудреные сказки вроде той, что каждую ночь, едва я засыпаю, прилетает сова, садится на ветку карагача и смотрит к нам в окно, заглушали горечь семейного раскола.

Наступила весна. Не робкая, как в Ленинграде, а властная и бурная. Солнце отпавало теплом землю, деревья. Набухли и тут же полопались почки. С гор, наполняя арки, мчался гремучий, мутный поток воды. Стоя на бунтарском ветру, я развешивала постиранное белье, перебрасываясь шутками с хозяйкой. Потом ушла в дом что-то подсинить. А когда вышла с тазом, услышала, как из-за дувала соседка говорит моей хозяйке:

— Эта вон какая! Эта куда лучше, чем та цаца!

— Та больно гордая, заносчивая...

— Да и некрасивая...

«Эта? Та?» О ком это они? Обо мне? И еще о ком-то? Не может быть! Я просто сумасшедшая! Но от услышанного перехватило дыхание. Сомнений быть не могло: их пересуды касались меня и еще кого-то, кто имел отношение к Эрику. Того, что у него мог быть кто-то, я и мысли не допускала. Нет! Нет!

Не представляя себе, как можно его об этой спросить, я замкнулась. Но открытия лепились одно к одному. Валерий громко отчитывал в саду Эрика:

— Ты куда как хорош! Твоя Ляля приехала, хвостом вильнула — и фьють! Сообрази это и береги Тамару, дурья голова!

— Эрик, — спросила я тогда, едва не теряя сознание, — кто такая Ляля?

— Какая Ляля? Какая Ляля?

— Ты меня спрашиваешь?

— Не знаю я ничего. О ком ты говоришь?

— О той Ляле, что приезжала сюда.

— При чем здесь я? Кто тебе сказал?

— Ты сам расскажи.

— Никто сюда не приезжал. Я ничего не знаю.

— Эрик, ты можешь лгать? Ты умешь лгать?

Из холода бросило в жар. Он смотрел мне в глаза и лгал. Я видела это.

Эрик любил Лялю. Их детская дружба со временем переросла в любовь. У Барбары Ионовны хранилась ее фотография. Я ошеломленно вглядывалась в чужое лицо, не понимая, какое может иметь отношение эта незнакомая Ляля к моему Эрику. Соседка говорила «некрасивая», но чем глубже всматривалась я в это холодное

лицо с широко расставленными глазами, тем губительней оно мне казалось.

Да, Ляля приезжала во Фрунзе. Побывала, посмотрела на их жизнь и сказала:

— Быть женой декабриста не мой удел!

Эта фраза хранилась в «архиве» семьи.

Ляля уехала. А что же было с Эриком? Значит, он и ее просил приехать? Кого же он звал сперва? Ее? Меня? Одновременно? И письма писал обоим? Одинаковые?

Это был обвал, крушение. Я не могла выбраться из-под обломков.

Лет в шестнадцать я прочла «Жизнь» Мопассана. Супружеские измены в первую очередь означали для меня человеческий обман. Я прощать обман не собиралась. Нет, нет и нет! Тем не менее первое, что я захотела и сумела услышать в заверениях Эрика, было то, что он любит только меня, и его скупающее «прости, прости!». Я жадно впитывала слова о своей единственности, несравненности, чтобы хоть как-то устоять. Эрик слов не жалел.

Учуяв, какое действие произвело на меня известие о Ляле, Барбара Ионовна и Лина с азартом кинулись в атаку. Едва я успокоилась, как последовало продолжение.

Возвратясь из города домой, я нашла на полу комнаты подsunутое под дверь письмо. Без адреса, без имени. Написано было всего несколько слов: «Эрик любил и любит одну Лялю. На тебе он женился, чтобы отомстить ей за отказ от него».

Я, конечно, слышала, что бывают анонимные письма. Но чтобы их писали родные или мать мужа, предположить не могла. Злобная, жалающая сила этого письма хватанула щипцами за горло. Я задохнулась. Надо было бежать без оглядки. Немедленно! Денег не было ни копейки. Кинулась к хозяевам. Качая головой, они отсчитали мне на дорогу. Я бросилась на вокзал. Навстречу с работы шествовал Эрик.

— Нет, нет! — закричал он. — Я умру, брошусь под поезд, сделаю что-то страшное! Я не могу без тебя жить!

Он снова просил, умолял, обещал разъяснить все до конца, притащил за руку мать.

— Отвечай, зачем ты это сделала?

Бледная и трясущаяся Барбара Ионовна начала страстно выкрикивать оскорбления в адрес сына, как будто бы ища теперь союзника во мне:

— Он в двенадцать лет украл у меня старинные золотые монеты и отнес их в торговлю! Вот он какой! Ты его еще не знаешь! Он лжец! Он негодяй!

— Что ты несешь, мама? — зывал к ней Эрик. — Что ты делаешь? Замолчи!

Видно, долго копился счет друг к другу у матери с сыном, и теперь швырялось в лицо и гнусное, и смешное. Миф об интеллигентности Барбары Ионовны, всей их семьи на глазах распозлся по швам. Чтобы не быть свидетелем учиняемой ими друг над другом расправы, я убежала и спряталась в глубине сада.

Эрик звал меня. Из своего укрытия я видела, как, сняв очки, протянув вперед руки, он наугад вступал в темноту, заглядывая во все уголки. И, вопреки желанию, я ощутила степень его беспомощности, стыда и растерянности. То, что должно было его уничтожить в моих глазах, неожиданно вызвало приступ жалости.

От страха, что я уеду, Эрик часто сбегал с работы, чтобы проверить, здесь ли я. Его постоянная тревога была столь очевидной, что я снова стала принимать ее за любовь.

Нелегко было примириться с тем, что в его прошлом была Ляля, что вместо доверительного рассказа об этом, он все запутал ложью. Но в конце концов я уверовала в то, что он лгал из страха потерять меня.

Почтамт в моей жизни занимал едва ли не главное место.

«Ты, правда, счастлива?» — спрашивала мама в каждом письме, почему-то не слишком доверяя моим чрезмерным в том заверениям. Я получала также уйму писем от друзей. Писали все: Давид, Кириллы, Рая, Лиза, Роксана, Лили. Я и раньше понимала, что Рая — самая умная из нас. В письмах это проявлялось еще явственней. обстоятельные, подчас с едкими характеристиками, они почти зримо доносили до меня перипетии ленинградской жизни. Лиза писала, как и говорила, в импрессионистской манере, эскизно. Как всегда, была глубока в своих листках любимая Нина.

На почтамт я ходила ежедневно. Девушка, выдававшая до востребования письма, заметила однажды стоявшего на почтительном от меня расстоянии Эрика и окликнула его:

— А вам тоже есть!

Ему ничего не оставалось делать, как подойти и взять протянутое ему письмо.

— От кого? — спросила я, похолодев. То, что он получает письма не только на дом, но и до востребования, было для меня совершенной новостью.

Эрик пробормотал что-то несвязное и спрятал письмо в карман.

— Покажи мне! — террористически потребовала я.

Он заметался, но письма не вынул.

— Или ты сейчас же покажешь, от кого письмо, или я уеду! — не отступала я.

И тогда он выхватил из кармана письмо, не читая изорвал его в клочки и выбросил в урну.

Было ясно, что Эрик живет двойной жизнью, что ходит украдкой на почтамт, что Ляля — не только прошлое, но и настоящее. Решение уехать стало неколебимым. Билет до Ленинграда был куплен. Эрик стоял у вагона как больной. Опять клялся в единственности любви ко мне, умолял не покидать его, обещал никогда и ничем не огорчать.

Теряя уверенность в своей правоте, я обвиняла себя в том, что, требуя показать чужое письмо, вела себя недостойно. Эрик уехать со мной не мог. Я видела, что бью лежачего. Но я, тоскуя по своим родным до физического изнурения, должна была подышать

воздухом моей семьи. Плохо понимая, в чем права, в чем нет, обещала через пару недель вернуться.

В голубых петлицах у троих попутчиков по купе были ромбы и шпалы. Они дружно выходили, давая мне возможность устроиться на ночь, согласно организовывали чаепитие, сетовали, что я в плохом настроении, и просили разрешить их спор.

— С кем останется Штраус в конце фильма «Большой вальс»? С Карлой или с Польди? С кем из них Штраус стоит на балконе у Франца-Иосифа?

— На балконе стоит один Штраус. Он грезит о Карле. Польди стоит внизу, в толпе, — отвечала я.

— Ничего подобного, — возражали они. — Штраус женится потом на Карле.

— Так вы просто не поняли фильма. Карла в конце является ему как греза, как видение. И только.

Никакими словами и доводами разубедить этих троих в том, что Штраус не ушел от Польди, я не смогла. Они стояли на своем.

— Вот вы про их с Карлой любовь толкуете. А сами-то в нее верите?

Поезд подошел к Оренбургу. Остановился. Неожиданно в вагоне чей-то голос прокричал:

— Есть здесь Петкевич? Где Петкевич? Телеграмму получите!

Телеграмма была от Эрика: «Подтверди телеграфом что вернешься иначе не переживу люблю».

Резкий, колючий ветер сбивал с ног, но я бежала по обледенелой платформе к телеграфу, находившемуся сбоку станционного здания. Завернула за угол. Оренбург! Вольный дух степей, другой век, пушкинский Пугачев... А может, мука — это неперменный довесок любви? Вот ведь тоска Эрика догнала меня в дороге! И путь домой после полученной телеграммы стал радостнее и легче.

Ожидавшие меня спутники подтрунивали: «Ну, теперь-то нам все понятно. Вот она, значит, какая бывает любовь!»

— Так что же у вас за цель в жизни? — не оставляли они меня в покое.

Забавляясь, они походя затронули самое «горящее» и живое. Как раз в тот момент я остро чувствовала, что нахожусь в тупике. Не забывая свой срыв на почтамте, я помнила хлесткую боль и косматую силу, с которой настаивала: «Дай!» Непременно надо было выучиться вводить самое себя в берега. И я с запинкой, но храбро ответила:

— Цель в жизни? Усовершенствовать себя!

Летчикам я доставила тем ответом немало веселых минут. Они-то были самоуправляемы, давно профессионально выучились овладевать и стихией, и собой.

На следующий день пути самый старший по возрасту и чину подошел ко мне в коридоре и сказал уже без смеха:

— А вы вчера очень неглупо ответили, будто намерены соорудить из себя некое совершенное здание.

Я была ему благодарна. Он понял.

Мерно стучали колеса. Мелькали селения, полустанки.

— Видите вокзал? — спросил он. — Один из вокзалов огромной страны. Сейчас он чистенький, как порядочный гражданин. А для меня он тот, каким я видел его в гражданскую войну: грязный, переполненный тифозными больными, трупами.

И через паузу, раздумчиво, словно спрашивая самого себя:

— Неужели придется пережить еще раз что-нибудь похожее?

Это был март 1941 года. До начала войны оставалось три месяца.

Домашних я о приезде не оповестила, хотелось услышать их радостно-удивленные возгласы. Едва я вошла утром во двор нашего ленинградского дома, как, не узнав меня, в деловом запале мимо меня промчалась Валечка. Во дворе возле нашего подъезда стоял грузовик, доверху нагруженный нашей мебелью и вещами. Забрасывая что-то наверх, около него стояли мама и Реночка. Не понимая, что происходит, я направилась к ним, растеряв все приготовленные к встрече слова. Мама ахнула:

— Что с тобой? Почему ты такая худая? Что случилось?

Я и сама знала, что переменилась до неузнаваемости, но как-то забыла об этом.

— А что у вас произошло?

— Мы переезжаем.

Мне осталось зайти в квартиру и попрощаться с опустевшими комнатами. Домашнего «гнездышка» больше не существовало. С невыразимо тяжелым чувством вместе со всеми я залезла в грузовик и поехала на новое местожительство.

Не справившись с безденежьем, мама обменяла две наши комнаты на одну с приплатой. Новая комната находилась возле Витебского вокзала, на четвертом этаже, без лифта. Окно выходило в стену.

Полутемное жилье — обвиняло!

То, что мама совершила обмен, не посоветовавшись со мной, даже не написав о задуманном, настолько обескуражило и подавило, что я сдалась на милость непереносимому чувству несостоятельности и вины. Готовой было вырваться откровенности о собственных неурядицах места не нашлось, и хорошо было то, что предстояло заняться обустройством нового обиталища.

Предстать перед своими ленинградскими друзьями я могла только «счастливой», на другое не имела права. И когда о моем приезде разведала Роксана, а потом и другие, пришлось прибегнуть к притворству.

Подруги учились. Были уже на третьем курсе института. Рассказывали о практике в школах, упрекали за то, что, приехав в Ленинград, я мало уделяю им внимания, говорили, что без меня все распалось. Я жадно впитывала тепло их признаний в том, что нужна им. Очень их всех любила.

Когда-то от Лили я услышала, какими сумеречными могут быть семейные отношения. Но ей самой не изменяли при том ни жизнерадостность, ни оптимизм. Стремясь увидеться с ней, я хотела допонять, как ей это удается.

Незнакомый мужской голос по телефону ответил, что она больна и видеть ее нельзя. На вопрос, с кем я разговариваю, мне ответили:

— С мужем Елизаветы Егоровны.

Я тоже назвалась, и тогда мне разрешили приехать «на полчаса». Дверь открыл представительный мужчина.

Лили лежала в постели белая как стена и протягивала мне навстречу руки. Оба ее сына сидели за столом, делали уроки. Мальчики тоже вскочили, но новый папа не разрешил отвлекаться. Выразительные взгляды и жесты Лили красноречиво давали понять, что она не только несчастна, но даже боится этого человека. В короткие пару минут, когда мы остались одни, она шепнула:

— Он настоящий садист! Отлучает меня от детей, страшно к ним ревнует!

— Почему у него такая власть над вами? — спросила я, зная ее свободолюбие.

— Сама не знаю, — как-то жалко ответила она.

Я надеялась поделиться с ней всем происшедшим во Фрунзе. Ведь снова собиралась ехать туда, тосковала по Эрику... Но ей объяснения не понадобились. Она воскликнула:

— Я вижу, вижу, что виновата перед вами! Вы несчастны! Я это чувствую. Какой ужас!

Я сидела на краю ее постели. Мы смотрели друг на друга и плакали.

В разговоре по телефону она позднее призналась, что не написала сразу о своем браке, боясь быть непонятой. Но, потрясенная когда-то предательством ее родной сестры, я понимала ее нелегкую, путаную женскую судьбу, как и непоправимость любой вкривь и вкось залаженной жизни.

А объяснения? Никаким объяснениям не дано было снять граничившего с отчаянием недоумения: мама не поделилась замыслом обмена квартиры, Лили — замужеством. Я не могла обойтись без них. Они — могли.

Полузабытые, незначительные на первый взгляд воспоминания сбегались одно к другому, превращаясь в обвинения. Еще до папиного ареста, перетирая как-то пыль, я сняла со стены портреты родителей и, поправляя под стеклом покосившуюся мамину фотографию, обнаружила за ней портрет незнакомого мужчины. Прическа, крой платья свидетельствовали о том, что это давний, времен ее юности, снимок. Я тогда заложила его обратно, маме ничего не сказала. Но старая мама тайна скреблась в душу! Теперь я понимала: моя мама счастья не знала. А я посмела сказать ей жестокое «зачем?», когда она попросила разрешения кому-то прийти... Сколько она должна была пережить перед тем, как в ее жизни появилось вино. Однажды она отдала себе отчет в том, что не справится с непомерной ношей, не выдюжит ее. Выхода не нашлось. Она сдалась. Я, во-

зомнившая, что, выйдя замуж по подсказке сердца, смогу поддержать семью, обманула ее надежды, ничем помочь не смогла. Обманула и ее, и себя.

В один из дней, закрывая дверь квартиры, я услышала снизу голоса сестренки, возвращавшихся из школы. Реночка рассказывала Вале о каком-то школьном происшествии и заливалась своим шелковистым смехом. На моих сестер, как говорила бабушка, «напал смехунчик», и обе, буквально покатываясь от смеха, не могли подняться по ступенькам. Затопленная разливами безудержного смеха сестер, я, стоя у двери, замерла. Чувство нежности и любви к ним судорогой прошло по сердцу: мои сестренки, мой бедный «отчий дом» с горькой без отца мамой.

Эту неустроенную ленинградскую жизнь я ощущала, как бесхитростный, заветный мир, от которого внутренне зависела более, чем от чего-то другого. Любила свою семью безмерно и виновато.

Вырученных от обмена квартиры денег могло хватить не более чем на полгода. Валечка училась только в шестом классе, Реночка — в третьем. Ухватившись за шаткую мысль, что там сумею что-нибудь изобрести, придумать, я решила уговорить маму переехать во Фрунзе, чтобы жить вместе.

— А что, если ты переедешь во Фрунзе, мамочка? — приступила я к главному разговору.

Мама помолчала. Улыбнулась.

— Ты так считаешь? Я сама об этом подумывала.

Как и прежде, она упрекнула за то, что я не взяла ее на вокзал при отъезде Эрика и Барбары Ионовны в ссылку.

— Я имела бы тогда сама представление об этой семье.

В результате разговор, которого я так опасалась, все расставил по своим местам.

— Ладно. Пусть девочки закончат учебный год. Летом переезжать легче.

И добавила:

— Так тому и быть. Надеюсь, что и у тебя к тому времени все как-то уладится.

— Что именно?

— Не выглядишь ты счастливой.

Мамино согласие на переезд сняло боль, поубавило вины и смуты. Мы обе перевели дыхание.

Телеграммы от Эрика приходили не только на мое имя, но и на мамино. Он просил поторопить мое возвращение. Маму нетерпение Эрика убеждало.

Две с половиной недели пролетели быстро. Билет во Фрунзе лежал в кармане. Мама из полученных за квартиру денег купила мне туфли и платье: «Ты у меня без приданого. Это вместо него».

Покупки были расточительством. Я отказывалась. Но в тоне мамы появилась усталая настойчивость и воля. И я, «разутая, раздетая», приняла подарок.

И вот снова вокзал! Опять прощание.

Родная измытаренная мамочка! Прости, что я допустила этот несправедливый обмен квартиры, прости за то, что не я купила тебе туфли и платье, а ты — мне, за все, за все прости меня... Я ничего тебе не рассказала о своей жизни, потому что испугала бы тебя, а мы непременно должны жить вместе. Я успокоилась только тогда, когда нашла это решение.

Поезд не успел дойти до семафора, как мамино лицо, на которое я неотрывно глядела до последней секунды, вдруг исчезло из моей памяти. Пропало. Я в панике силилась достать его из черного провала. Ничего не получалось. Господи, что это? Мамочка, где ты? Постепенно память восстановила родные черты, но смертельный испуг долго не проходил.

В Москве, закомпостировав билет до Фрунзе, я позвонила Платону Романовичу. Он примчался к поезду с упреком: приезжала, была в Ленинграде и не известила! Почему? Спрашивал: счастлива? Уверила: «Да». Мы шли по платформе. Платон Романович попытался взять меня под руку. Я отвела ее.

— Ну да, нельзя, мы ведь замужем. Какая же ты...

Я ожидала — сейчас ударит каким-нибудь словом оскорбленного мужского самолюбия, но он неожиданно горько закончил:

— ... любимая!

Он в каждом пустяке оказывался неожиданнее и щедрее, чем я ожидала.

— У меня к тебе просьба, — сказал он. — Будь непременно счастлива. А когда родишь сына, назови его Сережей. Обещай! Хорошо? Я всегда мечтал иметь сына Сережу.

Поезд отходил, когда он еще раз крикнул:

— Сережей! Ладно? Се-ре-жей!

Прямо с вокзала Эрик повел меня в новую комнату, которую снял, чтобы мы жили отдельно от родных. Комната была славная и в центре города. Ко всему меня ожидала умопомрачительная новость: приглашение на переговоры о работе в театральных мастерских в качестве художника прикладного искусства. Киргизский и русский театры имели свои цеха, и все работы по росписи задников, выполнению эскизов костюмов, утвари и прочего реквизита осуществлялись непосредственно в них. Работа в театре! Могла ли я об этом мечтать?

Мне показали на более чем странную по облику и виду художницу Трусову, которая должна была меня проэкзаменовать. Некрасивая и неприветливая, Наталья Николаевна дала мне задание, одобрила выполнение, и я была зачислена в штат.

Устроившись на работу, я повеселела. Почувствовала себя самостоятельной и, главное, могла теперь регулярно посылать маме больше денег. Эрик к идее маминого переезда во Фрунзе отнесся одобрительно, даже обрадовался. В письмах мы с мамой оговорили, что к концу учебного года я уже должна для них подыскать квартиру.

Эрик был неузнаваем. Предельно внимательный, заботливый, он купил мне черный панбархат на платье, сам договорился с портнихой. Такого красивого платья у меня еще никогда не бывало.

Однажды он пришел с работы взбудораженный. Новый директор, не посвященный в то, что он высланный, предложил ему командировку. Поскольку отмечать полагалось раз в десять дней, а он в милиции был накануне, дней в запасе оказалось достаточно. Командировка была в город Ош. Для того чтобы туда попасть, надо было пересечь часть территории Узбекистана. Вываться из города, к которому Эрик был намертво прикован, представлялось великим соблазном. Я поддержала безрассудство: попросила на работе несколько дней в счет отпуска, и мы собрались в запоздалое свадебное путешествие по Средней Азии. Увидев нас в окне поезда, знакомая пара высланных закрыла лицо руками, выражая тем самым крайнее свое неодобрение. Но даже этот жест, исполненный здравого смысла, не омрачил радости нашей выходки.

Мы с Эриком не отрывались от окна вагона: ехали через Киргизские степи, туннели, то приближаясь, то отъезжая от гряды гор, тянувшейся параллельно железной дороге. Пахло полынью и пожарами. В сумерках проступившую сквозь землю соль в Ферганской долине я приняла за снег, чем развеселила спутников. В горах то и дело вспыхивал беглый огонь, сопровождавшийся грохотом. Велись военные маневры, никоим образом не ввязавшиеся с этим мирным пейзажем. В городах мы выходили, бежали на рынок. На азиатских базарах горы фруктов лежали прямо на земле. От многообразия красок, дешевизны и обилия голова кружилась. В Ташкенте успели налюбоваться кривыми улочками, орнаментами, фонтанами и розами. Чувствовали себя совершенно свободными, беззаботными путешественниками.

Изнуряющую жару в высокогорном Оше было перенести еще труднее, чем в дороге. Спасение наступало только вечером. Сидя на подоконнике в гостиничном номере, мы слушали, как в городском саду духовой оркестр наигрывал вальсы, и молили Бога, чтобы никто к нам не заглянул, поскольку прописана была я одна, а беспаспортный Эрик ночевал на незаконных основаниях.

От унижительного страха Эрик распаялся на тему, что он сделает, если кто-то попытается что-нибудь предпринять против нас, особенно против меня. Наивные и смешные обещания трогали. Готовность ринуться в бой утешала.

— Пусть только попробуют что-нибудь сказать, пусть попробуют!

Вылазка наша осталась без последствий. Мы посчитали это естественным. Не будучи ни в чем виноватыми перед государством, имели же мы право хоть на что-нибудь?!

Что ж, что ссылка — факт, очевидность? Мечтать о будущем она помешать не могла. В клинике хирург Царев, под началом которого работал Эрик, иногда разрешал ему делать операции. Эрик был счастлив без меры. Хирургия влекла его больше всего.

— Представляешь, был такой хирург Оппель, — приступал он к излюбленной теме. — У него в операционной все было не в

белом, а в черном цвете... Были еще два брата хирурги Вредены. Эммануил Романович при операции аппендицита делал разрез в пять-шесть сантиметров. Ему было важно, чтобы шов был красивым. А другой брат оспаривал такой подход...

Рассказы о хирургах и хирургии были бесконечными. Забрасываемая медицинской терминологией, я останавливала Эрика и просила пояснить, что такое «анамнез», «бокс», «гистология». Он увлеченно и пространно объяснял.

— Эрик, ты должен закончить институт! Должен!

Идея эта постепенно обретала контуры цели, стала программной. О «Сереже» Эрик и слышать не хотел, мотивируя тем, что думать о ребенке в условиях ссылки — преступно.

Все помышления Эрика о будущем упирались в срок ссылки. «Вот кончится, уедем, начнем...» — рефрен любого разговора. И все, что сулило будущее, было «изумительно». Однако, слушая его, я тайно ловила себя на странном ощущении, что мысленно не следую за ним. Я будущего не ощущала никак. А если и пыталась что-то представить, внутреннему зрению являлся образ перекрывающего все черного полога.

Когда Эрик спросил: «Можно, к нам придет мама? Она хочет прийти с тобой помириться», я обрадовалась. Любая ссора была для меня мучительной. Со свекровью — тем более. В саду я развела на камнях огонь, приготовила голубцы. Нашедшая меня здесь Барбара Ионовна неуверенно спросила:

— Ну как, Тамара, сможешь меня простить?

— Уже простила.

А голубцы притом уже доклевывали куры. Сконфуженность облегчила примирение.

— Эрка тебе не рассказывал, как нас обчистили? — спросила Барбара Ионовна.

Из Ленинграда ей написали, что родственники продали оставленные ими вещи — серебро, малахит и прочее и, скрыв содеянное, деньги истратили на себя.

Мир моих собственных причуд оставался скрытым и неприкасаемым.

Если дождь переходил в ливень, а Эрик, уйдя на работу, забывал захватить плащ, я, взяв спасительное обмундирование, уютившись под зонтик, отправлялась его встречать. Аллеи были безлюдны, и, укрытая пеленой дождя и деревьями, шлепая по лужам, я начинала вдохновенно читать стихи; иступленно доигрывать неизвестно где и как зародившиеся сюжеты; я повелевала, миловала, спасала, в кого-то воплощалась, натиску недобрых сил ставила преградой гневное шиллеровское «Нет»... Меня увлекала, вбирала в себя эта странная сила и страсть. И чувствовала я себя в эти минуты необыкновенно счастливой и освобожденной.

Работой театрального художника притом была увлечена чрезвычайно.

Театр и мастерские располагались в тенистом дубовом саду.

К выпуску готовилась «Коппелия». Работать приходилось допоздна. Эрик приносил мне в театр обед.

Я сидела на скамейке и расписывала кувшины. Главный художник подошел посмотреть и вдруг, выхватив у меня из руки кисть мазнул краской по щеке. Он убежал, а я, побросав все, — за ним: догнать, отомстить. Перепрыгивая через скамейки, мчась сквозь солнечную чересполосицу, кружила за убежавшим и не заметила, как налетела на разговаривавших невдалеке Эрика и главного режиссера Русской драмы Уринова. Тут-то остановилась как вкопанная.

На следующий день к нам в цех явился главный режиссер и, подойдя ко мне, очень серьезно, даже как будто с обидой стал меня укорять:

— Как же так нехорошо получается? В какое вы меня поставили положение? Приезжает, понимаете ли, на гастроли Смирнов-Сокольский и чуть ли не выговор мне делает: «Как же ты до сих пор не взял в театр Тамару Владиславовну Петкевич? Она ведь замечательная актриса».

Я и шутку не сразу оценила, и с ответом не нашлась, смешалась совсем. И тогда главный режиссер спросил:

— Ну так как, попробуем вас на роль Ксении в «Разломе»?

— О-о-о!!!

Я смотрела «Разлом» в одном из ленинградских театров. Была влюблена в роль Ксении. Но — театр? Сцена? Роль? И я? Господи! Возможно ли такое?

Прибежав домой, я с сильно бьющимся сердцем рассказала Эрику о полученном предложении.

— Нет, нет и нет, — оборвал он. — Какой театр? Ты ведь шутишь, правда? Это легкомысленно! Мы же в ссылке. Я прошу тебя. Я тебя очень прошу: выкинь это из головы.

Эрик очень просил. Доводы были разумные, здравые.

И в самом деле, это ведь — ссылка. Действительно! Как удачей надо было дорожить работой, которую я имела. Надо быть серьезной. А что-то собственное, мое-мое — это не главное в жизни. Почему? Я не знала: почему?!

— Нет, — понуро ответила я главному режиссеру на следующий день.

Перед премьерой «Коппелии» всех нас позвали на верхнюю галерею посмотреть оттуда задник, разостланный на полу. Мы с Натальей Николаевной Трусовой тоже поднялись. Художница, которую все почитали за талант, но называли «придурковатой», была в самом деле смешна. Волосы у пожилой женщины были заплетены в две тонюсенькие косички, перевязанные красненькими ленточками. Унылое выражение лица.

— Знали бы вы, как я мечтала вот о таком вечере там, в лагерьях! — сказала она вдруг.

— Где, Наталья Николаевна? — настоужилась я.

Отец ее, как бывший домовладелец, был арестован еще в 1927 году. И пропал. Сама Наталья Николаевна училась в частном художественном училище барона Штиглица. Как одна из преуспевающих учениц, была направлена в Италию пополнять знания. На показанных позже photographиях в девушке с толстой косой и сияющими глазами невозможно было опознать нынешнюю старуху. Photographий было много: у моря, у памятников, у картин, за столом в итальянской семье, расправляющейся со спагетти. После возвращения в Советский Союз Наталья Николаевна вышла замуж, а через несколько месяцев после свадьбы ее арестовали. На допросы следователь выводил ее к линии железной дороги. На поводке вел собаку. Ей приказывал идти вперед.

— Ложись на рельсы, — командовал он.

В таком положении ей надлежало отвечать на вопросы, которые он задавал. Она слышала, как приближается состав, пыталась вскопчить. Следователь кричал:

— Лежать!

Ей казалось, она сходит с ума.

Иногда следователь натравливал на нее собаку. Дрессированная овчарка по команде бросалась и только в последнюю долю секунды, когда Наталья Николаевна уже теряла сознание, он менял команду «возьми» на «не тронь».

Отсидела она все восемь лет. Муж, с которым было прожито так мало, дождался ее. Но через две недели после возвращения жены умер на ее руках.

— Как же вы живете сейчас? — потрясенно спросила я Наталью Николаевну.

— Как? У меня есть радости. Когда просыпаюсь ночью, можно зажечь свет, почитать. Могу открыть окно в сад и смотреть на звезды. Или выпить стакан компота, который варю себе с вечера.

И про бантики свои сама сказала:

— Я ведь знаю, что старая, только иногда забываю об этом. Те годы кажутся неотжитыми, вот я и путаюсь в этой неразберихе, беру и цепляю бантики. Надо мной, наверное, смеются. Впрочем, это все равно.

Потом в Публичной библиотеке в альбомах по прикладному искусству я находила много снимков с предметов, выполненных по эскизам Н. Н. Трусовой. Тут были инкрустированные столики и кресла, посуда.

Окружающие любопытствовали: «Что вас связывает?» Мы вместе ходили на субботники рыть БЧК — Большой Чуйский канал — и вместе трудились в мастерской. С работы я часто провожала Наталью Николаевну домой. Среди своих дел думала: «Наверное, она сейчас готовит себе компот... А может, сидит у окна...» Я жалела Наталью Николаевну. Пережитое ею казалось непостижимым. И возможно ли вообще, чтобы распахнутое в сад окно, стакан компота составляли «конечные» радости жизни? Как тогда надо уметь смотреть на звездный свод? Что нужно ощущать в порции фруктовой жидкости?

Встреча с Натальей Николаевной Трусовой оставила глубочайший и горчайший след в душе.

С театра началось и знакомство с семьей Анисовых. Александр Николаевич числился очередным режиссером Русской драмы (в прошлом — антрепренер Нижегородского театра). Его жена, Мария Константиновна Бутакова, была пианисткой.

Разница в возрасте между Анисовыми и нами с Эриком была в тридцать пять лет, но я этого не замечала. Очень привязалась к добрым, гостеприимным друзьям и полюбила уютные вечерние застолья в их доме. Мария Константиновна дала мне многое из того, чего я ждала от Барбары Ионовны: теплоту и участие.

С замиранием сердца смотрела я все спектакли театра, слушала рассказы Александра Николаевича о репетициях и об актерах. Ни с чем не сравнимое удовольствие получала от музицирования Марии Константиновны. Музыка издавна приводила в согласие с небесами.

Утром 22 июня 1941 года, открыв в кухню дверь, несмотря на прикрученный в репродукторе звук, я расслышала напряженный голос диктора: «... немецкие войска... вторглись..»

Война?! Все! Конец! Точка! Все вело к несчастью! Вот оно! Я крикнула Эрика. Он выслушал и также кратко произнес:

— Это все!

Так это и формулировалось: все!!! Разом кончилось то, что пять минут назад еще имело хоть какой-то смысл.

Первая мысль о маме: она с сестрами должна быть немедленно здесь. Сию минуту! Сломя голову я бросилась на почтамт перевести маме деньги на дорогу, телеграфировать: «Немедленно выезжайте».

На почте была толчея. Все торопились связаться с родными.

А Эрик? Как все решится с ним?

День, второй... седьмой... Еще не совсем понятная сила, состоявшая из немецких солдат и техники, прогнала западную границу страны. Ехала, летела, чеканно наступала, чужая армия затаптывала наше кичливое: «...но и своей земли ни пяди не отдадим!» Брест, Минск были уже сданы.

В начале июля всех работников театра собрали в зрительном зале, где была установлена черная плошка репродуктора. Ждали выступления главы страны. «..Бойцы, матери... братья, сестры!» Он избрал единственно возможную интонацию: всё и все призывались к борьбе, к обороне.

От мамы пришла телеграмма, а затем и письмо: они приедут чуть позже, мама мобилизована на рытье окопов. С кем оставались в Ленинграде сестры, из письма нельзя было понять. На какое время она мобилизована, тоже было неясно.

Вопрос о том, будут ли призывать в армию высланных, не прояснялся. Зато через две или три недели после начала войны в армию призвали Валерия.

На проводах Барбара Ионовна вдруг сорвалась и бросила Эрику:
— Тебе-то что! А вот Валеру берут!

Во Фрунзе прибывали эвакуированные. Наша хозяйка взяла к себе квартирантку. На руках, на шее, в ушах у изнеженной женщины висели золотые украшения. Ее холеность была вызовом тому, что было участью высланных и тех, кто уже успел пострадать от войны.

В городе я неожиданно встретила того странного поклонника Роксаны — Яворского, с которым она меня познакомила в Ленинграде. Мы встретились глазами. Он меня узнал, но не поздоровался. И в меня с этого момента, Бог весть от чего, вселилось тягостное чувство. Мучило что-то неясное, разъедающее...

Тридцатипятилетний мужчина успел эвакуироваться сюда, а мама рыла окопы в прифронтовой зоне.

Она тем временем написала, что переправлена в другое место. В паническом испуге я мысленно обращалась к ее сердцу, подталкивая ее заклинанием: «Да скорее же! Скорей! Приезжайте!» Подбиралась так близко к ее душе, что вдруг набрела на смутную догадку о чем-то очень ее личном: рытьем окопов мама наверстывала упущенное в бездеятельности последних лет. Я и понимала, и отказывалась понимать ее оттяжку.

В Ленинграде сгорели Бадаевские склады.

Наконец пришло письмо, в котором мама извещала, что на днях они въезжают во Фрунзе.

После длительного перерыва стали приходить письма и от друзей. На конвертах стояли штампы самых неожиданных городов. Лиза писала из Биробиджана, Рая — из Новосибирской области. Обе описывали передраги эвакуации, военный быт, нищенское устройство на месте, спрашивали, можно ли перебраться во Фрунзе. Только Нина с моей мамой остались в Ленинграде. Кириллы и Коля Г. были на фронте. О Роксане никто ничего не знал. С фронта пришло письмо от Платона Романовича, полное вопросов обо мне, о маме, о сестреях. Он просил писать ему, потому что я для него самый дорогой человек. И я впервые поверила, что это так и есть.

При самых различных ведомствах во Фрунзе организовывались курсы медицинских сестер. Эрика пригласили вести такие курсы при Верховном Совете Киргизии.

Как-то мы с Эриком пошли навестить Барбару Ионовну. Засиделись там допоздна и в результате остались ночевать. В своей кровати мирно спала Таточка, старшая девочка. Валерия и Лины. Сама Лина прилегла рядом с младшей. Барбара Ионовна устроилась на диване. Ночь была жаркой и лунной, дверь в сад оставили открытой. Звук шпокающих о землю переспевших яблок напоминал летние месяцы в Белоруссии в далеком детстве. В такую ночь война казалась дурным измышлением.

Мы еще переговаривались друг с другом, как вдруг поблизости затормозила машина. В двери соседнего дома, где тоже жили высланные, застучали. Послышался приказ: «Откройте!» Голоса, шум, перемежающиеся с тишиной рыдания. Что-то падало.

Превратившись в слух, мы как пригвожденные сидели на своих местах, ловили звуки, отлично понимая их значение. Шел обыск. Извне — война, изнутри — неунывающие аресты. Бешено раскрывшийся маховик был неостановим.

Соседа увезли. Наутро стало известно, что ночью арестовали шестерых высланных.

Мы снова стали бояться ночей, тормозящих у дома машин. Страх за Эрика был теперь постоянным. Стоило ему не прийти вовремя с работы, как я уже не сомневалась, что он арестован. Неслась к нему на службу. Если его там не оказывалось, бежала к Барбаре Ионовне или куда-нибудь на курсы. Бывало так, что возвращалась ни с чем. Внутри все стыло: конец! Но он являлся.

— Где ты был, Эрик? Я чуть с ума не сошла.

— На работе.

— Я только что оттуда. Зачем ты снова лжешь? Объясни, наконец, почему и зачем ты лжешь?

— Глупо, конечно. Прости. Ну, встретил Брагина и Воробцова, зашел к ним. Больше не буду, честное слово. Учи меня, учи.

Со словами «больше не буду» вползало что-то линияное, закрывающее его. В фанатичной устремленности к искренности, единству я все еще не была готова к мысли, что близкий человек может оказаться не до конца откровенным и ясным. Требовала, чтоб он не лгал. С чувством опустошенности в сердце опять убегала в глубину сада. И снова, близоруко шурясь, своим неуверенным шагом, протягивая руки вперед, Эрик шел меня искать, бормоча: «Боже мой, где же ты?»

«Не каждый может обойтись самим собой, не всякий есть зрелая сущность, — уговаривала я себя. — Может, в помощи друг другу только и кроется истина и смысл?»

Попав в своеобразный плен покаянных обещаний, никак не желая того, я стала чем-то вроде учительницы с вытекающим отсюда педагогическим характером радостей: добьюсь, выучу, изменю. Уповала на то, что «ученик» образуется. На короткое время обаятельный Эрик таковым становился.

Однажды, занимаясь в доме уборкой, я услышала скрип калитки. Ни Эрика, ни хозяйки дома не было. Я поспешила выйти. Во дворе стояли четверо мужчин.

— Вам кого?

Они стояли, смотрели на меня и... не отвечали.

— Что вы хотите? — спросила я еще раз.

— А вот пришли вас арестовать! — ответил один из них.

От сердца, от мозга отлила кровь. Почти теряя сознание, я прислонилась к косяку. И тогда один из пришедших с нечеловечески холодной усмешкой произнес:

— А здорово вы испугались! Здорово побледнели! Невинный так не обомрет! Хозяйка нам ваша нужна. Где она?

Так «пошутив», четверо мужчин направились к калитке. Тот, кто глумился, обернулся еще раз:

— Да-а, здо-о-орово вы побледнели. Есть, значит, за вами что-то. Не иначе.

Как тайный грех, отгоняла я от себя этот впаивный с ленинградской поры страх. В тот момент он пробрал до смертной тоски.

С мамой связь опять прервалась. Я вообще больше нигде и ни в чем не находила себе места.

Зима началась в ноябре. Мокрый снег падал хлопьями, сплошной стеной. Мы с Эриком шли в центр города. К забору городского сада был прислонен щит. На его полотне, наполовину залепленном снегом, виднелись две крупные буквы «ЯХ». Подойдя вплотную к щиту, я рукавичкой сдвинула слой сыроватого снега. Афиша сообщала: 28 ноября в зале Филармонии состоится концерт В. Н. Яхонтова.

Здесь? Во Фрунзе? Еще и в день его рождения? Невероятно!

К Филармонии мы подошли в тот момент, когда у подъезда остановилась машина, из которой вышел Яхонтов. Едва скользнув взглядом окрест и по мне, он быстро прошагал под колоннаду здания, но тут же рывком обернулся:

— Вы?

— Я, Владимир Николаевич. Познакомьтесь. Мой муж.

Яхонтов обратился к Эрику:

— Дайте слово, что оба зайдете ко мне после концерта. Обещайте. Я должен быть в этом уверен.

Зал был переполнен. У рядов стояли приставные стулья. Публика — смешанная: местные, эвакуированные, высланные. В программе — Достоевский, композиция «Настасья Филипповна».

Появление на сцене крупного человека, словно бы высеченного на добротной материи, встретили аплодисментами.

Яхонтов сел в кресло у небольшого столика. В руках «держал» вообразаемую книгу.

Когда-то при чтении романа я была захвачена характером князя. Настасьей Филипповной нынче Яхонтов прояснил мощь, распоряжавшуюся в мире страстей. Мятежная, богатая натура мучилась и мучила, жалела, издевалась, любила и, словно заговоренная, сама шла на гибель. Все, что происходило в тот вечер в филармоническом зале города Фрунзе, было не чем иным, как волшебством. Где я была те три часа? Что со мной происходило? Не знаю. Настасья Филипповна стала личным страданием.

После концерта я поздравила артиста с его днем рождения.

— Действительно. Совсем забыл. И как это вы запомнили? — удивился он.

О чем-то мы, наверное, говорили. Но я никак не могла вернуться на землю из страны, которую уже не в первый раз все открывал и открывал этот художник. Я слышала многие из его программ: Есенина, Маяковского, Пушкина, Шекспира. Своим голосом он вытворял что-то совсем еще небывшее. В вокально-пластическую живопись превращал «Песнь о буревестнике», где голос был заодно с графикой беснующейся стихии. И все-таки ничто меня так не

поразило, ничем я так не была отравлена, как «Настасьей Филипповой» и Юродивым из «Бориса Годунова»:

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

А у меня копеечка есть.

— Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Борис, Борис! Николку дети обижают.

— Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича...

Читая этот монолог, Яхонтов становился на колени, свешивал голову набок. Голос забирался в беспредельную высь, вползал на странной мелодике в душу, прочерчивал замысловатую кривую и еще долго не исчезал, почти слышно впадая в тишину.

Как можно было исторгнуть из себя такой стон? Такую высокую неизбывную тоску? Что надо было постичь талантом?

На следующий день после концерта я делилась впечатлениями с Анисовыми. Они слушали меня и загадочно улыбались. Потом сказали, что вечером нас ожидает сюрприз. Сюрпризом был Яхонтов.

Александр Николаевич Анисов был соседом семьи Яхонтовых по Нижнему Новгороду. Сады их домов сообщались между собой. Анисов помнил Яхонтова мальчиком, называл его Володичкой.

Мария Константиновна тушила в духовке целую сковороду нарезанного репчатого лука и ставила это подрумяненное лакомство на круглый стол. Мужчины говорили о положении на фронтах. Яхонтов высказывал соображения относительно «второго фронта». Какое-то время спустя, вспоминая его прогнозы, я поражалась многим его дальновидным предсказаниям. Если я уходила на кухню помочь Марии Константиновне, Владимир Николаевич сердился:

— Не уходите. Когда вы рядом, мне светло и тепло.

Яхонтов писал воспоминания о Нижегородских ярмарках, читал у Анисовых свои наброски. Тут же, во Фрунзе, находилась и жена Владимира Николаевича — Попова. Иногда я видела, как тихая и всегда погруженная в себя женщина маетно, отстраненно проходила мимо окон Анисовых. Владимир Николаевич о ней никогда не говорил и, кажется, нигде не бывал с нею.

Скоропалительность и безалаберность эвакуации из Москвы 16 октября 1941 года, пережитый в дороге страх, толпы беженцев, которые Владимир Николаевич увидел в пути, как-то перевернули его сознание. Он не уставал рассказывать, как при налетах немецкой авиации они выскакивали из автобуса и бежали через поле к первой попавшейся канаве, чтобы залечь там, спасаясь от бомб. Рассказывал так, будто ждал, что кто-то опровергнет, скажет: «Вам просто не повезло, в тот день все случайно сбилось. Вообще же порядок есть». Вырванный из круга привычного обожания, он с трудом осваивал новое отношение к себе. Почти с детской непосредственностью

рассказывал о разнице в отношении персонала гостиницы к нему и к Любови Орловой. Приехали они вместе и жили в одной гостинице «Киргизстан». Популярность Орловой ни в какое сравнение не шла с его известностью. Сказывалось это, в частности, в том, что повар ресторана для Любови Орловой сочинял бефстроганов, а он должен был довольствоваться котлетами. Сквозь кисею этих иронических рассказов проглядывала уязвленная гордость и обида избалованного человека.

Раз-другой я видела Владимира Николаевича в городе. Он брался помочь мне нести с рынка тыкву или картошку. По дороге рассказывал какую-нибудь историю. Частная, казалось бы, беседа всегда была рассчитана им на желающих послушать, поэтому за нами всегда увязывалось несколько любопытствующих. Вот он рассказывает, как в день концерта его вызвали в военкомат. Ждать, когда до него дойдет очередь, дело долгое, а вечером концерт. Он подходит к военкому, объясняет: поскольку его фамилия с буквы «я», он, дескать, рискует опоздать. Военком обещает вызвать без очереди, но забывает. Яхонтов напоминает о себе вторично. Военкому не до концертов, и он одергивает его:

— Жди, артист, имей терпение.

Наконец его выкликают:

— Эй, Яхунов!

Тут Яхонтов останавливается, опускает корзину на землю и показывает, как, прижав к животу шапку и сделав ноги колесом, он подковылял к столу военкома.

— Яхонтов я. Яхонтов!

Ухватывая смысл разыгранной интермедии, публика на мостовой останавливается, смеется. Таким образом чтец берет реванш за свою непопулярность у военкома и obsługi персонала «Киргизстан».

Прервав разговор на полуслове, он пару раз просит:

— Обернитесь, посмотрите незаметно: кто идет сзади? Мне кто-то смотрит в затылок.

Я оборачивалась. За нами шли ничем не примечательные люди. И еще как-то:

— Посмотрите, кто-то следит за мной!

Однажды Владимир Николаевич попросил зайти к нему в гостиницу за рукописью. Я остановилась в дверях номера.

— Да пройдите же сюда!

Я нерешительно шагнула. Он схватил меня за руки и с силой рванул к себе.

— Неужели ты не чувствуешь, как мне нужна, необходима?!

Я испугалась, убежала. Опять оказалась «зеленой», но в куда более критический момент для этого человека. Не романного и не пошлого происхождения был тот порыв. Откровенней и сильней здесь бушевали загнанность, хаос и жутковатое душевное ненастье. Художником, глубоко чувствующим Настасью Филипповну и Юродивого, была прочувствована хворь его времени во всей ее неизлечимости. Оттуда он протягивал руки.

Как скоро опыт схожего больного одиночества ожидал и меня.

Стало уже понятно, что моя семья не успела выехать из-за блокады Ленинграда. Во что бы то ни стало им нужны были продукты и деньги. Даже во Фрунзе буханка хлеба стоила на черном рынке 100—150 рублей. Простаивая часами на барахолке, я продала не только последнее платье, но и купальный костюм. Воспаленно воображала, как привожу в Ленинград мешок сухарей, консервы, как мы выбираемся во Фрунзе, где я всех ставлю на ноги. Неотступно преследовал один и тот же сон: в попытке отыскать своих я лазаю по подвалам и все переворачиваю и переворачиваю полуживых людей с бирками на шее. Их несметное множество, а меня пустили на пару часов. И я не нахожу, не узнаю ни мамы, ни девочек. Днем, куда бы я ни шла, я вглядывалась в лица прохожих с неотвязной надеждой увидеть родных. В мужских, женских, молодых и старых лицах мерещилось лицо одной Валечки.

В смешении кошмаров и жажды быть вместе с родными вызрело твердое решение ехать в Ленинград самой. Я сказала об этом Эрику. Забеспокоился он только тогда, когда я пошла в военкомат. Но там этим вопросом не занимались, переадресовали в политуправление. Через две недели я получила оттуда отказ.

На курсах медсестер при Верховном Совете учились и секретари ЦК Кутарева и Парыгина. Эрик часто рассказывал, как хорошо к нему относятся обе женщины. На мою мольбу попросить их разузнать о судьбе мамы он ответил:

— С такой просьбой мне к ним обращаться неудобно.

Сама понимала: просьба велика, но...

В день по несколько раз я бегала на почтамт.

И наконец-то, вдруг, мне выдали письмо со штампом «Ленинград». Схватив его, я выскочила на улицу. Кое-как разорвала конверт. Малограмотным почерком там было написано: «Тамара. Надо тебе знать правду. Твоя мама умерла от голода. Я сама еле двигаюсь. Хоронить ее было некому. Смогли только вынести ее на лестничную площадку. Валя и Рена в больнице. Евдокия Васильевна»...

Я... кричала. Долго. Дико. И — страшно. Остановить меня было нельзя. Боль была чудовищной, непереносимой. Мама умерла от голода... Ее выбросили на лестницу... Никакая правда не имела права быть такой бесчеловечной. Моя мертвая мама выброшена на лестницу. На ту самую, где я так недавно с замершим сердцем слушала смех своих сестер... Боль рвала, убивала, изничтожала...

Откуда-то издали я услышала голос Эрика: «Перестань. Неудобно...» Но я не могла «перестать». От «шокированности» Эрика кинулась бежать. Куда-то. Где можно было броситься на землю. Крушить, молить и звать. Я отказывалась верить в то, что узнала. Смерть от голода не происходила из того, что было известно о Ленинграде.

«Что самое страшное на свете, мамочка? Война?» — «Голод, детка!» Так ответила мама, когда мне было одиннадцать лет.

Она что? Ведала свой конец?

В аллее, куда я забралась, с дурацкими словами стал приставать пьяный.

— У меня в Ленинграде от голода умерла мама, — выговорила я.

— Простите, простите...

Пьяный попятился, и это странным образом утешило. Замерзшая, опустошенная дотла, я направилась в свой дом, к тому единственному человеку, который должен был помочь и которому было стыдно за мои дикие крики. Не слишком хотелось идти туда. Но он, наверное, ждал.

В какой больнице мои сестры? Что с ними?

Теперь Эрик упросил своих влиятельных знакомых в Верховном Совете сделать запрос о моих маленьких сестренках. Ответ пришел мгновенно. Обе сестры находились в больнице № 4 на Обводном канале. Состояние их было тяжелым. Я снова писала заявление в политуправление. Просила разрешить мне выезд, чтобы выходить и привезти их сюда.

На имя главного врача больницы № 4 в Ленинград посылала телеграммы и письма. В выезде мне отказали вторично. А главврач ленинградской больницы ответил, что сестрам делают переливание крови, но состояние их критическое.

В блокадном Ленинграде, где умирают от голода, кто-то давал для переливания кровь? И ее вливали моим сестричкам? Я тут же пошла на донорский пункт. Ежемесячно стала сдавать по пятьсот граммов крови. Масло, полученное в пайке донорского пункта, перетапливала и складывала в глиняные горшочки, уверенная, что этим подниму сестер. Главный врач, осведомленный о правительственном запросе, обещал при первой возможности переправить с провожатым сестер во Фрунзе.

«Первая возможность» не появлялась. Главврача взяли на фронт. Новый молчал. Я забрасывала тех немногих, кто еще находился в Ленинграде, просьбами не оставить моих девочек, сообщить мне, в каком они состоянии. Одна из знакомых ответила телеграммой, от которой я чуть не лишилась остатков разума. Текст гласил: «Мама Валя больнице».

Значит, мама жива? В больнице? А где же Реночка?

На почтamt зашел Яхонтов. Увидев, в каком я состоянии, взял из рук телеграмму и пошел к начальнику почты. Телеграф сделал запрос во все пункты следования телеграммы. Пунктов было много. Телеграммы в войну шли через Сибирь. Дубли подтверждали содержание. Внес ясность лишь сам Ленинград. Решив, что «мама» — это обращение, цензура оставила это слово, а «Реночка умерла» — изъяла. Полный текст был: «Мама Реночка умерли Валя больнице».

То есть Реночки тоже больше нет в живых? Младшая, самая добрая и ласковая, за всех всегда просившая Реночка больше не существовала. На этот раз я не кричала. Не смогла и заплакать. Превзойдя всякий человеческий счет, жизнь люто расправилась с нашей семьей.

Много лет спустя Валечка рассказала, как, лежа на соседней кровати, наша младшая сестранка перед смертью взывала к ней: «Валечка, мне больно! Я умираю, помоги, мне больно! Помоги!»

Чудом уцелевшая средняя сестра, выйдя из больницы, побрела домой. Комната была разорена. Она зашла к соседке. Та ответила:

— Родственники ваши здесь все позабирали. Остальное я продала. Думала, ты умрешь.

Ослабевшая и одинокая Валечка добрела до детского дома и попросила ее там оставить. Пережитый голод дал осложнения на ноги. Она не могла ходить. На какое-то время я опять потеряла ее след. И только из Углича, куда по Марининской системе вывезли этот детдом, я получила ее страшное письмо.

Четырнадцатилетняя сестра бесхитростно и неутешно описывала то, что ее снесало: как, получив однажды на все карточки хлеб, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, едва передвигая опухшие от голода ноги, она отщипывала кусочек за кусочком от общего пайка. Весь его съела. Отогреть душу сестры могла я одна. Умоляя заведующую детским домом, в котором находилась Валечка, доставить ее ко мне, деньги на сопровождающего, как она велела, я незамедлительно выслала. Ждала со дня на день приезда сестры.

Еще осенью 1942 года, проявив твердость, я заставила Эрика подать заявление в медицинский институт. Он должен был его закончить, должен был стать дипломированным врачом.

Эрик поставил условие:

— Если ты тоже поступишь в медицинский. Мы все должны делать вместе. Учиться и работать в какой-нибудь больнице тоже вместе.

У войны, ссылки, у жизни, истребившей мою семью, отвоевывать, кроме этого бесповоротного «вместе», больше было нечего. Что-то в себе скомкав, смяв, я согласилась.

Преодолев страх перед анатомичкой и всем, что с этим связано, я сдала экзамены и была принята на первый курс. Эрика зачислили на четвертый. Оба мы стали студентами Харьковского медицинского института. Именно он был эвакуирован во Фрунзе.

Группа, где я училась, состояла преимущественно из выпускников средней школы. Я была «старшей». Девочки на уроках анатомии вынимали надушенные платочки. Я воспитывала в себе волю, обходясь без оных. Через «публичку» Эрик доставал атласы и книги. Я с головой ушла в занятия. Успевала по всем предметам. С великим удовольствием оставалась после лекций, чтобы кому-то объяснить пройденное. Особенно часто занималась с киргизским мальчиком Чингизом. Он благодарно и усердно внимал латыни и анатомии. Я читала дополнительную литературу и скоро стала «первой» студенткой. Жаждала на занятиях, чтобы меня вызвали, отвечала на «отлично». В том, что я получу сталинскую стипендию, сомнений уже не было. Она была нужна. Курс был очный. Работу в театре я оставила.

Нелегко было в военное время справляться с хозяйством. Дров и угля не было. Для того чтобы затопить буржуйку, я, крадучись, вечерами всаживала в какой-нибудь забор топориче и выламывала доску. Еще лучше было набрать впрок ненужного барахла, намочить его в мазутной луже и растапливать им печку. Тряпье начинало хрипло и сердито урчать и быстро нагревало железо.

Барбара Ионовна часто бывала у нас. Приходила, по ее любимому выражению, «дуть кофе»; принесла к нам на хранение остатки своих вещей. Ко мне она теперь относилась с подчеркнутым уважением.

В январе 1943 года началась зимняя сессия, которую мы с Эриком успешно сдавали. Я боялась только за последний экзамен. Как раз перед ним подошел срок сдавать на донорском пункте кровь. Ни пропускать, ни откладывать это я не считала для себя возможным. А после процедуры случались сильные головокружения, одолевала слабость. Эрик пришел за мной на пункт, помог дойти до дому.

Я неукоснительно продолжала перетапливать донорское масло теперь уже для одной Валечки, которую ждала. Поднять ее, поставить на ноги было делом первостепенной важности. Часть донорского пайка позволила нам с Эриком отпраздновать окончание сессии. На мазутном огне я напекла оладий, о которых в ту пору многие могли только мечтать. Эрик вынул спрятанные им для подарка туфли:

— Примерь. Это тебе. Если бы не ты... Все в тебе... Спасибо за все.

Мы сидели вдвоем, грелись у еще не остывшей буржуйки. Больше всего на свете я хотела спать, спать и спать. Расстилая постель, прислушалась, показалось, кто-то ходит под окном.

— Сходи посмотри. Слышишь? — попросила я Эрика.

— ...Слышу, это ветер! Тебе померещилось.

— ...Вот опять...

— У тебя просто расходились нервы. С завтрашнего дня — каникулы. Отдохнешь.

Отоспаться? Это хорошо. После окончания сессии, сдачи крови, горя и бед я чувствовала себя больной.

— Спи, спи, — говорил Эрик. — Завтра утром, когда пойду на работу, не буду тебя будить. Договорились?

— Угу.

— Спи.

ГЛАВА IV

30 января 1943 года начинались зимние каникулы. Со сна я виновато пробормотала Эрику, что не встану его проводить. Осторожно прикрыв за собой дверь, он вышел на кухню. Сквозь дремоту я слышала его осторожные шаги, позвякивание железного стерженька в полупустом рукомоинике, скрип буфетной створки. Шумы были приглушенными. «Меня берегут, любят», — убаюкивала я себя.

Попив чаю, Эрик вернулся в комнату за портфелем. Надев пальто, нагнулся, поцеловал. Не вырываясь из теплого полусна, я ответила ему.

Только тогда, когда он выходил из комнаты, я приоткрыла глаза. Свет из кухни высветил Эрика и впечатал его силуэт в зрительную память. Дверь за ним закрылась. Я повернулась к стене и уснула, не подозревая, что в эти мгновения Эрик навсегда уходит из моей жизни.

Вскочила я около девяти утра. До прихода Барбары Ионовны, пообещавшей прийти утром, надо было успеть сбегать на рынок. Между делом вспомнила, что собиралась проверить, нет ли следов: почудилось вчера или кто-то все же ходил под окном? Потом примерила туфли, подаренные Эриком. Они были хороши; надела на них калоши, поспешила на базар и про следы забыла.

Морозы во Фрунзе упали. Утра бывали туманные, влажные. А днем уже совсем по-весеннему согревало солнышко. Путь был неблизким. Новые туфли стерли ноги. Обрато шла медленно, вдыхая горную свежесть, стекавшую с гор Алатау.

Не доходя квартала полтора до дому, увидела, как из калитки нашего дворика вышла незнакомая женщина в каракулевом пальто и каракулевой шапочке. «Наконец-то! Валечку привезли!» — занялось сердце от радости.

Несмотря на стертые ноги, быстрее заковыляла навстречу женщине, задерживая ее выкриком: «Вы к Петкевич?»

Женщина в каракулевом пальто утвердительно кивнула головой, остановилась. Дошагав, я распахнула калитку. Валечки не было. Значит, с вестями от нее?..

— Вы откуда? Из Углича? Из Ленинграда? Проходите. Разделайтесь. Садитесь.

Но женщина не села. Ответ ее был неожиданно прозаический:

— Я за вами. Вас срочно вызывает директор института.

— Зачем?

Мелькнула мысль: что-то с Эриком. Потом вспомнила, что меня оповестили о сталинской стипендии. Значит, по этому поводу. Наверное, так положено.

— Хорошо, — сказала я, — но ко мне сейчас должна прийти свекровь. Дождусь ее. И приду. Да я вот, видите, еще и ногу так некстати стерла.

Гостья без всяких церемоний подошла к этажерке, отыскала на полке кусочек картона, сложила его раза в четыре и протянула мне:

— Положите под пятку и пойдете. Он ждет вас сейчас.

Зачем я так срочно понадобилась директору института? И какая странная женщина! Ее беззастенчивое хозяйское поведение коробило. Ничего не ответив, я подложила в туфли картон.

— Ну как? — спросила она.

— Благодарю. Лучше.

Наскоро написала Эрику записку: «Меня вызвали в институт. Скоро буду». Почему-то ни слова не оставила Барбаре Ионовне. Подложив под камень ключ и записку, пошла за незнакомой особой.

Откуда в нас это вялое непротивление чужой настойчивости и беспардонности? Послушание первому встречному? Подчинение слову, приказу?

Я хромала. Женщина сделала попытку взять меня под руку. Я инстинктивно отклонилась. Всего-навсего надо было переодеть обувь. Я разнервничалась и не подумала сделать это.

Мы молча спустились вниз по улице. Всего полквартала.

У обочины стояла легковая машина. Я заметила ее, когда возвращалась с рынка, но, охваченная нетерпением удостовериться, действительно ли привезли сестру, миновала, даже не взглянув, кто в ней сидит.

Женщина внезапно остановилась именно возле нас. Твердой рукой открыла дверцу и резко сказала:

— Сюда!

В машине находились двое мужчин в форме НКВД. Все во мне сбилось, затвердело.

— Почему же вы сразу не сказали?— вырвалось у меня.

— Так лучше.

Я оглянулась. Улица, как беззвучный выстрел, кратко вспыхнула весенним теплом. Увидела одиноких прохожих, занятых собой. Серая тоска залила нутро. Улица не видит. Улица не понимает. Ей безразлично. Дверца машины защелкнулась и отсекала меня от естественных связей со всем: средой, устремлениями, привязанностями, даже воздухом, которым человек дышит на свободе, как хочет. «Арест? Да нет! Не может быть...»

Не так давно вызывали приятелей Эрика. Они пересказали: интересовались нами. Вызывали когда-то в Ленинграде и моих друзей. Теперь, видимо, решили о чем-то спросить лично меня.

Но почему все-таки так много людей в машине? Я так и не посмотрела на сидевших рядом мужчин. Дама казалась главной. Сплоховала моя фантазия. Ни разу не представила я себе особу в каракулевом манти, выманивающую меня из дому, а я-то рванулась ей навстречу! Думала, она добрую весть принесла.

Машина катилась вниз, к центру. Остановилась возле здания НКВД, занимавшего целый квартал. Двое вышли. Третий ждал, когда выйду я. Указали на главный вход. Там деревянный барьер. На посту дежурный:

— Паспорт!

За ним протянута «берущая» рука, — «каракулевая» дама предупредила, что его надо взять «к директору института».

Интуиция образованнее разума. Отдавая паспорт, я почувствовала: отсюда мне выхода нет.

Границы между свободой и неволей на государственных картах СССР не обозначены. В отличие от помеченных, эту заставляют переходить насильно. Внутренний шлагбаум почти беззвучно гильотинирует человеческие судьбы.

Меня вели по коридорам. Я уже находилась по ту сторону смысла. С папками под мышкой мимо проносились военные обоего пола. За дверьми кабинетов стучали пишущие машинки. В конце

коридора мигал семафорный свет. Формы, сапоги, ремни. Учреждение, при мысли о котором я неизменно ощущала страх. Вот оно изнутри.

Толкнув одну из многочисленных дверей, сопровождавший меня военный сказал:

— Сюда!

Окна узкого, незначительного на вид кабинета были зарешечены, выходили во двор.

— Сядьте здесь, — было указано на стул у двери.

Пошарив по ящикам, взяв что-то со стола, военный ушел.

Я была предоставлена самой себе. В груди все тупо ныло. Мысль, как подбитая птица, никуда не могла взлететь, кружилась над тем, что будет с Эриком: придет на обед, удивится, прочтя записку, начнет беспокоиться, кинется искать... А куда?

То, что за мной приехали трое из этого учреждения, что я очутилась здесь и вот сижу в ожидании неизвестно чего, ко мне словно бы не имело отношения. Втащить свою мысль в этот кабинет я не могла. Да, скорее всего — это вызов. «На окнах, знаешь, решетки. Этот военный нарочно ушел так надолго, чтобы измучить меня...» — примерно так я расскажу об этом Эрику.

Прошел час. И два. Я все была одна. Взять и уйти... Подойти к барьеру, где отобрали паспорт, и сказать: «Я больше там не нужна»: Нет, этим я недолго тешила себя. Я даже не решалась встать со стула. Казалось, в кабинете снята глаз и ловушек.

В конце концов усталость, голод, перемученность и возбуждение образовали гремучую смесь. Я стала задыхаться. Вырваться на улицу, куда угодно! Только вон отсюда! Сейчас же! Немедленно! Кипели слезы, горела голова. И тут военный снова вошел в кабинет.

— Если я вам нужна, то приду позже. Сейчас мне надо уйти. Там очень волнуется муж, — сказала я срывающимся голосом.

— Придется подождать столько, сколько нужно будет нам, — отчеканило официальное лицо и мягче добавило банальность: — Мужьям невредно иногда поволноваться.

Он забегал еще и уходил опять.

Терпение истощалось. Снова переходило в бунт. То я храбрилась, то теряла власть над собой от бешенства и протеста. Жажда оказаться вне стен этого дома доводила до умопомрачения. Там метался Эрик. Я рвалась успокоить его и быть утешенной им. Но объяснять, что это была попытка ожиданием, мне было не надо. Я это знала так хорошо, будто когда-то пережила этот род казни.

Ощущая предельную степень усталости, я вдруг с отчетливой ясностью поняла, не мозгом, а всем своим существом, что терпеть мне отныне придется много, без конца. Что подобное, бесчеловечное, будет в моей жизни теперь всегда. Только хуже. И навсегда — хуже. Открылось это, как истина. Жестокая и бесстрастная. Ну а я не умела терпеть, не умела сносить бездушные. И я упала духом.

Меня уже держали более десяти часов подряд. На ручных часах было девять вечера, когда военный наконец расположился за столом и начал опрос: «Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование; имя отца, матери, есть ли сестры, братья, кто муж?»

Анкета была заполнена. По моему разумению, он должен был приступить к главному, ради чего меня сюда привезли: спросить о том, что им неясно. Но он опять ушел, оставив меня в ночной пустой комнате, за стенами которой уже не стучали машинки и не слышно было шагов.

Только в час ночи военный вошел в кабинет так, что я поняла: надолго. Он велел мне пересесть к столу, против него. Подняв глаза и чеканя слог, медленно произнес:

— Петкевич! Вы... а-ре-сто-ва-ны!

Все живое во мне, вся я мгновенно свилась в клубок, оторвалась у самой же себя от сердца и со страшной скоростью покатилась в какую-то тьму, глухоту, преисподнюю. Удивилась: сколько пространства заключено внутри! Как долго скатывалось сердце-шар! Это и есть «то»! То, самое страшное на свете... чего я так давно уже боялась.

Так человек оказывается на другой орбите, в другом измерении, где даже дышать требуется по-иному. Хотелось упасть. Нейтрализовать, стереть сказанное беспамятством. Была физическая потребность отключиться от ощущения, что жива. Хотя бы сон в конце концов, хотя бы чтоб никого вокруг и... совсем тихо...

Показав ордер на арест, следователь удобно расположился и приготовился работать.

Начался первый допрос.

— Итак, Петкевич, расскажите о своей контрреволюционной деятельности. Все! Всю правду!

Неужели надо отвечать? А я ничего не могу. Даже голос этот слышать не могу.

— Никакой контрреволюционной деятельностью я не занималась. Вы ошиблись.

— Мы не ошибаемся. Лучше расскажите все сами. Ну!

— Мне нечего рассказывать.

— Начните с рассказа о том, — продолжал он, — с каким заданием вы были направлены ленинградским центром во Фрунзе? Что сюда везли? Как фамилия человека, с которым связывались по приезде во Фрунзе? Кто инструктировал в Ленинграде перед отъездом?

В ожидании предстоящего разговора я не перестраивала своего сознания. Необходимости оборонять себя не было. Вся моя жизнь была нараспашку. Я чувствовала себя в состоянии опровергнуть любую ошибку. Но сейчас в невообразимом, чудовищном наборе «Ленинград — центр — Фрунзе» я едва узнавала свое решение ехать к Эрику и приезд во Фрунзе. Значит, эти вопросы все-таки имели ко мне отношение?

— Дайте сюда вашу сумочку, — потребовал следователь, — и часы снимите с руки. Положите на стол.

Что-то всколыхнулось внутри. Отдать сумочку с десятком своих мелочей? С ножницами, письмами, пудреницей, на которой выгравировано: «Дорогой Томочке от Давида»? Только что отняли жизнь, а сумочку было жаль. Мне давали понять, что ничего лично мне принадлежащего больше нет? Да, так.

Я сидела не шелохнувшись.

Следователь привстал, перегнулся через стол и хватко забрал из рук сумочку. Часы я сняла сама, чтобы он ко мне не дай Бог не прикоснулся.

— Ну а что везли отсюда, из Фрунзе, в Ленинград, когда внезапно выехали весной? — вернулся к допросу следователь.

Так трактовалось здесь, в НКВД, мое отчаяние после ссоры с мужем и свекровью, когда я рванулась домой, к маме.

Я отвечала, что ни о каких центрах не имею понятия, что нигде, никто меня не инструктировал, ничего никуда не возила.

— С какой разведкой были связаны? Какую диверсию должны были осуществить здесь? — теснил меня следователь куда-то дальше к пропасти.

Каменьями летели в меня вопросы: чудовишные до идиотизма, не имеющие отношения к представлению о нормальном. Не было больше ни воздуха, ни площади, куда было бы можно переместиться, спрятаться, отвалив нагромождение измышлений. Неутомимый следователь спрашивал и писал протокол. И вера в логику, правду покинула меня. Что-то здоровое вынырнуло еще раз, доплясало свое странное «тра-ля-ля» и исчезло совсем.

— Вы меня с кем-то путаете, — пыталась я протрезвить воздух этой комнаты.

— Нет, Петкевич, мы вас ни с кем не путаем. Поймите: чистосердечное признание — единственный выход для вас.

И следователь опять и опять дознавался: какая разведка, какое задание?

Допрос он прервал внезапно. Тонем сожаления за «непростительную оплошность», почти с простой человеческой интонацией, которая воспринималась теперь как лицемерие, он воскликнул:

— Ведь вы же голодны! С утра ничего не ели!

Позвонив, он велел дежурному принести две порции «второго». Ночью, в три часа, в казенном кабинете НКВД, появившийся на столе бефстроганов представился адской едой. Если упрямство — признак жизни, значит, я была живой. Я знала, что к пище ни за что не притронусь.

Отужинав в одиночестве, следователь продолжил допрос.

Кроме «не знаю», «нет», «не слышала», мне нечего было отвечать.

Он взывал к моему разуму: во-первых, «отвечать правду»; во-вторых, «все-таки поесть». И снова спрашивал:

— Какое вознаграждение вы получали от тех, на кого работали?

Измолачивание вопросами прекратилось вдруг. Следователь вызвал дежурного.

— Отведите арестованную в камеру! — приказал он.

Разве сердцу было еще куда падать? Оно упало. Я немало слышала о камерах тридцать седьмого года. В какую меня?

— Прямо, — говорили мне, — налево, направо, вниз, налево.

Наконец, одна из дверей открылась во двор, в ночь. Квадрат звездного неба над головой взвизгнул вместе с дверью и отлетел куда-то ввысь. Еще несколько ступеней вниз, и я очутилась во

внутренней тюрьме НКВД. Появились надзиратели. Открывали ворота, замки и тут же их закрывали. Длинный коридор. По обе стороны множество дверей. У потолка тусклые лампочки.

Было чувство, что по коридору иду не я, только деталь меня. Остальная я все падала на каждом шагу плашмя. Потому что невозможно было всему этому быть. Даже в ошпаренной, вымороженной действительности — невозможно. Но «падала» я в самой себе, в ровно двигавшейся оболочке себя. «А-а-а!» — кричало ослепшее нутро.

Опять гремели ключи. Как много железа вокруг! В камерах тридцать седьмого года, рассказывали, негде было лечь из-за скопления людей. А сколько здесь? Какие, кто они?

Дверь отворили. Там была крошечная тьма, яма-пропасть. Я обернулась. Сзади стояли дежурный и мой следователь. В последнюю секунду он протянул мне мою черную шляпу, которую почему-то держал в руке.

«Это карцер», — сообразила я. И шагнула туда. За мной заперли дверь. Из какой другой тьмы я вплыла в эту?

Желание было одно: лечь. Пошарила рукой, ногой по полу, по стене. Нигде ничего. Кроме стен, цементного пола — ничего.

Изнеможение. Бессилие.

Какое-то время я простояла, притулившись к стене, потом съехала и села на цементный пол. Знобило. И жгло внутри. Мозг горел. Вставала опять. Снова, как мешок, съезжала на пол. Не находила места. Глухо закричала: «Эрик! Мой Эрик, где ты? Хочу домой! Почему я здесь? Не могу! Не хочу! Помогите! Помогите же!»

Незрячий бунт швырял из угла в угол. Дичая, освобождаясь от всяких условностей, я стала биться головой об стену. Надо было сломать этот понимающий всю безнадежность положения аппарат, чтобы ничего не разуметь. Падала за смертью и вскидывалась опять.

Справедливости не призывала. Уже знала: ее нет! Вдруг самое наивное и глупое из всего обернулось надеждой. Эрик часто говорил: «Если они только попробуют с тобой что-нибудь сделать... я им тогда...» Он! Им! За меня! Пронеслось, потонуло и это. Остался цементный пол карцера. Я призывала силу, которая могла бы переместить во что-то другое эту нестерпимую реальность.

Когда я совсем обессилела, явилась еще одна простая мысль: образ этой камеры и есть надел, который мне пожизненно дан. Какой бы неукротимой ни становилась моя душа потом, в какие бы разомкнутые миры ни отправлялась, я знала: возвращаться придется в свой дом-одиночку. И никакому психиатру уже не дано было перекроить это сознание. Разве что любви и теплу?..

Тогда, за один бесконечный день 30 января 1943 года, все сразу потеряв, я поняла про жизнь самое жестокое. И то, как измывались над отцом, какую он сносил муку, — поняла тоже.

Но собственный опыт не похож ни на чей другой. Он — дело особое.

Еще ночью, в своей шляпе, врученной мне следователем, я обнаружила хлеб, он был подан к бефстроганову, и, вопреки же-

ланию, в этом бреде подачка приспособила себя к мысли о человеческом происхождении.

Утро заявило о себе тем, что у потолка зажглась гнойная желтая лампочка. При электрическом освещении камера-карцер оказалась страшней, чем в темноте. Стены каменного мешка были в брызгах, подтеках неизвестного происхождения, кричали именами и надписями, сделанными ложечными черенками, нацарапанными ногтями. Не один ты здесь бесновался, выворачивался наизнанку. Не один.

Тюрьма оживала. Мимо дверей прошаркало множество ног. Кто-то надрывно кашлял. Гремели металлической посудой. Неоднократно открывался «глазок». Чужие глаза высматривали, как я себя веду.

— Параша в углу, — доложил надзиратель в окошечко.

Я и сама поняла, что означает бак в углу. Это «невообразимое» имело имя? Дрожа от холода, я все-таки смотала пальто и шляпу в ком и села на него спиной к «глазку». Наконец открылось опять окошко в двери, и мне протянули кружку бурды и кусок хлеба.

Время теперь размечалось характером шумов тюрьмы: обед, ужин. То и дело где-то открывали двери камеры, слышалось: «Выходи». Я тоже ожидала вызова. Но подошла следующая ночь. Меня на допрос так и не вызвали. И не пригласили выйти на свободу с тысячами извинений, как представлялось.

Карцер находился под лестницей. По ней то и дело сбегали и поднимались люди в сапогах с подковами. Разрывной звук бомбил голову. От него некуда было деться. Я дрожала от холода, тупела от каменного грома. Казалось, еще что-то легонько сдвинется, я сойду с ума, и боли не станет. Но я с ума не сошла. Природа отказывала в подсказке, чем можно спастись, как сохранить, как удержать человеческое самочувствие. Оказывается, я уже давно ни во что не верила, еще с Ленинграда. Отчаянию ничего не препятствовало, и оно, как зараза, овладело всем существом.

В карцере меня продержали трое суток. На четвертые — двери открылись.

— Выходи. Прямо, направо, выше...

Деревянно ступая по коридору, я очутилась у двери. Ее открыли. Дневной свет резко ударил в глаза. Успела понять, что это тюремный двор. Все закружилось. И куда-то полетело. Провал. Поднялась сама. Невдалеке на треножнике стоял фотоаппарат. Мне накинули через голову бечевку с четырехзначным номером на бирке:

— Повернитесь в профиль! Теперь в фас!

Этой тюремной фотографии суждено было сыграть немаловажную роль в последующей судьбе.

Для очередной манипуляции повели в кабинет. Моя ровесница в форме работника НКВД ловко намазала мне мастикой подушечки пальцев и оттиснула их на бумаге. Каждое из этих действий тюремных служб обезличивало, унижало. Сама аббревиатура — НКВД — внушала смертельный страх. Давний, вжитой, до той поры посещавший как приступы болезни, он теперь вошел, овладел и парализовал.

Я не представляла ни того, что меня ждет, ни того, как я с этим буду справляться.

Обратный путь по коридору был длиннее. Карцер остался позади. Трехсуточное испытание одиночеством кончилось. Надзиратель открыл дверь камеры в другом колене коридора. Там были люди! Как при начале жизни на земле, я обрадовалась им. Люди!

Все женщины, которых я увидела, показались приветливыми, слились как бы в одно лицо, одну грудь, к которой хотелось припасть. Я заплакала. Услышала:

— Не плачьте!.. Пусть поплачет!.. Не трогайте ее!.. Идите сюда. Вот ваша кровать... Ой, да ведь я вас знаю. Сколько раз видела вас в городе с мужем. Такая красивая пара! Любовалась вами... Только что с воли? Как там?.. За что же вас?

Разноголосица участия понемногу заткнула течь горя.

— Нет, ложиться днем здесь не разрешают. Можно только сидеть, — предупредили меня женщины.

Но после трехсуточной маеты голова все-таки упала на подушку. Открылся глазок.

— Эй, поднимись! Или в изолятор захотела?

Это относилось ко мне. И опять то же чувство сказало мне: «Будет вечное превозмогание, вечное изнурение. Всегда. Привыкай».

В камере стояли десять кроватей с жидкими соломенными матрацами, такими же подушками, покрытыми белесыми, застиранными одеялами. У дверей — параша на всех. Надо разучиться стесняться, вытравить само представление о стыде. Возможно ли? Какая мука!

Камера в подвале. Окна на уровне дворового асфальта. На окнах решетки и козырьки. Неба не видно. У стены камеры деревянная полка. На ней алюминиевые миски, кружки и таз для стирки. На стене «Правила поведения заключенных во внутренней тюрьме НКВД». «Нельзя», «запрещается» — пунктов пятьдесят. День организовывает строгое расписание: подъем, вынос параша, прогулка на тюремном дворе, допросы, допросы, допросы, еда, немного сна в начале ночи и теперь уже ночные вызовы на допрос. Во время прогулок обыск в камерах. После прогулок обыскивают нас. Чужие руки шарят вдоль тела. Надо выучиться мертветь, чтобы не ударить по мотающемуся перед глазами чужому лицу. Надзиратели через «глазок» могут нас рассматривать сколько хотят.

У тюремной жизни два этажа: наверху — допросы; внизу, в подвале, — камера, дом. Там, наверху, я должна была понять, чем неугодна своему государству.

На допрос вызвали незамедлительно. Кабинет др.гой. Следователь тот же.

Ему года тридцать три или тридцать пять. Выше среднего роста. Блондин. Глаза чуть навькате. Простоватое, но неглупое лицо. Представление о его внешности сложилось много позже. Тогда внимание к подобным подробностям отсутствовало. Прежде всего он был полпред Зла.

— Подумали? Обо всем? Поймите, Петкевич, увливать бесполезно. Итак, с каким заданием вы были направлены во Фрунзе ленинградским центром?

— Ни о каком ленинградском центре не имею понятия. Во Фрунзе приехала к своему будущему мужу! — отвечала я опять с надеждой на то, что мне все-таки поверят.

— Решили упорствовать? Мы знаем все. Вам это понятно? Понятно или нет? Отвечайте: с какой разведкой были связаны? — долбил и долбил следователь.

Один из допросов вела «каракулевая» дама, которая меня арестовывала.

— Вы еще молоды. Еще не поздно стать человеком. Советую вам во всем чистосердечно признаться. Тогда мы вам поможем стать на верный путь.

Тон воспитательницы детского сада, предлагающей «спасение», был еще более непереносим. Наткнувшись на мое молчание, она стала кричать:

— Ишь какая! Видели и таких. Забудьте, что у вас есть характер!!!

Она была охвачена каким-то иступленным желанием превратить меня в плазму, сырье, которое можно гнуть и выворачивать как угодно. За что-то непонятное ненавидела меня.

— Забудьте, что вы женщина!!! Да, да, придется об этом забыть, — бесновалась она.

Последующие допросы вел прежний следователь.

— Итак, вернемся к заданию, которое вы везли из центра. Кому? Что именно? Назовите фамилии.

Он изначально отказывался верить в мой добровольный отъезд из Ленинграда, не верил в личные мотивы этого шага. Мои ответы: «Не знаю. Не было. Ни к кому» — вывели его из себя. Сорвавшись, следователь тоже стал кричать:

— Знаете! Было! Их фамилии!

Мне был известен один способ жить: открытость, искренность. И чтобы этому верили. Но именно на это надежд не оставалось никаких.

Следователь тем временем задал новый, поразивший меня вопрос:

— Вот вы говорили, что хотите прихода Гитлера. Что были намерены делать при нем?

Вопрос бил в живую, незаживающую рану. Следователю было известно: только что в Ленинграде умерли мама и сестра, их задушила блокада, война, Гитлер, и как это я вообще могла хотеть прихода Гитлера? Кем надо было меня считать? Какой представлять?

— Ничего подобного я никогда не говорила. Не хотела. Не могла хотеть.

— Говорили, Петкевич. Хотели.

Это и был тот главный удар, которого я ожидала после разминки следователя на вопросах о «центре» и «разведках»? В военное время за любое слово похвалы немецкой армии карали особо.

Однако и по прошествии десяти или двенадцати допросов я все еще не понимала, в чем суть главного обвинения. Обвиняли во всем. И мне все стало безразличным.

Больше, чем ходом следствия, я была озабочена мыслью: как угадать момент для вопроса об Эрике? Сказали ему о моем аресте? Что с ним? В ближайший из дней я решилась.

— Скажите, что с моим мужем? Вы объяснили ему, где я?

Неожиданно злобно следователь ответил:

— Вы не о нем беспокойтесь, а о себе. Так будет лучше.

Ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль о том, что Эрик может быть арестован тоже, а тут вдруг ожгло: неужели? Обоих? Нет! Не может быть!

Чаще всего на допрос вызывали после отбоя. Дергали по два, иногда по три раза в ночь. Но как бы ты ни был измучен ночными допросами, вставать надо было в «подъем», а досыпать днем категорически воспрещалось.

Сложившиеся отношения с соседками по камере становились хоть и зыбким, но спасительным кругом, за который человек держался, оказавшись в беснующемся мутном океане допросов, бессонницы и невротии. То у одного, то у другого начиналась истерика. Переживая кризис, люди старались успокоить друг друга. Исповеди, рассказы, взаимовыручка имитировали жизнь более чем неоднородной, но «семьи».

Наедине с собой можно было остаться, только забравшись с головой под одеяло.

Женщины в камере были разными по характеру и поведению. Олечка Кружко — соседка по койке справа — была по профессии чертежницей. В свои двадцать шесть лет имела двоих детей. Она шепотом рассказывала мне, как ей хорошо в домашнем кругу: на ночь она стелила постели, укладывала детей по кроваткам. Простыни у нее ослепительно белые, туго накрахмаленные. В их спальне светится только приемник своим зеленым глазком, приглушенно играет музыка, и они с мужем делятся впечатлениями прожитого дня. Рассказывая об этом, Олечка и плакала, и смеялась.

Обвиняли ее в том, что она рассказывала анекдоты, «подрывавшие устой советской власти». Но следствие у нее проходило легко, и она не сомневалась, что выйдет на волю. Для меня ее вера в освобождение была одной из самых непостижимых психологических загадок. Однако Олечкин оптимизм действовал благотворно.

Суховатая немолодая врач Александра Васильевна на все внешние раздражители реагировала спокойно. Злой окрик надзирателя объясняла: «Плохо спал!» Пожалуется кто-нибудь на голод, она спокойно скажет: «А на фронте?» О себе рассказывала мало. В освобождение не верила. Мужа и сына Александры Васильевны взяли на фронт в один и тот же день. Утром, в момент прощания, она повисла у них на шее и в голос запричитала: «Не отдам! Не отпущу! Кро-

вопийцы! Сталина и Риббентропа фотографировали вместе, мерзавцы!» Ей инкриминировали «контрреволюционную агитацию».

Две киргизки лет по девятнадцать держались друг за дружку и существовали отдельно от всех. Одна из них, Рая К., с целью получить причитающиеся льготы объявила себя женой Героя Советского Союза. Ее разоблачили. Вторая тоже попала на какой-то аванюре.

С самой молчаливой из всех, грузинкой Тамарой, как-то случилась истерика. Она бурно, взхлеб зарыдала, кинулась к дверям и начала что есть силы колотить в нее.

— Немедленно ведите меня к следователю! Сейчас же! Если не поведете, я всем расскажу, что я дочь Орджоникидзе!

Сходство с портретом Орджоникидзе действительно было.

— Но как же вы здесь очутились? За что вас арестовали? Почему здесь держат?— спрашивали мы наперебой.

— Ни за что! Они требуют, чтобы я на них работала, а я отказываюсь. Вот и держат. Сказали, что выпустят, когда я соглашусь... Но я больше молчать не буду.

В углу камеры стояла кровать Полины. Сорокалетняя женщина терпеть не могла, когда ее называли по отчеству. По профессии была санитарным врачом. Рослая, красивая, жуликоватая и грубоватая Полина любила «озоровать», петь силным, пропитым голосом. Иногда вскакивала на кровать и, вскидывая свои немолодые жилистые ноги в канкане, пародировала танец «маленьких лебедей». Ее байки коробили.

«Вот идем мы с приятельницей, — начинала она, желая отвлечь кого-нибудь от слез, — гуляем, смотрим: окно в сапожную мастерскую, сидят сапожники, работают. Мастерская в подвале, форточка открыта. Тут я задираю платье, спускаю с себя штанишки и сажусь прямо в форточку своим роскошным задом. Сапожнички бросают заколачивать гвоздики, поправляют очки, чтобы удостовериться, что это не сон. Один берет шило и направляется к окну... Я еле зад уношу...»

«Любовник мой был в армии Андерса, попал к немцам. А я — к нашим за него!» — неунывающим тоном рассказывала она о своем деле.

С допросов Полина возвращалась, словно со свиданий: возбужденная, с блестящими глазами. И о следователе говорила с двусмысленной усмешкой.

— Вы одна из нас, Полина, не пропадете в лагере,— заметила как-то Александра Васильевна.

— Не пропаду! Мне бы только скорее в лагерь, где мужичков побольше! И молитесь Бога, чтоб рядом со мной оказаться. Я и вам пропасть не дам! — с хохотом отвечала та.

Вера Николаевна Саранцева была старше меня лет на двадцать. Ярко-синие глаза и умные губы то и дело меняли выражение, отражая смену настроений и раздумий. Юрист по образованию, Вера Николаевна владела несколькими языками. Была образованна, начитанна и категорична в суждениях. Мне до нее — независимой, спокойной и разумной — было так же далеко, как до любой планеты.

Отвечая на вопросы своей тетки, она написала в письме, что «жиры» во Фрунзе в цене. Цензура утверждала, что написано «жиды», и ей предъявлялось обвинение в антисемитизме. Остальные обвинения были еще абсурднее. Вера Николаевна тоже не сомневалась в том, что ее освободят. Но полагалась не на милость следователя, как Олечка Кружок, а на собственную способность юридически грамотно себя отстоять. Я как-то сразу потянулась к ней. Завораживало ее ровное жизненное самочувствие, внутреннее достоинство, знание законов. Уже будучи в тюрьме, Вера Николаевна узнала, что арестовали и мать. За нее она волновалась значительно больше, чем за себя. Считала, что ее горячий и вспыльчивый нрав навредит на следствии обеим.

Передачи приносили почему-то одной Vere Николаевне, и она каждый раз упрашивала надзирателей большую часть переправить матери.

В тюрьме было одно утешение: библиотека. И какая! Она состояла из реквизированных у арестованных книг. Имена владельцев были затерты жирной чернильной полосой. Мы с Верой Николаевной читали запоем Толстого, Стендаля, Цвейга и т. д. О прочитанном спорили.

— Вспомнила, кого вы мне напоминаете: Ветрову! — сказала она однажды. — Помните ее портрет в Петропавловской крепости? Она облилась керосином и сожгла себя.

Нет, я не помнила. Но с той поры стала представлять силу отчаяния когда-то жившей Ветровой, подтолкнувшего ее к тому, чтобы опрокинуть на себя керосиновую лампу и сжечь себя. Такой ход к «породнению» часто связывал меня и впоследствии с живыми или давно ушедшими людьми. Эпохи, века, государства становились в этих случаях только одеждой, прикрывающей вечно длящуюся живую человеческую боль.

Внешне Вера Николаевна была похожа на народоволку. Вышагивая туда-сюда по камере, она иногда напевала романсы или мелодии. Раньше я с ней никогда не встречалась, но чего-то добивалась от своей памяти. Смутные, неопределенные ощущения побуждали что-то связать. Во Фрунзе на главной улице был дом, где часто играли Шопена и Рахманинова. Я всегда возле него замедляла шаг, чтобы насытиться музыкой. За окном рассмотрела вишневого цвета абажур и круглый стол, как у Анисовых.

— Вы жили на улице Дзержинского, дом семь? — спросила я у Веры Николаевны.

— Да, — удивилась и подтвердила она.

Начавшаяся в камере внутренней тюрьмы дружба с нею помогла пережить месяцы следствия, другие испытания, прошла через всю жизнь.

Многие из женщин знали фамилии, имена своих следователей. Иногда описывали их внешность, манеру говорить. Описания были так точны, что кое-кого я узнала в тех шестерых, что зашли однажды в кабинет во время допроса и усадились в кресла.

Кто-то из них стал задавать вопросы, перебивая моего следователя, кто-то молча курил. После обсуждения моей контрреволюционной деятельности они были не прочь «поболтать».

— Ну а кого вы больше всего любите из писателей? Бальзака — вот как? Нравится?

Малограмотные, малокультурные люди были вполне довольны собой и жизнью. Война этих следователей не касалась. Они воевали по-своему. Здесь.

По воскресеньям в камеру входил дежурный и приносил передачи. Кроме грузинки Тамары и меня, передачи получали все.

В глубине души я, конечно, надеялась, что однажды услышу свою фамилию и по передаче пойму, что с Эриком. И вот меня действительно выкликнули. Дежурный внес в камеру небольшой пакет и три глиняных горшочка, в которых хранилось перетопленное для Валечки масло из донорских пайков. Я торопливо развернула пакет. Обнаружила свое белье, роговую расческу, мелочи. Кто собирал эту передачу? Барбара Ионовна? Эрик? В ней, казалось, было все нужное, и все-таки не хватало чего-то одушевленного. Горшочки с маслом, которое я копила для сестры, особенно подавляли.

Как нынче сестренка выберется из всех бед одна? Что думает о моем молчании? Теперь-то стало понятно, почему мне отказывали в разрешении поехать к родным. Я писала заявление «на выезд», а мне в это время готовили ордер «на арест».

С получением передачи все-таки оживилась. Зачерпывая ложкой масло, бросала его всем в миски с баландой. На поверхности серой бурды тут же появлялись теплые золотистые колечки жира. Подойдя к Вере Николаевне, хотела бросить и ей, но она, отдернув миску, запротестовала:

— Нет! Оставьте себе. Неизвестно, сколько вам придется сидеть.

Вера Николаевна не уступила. Я подошла к параше и выбросила туда ее порцию.

— Ну и характер у вас! — возмутилась она, поддержанная общим гулом неодобрения.

Характер?! То, о чем «каракулевая» женоненавистница приказывала забыть. Но ведь его как бы и не было. Я не ведала, в чем он таится сейчас, при каких обстоятельствах проявится и даст о себе знать. Собственная инертность на следствии, растерянность, опустошенность пугали. Кроме страха и боли, казалось, во мне не было ничего.

— Передачу получили? — деловито спросил следователь, вызвав меня на допрос.

— Получила. Вы не знаете, кто принес? Муж? Или свекровь?

— Я! — ответил следователь.

— Что значит — вы? — не поняла я.

— Мы только вчера сделали в вашей квартире обыск. Вот я и собрал, что вам может понадобиться.

Я давно уже ненавидела его. За это «собрал», за сердобольный жест доставки масла возненавидела еще круче.

Делали обыск? Только сейчас? А как же вещи Барбары Ионовны, которые она принесла на хранение? Но волнение по поводу вещей свекрови следователь тут же снял.

— Знаем, что там были ее вещи. Она их получила обратно... Где и как вы познакомились с Серебряковым? — оборвал он разговор.

— Кто такой Серебряков? — переспросила я, сперва не поняв, о ком меня спрашивают.

— Опять увиливаете? Да, Серебряков! Не знаете? Не помните?

— Я знала Серебрякова. Но в Ленинграде, — и, поддавшись неуместной наивности, неожиданно для самой себя спросила: — Скажите: кто он? Я не поняла, кто он такой.

Ответа не последовало. Вопрос не повторялся. Но все, что относилось к ленинградской поре, стало вдруг предметом главного интереса следователя.

— Что можете сказать о Николае Г.? О Рае? О Лизе?

Что я могла сказать о своих друзьях? Преданно их любила, доверяла беспредельно.

— В Ленинграде, собираясь на квартире Г., вы читали запрещенные стихи Ахматовой и Есенина. Не Маяковского, между прочим, читали, не Демьяна Бедного, а упаднические. После чтения стихов вели антисоветские разговоры. Кто их обычно начинал?

Легко ориентируясь в сведениях о нашей ленинградской компании, следователь называл имена обоих Кириллов, имена Нины, Роксаны...

Не поспевая за потоком обвинений, удивлялась: при чем тут наши безобидные ленинградские сборы, чтение стихов? Все это казалось пластами такого глубокого залегания, о которых, кроме нас самих, и знать-то никто не мог. Почему об этом спрашивают на следствии? Почему называют «антисоветскими»?

— Мы не вели антисоветских разговоров, — отвечала я.

— Вели антисоветские разговоры. Мы все знаем, Петкевич!

И надоевшая, казавшаяся пустым звуком присказка-рефрен «мы все знаем» стала вдруг обретать объем и свое истинное значение. В бумагах, покоившихся на столе следователя, содержался немалый запас информации обо всех нас.

— Кто рассказал анекдот такой-то? — спрашивал следователь. — Вы говорили, что на конкурсе пианистов премии раздавались неправильно... Говорили, что система обучения в школе непродуманная... Любими способами вам надо было насолить советской власти...

Путешествие в собственное прошлое через призму чьих-то доносов — форменное безумие. Ни себя, ни бывших фактов узнать нельзя. Оказываешься перед необходимостью считаться с существованием сторонней, официальной точки зрения, которая квалифицирует события твоей жизни. Волей-неволей рождается «двойное зрение» у самой. На стороне искажения — сила и авторитет государства. Они, как прожектор, забивают непосредственную природную спо-

способность все видеть и понимать по-своему. Самое страшное то, что безобидные разговоры начинают самой казаться криминальными.

— А вы знаете, Петкевич, что мы вас хотели арестовать еще в Ленинграде? — решил ударить меня следователь.

Знала ли?.. Получалось, была права, считая реальностью предощущение беды, а не течение фактической жизни — лекции, работу, время суток, смех, беседы с подругами. Будучи дичью, чувствовала, как вокруг меня все глохло, вязло, как нечем становилось дышать. Древним предчувствием это процарапывалось тогда сквозь здравый смысл и логику. Значит, «знала». От этого и бежала.

— Что с моим мужем? Где он? — спросила я с неожиданной для самой себя внезапностью и напором.

— С мужем? А ваш муж арестован! В тот же день, что и вы. Рано утром.

Эрика арестовали раньше меня? Я писала ему записку, а он уже был арестован? Он находится рядом? Здесь? Весть об аресте Эрика убила. Больше я ни на чем не могла сосредоточиться. Мне казалось, что он не перенесет ни ареста, ни тюрьмы. Вопросы следователя до меня теперь доходили с трудом. Но он продолжал допрос так, словно сообщил мне, холодно на улице или не слишком.

— Разрешите мне передать мужу половину масла, — попросила я следователя.

— Не разрешу, — резко ответил он.

— Я очень прошу об этом.

— Нет!

— Почему?

— Хотя бы потому, что ваша свекровь ему передачи носит, а вам — нет.

— Все равно, разрешите. Пожалуйста.

— Этот негодяй обойдется и без масла. Все!

Почему Эрик негодяй? Может, он ударил его на допросе? Или оскорбил? Нет, на Эрика это не похоже. Тогда в чем дело?

Позже узнала, что 30 января следователь забегал в кабинет, где я томила, из соседнего, в котором допрашивали Эрика также до самой ночи. Что у нас с ним — «общее дело»? Или каждому предъявляют разные обвинения? Почему Барбара Ионовна носит сыну передачи, а мне нет? Считает меня главной виновницей? В те годы так и говорили: «Это она из-за мужа пострадала» или: «Его посадили из-за жены». На том и кончались поиски причины. «Ведь фактически речь все время идет теперь о Ленинграде, — стала думать я. — Про Фрунзе уже почти ничего не спрашивают. Значит, действительно нас обоих арестовали из-за меня. Выходит, права Барбара Ионовна?»

Допросы следовали один за другим. Из достоверных и вымышленных сведений следователь «наводил» вокруг меня магические круги, вроде бы не имеющие четких очертаний, но я была виновата во всем на свете. И когда после заявления, что меня хотели арестовать в Ленинграде, последовало другое: «Мы хотели вас обоих

арестовать в Ташкенте» (это когда во время «незаконной» командировки Эрика мы любовались среднеазиатскими орнаментами и улочками?), — я почувствовала себя вконец раздавленной: все время была погоня и слезка.

У допросов появились непротокольные «привески».

— Ну зачем вы сюда приехали? Зачем? — спросил вдруг следователь.

— Вы же только что сказали, что хотели арестовать меня в Ленинграде. Так не все ли равно?

— Хотели. Но ведь не арестовали! — отвечал он.

Он спрашивал также, не хочу ли я «попить чаю». У него, дескать, есть «случайно» с собой булка и сахар. И, как что-то неизменное, следовала сентенция: «Иллюзии, одни иллюзии. Пора снять розовые очки». «Добавки» коробили и раздражали дополнительно.

Изобличив меня ленинградским прошлым, следователь вернулся к актуальной теме военного времени.

— Что же вы все-таки собирались делать при Гитлере, желая его прихода?

— Зачем вы мне задаете этот вопрос? Я никогда ничего подобного не говорила. Я не могла, поймите, не могла хотеть прихода Гитлера.

— Да нет, Петкевич, говорили, что хотите его прихода.

— Кому я такое говорила? Скажите: кому?

— Кому? Мураловой говорили.

— Какой Мураловой? — Я впервые слышала эту фамилию.

— Не знаете такую? — И, взяв со стола какую-то бумагу, следователь зачитал: — «Я, Муралова (далее следовало имя, отчество), приходила мыть полы к хозяйке, у которой жила Петкевич. Там я слышала, как Петкевич говорила: „Хоть бы Гитлер скорее пришел, сразу бы стало легче жить”».

Все дальнейшее было на том же уровне.

Действительно, к хозяйке приходила женщина мыть полы. Я здоровалась с ней. Тем и ограничивалось наше знакомство. Кто ее принудил сочинить этот бред?

— Дайте мне очную ставку с Мураловой. Пусть она подтвердит при мне, что я это говорила.

— Будет и это, — пообещал следователь.

Затем допросы обрели новый поворот. Куда более трудный, чем обвинения.

— Расскажите, что говорила Х., когда приходила к вашей свекрови.

— Я редко бывала у свекрови и никогда не принимала участия в разговорах.

— Нас интересуют антисоветские высказывания Х. Вспомните. Это важно.

— Не помню.

— Напомню. В один из визитов Х. рассказывала, будто Сталин уничтожил письмо-завещание Ленина. Помните такой разговор? Далее она говорила, что Сталин мстил Крупской. Было такое?

— Не при мне. Я не слышала.

— Тогда ответьте, кто из вас лжет: вы или ваш муж? Он говорит, что в разговоре вы оба принимали участие.

— Я этого не помню.

— Вы же утверждаете, что говорите только правду. Где же ваша хваленая правдивость в данном случае?

Наступает момент, когда понимаешь, что одна голая «правда» перестает ею быть, легко превращаясь в донос, а сам ты — в доносчика. Да, один-другой разговор в самом деле был. Как будто припертый к стене действительным фактом и личной честностью, ты должен это подтвердить. И просто «не могу!» на границе неокрепшего сознания и чувства пробует принять на себя ответственность за другого и за себя.

Далее, по ходу следствия, выяснилось, что меня обвиняют еще и в антисемитизме. Основанием служило чье-то свидетельство, будто, находясь на почтамте, я, обращаясь к некоему гражданину, сказала: «Вы, жид, встаньте в очередь».

Отец воспитал во мне истинно интернациональное сознание. И тот, в частности, от кого приходилось слышать слово «жид», казался мне всегда недоразвитым, серым существом. Незнакомой не только с этой лексикой, но и с мышлением подобного рода, мне надо было доказать, что и это обвинение — нелепая подделка.

Тем не менее «нелепости» были сбиты в пункты, и следовательно зачитал мне сформулированные обвинения. Их было три: связь с ленинградским террористическим центром, контрреволюционная агитация и антисемитизм.

Не в пример Вере Николаевне, я о правовом сознании вовсе не имела понятия. Ни об опровержении, ни об уточнении обвинений речи не заводила. Я понимала: меньше пунктов или больше — никакого значения не имеет. Достаточно и одного, чтобы не выпустить на свободу. Арест Эрика лишь подтвердил мысль о том, что действует та же инерция. У обоих в 1937 году были посажены отцы. Он — высланный. Я — приехала в ссылку. И он, и я — потенциальные враги советской власти. Всё! Действительные или предполагаемые? Ну, это деталь несущественная.

Когда вечером нас из камеры повели в душ, я, объявленная политическим преступником, обвиняемым по трем статьям, искренне удивилась, что на свете цела вода. Она тяжело лилась, омывала, была невыразимо отрадной.

Я уже еле держалась. Меня к этому времени отовсюду «повыбило». Не было дома, не было семьи. Эрик арестован. Барбара Ионовна отказалась от меня. Силы для существования мог дать только сон. При неисчислимом количестве допросов он был дефицитом. Иногда этот тяжелый тюремный сон прерывался нечеловеческим, звериным воем. От него стыла кровь, леденело нутро. Крик несся из того же забетонированного подземелья. Где-то рядом мучили арестованного. Он мог быть виновным. Мог им не быть. Что это меняло? Истязали живого человека. Вой и чужая боль контузили не на час, не на день. На всю жизнь. Содрогавшихся, схваченных за живое криком

предсмертья, нас, разбуженных подследственных, скидывало с постелей в глубоком среднеазиатском тылу. Как и судьба Ветровой, звуковое дно этих страшных ночей братало душу с вечной мукой живого. И снова казалось, что прошедшие допросы, подведенные под статью обвинения, только начало, преддверие к чему-то еще более нечеловеческому, что самое опасное и страшное впереди.

В 1937 году подследственные сидели у стола против следователей. Случалось, что при такой мизансцене доведенный нелепыми обвинениями до иступления человек хватал со стола чернильницу или пресс-папье и запускал ими в своего мучителя. Опыт был учтен. И в последующие годы для подследственных стул водружался возле дверей.

В ожидании новой обоймы вопросов я на очередном допросе сидела именно там. Следователь долго молчал, сосредоточившись на выверке протоколов. Я посматривала на него и думала: «А вдруг и он кого-нибудь истязает и бьет?»

— Не положено, правда, — сказал он вдруг, — но я включу радио. Послушайте. Соскучились, наверное? Посидите. Отдохните. Я сегодня допрашивать не стану.

В кабинете тепло, светло. Не так, как в камере. Напряжение мало-помалу отпустило меня. Я заметила, что стол следователя покрыт черным стеклом. За окном темень. По радио передавали музыку Чайковского к «Лебединому озеру». Музыка, гармония показались не из этой жизни. Угловатыми. Почти враждебными. Но все-таки дарованный покой усыплял. Незаметно для себя я отключилась и будто исчезла с лица земли. Да так исчезла, что не уследила, как следователь, то и дело подходивший к шкафу, внезапно остановился возле меня.

— Какие у вас красивые волосы, Тамара! — как взрыв, как землетрясение оглушили его слова.

Это было хуже, чем удар, к которому я была постоянно готова. Коварство? Иезуитский маневр? Как противостоять им — я не знала. Следователь опустился на колени. Я вскочила. Сердце бешено расшибало все изнутри.

— Не бойтесь меня, — сказал он. — Я вас люблю, Тамара!

От неправдоподобия, дикости его слов охватила неумолимая паника. Я потерялась. Тем более испугала и неожиданность собственного вопроса, который смастерила во мне хладнокровная незнакомая логика.

— И давно это с вами случилось?

Он ответил на этот вопрос:

— Давно.

Несводимо и противоестественно было все. Слова его стили, громоздились, и я случайными звеньями, блоками запоминала то, что он говорил.

— ..Я знаю вас... вы чисты и невиновны. Знаю всю вашу жизнь. Знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя. Знаю, как жили в Ленинграде, как нуждались. Про сестер, про вашу мать знаю, про фрунзенские годы. Вы разве не помните меня? Я приходил к вам в медицинский институт, в группу... в штатском, конечно. Вы однажды пристально так посмотрели на меня. Потом мы приходили к вам домой. Нас было несколько человек. Один из наших сказал: «Пришли вас арестовать»... Вы тогда так страшно побледнели...

Следователь говорил что-то еще и еще. Казалось, что замахнувшаяся для какого-то замысловатого, чудовищного удара рука остановилась на поддороге, но добьет все равно. Мне было до ужаса страшно. Разламывался, трещал весь мир. Я не могла этого вынести.

— Пусть меня уведут в камеру.

После допроса с «объяснениями», пребывая в панике, растерянности, я, как мне показалось, наконец нашла выход. В камере рассказывали, что у арестованного есть право просить другого следователя.

Едва меня вызвали на следующий допрос, я заявила:

— Прошу передать мое дело другому следователю. Если вы этого не сделаете, я обращусь к начальнику тюрьмы.

— Думаю, что вы правильно поступили, — ответил следователь, — что сказали об этом сначала мне, а не начальнику тюрьмы. Знаете, что будет с вами, если я передам ваше дело другому следователю? Вас упекут на все пятнадцать лет!

— Пусть. Сколько дадут, столько и дадут. Все равно.

— Кому? Мне не все равно. Я не теряю надежды, что вы уйдете отсюда на свободу...

Следователь увещевал:

— Выкиньте мысли о другом следователе. Вы для меня только подследственная, и все.

В помысле о смене следователя было нечто большее, чем потребность избежать несусветных объяснений. Другой следователь мог лучше относиться к Эрику, короче и определеннее вести допрос. Враждебность тоже обязана быть четкой и ясной. Однако ни к одному из шести следователей, которые навевались на допросы и спрашивали, люблю ли я Бальзака, я попасть не хотела. Все они, как один, были чуждой, незнакомой породы. Но я стояла на своем: «Другого следователя!»

— Поймите, наконец, для вас это смертельно.

— Смертельно? Почему?

— Читайте! — протянул мне следователь пачку листов.

Машинописный текст гласил: «Петкевич перевозила технику Гитлера, говорила, что мечтает о его приходе... говорила, что ненавидит советскую власть» и т. д. Запомнить все я была не в состоянии. Это формулировала уже не Муралова. Кто-то другой.

Не дав дочитать и десятой части написанного, следователь выхватил листы из рук и разорвал их в клочья.

Возможно ли было спросить у него: кто автор сфабрикованного навета? Что означает акция уничтожения?

После ознакомления с очередным клеветническим доносом поняла, что напрочь врыта и зацементирована в эти стены. Освобождение могло прийти лишь с разрушением самих стен.

Предъявленные обвинения в связи с «центром», террористическими и диверсионными заданиями, восхвалением техники Гитлера вытекали из наклеенного в свое время в Ленинграде этим же самым органом власти политического ярлыка: «Эта девочка не может хорошо относиться к советской власти».

Но если при этом, пусть единожды, нечаянно, следствие прорывается за кордон штампа и признает: «Знаю, вы невиновны», то на чем же в таком случае зиждется противостояние следователя и заключенного, похожее на смертный бой?

— Вот вы употребляли в обиходе своей ленинградской компании такое выражение, как «энтузиаст от сохи», — обратился ко мне следователь. — Кого вы имели в виду? Кого так называли?

Не имеющий юридической силы вопрос был задан следователем с особым поисковым пристратием, так, словно он был лично оскорблен хлестким выражением.

Мы действительно по молодости лет «щеголяли» этим словосочетанием. Оно, несомненно, означало злое и резкое ругательство в адрес невежд всех мастей. Здесь, в кабинете следователя, это выражение обрело вдруг особо обидный, социально ехидный смысл. И между делом объясняло что-то существенное.

К сражению друг с другом людей побуждает глубоко залегающее в них несходство: классовое, генетическое и даже эмоциональное тоже.

По происхождению не аристократка, я не стала предъявлять свой природный демократизм. Ничего вразумительного ответить не смогла. Была словно бы уличена и даже внутренне залилась стыдом, погрешив против идеи равенства. По тем же законам бреда сама себе прикидывала срок.

Мы легко попадаемся, когда отождествляем этическое сознание с юридической виновностью. И еще немаловажно: хоть в чем-то чувствовать себя виновным спасительней и желанней, чем опротестовать абсурд.

Следователь учуял мою растерянность и не отступал:

— Кого именно вы так называли?

Но чем настойчивее он доискивался конкретного адресата, тем энергичнее подталкивал к самовыработке прав «личного образа мыслей». И если бы не причудливые «колена» дальнейшего хода следствия, я быстрее организовалась бы во что-то стоящее.

Утром в камере рассказывали сны. Толковали их, как вещие. Олечке Кружко, мечтавшей о своем доме и тугих накрахмаленных простынях, все сны выходили «к воле».

И (невероятно!) Олечке объявили об освобождении. Возбужденная, говорливая, собираясь домой, она клялась, что, пока мы все находимся во внутренней тюрьме, будет носить нам передачи. Особенно мне.

— И, — сказала она, — вообще, если будут какие-нибудь просьбы, передавайте мне все через доктора.

Доктора, молчаливую женщину, не проявлявшую к нам ни внимания, ни интереса, мы видели крайне редко. И мне было дивно, что у сидевших рядом со мной людей могли быть какие-то особые контакты с персоналом тюрьмы.

Олечку горопили. Перецеловав всех нас, всплакнувших и взбодраженных, она ушла.

Ее освобождение на всех произвело сильное впечатление. Одна Вера Николаевна по каким-то причинам не разделяла общего радостного по этому поводу настроения.

В камере остались одни неверующие. Вера Николаевна, правда, не отказалась от борьбы за себя. Она не раскисала, оставалась подтянутой, так же подолгу взад-вперед ходила по камере. Учила меня тем французским пословицам, которые особенно нравились. Например: «Между кубком и губами еще достаточно времени для несчастья» или «Горе тому, кто чем-нибудь выделяется». Вера Николаевна правила мне произношение, и я с удовольствием повторяла за ней перекрытое французское «эн».

Человек умный, исполненный мужества и достоинства, она в быту часто оказывалась беспомощной и трогательной. Я все больше и глубже привязывалась к ней.

Об Эрике я думала все время. Едва дежурный надзиратель спрашивал: «Кто пойдет мыть пол? Добавку дадим», я тут же отзывалась. Не за добавку. За шанс возле дверей камер услышать его голос или самой подать ему знак. Но двери в камерах были окованы железом. Только иногда случалось уловить то ли стон, то ли хохот. Я мыла цементный пол тюрьмы. Выливая во дворе воду, успевала заглотнуть лишнюю порцию воздуха. И все.

Была середина марта. Полтора месяца следствия остались позади.

— А-а, княжну Тараканову привели! Садитесь, — пытался шутить следователь, вызвав на один из самых неканонических допросов. — Картину помните? Флавицкого, кажется?

И тут же вернулся к вопросу о Гитлере. Подобрался, стал официален, сух и напорист.

— Итак, вы говорили, что хотели прихода Гитлера.

— Я не хотела прихода Гитлера.

— Нет, вы хотели и говорили об этом.

— Нет, не хотела и не говорила.

— Говорили.

— Нет.

— Говорили.

— Нет!

— Говорили!

Тон следователя был безапелляционен. Я уже знала, что он с этого места не сойдет, не отступит. Как всегда в этих случаях,

ощущение реальности и смысла истаивало. Душевное изнурение переходило в физическую усталость и безразличие.

— Разве можно хотеть прихода Гитлера? — все еще отстаивала я свое.

— Говорили. Хотели.

Продолжать тупую перспалку? Эту дурацкую игру? Борьба за свое «нет» показалась вдруг унижительной. Не мужеством вовсе, а трусостью.

— Хотела! Говорила! — выхлестнуло из меня.

— Что хотели? Что говорили? — переспросил следователь.

— Говорила: «Хочу, чтобы пришел Гитлер!»

— Но вы не хотели этого. И не говорили, — тяжело произнес он.

Тон был прост и укоризнен. А только что, за минуту до этого, следователь был глух и непробиваем.

— Не самым худшим образом я вел допрос, Тамара Владиславовна. Тот, «другой», на котором вы настаивали, допрашивал бы вас иначе, — серьезно и тихо сказал он. — Поймите, запомните: ночью и днем, при любых условиях ответ должен быть один: «Нет!», «Не говорила!». Поняли? Поняли это?

Что-то уловила, смутно, не очень четко: следователь преподавал мне урок грамоты сражения. Но зачем следователь учит этому? Арестовать для того, чтобы учить освобождаться? Выходит, вообще жить — значит отбиваться от клеветы, гнусности и тупости? Я так не могла! Не хотела!

В ту же ночь с последовательной неумолимостью меня снова вызвали на допрос. И снова следователь был резким, острым, как нож. Мне предъявлялось еще одно обвинение.

— Вот здесь есть показания, что вы говорили, будто в тысяча девятьсот тридцать седьмом году пытали заключенных...

— Да, это я говорила.

— Но это ложь! — жестко оборвал следователь.

Впервые за время допросов внутри у меня что-то распрямилось, отпустило, стало легче дышать.

— Не ложь! Правда! Правда! Я сама видела у нашего знакомого, выпущенного в тысяча девятьсот тридцать восьмом году на волю, браслетку, выжженную на руке папиросами следователя. Я сама видела человека, у которого были переломаны ребра на допросах. В тридцать седьмом пытали. Это правда. И я говорила это! Это я говорила.

— Ложь! Клевета! Никаких пыток не было, — чеканил, срезал меня следователь. — Ясно?

— Были! Были! — утверждала я.

— Не было! — следователь вскочил.

Ценный урок следователя я обратила теперь против него:

— Были!!!

Моя запальчивость, внезапно обретенная, возродившая меня независимость торжествовали:

— Были!!!

Следователь подошел ко мне вплотную. В ту минуту я не боялась его. Он посмотрел мне прямо в глаза. Переждал какие-то секунды.

— Вы видите это? — спросил он, растянув губы и проводя пальцем по ряду своих металлических зубов.

— Вижу, — отозвалась я.

— Так все это, — сказал он медленно, — тоже было выбито в тридцать седьмом году... но... *этого не было!!!*

В последующие годы приходилось пережить немало шоковых потрясений. Этой встряски забыть не могла! И опомниться — тоже!

Долго еще что-то крутилось во мне, маялось, въедалось. Следователь уже что-то писал, сев на место. Я не могла проронить ни слова, ни звука.

Сбитая с толку, я потрясенно думала в камере: «Что же это за человек? Почему тридцать седьмой год? Правда? Ложь? Почему тогда он сейчас — следователь? И как отгажился мне сказать такое?»

Я очутилась лицом к лицу с таким разворотом жизни, который в канун двадцатитрехлетия было нелегко постичь.

29 марта 1943 года мне исполнилось двадцать три года. Было воскресенье. Дверь камеры отворилась, дежурный оповестил: «Передача». Среди других назвал и мою фамилию.

Более всего я была обрадована тем, что Барбара Ионовна наконец смягчилась. Высыпала содержимое мешочка: лук, чеснок, вареные яйца, ватрушка. Что-то неясное, помню, смутило, но отчета в том себе не отдала. Всем раздала угощение.

Несмотря на то что в воскресенье следователи отдохали, меня днем вызвали на допрос. Кабинеты были пусты. Коридоры особенно гулки.

— Получили передачу? — спросил следователь.

— Да, спасибо, что разрешили.

— У вас ведь сегодня день рождения. Поздравляю. Передачу вам принесла моя мать. Она тоже просила вас поздравить.

...Авторство передачи ошарашило. При чем тут мать следователя? Что за ересь? Значит, Барбара Ионовна и сегодня не пришла ко мне?

Я вдруг поняла, что ватрушка и яйца вкрутую куплены самим следователем в тюремном ларьке. Чувства унижения и обиды были неодолимыми. Я еле-еле сдерживалась, чтобы не заплакать.

— Что вы можете сказать о Николае Г.? — безжалостно приступил к допросу следователь, вернувшись к ленинградской теме.

О Коле Г.? Я была уверена, что он на фронте. Вспоминала о нем тепло. Коля когда-то любил меня, моих сестер, маму.

— Коля? Романтичный, добрый, порядочный человек.

— Романтика! Романтика! Когда вы научитесь смотреть на все трезвыми глазами? Почему все время за иллюзии прячетесь?

В хаосе допросов я давно поняла, что следователь добивается от меня своего «понимания вещей». Но это было недопустимо. Абсурд! «Какое ему дело до моих иллюзий? Куда он лезет?» —

неприязненно думала я и запиралась на все замки от «личных» вопросов.

Не сумев вызвать меня на продолжение разговора, он протянул мне лист бумаги.

«Протокол допроса Г. Николая Григорьевича, осужденного на 10 лет по статье 58 часть вторая» — прочла я. — Год 1941-й».

«Коля тоже арестован? Осужден? Прошел эту же страду? Бедный!» Среди прочих вопросов и ответов такой: «Что вы можете сказать о семье Петкевич?»

Коля давал показания: моя мама и я систематически вели антисоветские разговоры и вовлекали в них его. Мы, то есть я и мама, были злостно настроены против советской власти и т. д. Из протокола явствовало, что мы с мамой сбили его с пути истинного.

Свет померк в глазах. Нет! Нет! Только не это. Он сам так не мог говорить. Его били, заставили. Не и-д-че.

Следователь распространялся относительно моих заблуждений и неумения смотреть на мир здраво. Его сентенции просеивались сознанием. Удар был слишком сильным. Казалось, после этого не смогу принять никакой боли. Однако главное только ожидало.

Неожиданно он спросил, нет ли у меня какой-нибудь просьбы. Он, мол, готов ради дня рождения выполнить любую.

Просьба? Была. Самая огромная из всех. Постоянная. Сушая.

— Дайте мне свидание с мужем! — выдохнула я с трепетом, с надеждой, только что зашибленная предательством давнего друга.

— Зачем? — заледенев при имени Эрика, спросил следователь.

Что можно было ответить? Для того, чтобы увидеть его, понять, как он и что с ним, ощутить себя необходимой, убедиться в том, что никаким арестам и тюрьмам не повлиять на нашу с ним жизнь...

Следователь снова порылся в папках, что-то достал и... опять протянул двойной, исписанный чьей-то рукой лист.

Со страхом и тоской я приняла его... Дочитать? Не смогла.

Рукой Эрика на листе для тюремных протоколов излагалась история его связи с одной из высланных. «...Наша связь с Анной Эф. продолжалась и после женитьбы на Петкевич», — заключал Эрик.

Анна Эф.? Память охотно воспроизвела: Барбара Ионовна настояла на визите к ней. Та, мельком взглянув на меня, ушла на кухню. Рыдала там. Барбара Ионовна сбивчиво объяснила: она расстроена из-за своего ребенка... Наползли уже не столь давние две-три глубоко личные, не понятые вовремя подробности, отлучки Эрика, очевидное при том вранье...

Разом все было горько и грязно объяснено.

Казалось, со мной тут же произойдет нечто дикое. То, что я узнала, о чем прочла, было страшнее, чем арест и тюрьма. Сразу отнята гордость сердца, само оно, опора, все. Главный сосуд, по которому сердце сообщалось с тайнами и со смыслом жизни, был рассечен. Измена! Вот она какая!

Как все обманутые, я без конца повторяла: за что? Почему? Обнаружилась когда-то Ляля, я это поняла. Но кто и что для него тусклая, невзрачная Аня Эф.?

Естественно и позволительно было тогда усомниться, задать вопрос: не подлог ли это? Нет, сомнений не возникло. Права заявить: «Не верю. Я знаю своего мужа!» — не отыскалось. Чуть больше житейского опыта — догадалась бы об этом давно.

Ну не могла я понять природы социальных, политических катклизмов. Но область-то человеческих взаимоотношений должна была как-то постигнуть. Ведь жизнь — моя. Я не понимала: как Эрик мог мне изменять? Я не сумела стать любимой. Изъян — во мне.

Больше я ни в чем не находила успокоения. С сердцем, со всей моей жизнью в тот момент случилось непоправимое несчастье, действительно в чем-то более глубокое и безжалостное, чем арест. На многие, многие годы меня подсекала неуверенность в себе.

Через много лет Вера Николаевна в своих воспоминаниях, описывая, как сильно привязалась ко мне в тюрьме, делала оговорку: «Не принимала я в Тамаре одного: ее религиозности». Прочитав, удивилась. Разве я тогда верила в Бога? Наверное, так, без полной веры, в отчаянии обращалась: «Господи, помоги! Не оставь меня! Спаси же меня, помилуй!»

На очередном допросе следователь вдруг мимоходом бросил: — Мечтали увидеть мужа? Сегодня увидите.

Нам разрешили свидание именно теперь?

Меня привели в просторный кабинет, где уже находилось несколько человек. Среди прочих я увидела небритого, очень бледного Эрика. Лицо его передернулось. Он как-то затрудненно, медленно поднялся, что-то сказал мне. Оглушая, ослепшая, я не осознала ни своих, ни его слов. Спустя два с половиной месяца после ареста мы видели друг друга впервые. Поразила его измученность, его отдельность. И, кроме жалости к нему, я ничего не почувствовала. Не понимая, что здесь происходит, отозвалась на свою фамилию. Мне указали на место возле стола. Чужой следователь задал вопросы по анкете и, предупредив, что за дачу ложных показаний положена статья номер такой-то, стал спрашивать, какие антисоветские разговоры вела при мне все та же Х. Слышала ли я, как она называла Сталина «кровопийцей»?

В сидящей перед столом женщине я узнала приятельницу Барбары Ионовны, о которой мой следователь спрашивал на одном из допросов.

Я ответила, что не слышала от Х. этих слов. Следователь обратился к Эрику:

— Вы подтверждаете факт подобных высказываний Х.?

— Нет, — ответил он.

— Однако есть ваши показания, что Х. хулила Сталина, — настаивал следователь.

— Я не слышал, — отвел от себя обвинение Эрик.

Как всегда подтянутая, Х., чуть высокомерная, бледная, сидела, не поднимая глаз. Казалось, она была преисполнена чувством презрения и к следователю, и к Эрику, и ко мне. Наши ответы не

производили на нее никакого впечатления. Глаз она так и не подняла. Было впечатление, что этот горький и гордый человек за пережитое здесь не прощает весь мир.

Чем же это было? Очной ставкой? Сеансом, на котором должно было состояться разоблачение Х. и Эрика?

Обстановка встречи была невыносимой. Только тогда, когда человека окунают в собственное несовершенство и недомыслие, ему бывает так скверно, как было тогда мне.

Меня увели первой. Видела ли я Эрика? И да, и нет. Что я поняла про него? Он измучен.

Не было случая, чтобы на допросах я заплакала. Однажды это произошло. Следователь опять спросил, есть ли у меня какие-нибудь просьбы.

— Нет.

— Никаких?

— Никаких.

— Но они ведь могут и не касаться следствия, — настаивал он на чем-то. — Может, я что-нибудь мог бы для вас сделать?

— Мне ничего не надо.

— Совсем?

— Совсем.

— Я на почтамте получаю вашу корреспонденцию. Разве вы не хотите узнать что-нибудь о сестре?

Во мне все дрогнуло.

— Хочу.

Следователь открыл ящик письменного стола и вынул оттуда распечатанные треугольнички Валечкиных писем: «Почему ты мне ничего не пишешь, Тамуся? Когда забереешь меня отсюда?..»

Где-то в угличском детдоме изнывало сердце младшей сестренки, а меня мытарили во внутренней тюрьме НКВД.

Я плакала. Безутешно. Навзрыд.

Допускаю, мое горе могло произвести впечатление на следователя. Но, когда он сказал: «Если все будет так, как ожидаю я, вы скоро увидите с сестрой; если же случится худшее, я ее не оставлю. Моя мать (ее имя возникло вторично) — добрый и хороший человек, она приютит Валечку», — я тут же пришла в себя.

Следователь не в первый раз ошеломлял не укладывающимися в положенные рамки поступками и словами. Его залетные, идиллические посулы звучали в стенах этого учреждения, как издевка и кощунство. Он бывал искренним. Я не могла этого не видеть. Но искренность здесь характера не исчерпывала.

Чутье заменяло многоопытность. Потому, вероятно, когда следователь сказал: «На днях с вами будет говорить один человек. Приготовьтесь к разговору с этим человеком», я услышала в том сугубо ведомственный спецмотив, выдающий намерения следователя, и захлебнулась непонятным мне еще самой «новым» страхом перед этим «одним» «человеком».

Чуть ли не через день следователь сказал, что у него есть и другие письма. Он хочет показать, что мне пишет Роксана.

Письмо предварялось вычурным эпиграфом: «Я боюсь золотистого плена ваших огненно-рыжих волос». Начиналось же оно так: «Любимая! Неповторимая!» Далее Роксана писала, как ей одиноко и пусто без меня.

— Любит она вас? Да? И — очень? — с подчеркнутым, с педантируемым интересом спросил следователь.

— Любит, — ответила я. — Она — мой друг.

Непривычно раскачиваясь на стуле, не проронив больше ни слова, следователь пристально глядел на меня. Я не понимала, с сожалением или с любопытством. В усилии разгадать подтекст его непонятого поведения внутренне заметалась. А он, неожиданно встав из-за стола, на ходу расстегивая брюки, направлялся ко мне.

В неопишуемой панике я вскочила со стула и, с силой нажав на дверную ручку, толкнула в коридор дверь кабинета. Подоспевший следователь рванул ее обратно и при этом рассадил мне косяком двери скулу. Тут же привел себя в порядок и, повернувшись спиной, долго стоял у окна, упершись обеими руками в раму открытой форточки.

Дрожь от омерзения, от гадливости не проходила. При полном молчании следователь позвонил и вызвал конвоира.

В неспособимых плоскостях размещались эпицентры чувствований и понятий подследственной и следователя. Полагавшему себя хозяином жизни и обстоятельств следователю это в голову не приходило.

В камере, увидев разбитую скулу, охнули:

— Били?

— Нет. Рябой вел и нечаянно стукнул дверью, — свалила я на конвоира.

Дня два меня не вызывали. Я вообще не могла представить, как следователь сможет продолжать допросы. Когда же вызов последовал, мне было стыдно смотреть на него, как на физиологически осрамившегося человека.

Одно из двух: или следователь тщательно готовился к этой встрече, или все его действия объяснялись внезапно охватившим его порывом раскаяния.

— Я виноват перед вами! — начал он. — Простите! Сейчас я вам предоставлю возможность посадить меня как минимум лет на пятнадцать. Впрочем, чушь! Я верю вам. Садитесь сюда. Быстро читайте!

Из сейфа он вынул папку. Но я не хотела больше сюрпризов. Не хотела ни читать, ни узнавать ничего.

Страсть, настойчивость, приказ вложил он в свое: «Читайте! Вы должны это прочесть! Должны это знать!»

Я раскрыла папку: «Дело». «Контраст» — стояло во главе угла. На первой странице значились псевдонимы двух агентов.

Первый — «Алмаз», второй — «Норд».

Далее следовала анкета первого из агентов — «Алмаза»: Роксаны Александровны Срогович.

Значит, настоящая фамилия Роксаны не Сиабори, а Срогович. И по национальности она не гречанка. И возраст не тот.

Далее в дело были вшиты наиподробнее отчеты агента «Алмаз» о том, кто, когда и зачем приходил в нашу ленинградскую квартиру, кто и что говорил, по какому поводу и как высказывались я и мама, как реагировали на одно или другое событие, известие. Число, час, обстоятельства — все излагалось по форме. С утра до утра, дни, месяцы, годы (!) за нами велась слежка.

Итак, придя к нам в дом и притворившись больной, Роксана разыграла заранее спланированный сценарий. Симулируя болезнь, осталась у нас, чтобы мы выходили и поставили на ноги «лично» к нам приставленного в ее лице государственного служащего, агента НКВД.

Небо обвалилось на меня. Случилось нечто неправдоподобное, жуткое. Я не могла дальше читать. Резко отшвырнула «Дело», даже не посмотрев, кто значится под вторым псевдонимом — «Норд». Хватит! Все плыло. Я попросилась в камеру.

Наша семья — под микроскопом НКВД. Что же НКВД узнало? Что я говорила: мой отец не виновен? Что не захотела взять обратно билет члена ВЛКСМ после того, как меня стадно, лесом рук, исключили из этой организации? Что свидетельствовала: «В тридцать седьмом году издевались над арестованными»? И что говорила моя несчастная, бедная мать? Та, что до последнего дня рыла окопы, защищая родной город, и погибла от голода? Заурядные, оставшиеся одни после ареста отца, чем мы были им интересны? Боже мой! Боже!

Украли жизнь! Всю. На все повесили ярлыки. Истолковали. Не пожалели денег на специальных сотрудников, дабы задокументировать все, что говорила моя персона с семнадцати до двадцати лет! И кто? Государство, власть!

Я пыталась это осмыслить, но не могла. Значит, вокруг меня были только подлые, никчемные, все без исключения предавшие меня люди? Значит, я не встретила ни одного стоящего человека? Что же я стою сама, если любила их и считала своими друзьями?

Прятаться было не за что. Ни единой частности жизни, поступка, движения самой себе в собственность не оставлено. Все просвечено, изложено, превращено в служебное доносительство, выброшено на ярмарочные столы НКВД для всеобщего обозрения.

Это был конец. Вместо законов естественной, природной жизни действовал дикий, обезумевший механизм — спрут, пожиривший судьбы и души. Не было больше ни времени, ни добра, ни зла — только режущая, уничтожающая жизнь боль, мерзость и муть.

Жизнь, если она тем не менее продолжается, начинается с малого. Угорев от навалившегося кошмара, поддавшись малодушной усталости, я не заглянула во вторую анкету осведомителя-профессионала. Этим заготовила себе наказание — мучиться неведением.

Я вдруг захотела узнать: кто второй? Понять: кто? Вопрос разбухал, стал занимать собой все пространство. Кто скрывался под псевдонимом «Норд»? Днями и ночами мой мозг подставлял теперь всех по очереди под этот образ, под слово «Норд».

Все могли! Если мог изменять Эрик... Если Коля Г. дал такие показания... Если Роксана была «Алмазом»... Значит, все могут! Все!

Я знала, что не посмею спросить следователя: кто второй? Он должен был бояться последствий своего покаянного порыва. Ведь он показал то, что содержалось под грифом «Совершенно секретно».

Я потребовала от самой себя: найди!

Ведь сколько объяснений таилось в когда-то мелькнувших оговорках той же Роксаны. «Увозит к себе на машине! Целует край юбки...» — вспомнила я взрыв Роксаниных чувств. Боже, как просто это теперь расшифровывалось! Учреждение, именуемое НКВД, имело местнический набор средств и приемов работы со «своими» людьми. Надо вовремя было внимать каждому сигналу чувств. Мимо скольких таких «мелочей» пронесла меня «колесница» несмекалистой молодости!

Да, это был самодельный метод дознания. Но я — нашла.

Прежде всего, само слово «Норд» — север. Тут наличествовал романтический характер индивидуальности агента. Несомненно, это мой сверстник или сверстница, пережившие увлечение папанинской эпопеей, чкаловским перелетом. И в пытливом воображении возникли глаза... одной из подруг. Да, «Норд» — это она! В псевдониме ответ ее любви к гидрологу Л., у которого на фуражке красовался полярный голубой флажок. Тут дань его рассказам про север. Тут и ее характер.

Сотни, тысячи раз все последующие годы я выверяла свои жуткие, зыбкие подозрения об умной, интересной подруге. Мучилась: а вдруг оклеветала ее?

Прошло двадцать с лишним лет. Я успела три или четыре раза встретиться с нею. Ничем не выдав своей догадки, ждала от нее порыва, объяснений. Я случайно оказалась в Ленинграде, когда она умерла. Стояла на кладбище с мучительным вопросом к себе: «Все-таки вдруг не она?» На крышку гроба бросила смерзшиеся комья земли.

Оттуда автобус всех довез до Московского вокзала. Понуро, с тяжелым сердцем я направилась к трамвайной остановке. Меня окликнул ее муж. Сердце у меня зануло.

— Вы должны ее простить, Тамара! — сказал этот человек.

— Да. Конечно.

Значит, мужу она призналась. Значит, мучилась.

У Полины и Веры Николаевны следствие подошло к концу. Оставалось подписать «дело». Затем предстояло пережить суд! После приговора переводили в городскую тюрьму. Оттуда — на этап и в лагерь.

О городской тюрьме рассказывали все, кто что о ней ведал: в камерах уйма народа, уголовники и политические вместе, мат, бьют, насильничают, проигрывают в карты человеческие жизни.

При мысли о грядущем я цепенела. Робко пыталась Веру Николаевну:

— Может, мы и в городской тюрьме попадем в одну камеру?

— Нет, моя Тамара, — стояла на своем Вера Николаевна, — меня должны освободить. Им нечего предъявить мне в обвинение.

Продолжая верить в свое «отвоюю», она волновалась только за мать. На суде они должны были встретиться.

Я стеснялась признаться, как дорожу возникшей с нею дружбой. Она не была сентиментальной. Но, прощаясь, мы обе заплакали. Ведь расставались, как видно, навсегда.

Вера Николаевна обещала, выйдя на волю, разыскать мою сестренку Валечку, уж во всяком случае написать ей обо мне. Говорила, что непременно навестит Барбару Ионовну, потому что была, как она говорила, «лично задета» отказом свекрови от меня.

— Держитесь, Тамара! Я вас никогда не забуду! — были ее последние слова.

Месяцы допросов показали, как глубоко государство изучило не столько правда, «контрреволюционную», сколько мою личную жизнь. Теперь, когда следователь при допросах стал добавлять: «Суд оправдает вас, но надо, чтобы вы слушались меня», я снова настояжилась, а он продолжил:

— Ольга Кружко из вашей камеры ушла на свободу?

Вопрос молниеносно достроил прежнее обращение ко мне: «Приготовьтесь к разговору с одним человеком». Все витиеватости и намеки были объяснены.

Поистине, с романтическими «бреднями» надо было расставаться. Значит, тосковавшая по своему уютному дому Олечка Кружко ушла на свободу «осведомителем».

Мое дело следователь мыслил закончить таким же образом.

Обуявший меня ранее страх возрос, как если бы предрекли смерть из грязи и мерзости.

Еженочные трехмесячные допросы настолько изнурили и так отвратили от жизни, что если я чего-то еще хотела, то одного: спать! Это была последняя степень измученности. Только в таинственной тьме сна из расщелин каких-то вековых пород была живая вода. Но сон рвал резкий, скребущий звук. Кто-то насильно отрывал от источника, на чем-то настаивал, тупо бил и бил по голове: «Петкевич! Петкевич!»

Резкий звук был не чем иным, как фамилией, которую я давно уже воспринимала как что-то полусобственное.

Надо было снова превратиться в нечто материальное, с руками и ногами, встать, всунуть рассыпанную во сне по всем временам и ипостасям безмянную, расформировавшуюся энергию в то, что именуется «Петкевич», и переправляться в этом нежеланном био-

графическом обозначении по этажам вверх на допрос. Но если нет сил? Никаких! То как? Каждую ночь доходишь и садишься на стул несобранная, и каждый раз тебя доводят до еще большего опустошения.

В кабинете за письменным столом следователя в этот раз сидел человек в штатском. Следователь стоял за его спиной, опершись о подоконник. А я? Бессмысленно и вяло зафиксировала присутствие обещанного «одного человека». Это ничего не меняло. Я хотела спать! Даже здесь, на стуле. Упасть на пол, но только спать.

Нудным голосом «один человек», как в первый день ареста, спрашивал: имя, фамилия, где, что? Как будто все началось сначала.

— Вы говорили, что в тридцать седьмом году пытали заключенных? — крепнул его голос.

— Говорила!

— Что немецкая армия, не в пример нашей, хорошо оснащена?

— Говорила!

— Что хотите прихода Гитлера?

— Говорила!

Мало-помалу в голову становилось все четче, яснее. Наконец-то я сама себя выпускала на волю да еще и при аудитории. Видела, как следователь за спиной человека в штатском хватался за голову, делал мне знаки остановиться, образумиться. Но нет! Паника следователя, выражаемая в пластике, только подхлестывала меня.

— Да! — отвечала я на все. — Говорила! Да! Да!

Пусть все расшибается вдребезги. Существеннее и отраднее было чувствовать, что еще есть чему расшибаться! Хотя бы во имя этого только!

Я лихо, «с ветерком» катилась с горы все в тех же санях, с которых соскочила, чтобы стать счастливой в городе Фрунзе. И в первый раз в этих стенах мне было хорошо от ощущения вдруг пришедшей свободы, напоившей чувством жизни.

— Уведите! — приказал «один человек» в штатском.

На следующий день следователь сказал: «То был прокурор». И я, дескать, погубила собственными руками, своим упрямым характером все-все на свете, с таким трудом «организованное».

Но я иным провидением знала, что и так все погублено, ничего я к тому не прибавила, не убавила, а за то, что я уже не ванька-встанька, меня быстро увели, и я провалилась в сон, где не было ни допросов, ни людей, ни меня самой.

Как немое кино вспоминала я потом жестикуляцию и мимические экзерсисы следователя за спиной его соратника и как это все не имело ко мне ни-ка-ко-го отношения.

«Подписать дело» меня вызвали днем. «Дело» представляло собой толстенную розовую папку. Я открыла его как книгу про кого-то чужого.

На первой странице — моя фотография с номером на бирке, висящей на шее, в фас, в профиль, черные отпечатки пальцев. Затем анкетные данные.

В результате к суду за мной остались две статьи: 58-10 часть 2-я — контрреволюционная агитация во время войны и 59-7 (так, кажется) — антисемитизм.

Следователь указал, где надо расписаться, что меня ознакомили с «делом».

— Можете посмотреть дальше! — не без ехидства заметил он.

Я перевернула следующую страницу розовой папки. Там была фотография Эрика с такой же биркой и номером. Худой, обрит. Отпечатки пальцев. Схватила боль. Хотела захлопнуть папку... но что-то странное, едва мелькнувшее, остановило: незнакомая фамилия!

Я прочла. Фамилия: Ветроградов. Имя: Эрик. Отчество: Павлович. Почему Ветроградов? Почему Павлович? Ведь я же знала, что имя отца Эрика — другое. И фамилии наших отцов начинались на букву «П».

— Что это? — спросила я.

— То, что видите! Ваш муж во всей красе своей фантазии, — удовлетворенно заметил следователь.

Я была в растерянности. Невозможно было допустить, чтобы Эрик всерьез выдавал себя за вымышленного человека. Если так: он болен! Но потом пришло другое соображение: а может, это мудрее, чем кажется на первый взгляд? Может, эта абракадабра рождена в ответ на абсурдность обвинения? И показалось, что я набрела на истинное побуждение Эрика: он смеялся над ними! Нашел свой способ посмеяться. В нем сработал какой-то другой, лукавый механизм. Не столь примитивный, как у меня. В этом измышлении я готова была увидеть изобретательность, способность к игре, подвижность. И потому-то следователь так люто ненавидел его?! Конечно!

Смушение, однако, не проходило. Догадки все же были искусственные, вроде требовали другого человека, а не Эрика. Или уже его собственного подтверждения, что им было задуман подобный маневр.

Впрочем, профессор Ветроградов не был придуманной фигурой. Эрик вспоминал это имя наряду с Оппелем, Вреденами, рассказывал о его исследованиях психических аномалий. Зачем он выбрал его в отцы, оставалось все-таки непонятым. Когда такие загадки связаны с близким человеком, мыслишь кратко: ты не знал его до конца. Хотя бы на минуту надо было его увидеть. На минуту, но одного! От этого зависело многое.

Я перевернула страницу. За предыдущей шла другая анкета. Там было все, как на самом деле. Я захлопнула «дело».

Следователь не вызывал дежурного: что-то собирался сказать.

— Послушайте меня! Прошу! На суде вы должны все отрицать!

— Что все?

Я не пыталась вникать в смысл чрезмерной заинтересованности, чуть ли не пафоса «личной» борьбы следователя за мою судьбу. Жалость? Потребность оправдаться перед собой за безнравственность службы?

Меня не били. Не держали под прожекторами и не гасили папиросы на руке. Я наблюдала, как неоднократно следователь рвал в клочки то ли протоколы, то ли доносы. Возможно, самое страшное он от меня отвел. Но меня не умиляли, не трогали предпринятые им манипуляции со следственными материалами. По данному ему службой и личному заносчивому праву следователь, решив прополоть мою жизнь, вырвать из нее сорняки, лишь бы показать, как много в ней фальшивых и ненужных людей, превысил все пределы. В намерении перепечь и переформировать другого человека он заодно с монстром-государством содрал весь дерн с еще зелеными, нерешительными побегими двадцатитрехлетней жизни. Мне нечего стало на себя натянуть. Я не имела теперь защиты. Все-все причиняло боль.

В тот момент я радовалась тому, что следственная мука позади и что больше я не буду видеть этого непроященного, сумбурного «врачевателя».

Через несколько дней объявили: завтра суд.

Весь день в канун суда я была в приподнятом настроении. Бог весть откуда это взялось. Следующий день должен был принести встречу с Эриком и решение суда.

В камере были все новенькие. Я стирала свои мелочи. Мыла голову. Кто-то из женщин поливал мне из кружки.

Утром 4 мая 1943 года, в день суда, женщины в каземате «соборовали» меня.

— Нет, нет, идите в сереньком костюмчике... Волосы зачешите, как было неделю назад... Да не так. Давайте я поправлю... Увидят вас, заулыбаются, освободят... Помяните мое слово: уйдете с суда на волю... Счастливо! Благослови вас Бог...

Я всех перецеловала.

— И вам дай Бог! Прощайте!

Сердце рвалось куда-то в поднебесье с такой безумной силой, что и вправду нельзя было не отпустить меня на свободу. Откуда на пепелище такая сила? Беспричинное, неуместное ликование такое откуда? Меня вывели на тюремный двор.

Май, весна! В воздухе — вкус юности: льнул шелковистый ветерок. Бездна жизни во всем. Во дворе толпились конвоиры. Стоял начальник тюрьмы, чьим именем я грозила когда-то следователю. Это был седой усатый фронтовик с орденами на кителе. Глядя на меня, он взаправду улыбался.

— Ну, — сказал он, — почти уверен: пойдете на свободу.

Свобода! Господи, свобода! Если бы только она одна, и ничего больше! Прекрасно.

— А сами-то верите, что выйдете на волю? — спросил начальник тюрьмы.

Обо что-то споткнулась в себе.

— Не-е-ет, — сказала вместо трепыхавшего в груди — «хочу верить».

— Вот тебе и раз! — разочарованно промывчал он.

Только когда меня вывели за ворота внутренней тюрьмы НКВД, я осознала, что меня конвоируют четверо охранников. Двое впереди,

двое позади с автоматами наперевес. Почему так много? На секунду изумилась, но вдруг увидела — улицы города, клейкие листики деревьев, мчащиеся машины, солнце, людей. Простор, весна почти физически втянули в себя, и конвойная четверка превратилась в тоненькую железную паутинку вокруг, совсем вроде несущественную в океане воздуха, воли и ароматов.

Вокруг буквально гремел солнечный, благоуханный день.

Отвыкнув в тюрьме от простора, я шла как во сне, странно перемешанном с явью. Шла, ступала по земле: вошла в этот отдельный сияющий день, как в престольный праздник.

Знают ли эти люди, что они на воле? Что воля имеет запах, вкус, необозримость? А люди эти стояли в длиннющей очереди вдоль большого дома с вывеской «Нап», что значило по-киргизски «хлеб».

Ведь идет война. Война!

Я вспомнила листики прочной бумаги с квадратиками для числа, месяца — карточки на хлеб, на продукты. И конкретность войны, очередей потеснила весенний день с волей.

«Я попрошусь на фронт! Во взрыв! В удар! В огонь! Чтоб удержать цельность, смысл жизни и смерти, нужны чистота действий и смысл. Это — только там сейчас, на войне. Не в тюрьме».

Прохожие оглядывались: ведут государственного преступника! Вот знакомое лицо... На меня глянули и отвернулись: «не вижу, не знаю». Ну да. Это знакомо по тридцать седьмому году. И вдруг наперерез — вышагивающий профессор из медицинского института, мой преподаватель, тот, кто говорил: «Эта студентка — моя гордость!» Увидел меня, узнал, растерялся и тоже отвернулся.

Вели по главной улице города. От тюрьмы до здания суда — более полукилометра.

У дороги играли мальчишки лет десяти-двенадцати. Увидев «процессию», бросили игру. Слова одного из этих детей влетели в самую глубь души:

— Отпустите ее, дядьки!

И не успела я заглотнуть неожиданный крик — подарок детского великодушия, как его перекрыли слова другого:

— Расстреляйте ее, мерзавку!

Главная улица успела выплеснуть в лицо все свое «человеческое». Мальчишки, играющие у дороги, остались позади, а выкрики их я унесла с собой на всю мою жизнь. Сколько в этой нажитой разности: «отпустите», «расстреляйте» — правды. Нет единой меры вещей. Она расколота, и это будет вкоренено не в одно поколение.

«Сейчас увижу Барбару Ионовну, — неотвязно думала я с самого утра, — она будет стоять у здания суда. Она крикнет: «Тамара, я наняла тебе адвоката». Не выдержит и заплачет. Я скажу ей: «Не плачьте, мама», чтобы все-все успеть этим словом выговорить. Ведь до ареста она приходила мириться, просила ее извинить, а потом, наверное, испугалась. В том, что Барбара Ионовна сегодня должна прийти, я не сомневалась ни секунды.

Только об Эрике думать было непросто. Я шла на суд и на свидание с ним.

У здания, где размещался областной суд, стояла небольшая толпа. Я искала глазами Барбару Ионовну. Не находила. Еще и еще раз обегала взглядом стоящих и не могла понять, почему лица многих мне кажутся знакомыми. Не сразу дошло до сознания: это же студенты моей институтской группы! Человек семь. Впереди всех однокурсник Чингиз. Мои товарищи? Почему они? Не из-за меня же?!

И вдруг поняла: из-за меня!

А я о них совсем забыла. Мы так недолго учились вместе. Это почти не могло быть правдой, чтобы они узнавали про суд, чтобы пришли. Пусть здесь смешано любопытство и страх, отвага и недоумение. Но ведь пришли! Я о них не думала, а они...

Следователь как-то сказал: «Институт дал на вас блестящую характеристику». Эти слова блеснули тогда и потонули в пучине прочего.

Как я не знаю жизни! Не умею разглядеть в ней главного.

Чингиз просил у конвоиров разрешения отдать мне какой-то сверток. Они посмотрели, что в нем, и разрешили.

— Это тебе, это тебе! — торопился отдать принесенное киргизский мальчик, сжимая мне локти.

В пакете лежало четыреста граммов масла, сахар, хлеб. Знакомые порции донорского пайка! Чтобы принести, раздобыть эту еду, Чингиз пошел на донорский пункт и сдал свою кровь. Все уцелевшее во мне заплакало. Надо же! Надо же! Всем существом своим я ощутила цену предпринятого моим сверстником шага!

Никогда я больше не встречала Чингиза. Ничего не знаю о нем. Даже фамилию его не могу сейчас вспомнить.

Не знает и он о том, что по сей день у меня перехватывает горло при мысли о нем. Этот мальчик открыл другой счет добра в моей жизни. И открыл его так вовремя.

Меня ввели в зал суда.

Судейский стол, деревянный барьер, скамья для подсудимых... Деревянный зал был пуст. Я села на один из стульев. Конвоиры встали по бокам.

Торопливыми шагами вошел невысокого роста человек.

— Моя фамилия Баран. Я — ваш адвокат. Общественный адвокат.

Иначе — представитель суда. Так положено по закону, оказывается. Если подсудимому не наняли адвоката, его предоставляет суд. Без этого процедура не может состояться. Игра. 1943 год!

— Как настроение? — спросил Баран. — У меня хорошее. Я верю в успех. Юридически в деле нет состава преступления.

«Юридически... нет состава преступления!» — эта фраза долго сопровождала меня потом.

Адвокат задал несколько уточняющих детали вопросов. А затем... затем... В зал ввели Эрика. И это стало главным. Важнее суда.

Следовавшие за ним и охранявшие меня конвоиры ничего не сказали, когда он бросился ко мне.

— Когда тебя?

— В восемь утра. Только раздел пальто, вошел в кабинет. А тебя?

— В одиннадцать. Пришла с рынка, возле дома женщина в каракулевом манто сказала, что вызывают к директору института. Записку тебе написала. Положила под наш камень.

— Не верь им, родная.

— ??? Зачем ты про профессора Ветроградова?

— Я их ненавижу.

И самых-самых главных вопросов я Эрику не задала: про Аию Эф., про то, зачем он сам им, которых ненавидит... а главное — как мог? Не смогла. Не захотела. Эрик и без того жадно всматривался, искал во мне обвинителя. Отодвинула все. Взгляд, состояние, весь Эрик, как я считала, говорили больше, о большем.

Слабый Эрик был на удивление спокоен, держался мужественнее, чем я ждала. Это стало поддержкой.

К Эрику подошел «его» адвокат. Ему Барбара Ионовна все-таки взяла защитника.

Нам велели пройти и сесть на скамью подсудимых.

Публики в зале не было. Не пустили. Но «моя» публика, то есть Чингиз, забрался на сук тополя под окном следить за происходящим оттуда.

— Встать! Суд идет!

Вошедшие люди с будничными, равнодушными лицами расселись на свои места.

Вся я, бывшая когда-то одним целым, начала болезненно разрываться на части: сердце и мозг отказывались допустить то, что мы, реальные Эрик и я, сидим на скамье подсудимых. Меня бил жестокий, беспощадный озноб. Эрик крепко сжал мне руку: «Успокойся!»

Воображение сорвалось с цепи, подставляя Плевако и Кони на место моего общественного адвоката. Будет жар словам! И только стыд и пыль останутся сейчас от судейского стола. Прекрасная сила все это сметет!..

Тем временем я отвечала на вопросы: фамилия, имя... Слышала, как отвечает Эрик.

— Вам предъявляется обвинение в контрреволюционной агитации... Признаете себя виновной? — спросили меня.

— Нет!

Обращение к Эрику:

— Вам предъявляется... Признаете себя виновным?

— Нет!

Судья улыбнулся почти поощрительно и дружелюбно, переглянулись между собой люди за столом. Значит, они все понимают так, как надо? Но суд шел дальше...

— Свидетельница Муралова, вы подтверждаете, что Петкевич высказывалась против советской власти?

- Да.
- Что именно она говорила?
- Что нехорошая власть.
- Точнее.
- Не знаю.
- Что она еще говорила?
- Не помню.

Едва знакомая женщина, приходившая к хозяйке мыть полы, сбиваясь и переступая с ноги на ногу, давала свои глупейшие показания. Больше свидетелей у меня не было.

С Эриком дело пошло веселее.

— Свидетель Воробцов, что вы помните из антисоветских разговоров с П.?

— Он не хотел идти на субботник, на строительство БЧК (Большого Чуйского канала).

— Как он объяснял свой отказ?

— Говорил: «Как я буду оперировать больных после субботника? Мне надо руки беречь, а не мозоли натирать лопатой».

— А может, он прав? — рассудительно вставил судья. — Сам-то вы легли бы под нож хирурга, если б он только что поставил в угол лопату?

— Нет! — радостно ответил Воробцов.

— Значит, П. был прав? — спросил довольный собой судья.

Адвокат Баран, защищая меня, оперировал «отсутствием состава преступления», призывал обратить внимание на то, что «малограмотная свидетельница Муралова» фактически не припомнила ни одного разговора с обвиняемой, который можно было бы считать предосудительным. Далее он убеждал суд в том, что обвинение в антисемитизме нельзя считать состоятельным, поскольку у меня много друзей-евреев, что мне не свойственны такие выражения, как «жид».

Адвокат Эрика, привлеченный Барбарой Ионовой, говорил неопределенно, размыто.

Сломала атмосферу суда речь прокурора. Его выступление было похоже на отборную брань. С пеной у рта он изрыгал: изменники, отщепенцы, вражеские, антисоветские, антиобщественные элементы, от которых надо очищать землю... В заключение потребовал обоим по пятнадцать лет лишения свободы.

Судья обратился к Эрику:

— Вам предоставляется право последнего слова.

Он отказался. Предложили мне.

— Прошу отправить меня на фронт, — вместо «последнего» слова сказала я.

Суд удалился на совещание. Нас с Эриком отвели в комнату рядом с залом суда.

Три с лишним месяца назад пришли в наш дом наделенные бесноватой властью люди, растащили нас в разные стороны, запихнули в тюрьму, выпотрошили и изломали душу. Теперь выдали десять минут на разговор.

В ожидании приговора, взамен свободы, которую вот-вот могли отнять, надо было заручиться, конечно же, клятвой в верности.

— Если дадут срок, будешь меня ждать? Я люблю тебя, люблю, верь мне, — торопливо говорил Эрик.

Я зорко всматривалась в него. В те спешные минуты эти слова удерживали что-то единственное живое, несмотря ни на что.

— «Рассмотрев дело... — выдрессированно, заученно читал судья положенное вступление... — П. Эрика... по статье 58 часть 2-я и статье 59 часть 7-я (антисемитизм) приговорить к десяти годам лишения свободы, пяти годам поражения в гражданских правах и конфискации имущества...»

...Петкевич Тамару Владиславовну... по статье 58-10 часть 2-я приговорить к семи годам лишения свободы, на три года лишить гражданских прав, конфисковать имущество; по ст. 59 часть 7-я — оправдать...»

Десять и семь лет лишения свободы!

Казалось, один состав осуществлял процедуру суда, другой — выносил приговор. Но в том-то и дело, что один.

Нам вручили едва различимый текст приговора — последний экземпляр из-под плохой копирки. В течение трех суток мы имели право его обжаловать в вышестоящие инстанции. Сомнений в фальсификации и фиктивности этих инстанций не существовало.

— Прощайтесь! — сказали нам.

И мы попрощались.

На обратном пути я не видела ни сияния, ни весны.

Поместили меня в небольшой служебный кабинет с решеткой на окне, где не было даже и подобия койки. В прежнюю камеру «не полагалось».

Значит, и Вера Николаевна провела ночь после суда рядом с камерой? Вдруг она, и правда, уже на свободе?

Осознать путешествие из тюрьмы в суд и обратно, осмыслить приговор и предстоящие семь лет заключения было невозможно. Мозг механически отстукивал: семь лет... семь лет... Эрику — десять... Чего? Кто построил эти дробилки, докальвающие орехи?

На замызганном письменном столе кабинета рядом с приговором лежал донорский паек, принесенный Чингизом. Всего-навсего в институте я помогала киргизскому мальчику разбирать латынь на медицинских атласах. И вот — его бесценный дар плюс еще вымах на сук тополя у окон суда!

Душа грелась возле пайка Чингиза.

Думала об Эрике. Дело было уже не в «простить» или «нет», а в тупом страхе: семь и десять лет лагерей!!!

К ночи дежурный забросил тонкое одеяло и грязную подушку.

Я составила стулья, легла на жесткое ложе, чтобы скорее там, во тьме, получить питание забытьем. Сон был тяжелым, черным, похожим на толстый слой навалившейся сырой земли.

Где-то опять скрежетало, гремело железо. Открывали замок и засовы. Принимать хоть что-то из реальности не было сил, но в кабинет почти вбежал следователь. От испуга я села, подняв каменную голову. Он был неузнаваем. Волосы растрепаны, воспаленные глаза красны. «Пожар? Несчастье с Эриком?»

— Мне показалось, что вы повесились!!! — выпалил он.

От какого-то стороннего злорадного чувства родилось мое:

— И не подумала!

Хотелось сказать ему еще что-то оскорбительно злое, уничтожительное и чтобы он немедленно убрался.

— Я не ждал такого приговора. Я был уверен, что вас освободят...

Следователь говорил, что надо подавать кассацию. Подошел к зарешеченному окну.

— Семь раз без вас расцветет урюк. На восьмой будет цвести при вас...

Да, урюк красиво цветет в Киргизии: бело-розовым цветом обсыпаны деревья в садах. Иными виделись мне предстоящие семь лет.

— Нет ли у вас какой-нибудь просьбы? — спросил опять следователь.

Мне было жаль фотографий, забранных при обыске: родителей, застенчиво улыбающихся Реночки и Валечки, кипы других.

— Сохраните фотографии.

— Сохраню!

Уснуть я уже не могла. Накатил страх перед общей тюрьмой. Неизбежность ужаса придвинулась вплотную.

В самом деле: почему я не повесилась? Ведь, сидя у себя в кабинете, опытный следователь вычислил для меня самоубийство.

Нет, в ту ночь я еще не думала о нем. Всего еще не умела представить.

Рано утром за мной пришли.

— Собирайтесь.

— Куда?

— В городскую тюрьму.

Я заплакала.

— Ну-у, — бормотал начальник тюрьмы.

— Страшно туда. Разве нельзя здесь остаться?

— Здесь? Нельзя... Я что-нибудь сделаю. Попрошу, чтоб вас... не в общую камеру...

В тюремном дворе стоял «черный ворон».

Машину затрясло по булыжной мостовой. Обнаружив щель, прильнула к ней, разглядывая знакомые улицы города Фрунзе. Затем увидела грязно-белый дувал с проволокой наверху. Городская тюрьма! Квадрат земли за забором, где преступники близко притерты друг к другу, к блюстителям закона и безысходности.

Идущий по канату полагается на свой внутренний аппарат, чутье. Канат был в руках произвола. Отсюда и звериная оглядка на тех, от кого зависишь. Есть в глазах, движении, голосе нечто незлое — успокаиваешься. В противном случае — напрягаешься, пытаешься от-

гадать, откуда и какой силы последует удар. Сторожевое удвоение себя и страшного мира.

Трое конвоиров у входа в тюремное помещение о чем-то совещались. Речь шла явно обо мне. На минуту мое внимание отвлекли проходившие близко заключенные с баками пищи. Испугал цепкий, утробный мужской взгляд, брошенный в мою сторону. В это же время один конвоир из глубины корпуса возвратился с серым байковым одеялом в руках.

Вспоминая все последующее, по сей миг не могу отдать себе отчета в испытанном и пережитом. Очевидно, страх парализовал меня. Что-то в сознании отказалось цеплять звенья одно к другому.

Конвоир велел взойти на крыльцо, растряхнул одеяло и накинул мне его на голову. Захватив концы одеяла своими руками, оказавшись за моей спиной, скомандовал:

— Шагай! Буду говорить, куда.

И он говорил: «Прямо, вниз, влево».

Не проявив ни малейшего сопротивления, ничего из-под одеяла не видя, я ступала, как мне диктовали. Абсолютную власть надо мной возымел предельный накал воображения... Впотьмах переставляя ноги, я ожидала одного: сейчас под ногами окажется люк... занесу ногу... будет пропасть, я полечу вниз... убьюсь. Конец... Такую придумала расправу. Картина была подкинута воображению явно из «Князя Серебряного» А. Толстого. Разве не так расправлялся с неугодными Малюта Скуратов?

...Ноги, оказывается, росли из сердца. Это оно, разбухшее, бешено бьющееся и потерянное, шагало, ватными палками проволакивая меня над ожидаемой пропастью-смертью.

Не сразу до меня дошел гул голосов, ощущение, что вокруг скопище людей. Так же завернутая в одеяло, я вошла в узкий коридор из плотной возбужденной человеческой массы.

— Прямо шагай! Быстрее! — торопил конвоир.

Я была в окружении гогота, грязной брани, отборного мата. Затем — порог, и за мной захлопнулась дверь. Шум стал глуше. С меня скинули одеяло. Я находилась в бане.

Наполовину умершее, постаревшее сердце стало медленно отходить. Снявший с меня одеяло конвоир сказал:

— Мойся. Через двадцать минут приду. Закройся на крюк. За дверью мужики.

Онемевшими руками накинула крюк. В бане было холодно. Деревянные шайки лежали на скамьях, повернутые вверх дном. Не раздеваясь, без намерения мыться, я села на скамью, пытаясь унять дрожь после «смертной казни». Пусть не состоявшейся, но пережитой. Наверное, и действительную приняла бы без протеста и возгласа. Абсолютное безволие, способность поверить в любую форму произвола и неспособность ему противостоять. Кто же я?

А дрожь все била и била. В дверь застучали.

— Эй... — кричали оттуда, — открывай, мы тебя сейчас...

Следовали соответствующие обещания.

Слышала. Только не сразу дошло, что такое может относиться ко мне. С той стороны налегали на крюк.

«Не может быть»... было свергнуто с престола навсегда. Может быть все! Отныне может быть все!!!

Я еще сидела, глядя на двигавшуюся железяку крючка. Эти скотско оружие за дверью мужчины сейчас ворвутся... и случится нечто... страшнее смерти... куда страшнее сочиненного люка.

Ужас пронзил всю, подсек ноги, сжал горло, лютым холодом залил внутри. Видела: крюк вот-вот сдаст. Хотела кричать. Голоса не было. Надо было вскочить — не могла сдвинуть себя.

В стене, вдоль трубы, щель, через нее виден двор. Слепшая, липкая от ужаса, я подползла к щели, силясь закричать. Но горло было схвачено железным кольцом.

Сначала услышала свой крик, потом поняла, что кричу. Затем окрики за дверью:

— А ну отвали, а ну!

Еще брань. И — тишина.

— Открой, это — дежурный.

Поверила, сбросила крюк и... провалилась в никуда. Мокрая от холодной воды, которой меня облил конвоир, приводя в чувство, уже без одеяла, тащила я по коридорам, которые мнились «скуратовской плахой».

— Уголовников привели в баню, — пояснил конвоир.

Через двор меня подвели к другому корпусу, посадили в угол, надолго забыли. Едва ли я существовала на свете.

— В камеру сто шесть ее! — услышала я через продолжительный промежуток времени.

«Соломинка» была одна — обещание начальника внутренней тюрьмы: « Попрошу, чтоб не в общую». Как я за нее «держалась»!

Конвоир вставил в дверь ключ. Сколько там? Кто там?

Да, старый усатый начальник внутренней тюрьмы постарался!

Через отворенную дверь я увидела узкую камеру с двумя железными кроватями у стен. Посередине камеры, расчесывая длинные волосы, стояла молодая женщина. Прежде чем понять, я учуяла, что эта женщина из породы незнакомых мне людей.

— По какой? — спросила она.

И тут же сама ответила:

— Вижу!

— А вы? — задала я встречный вопрос.

— «Вы»? — не то передразнивая, не то смеясь, переспросила она. — «Мы» только вот полчаса назад из камеры смертников — сюда. Вот как «мы»!

— Это мое место?

— Твое.

Женщина лет двадцати семи была на удивление красива. Среднего роста. Лицо мягкой овальной формы, нежная кожа, красивые серые глаза. Волосы? Чудо! Но... Пока это «но» было в манере говорить.

Голос у нее был скрипучий, резкий. И взгляд — отжитой. Она внимательно смотрела на меня и произнесла лишь одно:

— Красючка!

Пытаясь нащупать общую тему разговора, я спросила:

— Вы обжаловали приговор? Да?

— Отец родной Калинин-дедушка помиловал. Расстрел десятью годами заменил.

Я оглядела камеру. Зарешеченное окно у самого потолка. С наружной стороны на нем — жестяной козырек. Поскольку он снизу, виден клочок неба. Стены — сырые, облезлые.

Все разговоры хотелось отложить на потом. От бессилия валилась с ног. Слава Богу, здесь днем лежать не запрещали.

В этом тюремном комбинате шумы и запахи были резче, откровеннее, чем во внутренней тюрьме, ложки и миски более бывальными.

Потрясенная своим безволием, я продолжала мучить себя вопросом: как могла так потеряться? Почему? А еще вещала летчикам в поезде Фрунзе—Ленинград, что цель жизни — «усовершенствовать себя». Что-то надо было вспомнить. Да, напутствие папы: «За все надо бороться!» Боже мой! Как?

Теперь и отец с важным для него убеждением, и я, не принимавшая это убеждение, — оба были в тюрьме!

Я оказалась голым человеком на голой земле. Все надо было начинать с азав. Все, что знала, думала, чувствовала, дочиста стерто. Детский рисунок жизни отменен давно, более поздний — недавно, желанный и тот, что наводила реальность, одинаково выглядели бредом.

На некоторое время Валя, как звали мою соседку по камере, фактически ее хозяйка, заслонила собой мир.

Для того чтобы наново прорубиться к жизни, надо было пройти через нее. И это было принципиально важно.

«Расстрел», «дедушка Калинин помиловал», «камера смертников» — все это было равносильно заокеанской дали, скрывало суть не поддающейся пониманию Валиной жизни.

В быту моя соседка оказалась уживчивой и легкой. Вслух она комментировала мое поведение: «Все молчишь! Все думаешь! Брось, ополоумеешь» и т. д. Сама за собой, видимо, не замечала, что тоже часами молчала.

История ее была такова. Росла беспризорной. Лет с восьми главари шайки, которые ее прибрали к рукам, ставили ее «на стреме». Так и пошло. Подросла. Замуж вышла рано. В шестнадцать лет родила сына. Мужа любила. Им был сам главарь. Вскоре он «засыпался на одной мокрухе». Его посадили. Она продолжала «ходить на дела». Вскоре попалась. Отсидела. Вышла. Сестра воспитывала сына. Жили втроем: она, сестра и сын. А сейчас снова «влипла».

Такой был первый срез ее рассказа о себе. Второй был глубже и страшнее.

Шайка, в которую она была втянута, занималась «политическими убийствами». В город, где она жила, приезжали военные специалисты. В функцию Вали входило знакомство с намеченными к уничтожению. Она условливалась с ними о встрече, приглашала «на ужин» по указанному главарем адресу. Там его убивали. Документы убитого использовались в «политических целях». Каких? Она не знала. Валя искренне путала такие понятия, как «шпионаж» и «шантаж» и многое прочее.

Длительное пребывание в камере смертников толкало Валю к откровенности «до дна». Ей приходилось принимать участие и в процедуре убийства. Насмотревшись в Валины глаза, в засевшую там бело-мертвенную точку, я потом узнавала убийц по глазам.

Как и все встреченные затем люди этого типа, Валя тоже нуждалась в подробном пересказе главного момента. Когда начиналось описание «брызг крови», я пыталась сделать только одно: отключиться, не вникать. Но однажды мне захотелось выслушать Валину исповедь до самого конца.

— Мне все одно — расстрел или десять лет, — говорила она. — Если жить хочется, так только из-за одного — чтоб увидеть сына Шурку. Задал он мне задачку.

«Задачка» заключалась в следующем: дело, за которое Валю приговорили к расстрелу, было «крупное». «Снятых» было не-сколькo. И вопреки заведенному порядку, документы убитых находились временно у нее. Эти документы, по ее рассказу, она сложила в шкатулку и поставила на полку в стенной шкафу. Квартира была из двух комнат. Валя с сестрой и сыном сидели и пили чай, когда позвонили в дверь. Вошло человек пять из НКВД. Предъявили ордер на обыск. И тут же приступили к нему. Валя поняла: конец.

И поняв, что исправить ничего нельзя, осталась сидеть за столом, даже не обернувшись, когда приступили к осмотру шкафа. «Си-жу, — рассказывала она, — и просчитываю: вот они обшарили нижнюю полку, там — ничего, с нею покончено, сейчас приступят ко второй, возьмут в руки шкатулку, откроют... раздастся возглас: «Вот!»... Но этот момент уже прошел, и никакого междометия не последовало. Тут она повернулась и не увидела шкатулки ни в руках обыскивавших, ни на полке шкафа. Нервически начала вспоминать: куда же поставила? Обыск прошел и во второй комнате. Шкатулку не нашли. Валю все равно арестовали. На свидании сестра умудрилась ей рассказать: «Знаешь, Шурка, как только позвонили в дверь, схватил шкатулку, по водосточной трубе забрался на крышу и убежал. Говорит, что никто никогда не узнает, куда он ее дел!»

— Меня мучает, — говорила Валя, — как это он учуял, что для матери гибель в этой шкатулке? Ведь ничего ж не знал. Ведь я ж никогда ничем себя не выдала. Так как же это он? Большого желанья, чем увидеть его, у меня нет!»

Действительно, как мальчик мог угадать, что шкатулка — средоточие улик против матери? Неужели он понимал, что его мать —

преступница? И хотел ее во что бы то ни стало спасти? Так ее любил? Чем все понимал? Чистотой? Или уже искушенностью?

Я тоже думала о мальчике. Его ясночувствие происходило из глубины, из таланта натуры. Я пыталась это Вале объяснить.

И Валя слушала.

Думаю, что рассказанная ею история про сына помогла нам обоим. Столкнувшись лицом к лицу, один на один с женщиной-убийцей, я очутилась перед невозможностью обогнуть, обойти ее стороной. Мне предстояла не одна, не две подобные встречи. Приходилось решать: принимать всякую жизнь в себя и жить? Или не принимать и не жить? Отрицать, делать вид, что таких людей и всего, что с ними связано, не существует, как это было до сих пор, стало бессмысленно. «Зажмури» сердце, надо было идти вперед.

Хотела я того или нет, «всякая» жизнь потекла через меня. Органическая уверенность в том, что во мне что-то может лишь осесть в сознании, но изменить никак и ничего не может, была настолько абсолютной, что все получалось само собой.

Просыпаясь, я подолгу глядела на голубой разрешенный квадрат неба за узким окном.

Над нами, как видно, была одиночная камера. Мужской голос выводил один и тот же примитивный душеспитательный мотив:

За тюремной стеной...
Заперты ворота...
Там преступники...
Срок отбывают...

Думаю, вся тюрьма слушала сильный, красивый голос, певший песню о том, как отец охранял сына, как, поставленные судьбой по разные стороны лагерной стены, они не могли друг другу помочь, как отец стрелял в сына при побеге.

День городской тюрьмы двигался рывками, нервно. После обеда нас выводили на прогулку в «собачник». Это был четырехметровый квадрат, отгороженный от других кирпичом из самана метра в три высотой. Вместо крыши — небо. Пол — земля. Лепились эти «собачники» один к другому по окружности тюремного двора. В них приводили на прогулку заключенных из маленьких камер, запирали на замок, чтобы между собой не общались. Непосредственно в тюремный двор выводили людей из больших камер.

Валя знала и расписание, и порядок.

— Хочешь видеть своего Эрика? — спросила она. — Давай быстро расческами копать яму под стеной. Мне тоже надо увидеть своего Костю.

О Косте Валя раньше не рассказывала. Только на двух маленьких думочках, которые она каким-то образом пронесла с собой в тюрьму, было написано: «Спокойной ночи, Костя!» и «Любимый Костя».

В вырытом под основанием выходившей во двор стены «глазке» Валя не увидела своего Костю. Уступила место мне. Я легла на землю.

Среди вышагивавших друг за другом сорока или более мужчин был и Эрик. Руки его были заложены за спину, он ступал той же неуверенной походкой, которую я без приступа тоски не могла видеть. «Как ты далеко, Эрик!» — не кричала я. Долго и мучительно плакала в камере.

После отбоя в сон вполз чей-то шепот: «Петкевич...»

Показалось? Нет! Шепот еще и еще раз повторился. Звали через окошечко в дверь. Вскочила.

— Возьми. Муж передал, — дежурный просовывал пайку хлеба.

Эрик! Хлеб! Дежурный! Знак живой жизни.

Моя соседка переждала, пока я успокоилась.

— Любишь? — спросила она.

— Да.

— Слушай, что я тебе скажу, и мотай на ус, — заговорила Валя. — Когда вызовут на этап, осмотришься. Если твоего Эрика не будет, устрой скандал: обзови конвоира, плюнь ему в рожу, разозли, чтобы он отказался брать тебя на этап. Поняла? Я без Зойки, хоть режь, не пойду.

— А кто эта Зойка? — спросила я Валю.

Валя села на кровать.

— Ладно. Слушай. Это тебе тоже надо знать. Мой Костя — это Зойка. Не понимаешь?.. Ну, она — мой муж! Ясно?

Когда-то я прочла и далеко не все поняла в «Графине де Ланже» Бальзака. Но то — литература. Услышать это как повесть близлежащей жизни — иное.

Валя рассказывала о своей любви к неизвестной мне женщине, вероятно, такой же уголовнице, как о «счастье», которое ей было тягостно, но к которому она приговорена.

— Ты слушай и понимай. Это случилось в камере, когда меня в первый раз посадили. Спали рядом. Она ко мне начала приставать. Я ведь замужем была и мужа любила... Но это въедливее. Мне теперь после Зойки все мужчины противны. Это плохо. Понимаю, а сделать с собой ничего не могу.

Валя подробно рассказывала об уродливом мире извращений. «Знаешь, какая она ревнивая?!» — жаловалась она. Закончила Валя тем более неожиданно:

— Думаешь, к тебе приставать не будут? Будут. Особенно если в женский лагерь попадешь. Ты — нежная. Увидишь, что баба в штанах, голос низкий, стриженная, сторонись!

После подобных уроков учительница Мрака засыпала, а для меня все острее и понятнее становились слова следователя: «Показалось, что вы повесились!» Лагерь, из рассказов Вали, представлял вертепом, сумасшедшим миром людей, насилия, хитрости, крови. У меня ум за разум заходил.

Следующим руководством к действию у Вали была «заповедь»: не работай!

— Не вздумай работать! — говорила она. — Заездят. Составишься в два счета. Захвораешь. Кому нужна будешь? Не будь дурой. Сразу откажись.

Своими средствами Валя мостила мне дорогу в следующий отсек ада. Временами она говорила горячо и убедительно: «Нет в мире справедливости. Нет! Одни только басни..» Я впервые услышала, что в лагере есть «отказчики», что политические потому и «дрянь» и «сволота», что прилежно работают. А ее, мол, и так обязаны в лагере содержать.

Природу ее своеобразного «идеологического» протеста я тогда понять не могла. За будничной, смышленной Валею существовала другая: страшная своей катастрофической освобожденностью от всех правил и норм, от всех обязательств перед кем бы то ни было — и перед собой в том числе. И я чувствовала, что она еще не предел отпетости.

Раньше мир делился на дурной и светлый, испорченный и добрый. Теперь он превращался в единый человеческий слив помоев, добра, жестокости, зверств и беззащитности.

Дней через десять уже ночью дежурный выкрикнул:

— Х.! С вещами!

Валя обрадовалась. Быстро собралась. Попрощалась. Бросила:

— Жаль мне тебя. Хорошая ты девчонка, хотя и... — жестом она изобразила — с придурью.

Часа через два ее привели обратно. Глаз был подбит.

— Зойки не было! — отчеканила она. — Подождем.

Смачивая глаз, она грязно ругалась. В ответ на плевков конвоир стукнул ее прикладом.

В следующую ночь пришли за мной. Тоскливо сжалось сердце от тех же слов:

— Петкевич! С вещами!

Разве расскажешь, что это за чувство, когда тебя выкликают по кем-то где-то составленному списку? В какой путь? Каких законов существования? И главное, за что?

— Не смей уходить в этап без Эрика! — доносилось Валино напутствие. — Дура будешь! Себя погубишь! А-а, знаю, что напрасно говорю.

— До свидания, Валя! Спасибо!

Для этапа были собраны одни женщины. Многие, как я, беспомощно озирались. Я поняла, что преимущественно здесь все по 58-й статье. Стало легче. Кто-то сказал, что этап формируют в женский лагерь. Названия места никто не знал. Нас обыскивали. Стригли. Сумочки, оставшиеся мелочи заставили сдать якобы на склад, для того чтобы мы их уже никогда не получили.

Ночь была долгой, томительной.

Спал ли Эрик где-то здесь, в тюрьме? Или его раньше меня угнали этапом?

Я ждала дороги в лагерь, в неизвестный, заведомо враждебный человеку и опасный мир.

Вся ночь перед этапом прошла без сна. Выдали паек: пятьсот граммов хлеба и две ржавые селедки. В тюремный двор уже заглянуло солнце, а нас все еще не строили. Кто-то из особо жаждущих разузнать место назначения этапа преуспел в этом — мы должны были проследовать в Джангиджирский женский лагерь.

— Не слышали, сколько это от Фрунзе?

— Километров пятьдесят-шестьдесят...

— А чем нас туда повезут?

— Повезут? А пёхом топать не нравится?

Причина задержки стала ясна, когда из изолятора привели женщину, лицо которой было в иссиня-желтых подтеках, опухшее, со следами недавних побоев. Она шаталась, жмурилась от света. Видимо, ее долго отхаживали.

Молоденький со смазливym личиком командир этапа пронзительно закричал:

— Всем смотреть сюда! Всем! Это чучело задумало бежать из лагеря. Так вот: она за это получит что полагается, а сейчас поведет вас дорогой, которой бежала. Если дадим круг верст в сто, ее благодарить будете. Ясно? Всем ясно, спрашиваю?

Безучастную ко всему беглянку поставили головной в колонне.

Нас пересчитали: сорок человек. Прямоугольник (десять рядов по четыре человека), окруженный конвоирами и собаками, был готов к отправке. Командир напутствовал:

— При побеге будем стрелять. Три шага вправо, три влево считаются попыткой к побегу! Понятно? Повторяю: три шага вправо, три влево — получите пулю.

Открыли тюремные ворота. Мы вступили на мостовые города.

В одном его конце уютился дом с нашей опустевшей комнатой, в другом еще спали моя свекровь, Лина и трехлетняя большеглазая Таточка. По мере того как исчезали очертания города, я почти физически чувствовала, как от насильственного натяжения рвались не до конца еще изношенные чувства и представления о жизни, которые до той поры и составляли меня.

Какого небожеского происхождения чуждая сила уводила меня в этом строю неизвестно на что, непонятно куда? Почему ей следовало повиноваться?

Мы шли и шли. Никто ни с кем не разговаривал. Только молоденький командир все надсадно кричал на ту несчастную, которая, спотыкаясь, тащилась в голове этапа.

Часов до десяти шли относительно спокойно. Но постепенно все, чему мы поначалу радовались после трехмесячного пребывания в камере, — воздух, ветер и солнце — оборачивалось наказанием. Голубое небо, становясь кандально-синим, безжалостно изливало на наши головы раскаленную лаву. Ветер и шаг впереди идущего

поднимал песок, забивая рот, глаза, волосы. Песок и солнце. Строй. Конвой.

Мы уже перешли предел своих возможностей, а нам не разрешали останавливаться. Упал один, второй. Если на окрик: «Встать, стрелять буду!» женщины не поднимались, их взваливали на телегу и везли за нами. Так разъяснялось предназначение двух подвод, приписанных к этапу.

Не знаю, через сколько верст нам разрешили сделать первый привал и залезть под телеги, на которых лежали получившие солнечный удар люди, прикрытые рогожей. Мы управлялись с хлебом и ржавыми селедками. Воды не полагалось. Приходилось отворачиваться, когда конвоиры отвинчивали фляги, из которых им в рот текла волшебнo-серебряная вода.

Лицо уже было сожжено солнцем, от глаз остались щели. Командир хохотал:

— Принял в этап польку, а приведу монголку! Ха-ха...

И снова путь... под всерасплавляющим солнцем.

Я не знала, что смогу вынести, а чего не осилю. Ощущала себя непонятным производным абсурда. «Забудьте, что вы женщина!» — учила «каракулевая» дама. Теперь появилась возможность забыть, что ты вообще человек. И чтобы удержать сознание от того, что это не так, я шла и шла, ведомая нечеловеческим, ошалелым упрямством, удивлявшим меня самое.

В этапе я была самой молодой. Рядом шли пожилые женщины. Каждый перемогал себя, как мог. Если падал, то молча, без жалоб. Здесь сразу становилось ясно, насколько ты одинок.

«Дойдем, там поспим, отдохнем», — утешали себя.

Селение Джангиджир обошли стороной, оно осталось слева. Перед нами замаячили огороженные рядами проволоки два больших барака с парой подсобных помещений. То была зона. На четырех вышках по ее углам прохаживались с автоматами охранники.

Но кровь остановилась в жилах, и ледяная стужа начала растекаться по ним не от вида зоны как таковой.

Там, за проволокой, стояла шеренга живых существ, отдаленно напоминавших людей. В зное и пекле дня они стояли как вкопанные.

Что или кто это? Чтобы не обезуметь, это необходимо было незамедлительно понять.

Усталость, физическая боль — решительно все отступило, рассеялось перед фактом того, что это существовало. Мы подошли ближе и уже четко могли рассмотреть: да, то были люди! Их было человек десять: разного роста скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи; голые по пояс, с висящими пустыми сумками иссохших, ничем не прикрытых грудей, с обритыми наголо головами. Кроме нелепых грязных трусов, на них не было ничего. Берцовые кости заключали вогнутый круг пустоты. Женщины?!

Все страдания жизни до той минуты, до того, как я вблизи увидела этих людей, были ложь, неправда, игрушки! А это было настоящим! Правдой! Буквой «А» подлинного алфавита страдания и муки рода человеческого.

Все во мне содрогнулось. Было ли это чувством сострадания к живым человеческим останкам или ужас перед ними, не знаю.

Для этого же самого привели сюда и нас?!

Когда этап пропустили через вахту, миновать пергаментные человеческие скелеты оказалось невозможным. Проходя мимо них, к удивлению, мы расслышали осмысленную человеческую речь.

— Вы с воли? Как там?

— Мы полгода просидели в тюрьме. Не знаем.

Нас «сортировали» по баракам. Я попала в рабочий. Двухъярусные нары опоясывали его стены. Кроме дневальной, никого не было. Все находилось в поле. «Тени» вошли сюда. Ко мне подошли сразу три. Каждая дотронулась костяшками пальцев.

— У меня на воле такая дочка...

Другим я напоминала внучку, сестру. Некоторые из них, стоя поодаль, просто смотрели на вновь прибывших, застыв в оцепенении.

Сколько пределов, границ переступили они???

Многие из них числились инвалидами, были «сактированы», то есть списаны актами врачебной комиссии как непригодные к работе, подлежащие освобождению. На волю их тем не менее не отпускали и без работы не оставляли. Сидя на нарах в своем инвалидском бараке, они сучили пряжу с веретена.

За проволокой лежала бескрайняя степь. Ветер все нес и крутил песок. Перехватывающей горло жарой, песком, вышками, сверхмыслимой жесткостью был до отказа заполнен этот мир. Я решила уйти из него, выжить! Покончить с собой. В категорически явившемся чувстве не было ни паники, ни отчаяния. Решение было естественным. На этой черте смерть представлялась достойнее. Я пыталась сообразить: как, чем? Не было ни яда, ни бритвы, ни омота. Так что?

Выйдя из барака и блуждая по зоне, я наткнулась на солидный кусок веревки. Ее здесь «производили». Теперь надо было решить: где? Уборная представляла собой яму, обнесенную в углу зоны невысоким частоколом камыша, и была на виду у часовых.

Вверху, на углу барака, скрещивались поперечные балки, поддерживавшие крышу. Они выступали полукрестом. Это годилось. Но место без помех просматривалось с двух вышек. Значит, следовало дожидаться темноты, и тогда... Лишь несколько часов ожидания... Следователь знал, что говорил: «..мне показалось, что вы повесились».

Я зашла в барак. В этом первом бараке первого на моем пути лагеря, замкнувшись на спасительной мысли об уходе, я в тот день ждала темноты, чтобы покончить с обезображенной жизнью.

Из оцепенения вывел шум. Барак наполнялся «работягами». Они подходили к своим местам на нарах. Значит, прошло много часов. Уже наступил вечер.

— Что, у нас новенькие? Был этап? — спрашивали пришедшие.

Только один вопрос. Больше никто друг другом не интересовался.

Вернувшиеся с работы люди тоже были худыми, коричневыми от солнца. Руки и ноги в ранах, вымазанных зеленкой. Одни тут же завалились на нары. Другие, напротив, деятельно занялись приготовлением пищи. В бараке быстро затопили плиту, труба от которой была выведена прямо в окно. Несколько человек сгрудились возле нее.

Все, что происходило на моих глазах, было отталкивающе удивительным. Человека четыре, присев возле плиты на корточки, бросали в огонь черепах, которых им посчастливилось поймать в степи. Когда панцирь раскалялся, черепаху щепками извлекали из огня и с силой кидали на пол. Панцирь раскалывался и освобождал обгоревший ком черепашьего мяса. «Счастливчик» приступал к варке «французского» супа.

Под восклицание остальных: «Надо же, какой жирный!» — женщина в углу орудовала над чем-то бело-красным и скользким, выгребая охапку кишок и потрохов. С сосредоточенностью голодного человека она, оказывается, раздирала суслика. Поимка зверька возбужденно обсуждалась. Здесь был и оттенок зависти столь редкостной удаче, и одобрение конвоиру, который не помешал настичь зверька.

Я глядела на обрабатывавших свой дополнительный паек женщин, бестрепетно переводя взгляд с одной на другую. Красное платье «в цветочек» на одной из них задержало мое внимание. С ним что-то было связано. Надо было совершить усилие, чтобы вспомнить, что именно... И вдруг я связала концы с концами. Ну да, это платье я видела в камере. Вера Николаевна упрашивала надзирателя передать его своей матери. Значит, эта женщина — Мария Сильвестровна, мать Веры Николаевны?

Разволновавшись, я подошла к худой, остриженной под ежик, сидевшей ко мне спиной незнакомке. Дотронулась до ее плеча. Она повернулась... и, не успев еще осознать случившегося, я услышала возглас:

— Тамара! Вы? Здесь?

Глаза были знакомыми. Но лицо... И где волосы?.. Прошло лишь полтора месяца, а я еле-еле узнавала Веру Николаевну. Это была она... Сердце неожиданно открылось. Поились слезы.

— Не убивайтесь так, друг мой, — утешала меня Вера Николаевна, — переживем как-нибудь и это. Какое счастье, что мы опять встретились! Идемте — я познакомлю вас с моей матерью. Мы здесь с нею вместе.

Мария Сильвестровна поразила и непомерной худобой, и спокойствием. Ее умиротворенность, не связанная с обстановкой этого барака, объяснялась тем, что дочь была рядом с нею.

— Значит, вас, Вера Николаевна, так и не освободили?

— Пока нет, но должны.

— Сколько же вы получили?

Расклад у них был точно такой, как и у нас с Эриком. Мария Сильвестровна получила десять лет, Вера Николаевна — семь.

Встречу с Верой Николаевной в лагере я сочла знаменем. Не сказала ей о том, что замыслила, но на сегодня смерть была отменена.

Вера Николаевна уговорила соседку потесниться, чтобы устроить меня рядом на нарах. Под голову были выданы серые наволочки, набитые соломой, и рваные половинки одеял. Свет от лампочки у потолка барака не достигал изголовья.

— Спите, Тамара, — оборвала дальнейшие расспросы Вера Николаевна, — завтра и вас погонят на работу. Здесь настоящая каторга. Надо много сил. Попробуем упросить нарядчика направить вас в нашу бригаду. Спите!

В пять часов утра ударом молота в подвешенный у вахты кусок рельса возвестили о подъеме. Слезая молча с нар, я, как и все женщины, должна была сделать усилие, чтобы выдернуть себя из сна. Начиналась лагерная жизнь.

Дежурные внесли в барак цинковый бак с бурдой, как здесь называли подкрашенную чем-то коричневую жидкость — «кофе». Распределяли пайки хлеба. Их вес определялся выработанным накануне процентом. После завтрака — пересчет всех заключенных, проверка. Затем — разбор по бригадам и выход на работу.

Бригада, в которую я попала, собирала срезанный на поле тростник конопля и ставила его в «суслоны». От нещадно палящего солнца спрятаться было некуда, помочь ему скорей скатиться за горизонт человеку было не дано.

До обеденного перерыва прошло несколько «вечностей».

Обед привезли в поле. Суп с кукурузными крупинками, догнавшими одна другую, прозывался здесь «баландой». На второе — жижка кукурузной каши.

Одолеть рабочий день, длившийся до захода солнца, было настолько трудно, что, казалось, второго не переживу, не вынесу никак. Неужели так может быть ежедневно? Как спастись от солнца?

Выпоров из пальто подкладку, я соорудила на голове косынку с козырьком.

Учило все. И собственное изнурение, и откровения других.

«Здесь руководствуются одним: держать живот в голоде, не давать опомниться, не давать мыслить, наказывать хлебом, то есть недодавать его».

Пришлось поверить и в то, что «нарядчик», «прораб», «бригадир», тем более «конвоир» — далеко не полный перечень лагерных должностных лиц, за которыми власть, сила, неограниченные возможности для проявления личных свойств характера и, как прямое следствие их своеволий, — жизнь или смерть заключенного. То есть лагерь — это не только непосильный труд. Лагерь — надругательство одного человека над другим.

— Лучше, чтоб о нашей дружбе не догадывались. Не рассказывайте о ней никому, — неожиданно сказала Вера Николаевна.

— Почему? — удивилась я.

— Лагерь этого не терпит.

Как человек независимый и смелый, Вера Николаевна была у начальства лагеря не в чести. Работая в поле, она как-то проколола стерней ногу. На подошве ступни образовался нарыв. От боли она не находила себе места. Поскольку в лагере было много температурающих и «лимит» был выбран, освобождения ей не дали. В просьбе остаться в зоне на трехсотграммовой пайке тоже отказали. Тогда Вера Николаевна заявила, что на работу в таком состоянии все равно не выйдет. За отказ от работы полагался изолятор. Но он был переполнен, и Веру Николаевну заставили стоять у вахты на солнцепеке. Переминаясь с больной ноги на здоровую под палящим солнцем, на столь горячем песке, что местные жители умудрялись в нем печь яйца, она выстояла часа два. В зону ее принесли с солнечным ударом и раздувшейся ногой. Но солнечный удар не стал ее нравственным поражением, Вера Николаевна оставалась как бы несломленной. И логика зла под строго порядковым номером выстраивала теперь события уже сама. В зону проникло слово «этап». Вера Николаевна с матерью хотели остаться на месте. Фрунзе был городом, в котором они прожили много лет. Отец Веры Николаевны, оставшийся на воле, посылал им денежные переводы и приезжал с передачами в Джангиджир.

В списке назначенных на этап зачитали фамилию Веры Николаевны и мою. Мария Сильвестровна в этап не попадала.

Вера Николаевна возмутилась:

— Это бесчеловечно! Как вы можете меня разлучать со старой матерью? К тому же вам известно, что моя каскационная жалоба рассматривается в Верховном Совете. Меня скоро освободят...

Реакция на выпад Веры Николаевны оказалась неожиданной. Едва список был дочитан до конца, как объявили, что моя фамилия названа по ошибке и я остаюсь «на колонне».

Вера Николаевна была права, спасительная для людей совместимость раздражала начальство, была неумодна духу и смыслу режима. Последний вариант наказывал всех, все были разлучены.

Этап уходил в Нижний Тагил.

— Держись, мама, сбереги себя, опекай Тамару, — шептала, прощаясь, Вера Николаевна.

Мы с Марией Сильвестровной стояли у проволоки, глядя вслед уходящим. Я намеревалась сказать матери Веры Николаевны в утешение теплые слова, но, уже не сдерживая слез, она произнесла, указывая в сторону начальства:

— А вы, видно, приглянулись кому-то из них!

Ударил и ход мысли, и бесцеремонный тон. Я понимала, что замечание вызвано нестерпимой болью от разлуки с дочерью. Отмолчалась.

Встреча с Верой Николаевной, сверхчудом подхватив что-то живое, помогла проташиться мне через страшные чувства и дни. После ее ухода в этап без какого бы то ни было сознательного усилия с моей стороны во мне что-то захлопнулось. Я оказалась

не готовой ни к какому роду общения с окружающими. Если о чем-то спрашивали, отвечала, на том все и кончалось.

Я впала в некий род протрации.

В Джангиджире находился совхоз, специализировавшийся на сборе тростниковых кенафа и конопли и обработке их в волокно, являвшееся исходным сырьем для веревок и мешковины, в которых нуждался фронт.

Выработка продукции числилась за совхозом. Фактически же всю работу от начала до конца выполняли заключенные.

Работали на полях. Был и завод. В большом крытом сарае стояли три машины — декартикатеры, являвшие собой систему металлических валов, вращающихся навстречу друг другу. Тростник-конопля вправлялся в них и проминался ими. Затем в виде волокна поступал на решетку с крупными зубьями — трясилку, которая стряхивала с него отходы от стеблей — костру. Приемщица снимала с машины уже вороха воздушного, кудрявого волокна.

Наказанием этого вида работы были миллиарды мельчайших иголочек, образующихся при разбивке конопли. Иголочки забивались в поры тела, искалывали всего тебя постоянно. Ни вытряхнуть из одежды, ни выветрить их никоим образом не удавалось. Выход был один: выносить муку днем и ночью, во сне и бодрствуя.

Самой трудной операцией из всех работ на заводе считалась «задача» волокна в машину. «Задавать» тростник — значило насыпать его в ряд по параметру валов и запустить в них. Машины тархтели, громыхали, все помещение завода застилала мгла из пыли и иголок. Разглядеть приемщицу, снимающую волокно с той же машины, было невозможно.

Случалось, грохот вдруг перекрывал нечеловеческий крик. Изнуренная двенадцатичасовой работой, «задавальщица» не успевала выдернуть попавшую в петлю запутавшегося тростника руку; бывало, и обе руки вовлекались в прижатые друг к другу вращающиеся стальные валы. Остановить машину не успевали. Помочь — тоже. Человек оставался без рук. Истекал кровью.

Был и еще один вид каторжных работ, увечающих и так изнуренную нещадным солнцем человеческую «оболочку». Он назывался «мокрой трепкой».

Кенаф в огромном количестве закладывали в искусственные водоемы. Месяц или два он там вымачивался. На поверхности водоема образовывался толстый беловатый слой шевелящихся червей. В водоем был проложен бревенчатый помост, на который клали вынутый из воды кенаф и били по нему деревянной ступой. Таким размолотым кенаф разделялся в белое блестящее волокно, напоминавшее шелковые нити. Этот допотопный способ обработки и назывался «мокрой трепкой».

Попавший на «мокрую трепку» ходил весь в ранах. Истощенные тела людей были изъязвлены вонючей водой и червями. Гнилостный запах водоема и толща белых червей были губельными не только

для ног, рук, но и для психики работающих. Спасения от «мокрой трепки» люди искали, усердно заискивая и перед нарядчиком, и перед бригадиром.

Нарядчицей была красивая полька, сохранившая все признаки некогда благополучной жизни, Марина Венцлавская. Прорабом — Михайловский, тоже поляк. Он, собственно, был единственным мужчиной в этом женском лагере. Оба были заключенными. Хотя ни к одному из них я никогда ни с чем не обращалась, казалось, что это они уберегли меня от «мокрой трепки», которой я боялась, как и все.

В очередной этап снова зачитали мою фамилию. Приказали идти к конторе. Там собралось человек десять. Все поляки.

В «польский» этап попали и Михайловский, и Марина. Со мною же все решилось быстро, поскольку я была «фиктивной» полькой. Выяснив при анкетном опросе, что я родилась в России и в Польше никогда не была, меня тут же отправили в барак.

Из полевой бригады меня вскоре перевели на завод, где работа была круглосуточной. Поставили к декартикатору на «задачу» волокна. Как и все, я мечтала о ночной смене, избавлявшей от непереносимой жары.

Бывало, что тростник опаздывали подвозить, и тогда выпадали минуты «простоя». Машины замолкали. Нам разрешали выйти с завода и лечь на спрессованные кубы волокна, готового к вывозу. Наступали забываемые мгновения передышки.

Как навязчивые идеи, меня преследовали в тот период две-три непонятно почему возникшие ассоциации. Гроыхание машин на заводе представлялось шумами Витебского вокзала, с которого мы в детстве уезжали в Белоруссию. Каждый день я переживала ту же растерянность, что и тогда. А стоило выдаться минутам отдыха, я «переселялась» в дом Ростовых из «Войны и мира» Толстого, «проживала» бал, все, что чувствовала Наташа, когда пряталась за кадку с цветами. Неизъяснимый свет этих толстовских сцен нисходил на меня, становился тайным убежищем от реальной жизни.

Я плохо видела и слышала все то, что можно было назвать жизнью барака и лагеря. Тем не менее лагерь надолго «не отпускал». Конвоиры были разные. Случалось, терпимые, но чаще — изуверы.

«Тот» был страшным. Молодой, холодный, будто из стали выделанный. Рассказывали, что недавно он убил заключенную, предварительно изнасиловав ее, что «она не первая и уж, понятно, не последняя». Его называли «Зверь». Он сидел на кубах волокна выше всех нас. Автомат держал стоймя. Луна была ему прямо в лицо. Я смотрела на него снизу и вроде бы ничего не думала, не собиралась говорить. И вдруг сама себя услышала:

— А сколько вы убили?

Зачем спросила? Не знаю. Все повернули головы, перестали дышать.

«Зверь» не смутился, не вспылал. Холодно ответил:

— Тебя пристрелю, будешь пятая.

Вскоре привезли тростник. Женщины потянулись к уборной, находившейся метрах в тридцати. Хотела пойти и я. Одна из заключенных тронула за локоть:

— Не ходи. Скажет потом: «В побег хотела».

Послушалась. И — удивилась. Удивилась тому, что у кого-то хватило сил на участие.

На работу водил он же. Проливными дождями размыло дорогу. Огромную лужу мы пытались обойти, пробираясь по ее краям. «Зверь» вскинул автомат:

— Не нарушать строй! Буду стрелять!

Едва мы вступили в лужу и оказались по колено в грязной воде, как он приказал:

— Садись!

Поначалу не поверили. Но он остервенело вопил:

— Кому говорю — садись! Стрелять буду!

И мы... сели.

Как это до горячки мучило потом, как оспаривалось всем, что еще оставалось от собственного «я». Но тогда мы — сели. И жаловаться кому-нибудь было бы пустой и безумной затеей.

Инструкции и законы охранники и нарушали, и соблюдали каждый по-своему. Характеры и нравы проявляли себя здесь нестесненно, с загулом в садизм и низменное властовкусие.

Когда месяца через два я увидела свое отражение в дверном стекле медпункта, не сразу сообразила, что это я. Поблизости, однако, никого другого не было. Уловить что-то «свое» в явившемся откровении было уже невозможно. Я и не заметила, как превратилась в скелет.

Есть хотелось постоянно.

Окружающие по-разному распоряжались своей пайкой. Одни ее, как я, съедали утром целиком, другие делили на три и больше частей, распределяя эти доли на весь день. Последние были, скорее всего, разумней. По возвращении с работы им было чем закусить. Я же, придя с завода, сразу ложилась спать. Сон хоть как-то помогал избавиться от снедающего чувства голода.

Однажды из-за высокой температуры я была освобождена от работы. В бараке находились дневальная и я. Напротив меня, возле постели одной из женщин, лежал кусочек хлеба граммов двести. Куда бы я ни поворачивалась, мысль о чужом куске хлеба не оставляла. Желание есть было неодолимым. Решив тогда в упор, не отводя глаз, смотреть на хлеб, я стала вколачивать в себя: «Это чужой хлеб! Чужой! Если я протяну за ним руку, я — воровка! Ни за что! Я обойдусь! Надо терпеть! Учиться еще и еще терпеть!» Дразняще, настойчиво хлеб маячил перед глазами: «Мама... сестры... блокада. Они все время хотели есть». Я ждала от себя некой гарантии, итога.

...Мне удалось выплыть из удушливой муки голода. Поняла: срам мне не грозит!

Многие на колонне получали посылки и денежные переводы. На деньги можно было купить отходы от масла — пахту, которую местное население приносило на «пятачок» у зоны. В бытность здесь Веры Николаевны она давала мне ее попробовать. Казалось, вкуснее этого напитка на свете нет.

В своем безопорном существовании я необъяснимым образом ждала не кого-нибудь, а все ту же свекровь. Без ведома Барбары Ионовны, как надежду на выручку, подсознание «оформило» ее. Ежевечерне я выглядывала за зону: «Я увижу, увижу ее на месте для свиданий с целой буханкой хлеба. Она приедет. Она не оставит меня».

Почта не приносила ничего. Но вдруг, месяца через три, одно за другим пришли письма от Эрика. Я не могла наглядеться на конверты-угольнички, на почерк и имя адресата. Лагерь, в который попал Эрик, был к городу ближе, чем Джангиджир. Он писал, что устроен хорошо, работает по специальности в качестве врача.

В письмах Эрика не было и следов уныния. Может, он не хотел сгорчать меня и писал не всю правду? Обращался ко мне так же горячо, как и прежде: «Единственная! Люблю тебя, думаю, мечтаю. Не могу жить без тебя!..»

Я жадно вчитывалась в листки, перечитывала их снова и снова. В них было много всего, но они, скорей, напоминали стороннюю музыку, чем обращение души к душе. В своих ответных письмах я поддержала заданный тон и не стала описывать, в какой лагерь попала я. Для этого нужны были вопросы и тревога Эрика.

Обитатели барака были примечательны разного рода «небылью». Про грубую Голубеву говорили: «Это не она, а он!» Ходила она хоть и в рваных, но брюках. Была одной из тех, от которых в городской тюрьме остерегала Валя Х. Впрочем, эта сторона жизни барака напрочь тогда ускользала от моего внимания.

Более всего в бараке было иностранок: немок, француженок. Сдержанные, молчаливые, многие из них ничем себя в бараке не проявляли. «Если бы я стал на мой родин проститьют, — остряла одна из них, — я не попал бы сюда в лагир».

Ярче других запомнились две: Крафт и Шаап. Сидели обе за шпионаж. На кого они работали, разобрать, в сущности, было нельзя. Все их рассказы о «шпионской деятельности» сводились почему-то к описанию любовных походов. Они были невероятно худы, истощены, но женское начало в них было столь могущественно, что даже в этих условиях реализовывало себя. Находясь днями в бараке (на работу их, как инвалидов, не водили), самодельными крючками они вывязывали себе из волокон кенафа не только юбки, но и шляпки, сооружая на них целые палисадники из нитяных цветов, выпрашивая в медпункте стрептоцид, акрихин и зеленку, красили эти цветы.

Надев свои кокетливые шляпки, они шли на помойку, которая находилась в углу зоны, и перерывали ее сверху донизу. Проводя на ней часы, спокойно и вдумчиво выбирали из нее все пригодное. Обсасывали и глодали кости, которые выбрасывала обслуга, рвали там лебеду, другие травы и поддерживали себя крапивными супами. Им нравилось рассказывать о своих бывших туалетах, приемах.

— Перед тем как я шел на бал, — рассказывала Крафт, — я втирала в кожу лица перламутровый настойк. Лицо и шея становился алебастровым. Меня, конечно, спрашивали, какой я пользуюсь косметик, но я держала это в секрет...

— И нам не расскажете? — спрашивал кто-то из женщин.

— Вам? О-о! Вам — расскажу! Запоминай: спирт и уксус развести пополам и бросай в раствор настоящий перламутровый пуговиц. Через несколько дней она растворится в смесь. Вот и вся фокус. Надо смочить ватку и вотреть в кожу. Запоминай?

— До следующего-то приема в посольстве там или где — не забудем, — отвечали.

В бараке спорили, «кому лучше?»: тому, кто в лагерь попал молодым, или тому, кто уже в преклонном возрасте.

— Понятно, тому, кто молодой! Отсидит и выйдет, столько лет еще впереди, — говорили одни.

— Да нет, — не соглашались другие. — Уж если на то пошло, нам, пожилым, хоть есть что вспомнить! Все-таки пожилы. А молодые? И не жили, и неизвестно, удастся ли.

Каким выжженным и пустынным должен был стать к тому времени мир, если абстрактное великодушие этих аргументов я почитала личным состраданием к себе.

И про себя думала: вам, пожилым, действительно легче, вы успели спрятаться в заросли своих биографий, успели сделать Судьбу своей. А я не могу ничем заслониться. До меня добрались и мытарят битую, еще не сформировавшуюся, врасплох застигнутую душу.

Жизнь между тем подобные дебаты объявляла схоластикой. Боль для всех возрастов была одина.

Марию Сильвестровну неожиданно вызвали во второй отдел. Полагая, что пришло известие от Веры Николаевны, она позвала меня с собой. Но ее ознакомили с бумагами, присланными мужем для оформления развода.

Ждать, когда освободят приговоренную к десяти годам заключения шестидесятилетнюю супругу, отец Веры Николаевны считал делом обреченным; встретив другую женщину — решил жениться.

Я с ужасом смотрела на Марию Сильвестровну, думала, она тут же умрет. Но она с ходу подписала бумагу и вышла оттуда подчеркнута прямая, неколебимая, с сухими глазами. Так в одно мгновение была перечеркнута и молодость, и жизнь вообще.

Вместе с неработающими инвалидами Марию Сильвестровну скоро отправили в другой лагерь.

Меня вызвали в контору к новому техноруку. Говорили, на воле он был инженером крупного завода. Некрасивый, интеллигентный человек объявил, что назначает меня бригадиром полевой бригады, обслуживающей декартикатор.

Бригадирство требовало активности, мобилизации всех сил, умения добиваться от бригады расторопности, дисциплины, всего того, что я не умела, не могла и не хотела осваивать.

— Я не гожусь! Не могу! Не смогу! — испуганно воспротивилась я.

— Здесь не спрашивают. Здесь — назначают, — оборвал меня технорук.

Зачем меня принудительно вытаскивают из сумрака? Чего от меня хотят? Я — только вол, но внутренне свободный вол.

Немошная, подавленная, я не представляла себе не только дальнейшей лагерной жизни, но даже элементарно — грядущего дня. Перед лагерем надо было отвечать за выполнение норм выработки, а перед девятью женщинами, никогда не занимавшимися физическим трудом, за то, чтоб они были сыты.

Бригада «гнала» волокно. Хочешь получить 600 граммов хлеба, положи на весы в конце рабочего дня 750 килограммов волокна. Того легкого волокна, которое так быстро становится на солнце невесомым.

После первого дня моего бригадирства весы замерли на цифре 450 килограммов. В переводе на хлеб — 400 граммов.

— Так не будет идти, — сказали иностранки, — надо халтурять, как все.

«Как все» — значило кому-то плюс к основным обязанностям взять еще одну: бегать к протекавшему метрах в ста грязному арыку, зачерпывать в ведро воду, погружать в него веник и, обдавая водой сходявшее с машины волокно, утяжелять его до 750 килограммов.

Практика была новой. На заводе такой способ был неприменим. И потом: как отнесется к этому конвоир?

«Старый Архип» все понимал. Молчал. Спасибо тому старому охраннику! Но от «вольняшек»-то, взвешивавших продукцию, не скрыть, что волокно увлажнено!.. Забирать продукцию приезжали разные. Однако наряд с утяжеленными водой и вписанными 750 килограммами подтверждали все. Еще и подмигивали: «Ну, ты чего?.. Порядок!»

Моложе всех в бригаде — я. Мне и приходилось, подменяя то одного, то другого, бегать от машины к арыку туда и обратно.

Пятидесятиградусная жара выматывала, подкашивались ноги, из глаз сыпались искры. Казалось: еще шаг — и рухну. И так изо дня в день.

Недели через две в разгар операции обрызгивания старый конвоир что-то выкрикнул. Я оглянулась. Верхом на лошади во весь опор к нам скакал технорук. Бросать ведро и веник было бессмысленно и поздно. Я была поймана с поличным. Технорук Портнов осадил лошадь возле меня и, не слезая с нее, произнес:

— От кого, от кого, но от вас этого не ожидал!

Заклученный-начальник ускакал, а я стояла как пригвожденная. Хотелось провалиться сквозь землю. Стыд! Такой прежний и давний, он сжигал меня. Можно было возразить: «Поймите, ведь это только, чтоб не умереть!» Но разве это и так не ясно?

Встревоженные женщины гадали: что теперь будет? В зону мы вернулись пришибленные. На разнарядку, куда после работы собирали всех бригадиров, чтобы завизировать наряды, я шла, как идут к позорному столбу. Ждала, что технорук при всех обвинит меня в мошенничестве. Утешала себя только тем, что он снимет меня с бригадирства, чем облегчит и душу, и жизнь.

Не сказав ни полслова, Портнов подписал заявку на хлеб.

Как же следовало начинать следующий день? Голод был Сциллой, совесть — Харибдой. Внутреннего согласия тут быть не могло.

«Неправо-правым» делом было получить хлеб для бригады. Мы продолжали «побрызгивать», натягивая вес волокна хотя бы на пятисотграммовую пайку.

Я про себя удивлялась: что мог этот человек угадать в такой растерянной и опустошенной доходяге, какой была я? Зачем вызвал малые силы к действию и предъявил при этом нравственный иск, который я не оправдала? Слова «от кого, от кого, но от вас не ожидал» слишком глубоко задели.

Жизнь между тем, колы тебя вызволили из угасания и ты существуешь, принимается испытывать и выучивать всячески.

После работы дежурный по бригаде залезал в узкую щель под трясилку и, лежа на спине, стаскивал с зубьев машины нити волокна. Железная рама не давала пошевелиться.

Включить машину, когда ее кто-то чистит, значило изуродовать или убить человека.

В день моего дежурства я лежала под машиной, как вдруг на меня обрушился грохот и гром. Трясилка заходила, руку вместе с зубьями начало мотать, от сильной боли помутилось сознание.

Тишина наступила так же неожиданно. Общими усилиями меня вытащили. На правой руке повредило фалангу. Хлестала кровь.

Я знала, что рубильник могла включить одна только Юлия Эккерт. Ее ненавидящий взгляд следовал за мной буквально по пятам. Когда нас привели этапом, Юлия стояла среди тех пергаментных «схем», которые так испугали. Никого уже из них не было в живых. Юлия устояла, начала работать в бригаде, но силы ее таяли на глазах. Она жаждала кому-нибудь отомстить за себя. Я, хоть и с «ребрами наружу», но — бригадир, казалась ей удачливее, чем она сама.

Едва уняв кровотечение, чувствуя себя несчастной, я ждала хоть каких-нибудь слов участия от бригады. Подошедшая ко мне Маргарита Францевна сказала:

— Вы не должны на нее сердиться, Тамара.

Хотелось слов теплых, услышала — укоряющие. Сама понимала, что не должна. Беда, конечно, общая. Но все же...

От духоты, от клопов мы часто сбегали из барака, предпочитая спать на земле. После «покушения» Юля смягчилась, норвила лечь ко мне поближе.

Через несколько дней, проснувшись утром, мы увидели — Юля мертва. Поистине: «Вы не должны на нее сердиться!» Как верно, что больше пожалели тогда не меня, а Юлю.

Нам не завезли хлеба: день, два, три... Начальник колонны отдал распоряжение — людей на работу не выводить. Дважды в день выдавали по миске пустой баланды.

Не спалось. Двери барака были настежь распахнуты. Степь хорошо резонировала, был явственно слышен доносившийся из конторы голос начальника колонны. Связавшись по селектору с городским начальством, с увещательного тона он перешел на крик:

— ..Лагерь пять дней без хлеба... лагерь не работает! Я не могу видеть за проволокой голодных людей... Если завтра не подвезете хлеб, открою зону и выпущу всех, кто еще может стоять на ногах! Пусть идут, кто куда хочет!

И хотя «доходов» для эмоций не имелось — я давно в этом смысле находилась на голодном пайке, — тон начальника взволновал: «Да разве еще кто-то на земле смеет так безбоязненно разговаривать? Кто-то решается заступиться за таких, как мы?»

О начальнике нашей колонны я до той поры имела весьма смутное представление. Довольно молодой человек. Редко бывал в зоне. Однажды душной ночью, делая обход вместе с приехавшей сюда работать в качестве врача выпускницей мединститута, они оба зашли в наш барак. Остановились на пороге. На юной женщине было розовое платье. Он был в форме. Как на странное видение, смотрела я на них из своего угла на верхних нарах: «Молоды!» По всему было видно, им хорошо вдвоем. Я благословила их, мысленно порекомендовала быть счастливыми за самих себя и за меня тоже.

Хлеб нам привезли. Снова «сыпались искры из глаз».

На работу мы ходили в истлевших лифчиках и когда-то бывших цветными, а ныне просто грязных трико. Всякая другая одежда с воли сторела на солнце дотла. Мой «намек» на сарафан из подкладки пальто доживал последние дни. Нелепость вида бригады дополняли смесь французской и немецкой речи и сопровождающий нас вооруженный конвоир.

Когда мы, вконец замученные, возвращались через поселок в зону, местные жители останавливались, покачивали головами, сердобольные души не выдерживали, кидали нам в строй по огурцу.

В поселке у единственного дерева-карагача остановилась легковая машина. Женщины заволновались: к кому-то приехали! «Это мой следователь», — пришла мне в голову нелепая мысль. Однако именно его лицо я различила за ветровым стеклом. Он напряженно всматривался в проходящую мимо него полураздетую бригаду. И никого не узнавал.

Ни возмущения, ни ненависти к нему не было.

Вообще из города нет-нет и наезжали какие-то комиссии. Нас выстраивали и задавали вопросы:

— Жалобы есть? Клопы, вши есть?

Мы молчали.

Не помню, чтобы кто-то возмутился тем, что ими кишели бараки и одежда. Никакое слово правды ничего изменить не могло.

Однажды, стоя в строю неподалеку от группы приехавших, я услышала свою фамилию.

— Покажите, кто здесь Петкевич, — просила одна из вольнонаемных дам.

Меня бесцеремонно разглядывали чужие глаза. И под этим пристальным взглядом я ощутила себя такой, какой и была: запущенной, скелетообразной, бесконечно далекой миру, к которому принадлежала эта женщина. Я было подумала: «Может, кто-нибудь из медицинского института просил узнать обо мне?» Но я была далека от истины.

То, что приезжавшая была начальницей санитарной части колонны, где находился Эрик, и то, что, полюбив его, она захотела увидеть его жену, чье место теперь принадлежало ей, стало мне известно значительно позже.

Хорошо, что жизнь тогда пощадило неведение...

Когда некоторое время спустя мне сказали, что на мое имя пришел денежный перевод, я едва поверила. Слишком вымученным было к тому времени ожидание. Но, повернув к городу голову, я прошептала: «Спасибо, Барбара Ионовна! Благодарю. Я знала, что вы думаете обо мне».

Пришло, наконец, и письмо. Барбара Ионовна спрашивала, как я живу, и описывала, как туго приходится ей.

Уже при встрече, десять лет спустя, она призналась, что перевод тот выслала мне «в знак протеста». Приехав во Фрунзе, так бесцеремонно рассматривавшая меня начальница санчасти пришла к ней знакомиться и отрекомендовалась: «Я жена вашего сына. Меня зовут Антонина». Как рассказывала Барбара Ионовна, она «не приняла» ни «женитьбы», ни новой невестки и тут же отправила мне перевод.

От Эрика письма приходили в прихотливом ритме. То они шли потоком, то наступала пауза. Я с горечью давала тому неутешающие объяснения: когда не пишет, ему хорошо; пишет — значит, грызет одиночество.

На жизнь он не жаловался. Успешно практиковал. Описывал, как и сколько сделал за это время операций заключенным и даже вольнонаемным, среди которых сам начальник колонны.

Хлеб нам привозили нерегулярно: «Война идет!»

Труднее становилось вставать, тяжелее работать, душили голод и грязь, жалили иголки конопли. Жизнь иссыкала. И если бы кто-то спросил меня: «Какой же источник тебя все-таки питал?» — иск-

ренне ответила бы: «Не знаю», но потом, вне логики жизненных обстоятельств, вспомнила бы странное ощущение соседства каких-то божьих волн и степные, лунные ночи Киргизии. Они были храмом. Работая в ночную смену, мы оказывались в самом сердце лунной азиатской ночи. Она гудела, была наводнена шуршанием песка, трав, стрекотом цикад. Полуголодное существование уволакивало не то к забвению, не то к вознесению. Казалось, будто и вовсе тебя нет, ты только то, чем внемлешь мирозданию. Что-то вокруг происходило, творилось. Земля со страстью призывала к себе лунный свет, упивалась им, ополаскивалась, принимала в себя. Сияние позванивало. Я «видела» высоту ночи. И понимала: грандиозное, недостижимое — оно есть.

Когда менялась смена, засыпая в бараке, я чаяла хоть единожды, преодолевая бессилие, прорваться сквозь сон, выйти, чтобы «попасть» в эту великую ночь. Эти мгновения поили...

Притащившись с работы после дневной смены, я усаживалась на землю: прислонясь к стене барака, без мыслей и чувств смотрела сквозь проволоку за зону в степное пространство, наблюдая, как дрожит и успокаивается к ночи раскаленный воздух. И однажды реально, зримо различила вдали нагромождение прихотливых силуэтов домов, крыш. Зрелище возникшего красновато-туманного города было захватывающим. Это был степной мираж. Непостижимость. Тайна.

Как-то после работы в барак зашел технорук. Экономя последние силы, мы недвижно лежали на нарах.

— Кто хочет пойти поработать в совхоз? Им надо построить овощехранилище. За это обещали накормить.

Через какую-то паузу вызвалось идти человек семь.

— Может, и вы? — обратился ко мне технорук.

Хотя понимала, что это шанс выжить, подняться было выше сил. Но ко мне обратились лично. Кто-то извне помечал меня «на жизнь». И, преодолев желание не двигаться, я слезла с нар.

Было часов восемь вечера. Жара спала. В совхозе объяснили, что сначала надо заготовить саман. Мы вырыли яму, замесили глину для азиатского кирпича. Одни подносили воду, другие рыли котлован. Трудились не спеша. Норм не было. Конвоир над душой не стоял.

Слышались детские голоса, побрякивали ведра, бидоны. Вот женщина, подоив корову, вошла в дом... заплакал ребенок... в одной из мазанок потушили свет... Человеческая жизнь? И она еще есть на белом свете? Хотя бы насмотреться на нее!

Нами остались довольны. Уже было темно, когда нас под навесом усадили за стол, дали каждому граммов по двести хлеба, принесли соль, арбузы и огурцы.

Такое разве могло присниться.

Утром ждал подъем, работа в поле. «Придут ли за нами вечером?» — вот о чем мы думали. Совхозные вольнонаемные привыкли к нам, мы — к ним. У каждого завелись шефы, которые подсовывали

хоть и полугнилую, но все же картошку, а то и кусок дыни. Хлеб, соль, арбузы мы получали ежевечерне. Раз побаловали даже вареными макаронами. И уж что было совсем неслыханным делом — предложили помыться в бане, о которой мы напрочь забыли. В зоне для бани воды не хватало. Единственное, что лагерь в состоянии был сделать, — это регулярно прожаривать наши тряпки, помогая избавиться от насекомых.

Я догадывалась, что по соседству со мной существуют интересные люди, но не находила в себе ни сил, ни желания для общения; далеко обходила даже самое себя, не зная, заживет когда-нибудь разорванное нутро или нет.

Мне была особо симпатична высокая молодая женщина по имени Дагмара. Она многократно пыталась завести со мной разговор. Я оказывалась не в состоянии его поддержать. Как-то раз, обидевшись на меня, она сказала:

— С вами неприятно разговаривать. Вы словно отсутствуете.

Я признавала ее правоту, но изменить ничего не могла. Проще было перекинуться в мир Анны и Вронского, чем с кем-то говорить о себе, о лагере или о прошлой жизни.

И все-таки одному человеку удалось меня разговорить.

Наша дневальная, Евгения Карловна, была пожилой, домовитой и услужливой. На работу она не ходила. Барак содержала в том порядке, который был возможен в адских условиях безводного существования. Раз Евгения Карловна заменила мне солому на сено, чтоб голове было удобнее, другой — припрятала для меня кипяток. Встречая с работы, восклицала: «Наконец-то!»

Внимание ее возникло словно бы на пустом месте, без всяких к тому оснований. Мне было ново, что в бараке меня кто-то ждет, что не безразлично, сколько мы выработали хлеба, и т. д. В глубине души я даже чувствовала себя виноватой за малость обратной отдачи.

Однажды Евгения Карловна поведала о своей семейной драме. В дочери души не чаяла, любила мужа. «Раз сижу, жду мужа с работы, — рассказывала она, — ужин закутала, чтоб не остыл. Его все нет и нет. Пришел очень поздно, стал в дверях, зачем-то повернул ключ и сказал: «Сядь, Женя, я должен сообщить тебе: у меня сифилис».

Рассказывая, Евгения Карловна плакала, как плакала, видимо, и тогда... Я одеревенело слушала ее историю, жалела эту женщину.

— Расскажите о себе, Тamarочка! — просила она. — А мама у вас есть? Сестры, братья? Отец?

— Мама и сестра погибли от голода в блокаде Ленинграда. Одна сестра где-то в детдоме. Отец сидит в Магадане. Муж сидит недалеко от Фрунзе.

Евгения Карловна хваталась за голову: «Ах вы бедная девочка! Представляю, что у вас на душе!»

В ноябре собирали очередной этап. Зачитали и мою фамилию. Я растерялась, испугалась дорог, неизвестных мест, уголовников.

Завернув в свое плюшевое, бесподкладочное пальто шерстяную кофточку и туфли, купленные Эриком перед арестом, приготовилась к этапу. Ко мне подошла нарядчица:

— Вас ждет технорук, зайдите к нему в контору.

После летнего инцидента с жульническим обрызгиванием волокна я видела его только на разнарядках и когда он предложил идти на работу в совхоз. Он со мной не заговаривал, я — тем более. Зачем он вдруг меня вызывает?

Усталый и мрачный, Портнов предложил сесть и с места в карьер сказал:

— Это я настоял, чтобы вас включили в этап.

Я не нашлась, что ответить или спросить. Он продолжал:

— Надо быть осмотрительней в выборе друзей. Понимаете, о чем я говорю?

Не понимала! Каких друзей? У меня их не было.

— Вами стал интересоваться оперуполномоченный. Ваша Евгения Карловна дает ему полный отчет о том, чем вы с ней делитесь, — продолжал технорук. — Поверьте, сейчас для вас самое лучшее — новое место. Я желаю вам только хорошего. И не повторяйте ошибок!

Боже мой! Чего в механизме жизни не понимала я сама? Было худо, неловко. За дверью конторы уже строили тех, кто уходил в этап. Я поднялась:

— Спасибо.

— Подождите, — остановил меня Портнов.

Он зашел за перегородку, вынес оттуда пару шерстяных носков и протянул их мне:

— Зима идет. Не знаю, где вы очутитесь. Возьмите. Это у меня лишние. И да благословит вас Бог!

Он подошел ко мне, вложил в руки носки и поцеловал в лоб. Взгляд был теплым, добрым.

— Как хочется, чтобы у вас все хорошо сложилось, милая вы девочка!

Никак не желая того, я горько и больно заплакала, прижав носки к груди.

Среди провожавших была и Евгения Карловна. Я твердила про себя: «Дрянь! Дрянь! Зачем же вы такая дрянь?»

Этап уходил в ночь.

Как и по дороге сюда, по степи беспорядочно мотались мертвые колеса перекасти-поля. Конвой был спокойный. Лаяли сопровождавшие нас собаки. Потом и они замолчали. Утих ветер. Высыпали звезды. Мигающий свод казался живым, холодно-утешительным. Вязаными веревочными тапочками движущийся этап шуршал по песку.

Душевное буйство не унималось. «Что она говорила оперуполномоченному? Что, что, что? Почему я так примитивна и все время попадаю в руки стукачей? Почему никак не могу понять, что любая форма доверительности — криминал, что исповедальная «искренность» Евгении Карловны — наживка? И чего от меня хотят? Зачем

гоняться за мной? Жизнь безнадежно повреждена. Предательство ее неотъемлемый атрибут.

За спиной мы оставили уже много верст. Возмущение сменилось кротостью. Я шла и думала о человеке, который меня однажды уличил в обмане, а теперь счел нужным заслонить от лагерных осложнений, о шерстяных носках, которые только что получила от него; о донорском пайке Чингиза; о перемешанности Добра и Зла; о необходимости понимать, наконец, все это «в связке» таким, как есть, и полной своей неготовности именно к этому.

И — Эрик! О нем думать было особенно сложно! Он писал: «Оперуполномоченный не знает, как меня отблагодарить за удачную операцию...», «Начальник готов сделать для меня все, что угодно, после того как я избавил его от аппендицита...» и т. п. Являлась непрошенная мысль: «Если все «готовы сделать все», почему он не просит, чтобы меня перевели к нему или в другой лагерь полегче?» Но я корила себя за слабость, спорила с собой: «Не надо! Ни от кого ничего не надо! Я сама. Сама!» Не знаю, откуда происходило чувство, что через сумеречную, мгlistую плоть несчастий я приговорена идти в одиночку, но оно было кратким и безапелляционным.

В том ночном этапе из Джангиджира во мне возникла не то фантазия, не то далекая надежда: «Когда-нибудь, но я все расскажу, как сейчас еще и самой себе не умею. Может, ребенку, может, Человеку, который услышит меня. Может, еще и еще кому-то, но непременно поведаю об увиденном и пережитом».

Желание было и самым малым, и самым большим, превосходящим остальное, похожее на первый душевный запрос.

В тапочки то и дело набивался песок, стирал ноги... Конец дороги было не представить. Кроме усталости, уже ничего не существовало.

Много людей, погруженных в схожие «колодцы», одолевало тогда дороги на фронты и в лагеря. Рушились прежние миры, рождались новые верования... И никогда я не чувствовала так близко Бога, как тогда.

Из колонн, расположенных по пути следования, к нам дважды присоединяли группы заключенных.

Только к вечеру следующего дня уже солидным отрядом мы дотращились до города. Даже когда мы подошли к нему вплотную, казалась: еще куда-то свернем, обойдем, но в нем не окажемся.

Тем не менее к тюрьме нас вели по одной из центральных улиц. Горожане жались к кромке дороги, уступая место этапу.

Находиться снова в городе, видеть ничем не нарушенное течение жизни, сознавать, что в нескольких кварталах отсюда, в доме, где жила Барбара Ионовна, сейчас неторопливо усаживаются ужинать или просто беседуют, было тяжело.

Неожиданно я увидела идущую нам навстречу сокурсницу по институту. На ее плечах покоилось белое боа, в котором она

неизменно появлялась на занятиях. Она шла под руку с молодым человеком. Бешено заколотилось сердце. Сейчас она узнает меня и... попытается мне что-то крикнуть? Подойти? Изумится, во всяком случае?

Мы поровнялись. Она коротко взглянула. Показалось, что мы встретились глазами, но... она не узнала меня. Ни сочувствия, ни элементарного любопытства к этапу эта пара не обнаружила. И я опомнилась... Господи, да разве мыслимо узнать меня? Я — часть драной подконвойной массы, представлявшей бывшим на свободе одним лицом, чужим и неуместным.

Вошедший в камеру на следующее утро надзиратель прокричал: «Пойдете на склад картошку перебирать. Кто по бытовой — выходи!» Бытовичек вызвалось немного. Когда обратились к 58-й, я решила идти.

Вероятно, самое непредвиденное случается так запросто лишь на войне и в тюрьме. Заворачивая с одной улицы на другую, мы вышли именно на ту, где жила моя свекровь. Невдалеке уже просматривался ее дом. Мы могли еще свернуть налево, направо, пойти к нижней или верхней части города и тем не менее неуклонно двигались к дому, где жила Барбара Ионовна.

До этой минуты я не знала, какая во мне заморожена боль. Меня било как в лихорадке. Сотрясали рыдания. Здесь я жила... там был сад. Эрик оттуда звал посмотреть на яблони. Туда же я убегала при ссорах глушить свои вспышки... Теперь меня вели под конвоем мимо без права остановиться и зайти в дом матери Эрика...

— Тише, тише! Молчите! — уговаривали женщины, стискивая мне локти.

У дома, сидя на корточках, совком рыла песок Таточка.

— Таточка, девочка, беги скажи бабушке, что Тамару ведут! — скороговоркой на ходу наставляли женщины ребенка, разобрав имена родных Эрика, которые я едва могла выговорить.

Трехлетняя девочка поднялась, посмотрев на странных людей серьезно, доверительно ответила: «Нашей Тамары нету!»

В это мгновение я увидела в окне Лину, кормившую своего второго ребенка. Женщины замахали руками, показывая на меня, но мы уже миновали дом.

Когда Таточка все-таки передала дома: «Тети сказали — „Тамару ведут“», Лина сообразила, в чем дело. Минут через тридцать над забором склада, куда нас привели перебирать картофель, появилась ее голова. Она вошла в склад и передала мне кусок хлеба.

— Завтра принесем тебе передачу в тюрьму, — сказала она.

Я ждала какого-то душевного рывка, слова. Лина держалась сухо. И со всей отчетливостью я еще раз поняла, что напрочь изъята из жизни этой семьи, что меня действительно считают виновницей случившегося.

Этап на следующий день собирали с утра. Я ждала обещанную передачу. Тщетно.

Когда нас построили по восемь человек в ряд, я не увидела ни головы, ни хвоста колонны. Конвой был усиленный. Собаки беспокойно вертелись, рвались, лаяли. Таким большим этапом я шла впервые.

Нам выдали все те же веревочные тапочки, а шли на этот раз по булыжной мостовой.

Внезапно я увидела, как с одной из нижних улиц города наперерез нам бежит Барбара Ионовна. Она сильно поседела. Волосы у нее были растрепаны.

Видимо, она не предполагала, что зрелище множества заключенных людей, собак, конвоя может быть так реально связано со мной. Закинув голову, она закричала: «Та-ма-ра!! Та-ма-ра!!» И в этом ее крике было столько доселе неизвестного, что крик, ворвавшись в душу, все в ней перевернул. Восстановилась связь с жизнью, столь необходимая каждому сердцу. Я так устала существовать без тепла, а она живым голосом кричала: «Та-ма-ра!» Хотелось упасть на землю, незаметно сползти в канаву, переждать, когда этап пройдет, и сказать ей только одно слово: «Спа-си-бо!»

Вопреки здравому смыслу Барбара Ионовна пробовала броситься ко мне, но конвоир, взяв наперевес автомат, резко оттолкнул ее. Она пошатнулась и осталась стоять возле дороги, глядя нам вслед.

Никогда потом я не могла вспомнить, сколько мы прошли верст. Бульжник быстро стер подошвы тапочек, превратив их в лохмотья. Многие уже шли босиком. На привале я вспомнила о подарке технорука, но поздно, носки уже не могли спасти. Боль была нестерпимой. На наши стоны никто не обращал внимания. Боялись побегов. Гнали, не давая отставать. Этап спешили доставить на место до наступления темноты.

Не доходя метров ста до вахты Новотроицкой колонны, я потеряла сознание. Кто и как занес меня в барак, не знаю. Ноги разрывало от боли.

Барак был огромный. Сплошные двойные нары опоясывали стены. Той частью сознания, что вечно была начеку, я отметила, что барак без разбора загружали мужчинами и женщинами; что внесли парашу, одну на всех, поставили ее у дверей и заперли дверь барака с внешней стороны.

На нарах, рядом со мной, сидела и плакала молодая женщина, у которой тоже были содраны в кровь ноги.

— Вы по 58-й? — спросила она.

— Да. Как вас звать?

— Соня Бляхер. У меня тоже 58-я.

Мы обе сидели в пальто, дрожа от холода и боли.

В бараке стоял шум, гам, мат. Устали не все. Не все обессилели. Распоясавшиеся незамедлительно оценили обстановку.

Выкрикнули:

— Приготовьтесь, сейчас будем курочить берданы (то есть отбирать передачи)!

В этапе было много киргизок. Местные родственники носили им продукты мешками. Уже через несколько минут человек восемь

мужчин, явно уголовного типа, ринулись отбирать их достояние. Мужчины вырывали, женщины кричали, кусались, рвали мешки обратно... И тогда, по-настоящему озлясь, «рыцари» начали стаскивать заартачившихся с нар вместе с добычей на середину барака.

Сдернув одну, другую... пятую сопротивлявшихся киргизок, отпихнув ногами мешки, озверевшие, вошедшие в раж уголовники начали их раздевать, бросать на пол и насиловать. Образовалась свалка. К ней присоединялись... Выхлынуло и начало распространяться что-то животное и беспощадное. Женские крики глушили ржание, нечеловеческое сопение...

В чреве запертого грязного барака по соседству с животным насилием с Соней началась странная беззвучная истерика, она впилась в меня ногтями. Мы заползли с ней в самый темный угол нар, желая превратиться в ничто, в пыль, в дым, чтобы нас никто не видел, чтобы не видели, не слышали мы. Но я увидела... Увидела, как с другой стороны барака к нам направляется человек пять мужчин. Что делать? Следует их умолять? Кричать? Стучаться им в душу? Нет! Убить! Убить надо их и себя! Все равно кого!..

Дверь оставалась наглухо закрытой, хотя находившиеся поближе пытались в нее стучаться, звать на помощь охрану...

..А пятеро приближались. Управлять собой, что-то решать было уже невозможно. Страшное, будь то убийство или насилие, могло творить само себя беспрепятственно.

Пятеро мужчин подошли совсем близко и... сели на нары. Сначала была только скорость понимания, что они — защита, что мы теперь вне опасности! Как неразлично все срашено.

— По какой? — спросил один, повернувшись к нам.

— 58-я, — выдавила я из себя.

— Откуда?

— Соня — с Молдаванки. Я — из Джангиджира. А вы?

— Мы из Токмака.

Сердце зануло.

— Значит, вы должны знать моего мужа?!

— Кого именно?

— Эрика Андреевича.

— Так это наш доктор. Вы его жена? Точно. Видели мы вашу фотографию у него. Похожи. Почти... А ведь он был тоже назначен в этот этап. Его отстояла... ну, отстояли его. А ведь могли здесь встретиться...

Выручившая тема стала опорой, я перевела дыхание.

В чаду иступленного возбуждения на сегодня мы были заслонены продвижением от того, что жутче смерти.

И про себя я обожествовала этих пятерых.

Двери открыли только утром. Тут же начали выкликать фамилии. Барак опустел. Увели и «ночных хозяев». Осталось человек тридцать. Соню и меня не назвали. Идти мы бы все равно не могли.

В бараке воцарилась тишина. И мы с Соней уснули.

От сна, возврата памяти к минувшей ночи я отходила медленно и отошла бы еще не скоро, если б не разговор на верхних нарах. Вполголоса беседовали двое мужчин.

— Ты с какого в партии?

— С восемнадцатого.

— Как же в тридцать седьмом уцелел?

— Сам не знаю. А ты?

— Я с двадцатого.

— Скажи, ты что-нибудь понимаешь?

— Чего тут понимать? У них разнарядка на НКВД. Дают им: в Коми, на Востоке построить столько-то железных дорог, столько добыть свинца. Вот и выскивают себе бесплатную рабочую силу. Нас с тобой, прочих...

— Брось чепуху говорить. Тут в чем-то другом дело.

— То не чепуха, браток. Факт!

— А сам знает?

— Как не знать? Знает! Ну а ты что думаешь?

— Можно с ума сдвинуться.

— А-то.

Я видела их потом. Шла с ними дальше в этап. Обоим лет по пятидесяти. Лица изборождены морщинами. Коммунисты с восемнадцатого и двадцатого! У одного под курткой одета тельняшка.

И они прожили ночь массового насилия, общую парашу для мужчин и женщин, крики ненависти, издевательский хохот. К каким своим историческим воспоминаниям они присовокупили эти? Во всяком случае, они ни за кого не вступились, никого не стали оборонять.

А разговор этот я не забывала. Ничто его не могло стереть из памяти. В простом спокойном обмене гипотезами было нечто чудовищное. О Сталине говорилось как о главаре бандитской шайки. Осатанелость грандиозных размахов пятилеток связывалась с тем, что служащие НКВД хватали кого попало, давали по десять лет, превращая тех, кто им неугоден, в рабочий скот.

Я отгалкивала от себя леденящую мозг неправдоподобную, жутчайшую из догадок. Неужели плановое «рассудочное» превращение огромнейшей части людей в поголовье для блага других — правда нового общества? Того общества, за которое бились мой отец и мама?

Тоска по объяснениям цепко хватала за горло. Но насущным делом минуты было устоять на ногах, одолеть холод и голод.

За полтора последующих месяца я попадала в пять этапов — по совхозам Киргизии. Поля были под снегом. Мы тяпками срубали замерзшую капусту, дергали мерзлый турнепс, грузили на платформы твердую как камень сахарную свеклу; «подножный корм» поддерживал нас.

На одной из колонн я встретила санврача Полину, с которой сидела в камере внутренней тюрьмы НКВД. Она была такой же неунывающей и смешливой. Поужасалась тому, что стало со мной,

и пообещала познакомить со «своим героем», с которым переживала «небывалый роман». Вечером действительно познакомила. И с кем! С одним из тех пятерых, которые спасли нас с Соней от новотроицкой жути.

Теперь, при более нормальных обстоятельствах, я увидела хорошего, негромкого человека. Привкус, неудобство от ситуации, в которой нам пришлось увидеть друг друга впервые, стесняли. Я потом долго мучилась от того, что не нашла нужных слов для выражения ему чувств больших, чем благодарность. Было очевидно, что инициатива защиты принадлежала ему.

К тому моменту жизни уже выстроилась небольшая шеренга чужих людей, подаривших право считать этот мир возможным для жизни. С Чингиза, технорука Портнова и этих пятерых мужчин я заново начала чтить Человека.

Беловодский лагерь, куда нас привели очередным этапом и в котором я надолго задержалась, располагался у подножия Тянь-Шаня. Был ли Беловодск поселком или небольшим городком, я этого так и не узнала.

Подразделение составляли две зоны: мужская и женская. Все служебные помещения — кухня, баня, медпункт, контора и пять барakov — были в мужской зоне. В женской находилась одна длинная, с маленькими слюдяными оконцами постройка.

Нас привели в холодный, свирепо-дождливый день. Поскольку барак был врыт в землю, вода и грязь беспрепятственно стекали в него. Слезая с нар, люди оказывались по шиколотку в грязи.

Сгрудившиеся на верхних нарах любопытствующие аборигены, свесив в проход головы, аттестовали каждого из спускавшихся в барак по скользким ступенькам новичков.

— Красючка пришла! Смотрите, — указали они на меня.

Я безошибочно уловила недружелюбие наречения и встречи.

В Джангиджирском лагере были одни политические. Здесь вероводили уголовники.

В мрачном, грязном помещении горела коптилка, слышался отборный мат. Место нашлось на голых верхних нарах. Ни подушек, ни матрацев не было.

Под голову я подложила узелок с сохранившимися туфлями и шерстяной кофточкой. (Каждый раз, как только я пыталась выменять эту кофточку в Джангиджире на хлеб, женщины меня отговаривали, пугая зимними холодами.)

Еще до подъема кто-то растолкал меня. На нижних нарах скопом, целой колонией, как то было предписано ранжиром, располагались мелкие воровки. Похожие на кикимор, с ужимками и гримасами, выплясывая на подложенной под ноги доске, «шалашовки» демонстрировали украденные у нас, «новеньких», вещи. На одной были надеты мои туфли, на другой — шерстяная кофта.

— Ну как? Не худо-ть?

Обобранные до нитки во время мертвецкого сна, мы должны были свидетельствовать это «не худо-ть!»

Как надо было вести себя с этими вымороченными существами, я решительно не знала. Но так было озаменовано начало дикой беловодской жизни.

Утром я увидела: в конце барака нары были разобраны, и там стояли шесть или восемь кроватей с перинами и двумя-тремя пышно взбитыми подушками на каждой. Возле кроватей топилась чугунок и пол был сухой. Здесь проживала привилегированная часть женского барака — «бандерши». Любое приказание вельможных уголовниц прислуживавшие им «шестерки» тут же кидались выполнять.

Ко мне подошла женщина с широким испитым лицом, простуженным голосом назвалась бригадиром и сказала, что я зачислена в ее — Ани Федоровой — бригаду. Бригада эта рыла котлован для фундамента эвакуированного сюда Харьковского сахарного завода. Уже была вырыта довольно обширная, метров триста или около того, площадь.

Бригады работали непосредственно в яме, по дну ярусов которой были проложены поднимающиеся кверху стальные трапы. Глинистая почва облепляла колеса тачек и плохо обутые ноги. Чтобы сдвинуть с места и вкатить тачку с землей наверх, требовалась немалая физическая сила. Нормы были высокие. Во имя шестисот-семисот граммов хлеба лезли вон из кожи.

А метрах в ста от нас, среди копошащейся рабочей массы, кружком сидели преспокойно игравшие в карты уголовники.

Играли они не только на деньги. Ставили и на человека. Проигравший должен был к концу рабочего дня прирезать того, кого проиграл. В жертву «втихаря» всаживали нож и тут же закидывали труп землей. Полагаться на заступничество охраны не приходилось. Конвой и уголовники между собой ладили. Рассказывали: чтобы «рассчитаться» затем количеством людей, конвоир откапывал зарезанного, стрелял в него и сдавал как убитого «при попытке к бегству».

Каждый, кто рыл здесь землю, понимал: в любую из секунд жуткой лотереей он может быть превращен в смертника. Стиснутому страхом сознанию ничего не оставалось делать, как обходиться ухарством: а-а, жизнь — так жизнь, смерть — так кончина.

Примерно недели через две Аня Федорова, глядя прямо в глаза, раздав большие пайки хлеба, протянула мне оставшуюся четырехсотграммовую взамен заработанных семисот граммов.

Доли секунд мне были предоставлены на то, чтобы возмутиться и веско заявить: «Отдай заработанное мной!!» Чего бы это ни стоило, однажды я должна была обозначить себя неуступчивой.

Заторможенная, при той неуверенности в себе, которая поминутно меня подводила, я упустила эти мгновения и... проиграла куда больше, чем могла в том отдать себе отчет.

Я понимала, что отобранный хлеб в оплату за свою безопасность Аня отдавала «бандершам», фактическим хозяйкам смрадного общежития. Вокруг воровали, меняли, дрались и мирились, судили,

рядили. Я слышала, но не воспринимала похабную, грязную ругань, видела, как люди приспособлялись к жизни барака, друг к другу. Многие женщины, никогда раньше не сквернословившие, быстро осваивали мат и уже этим не противопоставляли себя духу лагеря.

Инстинктивно отстраняясь, избегая sproкосновения с кипучим окружением, я вызвала откровенно враждебное к себе отношение, что и не замедлило проявиться.

Поначалу я обрадовалась, когда меня перевели из Аниной бригады в другую. Бригада была подряжена очищать от камней участок земли, по которой собирались тянуть железнодорожную ветку к будущему заводу. Камни весом в шестнадцать-двадцать килограммов и больше надо было взвалить на платформу и отогнать эту платформу к месту сброса.

Изо всех сил я старалась не отставать от сильных и здоровых уголовниц, из которых состояла бригада. Сердце упало от предчувствия чего-то страшного, когда одна из них «завелась»:

— А что? Красючка наша — молодец! Смотрите, какая прилежная. Она и одна сгоняет платформу.

Будь я сама собой, может, и сумела бы ответить спасительно остроумно. Не смогла. Снова упустила время. Продолжала толкать платформу, на которой стоял конвоир и лежали валуны. Конвоир глядел поверх меня, словно ничего не происходило, а распоясавшиеся «блатнячки» уже орали, сдобренное ругательством:

— А ну, гони, с... гони, а ну, давай...

Злобная забава горячила их и, изощряясь в мате, они хлестали:

— Дай ей под зад, чтоб быстрее гнала!

Гнусность налетела со скоростью смерча. Оставалось одно: глубоко вбить в себя страх, обморочность, молчать, чтоб не взмолиться и хотя бы этим «не уступить» себя.

Дружно отняв от платформы руки, «блатнячки» шествовали сзади. Кое-как дотолкав платформу еще несколько метров, я спустилась на землю.

Бригада устроила себе перекур. Временно удовлетворенные, обо мне как будто забыли. Но точка была не поставлена. Это я уже знала хорошо.

По вышедшему во время войны указу за самовольный уход с работы, как и за опоздание, судили. У станков в большинстве своем работала молодежь пятнадцати-шестнадцати лет, преимущественно девочки. Многие не выдерживали, сбегали. Им давали по пять лет и отправляли в лагеря. Называли их «указницами». К ним часто приезжали родители и привозили продукты. «Блатнячки» эти передачи отбирали, девочки плакали, просили вернуть. Над ними смеялись.

Я лежала на нарах, впав в обычное полугодное забытие, когда в бараке начался очередной скандал. Плакала одна из «указниц»: украли передачу. Не ново. Но девочка оказалась боевитой, сообразительной, верно сориентировалась: «Надо держаться сильных», и бесстрашно пошла в конец барака жаловаться управительницам. Те жалобу «приняли», и... начался спектакль. Голые, воинственные,

вооруженные для этого досками, выломанными из нар, они отправились искать виновного, желая «восстановить справедливость» на виду у всего барака. Ребром доски человека били до хруста в костях. После расправ уносили «мешок с переломами».

— Счас найдем твою передачу! — пообещали они обиженной девочке.

— Эта? — спрашивали они у привлеченной для «операции» свиты «шестерок». — Эта? — указывая на приписанных существовать на верхних нарах.

— Вот эта, эта! — прокричала одна из блатных, указывая на меня. — Она украла!

...И они двинулись ко мне. Голые бабы располагались вокруг, чтобы при всех избить воровку.

Смертельный холод пробежал от сердца к низу живота и парализовал меня. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Так и лежала. Вот и все! Вот такой конец!

...Казалось, я уже умерла, лишь что-то от меня оставалось на свете, чтобы дотерпеть нечеловеческую боль.

— Да вот передача! — крикнул кто-то снизу.

«Судьи» неохотно обернулись. Мешок с провизией вынули из-под нижних нар, схватили его и направились на «хутор» уничтожать содержимое. «Указница» пошла пировать вместе со спасительницами.

Я лежала, время от времени теряя сознание. Смертельный ужас не отпускал меня. Легче не становилось. Как когда-то в городской тюрьме «под одеялом», я фактически пережила смерть и сейчас. Меня чуть не убили, как воровку. Я была распята собственным бессилием и лагерной неумолимостью.

Это был край, предел...

Как навсегда мы принимаем в душу постороннего человека, чья рука выводит нас из предсмертья к жизни! При этом вздрагивает время собственной судьбы, и мы запоминаем это как «вдруг».

Каждое утро, когда нас выводили на работу, считали, повторяли, что будут при попытке к бегству стрелять, нашу колонну своей особой летучей походкой обегал прораб Беловодского лагеря. На нем был брезентовый плащ с капюшоном, в руках — блокнот. Яркими черными глазами он оглядывал каждого, оценивая рабочие возможности, давал задания бригадирам.

Это был болгарин — Христофор Родионович Ергиев.

Он неожиданно вызвал меня из строя:

— Пойдете в бригаду Батурина.

И тут же крикнул:

— Батурин, возьми эту девочку к себе в бригаду!

— У меня работать надо! — возразил тот.

— Она и будет работать. Все!

— У меня надо кирпичи таскать! — сказал уже теперь мне

Батурин.

— Я буду таскать кирпичи, — пообещала я.

Гриша Батурин был обстоятельным бригадиром, «с принципами», как он говорил о себе. Хитроватый такой мужичок, с тонким бабьим голосом, быстрый и добрый. У него никто не скандалил. Хлеб выдавали без надувательства. Бригада его работала непосредственно на территории строительства завода, в так называемой «зоне оцепления», поскольку конвой здесь не стоял над душой, а действительно оцеплял огромную площадь, на которой одновременно трудилось множество бригад. В бригаде работали мужчины и несколько женщин. Неожиданно я очутилась среди пусть во всем усеченных, но все-таки человеческих норм.

Значит, и вправду изменить «программу судьбы» возможно, лишь до конца испив ту пресловутую «чашу». И ни каплей меньше.

То, что мне необходим какой-то род перемонтировки себя по отношению к окружающему, я понимала отлично. Но с момента следствия я чувствовала себя чем-то затвердевшим, что не росло, не зрело и не развивалось. Для возрождения нужен был другой воздух, чуть солнца, «живая вода». Движение могло родиться лишь в результате каких-то «тайных свершений» или так и не возникнуть вообще.

Заветный «пяточок» в Беловодские тоже был. Возвращаясь с работы, все выглядели, не стоит ли кто из родственников и близких с буханкой хлеба. Надежды многих оправдывались.

С иступленной настойчивостью я еженощно видела во сне приехавшую ко мне Барбару Ионовну с желанным хлебом. После того как я услышала во Фрунзе ее крик: «Та-ма-ра!», ожидание ее приезда стало идеей-фикс, сущим идиотизмом.

Много позже она дважды прислала мне перевод в десять рублей, на том дело и кончилось.

Хоть Беловодский лагерь, не в пример Джангиджирскому, располагался близко от железной дороги, хлеб сюда доставляли тоже с перебоями. Настали дни, когда и здесь его перестали подвозить.

Здесьшний начальник не кричал по селектору, что выпустит из зоны голодных людей. И на работу нас гоняли, как прежде.

После трехдневного голодания утром, задолго до подъема, поднялся непривычный шум: шепот, беготня.

— Хлеб не дают, на работу не выйдем! Никто сегодня на работу не пойдет! — передавали друг другу женщины.

Несколько смельчаков начали заколачивать изнутри двери барака. Откуда взялись гвозди и молоток при ежедневных обысках, понять было невозможно. Дверь заколачивали наглухо, со знанием дела.

— Все теперь заодно? — спрашивали организаторы.

Я впервые почувствовала, как и во мне заговорило что-то прежнее, хоть и еле живое. Значит, в бараке есть люди, которых я не угадала раньше? Даже если это блатные, пусть! Люди сумели возмутиться, пробовали протестовать! Фактически это была забастовка. Казалось, все задышали в едином ритме. Притих даже тот закуток на перинах.

Лежавшие под слюдяным окошечком информировали:

— Мужчины вышли... построились... глядят в сторону нашего барака... ждут нашего выхода... переглядываются... что-то поняли...

Напряжение стало душить, когда зашептали:

— Ну, все! К нам направляются нарядчик и надзиратель.

В дверь начали стучать. Она не поддавалась. С той стороны догадались, что она заколочена.

— Открывайте! Худо будет! Кому сказано? Открывайте сейчас же! — приказывали оттуда.

— Пока не дадите хлеба, не откроем! — выкрикнули из барака. — Без хлеба на работу не пойдём!

С контрольного пункта сообщали:

— Ушли обратно, в мужскую зону... А мужчин уже повели на работу...

И затем:

— Опять идут к нам... у них в руках лом, топоры...

Забастовочный дух, навестивший тот злачный барак, преобразил тогда многое, мобилизовал и сильных, и слабых, дал иллюзию готовности к отпору.

Дверь начали ломать. Она затрещала... и разлетелась под топорами в щепки.

В барак вошло начальство в полном своем составе, испытывая каждого не терпящим неповиновения взглядом.

— Кто зачинщик? Выходи!

Нетрудно представить, что последовало затем.

Во всех случаях дороги вели в третий отдел. Сначала нарядчик вызвал одну партию людей человек шесть, затем — другую.

После двух вызовов к оперуполномоченному в барак пришли надзиратели и забрали в изолятор тех, кто непосредственно заколачивал дверь.

— У-у, продажные шкуры, дешевки, — пеняли предавшим те, кого уводили.

То, что пару часов назад создавало единство, было разможено все тем же кнутом и страхом. И все-таки появилось новое ощущение людей, их способности к какой-то форме сопротивления.

Когда пристыженные, злые и голодные мужчины вернулись с работы, в мужской зоне начали шуметь, раздались крики, а вскоре и предупредительные выстрелы с вышек.

Только к ночи все успокоилось.

Хлеб на следующий день привезли, но я уже не могла стоять на ногах.

Лазарет, в который меня поместили, был набит до отказа. На плотно придвинутых друг к другу топчанах лежали отошавшие люди с бело-желто-зелеными лицами. Мужчины и женщины вместе. Лазаретный барак также был врыт в землю.

Полагаться стоило только на сон и отдых от работы. Больничный паек и отсутствие лекарств поправке не способствовали. Было хо-

лодно. Тонкое серое одеяло, которое я натянула до подбородка, тепла не давало.

Против меня лежала худенькая «шалашовочка», вначале укравшая у меня кофту, а потом выручившая тем, что предотвратила избиение, крикнув: «Да вот он, мешок!» Все хотелось спросить ее: «Почему ты так сделала?» Но знала: она огрызнется. Пожалеть для нее было проще, чем сформулировать «почему».

Шел март. И именно в этот весенний месяц вдруг ударили злые морозы.

На четвертый день моего пребывания в лазарете, уже поздней ночью в Беловодск привели этап. Для столь свирепых холодов экипировка заключенных оказалась чистойшей фикцией. Одного за другим в лазаретное подземелье вносили и вносили людей с обмороженными руками, ногами и лицами. Многие были без сознания.

Лицо одного из ожидавших помощи показалось знакомым, но я не сразу поняла, что это джангиджирский технорук Портнов. Он был так слаб, что не открывал глаз. Что за эти три месяца могло с ним произойти? Почему он попал в этап?

В тот момент я хотела одного: владеть куском хлеба и кружкой сладкого чая, чтобы помочь ему. Бессилие нищего — отвратительно!

Старый узбек, которого положили возле меня, без конца просил: «Пить! Пить!» Сосед слева — тоже. Раз-другой я, пересилив себя, поднималась, вливала в рот стонущим по глотку воды. Но просили отовсюду.

Проснулась я неожиданно. Вдруг. По одну и другую сторону от меня лежали уже мертвецы.

За ними пришли с носилками не сразу. Уносили и возвращались опять: пять... семь... девять... В тяжелом сне метался Портнов.

Впечатления ночи потрясли.

Я сидела на краю топчана, мучительно силясь принять какое-то решение. Остаться в этом погребе было невозможно, а от мысли, что придется выходить на работу в такую стужу, внутри все сводило. Ждать откуда-то помощи не приходилось. Значит, вопреки всему, собрав остатки сил, надо было не только тянуть, но и превзойти себя — попытаться выйти на рекордный паек. Тогда, получив восемьсот граммов хлеба, возьму пятьсот граммов себе, а триста принесу Портнову. Нет, шестьсот — себе, а двести — Портнову...

То ли это был бред, то ли призрак «воли к жизни», но он обрел очертания решения. Джангиджирский технорук помог к нему прийти. Он отправил меня набираться ума-разума, сейчас ему было худо. Я хотела ему помочь.

По моей просьбе я была выписана из лазарета.

Чтобы выработать рекордный паек, надо было от склада к стройплощадке нести едва ли не пятнадцать кирпичей за раз. Я просила накладывать мне по семь. Рассчитала шаги «от» и «до». Ни одного лишнего движения. Только эти кирпичи, эти шаги. Я должна была, делая вместо одной проходки, две, справиться! «Трудно

только первый день. Потом наемся хлеба и будет легче», — угоривала я себя.

На пути была узкоколейка. Переходить через нее с кирпичами самое непростое. О нее я и споткнулась, не дотянув до обеденного перерыва каких-нибудь пару часов. Упала вместе с кладью. С полнейшим безразличием ко всему, даже не пытаясь подняться, я лежала на земле и глядела в голубое небо. Больше ко мне ничто из окружающей жизни не имело отношения...

...Возле меня кто-то остановился. Сначала я увидела сапоги, полу брезентового плаща. Незнакомый человек присел возле меня на корточки.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Двадцать три.

— А срок?

— Семь лет, — машинально отвечала я, лежа на земле поперек узкоколейки.

— Какая статья?

— 58-я.

— Понятно. Пойдете работать на завод нормировщицей? Давайте помогу встать. Пошли к бригадиру. Где он?

Вольнонаемный харьковчанин главный инженер строительства завода Василий Иванович Лукаш помог подняться.

Я не поверила ни одному из сказанных им слов, хотя такие случаи бывали. Слышала. Заводское начальство обращалось к лагерному с просьбой отрядить для работы нужных им специалистов. В этом случае завод выплачивал лагерю за квалифицированного работника 15 рублей 50 копеек в день. Выгода была обоюдной, и такие сделки заключались. Тем более что это не требовало режимных уступок. Вольные и заключенные и так сталкивались в зоне оцепления. Но при чем тут я, никакой не специалист?

После разговора с главным инженером бригадир Батулин ходил к начальнику, передал предложение, и лагерь отдал меня заводу.

Василий Иванович Лукаш препоручил меня старшему нормировщику. Меня сводили в слесарные мастерские, в механический цех, показали детали, познакомили с разного рода операциями, выдали справочник по нормированию, дали на пробу заполнить наряды и заключили: «Толк будет!»

Василия Ивановича Лукаша я про себя назвала: мужчина-мать!

Жизнь моя изменилась самым радикальным образом. Приходя вместе со всеми из зоны, я шла в контору. Дождь, снег, ветер были теперь за окном. Я училась какой-никакой, но специальности.

В конторе был репродуктор. Здесь ждали и слушали сводки Информбюро. Читали письма родных с фронта, рассказывали о «похоронках». И война заняла в сознании то место, какое она занимала в жизни всех людей страны.

В 1944 году в армию стали брать и тех, на кого была «броня». Мобилизовали и моего спасителя Лукаша.

Я стеснялась ему напомнить о себе. А тут, увидев меня возле мастерских, он сам подошел.

— Ухожу на фронт. Заместителя просил, чтобы вас держали на заводе. Так что не беспокойтесь. Все будет хорошо.

Будучи замороженной, я и Василию Ивановичу не выговорила того, что чувствовала, не сказала ему: «Вернитесь невредимым, хороший человек». Не сказав, всегда казнила себя потом за это.

Позже пришла повестка и его заместителю. Сдавая дела следующему, этот незнакомый человек не забыл ему передать просьбу Лукаша. Меня оставили на заводе. Долгий рабочий день меня не тяготил. Угнетала необходимость возвращаться в зону.

Как-то в кузнице меня застал гудок на обед. Все ушли, а я села в темный угол, чтобы съесть свой пашк. На улице, за стеной кузницы, разговаривали мужчины:

— ...А кто ее муж?

В первое же утро по прибытии в Беловодский лагерь перед выходом на работу нарядчик выкрикнул:

— Где здесь Петкевич?

Подошла к нему:

— Я.

— Идем, — сказал он заговорщицким тоном, пойдешь со мной сейчас в мужскую зону, там тебя твой мужик ждет. «Твой мужик, твоя баба» — терминология на этой колонне иной быть не могла. Сердце у меня упало. «Сейчас увижу Эрика. За то время, что моталась по совхозным колоннам, его перевели сюда...» Шла за нарядчиком ватными ногами, не успев привести себя хоть в какой-то порядок, страшась, что Эрик просто не узнает меня.

— Вон там, за хлеборезкой, он тебя ждет, — указал нарядчик на угол барака.

За хлеборезкой стоял незнакомый мужчина.

— А тот, кто спрашивал Петкевич? Где он?

— Я и спрашивал. Вчера вечером увидел, что вас привели этапом. Не узнаете меня?..

— А-а, вы?

...Узнала! Это тоже был один из новотроицких защитников.

— Меня зовут Петр Гордеев. Тогда не успели познакомиться. Помните?

— Конечно, помню. Но зачем вы так сказали нарядчику? Зачем вы так назвались?

— Ну а что такого? Я ж помочь хотел. Чудачка, — продолжил он, — я ведь не какая-нибудь шпана, все-таки — инженер-строитель. Ведь правда — хотел как лучше. Будут знать, что кто-то есть, приставать не станут.

Что-то еще говорил инженер-строитель Петр Гордеев, плоть от плоти лагерного опыта. Я его не слышала. С чувством острой, несказанной оскорбленности и обиды пыталась тогда понять логику его поступка.

Теперь, находясь в кузнице, я услышала, как он отвечал на кем-то заданный вопрос: «А кто ее муж?»

— Доктор. Эрик Андреевич. Я с ним на одной колонне был, — пояснял он. — Живет там с начальницей санчасти. Она ему об-

ставила жизнь как надо. В сале недостатка нет. Даже шампанское ему в зону приносит.

«Шампанское, сало?» — успела я повторить про себя. И — задохнулась. Сильная боль привалила к стене, опрокинула навзничь и, наконец, дотоптала все то, что не было ни силой, ни глубиной, ни даже просто верностью мужа.

Как поэзия, на которой выгорел остаток немудреного урожая прошлой жизни, я в беловодской кузнице осознала себя, наконец, бесповоротно и решительно одинокой.

В Беловодске нам выдали кое-какую одежду. Помимо телогрейки я получила хлопчатобумажные брюки и гимнастерку с настроченными на них пятью или шестью вопиюще разноцветными заплатами. На ноги «выписали» резиновые боты.

Баня на колонне означала выдачу двухлитрового ковша воды, которым надо было обойтись. Черные струи грязи стекали с каждого, кто пытался мыться. Как и большинство, я предпочитала малой порцией воды помыть только голову. Горячая, вынутая из дезкамеры одежда имитировала ощущение смены белья.

Трудно сказать, какое впечатление произвело появление в заводской конторе такого несуразного «субъекта», как я. В комнате сидели две учетчицы, паспортистка и работавшая на заводе семья эвакуированных ленинградцев: мать и две дочери. Старшая, Нирса, была моей сверстницей, до войны училась в Консерватории, была хороша собой и очень мне нравилась.

Настороженность, даже известная ошетиненность вольнонаемных сотрудников постепенно отступили, сменились расположением. С Нирсой мы подружились.

Однажды Нирса принесла на завод живую розу:

— Это — тебе!

Подарок не только растрогал — поразил. Мучительное ощущение несоответствия себя почитаемым ранее нормам мешало общению, перекрывало тогда пути к другим. Преподнесенная роза в известном смысле была равнозначна снятию «карантина».

Помог выйти из самозаточения и ссыльный Альфред Ричардович П. Величественный старик с белой ухоженной бородой часто заходил в контору. Мало с кем разговаривая, он усаживался на табуретку и подолгу молча смотрел на меня. Одно и то же происходило ежедневно.

— Тебе не страшно, что он... так? — шепотом спросила как-то Нирса.

— Ничуть.

Мне было хорошо. На меня нисходил покой, когда этот старый человек находился рядом. Может, только один вид красивой старости приносил лечебное успокоение? Наверное, я кого-то напоминала ему. Иногда казалось, что, несмотря на разницу в возрасте (лет в пятьдесят), мы одинаково тоскуем о чем-то безвозвратно ушедшем.

Однажды Альфред Ричардович, приурочив свой приход к обеденному перерыву, принес пол-литровую бутылку патоки и сушеный урюк.

— Эту роскошь прислали мои дети. Вы не откажетесь разделить это со мной? — спросил он церемонно и едва ли не робко.

Жизнь будто говорила: «Я сама себя творю. А ты смотри, вбирай». И она раскатывала себя во всю неприглядную, но загадочную ширь и с изнанки, и снаружи.

Обходя мастерские, зону оцепления, я видела голодных и сытых, в лохмотьях и неплохо сшитых бушлатах русских и киргизов. Люди дробили камень, клали кирпичи, замешивали цемент, тесали бревна. Были заняты подневольным трудом. Ритмом, ладом строительства сами каким-то чудом помогали себе. И я пропитывалась каждой подробностью: патокой, розой, словом и поступком встреченного человека. Ничего не роняя, протаптывала свою тропу.

В тот период в Беловодском лагере находилось много поляков. По их рассказам, им предлагали «принять советское подданство»; они отказывались, их свозили в лагерь.

Поскольку я здесь была единственной женщиной-полькой, они, поукоряв за незнание языка, объявили меня все-таки «своей», называли «пани Тамара».

Встреча с ними многое открыла, немало дала.

Они лагерь всерьез не принимали. Видели в нем стремление поугаать их. Безоговорочно веровали, что их правительство в обиду никого из них не даст и вот-вот вызовет отсюда. «К Рождеству будем дома!» — уверяли они. И, когда Рождество проходило, улыбались: «Ну, значит, к Пасхе!» Проходила Пасха: «Так уж к ноябрю наверняка...»

Они держались друг друга. Не теряли чувства юмора. Я, кажется, впервые улыбнулась, когда смешливый, знавший русский язык поляк на вопрос одного из членов приехавшей комиссии: «Кем вы работаете?» — ответил: «Паровозом».

— Не понимаю, — уязвленно ответил тот, — поясните.

Поляк, ничуть не смутившись, иронически дообъяснил:

— Пру вагонетку с камнем. Вместо паровоза. Та-ак!

Поляк Генрих, тоже неплохо говоривший по-русски, ведал на родине лесничеством, что вполне вязалось с его обликом. Крупный, добродушный увалень был похож на «Потапыча».

— В чем надо помочь? — иногда спрашивал он.

— Вы тоже верите в скорое освобождение? — поинтересовалась я.

— Иначе никак не можно! — расплылся он в улыбке.

Понять природу их уверенности и оптимизма было выше моих сил.

Мы покорно ели то, что нам давали. Они возмутились:

— Или добавляйте, или не будем работать.

Им разрешили прикупать кукурузную кашу в заводской столовой. Нам — нет.

Заслышав, как они смеются, острят, я думала про себе: «Кроме страха, безнадежности, страдания есть разве что-то еще? Почему

мне это недоступно?» Впрочем, я совершенно серьезно считала: без прикрас, такими, как есть, лагерь и жизнь понимаю теперь я! Они — легкомысленны. А может даже, не умны. И куда-то их не отпустят! Им здесь сидеть и сидеть!

Нет, они все понимали как надо. За их спиной был опыт естественной жизни. За мной?.. Разве определишь, что было в практике моей жизни?

Между тем моя работа «под крышей» в качестве нормировщицы закончилась так же внезапно, как и началась. И не по вине завода. Меня подозвал заключенный инженер Шавлов, взял за руки и высокопарно произнес:

— Гляжу на свои и на ваши руки, и передо мной встает вся трагедия нашей жизни! Если бы вы знали, как мне вас жаль!

— Почему жаль?

— Как, вы не слышали? Есть приказ: всех заключенных с завода отозвать. Очередная кампания по усилению режима.

— Давай опять ко мне в бригаду, — ободряюще предложил Гриша Батурич.

— Спасибо, Гриша.

Бригада Батурина работала в карьере. Надо было накайлить гравий, погрузить и, став «паровозом», доставить его на завод.

В вечерние, послерабочие часы звякнут пустые баки, которые дежурные уносят из зоны после ужина, смолкнет переключка охраны на вышках и как будто выдается часок для себя. Работяги выползают из барака, усаживаются вдоль стен, впадают в забытие, «отходят». Прислонившись к стене барака, вытягивала ноги и я. Нагретая за день земля отдавала натруженному телу тепло, утишала ноющую боль.

Небо понемногу темнело. Над степью — океан воздуха. Он активно, почти осмысленно выбрировал, перемешивая разной степени нагретости слои. Можно было неотрывно глядеть на его неугомонность. Каким-то образом это заменяло движение мысли. С земли поднимался пар. Пахло дальними степными пожарами.

Отвлек крик: «Этап идет!» У зоны начала собираться толпа. Всегда много таких, кто чего-то ждет.

Здесь и вправду случались разные встречи. Прокурор или следователь не раз оказывался за проволокой вместе с тем, кого недавно засадил сюда. Лагерники мгновенно узнавали об этом. Пристально следили за тем, как будут развиваться отношения двоих. Подсознание нацеленно ожидало драматического исхода. Но время откорректировало «поединки чести». Став коллегой заключенного, следователь, бывало, пытался оправдаться перед бывшим подследственным; желание отомстить утрачивало силу и смысл. В критических же ситуациях вмешивалось начальство, отправляя одного из двоих в другой лагерь.

В тот весенний вечер подходивший к зоне этап бурно приветствовали поляки. Они узнавали соотечественников и знакомых. Срывая с головы свои кепи, подбрасывали их вверх.

Одного из прибывших прямо от вахты повели в изолятор. Утром следующего дня, когда мы пришли на работу, Генрих шепнул:

— Вчера, пани Тамара, этапом привели Бенюша. Это плохо.

— А кто он такой?

— О-о! Бенюш — государственного ума человек и... немножко мой друг.

Именно его сразу поместили в карцер.

Для поляков Бенюш, видимо, был арбитром не только в политических спорах. Они часто «схватывались», он постоянно их умирлял.

Я увидела его на территории завода дня через три. Во время обеденного перерыва они с Генрихом подошли ко мне. В таком же военном френче и кепи, как и большинство поляков, худощавый, подтянутый человек лет сорока по-русски сказал: «Я уже очень знаком с вами, пани Тамара? Так?» И представился сам: «Юзеф».

Как и все поляки, на лагерь он смотрел как на временный казус. Истинный характер этого человека был хорошо запрятан за насмешливостью. По отношению ко мне определился тон поддразнивания, шутки и внимания.

— Как же вы будете в Варшаве обходиться без польского языка? — смеялся Бенюш. — Начнем учить его? А как пани попала сюда? Не пошла на демонстрацию Первого мая? Или она — диверсант?

— А у пани Тамары были красивые платья? — спросили однажды два друга.

— Были.

— На них вместо цветов был комбайн или трактор?

Я охотно поддерживала иронический тон, тем более что в самом деле носила когда-то платье из ткани с проштампованными тракторами.

Мне отдавали дань, когда разговор заходил о литературе.

— У нас мало женщин, которые бы столько читали, — сказал Бенюш однажды.

И это помогало. Было важно.

Бенюш отчитывал меня за «непротивление».

— Так себя вести не можно. Смирение — не есть лучший способ жить.

Оба друга работали в зоне оцепления. Я же попадала на завод, когда бригада из карьера пригоняла вагонетки с гравием. Если они не были заняты, встречали, чтобы помочь.

Несколько дождливых дней превратили глинистую почву в месиво. Как я ни старалась удержать на ногах свои трухлявые ботсы, одну из них глина «отчавкала». Наезжающие сзади вагонетки не позволяли остановиться. Путь пришлось продолжать одной ногой в обувке, другой — без нее. При мысли, что опекуны могут стать свидетелями подобной неловкости, я сильно нервничала. Они как раз и подошли. Бенюш налетел на конвоира и, понятно, потерпел афронт. Башмак к следующему рейсу где-то раздобыли. Но теоретизировать на эту тему никто уже не хотел.

— А знаете ли вы вообще, что такое жизнь? — спросили они меня как-то.

Я приняла вопрос серьезно:

— Знаю.

Наперебой они рассказывали про охоту, приемы, рождественские праздники, театральные и концертные залы, езду на лошадях, схватки, споры до утра, про то, как приятно в магазинах покупать для любимой женщины конверт с кружевным бельем. От их воспоминаний оставалось чувство сверкающих, стремительных изгибов.

— Жизнь, пани, вещь замечательная. О-о-о!

В полновесности их подачи слово «жизнь» имело самозащищающий смысл. Оттесняя в сторону свои неуклюжие представления, я замолкала.

На работу все заключенные приходили с собственными котелками, привязав их веревкой к поясу поверх телогрейки. У обоих друзей были аккуратные, с вогнутым боком военные котелки. И, стыдясь своего проржавленного, круглого, жестяного, получив обед, я отходила как можно дальше, чтобы пообедать в одиночку. Бенюш разгадал маневр. Был предложен сговор: обедать, ходить на работу и в зону вместе, называться, «как у вас принято: колхоз!».

Если удавалось прикупить дополнительно порцию кукурузной каши, Бенюш расшлепывал ее в три наши котелка, невзирая на мой отнекивания и смущение.

В отстроеном корпусе завода прорвало как-то трубы. Сигналы всех. Ведрами, ковшами, чем попало, мы вычерпывали воду. Промокли все до нитки. Некстати похолодало. После аврала торопливо строились, чтобы скорее попасть в барак. Прихваченная весенним морозцем одежда напоминала гремучую кору. Нас пересчитывали раз, другой. Потом опять и опять...

— Побег! — пронеслось по рядам. — Побег! — Какой-то смельчак решился.

Дополнительно вызванный конвой «прочистал» завод, трубы, котлы, зачатки. Было ясно: пока беглеца не найдут, нам не видать барака. Продрогшие, мы переминались с ноги на ногу, подпрыгивали. Пытаясь согреться, мужчины тузили друг друга.

Стемнело. Высыпали звезды. Подошедший Генрих сказал:

— Вы совсем замерзли. Есть у вас игра, когда бегут парами. Как она называется?

— «Горелки».

— А приговорка какая?

— «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят, раз, два, три, последняя пара, беги!»

— И пани Тамара в белом платье и в беленьких туфельках мчится, а я ее догоняю. — подхватил Генрих. — Смотрите, в-о-о-он моя любимая звездочка — Вега. Когда нас освободят, обещайте, глядя на нее, вспоминать меня.

В который раз прочесывали территорию, а беглеца не находили. Вконец окоченевших, наконец, построили и повели в зону. Бенюша

рядом не оказалось. Посмотрела влево, вправо, увидела, помахала ему рукой, но он не ответил. Не стал он рядом в строй и утром следующего дня. Подошел только вечером, когда строились после работы.

— С Генрихом теперь раздружусь. Вчера приревновал вас к нему. Мне раньше это чувство было незнакомо.

Смушение от слова «приревновал» на какое-то мгновение заслонило безобразие лагеря. Но застреленный беглец, лежавший у вахты ногами в канаву, молодым лицом к нам, тут же вернул к реальности. Этой картины ничто не могло перевесить: убитый протест, расстрелянный порыв к свободе. В назидание! Нам!

Когда мы рано утром приходили на завод, выпадали три, четыре особенные минуты. Возле сарая, в котором мы получали инструмент, ручками вверх стояли не разобранные рабочими, облепленные комьями глины тачки. Стоило сесть в такую тачку, откинувшись спиной к ее дну, можно было вообразить себя сидящей в шезлонге.

Горы Алатау были из трех предгорий. Первое сплошь покрыто алыми тюльпанами, за ними виднелся коричневый земляной перевал. Венчало их причудливое скопление ледяных вершин. Ежась от холода и свежести, я старалась захватить миг, когда солнце начинало румянить лед.

Бригаду Батурина перевели работать на камнедробилку, находившуюся на территории завода. Это было чуть легче.

Как-то я несла из мастерской болты. Не увидев висящих знаков предостережения, хотела пройти по прямой через донельзя захлащенный участок, но услышала крик: «Стой!» — сопровождаемый смачным ругательством. Осмотрелась. Крик относился ко мне. Недалеке еще дергалась наступившая на оголенные электрические провода лошадь.

Я растерялась. Не знала, что предпринять. Перешагивая, перескакивая через провода, ко мне пробирался Бенюш. Подхватив на руки, вынес меня из смертельно опасной зоны.

Поздно вечером, лежа в бараке на нарах, я пыталась осознать смутное беспокойство, не оставлявшее меня весь этот день.

В какое-то мгновение, когда Бенюш меня выносил, крепко прижав к себе, я почувствовала... вспомнила... у меня есть грудь... Это что-то напоминало... Я — женщина? Это — неловко, неудобно... Это не нужно... «Забудьте, что вы женщина», — вкореняла в меня «каракулевая» дама. Как хорошо они владели грамотой уничтожения! Какой огромный был накоплен опыт, и как самовластно они распоряжались не только судьбой, но и природой человека! Я — «забыла»!

Опять лили дожди. Мы вязли в грязи на работе и в бараке, куда с улицы так незапретно стекала грязь.

Ночью меня кто-то несколько раз толкнул:

— Выйди, тебя там зовут.

По прохуdivшейся крыше барака стучал дождь. Под жестяными покрывками фонарей тускло светили электрические лампочки. Бегавшая вдоль запретной зоны лаяла, гремела цепью собака.

С мужской стороны лагеря меня называли по имени.

Я еле-еле различала за нейтральной полосой и за двойным проволочным заграждением худошавого, с седеющими висками ироничного человека.

— Это я вызвал вас, я, — расслышала я сквозь шум дождя голос Бенюша. — Меня увозят. Надо прощаться.

«Увозят? Ночью? Это на расстрел», — внятно ударило мне в голову.

— Ухожу на волю! — продолжал он. — Слышите?

«Какую волю? Ах Боже мой! Он ничего не понимает! Не знает, что ночами увозят на расстрел?»

— Я слышу вас, слышу, — пыталась я что-то ответить.

— Вы драгоценны мне. Я не думал, что нас увезут внезапно. Прощайте. Хочу на память оставить вам свой котелок. Бросаю. Ловите.

Через проволочные ряды перелетел и плюхнулся в лужу его военный котелок.

С вышки закричали: «Кто там? Кто?» Охрана забеспокоилась. Луч прожектора начал шарить вдоль проволоки.

— Мы можем не встретиться... Целую ваши руки. И да хранит вас Бог! — торопился закончить Бенюш.

Заразительна и велика была вера в то, что его ждет освобождение. Кто же прав? Я с пещерным багажом сознания, не ведающая, что такое защитительный закон и право, или дай Бог — он?

Я прижала грязный котелок к груди и поместила в душу слова: «И да хранит вас Бог!»

Первой сформированной тогда в СССР польской дивизии было присвоено имя Тадеуша Костюшко. Собранных ночью поляков привели в Беловодский военкомат для зачисления в эту дивизию. Они ее «своей» не признавали. Бенюш в категорической форме отказался принять предложение. За ним отказались и остальные. Притом что все они просились на фронт.

Через несколько дней отправили всех оставшихся поляков.

— Что, осиротели? — спрашивали меня. — Заступников теперь нема?

— Нема! Осиротела.

Но я немало приобрела. Раз и навсегда осталась озадаченной непререкаемой верой поляков в свое правительство, верой в то, что они не забыты им. Ведь сама я искренне считала, что связь между отдельным человеком и правительством страны, в которой он живет, имеет одно состояние — борьбы с человеком. Поляки не были униженными и не собирались постигать этого уродливого состояния. Более того, они не отказались от личного права на выбор, в какой армии хотят служить, а в какой — нет.

Я запомнила их джентльменство (смешное нынче слово): то, как до костей промерзший человек умеет вместо ругани различить на

небосклоне любимую с детства звездочку; не забывала их умения засветить подлую некрасивость жизни духовными словами: «И да хранит вас Бог!»

В лагере все то же: подъем, команда «стройся», выход на работу, натужные усилия выработать рабочую пайку хлеба. И вдруг обращение поистине странное.

Бригадир Гриша Батурин заставил пережить своеобразного рода потрясение. Занятный мужичок глянул однажды своими хитрющими глазами и тонким голосом произнес:

— Чего хотел сказать... Не знаю вот, как!

— Говорите, Гриша, что такое? — испугалась я.

— Вы грамотная, интеллигентная там и прочее... Мне газета попалась, там рассказ напечатан, сильно за душу берет. Взяли бы прочли в клубе для всех!

Что это он? Какая чушь? Рассказ, клуб, сцена?

Газету все-таки взяла. Прочла: Елена Кононенко, «Жена». Ранило фронтовика. Остался без обеих ног. Из госпиталя написал жене письмо: если захочет увидеть его «таким», то он придет и будет ждать ее на вокзале. Женщина в назначенное время, не чуя под ногами земли, бежит к станции. Увидев «обрубок» когда-то любимого мужа, останавливается как вкопанная. Муж видит, как она ошеломлена. Хочет отковылять обратно. Но через минуту жена с криком муки, жалости и боли: «Се-ре-жа!» — бросается к изуродованному войной мужу, припадает к нему.

Рассказ задел. Принимая чужую боль, мы начинаем жить истиннее. Память у меня была счастливой: прочла раз, другой — все запомнила. Никогда ничего не читая со сцены, ответила бригадирю:

— Я выучила, Гриша.

— Так я ж знал! Василий на баяне сыграет. А вы после.

Узнав, что я «выйду на сцену», две или три женщины подошли ко мне в бараке:

— Хотите надеть мое платье? Посмотрите, может, мое?

Надела. Причесалась. Волновалась до дурноты. В маленьком клубе народу набилось битком. Крик женщины из рассказа вошел в меня, стал сильнее собственных страданий. Я слышала его по ночам. В нем выразилось все глубинное, чем были пропитаны поры войны и лагерей, когда, кроме как вывернуть себя наизнанку, выхода не существовало. Слепленная болью рассказа, я и читала. Не помню, как...

Плакал бригадир Гриша Батурин, плакала «шалашовка», выручившая меня, плакали мужчины — ИТР, голодные, в рваной спецодежде работяги, заполнившие тогда этот зал «с кулачок».

Чувство счастья? Возможно ли так назвать то, что было тогда со мной? И этот Гриша, отыскавший мне применение несколько иное, чем советский суд?

Ко мне изменилось отношение. Да и сама я стала в чем-то иной, будто что-то про себя вспомнила.

Начальник лагеря, периодически обходивший колонну, построенную к отправке на работу, вдруг остановился возле меня:

— Новенькая?

— Нет, — ответил за меня болгарин-прораб, — я вам о ней говорил: работала нормировщицей на заводе.

— Нам самим нормировщики нужны! — оборвал его начальник и обратился ко мне «с претензией»: — Почему я раньше не видел вас?

В тот же день меня назначили нормировать земляные работы. «Милость» подавила. Нормировать труд заключенных значило определять норму хлеба таким же, как я!

Перед первой разрядкой зуб на зуб не попадал. За столом сидели бывалые дяди-уголовники, хваткие, неуступчивые люди. Меня косо разглядывали: как следует толковать «маневр» начальства?

Я замеряла метры нарытых траншей, кюветов, котлованов. У меня получалась одна цифра, в нарядах бригадиров — другая, превосходящая мой замер в несколько раз. Недавно так же поступала я сама, «побрызгивая» в Джангиджире волокно.

И, вопреки своему желанию и в соответствии с ним, я стала подписывать «туфту», заявив отнюдь не сентиментальным дядям, что «должна быть в курсе всех приписок». Трусилась, терялась, но старалась держаться. Мечтала, чтобы меня вернули в бригаду Батурина на общие работы.

Когда через несколько дней нагрянули с проверкой, все завершил приказ по лагерю: «Нормировщицу такую-то посадить в изолятор на штрафной паек». Я обрадовалась: снимут! Не сняли!

Как пострадавшей за «общее дело», мне в изолятор передали пайку хлеба. Акциям такого рода, как и приветствиям «блатнячек», недавно подгонявших меня матом, а теперь кивающим: «Нормировщица, привет!» — я уже знала цену. И все-таки для «оптимистической гипотезы» существования и отсюда бережно выбирала крохи миролюбия.

В бараке ко мне отношение тоже изменилось. Особое внимание стала проявлять Женя Ш., сидевшая по одной из бытовых статей.

— Сиди, не вставай, я тебе принесу ужин.

— Я сама, Женя, не надо, спасибо.

— Чего ты все «спасибо» да «сама», надо помогать друг другу. Можем вместе в этап попасть. Ты красивая, но тряпок у тебя нет. А у меня навалом. Дам тебе надеть. На тебя кто-нибудь из начальства глаз положит, ты меня тоже не забудешь. Ладно?

Много уже насмотрелась, много ведала, но выверты лагерной жизни неисчислимы. Сидевшая рядом «блатнячка» презрительно усмехнулась:

— Да пошли ты ее подальше! Она ж, пока несет ужин, руками из твоего котелка гущу выбирает, а ты после этого жрешь.

Джангиджирского технорука Портнова, заболевшего тяжелой формой туберкулеза, давно уже отправили в этап. Я успела ему пару раз передать по кусочку хлеба.

Нет-нет предлагали и мне — пахту или сухарик. Я не принимала. Все еще высматривала стоящих на «пяточке»: «Приедет Барбара Ионовна! Приедет! Не сегодня, но завтра...» Не ожидая уже писем от Эрика, ждала приезда свекрови.

Мы нередко оказывались свидетелями чужой любви и преданности.

В самых неожиданных местах по ходу следования на работу то из-за сарая, то из-за наваленных в кучу бревен появлялись чьи-то родственники. Особенной изобретательностью отличались жена и сестра Александра Иосифовича Клебанова. Эти две женщины возникали в самых непредвиденных местах. Зеки внутри шеренги перестраивались, давая возможность счастливчику очутиться с краю, перемолвиться новостями о доме и семье.

Окруженный заботами близких, Александр Иосифович чаще других предлагал мне: «Ну хотя бы стакан молока?» Я отказывалась: «С какой стати!»

Как-то уединившись в своей дощатой разрядочной, заканчивая обед, позабыв обо всем на свете, я доскребывала со дна котелка кукурузную кашу. Звук скрежета алюминиевой ложки о жель котелка дошел до собственного сознания, когда, оглянувшись, увидела стоявшего на пороге Клебанова. Не знаю, сколько времени он наблюдал за моим самозабвенным усердием, но я долго после этого старалась не встречаться с ним взглядом.

А вскоре, замеряя землю, почувствовала дурноту. Очень хотелось есть. Успела только шагнуть во времянку-мастерскую.

Когда пришла в себя, увидела Александра Иосифовича, державшего в руках ложку и котелок с чаем, в который он исхитрился крошить хлеб.

— Одного хочу, — сказал он зло. — Хочу когда-нибудь встретить вашего мужа. У меня есть что ему сказать.

Видимо, сильное, что-то по-людски сочувственное было в запальчивом обещании этого человека. Горькое тепло затопило душу.

Утром стало известно: собирают этап. В дальние лагеря.

И сердце на этот раз зашлось особенной силой: уехать!!! Не ждать больше писем от Эрика, которых он не пишет. Не высматривать на «пяточке» Барбару Ионовну с буханкой хлеба, которая мерещилась ночью и днем. Остатками сил я стыдилась своих жалких чувств, самой себя. Неверность тех, кого я считала своей семьей, была предьявлена сполна. Хотелось решительно отсечь то, что еще болело, тащилось за мной и унижало.

«Завтра пойду к прорабу, попрошу включить меня в этап», — думала я, дивясь пробудившейся воле. Но под утро, когда в барак вошел нарядчик, в списке на этап была зачитана и моя фамилия. Все решилось само собой.

Возле железнодорожных путей охрана расставила палатки. В одной из них выдавали потертое обмундирование. В другой обыскивали. Не ожидая, когда это сделают женщины-охранники, я письма Эрика в Джангиджир, которые умудрилась сохранить до того момента, порвала сама. Ветер поднял обрывки, они покружились и улеглись на среднеазиатскую землю. Вот и все! Черта была подведена.

Из соседних лагерей подвозили новые и новые партии заключенных. Этап готовился большой. Еще оглядывалась: вдруг Эрик окажется здесь? Нет. Его — берегли...

Подали длинный товарный состав. Нас стали грузить в замызганные грязно-красные товарные вагоны, в которых перевозили скот.

ГЛАВА VI

Этап шел на север. Куда именно — держалось в секрете.

Едва мы, разбитые на группы, начали занимать вагоны, как в ход пошла шноровка и сила. Уже через несколько секунд наглядно определилась во плоти иерархическая структура населения нашего вагона. На верхних нарах у зарешеченного железными прутьями оконца оказалась рослая черноокая армянка Наташа Шаталова. Рядом расположились ее фаворитки из «бытовичек».

Охрана велела выбрать старосту, определить график дежурств, чтобы выносить парашу. Старостой объявили Наташу. Выбор, надо сказать, был удачным. Красота волевой старосты производила впечатление даже на охрану. Ко всему она имела низкое меццо-сопрано и пела цыганские романсы. Сидела за хищение по знаменитой во время войны 107-й статье.

Дальние лагеря обрисовывались многими как житные угодья. А пока надо было осваивать дорожную пересылку.

В середине вагона стояла железная печка. На ней — чайник. Возле — горстка чурок и ведро каменного угля. На полу, служившем здесь нижними нарами, и верхних настилах была негусто набросана солома.

Мне досталось место на полу в углу вагона, одно из худших. С одной стороны — холодная стена вагона (дрогнуть и переносить несносную боль в суставах пришлось всю дорогу), с другой — болтливая и жалкая Нелли, сидевшая за мелкое воровство. В стремлении произвести впечатление бывалой лагерницы она бахвалилась, что сидит второй раз, с апломбом заверяла, что на Севере будет легче, чем в Беловодске. Указывая на свою землистую кожу, учила:

— Вот, смотри, смотри, какой у меня хороший цвет лица. А знаешь, что я делаю? Мне и кремы-то никакие не нужны. Я мочой умываюсь.

Часть женщин была замкнутой, молчаливой, а большинство проявляло баламутный нрав. В вагоне вспыхивали ссоры, разнимали дерущихся неизвестно из-за чего. И только тогда, когда затоптывали «буржуйку», разомлевшие узницы стихали. Или, напротив, кто-то начинал истерически рыдать.

Сидевшая за убийство громоздкая женщина жаждала исповедаться и подсаживалась ко всем по очереди. Рассказывала, как схватила топор, как ударила, потом следовали подробности о брызгах крови на стене и еще более страшное. Это было невыносимо. Вперив малоподвижные беловатые глаза на собеседника, она словно вертелась

в колесе известного ей одной ужаса. Просыпаясь по несколько раз в ночь, я видела, как она сидит, открыв пустые, страшные глаза, прикованная к своему кошмару.

Вагон вез ворох беды, вывернутого нездорового воображения, неврастения, элементарной грязи.

Медленно, с остановками мы еще несколько дней ехали по Средней Азии. Состав часто загоняли на запасные пути, потом паровоз маневрировал, резко толкал вагоны туда-сюда, и снова стучали колеса. Как же много в жизни холода и железа: рельсы, засовы, замки, хватка Судьбы.

Ехали неделю, восемь, девять дней. Вдруг с верхних нар доносилось:

— В Россию въехали! В Россию! Лес какой!

Все по очереди полезли смотреть в зарешеченное оконце. В душе отчего-то зануло.

И затем уже вовсе не крик, а громкий Наташин шепот:

— Ой, женщины, сколько эшелонов с ранеными!

И опять все карабкались на верхние нары. Глядя на военные составы, замолкали.

Один за другим мимо нас проходили санитарные поезда с ранеными. На полках пассажирских вагонов лежали изувеченные, забинтованные головы, руки, ноги. Эти составы своим ходом везли беспмятство, крики, смирение, неизбежную боль... Загипсованное, окровавленное несчастье войны.

В Сызрани нас ожидала длительная остановка. Объявили, что поведут в баню. Под конвоем вывели в город.

И впрямь — Россия! Какая же она другая по сравнению со Средней Азией! Здесь отчаянно лопотали листочки тополей и берез. Свежий ветер трепал волосы. Конец мая. Весна. С грачами. Еще холодная. Резвая. Звонкая. Дом! Забытое, родное проникло в клетки. Как жила без этого? Как могла? Вдали мелькнула Волга. С юности мечтала увидеть ее. Вот какой получилась встреча с великой рекой. Из груди вырвалось что-то вроде всхлипа.

Нас привели в настоящую баню. Из одного, другого, третьего кранов лилась вода. Кто был поздравее, брызгался и кричал: «Во-о-да!!» От самой ее наличности, потока, ненормированности в пору было обалдеть. Перекрытые долгие месяцы корой грязи, мы отмывались выданным нам граммов в двадцать кусочком мыла, споласкивались, обливались снова и... счастливо слабели. Как же мы отвыкли от ощущения чистоты!

И снова холод, стук колес, хлопотливый ритм небольшой скорости...

После Сызрани стали задерживать выдачу хлеба, а затем и вообще перестали давать. «Нет хлеба!» — объяснили нам.

— Не имеете права оставлять нас без хлеба! — закричала Наташа.

Снаружи стали бить прикладом в дверь.

— Молчать! Или в изолятор захотела? — Наташины чары на конвоиров больше не действовали.

Против нашего состава остановился идущий на фронт эшелон. Впопыхах не разобравшись, что за товарняк стоит перед ними, солдаты, высовываясь из окон, подтрунивали:

— Эй, девицы-красавицы, куда с таким шиком шлепаете?

Вместо ответа, оторвавшись от заветного окна, Наташа внезапно соскочила на пол и начала бить кулаком в стену вагона.

— Есть хотим! Где наш хлеб? Дайте нам хлеба! — обозленно, настоянно на голоде кричала она.

Ее взрывной крик с размаху ударил по нервам, подцепил, заразил остальных. Стучал и кричал уже весь вагон, за ним следующий, третий. И вскоре изнутри состава в стены и двери камер на колесах колошматили сотни кулаков, весь двадцативагонный состав.

— Отдайте наш хлеб! Есть хотим! Хле-е-ба-а! Хле-е-ба-а!

Стоял уже не крик, а рев. И не горлом орали, а голодной утробой, шальной надеждой на то, что, вопреки произволу, кто-то заступится за находившихся под замком.

У колес наших вагонов забегали начальство, охрана. Забеспокоились не на шутку. Пытались унять. Но поздно. Состав готовы были разнести в щепу.

Из военного эшелона наблюдали, переговаривались. Разобрались, что за состав стоит перед ними. Задетые за живое нашим воплем, оттуда выпрыгнули несколько военных и подошли к конвойной вертушке.

— Кто старший? Им положен паек. Почему не даете им хлеба?

Начальник поезда стал угодливо предлагать военным для выяснения пройти к нему в вагон.

— Принесите сюда накладные. Объясните при них, — не согласились они. Тон их стал до крайности резким. Среди прочих выделился особенно взвинченный голос:

— Не имеет права морить людей голодом! — Повелительно перекричал он всех.

И, услышав эту требовательную, накаленную интонацию, смолк наш состав.

— За кого заступаетесь, товарищи? За кого зас-ту-па-е-тесь? — стал их стыдить начальник конвоя. — За прес-туп-ни-ков.

В кромешной тишине, возникшей от душевной сосредоточенности, мы услышали бешеный крик заступника-фронтовика, поразивший срывом на предельно высокую ноту и тем, что ответ был храбр и смел:

— За кого? За своих матерей и жен, которые могут здесь оказаться.

Словно кайлом эта пронзительная нутряная правда сбила с души все наросты. Недвижно лежа в углу на полу вагона, я зажала рот, чтобы не закричать беспомощное и страшное: «Да, да, мы ни в чем не виновны, над нами издеваются. Мы не понимаем, за что!...» Как и многих, меня сотрясала истерика.

— Ошибочку, оплошность допускаете, товарищи военные, — отбивался начальник поезда.

Но фронтовики не отступали:

— Несите накладные! И не задерживайтесь! Мы возвращаемся на фронт после ранений, — доносилось до нас. — Нам надо знать, что в тылу все делается как положено!

Яростная сшибка ничем не возмутимого персонала охраны, наглевшего в тылу, с оголенными нервами фронтовиков, уже понюхавших огня и смерти, перевела все в ранг емких человеческих чувств, оставила о себе пожизненную память.

Военный эшелон дернулся, тронулся с места. И тут притихших женщин словно прорвало. Из женских глубин вырвалось что-то нежное, перевитое с непристойностью:

— На меня, кудлатый, на, бери!.. — кричал и кричал чей-то голос невидимому заступнику. — Эх, нам бы с тобой...

Из отъезжающего состава так же откровенно ответили.

— Возвращайтесь с войны живыми, парни! — несло им вдогонку из нашего поезда.

И составы продолжили путь. Их — к войне и пулям. Наш — к другому аду.

Вот они какие — люди. Всякие. Маленькие и великие. И еще такие: родные, похоже, как и мы, с сорванными нервами уже навсегда.

Фронтовики тогда добились своего. Увидели, что в накладных фиксировалась ежедневная выдача хлеба и мыла. По спекулятивным ценам конвоиры сбывали их на рынках городов, где бывали стоянки. Возможно, я что-то и забыла из пережитого. Но знаю наверняка: заступничество и сострадание к таким, как мы, утрачивающим представление о себе, сохраняют душу.

— Он прав, сто раз прав! — сурово, без слез произнесла всю дорогу молчавшая женщина. — Сидим «за колоски», за то, что прокляли войну. Мы что, не матери их? Не сестры?..

День за днем. Еще сутки прочь, еще... Их уже настучало двадцать. Поезд шел уже по одной колее.

— Вторую, видно, нам строить придется, бабы, — произнес кто-то.

— Кругом один лес, жилья никакого не видно, — транслировали сверху. — Э-э, да ведь это тайга!

Ждали наступления сумерек, темноты. Тщетно. Их подменили холодные белые ночи. Все время светло. Только по тому, когда нам выдавали наш жалкий паек, мы понимали, что за время суток.

Двадцать третьи... двадцать четвертые... Черенком алюминиевой ложки Наташа выдавливала на стене палочки.

На двадцать пятый день поезд замедлил ход и остановился.

Тишина. Как в колодеце. Даже звон в ушах. Батюшки, да ведь это край света!

Охрана отодвинула створы вагона.

— Выходи дышать! — крикнули и приставили сходни.

Спотыкаясь от слабости, от головокружения после месяца пути, сползли, уселись на землю. Заметив возле узкоколейки канаву, многие потянулись к ней пить. От торфяного дна вода в ней казалась

коричневой. На торфяных болотах, где когда-то работал отец, я в детстве насмотрелась в похожих карьерах на шныряющих головастики и жучков. Пить не стала.

На одном из следующих полустанков отцепили часть вагонов. В немногих, что остались, нас провезли еще километров сто и наконец высадили: станция Светик. В какой мы географической точке? Понятно, что Север, но где?

Невдалеке от состава стояла группа местной автократии. Женщина в форме сотрудника НКВД с желтыми, протравленными перекисью волосами и яркой краской на губах, показалась муляжом. Облик ее не вязался с белесой мглой северной ночи, окружавшей нас чашобой, нашим собственным бессилием. Вынимая из стопки формуляры, она выкрикала всех по фамилии, цепко, опытно отсматривала каждого, сортировала на группы: «Туда!» и «Сюда!».

Выкликнули мою фамилию. Сердце на какую-то секунду замерло, будто понимая, как ответственной именно этот миг.

Задержавшийся на мне взгляд стал жестяным, и начальница скомандовала: «Туда!» По мгновенно проявившейся неприязни, по уже отобранному женщинам я поняла, что «туда» — неизмеримо хуже, чем «сюда». Что во мне, замызанной, шатающейся от тошнотворной слабости, «вычитала» крашенная чиновница? По каким «признакам» делила она людей?

Сортировка между тем продолжалась. Ага, Наташе тоже сказали: «Туда!» — и она тоже сникла. Также поняла что-то? Хорошо, что мы будем вместе. За стойкий, веселый нрав я ее почти полюбила.

А вот с воровкой Нелли нас развели. И мне жаль. «Подоткни под себя мою телогрейку, пока я у печи сижу. Ведь зуб на зуб не попадает... Хочу вместе с тобой попасть на колонну, около тебя человеком себя чувствую», — говорила она мне в пути.

Стоя теперь в группе напротив, приподнятым подбородком указывая на распорядительницу, Нелли то собирала губы кувшинчиком, то растягивала их, беззвучно произнося ругательства в ее адрес.

Нас построили, пересчитали, окружили конвоем и собаками и повели. Все так, будто мы и не пересекали страну с юга на север, словно не поменяли лагерь.

До бревенчатого частокола с проволочным верхом, вышками и охранниками мы проташились еще километра три. Наконец-то жилье! Хоть какое-то, но пристанище. Над одной из крыш вился дымок. А вдруг это для нас топят баню? Но, пропуская через вахту, нас тут же предупредили: «В пять утра — на работу!» Указали барак. Четырехместные нары-вагонки: два места наверху, два — внизу. Пронзительный запах сырых, недавно тесанных бревен.

— А клопов-то, клопов! — ужаснулся кто-то.

Их было столько, что и представить себе невозможно. Накинувшись на нас с хваткой лютых зверей, они одолели все: усталость после месячной дороги, потребность в сне, жажду отогреться. Спасения не было. Забрав соломенные матрацы, многие из нас попытались переселиться на улицу. Оттуда прогнал холод. А в пять утра нас поднял удар в рельсу: на работу!

Как и железнодорожная станция, лагерная колонна называлась «Светик». Название опровергалось решительно всем. Стена высоченных старых елей делала это место убийственно угрюмым. Вдоль дороги, по которой нас вели на работу, заросли иван-чая превышали рост человека, грозили поглотить все, что не они.

Работа здесь была одна: лесоповал. Я попала в бригаду по распилке стволов. Пилили весь день, до отупения, до боли... сверх нее, до одеревенения и далее... Ни выпрямиться, ни разогнуться. Кровавые мозоли появились тут же.

Необходимость приноровиться к партнеру, не подвести организовавала силы, хозяином которых себя уже не чувствовал. Силы были посторонними, то ли спасительными, то ли подлыми — не разберешь.

Рядом мужчины валили лес. Ломаясь и треща, ударяясь ветвями о соседние деревья, стволы с гибельным шумом бухались о землю. Сначала при крике: «Отойди! В сторону!» — отбегали, но вскоре прыти поубивалось, стало безразлично. И так день за днем.

Уже через месяц непосильная работа оболванила, превратила в бесформенный ком. Чудовищное «надо», которому так рабски был подчинен, по-паучьи высасывало кровь, нервы, кости, все имевшееся и то, что могло бы быть.

Ночью в бараке топилась печь, сушились намокшие за день портянки, брюки, бахилы. Помещение заполнялось густым чадом пота и прелости. Хотелось вырваться из него, глотнуть воздуха, но тут же дурил, засыпал, несмотря на клопов.

Никого из окружающих, ни одного лица, даже из тех, кто спал рядом на нарах, я не видела, не воспринимала, не запомнила. И не до отчета было самой себе: кто ты, что и почему? Лес, пила, бревно, мысль о хлебе и опять тот же круг.

Вот они — дальние лагеря!

О чем-то можно поведать внятно. Об ужасе колонны «Светик» вспоминать и то удается по складам.

Номинально вольнонаемное начальство было, понятно, и там. Управляло же колонной худшее: начальство из заключенных. Жить или не жить? — на «Светике» решал нарядчик и начальник КВЧ.

Когда пришел наш этап, первойшей из задач, которую решал нарядчик, был выбор красивой девушки в «жены». И отобранная им женщина была действительно хороша. Нарядчику не возбранялось поселиться в отдельной кабине, пристроенной к бараку, обзавестись хозяйством и жить в собственное удовольствие. За то дарованная лагерем привилегия оплачивалась остервенелым служением начальству и цифрам плана. Стенания: «Мне худо!», «У меня температура!», «На руках сплошной волдырь!» — каким-то образом оскорбляли «личность» нарядчика. Верзила с массивным красным носом и толстыми жирными пальцами свирепел и, ругаясь отборным матом, самолично стаскивал с нар просившего о пощаде. Если кто-то сопротивлялся, его уволокивали в изолятор, оставляя на трехсотграммовой пайке. Остальную часть хлеба этот валун из плоти и

самоуправства забирал себе. Его любимой поговоркой была: «Волк тебе друг!» В тайге это звучало.

Здесь, в Коми республике, на лесоповале, мысль о «плане», который якобы спускался на НКВД (о чем двое старых большевиков толковали на новотроицкой пересылке), мне больше не казалась абсурдной. Чьими рабами или крепостными являлись мы? Для ответа на «простенький», убийственный вопрос нужны были силы, досуг и точность. Но Боже мой, как верно было определено кем-то в Джангиджире: «В лагере руководствуются одним — гнать, не давать опомниться, не давать мыслить, держать живот в голоде, то есть не давать хлеба».

Если я имела какое-то представление о том, что происходило на колонне, то лишь через Наташу.

Ее спасли земляки, занимавшие здесь «командные» посты. Один армянин был всесильным, поскольку заведовал хлеборезкой, другой — каптеркой. Защищенная такими покровителями, Наташа пыталась помочь и мне: «Пойдешь в каптерку мыть пол? Каптер за это дает полкило хлеба». Я старательно мыла шербатовый, плохо обструганный пол, залезала под полки с казенными бушлатами, обувью, гвоздями. Но не угодила хозяину каптерки. Полкило хлеба он дал, но больше, как передала огорченная Наташа, звать был не намерен.

А Наташа влюбилась.

Когда нас привели на «Светик», из заключенных на колонне был только обслуживающий персонал. Баней заведовала семидесятипятилетняя, морщинистая, с глазами, словно у вываренной рыбы, женщина. Рассказывали, что у нее «роман» с молчаливым, как она, парнем, которого здесь именовали парикмахером. Разница в возрасте между ними — пятьдесят лет. Оба эти человека производили странное впечатление — то ли полурастений, то ли полулюдей. Как Наташу угораздило влюбиться в рыжеватого, сонного парикмахера, уму было непостижимо. За то, что он брил вохровцев, ему из-за зоны принесли гитару. Наташа пела, он аккомпанировал. Видимо, это их и сблизило. Нелепость заключалась в том, что парень, похожий на водоросль, то и дело от статной, красивой Наташи бросался опять к семидесятипятилетней заведующей баней.

Наташа загорелась мыслью организовать на колонне концерт. Это давало ей возможность, репетируя после отбоя, подольше сидеть с брадобреем. «Кто умеет танцевать? Кто что умеет?» — бросила Наташа клич. Желаяющие нашлись.

— Выручи! Помогите! — уговаривала меня Наташа — Если ты согласишься вести концерт, тогда что-нибудь может получиться. Сделай это для меня! Ну согласишься. Прошу!

Я сдалась. Измотанность и безразличие умудрили смолчать, что читала в Беловодске рассказ «Жена».

Концерт состоялся. Наташа имела громкий успех. Ее просто не отпускали со сцены. Я выступила в роли конферансье.

На свою беду!!!

На следующий же день меня вызвали в КВЧ.

Какова функция такого лагерного образования, как КВЧ (культурно-воспитательная часть), объяснить затруднительно. Газеты? Библиотека? Радио? Кино? Все это отсутствовало начисто.

Ведал КВЧ на колонне «Светик» освобожденный от всяких других обязанностей некий Васильев, мрачный, болезненного вида, худой, жилистый человек.

— Садись, товарищ, — указал он мне на стул.

Помещение КВЧ представляло собой каморку со столом, двумя стульями и плитой. Линялая ситцевая занавеска, видно, отгораживала постель.

Васильев начал с похвал тому, как я вела концерт. Потом последовали вопросы: «По какой статье? Срок? Где училась?» Сам отреккомендовался бывшим заместителем секретаря ЦК комсомола Украины.

— Встречался с Постышевым. Работал с Косиором. Завидовали! Написали анонимку. Оклеветали. Посадили. Теперь «страдаю вместе с вами». — Тут же спросил, трудно ли мне на лесоповале, и сам же ответил:

— Заморить человека там ничего не стоит. Поразмыслю, подумаю о твоём переводе в зону. Может, и в КВЧ устрою. Развернем тут работу.

Коробило его «ты», «товарищ» и «развернем работу». Встречается такая порода всячески чуждых людей. Васильев принадлежал к таковым, казался неживым, неодушевленным. Невозможно было счесть улыбкой оскал его желтых лошадиных зубов, хотя лагерный удачник явно пытался быть приятным.

Внезапно поднявшись со стула, он схватил меня за руки. Засопев, рванул к себе и к занавеске.

Опередив собственную сообразительность, с откуда-то взявшейся силой я оттолкнула его так, что, ударившись о край плиты, он полетел на пол. Парализовал наползший ужас: «Убила человека!» Но через пару секунд привставший «начальник» уже рычал:

— Сыг-ны-ю-ю! Сгною! В ногах будешь ползать, просить... Сгною!

Одно только представление о насилии мне мутило рассудок. Мысль о нем была конечной, как предельная черта ужаса, за которым следовало одно — смерть. Именно его, насилия, я на протяжении всей жизни боялась неизъяснимей и превыше всего.

Не помню, как добралась до барака. Острое чувство обрыва жизни было единственным внятным чувством, а ядовитое мстительное «сгною» ничтожного «начальника» — лагерной достоверностью, перспективой гибели.

Изо дня в день, неделя за неделей одно и то же: подъем в пять часов утра, наспех выпитая бурда — чай с кусочком хлеба, команда «Становись в четверки!». Болотистая почва постанывала под ногами, когда нас вели бригадами в лес. При каждом шаге ступня отжимала

влагу. Менялось одно: участки леса. Пилы притуплялись, а мы все пилили и пилили казавшиеся железобетонными стволы деревьев.

Изнурительный труд, соседство с топором путали иным мысли. Нет-нет да кто-то и отрубал себе палец или два (отважившихся на это называли «саморубами»). Шли на это, лишь бы избавиться от лесоповала, изнеможения, москитов, которые в течение всех часов жалили непосредственно в нервы.

Больше, чем на пятьсот, а в лучшем случае на шестьсот граммов хлеба «потянуть норму» не удавалось. Хлеб выпекался со жмыхом. Пайка походила на камень. Во время обеда маленькими черпачками выдавали «витаминное довольствие» — отвар из еловых и сосновых иголок. Но разве могло это помочь?

Многих уже одолела цинга. Настигла она и меня. Сначала на ногах обозначились лиловые пятна, очень быстро — гнойные очаги, затем открылись язвы.

Как-то после работы я нерешительно направилась в медпункт. Фельдшер обработал раны и... дал освобождение от работы.

Ни в какие законы, ни тем более в милосердие нарядчика или прораба я, разумеется, не верила. И когда утром в бараке женщины собирались на работу, от неуверенности в мало-мальские «права» было просто худо. Сердце ныряло вниз, но как освобожденная медпунктом я все-таки не поднималась.

Едва пересчитали построившиеся бригады и проверили списки заболевших, как тут же в барак прибежал нарядчик.

— А ну, быстро, — направился он ко мне. — Или помочь?

Нет-нет! Помогать было не надо! Страшась жирных рук нарядчика, которыми он стаскивал людей с нар, как могла быстро я слезла сама.

Присутствовать при отправке бригад на работу начальник КВЧ Васильев считал для себя делом обязательным. В любую погоду он, как гипсовая статуя, желтел возле вахты, проверяя, кого осво-бодили.

Вечером фельдшер зло бормотал:

— Не дам больше освобождения. От Васильева так нагорело, что сам могу костей не собрать.

Мог и не говорить этого. И так было понятно. Такие, как Васильев, не шутили. Пообещав мстить, предпочитали все творить за спиной и уничтожать методически, со вкусом.

Буквальный смысл его угрозы «Сгною!» был уже налицо. Я с трудом передвигала ногами. Они были колодообразными, словно бы приставленными. Я загнивала.

Утром при ударе в рельсу удавалось понять: «...это лагерь... надо! Что «надо»? А-а, идти на работу». Я сползала с нар и тащилась к вахте. Кроме этих несложных задач, ничто уже не заботило. Зло имело физиономию Васильева, персонифицировалось в нем. Я без страданий утрачивала прежнее чувство реальности. С тем, что было за пределами лагеря, ничего не связывало. Я думала только о своей сестре, о ней одной. Где мыкалась моя Валечка?

Чаще всего с ужина мы возвращались в барак последними: моя тетка Тамара Тимофеечева, преподаватель литературы, Наташа и я.

— Подождите! — остановила нас однажды Наташа перед входом в барак. — Понимаете, что мы погибаем?

Я только тут заметила, как сильно Наташа изменилась. Почему? Что с ней происходит? Спрашивать, интересоваться этим, как раньше, не находила сил.

— Давайте поклянемся друг другу... — предложила она, — поклянемся друг другу в том, что, если кому-то из нас повезет очутиться на другой колонне, тот должен тянуть остальных. Пусть каждая из нас даст слово сделать это!

На секунду в душе что-то засветилось. Она хорошо придумала. Мы взяли за руки, и каждая поочередно произнесла: «Клянусь»!

— Бывают и такие Воробьевы горы! — подвела итог Тамара Тимофеечева.

Способность участвовать в жизни другого человека как-то совсем атрофировалась. Глаза видели, как кто-то, думая о своем, сидел и раскачивался на нарах, подобно сомнамбуле; как ночью приходили и выдергивали кого-то из женщин, вызывая в постель — к нарядчику, прорабу или Васильеву; как по возвращении их опустевшие глаза устремлялись в дымную, подсвеченную горящим фитилем барачную тьму; и как они тут же отворачивались к стене, торопясь доспать оставшееся до подъема время. Обыденные, почти не вызывающие эмоций картины лагерной жизни.

Встряхнуть могло лишь нечто из ряда вон выходящее. Кто-то на лесоповале вовремя не отбежал, и его убило спиленным деревом, кого-то зарезали в зоне или в бараке, кому-то в изоляторе доломали кости.

Эти «происшествия» поражали. Болела и ужасала некая общая человеческая обреченность, историческая судьба. Вторым планом представлялась жизнь сведенного на нет человека, и, как факты, это помнилось уже всю жизнь.

Самое уязвимое и беззащитное у большинства — психика.

На «Светике» я стала свидетелем одного из самых невыносимых отступлений от человеческого начала: гуртового озверения людей. На распилку бревен меня несколько раз ставили в пару с чахлой, до крайности измученной женщиной. В бараке она едва ли не каждому рассказывала о двух своих дочурках семи и девяти лет, оставшихся на воле.

— Пропадут они, помрут без меня! — твердила и твердила она. — Ну сами подумайте, как они могут без меня жить? Ну, как могут?

Более десятка раз вохровцы пересчитали наши построенные для возвращения в зону четверки. Одного из заключенных не доставало. Объявили: «Побег!» Еще и еще раз обшарили лес. Может, умер кто? Без сознания? Не нашли. Выяснилось, что нет матери двоих детей.

Отчаянная решимость бежать из лагеря как будто и не вязалась с затурканностью этой женщины и одновременно проистекала из нее. С охраны за побег взыскивали. И вохровцы в этих случаях сатанели. Усиление режима принимало самые непредсказуемые формы. Например, попроситься теперь отойти в лес «оправиться» означало оказаться под буквальным надзором конвоира. Это действовало на психику людей. Раздражение накапливалось, искало выхода. Получалось так, что пенять надо было на того, кто бежал. Такова логика застывшего мышления.

Женщину искали несколько дней. В тайге имелись посты. В вырытых землянках таились вохровцы. Примерно через неделю в середине дня вдруг замолчали пилы и топоры. Из леса вышли трое оперативников. Впереди шло нечто ступающее. Она! Вместо одежды на ней болтались одни лохмотья. Лицо было превращено в красный, вспухший блин. Изъеденная в кровь москитами, она остановилась, обвиснув на собственном скелете, безразличная ко всему окружающему.

И вместо жалости и сострадания из нутра таких же заключенных, как она, вырвалась безудержная злоба. Это был до предела разогретый психоз. В измученную женщину летели чурки, камни и грязные слова. Неделю скрученные жестким режимом люди мстили не лагерному начальству, а ей. Расправлявшиеся с самой несчастной из всех были так страшны, что ум заходил за разум. Агрессия обезумевшей массы людей — зрелище нестерпимое.

Ни оперативники, отыскавшие беглянку, ни конвой, усевшийся перекурить, не пытались усмирить сорвавшихся с цепи людей.

Но вот злоба иссякла. Так же внезапно, как и вспыхнула. Кого-то остановили, кто-то опомнился сам.

Женщина лежала на земле. К ней подойти не разрешили. Что пережила она в эти семь дней, блуждая по тайге, пытаясь из нее выбраться, сжевывая коренья и ягоды, осталось известным только ей и Богу. Одни говорили, что ей дали дополнительный срок; другие, что она не выдержала следствия и умерла.

Если ее девочки живы, они, понятно, и не ведают о пережитом их матерью во имя любви к ним.

Мысль о побеге приходила в голову, наверное, каждому. Как фантазия томила и меня. Свергнув власть воспитанности, разума, все клетки вдруг начинали вопить: «Хочу домой, до-мой хочу!» Но убеждение, что от НКВД скрыться невозможно, стирало эту идею, как мел с доски. Да и куда бежать? К кому? Никакого дома у меня на всей этой земле не существовало.

Нежданно-негаданно на колонне появилось новое лицо. Врач. Петра Поликарповича Широчинского привели сюда небольшим местным этапом как «штрафника». На злосчастный «Светик», оказывается, сослали. Отсидевший из десяти лет срока шесть, в своем почтенном возрасте сохранивший следы былой барственности, веле-речивости, доктор выглядел здесь белой вороной. Тем же самым он

объяснил и причину ссылки: «Одним своим видом я действовал на нервы начальнику прежней колонны». Слишком много всюду определял мотив все той же «классовой ненависти».

Обстоятельством прибытия Петра Поликарповича на колонну Судьба мне, как говорят в подобных случаях, «подложила руки».

Осмотрев мои раны на ногах, он поднял брови и сказал:

— Нам с вами, деточка, во что бы то ни стало надо поправляться.

История с освобождением повторилась «от» и «до». Петр Поликарпович освобождал, Васильев — гнал на работу. Доктор пытался противостоять. Как-то попросил задержаться после приема, поставил скамеечку под больные ноги и рассказал о себе, о лагере.

От него я узнала, что наш лагерь называется Северным-Железнодорожным, что дальше к северу располагаются: Устьвымский, Абезьский, Интинский, Воркутинский и другие лагеря. Он же объяснил структурное деление лагеря на лагпункты, которые группируются в отделения. Мы, например, принадлежали к Урдомскому отделению. Но более всего меня поразил рассказ о том, что есть, оказывается, колонны, на которых много интеллигенции и почти нет уголовников.

Чаще других в рассказах Петра Поликарповича мелькало имя Тамары Григорьевны Цулукидзе, заслуженной артистки Грузии.

— На колонне «Протока» Тамара Григорьевна, — рассказывал он, — создала театр кукол. Изумительная актриса, женщина редкостного обаяния и изящества. Хорошо бы вам с ней встретиться! А знаете, верю — встретитесь!

Желание Петра Поликарповича всеми силами ободрить меня трогало. К тому же опальный доктор был не только прекраснородушным мечтателем. Он добился невероятного: моего перевода в бригаду, работавшую на огородах.

Вместе с такими же заморенными женщинами я теперь старательно выполняла задания агронома Зайцева.

В обденный период бригада грелась у костра. К Зайцеву прибегала вольнонаемная девушка-агроном, приехавшая работать на Север. Опытные женщины говорили, что они друг друга любят, и ворчали:

— Чего на рожон лезут? Ведь при конвое! Прятались бы хоть как-то!

Если бы знать, как близко, лицом к лицу сведет меня судьба с трагическим исходом этой любви, я бы тогда зорче всмотрелась в этих влюбленных. Вольная и заключенный? Противозаконно! Наказуемо!

Мой перевод с лесоповала в огородную бригаду сильно ущемил самолюбие Васильева. Как бывший руководящий работник он мог уступить все, кроме страсти властвовать. По его распоряжению меня теперь дополнительно определили в бригаду пожарников. После полного рабочего дня я была отныне обязана дежурить по зоне с 12 до 2 часов ночи. Сон, таким образом, уворовывался и разбивался. Как заведенный механизм, проспав с 10 вечера до 12 ночи, я

поднималась на ночное дежурство. Обходя колонну, «берегла» лагерные строения от пожара.

Заклоченные спали. Лаяли овчарки. Менялся на вышках караул. Гудела, почти выла за забором от ветра стена высоченных угрюмых елей. Мне начинало казаться, что я существую в доисторический период, что на земле, кроме собак и вохры, больше никого и ничего нет и еще не было...

Едва мы вернулись с работы, как нас стали подгонять:

— Быстро ужинать! И всем в медпункт на комиссовку!

— Что такое комиссовка? — поинтересовалась я.

Объяснили, что приехала врачебная комиссия, будут всех осматривать, больных отправят в лазарет.

В медпункте я застала длиннющий хвост. Увидев приехавших проводить комиссовку врачей, подумала: «Есть еще на свете такие лица? Надо же!»

Когда подошла моя очередь, Петр Поликарпович указал врачам на меня:

— Я вам о ней говорил.

Улыбчивый, со светлыми глазами на привлекательном, подвижном лице врач повернулся в мою сторону:

— Пройдите за ширму. Разбинтуйте ноги. Разденьтесь.

Бросив на секунду выслушивать меня, спросил:

— В формуляре написано, что вы учились в институте иностранных языков, а потом в медицинском?

Спросил, знаю ли я английский язык. Умею ли говорить? Я от волнения смогла вспомнить только одно английское слов «a little» — немного.

— Цинга! Госпитализация! — заключил после осмотра врач.

Прикрыв глаза, довольный Петр Поликарпович ободряюще кивнул мне головой. И казалось, что происходит нечто справедливое, хорошее, но будто в театре, и я — бесправный статист в спектакле. Госпитализация? Неужели это означает, что меня положат в больницу? Даже мысль об этом казалась неправдоподобной.

После комиссовки на колонне все угомонилось. Подошло мое время заступать на пожарное дежурство. Сделав один круг по зоне, я поравнялась с медпунктом, когда там скрипнула дверь и двое приезжих врачей вышли на крыльцо. Один из них закурил, другой запел: «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...» Прислонившись к углу соседнего барака, я слушала незнакомому тогда песню и... плакала. Один из врачей сошел с крыльца и направился прямо ко мне:

— А я думаю: чей это платок белеет? Разве вам разрешено так поздно ходить по зоне?

— Я не хожу. Я дежурю.

— Как дежурите? Вам надо лежать. Вы тяжело больны.

Комиссовавший меня врач неожиданно взял мои руки и, наклонившись, поцеловал их. Господи Иисусе! Мир перевернулся! Что

это? Вольный человек целует мне руки? Я совсем одичала. Я в самом деле давно уже не знала, кто я... какая... зачем?

— Доктор П. хотел вас забрать к себе в лазарет. А я вас не отдал ему. Переедете в Урдуму. У нас есть электрический свет, есть книги. Подлечим вас, и все у вас будет хорошо, — не то говорил, не то гипнотизировал меня похожими на небылицы представлениями доктор.

Как могло произойти, чтобы врач, которого я несколько часов назад совсем не знала, говорил мне такие человеческие, такие сами по себе целительные слова? Но потому, что говорил их вольный человек, это не столько радовало, сколько ранило и оглушало. Я опиралась рукой о стену барака, боясь лишиться чувств от волнения, от явившихся вдруг надежд.

Врачи на следующий день уехали, и жизнь на колонне пошла своим чередом.

— Как фамилия этого доктора? — спросила я Петра Поликарповича.

— Того, кто вас комиссовал? Бахарев! Все, все! Считайте, что вы уже в лазарете, — заверял меня довольный ходом дела Петр Поликарпович.

Надежда попасть в лазарет, вырваться отсюда стала буквально сводить с ума. Хотелось знать, дождусь ли я отправки, дотяну ли до нее. Одни говорили: придется ждать неделю, другие — две, три, а то и месяц.

Я чего-то очень испугалась, когда ко мне вдруг подошел экономист колонны. Он был из крымских татар, сидевших по 58-й статье.

— Хочу с вами поговорить. Вы меня знаете? — спросил он. — Меня зовут Рашид.

Весь обслуживающий персонал колонны был для меня на одно лицо. Видела, наверное, но не знала.

То, что он начал «излагать», показалось в тот момент изуверским нападением на едва забрезжившую веру в то, что судьба наконец сжалится надо мной. Он сказал, что в списках на этап в лазарет видел мою фамилию, что ему понятно: для меня это единственный выход, но... но он все равно не хочет, чтобы я туда ехала; что давно хотел мне чем-нибудь помочь, но Васильев на колонне — сила; что я даже представить себе не могу, сколько потребовалось хитрости от него и доктора Петра Поликарповича, чтобы перевести меня с лесоповала в огородную бригаду; что я ему нравлюсь, потому что я — чистый человек, а они, татары, это ценят; что он не говорил мне этого, поскольку боялся, что я приму его за второго Васильева, а сейчас торопится остеречь меня: ехать к Бахареву в лазарет я не должна.

— Этот доктор не оставит вас в покое. Он — бабник!

Взыскующий за все внутренний переводчик выбрал и перевел главное: «Чудес на свете не бывает. Слышала? Ты предупреждена. Ты знаешь». Но Боже мой, зачем мне это знать? Чтобы пойти и сказать: вычеркните меня из списка! Я отказываюсь ехать в лазарет! Добровольно остаюсь на «Светике»?

В Беловодске Бенюш корил меня за «безропотную стойкость», как он называл это. Но вот сейчас, осознав собственную неспособность к «борьбе за существование», на краю буквальной гибели, на границе, где жизнь и смерть были друг к другу впритык, мой «рпот» выразился в желании во что бы то ни стало вырваться оттуда, где осуществлялось обещание «сгноить»! Это «вырваться» было позывными воли к жизни. Как раз сюда этот человек нанес свой неожиданный удар. И я отвернулась от него.

Не просто было подойти к Петру Поликарповичу и спросить:

— А что собой представляет доктор Бахарев?

— Какое это имеет значение? Вы отдаете себе отчет, какой конец вас ожидает здесь? — сердито ответил он.

— Но все-таки, что он за человек?

— Ну, я знаю, знаю, о чем вы спрашиваете. Да, говорят, он любит женщин. Но я ему все объяснил про вас. Он не посмеет с вами вести себя неподобающим образом. Вам надо срочно выбираться отсюда. Вы уже инвалид!

Как жадно я схватилась за довод: инвалид? Действительно, с чего я взяла, что могу оказаться предметом его поползновений? Какой я вообще «предмет»? С чего это пришло на ум тому экономисту и теперь мне? Такая доходяга! Только вырваться, только убраться отсюда...

«Господи, что со мной будет?» — замирала я, слушая, как вошедший через несколько дней в барак нарядчик зачитывал фамилии назначенных в лазаретный этап.

Меня в списке не оказалось.

А разве я не знала, что будет именно так? Знала! Просто боялась думать об этом. Ведь Васильев еще не довел дело до конца! Он — доведет!

Попрошавшись с Тamarой Тимофеечевой, которую увозили в лазарет, я потащила к вахте. Присела на бревна. С убийственно хозяйским спокойствием Васильев провожал уходящих за зону людей. Этап ушел. Я осталась сидеть на бревнах. Ветер ударял в спину, подбираясь под воротник гнилой телогрейки, утаскивал то малое тепло, что было накоплено под нею.

Завтра тот же портяночный дух, пожарное дежурство, черная пропасть сна, похожего на смерть, и само дыхание этой смерти.

Хоронясь и прячась, Петр Поликарпович упрашивал кого-то из вольных позвонить в отделение, узнать, возможно ли что-то поправить. Позже он рассказал, что доктор Бахарев предпринял еще одну попытку выволочь меня отсюда, будто бы в связи с этим зачем-то порвал мой формуляр и у него из-за этого неприятности. Все это плохо задерживалось в памяти, поскольку в какое-то «еще» и «опять» верить было наивно и глупо.

Мое присутствие в жизни ничем не было засвидетельствовано. Разве только фамилией в лагерных списках и сочувствием двух-трех людей.

Что-то еще фиксирующей частью сознания я тем более была поражена, когда спустя пару недель за мной, совсем уже потухшей, прибежали в барак.

— Быстро! Скорей с вещами на вахту!

— Клятву нашу помню! Но если не увидимся, никогда тебя не забуду! — сумела я сказать Наташе.

— Молодец Бахарев! Какой молодец! — восхищенно повторял и повторял Петр Поликарпович.

Как талантливо надо было уметь жалеть внутри самой этой жизни умирающего человека, чтобы приложить столько сил для моего спасения, сколько их потратил Петр Поликарпович.

«Это все вы сделали, дорогой Петр Поликарпович, все вы!» — хотела я поблагодарить доктора, но у меня на это не хватило сил.

— Мы еще встретимся и, увидите, будем вспоминать все это, как гнусный и скверный анекдот, — сказал он как-то.

Лагерь и колонна «Светик» посрамили его оптимизм. Мы не увиделись! Не дождавшись освобождения, на той же проклятой колонне умер хороший человек — доктор Петр Поликарпович Широчинский.

Я еще оглядывалась: вдруг откуда-то вынырнет Васильев и крикнет: «Назад!» Но вот дверь вахты с силой шваркнула и бревенчатый частокол скрыл от меня оставшихся в зоне.

Доктор Бахарев, умудрившийся сверхмыслимым образом выслать за мной специального конвоира, представлялся мне теперь магом и чародеем.

Конвоир попался веселый. За то, что я едва передвигала ноги, прозвал меня «старушенцией», торопил, чтобы успеть к проходящему поезду. При нашем появлении пассажиры плацкартного вагона насторожились. А когда одна из женщин обратилась к конвоиру: «А можно ли ее чайком угостить?» — и тот ответил: «Можно, мать, можно», в этой людской тесноте я со всей полнотой ощутила беспредельность российского сумбура и сердобольности.

Вдоль железной дороги от станции Урдома до колонны мы прошли чуть больше километра. Сама колонна располагалась на пригорке и потому была почти вся на виду. Во всяком случае, по высившимся поверх забора крышам можно было составить представление о количестве лагерных построек.

Конвоир довел меня до вахты и «сдал». Я уже собиралась войти в зону, но оттуда стремительными шагами вышла женщина. Во взгляде были дежурная подозрительность и какое-то заведомое недружелюбие. Черными глазами она буквально ожгла меня.

Конвоир и дежурный переглянулись, и мое радужное настроение улетучилось. Проученная «покупочным» осмотром вольных окололагерных женщин, я уже знала, чем это бывает чревато.

Колонна выглядела чистенько. От одного корпуса к другому вели аккуратные дорожки. Мне указали дорогу к бане. За несколько

минут до нашего прихода в эсну пропустили небольшой этап. «Хвост» его был ориентиром.

В предбанном помещении с прибывшими разбирался молодой красивый доктор — Евгений Львович Петцгольд. Сюда же буквально через несколько минут заскочил главный врач урдомского лазарета Бахарев.

Оглядев поступивших больных, он вскользь бросил мне:

— А-а, приехали, наконец?

Быстро расшвыряв формуляры на стопки, он распорядился, кого куда отправить. Я попала в группу хирургических больных.

В шестиместной палате стояла свободная кровать. Подушка, одеяло и комплект белья не то что изумили, а даже озадачили. В переходе от безобразного к более или менее нормальному есть что-то безысходно горестное и обидное.

Полтора года существовала в бараках при коптилке. А тут вечером и в самом деле зажглась электрическая лампочка.

Отвернувшись к стене, не шевелясь, я лежала в чистой постели почти без мыслей. Когда в палату открывали дверь, все еще пугалась — вдруг за мной: «Это еще что? Марш на «Светик»!

Мне предписали постельный режим. Поднималась я только на перевязки и в столовую. Лишь очутившись на больничной койке, я сама поняла, как тяжело больна. На «Светике» было не до того, чтобы рассмотреть свои раны. Здесь во время перевязок я увидела, что ноги изъязвлены до самой кости. Десны были распухшими, язык — толстым, постоянно мучил внутренний холод.

Прошло немало времени, прежде чем я смогла что-то понять, если и не про лазарет в целом, то хотя бы про корпус-барак, в котором лежала. К нему была пристроена операционная. Для вольнонаемных имелось родильное отделение. В самом лазаретном бараке было десять палат, до отказа заполненных больными с переломами, увечьями, флегмонами и прочими болезнями.

Столовая и кухня находились тут же, в бараке. Пищу готовили две добросовестные чистюли, неслышные в движениях монашки: Нюра и Саша. Не помню, как называлась статья, по которой они имели десятилетний срок. Но вот уж чье деятельное начало само по себе врачевало!

В хирургическом корпусе оперировали не только в назначенные для этого дни, бывало — и ночью. Кого-то выписывали и отправляли снова на рабочие колонны, принимали новых больных партиями и отдельно, кого-то выносили в морг, расположенный в углу зоны. Захоронением называлось сбрасывание в общие ямы за зоной в лесу.

Постепенно я перезнакомилась со всеми, кто лежал рядом. Самая общительная, назвавшаяся тетей Полей, сидела за спекуляцию. Проницательная, сметливая, выдавшая виды тетя Поля была добродушной. Героем дня ее делало то, что через пару недель заканчивался ее срок и она выходила на волю.

На следующее же утро после прибытия в Урдуму в палату зашла та чернявая женщина, которая «пригвоздила» у вахты взглядом.

— Кто это? — спросила я в палате.

— Старшая операционная сестра корпуса. Ее теперь величают Верой Петровной, а была просто Верка, — охотно разъяснила тетя Поля. — Я с ними обоими сидела в Коряжме.

— С кем— с обоими?

— Дак ведь она лагерная жена главврача.

«Слава Богу», — подумала я и спросила:

— А разве доктор Бахарев тоже был заключенным?

— Был. А как же? И он с тридцать седьмого года отрубил что положено.

— По какой статье?

— Он за что-то политическое, — просветила тетя Поля, — а она бытовичка, работала кассиршей в магазине. За растрату и посадили. В лагере они и сошлись. Он раньше освободился. Теперь и она сюда приехала. Она баба деловая, но больно ревнивая.

Действительно, отличавшаяся целеустремленной энергией Вера Петровна была в корпусе полновластной хозяйкой. В нашей и соседних палатах ей шили, вязали. То и дело ее приглашали: примерить халатик, приладить кофту, спросить, надо ли вывязывать на рукавицах узор, и т. д. За все это мастериц дольше задерживали в лазарете. В зону и домой она вечно шла нагруженная сумками. Обед ей готовили на колонне те же монашки. Их же выпускали за зону убирать ей жилье, мыть полы, стирать.

Второй медсестрой в корпусе была большеногая, некрасивая Броня, имевшая срок по 58-й статье. Она подобострастно, приторно-елейным тоном разговаривала с доктором, с Верой Петровной, свысока и надменно — с остальными. Квалифицированная, аккуратная, она как хороший чиновник выполняла в корпусе подсобную работу.

Врачебные обходы совершались каждое утро. Иногда в палату заходили врач и сестра. Порой несколько врачей сразу. Рассказывали, что среди них есть и «кремлевские», называли их фамилии.

Урдомским лазаретом управляли двое начальников. Один, как и положено, представлял военизированную охрану НКВД; другим, подлинным распорядителем всей жизни колонны, был главврач. Оба начальника, похоже, ладили между собой.

По мнению окружающих, Бахарев как хирург и гинеколог был профессионален, талантлив, ответствен как администратор. Под его контролем находилось буквально все. Ни одна мелочь не оставалась им не замеченной. Он успевал задать больному вопрос, нажать на инстанции, да так, что лазарету выделялось и нужное оборудование, и дефицитные лекарства. По всему было видно, что он сумел здесь подчинить своей власти лагерный хаос и неразбериху. Главврач выглядел жизнерадостным и уверенным в себе человеком. Казалось, лагерные возможности непонятно как, но приведены им во внутреннее соответствие с его планами и реальными желаниями.

Лечение и лазаретная обстановка постепенно ставили меня на ноги. До полного выздоровления было не близко, но я уже бродила по корпусу.

К общению с людьми не тянуло. Я пребывала в привычной для себя прострации. Подобное обособление выполняло защитные функции, оберегая все кровоточащее. Самопогашенность была нормой.

Когда не забывший своего обещания доктор спросил: «Принести что-нибудь почитать?» — я неожиданно для себя ответила:

— Не надо пока. Спасибо.

Книги? Не готова была и к этому.

Доктор, однако, не оставлял меня в покое. В его почти терроризирующем внимании было такое множество взаимоисключающих оттенков, что каждое его обращение ставило в тупик. Иногда, стоя в коридоре и выслушивая кого-нибудь из больных, он распахивал дверь в нашу палату и, продолжая разговор, то и дело поворачивал голову в мою сторону, давая понять, что главное для него — оглядка сюда.

Тон его мог мгновенно измениться, стать чуть ли не приказным, когда он давал распоряжение:

— Пройдите в дежурку, помогите сестре Броне скатать постиранные бинты.

Или:

— Латынь знаете? Тогда помогите Вере Петровне обновить этикетки на бутылках с лекарствами. У нее много других обязанностей.

Старшая сестра при этом поджимала губы и сухо бросала:

— Раз велено — делайте.

Мои ненавязчивые попытки достичь в общении с ней терпимого тона отвергались ею на корню. Она не могла умерить бурной, спонтанно возникшей неприязни ко мне и всячески ее подчеркивала. Доктор делал вид, что не замечает этого.

— Пусть Тамара Владиславовна разберет истории болезни, — выговаривал он ей. — Покажи ей, как это делается.

Болезненно перенося ее явную антипатию, я обрадовалась, когда однажды Вера Петровна сама обратилась ко мне:

— Сможете ходить в аптеку получать лекарства?

Накинув на больничный халат телогрейку, я была готова пойти сейчас же.

Дверь аптеки, размещавшейся в пристройке с другой стороны корпуса, открыл горбоносый человек с веселыми глазами и представился:

— Абрам Матвеевич.

Узнав, что я пришла за лекарствами от Веры Петровны, он даже присвистнул:

— Ну, ну, заходите! Это не-без-ын-те-ресно..

Мой приход нарушил беседу небольшой компании, сидевшей в маленькой приапточной комнатке.

— Давайте знакомиться, — сказали мне. — Присаживайтесь.

— Лена, медсестра из третьего корпуса, — назвалась привлекательная молодая женщина в белом халате.

Двое мужчин привстали. Один показался суховатым и хмурым. Реплики другого выдавали пошловатость и недостаток ума.

— Как вы расцениваете это нововведение? — не оставлял какой-то своей темы Абрам Матвеевич. — Наша Вера, никому ранее

не доверявшая сию акцию, вдруг присылает нового человека. Ну? Значит, не только хитра, но и умишко имеется.

— Пожалуйста, дайте, что выписано для корпуса. Там ждут, — пыталась я выйти из положения.

— Да садитесь, садитесь, — меланхолично вмешалась Лена, — вас ведь сюда для того и прислали, чтобы вы подольше побыли в нашей компании: авось, кто-то из наших друзей начнет за вами ухаживать и опередит Филиппа.

Справившись с десятком различных чувств, я поняла, что столь своеобразным способом приглашена к доверительной дружбе.

Не в добрый час, однако, постучалась я в аптеку. В определении тактических соображений Веры Петровны Лена оказалась точна. Несмотря на мои просьбы не приходить, один из сидевших тогда в аптеке, Семен Николаевич, стал навещать меня в корпусе. Вера Петровна всячески поощряла его участвовавшие визиты. Человек с наголо обритой головой, в поношенном военном френче, служивший ранее в ОГПУ, а затем в НКВД, пугал меня. Его привычка пристально глядеть тяготила.

— Вы, похоже, относитесь ко мне, как к чуме. Разве я не прав! Но я ведь к вам как к духовнику прихожу. Не прогоняйте! Мне надо исповедаться вам. Вы должны меня выслушать! Худо мне, — почти вымалывал Семен Николаевич. И на рассказы не скупился.

— Что? Страшно? — спрашивал после очередной истории.

— Страшно! — соглашалась я. — Видите, я плохой утешитель.

— Не надо мне утешений. А если отвернетесь от меня, пропаду вовсе, — объявил он как-то и тут же приступил к очередной исповеди.

— В начале тридцатых годов было. Нас мобилизовали на изыскание золота. Слышали о таком? Мы их вылавливали десятками, сотнями. Пол в помещении, куда загоняли арестованных, был обшит железом. Дверь задраивали. Начинали их подогревать с боков и снизу. Будь здоров какую нагоняли температуру. Вот тут-то и начинались «танцы». Кричали, вопили, сразу вспоминали, куда и сколько попрыгано, наперегонки рассказывали. Были, конечно, и невиновные. Однажды пришел, знаете, домой усталый, измученный, а жена в слезах: «Умоляю, прошу тебя, Сеня, разреши поговорить с тобой жене одного из задержанных». Та тут же из комнаты выскочила и — бах передо мной на колени, ловит, как мне руки поцеловать. Так я, знаете, так шуганул их обеих! Жену собственную выгнал...

Легко было представить себе, как этот службист, не отличавший принципиальности от садизма, замучивал людей. Пересказывая всю подноготную, гравировав «историческое» безобразие полномочием НКВД, он только теперь пытался что-то понять про то, что творил. А мне некоей сверхсилой было велено всматриваться в жизнь, какой она являлась, и не сметь отгораживаться от нее своим «не могу, не хочу слушать».

Выздоровевший после длительного лечения, Семен Николаевич, узнав, что назначен на этап, просил, чтобы его не отправляли,

буйствовал, сопротивлялся. Когда этапиремых погрузили в вагоны, он вскрыл себе вены. Его спасли, вернули в лазарет. Я про себя обрадовалась, когда наткнувшийся на него доктор вдруг расвирипел:

— У вас тут кто? Родственники? Чтоб я вас в хирургическом корпусе больше не видел!

Когда-то они сидели вместе на одной из колонн, были в приятельских отношениях, обращались друг к другу на «ты». И неожиданно такая вспышка.

Прощаясь перед выходом на волю, тетя Поля поднесла мне свой некрашенный дощатый чемодан:

— Это тебе на память. Чтоб не забывала тетю Полю!

— Не надо мне, тетя Поля, спасибо. Мне и положить-то в него нечего.

— А ты не забижай меня. Тебе вон еще сколько годов сидеть. Будет что положить. Я от сердца тебе дарю. Жалею я тебя.

Широколицая, ширококостная, грубоватая женщина глянула остро, пронзительно, показалась вдруг мудрее умного, и сердце сжалось от ее, казалось бы, немудрящих слов.

— Влюбился ведь в тебя наш доктор. Ты берегись. Не очень ему верь, но дело твое сурьезнос.

В крошечном закуточке корпуса, где разрешалось раскуривать сигарки, «ходячие» больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, делились обстоятельствами дел, за которые был вынесен приговор. Здесь правда была едва отличима от легенд о собственном прошлом. Оно предстало в преувеличенной великолепии. В глазах при этом была заганность и тоска. Тут же прогнозировалось будущее и разгадывали сны.

Сном, приснившимся мне, делиться ни с кем не хотелось: я находилась на невообразимой, нечеловеческой высоте. Внизу текли реки, раскраивая на разной формы угольники землю; обозначались горы, хребты, угадывалась жизнь раскинувшегося во всю ширь города. На этой сумасшедшей высоте был установлен каркас гигантского моста, перекинувшегося через это неохватное пространство. Я непременно должна была перебраться на другую его сторону. Шаг за шагом передвигалась по металлическим краям фермы, держась за что-то похожее на перила. И вдруг, когда уже более половины было преодолено, очутилась перед обрывом. Два или три фрагмента моста отсутствовали. Ступать больше было некуда, держаться за перила одними руками — нет сил. Сейчас сорвусь, полечу вниз... И — все исчезло. И чувства все и ситуация пропали. Но вдруг неожиданно я осознала себя на другом, реально недосыгаемом конце моста.

Сон был необычно захватывающим и живым. Удивление от него так никогда и не прошло. Что за тайна крылась в той паузе, когда даже подсознание было отключено? Впрочем, в какой-то части смысл приснившегося чуда был равен факту реальной жизни. Вопреки

аресту. среднеазиатским лагерям. «Светику» жизнь не оборвалась. Что за непостижимая сила творила мою Судьбу? Какой ангел-хранитель оберегал?

Самым конкретным и четким желанием тех дней было одно: чтобы моя искренняя благодарность Филиппу Яковлевичу Бахареву, упование на его порядочность нравственно обязали его, в корне поломали бы характер настойчивого интереса ко мне. Это сокровенное желание было порождено не инфантильностью. Я была остро и тяжело больна, находилась в иной плоскости существования. Не появлялось даже потребности восстановить и собрать себя воедино. Мне могли помочь лишь время и тишина. Но агрессивный дух лагерного быта, как и напористые свойства характера врача, имел собственные циклы и свою практику.

В дежурство Брони, в неурочное время, меня вызвали на осмотр. В дежурке находился только Бахарев.

— Как чувствуете себя? Жалобы есть? Пройдите за ширму. Я вас послушаю.

«Выписывают? Или что-то хуже?» — сжал меня неотступный, постоянно дежуривший страх.

То, что хуже...

Врач возжелал платы за то, что больная была признана им больной, за ухлопанные усилия для того, чтобы вырвать ее со «Светика».

Все помертвело до бесчувствия. И воля, и силы покинули меня... Сидя на медицинском топчане после ухода врача, пригвожденная убийственным по смыслу и силе чувством, я не могла двинуться с места. Было смертельно худо.

В дежурку вошла Броня. Не глядя на меня, прошла к столу, взглянула, процедила непререкаемо осуждающее: «Да-а!» — так, словно именем всех живущих на свете обязалась уничтожить меня. По щекам у нее скатились две слезы.

«Неужели она пожалела меня?» — дрогнуло внутри. В этом была такая голодная и алчная потребность! Нет! Это относилось не ко мне.

— Как все-таки жестока жизнь! — произнесла она философски. — Я так уважаю Веру Петровну. Мне так ее жалко!

«Действительно жалко!» — согласилась я про себя.

Осуждение посторонней женщины не шло ни в какое сравнение с собственным судом. Ничего не бывает мучительнее того, когда оказываешься меньшим, чем мог ожидать от себя, чем, может быть, и был по сути. До этого мгновения силы жить давали гордость, сознание нравственной состоятельности, а теперь? Лазейки в жизнь через «женское» начало для меня не существовало. Этой стихии я не была тогда подчинена.

Еще до рождения совершается обручение индивидуальной природы человека с «задачей» Судьбы. На характер и целостность этого сложения покушаться нельзя!

Филипп Яковлевич с этим не посчитался.

— В пятой палате лежит тяжелый послеоперационный больной. Возле него надо подежурить. Сможете? — спросил врач на следующий день.

При деле было легче. Трое суток я просидела возле умирающего.

Через пару недель в числе других меня вызвали на комиссовку. Партию выздоравливающих больных отправляли на рабочие колонны. Случалось попадать и туда, откуда привозили в лазарет. Такая перспектива страшила до умопомрачения.

За столом сидели трое врачей.

— Покажите ноги... язык...

— Рановато, пожалуй, выписывать, — заметил один из членов комиссии.

— Выпишем! — перебил его Бахарев.

И не успела я освоить сказанное, как услышала обращенное ко мне:

— Оставляем вас работать в хирургическом отделении лазарета! Жить перейдете в барак медсестер.

Решение врача было столь неожиданным, что показалось оговоркой. Я буду работать в лазарете как медсестра? Но?.. А-а! Вот оно как!

И двусмысленность бывает на мгновение трепетной... Я не знала, как смогу этот трепет-озноб приручить и обойтись с ним.

Курс медицинского института меня, естественно, ничем практически не вооружил. Учиться пришлось на месте, по ходу дел.

По утрам в лазарете проводились «летучки», на которых докладывалось обо всем, что случалось во время ночных дежурств, о состоянии тяжелобольных. Среди старых, опытных врачей лазарета на кратких совещаниях или в прозекторской я неизменно волновалась. Усердию не было предела. Хотелось ни в чем не оплошать. Я даже все латинские наименования неожиданно вспомнила. И когда могла подсказать забытое кем-то из старших, как называется полтавыни нерв или мускул, переставала чувствовать себя здесь случайной.

Рано утром, накинув на плечи телогрейку, я перебежала в лечебный корпус (барак, то есть) и оставалась там допоздна. Работы невпроворот: раздача лекарств, перевязки, выполнение других врачебных назначений, кормежка. Нагрузки каруселью сменяли одна другую. Рука у меня, как говорили, оказалась легкой. Я радовалась охоте, с которой больные шли ко мне на перевязку, дорожила просьбами посидеть в палате, разобраться в письмах.

В соседнем с медицинским общежитием отсеке барака жили счетные работники колонны. Преимущественно это были женщины, сидевшие с тридцать седьмого года. Ко мне они отнеслись более чем дружелюбно, хотя я для них была делегатом другого лагерного набора и поколения, не прошедшего их кошмара. О поре тридцать седьмого года они рассказывали нечасто. Но если уж кто-то начинал

ворошить прошлое, репликами, добавлениями участвовали и остальные.

Наш этап пришел уже на отстроенные ими колонны. Этих людей принимала нетронутая, дикая тайга. Железной дороги не было. К месту назначения их гнали пешим ходом. На сосне прибывалась дощечка с номером запланированной колонны, и заключенные начинали ее отстраивать для себя. Пилили лес, рубили, строгали. Себе сооружали временки, охране — более основательное жилье и вышки, рыли колодцы, питали собой тучи moskitov и комаров и здесь же хоронили не вынесших надругательства людей. Первыми гибли те, кто до тридцать седьмого года сидел над научными трудами, кто был «мозгом» своей страны и не умел держать топор или пилу: гибли от болезней, грязи и холода, от непосильной работы.

От этих рассказов нередко волосы вставали дыбом. Выслушивая все это от конкретных людей, я этот ужас помещала в историю государства, в котором существовала, в реальную жизнь самого человека и свою.

Как они это вынесли? Как уцелели? Что это за люди?

Меня притягивала к этим женщинам атмосфера общности и мудрости их отношений, но беседы и здесь почитались роскошью. Едва человек заканчивал работу, как тут же устремлялся в барак к своему месту. Надо было написать письмо, выпить чашку «холостого» чая, покопаться в своем крохотном хозяйстве.

Своих собратьев, попавших в службу, работяги-заключенные называли «придурками». В это прозвище-кличку вкладывалась досада за собственную участь. Между тем «придурки» не придуривались, а работали на своих местах не за страх, а за совесть. Экономисты, плановики, работники бухгалтерии были из заключенных. На откупе их разумения находилось все лагерное производство, в том числе хозяйство этой лазаретной колонны.

Часто дело решал даже не профессионализм, а просто разносторонняя одаренность иного человека. На узкую специальность переквалифицировались журналисты, инженеры, педагоги.

Всеобщей симпатией на колонне пользовался шестидесятилетний Матвей Ильич, о котором говорили: «кремлевский работник». Чем он занимался в прошлом, я не интересовалась. На колонне же он ведал продстолом, иначе говоря, занимался снабжением и распределением продовольствия и среди заключенных, и среди вольнонаемных. Впервые услышанное слово «пересидчик» связано именно с ним. В лагере таковых было много.

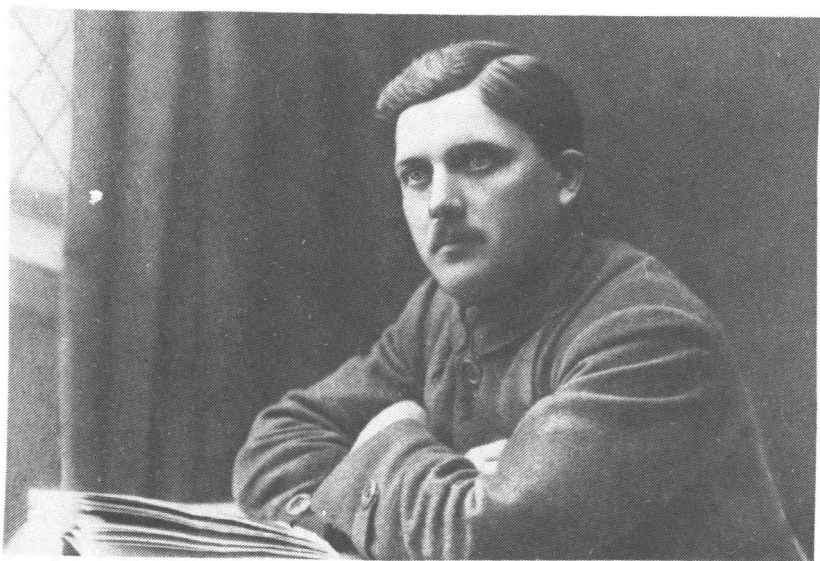
Суть дела заключалась в том, что официальный срок, означенный в приговоре, заканчивался, но человека не освобождали. В деле появлялась приписка: «До особого распоряжения». Без дополнительного суда и срока «пересидчика» продолжали держать в лагере на положении заключенного без поблажек, без скидок. Таким «пересидчиком» и был Матвей Ильич. Этому жизнелюбивому, с ярко-голубыми глазами человеку я обязана очень многим.

Позже он рассказал, что жена умерла сразу же после его ареста. Сына на воспитание взяли дальние родственники, по-своему пони-

Мама Ефросинья
Федоровна Мочаловская.



Отец Владислав
Иосифович Петкевич.





Семья Петкевич: мама, отец, Тамара, бабушка Урсула с маленькой Валечкой.

Тамара в школьные годы.

Нина Альбертовна Изенберг.



В этом доме на наб. Карповки, 30, семья Петкевич жила с 1920 по 1930 г.



Отец, мать, сестры: Тамара, Рената, Валя.





В день окончания 10-го класса школы № 4.



Сестра Реночка.



Платон Романович Зубрицкий.

Семен Владимирович Ерухимович.



Княж-Погостский дом культуры.



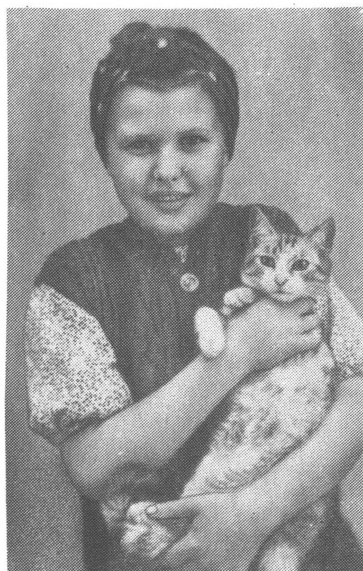
Ольга Петровна Улицкая.



Режиссер ТЭК Александр Осипович
Гавронский до ареста.

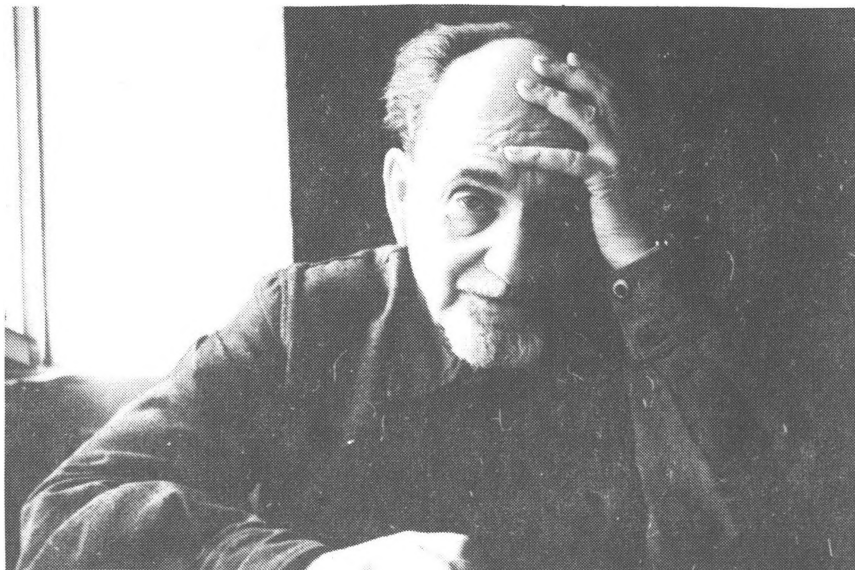
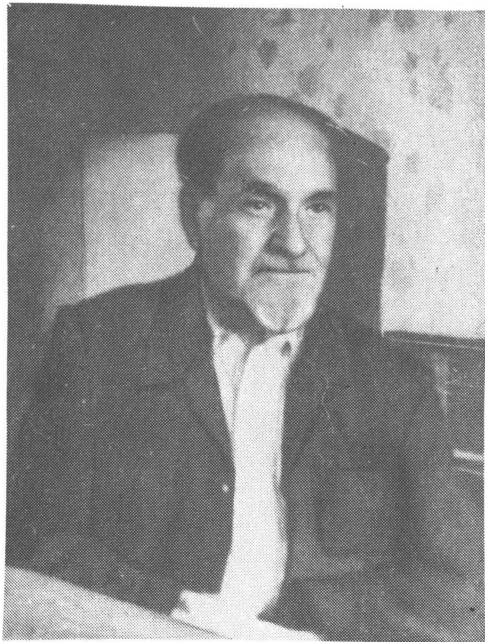


Ванда Георгиевна Разумовская.



Дочь В. Г. Разумовской — Кира.

А. О. Гавронский после освобождения из лагеря.



А. О. Гавронский в ссылке в Веселом Куте. Последние годы жизни.



Могилы О. П. Улицкой и А. О. Гавронского в Кишиневе.

Т. Г. Цулукидзе с сыном Сандро после освобождения из лагеря.

Тамара Григорьевна Цулукидзе с мужем Александром Васильевичем Ахметели. Тбилиси.

Т. Г. Цулукидзе. Последние годы жизни.





Муж сестры Аркадий Михайлович
Кузнецов.



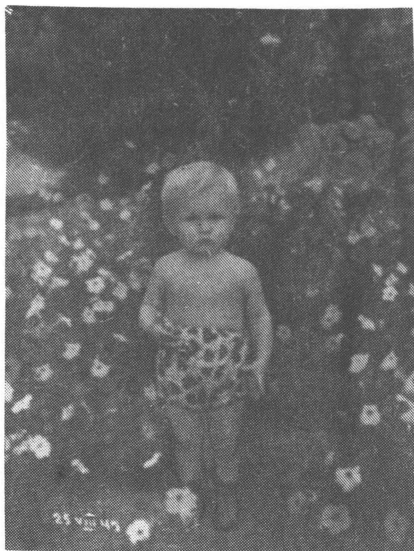
Сестра Валентина. Конец 40-х
годов.



Ольга Петровна Тарасова.



Елена Густавовна Фришер
после освобождения из лагеря.



Сын Тамары Владиславовны.



Межог. Коми АССР.



Николай Данилович Теслик.



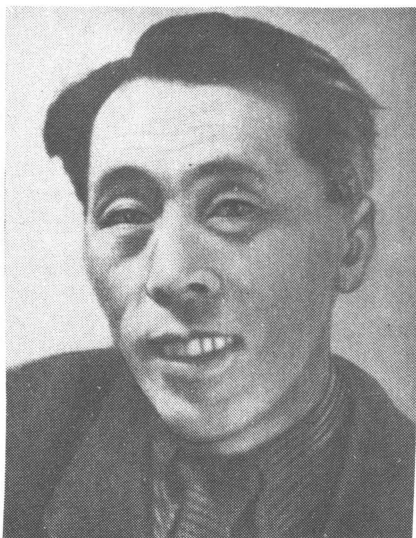
Мать Н. Д. Теслика — Дарья
Васильевна



Т. В. Петкевич после освобождения
из лагеря.



Дмитрий Фемистоклевич
Караяниди.



Цю Дзиньшань.



Т. В. Петкевич. 1952 г.

Т. В. Петкевич в роли Зои.
Спектакль «Свадебное
путешествие» В. Дыховичного.



Т. В. Петкевич в роли Веры.
Спектакль «Обрыв»
И. С. Гончарова.

Т. В. Петкевич в роли Елены.
Спектакль «Дети
солнца» М. Горького.



Спектакль «Женитьба
Белугина» А. Н. Островского
и Н. Я. Соловьева. В роли
Елены — Т. В. Петкевич.





Т. В. Петкевич. 50-е годы.

мавшие происходящее: раз арестовали, значит, «враг народа, ну а дите, конечно, ни при чем». Закончив институт, сын получил диплом инженера-химика и мечтал остаться в Москве. Даром такое не предоставлялось. От него потребовали оформить «отказ» от отца.

Для Матвея Ильича все сошло воедино. Его вызвали во второй отдел, разом ознакомили и с отказом сына, и с постановлением «не освобождать до особого распоряжения».

Едва я начала работать в хирургическом отделении, как однажды под вечер он зашел туда.

— Не мог отказать себе в удовольствии прийти и познакомиться с той, которую здесь так тщательно прячут.

Я игривый тон не подхватила. Возникла некоторая неловкость. И как раз в этот момент мы оба услышали голос вошедшего в корпус Филиппа Яковлевича. На лице гостя обозначился самый неподдельный испуг. Он по-мальчишески беспомощно метнулся и... спрятался за дверь. А у меня при внезапном появлении главврача всегда «отлиwała кровь» от сердца. по выражению свидетелей, я становилась «белая как стена». Ни один человек в жизни ни до, ни после такой реакции во мне не вызывал.

Когда доктор, взяв то, за чем забегал, удалился, Матвей Ильич вышел из своей засады. В считанные секунды мы многое узнали друг о друге. И тут оба рассмеялись.

— Здорово его боитесь? — спросил мой гость.

— Нет! — попыталась я отстоять себя.

Матвей Ильич не стал меня изобличать.

— Ну а я, выходит, испугался! Не конфуз ли для старого дурака?

В лице Матвея Ильича я на все времена обрела необычайно верного заступника.

— Зайдите в каптерку, — сказал он как-то, — там вам бурочки шьются. Надо примерить.

Даже дыхание перехватило: «Как это посторонний человек подумал о том, чтобы я ходила с сухими ногами?» Я давно привыкла к дырявым «баллонам», с покорностью, перешедшей в бесчувствие, принимала мокрое, холодное и голодное.

После долгих отнекиваний примерила бурки, простроченные голенища которых были скроены из кусков старых одеял. Носила их, благословляя Матвея Ильича потеплевшим сердцем.

Сам ты еще не очень разобрался, кто и что ты есть, а у человечества припасены души, именно на этих первых порах готовые помочь со всей безоглядностью. Тем они и подсказывают, каким тебе положено стать, дабы соответствовать Божьему промыслу.

Не раз во время пребывания на Урдомской колонне Матвей Ильич подкидывал и хлебную надбавку. Как будто невзначай, с проказливо-виноватой улыбкой протянул однажды сверток со сливочным маслом. Я от такого подарка «сбежала». Он вручил его Броне.

— В рационе эков масла нет. А вохровцы обойдутся без этой порции, — пытался он отвести от смущающих мыслей.

Броня уже давно сменила свое верноподданство Вере Петровне на преданность мне. Мы с ней руками отламывали кусочки масла и буквально заглывали его, не переставая изумляться его вкусу.

Страх перед Филиппом Яковлевичем не уходил, мешал рассказать о клятве, которой мы обменялись втроем на «Светике». Тамару Тимофеечу отправили в лазарет еще при мне. Что было с Наташей, я не знала. Тяготами долга по этому поводу я поделилась с Матвеем Ильичом. И уже он просил доктора выручить Наташу. Филипп Яковлевич высказал слова досады за недоверие ему. Разузнал. Наташа находилась на одной из колонн этого же отделения, была хорошо устроена и предложение перевести ее сюда отклонила — «до худших времен». Мы с ней встретились позже.

Дружба же с Матвеем Ильичом не прерывалась и тогда, когда мое местопребывание изменилось. Мы переписывались. В одном из писем он поделился: встретил хорошую женщину, привязался к ней, был счастлив. Недолго... Освобождения из лагеря Матвей Ильич, как и доктор Широчинский, не дождался. Умер на Урдомской колонне.

Женщина, о которой он писал, оказалась действительно славной. Она похоронила Матвея Ильича возле колонны на высоком холме. Когда бы я потом ни проезжала эти места — днем ли, ночью ли, — как на пост подходила к вагонному окну, пытаюсь разглядеть крест и могилу внимательного человека.

Наступила зима. Легкий и сухой, прокаленный где-то в вышине стужей снежок сменили сырые пышные хлопья. Снег все падал и падал, будто возымел намерение засыпать и лагерные постройки, и все живое. Утром, чтобы вернуть обозначение дорожкам, ведущим от барака к бараку, работали все скопом. Сугробы образовывались выше человеческого роста. Снежные коридоры перекрывали вид колючих заграждений, в них уютно глохли людские голоса.

Было ясное солнечное утро. Выйдя с летучки, доктор Петцгольд бросил в меня тугим комком снега, я — в Лену, с которой подружилась после знакомства в аптеке, затем все вместе — в медбрата из шестого корпуса Симона.

Вышедшему за нами Филиппу Яковлевичу как вольнонаемному начальнику принять участие в общем бое снежками было не к лицу. Он остановился и взглядом, полыхавшим от возмущения, повелел мне немедленно прекратить игру.

Оживление в этих случаях исчезало. Я постоянно спотыкалась о свое душевное неблагополучие. В отношении Филиппа Яковлевича ко мне, правда, многое изменилось. Почувствовав мое внутреннее сопротивление, он, желая вернуть доверие, держался ровно, даже обходительно. Но взгляд его и при этом неизменно выражал некую сверхнаполненность чувств, едва ли не обожание. Все это походило на осаду и держало в напряжении. Перенасыщенная атмосфера сковывала.

И все же я в одиночку, про себя, переживала тогда счастье возрождения. Я находилась в нормальной языковой среде. Труд был

человеческим. Голод не томил. Общежитие медсестер всего на восемь коек, белый халат, полученный для работы, достаток воды и кусочек мыла возле умывальника, которым в любую минуту можно было намылить руки, не переставали радовать. Все, что я видела и слышала, воспринималось ярко и сильно. В барачной печи трещали дрова, за окном — мороз. В огне и холоде была жизнь. Никогда ранее я не видела, чтобы сумерки были такими синими, а серые рассветы так затаенно и дразняще обещали день, хлеб и жизнь. Под небольшой горой мимо колонны осиливали дорогу поезда. Их натужные гудки возвещали о том, что они преодолевают пространство. Ощущая себя площадью, снятой внаем Жизнью, где она сама себе была главой и творцом, я не могла поладить со взволнованностью и тоской.

На лазаретной Урдомской колонне завязалось не одно знакомство, перешедшее затем в дружбу, сумевшую выдержать все, что случилось потом.

По вечерам на колонне кто-то играл на скрипке.

— Кто это играет?

— Симон, медбрат из шестого корпуса.

— Он музыкант?

— Нет. Журналист, Москвич. Убеденный холостяк.

— А скрипка откуда?

— Друзья прислали.

Симон был человеком ироническим. Сам про себя говорил: «Знаю, что показательно некрасив, но уж поверьте на слово: неглуп, право», — и в глазах появлялись смешинки.

У него-то, как когда-то у Наташи, и возникла однажды идея «сбить» концерт. Он пришел ко мне во время дежурства.

— Капа Догадаева станцует испанский танец. Я буду играть на скрипке. Павел Иванович — на ложках. Из-за зоны обещали на вечер принести баян, на нем сыграет Сергей. А вы?

— А я ничего не умею.

— Прочтите какую-нибудь басню. Ну, пожалуйста.

После концерта на «Светике» — боялась. Уговоры были долгими.

— Хорошо. Попробую.

Только однажды, в Беловодске, я прочла рассказ Е. Кононенко «Жена». Та женщина из рассказа, бросившаяся к искалеченному мужу, видно, чего-то не докричала во мне. Газетной вырезки с текстом не было. При обыске вохровцы уничтожили ее. Выручила память. Трусилась я перед концертом невероятно.

Вся из взорванных и разлетевшихся в разные стороны частей почувствовала себя на сцене слитой воедино.

Многие плакали. Меня превознесли. Высоко.

— Слушайте, это не шутка. Вы — просто талант!

С Таней Мироненко мы стали друзьями позже, года через четыре после той первой встречи в Урдоме. Но и там ее поддержка не раз выручала.

Худая, смуглая, зеленоглазая, с прямой челкой, Таня казалась мне очень строгой и ни на кого не похожей. Она работала в лаборатории вместе с доктором С. По ее собственному определению, она переживала тогда счастливую пору своей жизни. Ее и доктора С. связывало глубокое чувство и взаимопонимание. Они умно общались с этим достоинством. На людях были сдержанны и официально друг с другом.

Однажды, когда какое-то странное чувство остановило мою руку, в сильнейшем замешательстве я бросилась в лабораторию именно к Тане. Я собиралась закапать больному в глаза назначенные ему капли... и в последнюю секунду отвела пипетку от глаз.

— Таня, не знаю, но мне вдруг показалось, что в этой бутылке не то лекарство, что тут написано, цвет какой-то не тот.

— Не то! — подтвердила она мою догадку, проверив. — Осложнения могли бы быть серьезными.

— Как можно? Ведь... — назвать все своими именами казалось мне просто невыносимым.

— Выходит, можно.

И Таня дала совет:

— Никому ни слова! Особенно ей. Поняли? Скажите Вере Петровне, что нечаянно разбили бутылочку с каплями. Ни словом, ни взглядом не должны выдать, что догадались о подлоге. Хорошо поняли?

Мне казалось: лучше объясниться с Верой Петровной, поговорить. Но замораживала сама мысль о том, что она решила подставить больного несчастьем, лишь бы иметь повод выгнать меня.

— Но...

— Никаких «но»!

Дальновидность совета тогда была «не в пору», но я ему подчинилась.

Вскоре я снова бежала в ту же лабораторию за результатами анализов и среди ожидавших у двери больных внезапно увидела того самого Васильева со «Светика», который олицетворял для меня не только лагерную скверну, но и само негодяйство. Как он здесь очутился? Что ему надо?

Таня тормозила меня: «Что случилось?»

Я объяснила, как могла. Обратное надо было снова идти мимо него. У меня подкашивались ноги.

Таня разузнала: Васильев поступил в лазарет как больной. Сидел в очереди в лабораторию, чтобы сдать анализы, коими было установлено: у него язва и тяжелая форма туберкулеза. На «туберкулезной» колонне через несколько месяцев он и скончался.

Мысли о каком-то своем будущем? Здесь, в лагере? Нет. О таком я не думала. Как и большинство сидевших по 58-й статье, я не верила в то, что вообще когда-нибудь выйду на волю. И все же иногда мелькало нечто похожее на панику: я — никто. Никакой профессии никогда уже не будет. Именно поэтому объявленное главврачом на очередной летучке расписание поразило.

— Завтра плановая операция. Будете на ней присутствовать, — обратился он ко мне. — Вам надо учиться. Постарайтесь внимательно смотреть, как Вера Петровна будет подавать инструменты.

Я была по-настоящему тронута. Только и вообразить не могла, чем для меня обернется грядущий день.

Под диктовку врача на следующее утро я приступила к выполнению первейших обязанностей операционной сестры: по всем правилам мыла руки, осторожно вынула из бокса халат для врача, помогла его надеть...

Закрытую в обычные дни недели операционную восприняла в то утро как экзаменационный зал. Застекленная с трех сторон пристройка была обращена в безбарачную сторону зоны. Блестели хорошо покрашенные полы. Там было прохладно. Как всегда, на операции присутствовало еще двое врачей. На тележке везли больного.

Я слушала отрывистые приказания Филиппа Яковлевича: скальпель, зажим, пинцет. Вера Петровна тут же подавала то, что требовалось.

Тщась не замечать обилия крови, пытаюсь перемочь дурноту, я смотрела на столик с инструментами. Но внимание раздвоилось. Последней мыслью было: надо подойти к подоконнику, опереться... Так и не дойдя до него, я потеряла сознание...

Пришла в себя уже в предоперационной. Первым чувством был стыд: не выдержала, не оправдала! Еще больше стало не по себе, когда на лицах выходивших с операции врачей увидела не улыбку, допустимую при обстоятельствах, когда человек оплошал, а, скорее всего, ухмылку, смысла которой как-то не угадывала.

Подносившая мне нашатырь Броня объяснила:

— Доктор Петцгольд бросился вам помочь, хотел вас вынести из операционной, а Филипп Яковлевич, не прерывая операции, закричал: «Не троньте ее!» Тот растерялся, спросил: «А как же?» Доктор ответил: «Пусть кто-нибудь другой, не вы!»

Выслушав Броню, я помертвела от чувства позора. Это было хуже, чем анекдот. Почему в моей жизни все так уродливо и безобразно? Господи, почему? Однако то было лишь началом.

Едва из операционной вывезли больного, как там раздался даже не скандальный выкрик, а визг Веры Петровны. Она материлась. Тяжелые угрозы сыпались одна за другой:

— Чтобы сию минуту, немедленно этой сволочи, этой стервы не было на колонне! Сейчас же! Отправь ее сию же минуту, иначе я тебя засажу за решетку вместе с нею!

Сволочь? Стерва? Это я?

В горячке, не помня себя, я шагнула в операционную пасть.

— Отправьте меня отсюда. Отправьте немедленно! Пожалуйста, отправьте! Прошу! — издали слышала я свой сдавленный шепот.

О таком безнадежном стыде я не имела представления.

Прошло несколько часов. Я лежала в бараке на своей койке. Пришла Таня.

— У нас в лаборатории сидит эта «хвороба». Просила, чтобы я привела вас. Хочет поговорить с вами.

Не пойти! Сделать что-то по-своему, не так, как хочет она или он? Но... поднялась.

Сидевшая в лаборатории старшая медсестра, казалось, не имела ни малейшего отношения к той, недавно визжавшей и сквернословившей. Как всегда, громоздя одно слово на другое, она затараторила: если я хороший человек, то сейчас же забуду обо всем, что произошло; сейчас же вернусь в корпус и приступлю к работе. Она давно могла сделать так, чтобы я была на штрафной колонне, а там, и я об этом знаю, меня уже давно прикончили бы. Но она ведь этого не сделала. Так вот, если я не хочу, чтобы Филипп Яковлевич выгнал ее из дома, я должна все забыть и сказать ему, что мы помирились. Да, она знает, что он ее не любит, а любит меня. Но она без него жить не может. Согласна быть у него домработницей, мыть ему ноги, что угодно делать, только быть возле него. Мне сидеть еще долго. Она подсчитала: пять лет. За это время он еще сто раз влюбится. Она-то знает его лучше, поэтому сейчас все должно остаться, как есть. Блажь эта у него скоро пройдет, как уже не раз бывало. Хоть это-то мне понятно? Так что давайте считать, что ничего не произошло, все забыто. Договорились?

Я сказала, что надеюсь на ее содействие и помощь в отправке меня на другую колонну. Она зашлась:

— Значит, будете добиваться, чтобы он меня выгнал? Да? Зачем вам это нужно? Вы же знаете, что он мне этого не простит! Я вас прошу сказать ему, что мы помирились... А вы...

А я? Я впервые слышала о готовности «быть домработницей», «мыть ноги». Доводы и способ ее уговоров открывали какую-то неизвестную житейскую стратегию. Я не уследила, как ей удалось так все смешать, что из повода к взрыву чужих страстей я превратилась в главную беду их «вольной» жизни.

— Вы подтвердите Филиппу, что мы помирились! — настаивала она. — И запомните: вы должны это сделать для меня!

Уходя из лаборатории, она еще раз подчеркнула: «Должны! Для меня!»

Едва она вышла, в лабораторию прибежала Броня: меня разыскивает доктор, я должна немедленно прийти в корпус.

В первую минуту дежурка показалась мне пустой, но до неузнаваемости усталый голос произнес из темноты:

— Зайдите и сядьте. Свет зажигать не надо.

Он долго молчал. Потом спросил:

— Вам рассказать про Веру Петровну?

— Зачем?

— Вы должны знать: она совершенно чужой мне человек.

— Мне это знать не нужно.

— А то, что я вас люблю?

— ...

Я знала достаточно. Во всяком случае, о его славе «бабника». Для меня с ним было связано нечто непреходящее унижительное и грубое; сегодня к этому прибавилось постыдное. Да, вырвав с колонны «Светик», он спас меня от смерти. Я давала себе в этом отчет, но... Я была не в силах разобраться до конца с этими «да» и «но».

— Дороже вас у меня нет никого на свете,— продолжал голос. — Сегодня я это понял.

— Отправьте меня, пожалуйста, отсюда.

— Вы действительно этого хотите?

— Хочу.

— И понимаете, что вас ожидает?

— Понимаю.

— Что ж, об этом особенно беспокоиться не стоит. Это может каждую минуту случиться и так. Сам я этого делать не буду.

Он говорил спокойно, серьезно, не так, как всегда. Не было и следа человеческой безвкусицы, которая то и дело подводила одаренного врача.

Какой же он настоящий? Когда? Он говорил еще и еще: только сейчас ему открылся другой мир; только теперь он понял, как мерзко жил до сих пор, не задумываясь о смысле существования; он любит впервые в жизни.

Я была опустошена. Хотела одного — уйти.

— Вы мне ничего не скажете после того, что услышали от меня? Вы и сейчас еще хотите уехать?

Я не хотела бы уезжать с этой колонны, конечно же. Но не из-за него.

К утру следующего дня ничего не улеглось. Не хотелось думать о предстоящей встрече ни с ним, ни с ней. Жизнь была немила. Куда-то надо было деться, сгинуть. Переместиться самой?

Какими бы добрыми ни были отношения с некоторыми из людей на колонне, дружбой это не называлось. Попросив Броню заменить меня на дежурстве на пару часов, я направилась в третий корпус.

— Лена, разрешите мне немного побыть у вас?

Она налила мне кружку кипятка: «Согрейтесь». И ушла раздавать лекарства.

Здесь, из окна дежурки, хорошо просматривалась лагерная контора. Перед началом работы туда заходили все вольнонаемные. И я увидела, как по обледенелым ступеням на крыльцо конторы незнакомо медленно и тяжело поднимается главврач. Воротник шинели был поднят. Всегда стремительный, он едва переставлял ноги. Из него будто ушла жизнь. Неподконтрольная поза, движения оказались выразительнее слов. Я хорошо знала это состояние. Он страдал? Из-за меня?

Сжалось сердце. Что это я? Он действительно мой единственный защитник. Если бы он не выхватил меня с той лесной колонны, я

давно была бы сброшена в свалочную яму. Человек не смеет такое забывать. Я кинулась искать Лену.

— Скажите, чтобы Филипп Яковлевич зашел сюда.

Я видела: он почти бежал к корпусу. Стоя на коленях, он долго за что-то благодарил.

Меня постоянно сторожило заболевание неуверенностью. Но в этот момент, вопреки здравому смыслу, я поверила: этот человек вправду любит меня. Это нелепо, странно, но — так. Еще я в вольном, неумном человеке открыла такого же зябнувшего внутри, как и я.

Не забывая вызова за ширму, пережитого унижения, сама теперь была сбита с толку острой жалостью к нему. Зачем и откуда она явилась?

Пришло скорее смятенное, чем радостное чувство обретения. Я не знала кого. Друга? Мужчины? Заступника?

При бесконечной смене лазаретных больных так или иначе, хотя бы ненадолго, оказываешься вовлеченным в судьбы многих и многих людей. Жаловаться на недостаток впечатлений не приходилось.

Приступая к ночному дежурству, я обошла все палаты. Больные засыпали. Своего верного помощника, санитаря-казаха, я тоже отпустила спать. Вернувшись в дежурку, зажгла свет и принялась списывать с историй болезни новые назначения. Вдруг кто-то, рывком открыв дверь дежурки, по-обезьяньи ловко извернулся и повернул в дверях ключ.

Очутившись один на один с чужим человеком, вскочившим в дежурку неизвестно зачем, я насмерть перепугалась. Глаза у человека бегали. Больной был новый, только поступил.

— Дай эфир, сестра!

— Зачем?— не узнала я свой голос.

— Дай эфир! Где он?

Я до этого мгновения не знала, что иные наркоманы пьют эфир.

— У меня нет эфира, — выдавила я из себя.

— Есть! Дай эфир! Иначе удуш!

Он это мог сделать! На нормального человека он не был похож.

— Эфир в операционной. Она закрыта.

— Дай ключ!

— Ключ у врача.

Мне было страшно. Выручить никто не мог. Сама не зная, что сделаю в следующую секунду, я неожиданно поверила в то, что сумею не дать ему эфир.

Стоя в нижнем белье у двери, синюшно-бледный человек дрожал и твердил одно: «Дай эфир!»

— Я дам тебе немного спирта. Выпей.

— Нет! Эфир! Нужен эфир!

«Стой на своем» — подсказывало что-то неведомое, подспудное, то, что или формирует, или разрушает человека в минуты опасности.

— Эфира нет! Не будет. Ясно?

Наркоман упал на колени. Стал сухо и зло умолять: «Не могу! Умру! Эфира, эфира дай!»

Я уговаривала: «Иди спать. Я никому ничего не скажу. Останешься в лазарете. Иначе, сам знаешь, снова — общие работы».

Но обесчеловеченная сила не понимала языка. Ее невозможно было усмирить. Растягивая время многословием, я продолжала еще и еще что-то наговаривать и, наконец, увела его в палату. Вернувшись в дежурку, почувствовала, как на меня навалилось знакомое серое изнурение, так хорошо умеющее сжирать «вещество жизни». Страх неистребим. И каждый раз у него новое, незнакомое обличье, другое смысловое начало. Однажды можно не найтись, и тогда — все!

Живут люди разное. И умирают по-разному.

В один из корпусов поступила вольнонаемная больная с температурой сорок и пять. Диагноз: малярия. Состояние тяжелейшее. Лабораторные анализы скверные. Случай обсуждался на «летучке». Филипп Яковлевич велел перевести больную из терапевтического в хирургический корпус. Принимая дежурство, я подошла к ее кровати. Лицо показалось знакомым. Больная-агрономша, прибегавшая на «Светике» к бригадиру Грише Зайцеву посидеть возле костра? Это была она.

Зоя была без сознания. Бредила. Только на время приходила в себя.

— Это не малярия. Сепсис! — сказал Филипп Яковлевич. — Что вы сделали? — наклонился он к ней, как только она приходила в сознание. — Расскажите, что вы сделали?

— Ничего! — отвечала она сухими, растрескавшимися губами. — Ничего.

Консилиум собирали один за другим. Приказали внутренне вводить спирт. Внутримышечно — физиологический раствор. Больше ничего не было. Снова и снова Зоя впадала в беспамятство. Бредила: «Гриша, смотри, сколько воды, все поле в воде... сколько моркови. Ты помоги мне... Не надо плавать, не надо плавать...»

Принесли большую лампу-«молнию». Поставили у изголовья. Вокруг — врачи. Склонившись над Зоей, Филипп Яковлевич сторожил проблески сознания, опять спрашивал ее:

— Расскажите, что вы сделали?

Я не могла понять, чего от нее добиваются, зачем мучают без толку.

Зоя неожиданно пришла в себя, трезво, осмысленно обвела всех глазами, отыскала Бахарева и с чувством презрительного превосходства победно произнесла:

— А все-таки я вас обманула, доктор!

— Вы себя обманули, — ответил тот и дал команду: — Еще физиологический раствор!

Едва я ввела иглу в уже не откликавшуюся мышцу бедра, он отменил:

— Не надо, уже ничего не надо...

Вскрытие явило дичайшую картину: гной, гной... Она сама себе сделала аборт — морковкой. Зная об этом соседка сообщила слишком поздно.

Молоденькая девушка приехала на Север по распределению после окончания сельскохозяйственного института, встретила на лагерных «угодьях» заключенного, круглолицего парня, и полюбила его. Должен был появиться ребенок, и вот альтернатива: либо ребенок, либо Гриша. Выбрать первое? Гришу заслали бы на штрафную. Посоветоваться не с кем. Вокруг заключенные-доходяги да жены вохровцев. Последние могли донести. Так, никого не взяв себе в советчики, неопытная Зоя все совершила одна.

И не врача она видела перед собой в минуту своей бесславной кончины. Нераспознанной людоедской силе бросала в лицо: «...а все-таки я вас обманула!»

Был уже час ночи, когда кто-то постучался в окно дежурки. Такого еще не случалось. Погасила свет, приоткрыла угол занавески, увидела прямо в окно втиснутое лицо. Человек просил открыть дверь в корпус. И прежде чем узнать, я догадалась: это Гриша Зайцев! Только как он попал в колонну? И что я ему скажу?

Он меня не узнал, вообще ничего перед собой не видел.

— Как умерла Зоя, сестра? Расскажите.

Бригадир замерз, плохо выговаривал слова, лязгал зубами. Дала ему кипятик, что-то говорила. Плохо слушая, он перебил:

— Ради всего святого, Бога ради, отведите меня к ней!

— Куда к ней?

— К ней! К ней! Туда, где она. Сами знаете.

Знала, понятно. Шальным путем проникший в зону человек приехал «оттуда», надеясь увидеть ее живую, а теперь хотел хотя бы на мертвую посмотреть.

— К ней, сестра! К ней! Прошу вас!

А я бы как? Так же! В кладовой взяла «летучую мышь», сняла с гвоздя огромный железный ключ от прозекторской.

Мы вышли в ночь к тому маленькому домику в углу зоны, через который прошло уже столько людей. Там на столе лежало то, что было Зоей. И Гриша схватил ее, навалился с рыданием: «Зоя, Зоя, что они с нами сделали? Что ты натворила? Слышишь меня, слышишь? Это я, Зоя! Я...»

Страшась и громких причитаний, и света лампы, я трясла его за плечи: «Нельзя так, Гриша, нельзя...» Силой оторвала его от ушедшей, силой вывела оттуда. Он еще посидел немного, схватившись за голову. Потом ушел.

Иногда я думала: никто, кроме меня, не знает про этого Гришу то «самое-самое», что сделало его таким, каким он живет на земле. Я видела миг, который «решает» человека. Возможно, у него есть семья. Может быть, он бывает невыносимым. Я, понимающая, не знаю, где он. А ему в голову не приходит, что в меня впечатана судьба чувств двоих. Хотя... кто-то ведь все-таки впустил его на колонну! Кто-то из охраны сжалился. В споре с законом кое-какая

человечность неисповедимыми путями сохраняла себя там, где ее отменяли.

В прошлой врачебной практике старого терапевта Р. с родами было связано что-то драматичное. Он боялся, когда в его дежурство поступала роженица. Это знали все. Решили разыграть. Доктора Петцгольда уговорили лечь в сани и повезли к крыльцу. И когда из-под дерюжного покрывала вместо роженицы вылез высокий коллега, доктор Р. под общий смех ушел в корпус расвирепевший.

А мне нравилось принимать роды. Освоив, как следует вправлять головку, я с волнением ждала момента, когда на свет появится крошечный человек.

В ночных операциях было что-то смутное. Медленно текло время, более выпуклыми и безнадежными становились происшествия.

Как-то привезли больного с переломом бедра. Мужчина был большой, грузный. Взяв ножницы, я осторожно разрежала сырые ватные брюки, чтобы освободить для осмотра место повреждения. Даже умеющему умирять больных Бахареву долго не удавалось определить характер перелома. От малейшего прикосновения человек вскрикивал, не давал к себе притронуться. Главврач распорядился готовить его к операции. Когда больному дали эфир, он под наркозом стал отчаянно ругаться, ноги стали послушными, безвольными. Врач прошупал огромный бугор на бедре.

— Перелома нет, — объявил он, — имитировать его помог костный мозоль, образовавшийся после давней травмы.

Теперь подошла очередь ругаться врачам. Заключенный дежурный доктор Р. тут же послал узнать, не уехал ли конвоир, доставивший сюда симулянта, дабы немедленно отправить его обратно на колонну, наказать за обман. Мне было жаль «больного». Все говорило о том, что этот человек прибыл из ада. Он симулировал перелом, чтобы получить возможность отлежаться, отдохнуть. Затаив дыхание, молча ждала, что скажет главврач. Снимая халат, посмотрев на меня и поняв, чего я от него жду, он распорядился:

— Отнесите его в палату. Ни за каким конвоиром ходить не надо.

Понимание такого рода было глубже иных объяснений.

Виновато и смиренно пролежал этот человек пару недель.

Все время что-то придумывая, Филипп Яковлевич не просто много делал для меня, он — творил. Не могу сказать иначе об идее создания при лазарете курсов медсестер. Собрав пять человек из среднего медперсонала, он ввел чтение лекций и практическое обучение, к которому привлек лазаретных врачей.

Совсем невероятной казалась договоренность в управлении о документальном засвидетельствовании окончания этих курсов.

Немалые его усилия были направлены на то, чтобы добиться моего освобождения. Он нашел адвоката, писал в Москву. Был уверен в успехе. Знаки выражения его любви! Это стало твердью, на которой я установилась. С защитительным легкомыслием поверила в «необыкновенность» его любви. О том, что он любит именно так, говорило все.

Я видела, как тревога сходила с его лица, когда он видел меня на месте, как благоговейно прижимался щекой к моему бушлату, висевшему на том же крючке, на который, придя на работу, он вешал свою шинель.

Думаю, в ту пору сам доктор не отличал в себе уверенности от самоуверенности. Это в нем существовало слитно. «Я знаю! — говорил он. — Верь мне, положишься на меня!» Законы лагерного бытования, казалось, были ему ясны вполне и настолько, что он будто делал ставку в некоей азартной игре.

И Филипп Яковлевич представлялся мне «ведущим, выручающим началом» из кромешного хаоса. Хотя от отдельных его высказываний — вроде того, что Вера Петровна просит дать ей осмотреться перед тем, как уйти от него, а ему «это на руку», поскольку перемена в видимой стороне жизни ставит его под удар, — я отстранялась, как от чего-то еще более путаного, чем хаос, и не имеющего ко мне отношения.

Обо всем, что касалось жизни людей за зоной, мы имели такое же смутное представление, как и они обо всем нашем. По возможностям свободы и неволи, по внутренним устремлениям заключенных и вольных людей это были никак не смыкающиеся между собой миры.

Вольнонаемная фармацевт Ася Арсентьева, приходя на работу в зону, развлекала рассказами: «Ну-у, Вера вчера разошлась. Так орала, так кокала посуду, что дым стоял коромыслом!» Зато в зоне теперь Вера Петровна вела себя ровно. Так же энергично давала задания: починить, поштопать, связать и не придиралась.

— А как же? — доверительно рассказывала она нам. — Когда собираю Филиппа Яковлевича в командировку, жарю ему в дорогу котлетки, картошечки наварю и, чтобы не скучал, четвертиночку присовокупляю.

Стиль рассказов впечатлял. Но все это тоже не имело вроде бы отношения к моей жизни.

Из города, где Вера Петровна жила до ареста, она привезла сюда свой домашний скарб, престарелую мать и восьмилетнего сына от первого брака. Мальчику сказали, что на Север его везут к отцу. Филиппа Яковлевича ребенок называл папой.

— Папа, идем домой! — прибежал как-то за доктором в зону хорошенький черноглазый мальчик.

Они уходили вместе. Я смотрела им вслед. Оглянувшись, Филипп Яковлевич быстро вернулся назад.

— Мне показалось, что если я вернусь, тебе будет легче.

Он умел быть проникновенным.

В то время от вольнонаемных приходилось слышать, что они успели посмотреть много «трофейных» фильмов. В самом слове «трофейные» была новизна, обострявшая интерес к недоступному для нас предмету.

— Ты ведь за все это время ни разу не была в кино? — раздумчиво сказал как-то Филипп Яковлевич. — Я что-нибудь придумаю.

Он придумал. В нарушение всех правил, по какой-то сверхнормативной договоренности нас, человек пятнадцать заключенных, собрали однажды и повели в клуб вольнонаемных, находившийся в двух километрах от колонны.

Боясь проронить слово, едва доверяя происходящему, мы молча шли строем. На некотором расстоянии за нами следовали главврач и Вера Петровна. Я словно со стороны видела эту несводимую событийную картину: наш строй, конвоира с винтовкой и двух вольных супругов, следовавших за нами.

Жены вихровцев были шокированы нашим появлением в их законной комнате. Под «винтовочными» взглядами мы прошли в последний ряд. Едва погас свет, кто-то из вошедших в зал крикнул: «Бахарев! На выход!» Это означало, что в лазарет поступил тяжелобольной и доктор не увидит фильма. Застрекотал аппарат. На простынном экране появилось название киножурнала «Ленинград». Бешеная боль, такая, что, казалось, вскрыли грудную клетку, сбила меня. Я закусила себе руку, чтобы не застонать. В довоенном журнале, как прежде, текла Нева, неповрежденные мосты и набережные были неслыханно прекрасны. Казалось, я уже совсем забыла город, в котором родилась, жила, где были погребены моя мама и Реночка. Кино — свидетельство существования родного города на этой же самой планете, где был и лагерь, — тысячью осколков боли впилося в меня.

Американский «трофейный» фильм назывался «Ураган». Изголодавшееся воображение было пленено романтической историей с трагическим концом.

На следующий день после ужина в самой большой из палат хирургического корпуса я пересказывала фильм больным. Жадный интерес был так велик, что больные не могли угомониться до ночи. Требовали: «Еще раз от начала до конца! Еще раз снова!»

И я опять рассказывала о любви смуглых Мэрамы и Тэранги, о том, как он попадал в тюрьму, бежал, как его ловили, о том, как, наконец, удался побег и была их свадьба. Как утром Мэрама, проснувшись первой, видела, что с острова улетают птицы. К вечеру начался ураган. Островитяне устремлялись к храму. Падая ниц, молились, просили пощады. Но ветер и вода расшибали стены последнего убежища людей, с лица земли смывало цветущий остров.

Взяв в руки карандаш, я на клочке бумаги кадр за кадром описывала этот фильм и для Филиппа.

Заканчивался 1944 год.

К вечеру 31 декабря я должна была сдать Броне дежурство, но оговорила, что уйду из корпуса только после вечерней раздачи лекарств. Я уже давно к этому дню подкапливала спирт.

Сестра-хозяйка монашка Нюра поменяла в палатах белье. Как это всегда бывает по праздникам, больные лежали погрузневшие. Я знала, кому из них надо сказать ласковое слово, кому поправить подушку, кого спросить о письме.

Налив в мензурки вместо микстуры по несколько граммов спирта, поднесла выздоравливающим. Проглотив «угощение с Новым годом!», они в ответ ошалело улыбались и молча прикрывали глаза.

К нам в медицинское общежитие Матвей Ильич «забросил» хлеба с маслом. От Филиппа принесли небольшую елочку. Украсив ее кусочками ваты, я затопила в бараке печь и села у огня. Часов в десять вечера дверь неожиданно открылась и вбежал Филипп. «Я не мог уйти, не поздравив тебя с Новым годом! Люблю тебя на всю жизнь!» Вместе с Верой Петровной они шли встречать Новый год с начальством в клуб.

Леночка готовилась к встрече Нового года в аптеке вместе с Абрамом. Таня — в лаборатории с доктором С. Все разошлись. Не дождавшись полночного часа, я легла спать.

Разбудили меня сразу двое: с одной стороны койки стояла Леночка, с другой — Абрам.

— Быстро! До двенадцати остается пятнадцать минут! Мы даже монпансье сварили. Мигом!

Я была растрогана: «Подумали обо мне? Им же вдвоем лучше, чем хорошо!»

В ледяном просторе над зоной сверкали яркие звезды. В аптеке было тепло и уютно. Мы надеялись, что вохровцы сами встречают Новый год и не придут с проверкой.

— С Новым, тысяча девятьсот сорок пятым годом! За волю! За окончание войны! За амнистию! Спасибо, друзья, что подумали обо мне!

К часу ночи я была уже в бараке. В шесть утра нужно было сменить Броню.

Уже поздно вечером 1 января, когда я отдежурила, за мной пришел санитар.

— Доктор вызывает.

Едва я переступила порог лазарета, как из маленькой палаты для вольнонаемных рожениц открылась дверь и Филипп, схватив меня за руку, буквально втащил туда, благо там никого не было.

— Как встретила Новый год?

От неожиданно резкого тона растерялась:

— Хорошо. Леночка и Абрам пригласили меня к себе.

— Я о ней все время думал, а она пошла встречать Новый год в аптеку!

Железными руками он схватил меня за горло и начал душить. Ужас пресек и мысль, и чувства.

Он опомнился, отскочил. Через минуту уже стоял на коленях, просил прощения, пытался целовать руки. Но яростный бездушный срыв оскорбил, задел что-то глубинное. На самом-то деле я не могла больше выносить сложившейся здесь на колонне жизни, вечной подозрительности Филиппа, слежки Веры Петровны.

— Броня, оддежурьте за меня. Скажите врачу, что я больше на работу не выйду. Пусть меня немедленно отправят отсюда. Как можно скорее. Я больше не могу! Не могу!

Броня передала.

Мы с ней сидели в общежитии, когда, резко открыв дверь, появился Филипп. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и прямо в шинели повалился лицом на мою койку.

На колонне знали про каждый шаг друг друга, тем более вольнонаемного, да еще главврача. С минуты на минуту следовало ожидать появления вохры. Нетрудно было представить себе, что всех ожидало. Броня заметалась:

— Филипп Яковлевич! Гражданин начальник! Встаньте! Вам здесь нельзя находиться! Встаньте. Я отведу вас. Пожалуйста. Ну, давайте, я помогу вам, ну...

Бахарев не двинулся с места. Заплетающимся языком пробормотал:

— Уйду, если она меня простит! — И затем: — Встану, если она пойдет в корпус.

Я накинула телогрейку и вышла. Следом явился врач:

— Если сейчас же не простишь, сделаю что-то страшное. Раз не любишь — жить не буду.

Пререкания с пьяным были бессмысленны. Надо было одно: чтобы нетрезвый врач немедленно ушел за зону. На его «прости!» — ответила: «Прощаю». На его «скажи, что любишь» — завершила: «Люблю».

Едва я так ответила, как торжествующий и трезвый, как ни в чем не бывало, он встал из-за стола, на котором секунду назад, казалось, так беспомощно лежала его голова.

Сценарий был разыгран без промахов, с учетом всех обстоятельств и в точно рассчитанное время.

Объявившись совершенно трезвым, Филипп просил простить его за ревность, безумие и дикость. Не скупясь на слова, повторял, как любит, что никуда отсюда не отпустит, что я себя не знаю, а он знает, я во всем талантлива, он видит, как я работаю, прочел описание фильма, он поражен и т. д. и т. п.

Полагая, что исповедь не исчерпала всех чувств, он даже клеймил самого себя: он, мол, да, любил женщин, каждую «победу» отмечал «палочкой» и только теперь понял, как это пошло и гнусно. Откровенности подобного рода коробили, все куда-то сползало.

Однажды во время дежурства меня вызвали на крыльцо. Кто-то хотел меня видеть. Возле корпуса стоял тот самый крымский татарин Рашид, который на «Светике» бесстрашно высказал свои опасения перед отправкой меня в лазарет. Я пригласила его зайти в дежурку.

Ни о чем не расспрашивая, он заметил, что меня совсем не узнать — до того я стала красивая.

— Как вы здесь оказались? — спросила я.

— Меня по наряду перевозят на другую колонну, но я очень просил сделать здесь остановку. Хотел вас увидеть.

Минут десять он посидел, опустив голову. Потом непонятный, едва знакомый человек ушел. Мимо меня будто прожурчала чистая река. Я глянула в нее... и отвернулась.

Несложившаяся прошлая жизнь иногда напоминала о себе тупой болью. Воспоминания, похожие на обломки подорванного судна, когда-то и куда-то державшего путь, плавали в сознании. Но иногда со дна души всплывал призрачный, но целостный силуэт бывшей жизни и словно чего-то требовал от меня. Миражный зов становился укоряюще сильным, к чему-то призывал. Я думала: «Никто на свете так и не знает, где я нахожусь». И конечно, этими «никто не знает» были Эрик и Барбара Ионовна.

Ощущение неизбывного черного одиночества продолжало глотать. В одну из таких минут я написала Эрику небольшое, но горькое письмо со своим адресом.

Ответ не пришел, а будто прилетел.

«ИТК № 1 с. Молдаванка.

Моя бесконечно любимая жена! Сегодня, в канун Нового года, после стольких мучительных месяцев безвестия о тебе, я держу в руках листочек, написанный твоей рукой. Боже мой! Я плачу. Ты понимаешь, моя любимая, моя Тома, — я плачу. Как я люблю тебя, как мучительно больно мне читать твои слова. Все сразу смешалось. Ты же — моя Тамара, моя жена, мой любимый и дорогой друг, самый дорогой в этой жизни. Ты поторопилась уехать из Киргизии, так как мой перевод на главврача и зав. хирургическим отделением был согласован с твоим переводом, причем начальство во Фрунзе разрешило нам совместное пребывание на № 1. Недавно было послано отношение в ГУЛАГ о том, чтобы тебя этапировали обратно. Я безумно, по-сумасшедшему люблю тебя. Сейчас, как и давно, на меня со стены смотрит твой портрет. Он всегда со мной. Все остатки дней жизни — все они наши, твои и мои. Люблю тебя. Это чувство стало еще сильнее. Напиши мне, как быть, может, просить, чтобы меня отправили к тебе?..»

Письмо было большим. Повторы походили на заклинания, а я не могла поверить ни одному слову, никаким письмам в ГУЛАГ, в «согласование с начальством», о «совместном пребывании». Я ждала искреннего и серьезного порыва, который бы выручил хоть частицу прошлого. И ничего этого не нашла. Из письма явствовало одно: хорошего у него мало. Хаотический поток слов выдавал беспомощность, жажду за что-нибудь ухватиться. Но я была обязана признаться себе в том, что это — итог и моей жизни. В его потерянности, загнанности я узнавала свое. Друг для друга мы с Эриком оставались знаками не слишком счастливого биографического виража. Но эта малодостойная переписка удерживала «связь времен».

Переписка в последующие годы возобновлялась и прерывалась снова. Но слишком поздно, только через пять лет, в 1949 году, в одном из писем Эрик написал то, чего я ждала в 1944 — 1945 годах.

Когда-то в Беловодске напоивший меня чаем с сухарями после голодного обморока Клебанов с поразившим меня тогда гневом сказал: «Одного только хочу: встретиться с вашим мужем! У меня есть что ему сказать». За какую-то провинность Эрика впоследствии отправили именно туда, в Беловодск. Они встретились.

«Тамара! — писал Эрик. — Мой единственный друг и моя любовь — самая большая и самая больная! Вот что сразу же хочу тебе сказать: в те годы я был не таким, как сейчас. Сейчас мучаюсь, не понимаю, как я мог оставить тебя в те страшные дни. Единственным, что оправдывает мою подлость тогда, было то, что мне приходилось трудно. Я был неопытен и совсем неумен. С тех пор как я после безуспешных поисков тебя получил ту маленькую почтовую открытку, написанную твоей дорогой рукой, я до сегодняшнего дня мучался тем, что сделал так отвратительно. Я скрывал это от тебя, делал вид, что этого не было, но сколькими бессонными ночами, полными мучений, оплачивала мне моя совесть за это... один Бог да я сам знаю. И хорошо, что ты мне написала. Прости мне, родная, это! Прости и помилуй меня. Только прости. Я очень и очень плохо сделал. Я много делал и делаю людям хорошего и всегда думаю: это за мой грех по отношению к Тамаре.

Если закрыть глаза и вспомнить прошлое, то всегда ты была со мной. И в зимнюю стужу беловодской зимы, когда я с тоской читал слова, написанные твоей дорогой рукой на толстом картоне механического цеха, где ты работала и где я, глотая слезы и думая о тебе, водил напильником, стоя за тисками. И тогда, когда мне было совсем худо, мои губы шептали родное слово «Тамара», и мне становилось теплее. Потом тяжелые шахты далекой Сулюкты, где я, стоя по пояс в воде, глубоко под землей, в старой шахте, которая глотала людей, грязный и вшивый, шептал имя «Тамара». Оно и там согревало меня. Потом — Сибирь, где было ужасно холодно и так же голодно. Затем сыпной тиф и крупозная пневмония, потом пионефроз, и все равно, метаясь по постели в бреду, имя Тамара заставляло всех, кто был со мной рядом, знать о том, что ты, моя жена, для меня — все. Так пойми же меня. Могу ли я быть без тебя, могу ли остаться жить, зная, что ты можешь быть не со мной. Пусть все невзгоды и тяжести, перенесенные мною, мои муки тобою, выговорят тебе, что я не могу быть без тебя.

Безмерно люблю тебя. Пойми меня, моя жена, и прости все. Я вторично не боюсь написать тебе, что если ты меня оставишь, меня не будет... Правда, мне надо будет сидеть еще три года после твоего освобождения, но ведь мы будем вместе? Да?..»

Это письмо пришло, когда все стало действительно невозвратимым. А тогда, получив первое письмо Эрика, в одну из свободных минут, сидя в дежурке, я принялась за ответ. Зачем-то вошел Филипп. Он спешил: его вызывало начальство.

- Что ты пишешь?
- Письмо Эрику.
- Ах вот как!

Запнувшись лишь на секунду, он стремглав вынул из кармана ручку, выхватил письмо и размашисто расписался на половине исписанного мною листа.

— Вернусь из отделения, дашь мне прочесть.

Дверь за ним закрылась. Я тупо рассматривала росчерк его фамилии. Роспись на письме не давала возможности его переписать, если бы я это задумала. Он мне не верил. Он никому не доверял. И не стеснялся это обнаружить.

В урдомский лазарет привезли с этапом больных жену писателя Сергея Третьякова — автора нескольких книг, пьесы «Рычи, Китай!».

Ольга Викторовна Третьякова оправилась и после болезни была оставлена на колонне работать в конторе не то учетчиком, не то счетоводом.

Писатель Третьяков, друг Маяковского, был в тридцать седьмом году расстрелян. Ольга Викторовна получила десять лет лагерей. Кто мог знать, что в лагерных пределах мне дано будет встретить не одну жену в прошлом знаменитого, а затем расстрелянного мужа. Позже я близко узнала и Анну Абрамовну Берзинь — жену Бруно Ясенского, Тамару Григорьевну Цулукидзе — жену Сандро Ахметели и многих других.

В 1944 году, когда мы познакомились с Ольгой Викторовной, она отбывала седьмой год срока. Общение с ней вернуло меня ко многим прежним чувствованиям и темам, так сильно волновавшим ранее, без и вне которых я давно самой себе казалась подмененной, пропавшей без вести.

Ольге Викторовне, думаю, тогда было около сорока пяти лет (я никогда не интересовалась возрастом друзей и знакомых). Худенькая, среднего роста, в очках, с седеющей головой, она напоминала немолодую курсистку. Вспоминая прошлое, она расцветала, но никогда при этом не заслоняла собой сути того, о чем вспоминала.

Обычно в выходной для вольнонаемных день, как только я справлялась с раздачей лекарств, Ольга Викторовна приходила ко мне в дежурку хирургического корпуса. Высматривая ее в окно, я видела, как она медленно шла по тропинке между сугробами с корзиночкой в руках, в которую были помещены две уютные домашние чашки, маленький кофейник и кофе, который она получала в посылках от дочери. Я затапливала «буржуйку». Начинался наш «ритуальный час». «Осенью тысяча девятьсот такого-то года, — начинала Ольга Викторовна, а я замирала и вся превращалась в слух, — мы с Сережей приехали в Париж, первым делом решили...» Или: «Оказавшись в Берлине, помчались...» и т. д. Для нее Париж, Берлин, Нью-Йорк были реальными, земными городами с музеями, соборами, знакомыми писателями и поэтами. Для меня — «тридцатое царство»! Я жадно слушала ее рассказы о путешествиях и приключениях, но более всего любила, когда она читала стихи

— Я была знакома с Яхонтовым.

— С Володей? Господи, я его прекрасно знала! — воскликнула она. — Как он читал своего тезку! А как Есенина! Пушкина! Мастер!

Я обрадовалась, что могла рассказать о встрече во Фрунзе, о незабываемой «Настасье Филипповне», о наших ленинградских прогулках в тумане. Здесь все это казалось прекрасным и грустным вымыслом. А его страх? Пронзительно чувствуя, как он был им поражен, я думала: как странно, что именно этим страхом он так ощутимо присутствует в настоящем! Интересно, что бы он сказал, узнав, где мы с Ольгой Викторовной находимся?

Воскресные кофепития с воспоминаниями нам с Ольгой Викторовной обоим скрашивали жизнь.

И еще одним существенным обретением я обязана ей. На других колоннах лагеря у нее было множество друзей. Минувя официальную почту, «через руки» они обменивались письмами и тем, что сочинялось и писалось в лагере. Я была потрясена. Творящее начало? Здесь? Оно неубиенно? Мне представлялось, что все разобщены, замурованы в отдельные клетки-колонны, только в свои несчастья. Оказывается, нет, между людьми существовала связь.

— Была бы счастлива, если бы вы встретились с Борисом Генриховичем Крейцером. Сейчас он находится на Сольвычегодской колонне. Умница. Прелестно рисует! — восклицала она.

Ольга Викторовна рекомендовала то одного своего друга, то другого.

— На Центральной колонне работает Лев Адольфович Финк. Талантливый, горячий человек.

Так же, как на «Светике» Петр Поликарпович «знакомил» меня с Тамарой Григорьевной Цулукидзе, Ольга Викторовна вводила в свой круг. Еще до встреч я уже многое знала об этих людях и благоговела перед ними.

— Найдете время прочесть рассказ моего друга Бориса Шустова? Я принесу вам. Называется «Рубль».

И Ольга Викторовна приносила. Я была смущена и счастлива.

Так мне открылось, что на каких-то параллелях лагеря отвоевывает себе приют обособленная духовная стихия. Та самая, в предчувствии познания которой когда-то мне так жадно и властно хотелось жить.

Друзья Ольги Викторовны стали впоследствии и моими друзьями. Ее стремление объединить всех, кого она знала, сыграло в этом огромную роль.

— Вы читали «Очарованную душу» Ромена Роллана? — спросила она как-то.

И огорченно покачала головой на мое «не успела».

— Жаль, нет ее здесь у меня. И все-таки «дарю» ее вам. Это ваша книга!

Да, я долго-долго чувствовала себя необыкновенно счастливой, после того как прочла и перечла страницы этой книги. И по сей день этот подарок — во мне.

Ольга Викторовна уходила к себе в барак, и настоящее заявляло о себе вывертами истинно лагерного происхождения. Прибегал маленький шустрый надзиратель, которому я делала внутривенные вливания глюкозы (она назначалась только вольнонаемным), закатывал рукав гимнастерки, обнажая свою малокровную детскую руку, и взахлеб, доверительнейшим образом рассказывал о своей охоте на людей.

— Сам «опер» вызвал, приказал накрыть этих двоих (он называл имена заключенных, которых я знала), проучить за то, что в лагере крутят роман. Залег я в траву в углу зоны. Там трава высокая... Лежу, жду. Ну, думаю, сейчас я их! Вдруг вижу — тот выходит из барака и боком-боком за каптерку. Глядь, а тут и она из своего общежития вымахивает и тоже — шмыг туда. Я выждал сколько надо. Потом ползком и — хоп, явился перед ними в самый подходящий момент. Ох и испугались они! Побледили! Трясутся оба! Слова сказать не могут. Здорово я их, а?

Надзиратель закатывается в восторге от своей ловкости и находчивости. Он — власть! Он — все может! От истошного, как хворь, возбуждения конопатого надзирателя не по себе.

— Зачем вы так? Представьте себя на их месте...

— А зачем мне себя на их месте представлять? Я не фашист, не сволочь, как они! Расстреливать таких надо! Вот что!

Однако конвойная служба и разложение мира на себя и «сволочей» сотворили свое дело с маленьким вохровцем. Он вдруг взял и пустил себе пулю в лоб. Покончил свои корявые связи с жизнью. Что-то жуткое оказалось и ему не по силам.

Окружающие в разговоре со мной прямо никогда не касались темы Филиппа. Отсидевшие здесь годы, прошедшие огонь, воду и медные трубы, люди, похоже, жалели меня. И не только. Обмануться было нельзя — берегли. Без наставлений. Без укора.

Через стыд и боль в бытийной гуще, еще не давая ей имени, я познавала одну из самых великих человеческих ценностей: «материковое» единство людей через беды и малые радости. В эпиграфе Джона Донна к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» это выражено емко и совершенно:

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

Нечаянно услышанный обрывок резкого разговора между медбратом шестого корпуса Симоном и Филиппом потряс меня. Удивила и степень накала чужого вмешательства, и то, что оно вычленяло еще неясную грозовую опасность, начисто не замечаемую мною. Я еще обживала свое возвращение к жизни. Вся была в плену этого.

В прошлом своему приятелю, а ныне главврачу Симон выговаривал:

— ...Ты ее губишь, Филипп. Элементарная порядочность требует того, чтобы ты оставил ее в покое...

— Ты ничего не понимаешь. Я ее люблю. И это в конце концов не твоё дело...

Окончательно я растерялась, когда Симон пришел без всяких обиняков поговорить со мной лично.

— Не могу, знаете ли, забыть, как вы со сцены читали рассказ «Жена». У меня есть знакомые в агитбригаде. Хотите, я напишу о вас?

Не зная еще, от чего именно меня хотят спасти, я отгородилась молчанием, неопределенным «не знаю». Симон не сдавался:

— Простите, что вмешиваюсь. Но, мне кажется, вы не понимаете, что находитесь под дамочковым мечом. Допускаю, что он вас по-своему любит. Но с Верой-то он никогда не расстанется. Они — два сапога пара. Одним только наживанием денег на абортах их связывает веревочка куда более крепкая, чем его любовь к вам. Ведь он боится ее. И она стоит того. Вера хитра и зла, она не уймется, пока не загонит вас в тартарары...

Все показалось наветом. Наживание денег на абортах? Бред какой-то. Вздор. Каких? Где? Я про себя возмутилась. Задела и характеристика Филиппа, как «пары сапог» с Верой Петровной. Он был талантливым человеком. По легкомыслию, вероятно, в силу того, что была еще житейски неопытна, я никогда не воспринимала Бахаревых как устойчивое сочетание, как семью.

Не могла я тогда представить и того, что в мою жизнь таким неслыханно грубым образом стучится человек, который подарит впоследствии более чем изысканную и проникновенную дружбу. Тем более не знала, что обороты жизни принудят меня вспомнить каждое слово этого безжалостного разговора.

Неискоренимая вера в прекрасное, помысел о нем при всем, что я уже к тому времени извела, продолжали сохранять для меня права державной человеческой реальности. Иначе я еще жить не могла.

На колонне усиленно поговаривали о скором приезде агитбригады, ТЭК. Называли фамилии отдельных артистов. «Да вот приедут, сами увидите и услышите». Я никак не могла взять в толк: лагерь ведь, при чем же тут артисты? Что такое агитбригада, ТЭК?

Они приехали поздно вечером в такой лютый мороз, что из барака в барак перемахивать надо было одним духом. Я дежурила. Был один из самых спокойных лазаретных вечеров, и в душе — откуда-то взявшийся мир, тишина. Я вымыла руки, заглянула в осколок висевшего зеркала и не сразу отошла от него. Сама за собой я искренне не числила ни талантов, ни красоты, о чем говорили окружающие. А тут впервые в жизни (от переизбытка жизненных сил, наверное) себе вдруг понравилась. Мне двадцать четыре года. Я молода! И хороша, кажется?

Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась незнакомая пожилая женщина с веселыми глазами. Сверх лагерного бушлата и меховой ушанки из серого кролика на ней был намотан кусок одеяла. Вместо «здравствуйте» она неожиданно воскликнула:

— Ого, какая здесь сидит королева! Ну и ну! Кто вы, милочка? Медсестра? Да мы в два счета заберем вас отсюда! Ах да, я и не представилась. Мы из ТЭК — театрально-эстрадного коллектива, то есть из агитбригады. Меня зовут Ванда Казимировна Мицкевич. А вас?

Только после произнесенной тирады и знакомства она спросила, где можно найти главврача.

Я объяснила ей, где следует искать Филиппа.

Буквально через несколько минут после ухода Ванды Казимировны в лазарет началось форменное паломничество. Сменяя друг друга, приехавшие артисты заглядывали сюда по очереди с одним и тем же вопросом: «А не скажете ли вы, где тут можно найти главврача?»

Я хорошо представляла себе, какая мне предстоит выволочка за организованную Вандой Казимировной экскурсию.

Действительно, доктор тут же примчался. Распорядившись, куда и как разместить приехавших артистов, он вернулся, чтобы сделать мне внушение: артисты — народ легкомысленный. Он был бы крайне удивлен, если бы выяснилось, что я этого сама не понимаю. Встречаться с ними я не должна. Это его категорическое требование.

Вечером следующего дня ТЭК давал представление.

Торопили с ужином. Столовую надо было превратить в клуб. Отовсюду сносили скамейки, ставили их в ряды. Оставшуюся часть оборудовали под сцену. «Ах, Аллилуев — тенор! Как он поет! А Сланская — сопрано! Есть и баритон — Головин! Ерухимович, конечно же, что-то новенькое приготовил», — слышалось отовсюду.

Приготовления женщин к лагерному концерту были чем-то новым для меня и заразительным. В деревянном чемодане, подаренном мне ушедшей на волю тетей Полей, лежала все та же марлевая косынка, подкрашенная синькой. Бурочки, сшитые Матвеем Ильичом, были на мне. Я решила идти на концерт в белом халате: будто бы прибежала с дежурства. Но «конторские» соседки запротестовали. На выбор были предложены три платья. Поддавшись радостному возбуждению, охватившему всех, я выбрала одно из чужих платьев. Незатейливое, забытое удовольствие иметь туалет «к лицу» кружило голову.

В клубе все уже было заполнено до отказа. Теснились, усаживались. Стихли. И вот сооруженный из серых больничных одеял занавес дрогнул и, качнувшись, рывками начал раздвигаться, открывая ярко раскрашенный задник, изображавший прерии. Заиграл оркестр, и сразу куда-то рвануло в непредусмотренную сторону, сбросило, кинуло и поволокло, затянув ошейник памяти и боли у поскользнувшейся на музыке души. Я судорожно залилась слезами. Плакали уже все, очутившись лицом к лицу с этой мощной неречевой стихией. Радио на колоннах не было. Я вовсе забыла, что музыка

есть и может выражать так полно и многозначно то, что человек утаивает от себя...

В экзотических костюмах на сцене появились персонажи оперетты «Роз-Мари». Наваждением показалась знакомая ария Джима: «Цветок душистых прерий...» Опереточный сюжет заволновал, выбрав из сложной архитектуры чувств самое немудрящее и мелодраматическое.

Второе отделение состояло из концертных номеров: акробатическая пара, танцоры. Солисты Аллилуев, Головин и Сланская действительно впечатлили более всего, как и юморески в исполнении Ерухимовича. Позабыв все на свете, потеряв представление о месте и времени, мы слушали и, не стесняясь друг друга, то смеялись, то плакали, проживая слаженную гармонией мысль, тоску, желания и отчаяние.

Когда после концерта объявили: «Сейчас будут танцы», я тому никак не поверила. Само слово «танцы» казалось залетным, криминальным; за него вот-вот вроде бы должны наказать. Скамейки между тем были в пару минут сдвинуты к стене, опрокинуты одна на другую, и круг для желающих танцевать был освобожден.

Я видела, как выразительно смотрит на меня Филипп, приказывая взглядом: «Уйди!!!» Но уйти в общежитие, когда оркестр заиграл вальс и все во мне встрепенулось, было выше сил. Хотя бы круг вальса, один только круг, потом уйду. Так велика была жажда вспомнить, как я когда-то кружилась в залах Ленинграда, — будто взлетала куда-то, не помня себя от легкости, радости и восторга.

От приглашающих не было отбоя. Ко мне уже направлялся прославленный солист Аллилуев. «Не подчинюсь приказу! Не уйду!» Хотелось кружиться, все быстрее, все шире захватывать пространство. Но мешала не только зона, а и это яростное «уйди». Совершив над собой насилие, я вышла из клуба.

Освещенные окна столовой откидывали в морозную ночь свой свет. Смикшированная тощими стенами столовой музыка была слышна и здесь. Совсем хмельная, я обежала в вальсе один барак, другой. Хотелось взвиться со свистом туда, в бездонную звездную высь, став ведьмой, оседлать вон ту серебряную краюшку луны. Господи! Боже!

Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный.
Воспаленные глаза сужая,
Так листок срывают календарный...

Одни, вернувшись с танцев, тут же ложились и засыпали, другие просили друг у друга закурить и вспоминали о любви, о доме, о муже, лежа с открытыми глазами, грезили о чем-то своем.

На следующий день мне сказали, что директор ТЭК хочет со мной поговорить. Сердце отчаянно заколотилось.

— Говорят, вы хорошо читали здесь со сцены рассказ Е. Кононенко «Жена». Как смотрите на то, чтобы работать с нами? Нам нужна чтица. Мне кажется, вы не пожалеете, если согласитесь. Порядок у нас такой: я докладываю начальнику политотдела, там

смотрят ваше дело, и если статья не очень страшная, спустят наряд. Ну как? — ждал ответа Семен Владимирович Ерухимович.

Хотелось тут же сказать: «Бог мой! Да, да, да, да! Конечно же! Я согласна!» Но вымолвить вещее «да» мешало: «А что будет с Филиппом?» Разве я имела право самочинно дать согласие, не спросив его? Ведь я обязана этому человеку жизнью! Понимала: чувство это рабское, по сути никак не исчерпывающее меня. Но, приравнивая «да» к предательству, не смогла через него переступить.

— Дайте мне подумать.

— Подумайте! Хотя обычно никто этого не просит.

Молодой директор с располагающей улыбкой был нетороплив, обстоятелен и дипломатичен. Он еще порасспрашивал обо мне. Перед уходом повторил:

— Решайтесь! У нас хорошо!

Куда делась моя решительность? Или прежние горькие ее результаты замкнули что-то в душе? Если бы Филипп меня освободил! Если бы сам сказал: «Поезжай! Так тебе будет лучше!» Он не мог не понимать, что надо именно это сказать. Но я знала: сам он меня не отпустит. Не тот это человек.

Встречи с директором ТЭК я избежала. Так ничего ему и не ответила.

Примерно через месяц на меня из политотдела, при всем этом, пришел наряд. Филипп прибежал разъяренный:

— Ты добивалась этого! Ты просила тебя взять туда!

Он не верил моему «нет». Ничего не хотел слышать. Но не подчиниться политотделу было нельзя.

Был назначен день отъезда. Филипп изложил свой не подлежащий обсуждению план. Он сам повезет меня в Княж-Погост. Зайдет к начальнику САНУ (санитарной службы) и отвоюет меня. Операционная сестра в лагере — дефицит.

Не знаю, как он умудрился сбуть с глаз конвоира, который должен был меня доставить на Центральную колонну, но он это сделал, получив все его полномочия и даже наган.

— Я буду стоять за дверью политотдела и, если услышу, что ты ответишь: «Хочу быть в ТЭК», убью тебя там же из этого нагана.

— Тебе не придется меня убивать. Я не соглашусь, — ответила я, присягая собственным перед ним долгом.

Я прощалась с друзьями, с прильнувшими к окну больными ненадолго.

Для видимости конвоир довел меня до поезда. Затем куда-то исчез. Уже не на цинготных, а на здоровых ногах я поднялась в вагон подошедшего поезда. До Княж-Погоста, где находилось управление лагеря, езды было около четырех часов. Мы ехали вдвоем.

Словно сидя в театре, я наблюдала в вагоне беспечную, как мне казалось, жизнь свободных людей: из корзин вынимали провизию, водку; раскинувшись, спали на полках; беседовали; а за вагонным окном у длинного умывальника, врубленного в землю, стоя, умы-

вались зеки. Сейчас отужинают и пойдут в свои полные клопов бараки. Вон вышки, и опять тайга, и снова колонны...

По радио звучала ария Германа из «Пиковой дамы»: «Сегодня — ты, а завтра — я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи!...» На меня эта ария всегда действовала странно. Я боялась взгляда на жизнь как на лотерейную игру.

В Княж-Погост мы прибыли около часа ночи. Поезд недолго постоял и ушел дальше на север, к Воркуте. И тут мне вдруг стало до паники страшно. Я не умела отрываться от людей, от мест, к которым прибила Судьба. Сейчас Филипп доведет меня до незнакомой колонны, сдаст, и тогда... Филиппу было не легче. Он не мог вести меня, не мог «сдавать». Он просто был не в силах сдвинуться с места. Уткнувшись головой в угол станционной постройки, он ударял кулаком в нее и не говорил, а мычал:

— Не могу! Ничего не могу!

Я похолодела от страха, когда он сказал: «Подожди» — и направился к деревянному поселковому дому с вывеской «Гостиница».

Я не спросила, какой ценой Филипп добился в гостинице номера, чтобы не вести меня сразу на колонну. Несколько часов мы просидели в темноте, как в берлоге, с ощущением парализующего страха, обрекающего на напряженный счет разбухших, отекающих минут. Ни о какой иллюзии свободы речи быть не могло. Даже такой бесшабашный человек, как Филипп, был до чрезвычайности подавлен.

К началу рабочего дня мы уже стояли возле двухэтажного дома, где помешался политотдел. Там нас ожидал приставленный ко мне боец.

— Привез по наряду заключенную Петкевич, — доложил он в приемной.

— А-а, это в ТЭК? Отведите ее на ЦОЛП (Центральную колонну).

— Пожалуйста, — начала я, — дело в том, что я хотела просить оставить меня работать операционной сестрой в урдомском лазарете...

Меня прервали:

— Приедет начальник политотдела, ему все изложите. Он сейчас в командировке. Пока вас отведут на ЦОЛП.

Мы молча шли втроем к колонне. Не доходя до вахты, остановились. Надо было прощаться. Насовсем? Я повернулась к Филиппу. Он был бледен.

— Люблю тебя больше своей жизни. Знай это. Помни. Навсегда люблю. Без тебя жить не могу. Сейчас пойду к начальнику САНУ. Все сделаю, чтобы тебя вернуть! — Он чуть усмехнулся: — Подарю ему свой золотой портсигар. Может, это будет действенное просьба. Я тебя верну. Верну!

Потрясенная мерой его горя, цинизмом крепостного откровения — обмена человека на портсигар, я, как во сне, переступила вахту чужой колонны. Филипп остался за забором на воле.

Мне указали на угол зоны, где следовало искать барак ТЭК.

Лил сильный дождь, превращая снег в месиво, в рыхлые лужи. Огибая эти лужи, я плелась в указанном мне направлении и плакала. Зона была непомерно большой. В один ряд за другим стояли бывалые из почерневших бревен бараки. Все на одно лицо.

Меня почти обогнал пожилой бородатый человек, опирающийся на палку.

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь театральный барак? — спросила я.

— Знаю-с! — ответил человек и посмотрел на меня с превеликим любопытством и даже великим смехом в глазах. — Иду как раз туда.

— Можно, я пойду с вами?

— Можно-с! — прибавил он опять свое ироничное «с». — Ну, а плакать? Это — непременно?

— Нет... да...

Больше не говоря ни слова друг другу, мы благополучно дошли до барака. Какое этот необычайный, похоже духовно неукротимый человек мог иметь отношение к лагерю, к зоне? Почему он здесь?

Да благословит Бог то мгновение, ту встречу с режиссером ТЭК Александром Осиповичем Гавронским! Во веки веков! Аминь!

Вдоль стен театрального барака стояли койки. Посередине нелепого помещения — длинный стол. Барак был одновременно репетиционным помещением и общежитием для мужчин ТЭК.

В дальнем левом углу потертый плюшевый занавес выгораживал кабину для дирекции. В правом углу — на уровне этой кабины — на подставку из кирпичной кладки была водружена перевернутая на бок железная бочка, превращенная в печь. Мощные сырые поленья, набросанные в бочку-печь, шипели. Огонь пытался осилить воду, пропитавшую дрова, сдавался, отступая, и снова набрасывался на них.

Сидя на своих койках, бывших личной жилплощадью каждого, мужчины заканчивали свои утренние дела перед репетицией.

— У-у, кто к нам приехал! — приветствовали меня.

Посыпались вопросы и приглашения:

— Присаживайтесь к огоньку! Давайте-ка налью вам кружечку горяченького чайку. Располагайтесь.

Я почувствовала себя у друзей. Молодой директор ТЭК объяснил:

— Вас сюда вызвали не по нашей инициативе. Я понял, что вам из Урдомы уезжать не хочется. Дело в том, что начальник политотдела, самолично просматривая дела, увидел вашу фотографию и занес вас в список. Так что не обессудьте.

Приехала я не одна и не первая. Для пополнения труппы на этот раз было вызвано человек шесть. Из специалистов нашли одного музыканта — отменного пианиста и дирижера, закончившего Бакинскую консерваторию, обаятельнейшего человека Дмитрия Фемистоклевича Караяниди, прожившего до этого момента семь лет на общих работах. Остальные к искусству никакого отношения не имели.

Немолодая общительная Милица Алексеевна старалась казаться юмой, оживленной и как-то мгновенно тускнела, когда на нее не

смотрели. Хорошенькая Ольга и еще несколько женщин искренне радовались тому, что кривая судьбы помогла им очутиться здесь, и не скрывали этого. Связанная словом, данным Филиппу, я обратилась к директору ТЭК:

— Пожалуйтса, скажите все-таки начальнику политотдела, что я вам не гоужу. Мне действительно нужно уехать обратно.

— Просите об этом нашего режиссера, а то он, по-моему, уже прикидывает пьесу с расчетом на вас, — ответил он любезно, указав на встреченного мною в зоне бородатого человека. — Поговорите с ним.

Александр Осипович не произнес никаких «почему?», «отчего?». Моя просьба «забраковать» меня для ТЭК, кажется, вызвала в нем лишь повышенное любопытство. Оба обещали не вмешиваться и не настаивать на моем зачислении. Со дня на день ждали прибытия начальника политотдела. Решал все он один.

Вокруг шла особая, отличная от всего ранее виденного жизнь. Настраивались инструменты. Распевались певцы, разминались танцоры. В помещении стояла странная звуковая неразбериха, от которой непонятным образом возникало ощущение согласованности и уюта.

Было дивом видеть в пайках тэковцев американский яичный порошок, макароны и сало. Отпечаток исключительности лежал на всем. Общим с остальной лагерной жизнью была лишь несвобода.

На второй или третий день моего пребывания на ЦОЛПе в театральный барак вошла женщина, как и Александр Осипович, поразившая меня нелагерным видом.

— Кто это? — спросила я.

— Тамара Григорьевна Цулукидзе.

Это о ней на «Светике» с таким восхищением говорил доктор Широчинский. Добавляя: «...уверен, что вы с нею встретитесь!»

Теперь она была рядом. Я любовалась ею, изысканной, исполненной женского очарования, не решаясь подойти и заговорить.

Впечатлений было много. Они набегали отовсюду. Все здесь казались мастерами, каждый был по-своему интересен. Но я чувствовала себя временной гостьей. Перед глазами было измученное, больное лицо Филиппа, его требовательные и умоляющие глаза. Я не могла забыть, как он колотил кулаком об угол станционного здания, повторяя свое: «Не могу!» Подавленность между тем отступала. Мне все здесь нравилось.

В барак вошел Александр Осипович. Изящно отставив свою палку и опершись на нее, приподняв бровь с нарочито горестным вздохом, он во всеуслышанье заявил:

— Баба-то моя... стаскалась!

Жаргонизм был столь неожиданным, так не вязался с обликом этого человека, что я опешила... и тут же рассмеялась. Более того, начала безудержно хохотать, чего со мной вообще после ареста не случалось. Словно что-то вмиг спало с меня, пришло освобождение от чего-то принудительного, сковывающего. Я не унималась. Александр Осипович лукаво смотрел на меня.

Это и стало началом нашего «личного» знакомства.

Речь же тогда шла об актрисе кукольного театра Мире Гальперн, одной из верных почитательниц Александра Осиповича.

Наконец на колонну прибыл начальник политотдела Штанько. Его сопровождала многочисленная свита. Лагерные чины в добротных отутюженных шинелях, начищенных скрипучих сапогах появились на пороге барака. Под раболопное и утихомиривающее «ш-ш-шш!» нас, вновь прибывших, построили посередине барака. В накинута на плечи шинели «гражданин начальник» производил осмотр пополнения.

— Что умеете делать? — спросил Штанько, подойдя к самой немолодой из прибывших Милице Алексеевне.

— Танцевать умею, петь могу, — ответила та.

— Так, так! — нагло вато хохотнул он.

— Ну а вы? А вы? — спрашивал он поочередно каждого.

Запратав под платок волосы, стараясь выглядеть спокойной и безучастной, когда, казалось, вот-вот выпрыгнет сердце, я ждала своей очереди.

— Как фамилия?

Я назвала. Штанько прищурился. «Значит, начальник САНО просил его не задерживать меня в ТЭК», — поняла я.

— Чем сумеете нас порадовать?

— Я ничего не умею! — отважно выдержала я взгляд начальника.

— Петь-то умеете?

— Петь? Не умею.

— Танцевать?

— Не умею.

— Читать? Играть?

— Нет. Не умею.

И после некоторой паузы его резюме:

— Нет, значит? Ну что ж! Не умеете — стало быть, научитесь! Останетесь здесь! — уже с заметным раздражением поставил он точку.

Воспользовавшись приходом начальства, директор ТЭК атаковал его просьбами. Напомнил об обещании сшить новые костюмы для исполнителей, включить в программу новые песни и т. д. и т. п.

Я была больше в смятении, чем в отчаянии. Неведомо откуда взявшаяся смелость толкнула меня к начальнику политотдела.

— Гражданин начальник! Разрешите мне только съездить в Урдуму за вещами!

Штанько повернулся. В глазах появилось любопытство.

— Так много вещей? — глаза его откровенно смеялись.

— Не очень. Но...

— Но что? Бахарева повидать надо?

Вопрос был задан так, что я ничего другого, кроме «да», ответить уже не могла. Видно, это «да» все и решило.

— Дайте ей конвоира! Пусть съездит на три дня. Не больше! Все! — отдал он тут же распоряжение начальнику колонны.

В одно мгновение я прослыла за отчаянную, а «царским» жестом Штанько все были немало поражены.

Через три дня меня ждали в ТЭК. Все устроилось как нельзя лучше.

Но если бы знать, чем оборачивается своеволие, нежелание смириться!

С пологого склона Урдомской колонны просматривался каждый, кто к ней подходил.

Представление о встрече превзошло все ожидания. Я была просто обескуражена, увидев, как безоглядно, забыв об элементарной режимной осторожности, прямо к вахте мчался мне навстречу Филипп.

— Приехала! Приехала! — повторял он, не стыдясь слез.

Упование на то, что тебя любят «сумасшедшей любовью», довольно известная ловушка для молодого сердца. И я ободрила себя: «Как он меня любит! Разве можно было не попытаться приехать?»

Самая строгая в своих суждениях по этому вопросу, экономная на слова Таня Мироненко сказала в тот же вечер:

— Понимала, конечно, что он увлечен вами, но не думала, что настолько захвачен и так любит. Он без вас просто мертвец.

Трехдневный срок быстро домотал себя до конца. Я понимала, что теперь-то уже мы расстаемся навсегда. Про себя удивлялась спокойствию, даже безмятежности главврача. Как бы невзначай он тут же и объявил:

— А-а, ты никуда не едешь. Все улажено. Остаешься работать здесь.

«Такой человек, как начальник политотдела, вряд ли мог поменять свое решение», — думала я, но меру доверия к Филиппу не стала мельчить вопросами: как, кто именно разрешил? Сердце у меня тем не менее упало, как у человека, который «шутит с огнем».

Рабочая жизнь вошла в свою колею. Я дежурила, делала перевязки, уколы, готовила к операциям боксы, подавала инструменты.

Опять приходила Ольга Викторовна. Я рассказала ей о встрече с Александром Осиповичем.

— Не только на вас он произвел такое впечатление. Десятки людей находятся под его обаянием. Умен очень, но и саркастичен. Остерегайтесь попасть ему на язычок. Режиссер он, между прочим, первоклассный.

Прошло около двух недель. Вечером, в нерабочее время, из-за зоны прибежал Филипп сказать, что со «Светика» пришла телефонограмма: его срочно туда вызывают, попал под поезд человек.

— С дежурства не уходи, — попросил он, — вернусь — сразу зайду.

Он убежал. И тут же, минут через тридцать, в корпус, где я дежурила, вошли двое незнакомых оперативников. Я еще не поняла, что сейчас должно произойти, но все во мне помертвело.

— На сборы пять минут! И — на вахту!

Я подлежала отправке на штрафную колонну.

Зашла в общежитие взять свой деревянный «исторический» чемодан. В руках старшего надзирателя бесновалась овчарка. В со-

провожении двух отряженных для этой акции оперативников и собаки мы и двинулись в путь.

Напрочь не запомнила, шли мы или ехали. Страх перед штрафной колонной помутил разум.

Штрафной колонны в лагере боялись даже самые «тертые калачи» и отъявленные уголовники. Чтобы очутиться на ней, надо было уже в лагере кого-то убить. Сюда свозили беглецов со сроком за побег, направляли тех, кто был повинен в организации политических бунтов на колоннах или писании листовок.

Так страшно мне было только в ту ночь, когда следователь предъявил ордер на арест.

Зловещая штрафная колонна, которую объезжали все комиссии и тот же ТЭК, находилась на правом берегу реки Вычегды. Обнесенная несколькими рядами проволоки, она охранялась усиленным конвоем и умноженным количеством собак. До того как я увидела лица обитателей колонны, испугали физиономии охранников.

Привезли меня к ночи. В бараке стоял знакомый по «Светику» смрадный запах от сохнувших у печи портянок и бахил. Спали не все. Как это водится в многолюдных бараках, по ночам кто-то «соображал» себе у печки еду из посылочных или уворованных продуктов. Неславное на мой приход, казалось, не отреагировали никак. Отыскав свободное место, я забралась на верхние нары. Фантазия страха не скупилась на картины: подойдут и всадят нож... стащат на пол барака, начнут бить ногами куда и как попало... О том, чтобы восторжествовать над страхом, не могло быть и речи. Но сон в конце концов свалил. И, как прежде, еще затемно разбудил удар в рельсу: подъем!

В бараке закопошились невыспавшиеся, угрюмые женщины. Не все. Идеологи-отказчицы, формулирующие свои установки: «Не работать! Не превращаться в овцу! Заездят, состаришься, кому нужен будешь?» — безбоязненно продолжали досматривать сны. И удивительное дело, вошедший в барак нарядчик и здесь их тревожить не стал. Придирался выборочно: мат, рукоприкладство, удар взащей, визг. Знакомая партитура.

Я украдкой бросила взгляд на подходивших к вахте людей. Уже имелся опыт: откровенное любопытство тут же могло породить смертельную ненависть. Не смотреть, не поднимать глаз было верней.

Меня определили в бригаду, которая рыла траншеи. Стогилась беловодский навык. К середине дня я уже была без сил. Но знала, что перейду одну черту усталости, другую, буду рыть и рыть землю.

Рассказали о недавнем возмущении на колонне. Из-за урезанных паек хлеба зеки взбунтовались, начали требовать проверки. С вышек в зону повернули пулеметы. Приказали замолчать. По тем, кто не подчинился, дали очередь. Убили около десятка человек, увезли, зарыли в лесу. Психическая подавленность витала в воздухе.

Итак, снова борьба за норму, грязь, мат и страх. Разговоров со мной никто, слава Богу, не заводил. Во сне я видела кубометры земли, лопату, пробивавшую мерзлые слои.

Меня вызвали в медпункт. Филипп просил местную санслужбу чем-нибудь помочь мне.

— Вопрос: чем? — сказал фельдшер колонны. — Не в нашей власти дать освобождение от работы. Все под контролем. Единственное, что можем, это просить перевести вас работать в мастерские.

В слесарной мастерской, как и всюду, надо было «гнать» норму.

— Моя фамилия Мирославский, я москвич. Познакомимся, — подошел ко мне один из интеллигентных штрафников. — Вас-то за что сюда?

Мне было трудно сформулировать, за что.

— А вас?

— Посмел написать в ГУЛАГ о том, что начальство обворовывает заключенных. Видели такого наивного дурака?

Мирославский дал целый ряд советов: «Ни с кем в бараке не общайтесь. Не вздумайте выражать недовольство. Припадают дополнительный срок. Здесь многих вызывают в третий отдел, предлагают на них работать. Притворитесь глупенькой. После работы из барака никуда не выходите. Даже за водой — ни-ни. Не дышать! Не смотреть! Не видеть, не слышать».

Дней через десять после перевода меня в мастерские за мной опять пришли из медпункта.

— Возьмите этот тюк белья и отнесите в дезкамеру. Там вас ждут.

Сердце готово было выпрыгнуть. Ждать мог только один человек: Филипп. Как он мог проникнуть на страшную колонну?

В дезкамере банщица молча указала на лесенку, ведущую непосредственно к камере, в которую закладывалось белье для прожаривания. В тот момент баня была выстужена, не топились. Я открыла маленькую дверцу в помещение, где низкий потолок из деревянных балок не разрешал встать в полный рост. Голова уткнулась в потолок. Прямо на полу там сидела Вера Петровна!

— Скорее садитесь рядом. У меня несколько минут, — торопила она. Почему она? Зачем?

Как всегда тараторя, скороговоркой она начала рассказывать. Вести были ошеломляющие.

— Во-первых, я привезла вам ботинки, Филипп беспокоится, что у вас ничего нет на весну. Вижу, кстати: вон какие у вас мокрые ноги. Во-вторых, он хлопчет через начальника САНО, чтобы вас перевели в Межог. Это самый крупный сангородок в лагере. Он совсем голову потерял. Ему кажется, что вас здесь убьют или будет что похуже. В связи с этим он делает одну глупость за другой. Вот вам листочек бумаги, напишите ему, чтобы он не сходил с ума. Не хотела вам говорить, он не велел, но все равно узнаете. Дело в том, что Филипп находится под следствием, его собираются судить.

Она пересказывала события последнего времени:

— Вызов на линию к якобы попавшему под поезд человеку, конечно, был фиктивным. На время, пока вас забирали, Филиппа

надо было удалить. Он приехал туда, увидел, что никакого несчастного случая нет, сразу все понял, помчался обратно, прибежал в корпус и увидел, что на вашем месте сидит Хан-Дадаш (медбрат из другого корпуса). Тот ему и брякнул, что вас увезли на штрафную. Филиппу стало плохо, вызвали доктора Р. и меня. А утром, как назло, привезли рожать жену начальника оперчекгруппы. Филипп лежал, не в силах был подняться. Ему бы хоть смолчать, а он заявил: «Не пойду! Болен, и все. Он (то есть начальник третьего отдела) не посчитался, отправил «ее», теперь пусть его жена рождает как хочет». Доктор Р., сами знаете, как боится роды принимать! Пока побежали за одним, за другим, замешкались. Она и родила в дежурке, почти без помощи. Теперь дело передали прокурору. Ему, конечно, этого не простят. Там на него и так зубы точили. Вы, может, и не знаете, он ведь от пятнадцати нарядов на вас откупился. Теперь ему все припомнят.

Выполнив взятую на себя миссию, деятельная и энергичная Вера Петровна уехала.

Узнанное сразило. Я поочередно пыталась осмыслить факт за фактом. Трудно было поверить в то, что Филипп отказался принимать роды. Он был врач. Нужна была какая-то нечеловеческая взбешенность, чтобы ответить: «Не пойду!» «Откуп» от пятнадцати нарядов показался просто невероятным. Получается, я давно подлежала штрафной колонне? Он это знал?! Был в курсе? И даже сейчас, по истечении трех дней, которые мне разрешили пробыть в Урдоме, задержал меня? Как он понимал устройство мира? И как, собственно, он «откупался»? Деньгами, что ли? Каким-то другим способом? Каким? Что он будет делать теперь, когда его собираются скрутить те, с которыми он прежде так ладил? На пару непосильных вопросов я ответить могла сама. Но не время было подпускать их к «высшей» мере. Филипп находился под следствием, тоже был пострадавшим.

И снова: только лопата, земля, ежеминутная оглядка, изнурение, горькая растерянность.

Неожиданно меня вызвали на вахту «с вещами». Вещей, кроме пресловутого чемодана, не было. Прежнее достояние — бурки, марлевая косынка и привезенные от Филиппа ботинки — было реквизировано воровками штрафной колонны.

На вахте в ожидании этапа стоял пожилой человек.

— Доктор Федосов, — отрекомендовался он. — Вас тоже по наряду к Малиновской?

Я не поняла.

— Ну в Межог то есть?

Тот или иной лагерный пункт здесь нередко связывали с фамилией начальника или главврача. «Отправили к Вагановой» означало — на туберкулезную колонну, в Протоку. «Попал к Малиновской» — забрали в психиатрическую больницу.

— Не пугайтесь, — сказал мой попутчик. — Межог — это не только психкорпус.

— Может, пойдем по реке? — спросил конвойный. — Лед еще крепкий. Или в обход? Это километров на пять дальше.

Нас подгонял резкий колючий ветер. Вызволненные с мрачной, «убойной» колонны мы даже не оглянулись на покинутый ад.

Уже шумела весна. Находясь все время в угнетенном состоянии, я не заметила ее прихода. Идти бы так по реке и идти!..

Межогская колонна совмещала в себе психиатрический корпус, детский приемник, лазарет, парниковое хозяйство и другие работы.

Для медицинского персонала и рабочих лесопилки, куда я попала, в Межоге имелся один, огромных размеров, барак. Часть его была занята четырехместными нарами — вагонками, остальное пространство было тесно уставлено топчанами.

После штрафной колонны, среди незнакомых людей я чувствовала себя зажатой, никак не могла расправиться. Это усугубляло крайне скверное физическое самочувствие. Все было немилостиво, смутно и тягостно. Только некоторое время спустя пришла ошеломившая меня догадка: я беременна!

Необходимость разобраться в случившемся, прийти к какому-то решению гнала меня из многолюдного барака в уединенный угол зоны. Я пыталась обрести в себе объективного советчика, но все более впадала в отчаяние и панику.

После ареста, потеснив все индивидуальное, «земная всячина» беспрепятственно текла сквозь мозг, сердце и воображение. Заполонила собой, казалось, все. Факт беременности, как внезапное «стоп», как протрезвляющий удар, почти контурно отгиснул втихомолку вызревающее «я». Это «я» меня призывало к ответу. Глодали, мутили разум сомнения. Ведь это же лагерь! После рождения ребенка предстоит пробыть здесь более четырех лет. Справлюсь ли? Выдержу ли?.. Но подрастает же здесь дочь той самой Миры Гальперн, с которой дружил Александр Осипович Гавронский. Девочка прелестна, к освобождению Миры будет уже большой.

Наши с агрономом Агнессой Алихановой топчаны стояли рядом. Ежевечерне, перед тем как заснуть, она вынимала из ящика тумбочки фотографию мальчика и разглядывала ее. Это был удивительно красивый осетинский ребенок. Черноглазый, безмятежный, в коротеньких штанишках и матроске.

— Кто это? — спросила я как-то.

— Мой сын Женя.

Фотография завораживала. Потребность посмотреть на этого мальчика стала и у меня теперь похожей на манию. Иметь такого ребенка? Держать в руках своего сына или дочь? Это ли не счастье?

Предназначенное лично мне время ветром пронеслось мимо. Я осознавала это. Ощущала почти физически. И надо мной все больше забирало власть нечто более сущностное, чем решение. Надежда! Упование. Когда же, если не сейчас? У меня будет ребенок! Наперекор всему. Будет дитя, которому я отдам сердце. Не станет выматывающей тоски и черного омота одиночества. Я хочу иметь ребенка!

Один из пережитых в Межоге вечеров, однако, едва все не переиначил. Я стояла у барачного окна, обращенного к детским

яслям. Предвещающий ураганный ветер, небо было химически-малинового цвета. Ясельные окна кроваво отсвечивали. Агрессивная, почти что лающая окраска отжимала реальное лицо кошмара и уродства лагерной данности. Это было адское видение, когда жизнь предстает как гримаса и арена, на которой всему живому назначено мучение. Чудовищным виделся сам факт того, что маленькие дети, которых посмели произвести на свет, живут за проволокой. О чем я помышляю? Безумие! Это преступно.

Но ни в какой иной мир ни сбежать, ни переселиться я не могла. Надо было одолеть этот. Ради будущей жизни. «Ну что это я? Ну что? — отгоняла я от себя наваждение. — Столько прошла в Никуда, а ребенок — это подлинность!» Я поверила в то, что, предаваясь материнству, сменю страдательную зависимость от общества, свое арестантство на глубокие, извечно человеческие связи с жизнью.

Я написала Филиппу. У него к тому времени непостижимым образом все уладилось, угроза суда отпала. Ответное письмо полыхало мольбой не смей ничего делать, выражением радости, обещанием заботиться о нас с ребенком и ожидать нашего освобождения. «Всю мою жизнь мечтал о ребенке. Счастлив! Весь ваш навсегда!» — писал он.

Только нас привели с работы, как вошедший в барак нарядчик велел следовать с вещами на вахту. Куда меня повезут теперь? О ТЭК, как я считала, не могло быть и речи. Там меня давно должны были предать анафеме. Наряд тем не менее прибыл отсюда.

Уезжать из Межого при сложившейся ситуации было бессмыслицей. Через несколько месяцев я все равно должна была вернуться сюда, поскольку только здесь был детприемник.

Права ли я? Четкие линии решения оплывали. Вышагивая вместе с конвоиром к поезду в Княж-Погост на ЦОЛП, я чувствовала себя окончательно запутавшейся.

ГЛАВА VII

ЦОЛП означал Центральный отдельный лагерный пункт. Отдельным его называли, поскольку начальник ЦОЛПа имел права, равные правам начальника целого отделения, включавшего в себя не одну, а целую группу колонн. По существу же ЦОЛП являлся собственно управленческой колонной всего лагеря. Именно это и составляло особенность данного удивительного образования.

Немало я здесь выслушала историй о том, что было пережито людьми до того, как они стали работать в управлении. В 1937—1938 годах, как и урдомские женщины, они пилили лес, укладывали шпалы, голыми руками в сорокаградусный мороз заливали цистерны нефтью, сдирая кожу с примерзавших к железу ладоней. При этом все те же вши, голод и прочее.

Можно понять, чем в таких случаях для заключенного становилась работа по профессии или возможностям. Не имея никаких честолюбивых целей, послушные только творческой воле, эти люди сдавали в общий котел подчас просто гениальные идеи, проекты, технические изобретения. Иные рационализаторские предложения заключенных творцов приносили не только лагерю, но и стране экономию, не поддающуюся исчислению. Сложилась новая практика использования творческой одаренности — без авторства. Анонимная. Так в государстве осуществлялась национализация таких богатств, как человеческие таланты.

Украшив свой фасад одной из самых привлекательных формул человечества: «Свобода! Равенство! Братство!», наше общество в середине XX века спасалось рабским лагерным трудом. Придуманные подпункты, части статей Уголовного кодекса обеспечивали государству бесперебойный приток рабочей силы и узаконили безвозмездное присвоение интеллекта парий. Психика избежавших этой участи людей угодливо и без труда примирилась с несмыканием между лозунгом и интенсивно внедряемыми несвободой, неравенством и уж поистине — небратством.

Лагерное начальство и в быту исправно и на все лады пользовалось способностями зеков. Когда возникла необходимость срочно оперировать начальника СЖДЛ С. И. Шемина, подчиненных обуяла паника: «Надо немедленно отправлять в Москву! Здесь некому делать операцию!»

— Есть кому! — возразил сам Шемина. — Есть Бернад Маркович Шаргель!

За блестяще сделанную операцию одесскому хирургу позже скостили несколько месяцев срока.

Взаимоотношения вольных и заключенных обретали нередко и гротесковый характер. В зону, случалось, приходил кто-то из вохры, присматривая себе зека.

— А ты (иногда «вы») знаешь чего-нибудь такого про второй съезд партии?

— Кой-чего знаю. Был на нем как делегат.

— Так напиши мне тут. Доклад я должен сделать на эту тему.

Политические заключенные такие доклады писали — творчески, дельно. Ну, а за зоной малограмотный вохровец, не вникая в смысл, прочитывал написанное по складам.

Нередко между теми и другими зарождалась даже взаимная симпатия. Однако граница между «народом» и его «врагами» оставалась неодолимым рубежом, несмотря ни на что.

По приезду на ЦОЛП меня поразило все: электрические огни поселка, которые просматривались из-за зоны, настоящая скамейка возле столовой, клуб. Более же всего поражали люди, непривычная вольготность в их самочувствии и поведении. Вокруг была масса интеллигентных лиц и удивительных женщин. Работа под крышей многим из них дала возможность сохранить осанку, походку, волосы и даже прически. У одной прямой пробор и узел волос сзади, у кого-то — ровная челка или уложенная вокруг головы коса. Лица

моложавые, волосы чаще седые. В лагерных «управленческих» дубленках по ЦОЛПу после работы расхаживали поистине женщины-королевы. Любуйся, дивись, читай характеры и судьбы.

В бараке здесь замечали друг друга, слышали, могли ободрить словом, а то и вовсе перевернуть мышление и душу. Такой незрелой, как я в те годы, — тем более.

Меня привезли на ЦОЛП, когда ТЭК находился в поездке по трассе. Возвращения ждали со дня на день. Место мне указали в общем бараке и, к величайшему изумлению, не погнали на работу. Утром после «разводки» дневальная ушла за водой, и в бараке остались одна из цолповских женщин и я. Бледное северное солнышко робко коснулось щеки, сползло и задержалось на заправленных одеялах опустевшего барака. Запутавшаяся в собственных проблемах, я чувствовала себя до крайности подавленной.

— Что вы так убиваетесь? — спросила меня соседка.

Чтобы не обнаружить истинных причин, не быть слишком откровенной, ответила, что жизнь кончена, ее нет, полагать, что она когда-нибудь вернется, не приходится, все, мол, потеряно. И тут на меня обрушилась такая лавина возмущения, что я самым серьезным образом растерялась.

— Как это жизнь кончилась? Что значит: ее нет?

Казалось, я задела в этой женщине что-то глубоко личное. Она вскочила с койки и, как тигрица в клетке, отмеряя шаги, начала меня отчитывать:

— Да кто вам, такой молодой, дал право не считать эти самые мгновения за жизнь? Да, да, и вот эти! Какой другой жизни вы для себя ждете? Как можете объявлять эту недействительной? Я сижу — скоро будет — четырнадцать лет! Какой иной жизни прикажете ждать мне? Вот это и есть моя жизнь! Она — есть! И она — моя! Знали бы вы, сколько людей погибло, скольких нет!..

Позже нас многое связывало с бурной, жизнелюбивой Вандой Георгиевной Разумовской. Тогда она метала молнии, нещадно и жарко костила меня за сказанное. Слезы у меня высохли. Гнев женщины был вдохновенным, искренним и не мог расчищать место неправде.

Сколько раз я говорила себе: «Нет, нет и нет! Эта жизнь не моя! Настоящая жизнь начнется после освобождения. Во всяком случае — с момента рождения ребенка. Выволочка Ванды Георгиевны пошла на пользу. Какой-то хлам во мне воспламенился и сгорел.

Как только ТЭК вернулся, меня из общего барака перевели в женский театральный отсек. Четырнадцать коек здесь делили между собой женщины из ТЭК и театра кукол.

Я очень нервничала. Холодела при мысли о своей полнейшей актерской несостоятельности, от того, что не сегодня завтра это обнаружится. Что за этим последует? И все-таки, устраиваясь на новом месте, то и дело ловила себя на появившемся в глубине души чувстве покоя. Новизна ощущения шла вразрез всякой логике, всему.

Уже на следующий день вместе со всеми я отправилась «на работу» в театральный барак. На приколотом к двери листе бумаги висел приказ: «К постановке принят "Юбилей" А. П. Чехова» — и распределение ролей:

Шипучин — Г. Л. Невольский
Шипучина — Т. В. Петкевич
Мерчуткина — В. К. Мицкевич
Хирия — Я. К. Станиславский

Режиссер-постановщик — А. О. Гавронский.

Я читала, перечитывала, вбирала, впитывала написанное. Несуветная причуда жизни! И этот листок бумаги — расписка, удостоверяющая мою причастность к ней. Неожиданно я развеселилась. Твердила про себя: Гавронский, Невольский, Станиславский, Мицкевич, ..ский, ..ский, ..ский, ..вич, ..вич. Собственная фамилия не в списке на этап, а среди актерских авторитетов!!! Мысленно я танцевала не то менуэт, не то кадрили.

Новая жизнь началась с еще непонятно в чем заключававшихся застольных репетиций. Читали пьесу. Затем — по ролям. Потом предлагалось каждому сказать, как он понимает свой персонаж.

За длинным плохо выструганным столом против меня сидел режиссер с насмешливыми глазами. Он шутил. Слегка издевался, поддевал, дразнил. Этот язык, похожий на половецкие жизни, подтягивал и нравился. Праздничное настроение не покидало. Утром я поднималась, шла на репетицию с предощущением счастья, не понимая, откуда оно берется. На застольном периоде не задержались. Вышли на площадку.

— Тмарочка, — говорил Александр Осипович (от одного того, что ко мне так обращались, в груди все таяло), — она подбегает к мужу... увидела Хирина, поискала глазами зеркало, сняла шляпку, вернулась к Шипучину...

Каждую мизансцену он отрабатывал множество раз, искал, подсказывал, придумывал, дополнял. Радостная атмосфера репетиций раскрепощала. Веселый бас раскачивал качели. Александр Осипович едва успевал выговорить, чего хочет, чего ждет от меня; как зачарованная его подсказкой, я отвечала переосмыслением реплики, движением. Откуда? Что? Почему? Вникать было некогда. Меня кружила, несла неведомая сила. Вроде бы моя, но не совсем.

Ах, чеховская Татьяна Алексеевна Шипучина! Беззаботное, влюбленное в себя создание! Как она умудрилась сотворить такое с моей жизнью?!

— Нет-нет, она ни на что не обращает внимания, не останавливайтесь, — поправлял режиссер.

И я — она «выпархивала»:

— «Кланяется тебе мама и Катя. Василий Андреевич велел тебя поцеловать. Тетя прислала тебе банку варенья... Зина просила тебя поцеловать. Ах, если бы ты знал, что было! Что было! Мне даже страшно рассказывать!.. Но я по глазам вижу, что ты мне не рад...»

— Ну-ка, еще раз вот это место: «... я по глазам вижу, что ты мне не рад», — остановил как-то Александр Осипович.

Я повторила.

— Сохраните эту затухающую интонацию: «...ты мне не рад...» — попросил он. Глядел с интересом. Был, казалось, удивлен: — Да вы, моя дорогая, не уступите и Андровской.

Похвала, как пьяный бродяга, шумела в крови. Сверхслухом, сверхчутьем каждый новый день я ловила сочиненные им поправки.

— Продолжайте, рассказывайте свое, о себе, ей не до Мерчуткиной, не до Хирина, не до юбилея.

Все то стремительное, неожиданное, что происходило со мной в тот момент жизни, имело отношение и к чему-то трансцендентному. Чудо, которого я так жадно и долго ждала, явилось здесь! Его творил реальный человек — Александр Осипович Гавронский. Я отлично понимала: он отойдет, и все во мне пожухнет, потускнеет, «король окажется голым». Понимала, хотя и не знала тогда о существовании такого человеческого свойства, как регенерирующий талант. Этим даром владел человек, которого мне посчастливилось встретить в жизни. Никакой другой силе не удалось бы разомкнуть стиснувший меня после ареста обруч.

Каждый, кто был близок к Александру Осиповичу, узнавал счастье собственного возрождения, становления высших своих возможностей.

Но ведь еще три-четыре месяца, и меня отправят в Межог. Все это исчезнет. Пока же существовал грядущий день, ожидание репетиций, восторг перед тончайшей режиссерской выдумкой и тем, что я могу его не огорчить.

В мае рано утром чей-то громкий затяжной крик буквально рассек сон. Все повскакивали с мест: «Боже, что это?»

— Война кончилась! Войне конец! Победа! Мир! Войны больше нет, братцы! М-и-и-р! — кричали уже не двое, не трое, я десять, двадцать человек.

Обезумевшие от волнения, мы выбегали в зону, в другие бараки, обнимали друг друга, трясли, рыдали. Творилось что-то бесконечно искреннее, прямодушное, сотрясающее до основания. Мир! Мир! Страшное, вопиющее кончилось! И как взрыв — мысль: нас выпустят? Освободят? А как же иначе! В какой это будет форме? Амнистия? Указ? Или просто отворят ворота зоны? Сразу? Завтра? Господи!

— А эти-то чего радуются, контрики? Видали? Артисты! — прокомментировала вохра наше счастье, наши слезы. И... осадила высокую радость самим наличием ущербного сознания.

Война сидела в каждом. Накладывала вето на то, чтобы отчаиваться до конца. Война казалась несчастьем большим, чем заключение.

Горе было общим. В праздник — нас не впустили и на порог.

Надо было выламывать себя из общего, отпочковывать, погружаться в реальное понимание вещей: «Отсидеть придется все сполна! И что будет потом — тоже неизвестно. Это такая же правда, как то, что мамы и Реночки не будет никогда, несмотря на окончание войны».

То, что на наших судьбах это никак не скажется, мы поняли очень скоро. Даже «пересидчиков», в деле которых было четко выведено «До окончания войны», на волю не выпустили.

Мы — это поняли. Заключение иностранцы — не могли уразуметь^{1*}.

Амнистия между тем была преподнесена народу. Государство освободило воров и убийц.

От начальника политотдела поступил приказ директору ТЭК: «Создать хор!» Упредив вопрос: «А кто будет петь?» — он добавил: «В коллективе есть молодые, красивые. Выведешь всех танцоров и драматических на сцену. Пусть поют!»

Музыкантов в коллективе хватало. Их и приспособили нам в учителя. Кончалась репетиция «Юбилея», и я присоединялась к остальным участникам, пытаюсь взять «ми» и «до».

После репетиций хора рядами расставлялись табуретки. К занятиям приступал самый мощный из коллективов — оркестр. Дирижировал Дмитрий Фемистоклевич Караяниди. Старые опытные «лабухи», сразу признав в нем богом данного музыканта, безоговорочно подчинялись его вдохновенным рукам².

Оркестр вообще виделся особым государством, существовавшим по собственным законам. Здесь даже говорили на «своем языке»: хилить, берлять, башли, чувиха...

— Что это? — то и дело спрашивали новички вроде меня.

Едва начинал петь Макарий, брат известного солиста Большого театра Дмитрия Даниловича Головина, как репетиция превращалась в школу. Голос у Макария был красивый, сильный. Подводил слух. Не попадая в такт, он выходил из себя. Оркестранты, напротив, становились невозмутимыми. Начинали все сызнова. И так до тех пор, пока не достигался «унисон». Зато уж после окончания урока тут умели так припечатать остроумной кличкой, что это оставалось за человеком навсегда.

В течение нескольких часов до и после окончания репетиций трубач, флейтист, саксофонист и другие, забравшись в укромный уголок, тренировались сами.

Поражало трудолюбие акробатов ТЭК, их жесткий режим в питании, неутомимость и требовательность к себе. Более умелый старался здесь обучить новичка элементам профессии. Атмосфера рабочего барака затягивала. В хлопотливости, занятости была осмысленность и подкупающее душу бескорыстие.

* Примечания помещены в конце главы.

Вечерами нас выводили из зоны обслуживать вольнонаемных в Доме культуры или маленьком клубе поселка. Наибольшим успехом во время концертов пользовались наши солисты Сережа Аллилуев и Макарий Головин. Жены и дочери начальства кричали им «браво». Мужья раздражались. Не однажды ссылали обоих на рабочую колонну «за шашни», в которых они были повинны куда меньше вольных инициативных дам. К чести дам, они тут же бросались на выручку. Солистов возвращали.

В лагерях не задавали друг другу вопроса: «За что сидишь?». Не спрашивали об этом и Макария. Между тем имя Головиных связывалось с историей убийства жены В. Э. Мейерхольда — Зинаиды Райх. Рассказывали, как, сидя в ресторане, Д. Д. Головин вынул из кармана портсигар, который сидевшие за столиком артисты опознали как принадлежавший семье Мейерхольдов. С этого будто бы и началось следствие. Большинство даже тогда считало версию придуманным и пущенным «в народ» измышлением, прикрывающим куда более подлую политическую подоплеку.

Работа, быт, общение в ТЭК были сплавлены в единое целое. Поскольку жизнь проходила на колесах, в разъездах, готовить приходилось самим. Продукты в виде сухого пайка выдавались на руки. Питались группами. Меня пригласили в «колхоз», состоявший из директора Ерухимовича, Макария Головина и хорошенькой Олечки. Готовили мы с Олечкой по очереди и справлялись с этим без труда. Сеня, Макарий и Оля после концерта в вольнонаемных клубах частенько приносили к столу то банку свиной тушенки, то яичный порошок. Олечка умудрилась как-то принести несколько картофелин. Мне за участие в хоре доставались букетики северных цветов. Макарий хохотал:

— Травка полезна. Ее и ешь!

Дружили. Увлекались. Не чужды были шутке. Если у кого-то подгорала каша или водой заливало ноты, все, бросив свои занятия, обязаны были организовать очередь, и каждый из тридцати человек должен был с наигранным участием задать пострадавшему один и тот же вопрос: «Простите, у вас, кажется, что-то случилось?» И не дай Бог, если тому изменяла выдержка или недоставало чувства юмора.

Олечка пользовалась успехом у мужчин, которые мне не нравились. Замечая, как при ее появлении вспыхивает Дмитрий Фемистоклевич, не ведая предначертаний будущего, я тоном старшей говорила:

— Ты только посмотри, Олечка, какой прекрасный, какой красивый человек к тебе неравнодушен. А ты?

Олечка мне поверила.

«Что у вас общего с этой королевой-влево?» — спрашивали меня. Я видела в Оле иную суть. Усвоив с юности урок Лили — игнорировать молву, также шла «от обратного» и взяла Олю под свою полную и безоговорочную защиту. Вообще собственный нрав и давние привычки нет-нет да и заявляли о себе. Медленно, но я все-таки становилась сама собой.

По наряду в ТЭК из урдомского лазарета прибыл Симон — медбрат, игравший на скрипке. Больше стало друзей, но не легче. Об Урдоме он говорил немного и твердо стоял на своем: «Вы должны порвать с Филиппом!» Филипп писал часто. Я также. Переписка была обстоятельной и подробной. О том, что я жду ребенка, кроме него, не знала ни одна душа.

На ЦОЛПе я открывала для себя мир необычайно ярких людей и судеб.

Театр кукол, как и ТЭК, обслуживал колонны. То обстоятельство, что оба театра в тот момент готовили новые программы и жили на ЦОЛПе вместе, было чистой случайностью. Но именно ей я обязана знакомством с теми, чья дружба стала одной из главных ценностей жизни. Александр Осипович был чрезвычайно увлечен работой Тамары Цулукидзе над сказкой Андерсена «Соловей». И, как мне казалось, Тамарой Григорьевной тоже.

— Вы еще не видели театр кукол? Непременно зайдите. Сегодня генеральная, — предупредил меня Александр Осипович.

На сцене стояла расписанная художником ширма. В черном бархатном платье, в лодочках на высоких каблуках вышла и встала перед ширмой Тамара Григорьевна. Слегка растянутая речь, скупой изящный жест. Прелестная грузинка была неотразима.

Берия был лично причастен к тому, что сделало участь знаменитого грузинского режиссера А. В. Ахметели трагической. Тамара Григорьевна была приговорена к десяти годам «строгой изоляции».

Каждый человек уносит в жизнь воспоминания о моменте, когда определяют его судьбу. Тамаре Григорьевне запомнилось, как сталкивали друг друга со стульев и беззащитно резвились животнo-здоровые семь следователей, перед тем как зачитать ей обвинение. «Вы были чем-то, — сказал один из них, — а теперь вы на дне». И тшась обнаружить следы образованности, спросил: «А вы чего-того играли в "На дне"?»

Да, она была «чем-то»: любимой и любящей женой Ахметели, нежной матерью их сына Сандика, обожаемой на родине актрисой, познавшей вкус славы. Она в прошлом была счастливой!

Год Тамара просидела в одиночке ярославской тюрьмы. Затем этапы, лагеря и СЖДЛ. «Дно?» Но у каждого с «дном» свои отношения.

Посмотрев на ЦОЛПе спектакль, более всего я удивилась куклам и самому факту существования такого театра.

Через много лет Тамара рассказала, как на туберкулезной колонне «Протока», где она работала медсестрой, хирург Трофименко, подхватив пришедшую ей в голову идею создания театра кукол, соорудил из куска дерева головку мальчугана. Обрывки шерстяных ниток стали волосами, пуговицы — глазами. Новорожденного нарекли Степкой. Поместили его в КВЧ на шкаф.

— Детей не видели много лет, и тут вдруг среди тусклого, серого — эта озорная, лукавая мордочка Степки! — устало вспоминала Тамара. — И глаз от него никак не отвести!

Придумала текст. Сделали выгородку. Композитор В. А. Дасманов сочинил музыку.

О программе узнали в управлении лагеря, вызвали на просмотр. К этому событию мать Тамары из Тбилиси поспешила шить дочери бархатное платье и прислать туфли.

Начальнику лагеря С. И. Шемине куклы и театр понравились. Он приказал набрать ей нужных людей и создать для детей «представление»: «Наши дети растут хулиганами, нет никаких развлечений. Будете обслуживать их и — попутно — лагерь».

Так кукольный театр перебазировался в Княж-Погост³.

Друг Александра Осиповича детская писательница Нина Владимировна Гернет незамедлительно откликнулась на просьбу помочь с репертуаром и прислала в лагерь не только свои пьесы и пособие «Как делать куклы», но и посылку с бисером, лоскутками бархата и шелка, клеем и блестками.

Дети вольнонаемных с нетерпением ждали приезда театра кукол. Но надо иметь развитое воображение, чтобы представить, чем стал этот театр для детей заключенных. Ведь лагерные дети не знали, что такое воля, никогда не видели ни корову, ни курицу, ни ромашек в поле. Знали только одних собак, охранявших зону извне. Поэтому, когда в спектакле «Кошкин дом» на сцене появилась собака, дети так дружно зарыдали, что успокоить их было невозможно. Действо пришлось остановить. Зато после спектакля «Соловей» к Тамаре подошел мальчик лет пяти, робко дотронулся пальчиком до ее платья и, когда она наклонилась, чтобы спросить: «Ты что, малыш?» — подняв глаза, он затаенно и тихо произнес: «Тетя, я тебя люблю».

Это дитя не ведало ни того, как звали тетю, ни того, как заслуженная артистка Грузии додумалась в заключении создать этот уникальный театр. Понял зато, что неказистая поющая птичка в нем что-то растревожила непонятной отградой-тоской, обозначив и пробудив тем самым душу.

В углу нашего барачного отсека топилась печь. На ней готовили. Возле нее грелись. Отрешенно глядя на огонь, на кучке дров там подолгу сидела «коминтерновка» — чешская коммунистка Елена Густавна Фришер, в чью обязанность входило здесь шить куклам туловища.

— Меня зовут Хелла! — поправляла она того, кто величал ее по имени и отчеству. Хелла сильно смягчала одни гласные, произвольно лишая мягкого звука другие. Всю жизнь она и потом вместо «вокзал» говорила «вокзаль», «кисель» превращала в «кисел».

Внешность ее поражала. Выющиеся черные волосы смотрелись беспорядочной, плохо расчесанной копной. Черты ее лица, как и весь облик, принадлежали иной культуре и другим, казалось, историческим временам. Она будто сошла с рельефа средневековых монет. В ее удивительных черных глазах полыхала неуемность.

— У-у, да она раз пять или шесть пыталась с собой покончить, — рассказывали женщины. — Когда нас сюда везли пароходом, выбросилась за борт в реку. Еле-еле спасли ее.

Иногда она рассказывала сказки, похожие на быль, порой — действительные истории, казавшиеся вымыслом. Одна из причудливых картин такова: она в красной шляпе и красном платье. Рядом с ней красивый араб в чалме. Ими исхожены улицы Парижа, набережные Сены. Потом — неясные обстоятельства, при которых она предает его. Кому? В чем? Это останется непонятным. Важно только, что предает. И потом никак не может себе этого простить, мучается и казнит себя за это страшно.

История ее появления в лагере канонична: Коминтерн. В 1937 году — арест супругов Фришер. Расстрел мужа. Хелле — десятилетний срок лагерей⁴.

С юности моим жизненным идеалом была идея всемирного братства. Не абстрактная, а в силу какой-то органической к тому склонности. По крупному счету это и сделало нас с Хеллой близкими людьми, несмотря на разницу в возрасте и несходство характеров.

Внешне наш женский барак жил вроде бы относительно спокойной, дружной жизнью. Никто себя не навязывал другому. Но среди населявших этот отсек женщин беспрерывно что-то происходило.

Вот скромная, тихая Хава продолжала спать, когда все уже были на ногах. Голова ее странно свисала с подушки.

— Хава, проснись! — стала ее тормозить Мира Гальперн.

Из-под подушки выпала записка: «В моей смерти прошу никого не винить». Побежали за врачом. О мотивах поступка мы смутно догадывались. И после выхода из лазарета Хава оставалась такой же молчаливой и закрытой для всех. Лишь много времени спустя нам суждено было узнать, с каким пронзительно талантливым человеком могло случиться тогда непоправимое.

«Короб женских тел» был похож на чан, о края которого билась лава самых разнообразных страстей, историй и боли.

В 1945 году из Германии приходили целые составы с барахлом. Лагерное начальство делило между собой тюки тканей и одежду. Повелением начальника политотдела Н. В. Штанько кое-что выделили ТЭК и театру кукол.

Для роли мне сшили длинное, до полу платье. Стянув с себя трижды перештопанную гимнастерку, я примерила шелковое великолепие... Себя, одетую в туалет начала века, не узнала. Захлестнуло мучительно молодое чувство жизни.

Говорили, что «пройти у публики на ЦОЛПе» ничуть не легче, чем у театральной Москвы. Здесь находились завсегдатаи МХАТа, таировского и мейерхольдовского театров.

Наступил день сдачи новой программы и премьеры «Юбилея».

Будто сквозь горячку слышала я шум заполнявшегося зала, как объявили «Юбилей», перечислили исполнителей... как открылся занавес и начался спектакль.

И вот уже реплика на выход:

— Ба, легка на помине!

Меня словно столкнули в пропасть.

— Милый! Соскучился? Здоров? А я еще дома не была, с вокзала прямо сюда...

Спектакль катился дальше.

Уловленный шумок одобрения дал дыхание. Смех ободрил.

Невзирая ни на какие перипетии приготовлений к юбилею банка, Мерчуткина в одну дуду требовала у помпезного Шипучина свои двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек. Татьяна Алексеевна молола свое. В предпринятой атаке на дам у Хирина разлетались счеы. Игнорируя свалку, депутация зачитывала юбилейный адрес.

Режиссерской изобретательности не было конца.

Александр Осипович угадал острую, едва ли не детскую потребность в смехе у людей, находящихся столько лет за проволокой. Но не только. Он решал «Юбилей» как еретический фарс. Фантазмагорическое нагромождение глупости, беспечности, тупого, безмозглого напора и дутой фальши образовывало отнюдь не безобидный абсурд ситуации. Легкомыслие и надменность, которыми люди так охотно и бездумно жонглируют, по мысли режиссера, оборачиваются порой одной из бед общества.

Зрители подолгу и охотно смеялись. «Юбилей» был принят. Успех громкий и безусловный. Поздравляли и меня.

Я, в свою очередь, подошла к Александру Осиповичу со словами благодарности... и ничего путного сказать не могла.

За новое рождение, вспышку доселе неизвестных самой себе сил и чувств, за волшебство грамоты, за раскатанные просторы как поблагодарить? Благоговением! Я и благоговела перед этим человеком.

С наигранной галантностью Александр Осипович протянул мне после премьеры огрызок бумаги:

— А это вам-с! Гнусный стишок.

Плюшке

Пылок директор и даже без меры,
Ласково светятся глазки у зама.
«Юбилей» — это только начало карьеры
Шаловливой, лукавой и опытной дамы.
Как сумею грядущего факты учесть я,
Если Плюшка к тому же великая бестия?

«Плюшке» — выводил и акростих.

Растерялась и расстроилась я страшно. От «плюшки», что означало «белая булка с изюминкой» — съежилась. Еще сильнее ударило «опытной дамы». Какой не собой я присутствовала в сознании дорогого учителя! Подумать только! А мне так необходимо быть принятой им по существу!

В ту пору я действительно пребывала в атмосфере почтительной и возвышенной влюбленности. Писем, объяснений, знаков внимания, как и ревнивых карикатур, было сверхдостаточно.

После премьеры «Юбилея» ко мне подошел один из управленческих работников Илья Евсеевич:

— «Палата лордов» в честь вашего дебюта дает сегодня обед. «Палатой лордов» на ЦОЛПе именовали отгороженную на пять человек часть барака, в которой жили заключенные управленческие «завы» и «замы».

Каждый человек представлялся мне в ту пору не загадкой, как стало казаться позже, а осуществленным решением некоего замысла и воспринимался как нечто завершенное, особенное и единичное. Во всяком случае, трое из «лордов» таковыми и остались для меня на всю жизнь.

Чрезвычайно сдержанный и умный Борис Маркович Кагнер, знаток литературы и театра, в управлении лагеря заведовал плановым отделом. Говорили: он был и оставался убежденным троцкистом. За эту убежденность к его десяти годам в лагере ему добавили второй срок.

Вторым был Николай Трофимович Белоненко. Ленинградец. В прошлом крупный инженер. Сидел за «экономическую контрреволюцию». Имел пятнадцать лет лагерей. Поток его бесконечных рационализаторских предложений приносил лагерю огромные доходы. Все, что с ним произошло затем, фантастично. Об этом чуть позже.

Илья Евсеевич на воле занимался журналистикой. В лагере состоял в должности заместителя начальника финансового отдела управления СЖДЛ. Он дружил с Ольгой Викторовной Третьяковой. Именно через нее мы знали о существовании друг друга. Она сумела так заинтересовать его мною, что он стал добиваться командировки в Урдуму. Приехал туда на следующий день после того, как меня увезли на штрафную колонну. Криминальное обстоятельство еще больше разгорячило его интерес.

Едва я появилась на ЦОЛПе, как, прошумев выношенным едва не до подкладки кожаными пальто, Илья Евсеевич прошагал в кабину дирекции ТЭК просить познакомить нас.

Вечерами он частенько заходил «на огонек». Из-под роговых очков смотрели молодые, добрые и более чем печальные глаза. Он влюбился. Безудержно. Пылко. Каждое утро перед окном нашего барака возникала фигура долгоязого дневального «палаты». Мне вручалось или письмо, или поэма.

И вот «обед» в честь премьеры, которая отмечена на ЦОЛПе как событие.

В рабочем театральном бараке все стремились задержаться допоздна. Одни надеялись на партию в шахматы, другие — поговорить. Я жаждала слушать рассказы Александра Осиповича. Он вспоминал о Моисси, которого считал великим. Помнил до мелочей его исполнение роли Освальда в «Привидениях» Ибсена. Заразительно описывал рождение танца Айседоры Дункан. Владел умением так увести из лагерной зоны в мхатовский «Вишневы сад», что я теряла представление о сне и яви, их отдельной сути.

Но в режимный час открывалась дверь, входил хромой старший надзиратель Сергеев, обводил всех строгими стальными глазами и

пресекал эти беседы коротким словом «Отбой!». Мы обязаны были разойтись под свои крыши.

Заботило одно: всякое обращение к Александру Осиповичу должно было быть наполненным, осмысленным, не лишенным изыска. Не знаю, откуда во мне, тогда душевно тяжеловесной, бралась неожиданная легкость. Мне нравилось вырубать ступени и взбегать по ним вверх к нему.

В письме к Филиппу я писала об успехе «Юбилея», о том, что встретила здесь замечательного режиссера Александра Осиповича Гавронского, сотворившего чудо моего счастливого, привольного сценического самочувствия.

Филипп не на шутку перепугался и забеспокоился. Могу только догадываться о том, что ему пришлось преодолеть, чтобы очутиться на ЦОЛПе.

Он был непривычно мягок и внимателен. Главное, тревожившее его, сводилось к вопросу: «Не раздумала? ТЭК не повлиял, не изменил решения иметь ребенка?»

— Нет! — ответила я.

Так оно и было. В уверенности, что с рождением ребенка только и начнется та моя особенная жизнь, которая меня установит в этом мире, было что-то непререкаемое, похожее на высшее повеление.

Филипп успокоился. Говорил, что верит мне во всем. И неожиданно настойчиво стал просить:

— Познакомь меня с Александром Осиповичем.

Не было у меня права подойти и сказать Александру Осиповичу: «Вы не могли бы?.. Я бы хотела вас познакомить..» — даже при том, что Александр Осипович многое к тому времени знал о Филиппе.

Но Филипп не отступал, просил.

Несопоставимость этих двух людей предстала передо мной со всей очевидностью. Испугала. Но я решилась.

Они с любопытством смотрели друг на друга. После ухода Александра Осиповича Филипп с несвойственной для него потерянностью сказал:

— Он отнимет тебя у меня.

Горечь не содержала и йоты мужской ревности. Значит, он все понял верно. Что же скажет Александр Осипович? Меня не покидало чувство крайней неловкости перед ним и боязни услышать слова неприятия. Вечером, закончив с кем-то разговор, он повернулся ко мне:

— Ну что ж, он очень мил, Тamarочка! — И через паузу добавил: — И трогателен!

По тому, насколько ни одно, ни другое не подходило к Филиппу, я поняла, что худшее из опасений сбылось: он ему категорически не понравился.

Еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я пыталась чем-то утешить себя: «Трогателен?! А вдруг он и впрямь уловил ту самую беспомощность в этом энергичном, деловом человеке, на которую, по сути, я и отозвалась? Ведь это есть в нем! И он был так в этот раз растерян...»

Но правда была, конечно, проста: не понравился.

Когда я поднялась, чтобы уйти, Александр Осипович задержал меня. Рисуя на клочке бумаги чей-то профиль, не отрываясь от этого занятия, он сказал:

— Знаете, Тamarочка, я очень благодарен этому человеку. Ведь он вас фактически спас. Этого никуда не денешь!

Я замерла. Благодарен? За меня? И это сказал насмешливый, язвительный человек? И его точно найденное: «Этого никуда не денешь!»

Начальство СЖДЛ казалось единым кланом, но не было таковым. У каждого была своя история.

Начальник политотдела, высокий и красивый здоровяк Штанько, являлся «выдвиженцем». Жил в свое удовольствие. Опекал ТЭК и театр кукол. Но в искусстве ровным счетом ничего не смыслил. Его курьезные высказывания были благодатной почвой для сочинения уймы анекдотов о нем.

Первым его заместителем был Павел Васильевич Баженов. По специальности инженер-путеец. По партийной линии его направили на строительство Северной железной дороги и уже здесь назначили на работу в политотдел.

Начальник же всего СЖДЛ Семен Иванович Шемина слыл у работников управления за образованного и хорошего человека, умевшего в заключенных видеть людей. Назначение на эту должность означало для него ссылку и наказание, после того как в 1937 году была арестована его жена-полька и он от нее не отказался. До этого Шемина был военпредом Советского Союза в Чехословакии.

Говорили, что если бы не письмо народного артиста Союза Николая Константиновича Черкасова начальнику лагеря С. И. Шемина, Александра Осиповича давно бы отправили на другую колонну и на общие работы.

Письмо такое в действительности существовало. В те времена подобные факты становились событием чрезвычайным, «светом в окне». Сколько детей, мужей и жен присылали тогда отказы от своих родных, чтобы где-то там, в далеких городах, не оказаться уволенными с работы или не остаться без ученых степеней. А здесь знаменитый народный артист хлопочет за знакомого режиссера!

Кто-то даже вызубрил письмо наизусть, передал по цепочке остальным:

«... В вашем лагере находится один из видных деятелей театра и кино А. О. Гавронский. Прошу сделать все возможное для благоприятных условий его работы и жизни. Закончив срок, этот талантливый режиссер должен еще долго трудиться на благо нашего искусства».

Через много лет в один из своих приездов в Ленинград, оказавшись во Дворце искусств, я увидела Черкасова. Подошла к нему:

— Разрешите сказать вам несколько слов, Николай Константинович?

Черкасов взял меня под руку, подвел к дивану, сел рядом. Он уже тогда был очень болен, шумно и трудно дышал.

— Хочется поблагодарить вас за письмо об Александре Осиповиче Гавронском начальнику СЖДЛ.

Черкасов оживился:

— Было такое! Было. Писал. А что? Помогло? Неужели помогло? Не думал, не предполагал. Но писал.

Я сказала, что помогло. И не только Александру Осиповичу, но и всем нам, кто знал, что такое письмо пришло в лагерь.

— Спасибо! Спасибо! — несколько раз повторил Черкасов. — Честно говоря, мало возлагал надежд на то, что поможет.

Пока начальником лагеря оставался Шемина, Александр Осипович был как бы под защитой. Однако истинным хозяином в лагере являлся все-таки третий отдел.

Александр Осипович и здесь, в зоне, не оставлял своих занятий математикой и философией.

Из барака, где он жил, однажды за мной прибежал человек:

— Александру Осиповичу плохо. Просил позвать вас.

Меня охватило такое смятение, что я утратила способность что-либо соображать.

В длинном мужском бараке койки были тесно прижаты одна к другой. Но в двух наиболее разреженных местах обозначалось что-то вроде дощатых перегородок. За одной из них уютился топчан Александра Осиповича. Тут же из пары досок было сколочено подобие письменного стола. Александр Осипович лежал под одеялом с закрытыми глазами. Вокруг топчана валялись клочья бумаги.

— Был обыск! Забрали все, что он написал, — объяснил сосед.

Александр Осипович приоткрыл глаза. Они были мутными от сильной душевной муки.

— Да. Все унесли. Отняли! — сказал он отдельно и снова закрыл веки.

Что сделать? Что сказать? Теперь — знаю. Тогда — не нашлась. Просто сидела возле него в чужом многонаселенном бараке, присутствуя при чем-то вопиющем.

В тюрьме, на лесных колоннах так называемые «шмоны» производились постоянно. Отбирали острые предметы. «Это» было другим — ограблением, воровством. Более страшным, чем то и другое, вместе взятые. Безвозвратно отбиралось то, что производила на свет творческая природа человека.

Казалось, Александр Осипович был в забытьи. Но через несколько мгновений он внятно произнес:

— Ферзём!.. — И через паузу: — Королевой!

Ничего не смысля в шахматах, я поняла главное: это внутренняя попытка справиться с нестерпимой болью. Эзопов язык нужен, чтобы не кричать всем известное: «Не м-о-о-огу!»

Когда позже Александр Осипович говорил: «Как много надо сил, чтобы перенести свое бессилие!» — я неизменно вспоминала этот серый день, барак, его полубредовое состояние, непостижимый для меня способ одоления боли.

Досаду на свою память за все, ею оброненное, не сбереженное.

При живом общении с Александром Осиповичем я неизменно удивлялась обилию возникавших поворотов, решений, тем и подходов к ним. Все вобрать не успевала. Снедавшие душу внутренние распри делали меня ко многому глухой. Но я одержимо жаждала вызнать, что такое «цель жизни», возможно ли нащупать в этой взбалмошенности свой путь, чтобы добиться согласия с собой. Возвращаясь после отбоя в барак, брала в руки карандаш и обрывки годной для письма бумаги, чтобы продолжить разговор с Александром Осиповичем. На следующий день я получала таким же образом написанные листки. И многие годы ответы Александра Осиповича оставались для меня откровением жизни. Приведу несколько отрывков из его писем:

«То, что именуется „целью жизни“, не есть нечто вне нас лежащее, к чему мы стремимся. Когда это так, то это абстракция, зыбкая, малобудительная и реально всегда обманывающая. Цель жизни — не только чаяния, не только направление — это тонус нашей жизни, это ей присущий стержень, непосредственная активность нашего творческого и творящего „я“. В осуществлении через дело, внутреннюю свободу утверждает себя личность, а это, этот процесс завоевания и есть „цель жизни“. Тут сплошные вывихи в философии и религии, в преодолении коих росла наша духовная культура. И вместе — как это просто, если не искать формулировок, а чувствовать. Но о таком мы еще будем много говорить...»

«Я перечел приписку на обороте вашего письма. Девочка моя родная и близкая, я знаю, что я вам нужен. Все, что я „делаю для вас“, я одновременно делаю и для себя. Ну а сами вы подозреваете хоть, как благодарен я Судьбе (даме, отнюдь мною не почитаемой), вам — тебе, Тамарочка, — и себе самому за великое богатство от нашей с вами встречи? Кстати, я с первого мгновения как-то совсем по существу и увидел и понял вас. Словом, „рыбак рыбака...“. Помните? Зашел по Сеничкиной как будто инициативе легкий разговор обо мне и Мире Гальперн. И я в нарушение всего моего разговорного, в частности, стиля, до сего дня непонятно почему „употребил“ такое выражение: „Моя баба стаскалась“. Я чувствовал, что вы не можете не понять, что именно эдакое нарушение и есть — смешное. И вы, действительно, звонко и необычайно умно и обаятельно расхохотались. Тут я и получил лазейку, через которую начал проникать в ваше ослепительное богатство, в вашу суть...»

Любое движение, любой порыв Александр Осипович переводил на язык творчества, обращал их к человеку, как бы говоря: «Смотри, ты сам прекрасен».

Переписка с ним лечила меня от целого сонма комплексов, прочерчивала главную ось существования.

Я долго не решалась заговорить с ним о том существенном, что не умела уяснить сама: о Филиппе и о себе. История наших отношений оставалась тяжелым душевным грузом. Многие в них я называла «изменой самой себе». Отважившись, я однажды в отвлеченной форме коснулась и этого.

«Не надо говорить о своей вине, — отвечал Александр Осипович, — сама же понимаешь, что это неподходящее слово, что все, не как факт твоей жизни, недавнего прошлого, а как отношение к факту, несравненно сложнее и ничем, ни в чем тебя не умаляет, потому что тебя ничто умалить не может (или не должно, если хочешь). Факт, событие, ситуация ничего не говорят, а только то творческое, Человеческое с большой буквы воспринимаемое как отрицательное, но духовно поднимающее и освобождающее личность.

Вот ты говоришь о „большом событии“, одна сторона которого „искалечена“. Либо ты сумеешь рано или поздно поднять это событие до только большого, вытравив в себе как инакомирное все, что „калечит“, либо трагически понесешь в себе боль от того, что событие не будет для тебя большим. Но я не боюсь для тебя и трагического.

Мне, может быть, тебя иногда и жалко по-комнатному и уютному, но жалеть тебя нельзя. Это было бы унижительно для того, кто делал бы это; это свидетельствовало бы о его малости. Таких, как ты, не жалеют. Их всегда уважают, всегда, даже не только тогда, когда любят...»

Как мог человек, не ведавший подноготной, угадать в моих расплывчатых вопросах самую больную и напряженную точку чувствований? Как мог так ответить? Ни одна из женщин, ни одна из самых верных подруг не сумела бы расшифровать мой собственный ребус. Ведь других решений и впрямь не существовало. «Или поднять до только большого, вытравив в себе как инакомирное то, что калечит...» в отношении к Филиппу, или «нести в себе боль от того, что событие не будет большим...».

Инстинктивно я уже выбрала первый путь: от меня требуется сосредоточенность, полнота отдачи. В первую очередь, я сама должна дотянуть, досоздать эти отношения, «поднять до только большого».

Не подозревая, что я собираюсь скоро покинуть ТЭК, Александр Осипович писал мне: «Мечтаю сделать с тобой Машу в „Трех сестрах“. Сама-то ты понимаешь, что ты не Ирина, а Маша?» Колдовская Маша давно влекла. Но все это было назначено уже не мне. При мысли, как скажу ему, что мне осталось здесь быть недолго, меркнул свет.

Александр Осипович Гавронский. Мой первый, мой главный Учитель!

В анкете он писал: «Сын капиталиста».

Родился в 1888 году в семье Высоцких. Тех самых, которые прославились в России своей фирмой «Чай Высоцких». В Одессе существовала присказка: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, население Троцкого». На фабрике собственных родителей он устраивал среди рабочих читки политической литературы, сходки и митинги. Числился в партии эсеров.

Когда я узнала его, он отсиживал вместе с ссылкой уже девятый год. Поскольку ему добавили лагерный срок (для этого был приставлен провокатор), должен был пробыть еще шесть. На самом деле сидел дольше. Мытарств и передыг предстояла еще тьма⁵.

Новая программа ТЭК была уже сдана начальству. Полагалось отыграть ее в Доме культуры для вольнонаемных. Зал был полон. Военизированная охрана с хорошо одетыми женами не скупилась на аплодисменты своему крепостному театру. У вольнонаемных «Юбилей» также имел грандиозный успех.

После спектакля Александр Осипович протянул мне очередное «Ехидство»:

За сплошные дифирамбы,
Что на Вас потоком льются,
Не мешало Вам, madame, бы
Мне хоть нежно улыбнуться.

Что я тля, комар ли, клоп ли
Или прочий насскомый,
Словно к лампе к Вам влекомый,
Чтоб лирические вопли,

И терзанья, и печали
Вы мои не замечали?..
Ах, с такими ли стихами
Подъезжать к подобной даме,

Неприступной и серьезной!
И к тому же слишком поздно
(А быть может, еще рано?)
Рыть подкоп под... и т. д.

И потом, совсем не дело
Состязаться мне с Отелло,
Чтобы стать на склоне лет
Материалом для котлет.

А. Г.
6/VII-45 г.

Когда пришла пора отъезда на трассу, был вручен еще один листок:

Все спали. Только я слагал.
Веселый очень мадригал,
Чтоб Плюшке прошептать на ушко...
Но мне не весело. И пусть!
Не скрою, за улыбкой грусть,
Раз уезжает снова Плюшка.

И снова много, много дней
Быть не смогу я близко к ней.
Почтительно, но все же рядом.
И не увижу, как она,
Лукавством Евиным полна,
Прищуренным поводит взглядом.

С улыбкой и слезами я приложила «Мадригал» к сердцу. Подхваченная талантом этого человека, я им была заброшена в лучший из миров, в причудливый мир искусства и человекотворчества.

Наблюдая незаурядные и высокие чувства окружающих, внимая прекрасным словам, молодость, как что-то отдельное от меня, принимала их как само собой разумеющееся. Но я убеждала себя в том, что в этих затеях не следует искать большего, чем попытку спасти жизнь собственной души, что игрой здесь мостились воздушные дороги в «климат», где было лечебнее существовать, что люди этим только выручают друг друга.

Как показало время, «игры» имели и свое место, и свою нелегкую судьбу, и свою протяженность во времени.

Накануне отъезда ТЭК пришел попрощаться Илья Евсеевич. Попросил меня выйти в зону «поговорить». Пытался дознаться, почему я не отвечаю на его письма, почему холодно принимаю их. Я отказалась от объяснений. Он не на шутку разъярился, с силой разорвал книгу, которую держал в руках и бросил ее наземь. Возмущась подобной сценой, я убежала. Через час в барак за мной пришел один из «лордов»:

— Илье худо. Пойдемте к нам. Успокоить его можете только вы.

Оскорбленная поднятым шумом, я отказывалась. Меня упрасивали. В результате, ничуть не смягчившись, согласилась: «Хорошо. Приду».

Илья Евсеевич лежал на койке с мокрым полотенцем на лбу. Вид имел действительно плачевный. Было в этой картине что-то совсем не лагерное, а домашне-мирное.

Он приподнялся, стал благодарить за то, что я все-таки пришла, а следовательно, как он надеется, простила его. От моего недружелюбия не осталось и следа. Мы уже спокойно говорили о прежней жизни, и я про себя думала, что бурный, некрасивый срыв никак не выражает этого человека, что я правильно сделала, помирившись с ним, как вдруг в разговоре возник непредвиденный поворот. Илья Евсеевич жадно спросил:

— Ответьте мне на единственный вопрос: вы ждете ребенка? Я прав?

Вопрос изумил до предела, застал врасплох. Если бы он был задан женщиной — куда ни шло. Но спрашивал мужчина, посторонний мне человек. В его пронзительной догадливости было что-то от того, что я когда-то в Беловодске назвала в мужчинах «материнским».

— Жду, — ответила я.

— Разрешите мне взять на себя все заботы, когда родится дитя! — сказал он.

Искренность, просительную интонацию, с которой это было сказано, услышала. Но больно стеганул смысл. И я отрезала:

— У ребенка есть отец. Он не собирается от нас отказываться.

Слава Филиппа Яковлевича как беспутного человека давала к такому разговору основания. Мало кто верил в то, что он любит меня.

Откуда же бралась безоговорочность иной веры во мне? Ведь, бывало, среди цолповских событий и впечатлений о своей собственной жизни я начинала вдруг думать с паникой и с испугом. Она начинала

казаться вмененной мне некой сомнительной силой, происхождение которой я объяснить не умела.

Судьба лишь до поры отпустила поводок, предоставила неожиданные цолповские каникулы, чтобы я побывала в центре внимания, среди захлебов и «ахов». Впереди же, как нечто предрешенное, меня ожидал «отзыв» все к тому же суровому жизненному пайку.

Основной задачей ТЭК было обслуживать рабочие колонны СЖДЛ, давать на них концерты. Вагона у ТЭК в тот период не было. Доезжать до колонн приходилось попутными поездами. Конвоиры теснили пассажиров, освобождая для нас несколько купе, чтобы мы не общались с вольными. Но вольные и сами шарахались от нас. Поначалу это ранило. Потом привыкли и к этому.

Замелькали названия станций: Висляна, Иосер, Жешард, Тобысь, Ираэль, Мадмас, Шежам, Микунь... Убогие станционные домишки выглядели вполне невинно. Колонны отстояли от них в двух, пяти, десяти километрах и более.

От станций шли к колоннам пешком. То и дело встречались сбитые в грязные серые бригады заключенные, идущие на работу или с работы. Иногда из этой массы вырывался, полоснув, чей-то острый, горячий взгляд, как свидетельство насыщенной внутренней жизни встретившегося на пути человека.

Баракы на колоннах были переполнены. Нас размещали где попало: в комнатухах при конторах, при медпункте или клубе. Топчанов не хватало. Спать приходилось и на полу, и на столах.

Утром репетировали. Вечером давали концерт.

Пришедшие из леса или с погрузок работяги, узнав о нашем приезде, спешили отмыться, быстрее поужинать и заполняли клуб или преобразенную в него столовую. В первые ряды усаживались вохровцы, за ними — зеки.

Начинался концерт. Все смолкали.

Я знала по себе, что на глухих лагпунктах в тайге человеку, которого дубят недоеданием и непосильным трудом, начинает казаться, что на земле давно уже нет ни музыки, ни песен.

Наш приезд напоминал о забытом поэтическом слове, подтверждал, что рифма, ритм и размер существуют, следовательно, есть цикл, начало и завершение, а значит, если Бог даст — спасение возможно. На сцену выходили Аллилуев и Головин, тенор и баритон. Положив руку на плечо друг другу, они запевали всем знакомое: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море...»

У притертых друг к другу заключенных-зрителей в арсенале средств для разрядки душевной боли имелось одно: горючие слезы. Заглядывая в дырочку боковой «кулисы», я видела, как безудержно они лились по измученным лицам мужчин и женщин. Неотрывно глядя на этих людей, сама утирая слезы, я свято уверовала в то, что мы необходимы друг другу. Только эта вера гасила неуходящее чувство вины за то, что нам в ТЭК неизмеримо лучше, чем им.

Слезы сменяла улыбка, когда выходила танцевальная пара, потом акробаты. На «Юбилее» запертые чувства взрывались и смех порой доходил до общего стога. Я как счастья ждала ежевечернего спектакля. Выход на сцену стал смыслом жизни.

На каждой колонне у тэковцев были друзья и знакомые. Безвыездно сидевшим в зоне мы, разъезжавшие по трассе, казались полувольными людьми.

— Что слышно? — спрашивали нас. — Говорят что-нибудь про амнистию? Расскажите, как там, на воле.

Гостеприимный врач Шежамской колонны Нусенбойм после концерта пригласил нас, человек шесть-семь, «на ужин». Подплясывал язычок горевшей в лазарете коптилки. Кто-то из палатных больных просил разрешения зайти, тихо сидел, завернувшись в больничное одеяло. В который раз начинало утрачиваться чувство реальности и казаться все неким «другим Светом», в котором неизвестно зачем и как очутился. Врач поставил на стол сковородку с поджаренной на рыбьем жиру картошкой. Мы принесли что-то из своих пайков. Последовали жаркие расспросы и откровения, затянувшиеся до утра.

За Шежамом следовали другие колонны. Всюду встречались редкие индивидуальности, интересные и странные люди. Встречались истые джентльмены и чудачки. Как пароль в изгнанную страну человеческого общения был почтительный поцелуй руки, просто взгляд или вырвавшееся из сдавленного горла: «И я ленинградец!»

Колонны прятались в тайге, были раскиданы и по тундре. Мы вязли в дорожной грязи и топи, переезжали, шли и волочились, изнемогая от усталости и тяжести чемоданов. Наконец на день или два останавливались на очередной колонне, давали концерт, собирали свои манатки и снова — в путь. Так я увидела лагерь СЖДЛ, раскинувшийся до самой Печоры, с неисчислимым множеством его лагпунктов, где за забором и проволочными ограждениями содержались тысячи и тысячи сотоварищей по Судьбе. Зоны, зоны, зоны. Человек.

В Микунь мы приехали рано утром, а вечером должны были выступать на колонне. Я и представить себе не могла, что меня здесь ожидает. Отыграв «Юбилей», по неустойчивой, крутой лесенке я спускалась со сцены в общую комнату, где мы разгримировывались. Помогая мне сойти, наш администратор шепнул:

— Вас здесь ждут.

У противоположных дверей комнаты стоял незнакомый седой человек в холщовой рубашке. Я ожидала: он представится, скажет, кто он, что ему нужно. А он молчал и то ли протягивал руки мне навстречу, то ли отстранялся ими от меня.

— Ты только не волнуйся, Тамуся. Только не волнуйся, прошу. Это я, Платон. Ничего страшного. Да, да, это я, — прерывисто и торопливо говорил он.

С именем, с голосом что-то продиралось сквозь сознание. Но сразу поверить в то, что здесь стоит передо мной Платон Романович, человек из прежней, вольной жизни, я не могла.

— Не волнуйся, не волнуйся, — слышала я как в бреду его голос и все не могла сцепить звенья несоединимого. — Когда увидел тебя на сцене, не поверил. Думал, сердце не выдержит, разорвется. Ты — в лагере?! Ты — здесь?! Подожди, я не могу...

Плакали уже все окружавшие нас. А я никак не могла прийти в себя, осознать происшедшее.

Мы вышли в зону. Что-то сминая в себе, безжалостно скручивая, сели на бревна.

— Рассказывай все. Как ты тут оказалась? Как? Мне кажется, я с ума сойду.

Он говорил мне «Тамуся, ты», я, как прежде, «Вы, Платон Романович».

— Ну, а как вы? Вы же были на фронте! Последнее письмо я получила от вас во Фрунзе второго мая сорок второго года.

— В сентябре попали в окружение, затем — плен, оттуда — сюда.

— Сколько вам дали?

— Меньше десяти никому не дают.

Чтоб не образовывалась брешь, после войны шли и шли составы с побывавшими в плену фронтовиками, осужденными теперь на десять лет по 58-й статье, пункт 1 (измена Родине).

Мы пересказывали друг другу обстоятельства жизни последних лет воли и теперь — лагеря.

— Как мама, как сестры?

— Мамы и Реночки нет. Где-то похоронены без могил. Только Валечка жива. С детдомом была эвакуирована из Ленинграда. Не знаю, где она сейчас.

— Не слышала ли что-нибудь об отце?

— Ничего. Знаю только, что сидим оба. И отец, и я.

— Как и где Эрик?

— Эрик в Средней Азии. Тоже в лагерях. Имеет десять лет срока. Иногда пишет.

— Ну, и...

— Он — сам. Я — сама.

— Одна?

— Нет.

Я рассказала все. Увидев ужас на его лице, ужаснулась всему бывшему и сущему и я сама. Господи! Зачем он так плачет? Обо мне? О себе? О чем-то большем? Зачем же он так плачет, Боже?

— Не надо, не надо так...

— А это твое решение — верное? Иметь ребенка здесь? Сейчас?

— А где? И когда? Не беспокойтесь. Я смогу. Знаю, что смогу.

— Тогда, помнишь мою просьбу, если будет сын, назови его Сережей. Я буду его крестным отцом.

Ни он, ни я не вспоминали о Ленинграде, театрах, его любимой «Сильве», о том, как он приходил меня встречать, о Яхонтове,

о Москве, заклинании не ехать во Фрунзе, предложении выйти за него замуж.

За ним были война, страдание, плен, седина, срыв и старость. Все это невозможно было оговорить в один момент.

Он побегал в барак. Притащил сверток.

— Возьми, прошу. На всем свете ты у меня одна родная, единственная. Я и подумать не мог о том, чтобы написать тебе, где нахожусь. И вот... Это — судьба! Здесь теплое белье. Оно мне не нужно. Тебе нужней. Приспособь его как-нибудь. Это банка консервов из посылки.

— Не надо. Я не возьму.

— Не отталкивай меня, Тамуся. Только об этом прошу: не отталкивай.

— Кто же вам шлет посылки?

— Помнишь моего друга — рыжего Семена? Он. Посылает, правда, не от своего имени, через чужих. Сам работает в органах. За связь со мной может полететь, если дознаются. Хуже всего то, что переписываться с ним нельзя. А куда тебе писать теперь? Отвечать будешь?

— В Межог. Буду отвечать. Непременно.

Своей добротой, готовностью помочь любому Платон Романович на всех этапов произвел необыкновенное, ни с чем не сравнимое впечатление.

Когда пришла пора отъезжать, он стоял возле грузовика, на котором нас увозили, и просил моих товарищей: «Берегите ее». Не отпуская моей руки, старался улыбнуться. В последнюю минуту сказал:

— У меня одно слово к тебе: люблю! До конца жизни!

Я знала, что так оно и есть.

Сидя в грузовике, укутанная в какую-то брезентовую покрывку, теперь плакала я. Было жаль отнятой у нас жизни, жаль Платона Романовича. Он был одинок. Рыл на колонне котлован. Ничего, кроме общих работ, ему не маячило. И я от растерянности была не слишком чутка к нему.

В середине июля во мне повернулся теплый комочек. Новое чувство вошло потрясением в душу. Отключившись от внешней жизни, я была теперь сосредоточена только на своем, на мысли о ребенке. Не очень хотелось общаться с людьми. Между мной и окружающими появилась некая стена.

Все уже были в курсе моих обстоятельств. Я уставала. Не высыпалась. Но о предстоящем думала умиротворенно.

Через Вычегду переезжали на пароходе. Хлопотливо и натужно стучала дизельная машина. Я стояла на корме. Река была так близка, что я, казалось, растворилась, текла вместе с нею в невесть кем отмеренной ей протяженности на все времена.

На одной из колонн наши пути скрестились с театром кукол. Около Тамары Цулукидзе был свободный топчан. Мы разговорились. Перед сном она вынула фотографии:

— Здесь я с сыном. Его зовут Сандик. Здесь — я в роли Амалии из шиллеровских «Разбойников», здесь — в «Анзоре». Тут — с мужем...

Кроме внешности человека, фотографии под силу запечатлеть не только воздух времени и целой эпохи, но и «поле» влюбленности. На сохранившихся снимках Тамары было утешительное свидетельство любви двоих людей и сводящая с ума безвозвратность.

Поистине счастливое прошлое было у этой женщины!

Невозможно было представить себе, что она чувствует, думая о своем знаменитом муже. Южная родина далеко. Сын воспитывается не ею, другими. Как и чем она живет? Зачем все это так? Почему? Они уезжали в Урдуму.

— Вам нетрудно будет передать письмо Филиппу Яковлевичу?

— Передам. Знаю его. Он всегда радушно нас принимает.

Жизнь множественными стоками втекала в лагерь. Разъезжая с ТЭК, мы повсеместно встречались с солдатами и офицерами, побывавшими в плену у немцев — «советскими военнопленными». Теперь по селектору нам передали распоряжение начальника политотдела отклониться от маршрута и «обслужить колонну с военнопленными немцами». Мы и понятия не имели о том, что такие имеются в СЖДЛ.

От станции долго шли пешком. Партиями по несколько человек переходили через скрипучий раскачивавшийся висячий мост, соединявший берега неизвестной речки. Дорога вела в глубь тайги.

Командир охраны этой колонны почти вежливо обратился к нам с просьбой не заносить в зону ничего режущего, если таковое имеется. Обещал вернуть, когда будем уходить с колонны. С малой надеждой получить свое незаконное имущество мы сдали его.

Дорожки на колонне были не только чисто подметены, но и посыпаны песком. Бараки возведены на фундаменте. Вместо стекол в рамы вставлена слюда. Не менее прочего поразил нас и клуб: просторный и вместительный.

Появился немец-переводчик, начал изучать программу. Изредка спрашивал что-нибудь. Например: «Что такое ящик? Это — извозчик?»

Вохровцы с семьями давно уже сидели на своих местах. Концерт следовало начинать, а в зал больше никто не входил. Идти в клуб немцы отказывались. Последовало замешательство. Забегала вохра. Через короткое время построенных в ряды немцев привели в клуб в принудительном порядке. Они чинно, с непроницаемыми лицами расселись по скамьям. В недоброй, напряженной тишине мы начали концерт.

Шел первый, второй, пятый номер. Ни звука, ни хлопка. Попробовала было аплодировать вохра, но жидкие попытки выглядели кисло. Концерт был доигран при гробовом молчании.

1945 год. Война была закончена. В неволе, за колючей проволокой томилась и русские политзаключенные, многие из которых были

осуждены за «восхваление немецкой техники», и военнопленные немцы.

Мы воспринимали их как захватчиков, как зло. Кем они считали нас? Чувство ненависти и враждебности ослепляло и нас, и их тоже.

После окончания концерта, как бы в извинение за конфуз, к нам зашел начальник в большом чине, пригласил отужинать. Стол был уже накрыт. Высились ломтики нарезанного белого хлеба, которого мы уже много лет не видели. В котелках стояла гречневая каша и, что было совсем неправдоподобно, белые пончики с повидлом.

Мы стояли, не веря своим глазам. Немцев так кормят? Обида схватила за горло.

— Садитесь же! Садитесь, — говорили нам.

И вдруг наш нервный и капризный тенор Сережа Аллилуев неузнаваемо высоким голосом сказал за всех:

— Мы этот немецкий харч есть не будем! Их кормите! Пусть им, раз для них так.

— При чем тут немецкий? Это — наши продукты. Вы должны понимать: этого требует политика.

Оскорбленные, обескураженные удалялись мы от этого места. Кто-то нещадно матерился. Кто-то зло и беспомощно плакал. Большинство молчало.

Война, кровь, ненависть, политика, мир, жалость; покалеченные, мертвые, блокадные, пленные здесь, в Германии. Мы — следствие. Но так ли далека причина от подобного следствия? Не дальше, чем наше несовершенство от нас самих? Все это предстояло осмыслить не там, не тогда. И никогда — до последней точки, до конца... История и человек — вопрос не только профессиональный. Религиозный и человеческий — тоже.

Объехав тогда колонны северного узла, мы получили еще одно необычное задание. На сей раз нам вменялось в обязанность обслужить город Яренск, в котором не было ни лапунктов, ни заключенных.

Дорожка вилась между квадратами посевов. Созревал овес, ячмень, во ржи мелькали васильки. На меня нахлынули воспоминания детства — белорусские поля, жнивье.

— Знаете, что это? — спрашивала я идущих рядом.

— Нет.

— Да ведь это клевер. Это — вика. А это...

Солнце стояло высоко. Пели птицы. Воля — на минутку!

В нелагерных условиях возник целый ряд трудностей. Куда, например, селить заключенных артистов? По домам? Нельзя. Конвоиров всего два. Распорядились: в гостиницу. Но заселявшие ее командировочные возмутились:

— Жить вместе с преступниками? Безобразие! Нас обворуют! Пристукнут! Ах, они не воры и не убийцы? Ну так тем более, с контриками-сволочами рядом быть не желаем!

После первой волны возмущения сограждане все-таки успокоились. Часть съехала. Большинство осталось.

Нам заштатная вольная гостиница виделась раем. Настоящие кровати с одеялами, простынями и подушками. Крашеные полы, половики, уютный скрип дверей, титан с кипятком. И сколько мира в пейзаже за окном! Воля так вкусно пахла, звучала, была так изначальна. Окружающая благодать мешала уснуть. Вохровцы заняли места, откуда просматривался каждый выходявший.

Яренской публике так понравились наш концерт и спектакль, что они запросили политотдел о разрешении задержать нас еще на пару концертов.

Разрешили. Представления давались платные. Мы делали полный сбор.

Одно яренское впечатление по сию пору теснит мне душу.

Днем нас, хоть и беспорядочным строем, но все-таки под конвоем, водили в столовую. По обе стороны дороги дремали мирные одноэтажные домики с занавесочками и цветами на подоконниках. На одном из домов вывеска: «Детдом № 7». На крыльце его гомонила группа чем-то чрезвычайно озабоченных детей пяти-шести лет. Две воспитательницы им что-то наказывали, объясняли. Дети нетерпеливо толкались, оглядывались, и едва мы поравнялись с их приютом, как они оттуда, словно горох, посыпались на нас, торопливо рассыпая нам в руки небольшие кулечки. Толчая, неразбериха детских голосов: «Возьмите! Это — вам! Вам!» Ничего еще не поняв, в растерянности, мы пытались взять кого-нибудь из них на руки, но они опрومتью бросились назад.

В кулечках из исписанных тетрадных листков лежало по морковке и паре кусочков сахара.

Хриплый рык выдал старшего конвойного. Он заплакал первым. Не выдержал.

Воспитательницы готовили детей к этому загодя. Что же они внушали своим питомцам? Чтоб сироты в послевоенное голодное время поделились своей порцией с арестантами?

Мы оборачивались, махали руками ничейным озябшим душам малых «человеков», согrevших нас на много лет вперед. И плакали. Светло, неостановимо, вздохлеб.

Севернее нашего кучно располагались другие лагеря: Устьвымский, Ухтинский, Абезьский, Интинский, Воркутинский. Лес, месторождение нефти, угля определяли их производственный профиль. В каждом из этих лагерей имелась либо своя агитбригада, либо театральный коллектив.

Вообще у начальников северных лагерей иметь у себя талантливую труппу считалось «хорошим тоном». Начальник Воркутинского лагеря Барабанов, к примеру, славился тем, что «крал» интересных актеров из близлежащих лагерей, оформлял на них наряды через ГУЛАГ. Про Воркутинский лагерь говорили: «Ну, там настоящий театр, там известная Токарская!»

Ухтинская концертная бригада тоже имела славу высокохудожественной. В целом процентов на восемьдесят она действительно

состояла из профессионалов. Руководил бригадой Эггерт, которого многие знали по фильму «Медвежья свадьба». Было много артистов кавэжединцев, или, как их называли, «харбинцев»: Гроздов, Савицкая, Рябых-Рябовский и другие.

Наш директор Сеничка Ерухимович — кавэжединец, как и они, с детской гордостью вещал: «Так я ж еще пацаном видел их на сцене в Харбине. Это ж не артисты, а блеск!» Сеничке мы, кстати, обязаны и рассказом о появлении харбинцев-кавэжединцев на Севере.

Прихоть одного из начальников СЖДЛ увидеть ухтинских артистов привела к тому, что театр затребовали в Княж-Погост, а нас отправили обслуживать колонны Ухтинского лагеря. Хоть и с трудом, нам также удалось посмотреть концерт ухтинцев «из-за кулис».

Это был великолепный парад. Свет, костюмы, оркестр — решительно все было отмечено культурой, вкусом, выдумкой. Пели Зина Корнева, Глазов, обаятельная балерина харбинка Наташа Пушина покорила «танцем с мячом», играл на виолончели мастер Крейн, исполнялись песенки Беранже.

После нашего бедного СЖДЛ в Ухтинском лагере все казалось осмысленным, технически оснащенным. Даже дороги, по которым нас возили, были превосходными.

Геологами в Ухте была найдена тяжелая нефть, которую добывали шахтным способом. До этого обнаружили радиоактивную воду.

На берегу небольшого озера нам показали коттеджи: «Там размещается палата мер и весов, как в Москве. Работают засскреченные заключенные-специалисты».

Удивляли и таинственные лаборатории, и строительный размах. Более же всего прочего — земля, подарившая свою страну неожиданными, удивительными богатствами.

Неизменной и здесь оставалась главная величина: неисчислимое количество заключенных.

Начальник политотдела СЖДЛ между делом усадил нашего директора ТЭК за имевшиеся в лагерном архиве документы.

— Напиши, понимаешь, создай композицию о строительстве Северной дороги, чтоб стоящая была. Ясно?⁷

Во время войны, когда Донбасс был отрезан от Ленинграда, Ухта и Воркута приняли на себя функции северных кочегарок.

Первый поезд по новой железной дороге, проложенной заключенными в болотистой местности, вели также заключенные машинисты. Приехавшее начальство бесстрастно наблюдало, как радовались и плакали невольники-первопроходцы, одолев свой первый рискованный рейс.

Как и многое другое, из композиции было изъято все, что касалось заключенных. Лишившись главного: кем, как, чьими руками была построена дорога, правда переставала быть таковою. Вместо нее в жизнь входила дутая история очередной стройки пятилетки. Такое слагаемое, как лагеря и зеки, страна не вписывала в свою историю, объявляя этот факт как бы несуществующим. Фальсифицировалась история как таковая.

Позже, когда я вышагивала после концертов по уложенным заключенными шпалам немалые версты, на меня не раз из глубин сознания наваливался натуральный ужас. Лунными ночами стальные рельсы мертвенно отсвечивали и призраки оживали. Донимал некрасовский стих:

Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

«Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»

Не поминали! Даже не допустили в «народную память». Сбросили со счетов всех времен.

Поездка в Ухту была прервана телефонограммой: «Немедленно возвращайтесь на ЦОЛП обслужить совещание». Поезда по расписанию все прошли. Доехать до Княж-Погоста можно было только на товарняке.

Подошел состав с хопперами, до краев заполненными углем. По команде «Садись!», как и все, я забралась на чугунную раму, стараясь отыскать какую-нибудь опору.

Ветер и скорость леденили душу. От мелькавших под ногами шпал бешено кружилась голова. Затекли руки и ноги. И казалось, все семафоры были открыты тому составу, чтоб не дать ни минуты отдохнуть, изменить положение, будто шальные исследовательские силы заключили пари «вне людей»: выдержит живое или нет. Трудно сказать, для чего человеку нужен подобный опыт. Однако и он годился.

На управленческое совещание, которое мы должны были обслужить, свезли много людей с разных колонн. Был объявлен выходной день. Возле клуба установили громкоговоритель и пустили музыку.

В непривычном и приподнятом настроении все высыпали в зону. Приехавшие отыскивали знакомых. Праздничность, солнечный день прикрывали уродство. И вдруг мы увидели, что крыши расположенных за зоной домов усыпаны забравшимися на них поселковыми вольными — и взрослыми, и детьми. Они глазели на происходящее в зоне: зеки разгуливали, были оживленны. Вольные люди полагали: им жить скучнее, хуже.

В обычные дни после работы, отужинав, заключенные тоже выходили в зону пошагать туда-сюда по дороге, ведущей к вахте. Ходили парами, поодиночке, втроем. Зрелище, надо сказать, было

ошеломляющим: тьма значительных, умных, красивых людей! Это было не просто общество. Скорее, засаженная за проволоку целая общественно-историческая формация. Далеко не однородная, изнутри во многом конфликтная, разговаривавшая тем не менее на едином языке. Отменно образованные люди общались между собой без затруднений. О текущих событиях рассуждали примерно так: «Ну а чем вам не Рим...», «Зачем далеко ходить, вспомните Силезию...», «Монтень изложил это более емко...», «Платон предлагает иное...».

— А кто этот Давид Владимирович Шварц, с которым вы меня познакомили? — спрашивала я Александра Осиповича.

— Личность вполне замечательная. За любой справкой можешь обращаться к нему. Трудился в редакции Большой советской энциклопедии. Здесь и сестра его — Эсфирь Владимировна. А вот фамилия того уника — Горелик. Физик и математик. Если пожелаешь, расстояние от Сатурна до нас вычислит тебе моментально и семизначную сумму вмиг умножит на любое число. Приметь и того, неизвестно от чего расвирепевшего сейчас человека. Мой сосед. Непременно попрошу, чтобы дал почитать тебе свои сонеты.

В углубленных беседах люди отводили душу, тешили себя воспоминаниями, горячили друг друга спором. О душевном, заветном прекрасно умели молчать, — была выучка. Они многое знали «про жизнь, про человека».

Во время ухтинской поездки мне показали особу, находившуюся раньше в СЖДЛ и приставленную к Александру Осиповичу провокатором. По ее доносам ему был организован «второй срок».

Я во все глаза смотрела на эту женщину. В разговоре с Александром Осиповичем с горячностью высказалась:

— Она — не человек!

Александр Осипович смолчал. Когда же я к этому вернулась снова, он с каким-то горьким и отстраненным покоем сказал:

— Видишь ли, факт — это еще не все.

Меня не однажды удивляла терпимость пострадавшего к доносчику. У всех на глазах происходило множество таких встреч. И что? Вспыхивали сильные правые чувства, но как-то замирали, словно их делили на некий икс. И становилось все похожим более на горечь, чем на ярую схватку...

«Весь сыск испокон веков строился на чувстве ответственности арестованного за близких и родных, — говорил один цолповский знакомый. — На допросах нам угрожали: не подпишете — арестуем мать, дочь, расстреляем жену». Все попадавшие в жернова органов НКВД проходили через это, познавая что-то мне еще неизвестное.

«Факт — это еще не все!» Не новая для мира истина открылась мне тогда впервые. Пришла пора иначе понимать и мыслить, подвергнуть пересмотру свои ощущения, поступки бывших друзей. Являлся иной план жизни. Бог и черт, мораль и безнравственность переставали быть конечной инстанцией. За тем и другим возникало свое антипространство. Одно переходило в другое. Понятия замутились, становились чащобой.

Я еще не умела обходиться с наложением подобных суждений на факт. Слыла за максималистку. Ненавидела все, что рождало удвоение сознания.

Возле цолповской столовой, клуба и конторы в распушенной, разрыхленной земле был высажен табак. Сладковато-вязкий запах неброских четырехлистных цветиков имел надо мной особую власть. Направляясь вечерами в театральный барак, я специально делала круг, чтобы вдохнуть в себя их отрадный, волнующий аромат. Запах табака стал для меня неотторжимым от представления: ЦОЛП.

Несколько лет назад я спохватилась: «Господи, собственно откуда там брались цветы? Ведь нелепость, нонсенс». Я позвонила старому другу:

— Сеничка! Ты помнишь, как пах вечерами на ЦОЛПе табак?

— А как же!

— Так объясни Бога ради: кто его сажал? Чьих рук, чьего сердца это было дело?

— Была такая дама — Инфантьева. Она просила своих домашних присылать ей в посылках семена, сама и сажала их.

— Может, ты тогда и другое мне объяснишь? — решила допытаться я. — На обеде в «палате лордов» была бутылка ликера с самодельной этикеткой...

— Можешь не продолжать. Бруссера помнишь? Пивовара из Горького?.. Ему тоже в посылках присылали, только не семена для цветов, а экстракт и сироп. Он готовил лимонад и ликер для начальства. И этикетки разрисовывал сам. Он, знаешь, плохо переносил Север и все острил: «У меня от этих белых ночей темно в глазах».

Насыщаясь событиями, окружением и настроением, я уже мысленно прощалась с ЦОЛПом.

После одного грустного разговора Александр Осипович пригласил меня зайти в барак. Я присела у его самодельного столика. Он что-то вынул из чемодана и сказал:

— Я хочу тебя познакомить со своей женой Олюшкой.

Протянул мне фотографию примерно 25x20. С нее на меня глянуло прекрасное и горестное женское лицо. Стриженная. В зимнем с меховым воротником пальто. В глазах — застывшая боль.

— Это моя жена, Тamarочка. Еще ее зовут Зулус. Когда-нибудь ты с ней познакомишься и очень ее полюбишь.

«Вот он — тайный источник сил дорогого моего Александра Осиповича», — думала я. Более десяти лет они были в разлуке. Я слышала, что она все эти годы посылала ему посылки и письма, поддерживала его. И разве я могла тогда предположить, что, и правда, познакомлюсь с ней через шесть лет и она станет мне родным, бесконечно близким человеком.

— Спасибо! — сказала я тогда, вернув фотографию. — Познакомилась.

Вместе со снимком он случайно вынул письмо. Подумав, спросил:

— Это стихи Олюшкиной подруги, Елены Благиной, посвященные ей. А муж Елены Благиной — поэт Георгий Абалдуев.

Тоже арестован в тридцать седьмом году. Хочешь, прочту стихи Благининой?

Еще бы я не хотела! Только бы он говорил, только бы читал и знакомил!

Из письма Благининой-Улицкой 6 января 42 года. (Благинина жила в полуподвальной квартире на Кузнецком мосту.)

О былом содоме
Памятку сотри.
Стало тихо в доме
На Кузнецком три.
Не шумят подвалыцы
И гостей не ждут.
У хозяйки пальцы
От стужи гудут.
Сыпется зловеще
Мокрая стена.
На хозяйке вещи —
Рванина одна.
Ест она картошку,
Черный хлеб жует,
Ну и понемножку
Все-таки живет.
Божия старушка,
Тихая свеча,
Вашая старушка,
Ох, и живуча.
Еле-еле дышит,
Тащится, бредет,
А чегой-то пишет
И чего-то ждет.

Ждет она подружку
Сердца своего,
Ждет она подружку,
Больше никого.
Все-таки в подвале
Хоть неяркий — свет,
Все-таки в подвале
Хоть плохой — обед.
Пусть промерзали стены
И харчи плохи.
А живут камни
И текут стихи.
Рядом с Бенвенуто —
Пушкин, Тютчев, Фет.
За окном самота,
Карнавальный свет.
В залах нету страха,
В них особый тон.
Будто фугой Баха
Полон небосклон.
Приезжай, подруга,
Я тебе верна.
Трудно жить без друга
В наши времена.

Я попросила разрешения переписать вирши одинокой души. С ними будет легче жить дальше.

Возле поселка горел лес. Потягивало дымом. Скоро это обернулось солидным пожаром. Нас вывели тушить огонь. Много часов подряд мы работали бок о бок с волными, с начальством. Рыли траншеи. Все были в дыму, перепачканы, утомлены. Я вдруг очутилась лицом к лицу с начальником политотдела. Он загорелся явным намерением что-то спросить, но отделался незначительным вопросом. А через несколько минут ко мне подошел наш директор и смущенно заявил:

— Штанько просил уговорить тебя сделать операцию, чтобы ты не уезжала в Межог.

Вроде бы исходя из интересов ТЭК и вроде бы с запинкой, но посмел так сказать.

Из поездки на ЦОЛП возвратился театр кукол. Тамара Цулукидзе привезла письмо от Филиппа. Он беспокоился обо мне, спрашивал, когда меня отвезут в Межог.

— Он провожал меня, — рассказывала Тамара. — Много и горячо говорил, как любит вас. Похоже, что это так и есть. Разоткровенничался, рассказывал, как уходит в лес, смотрит в ту сторону, где вы находитесь, становится на колени и чуть ли не молится там. Мне не по душе такая патетика, но это, видимо, в характере? Да? Вы сами-то верите ему?

— Верю!

— Тогда тысячу раз простите!

Я знала за Филиппом тягу к «представлениям». Полагала: от избытка сил. Немного пугало такое, но не слишком. «Ведь любит!» — уговаривала я себя. И действительно верила ему.

Щит у Дома культуры возвещал о концерте московской бригады под руководством Покрасса. Воспользовавшись благодушным настроением начальника, мы попросили разрешения «для уроков мастерства» побывать на нем. Штанько дал добро: «Но только из оркестровой ямы».

Покрасс вышел на сцену поприветствовать сидевших в зале. С привычным радушием обвел глазами ряды и, заметив жадно глядевших на него из оркестровой ямы людей с охранниками по бокам, осекся. Последовала пауза осмысления, и, не отводя уже больше взгляда от нас, Покрасс отвесил поклон не залу, а нам.

От публично продемонстрированного сочувствия спазмом перехватило горло. В зону мы вернулись взволнованные прежде всего от вызывающей по тем временам дерзости вольного артиста.

ТЭК собирался выезжать на трассу. В маршрутном листе были колонны южного узла. Следовательно, до Межого я могла доехать вместе с ними.

Вечером я зашла в театральный барак. Там все шло своим чередом. Дмитрий Фемистоклевич с Магометом Утешевым, как истые бакинцы, расписывала достоинства азербайджанской бани. Олечка уже давно перешла к ним «в колхоз», что-то готовила на плите. Кто-то писал письма. Наигрывали на инструментах, беседовали...

Меня вдруг охватил дикий страх от мысли, что я покидаю ЦОЛП, ТЭК, отказываюсь от товарищей, от Александра Осиповича.

Почему, совершая тот или иной поступок, я мертвею от лютой тоски и ужаса, а остановиться не могу? Каким разумом, чьим повелением я прихожу к тому или иному решению? Почему так послушна первичным силам Судьбы? Будто они, а не разум правят всем на земле.

Вокруг не нашлось ни одного человека, который одобрил бы задуманное мною. Но за каждым из прекрасных окружавших меня людей была своя жизнь, своя семья. А за мной? Вот я и собралась зачинить ту внутреннюю брешь, в которую задувало из черноты мироздания.

Я попрощалась с цолповскими друзьями.

В Межого тэковцы вышли из вагона. Давали обещание писать.

Мы с бойцом тронулись в путь. Я оборачивалась, пока поезд не отошел.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В ТЭК находились румынские евреи братья Розенцвейги. Миша — скрипач, Захар — парикмахер. Когда-то они жили в Бухаресте. Заветной их мечтой было попасть в Советский Союз. Они собственными руками соорудили аппарат, позволяющий продержаться под водой при переправе через реку Прут, и осуществили задуманное. Вынырнули на нашей стороне. Мокрые и счастливые заорали: «Ура-а-а!» Окриком «Руки вверх!» пограничники пыл охладили, помогли понять, что сие значит.

Срок они получили небольшой. Всего три года. Он минул. Их не освободили. Пообещали выпустить после окончания войны. Не выпустили и теперь.

В их глазах стоял вопрос. Никто им не мог на него ответить.

Через много лет, будучи уже на свободе, я разыскала братьев Розенцвейгов в Черновцах. Находясь в тех краях, нашла их многолюдную квартиру, располагавшуюся в подвальном помещении. Постучала. По другую сторону двери приподняли занавеску, и я увидела заспанное лицо Захара. Лицо уморительно сморщилось, по щекам потекли слезы. Кроме кровати, стола и пары стульев, в комнате ничего не было. На выбеленной стене висел портрет их отца. После побега сыновей в страну Советов он под пытками умер в сугуранце. Оба не прощали себе его смерти.

² Родители Дмитрия Фемистоклеви́ча Караяниди, греки по национальности, в 1929 году уехали из России в Грецию. Навестив их в 1931 году, Дмитрий вернулся обратно и поступил в Консерваторию г. Баку к профессору Шароеву. В числе двадцати четырех пианистов прошел в 1935 году два тура на Всесоюзном конкурсе музыкантов в Ленинграде. Перед третьим туром бакинка, которую во время прослушивания отсеяли, обратилась в жюри: «Кого выдвигаете? Он же иностранец!»

По доносу секретаря парткома («восхвалял Гитлера») в 1937 году Дмитрий был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Он пережил все, что называется «заселением Севера», с азав. Не раз был на краю гибели. Рассказывал, как в самый критический момент на комиссовке один из заключенных-врачей сказал: «У нас такие работают», другая воскликнула: «У него стеклянные глаза, он одной ногой на том свете», и как вольнонаемный начальник колонны резюмировал: «Немедленно госпитализировать».

В течение семи лет он был на общих работах: разгрузка барж, строительство, «с руками пианиста» лазил на столбы и тянул провода, закрепляя их при любом морозе. И только после посещения колонны агитбригадой, аттестованный земляком бакинским дирижером Утешевым как прекрасный пианист, он был взят в ТЭК.

³ Тамара Сулукидзе оказалась отличным организатором, ее не случайно называли «вагоном энергии». Ко всему она держалась своих представлений о чести. Когда администратор украл часть продуктов, выданных на коллектив, отвесила ему при всех звучную пощечину. О том, что она «бьет артистов», донесли начальнику политотдела. Выслушав объяснение, он вынес вердикт: «Правильно сделала!»

⁴ Хеллу Гласову, по мужу Фришер, в политическую деятельность втянула подруга. Со своим будущим мужем, инженером кабельного завода г. Кракова, она познакомилась в Вене. Когда на заводе узнали, что он общается с коммунисткой, его уволили. Долгое время он не мог устроиться на работу. Затем они оба получили приглашение в Аргентину. Но вмешался секретарь компартии Чехословакии Готвальд, предложив им вместо Аргентины уехать в Москву, для чего Фришер обязан был вступить в компартию. Он вступил. Сына (1926 года рождения) Хелла оставила сестре в Праге, и они уехали в Советский Союз. В 1937 году в Москве инженера Фришера, мечтавшего создать здесь «кабельный факультет», расстреляли. Хеллу приговорили к десяти годам лагерей.

⁵ Александр Осипович Гавронский был арестован царским правительством и приговорен к расстрелу. Бежал за границу.

За границей провел несколько лет. Затем вернулся в Россию.

Научная деятельность: окончил философский факультет Марбургского университета, окончил филологический факультет Женевского университета и институт Жан-Жака Руссо. Написал работы: «Логика чисел» (теория чисел с точки зрения теории познания), «Методологические принципы естествознания в связи с неевклидовой геометрией».

Художественная деятельность: работал в театре с 1916 года; с 1916 по 1917 год был режиссером Цюрихского городского театра и главным режиссером Женевского драматического театра. Основные постановки: «Двенадцатая ночь», «Ревизор», «Братья Карамазовы», «Балаганчик», «Столпы общества», «Смерть Дантона».

После революции был режиссером Незлобинского театра. Постановки: «Мария Тюдор», «Коварство и любовь», «Всех скорбящих».

В 1924 году состоял ответственным руководителем Гостеатра-студии имени Шалляпина.

В кино — с 1924 года (Госкино, Межрабпом, Госвоенкино, Белгоскино, Украинфильм). Кинофильмы: «Мост через Выпь», «Круг» (совместно с режиссером Райзманом), «Темное царство», «Любовь».

Административная деятельность: в 1918—1919 годах — заведующий театральным отделом; в 1919—1921 годах — заведующий художественным отделом МОНО (Московский отдел народного образования); в 1921—1922 годах — начальник политпросветчасти ГУВУЗа; в 1923 году — заведующий отделом зрелищ Всероссийской выставки.

Александр Осипович работал вместе с А. В. Луначарским. На студии «Украинфильм» его многое связывало с А. П. Довженко.

Арестовали Александра Осиповича в Москве. Его жена пошла на Лубянку, чтобы спросить у следователя: «За что?» Ей ответили: «Ваш муж знал о готовящемся покушении на Сталина», и бесосновно обратились к ней с вопросом: «Он говорил вам, от кого узнал об этом? Кто именно собирался совершить преступление?»

«Дело» не имело под собой никаких оснований, ни одного свидетеля. Александр Осипович был выслан на Медвежью Гору. Жена поехала за ним.

В 1937 году срок ссылки кончился. Жена уехала чуть раньше. А он, едва успев доехать до Москвы, тут же, на вокзале, был опять арестован. В те годы любили «брать» в поездах и на вокзалах.

Снова следствие, заочный суд. Дали пять лет лагерей. И отправили на Север, в Коми АССР.

В 1942 году, когда он должен был выйти на волю, допустить этого не захотели. К нему был приставлен провокатор из заключенных. По ее доносу Александра Осиповича посадили в центральный изолятор, где он провел мучительные месяцы в ожидании расстрела. Но на расстрел «дело» никак не тянуло. Был дан новый, так называемый «лагерный срок» — десять лет.

6 Когда японцы вошли в Маньчжурию, образовав Маньчжоу-Го, и поставили во главе правительства сына последнего императора — Луи, со стороны Японии начались провокации. Юридически они не могли вытеснить советское представительство. Прибегали к диверсиям. В конце концов было выдвинуто предложение: откупить долю Советского Союза. СССР пошел на переговоры. В 1935 году Япония оформила эту покупку. Наше консульство в Харбине обратилось к советским гражданам с предложением возвратиться на Родину. Из пятидесяти тысяч пожелали уехать сорок восемь!

Возвратившихся кавэждинцев на всем пути следования по России встречали с лозунгами, плакатами со словами приветствия, цветами и столами, накрытыми едой.

В 1937 году в специально разработанном реестре для ареста граждан появились и такой пункт: «...лица, которые когда-то были за границей, подлежат изоляции».

Так и появились в лагерях представители сорока восьми тысяч устремившихся к родному очагу людей. Арестованным предъявлялось обвинение в том, что они перед выездом в Советский Союз были якобы завербованы японской разведкой. На следствии большинству внушали: достаточно признать только факт вербовки. Они, мол, понимают: что-либо совершить завербованные и по времени еще не успели. Значит — не за что будет наказывать.

Были и образцы версий. Арестованным они предлагались готовенькими с небольшими поправками на индивидуальность. Говорили: «Напишите так: однажды ко мне на квартиру пришел человек. Он попросил меня собирать сведения о Красной Армии. При этом обзывал меня поступить в институт (это если возвращавшийся был молодой и действительно успел подать заявление о поступлении в вуз). Через некоторое время ко мне должен был прийти связной и сказать пароль: «Ну, как идут занятия в институте?»

Не пожелавшие подписаться, равно как и поставившие свои подписи под заготовленным для быстроты и удобства текстом, в конце следствия одинаковым образом подводились под статью КРД — контрреволюционная деятельность и со сроком десять лет стальной вагонами следовали на Север в лагерь.

7 Документы являли следующее: в 1922 году в районе Воркуты, находясь в тундре на охоте, некто Попов придвинул к костру камень. Тот загорелся ярким пламенем. Охотник поискал схожий. Бросил и этот в огонь. Эффект такой же. Вернувшись в селение, рассказал об этом, показал находку. Решили отправить камень с ходоками к Ленину. Специалисты определили: антрацит с большим содержанием кислорода. И можно дешево его добывать, поскольку лежит на поверхности. В том же 1922 году Совнарком принял решение: приступить к изучению большеземельной тундры. Изучали долго. Проблему добычи угля надо было увязать со строительством железной дороги Котлас—Воркута. Бывшая авто-лежневая дорога из бревен должна была быть заменена железной.

О том, что было сделано заключенными до 1940 года, повелели умолчать вообще. По документам получалось, что к строительству железной дороги приступили лишь в 1940 году.

На самом деле все началось раньше. Из северных лагерей самым старым значился Ухтинский. В 1937 году сюда начали огромными партиями свозить заключенных. Один за другим стали появляться новые лагеря.

В 1941 году от станции Котлас до станции Кожва уже прошел первый поезд. А в 1942-м через реку Печору был переброшен мост. Заключенными здесь строились депо, насосная станция, вокзал, складские помещения, дома, поселок.

ГЛАВА VIII

В детстве я сосредоточенно и весело перепрыгивала на одной ноге из одного очерченного мелом на панели квадрата в другой. Ныне, сопровождаемая вооруженным конвоем, переходила из одного в другой понастроенные на краях государства квадраты с проволочным ограждением.

Первый случай был игрой «в классы». Этот — Судьбой.

С неразговорчивым охранником предстояло отшагать километров шесть.

Не принимая солнечных лучей в свою крошечную мглу, таежный лес подставлял им только опушку. Зато поля и луговины выпивали не только тепло, но, казалось, и цвет солнца — таким оно было неярким. Щebetали птицы. Я торопилась вобрать в себя последние глотки воли.

Меня поселили в тот же медицинский барак, в котором я прожила несколько дней в первый приезд сюда. Почти то же место. Люди уже другие. Много новых.

Женщин, имеющих здесь детей, называли «мамками». В наименовании этом было намешано много: признание за ними некоторых прав, доля снисходительности, жалости и столько же презрения.

Как и все лагерное, разными были и «мамки»: молоденькие и пожилые, из блатных и интеллигентные, с мужьями — отцами своих детей и без оных. Отец, понятно, был желателен всегда, но «светом в окне» становился ребенок, дитя.

Решимость иметь ребенка в лагере была одиночным восстанием женщин, противостоянием общественной силе, наловчившейся душить и отнимать и это — одно из неотъемлемых прав жизни. Кто выигрывал, а кто был бит в схватке жизнестойких сил с социальной жестокостью — выяснялось позже. Условия поединков были преступно неравны.

Каждая жизнь была особой, и настолько, что даже барак не мог здесь превратить людей в однородную массу, как на «Светике». Одна судьба, седьмая, сороковая...

Рядом топчан молодой медсестры Олечки Удрес, родившей хилую девочку. Отец ребенка — пожилой врач этой же колонны — нежно пекся об обеих. Но Олечка часто плакала: «У малытки глаза взрослого человека. Она, мне кажется, прощается со мной...» Девочка вскоре умерла.

По бараку расхаживала красивая юная Тоня. Нарядчик с толстыми мокрыми губами сделал ее матерью. Она существовала возле него без всхлипов и жалоб, но во взгляде был напряженный вопрос: «И это все? А за что?»

К моей землячке-ленинградке, славной и образованной женщине, иногда приезжал с другой колонны ее заключенный-муж. Девочка у Р. родилась неполноценной, но оба без памяти ее любили. Для этих людей никого, казалось, и ничего больше, кроме этого дитяти, не существовало на свете.

Едва я перебралась в Межог, как Филипп не просто удвоил, а удесятерил внимание ко мне. Часто писал. Приветы передавал с каждым, кто сюда направлялся. В посылках содержались разного рода кусочки ткани, мыло, мелочи, вплоть до ниток и зубного порошка. Его любовь берегла. От одного, другого я то и дело здесь слышала: «Как он вас любит! Какая вы счастливая!» На душе у меня был покой.

Меня зачислили в сельхозбригаду. Рано утром, с подъемом, я снова выходила к вахте. И в поле, и на парниках работать приходилось в наклон. Уставала. Возвращаясь в зону, отмывала руки, ужинала и более всего хотела лечь. Но старшие женщины вразумляли:

— Нет, милочка, нельзя! Иди гуляй. Ходи взад и вперед по зоне.

Слушалась. Кружила вокруг барака. Превратившись в слух, внимала рекомендациям, как готовить себя к материнству.

«Кто родится у меня? Девочка? Мальчик? Вопросы были обращены к дароносной природе. Приближалось нечто грандиозное и прекрасное.

После встречи с Александром Осиповичем я вообразила, что мир избыточно богат такими же, как он, людьми: щедрыми, мудрыми, общительными, что раньше я просто этого не понимала.

С этим я разыскала М-го, которому Александр Осипович написал письмо.

М-кий сидел за бараком против болезненной, с восковым лицом женщины. На кистях рук у его собеседницы были натянуты рваные шерстяные митенки... ноги закутаны в дырявый шерстяной платок. Погруженные друг в друга, они о чем-то тихо разговаривали.

М-кий, пожилой, лысый человек традиционно профессорского вида (и на самом деле профессор-математик), взял письмо, вежливо улыбнулся, поблагодарил. И — все.

Я была горько разочарована. Письмо должно было стать нитью Ариадны, и вот — обрыв...

После двух-трех столь же скупых и невыразительных встреч с М-ким я написала о нем Александру Осиповичу, попытавшись отыскать деликатные определения человеку, для которого «безразлично все, кроме его личной жизни». В ответ получила хлесткую отповедь.

Александр Осипович давным-давно обращался ко мне на «ты». Здесь, в его полотенце-письме, появилось перепугавшее до смерти

«вы». Я поняла, что задела нечто душевно глубокое по отношению к этому человеку, а себя обнаружила как недалекую и глупую эгоистку.

Само письмо стало «настольным».

«...Мне было неуютно читать о М. Я знал его как человека большого по интенсивности и ясности душевной жизни, редкой открытости и еще более редкого благородства. С этим человеком я провел несколько отвратительных «предсмертных» месяцев в условиях мерзких и подлых, и ни разу в нем не было ничего небезупречного. А вы знаете, как узнается человек в подобных условиях.

Что с ним произошло, я не знаю, но чувствую по вашему короткому и четкому замечанию, что он помельчал. Это грустно.

Вот вы говорите об одержимости «личной жизнью», при которой не остается времени ни для чего другого. Кто-то сказал, что не бывает талантливых или неталантливых тем, а только талантливые или неталантливые писатели. Так и тут.

Понятие «личной жизни» настолько широко, что расплывается: сюда входит и комплекс романтический, и семейный, и даже творческий.

Это огромно по возможному содержанию и как материал для психологического и духовного восприятия... обыватель делает тут много всякой дряни, а Гете создает своего Вертера. Значит, все дело в одаренности носителя, в том, как воспринимает, живет и реагирует тот или иной человек. Разница между художником и обыкновенным смертным не в том, что у одного есть так называемая творческая продуктивность, а другой просто живет. Разница в видении мира, в умении через свое «я», через волнение своей личности обнаружить чудеса, чувствовать и понимать тайны в обыкновенном, навязывать окружающим свою мудрость и зоркость; в способности вскрывать подтекст объективного данного. Творческое воплощение, фиксация, оформление своих чувств и переживаний — это конкретная сторона, не всегда обязательная. Ведь можем же мы себе представить Бетховена, не умеющего писать музыки. Гениальность его была бы нам незнакома, но сам по себе как личность великой потенциальной энергии он был бы тем же самым Бетховеном, только без способности разрядки и потому гораздо более несчастным.

Если бы Гете в свое время не смог написать «Вертера», он погиб бы под грузом своей муки, но личность его, переживавшая и знавшая все, что породило это изумительное произведение, была бы не менее сложной, богатой, одаренной, оказавшись без разрядки.

Когда человек не умеет быть творцом, не владеет конкретным мастерством, но живет всей полнотой творческой жизни, он как личность ничем не отличается от активного творца.

Мы встречаем людей, поражающих нас своими душевными, моральными, интеллектуальными способностями, но не снабженных даром их осуществить. В таких случаях человек сам, со своим обаянием, ему свойственным стилем, может стать некой художественной формой. Это можно было бы назвать «творчеством личности». И такое чаще всего и убедительнее всего проявляется в «личной

жизни». Любовь между двумя человеческими существами — прекрасна. Она включает в себя и мораль, и искусство, когда эти любящие являются друг для друга воплощением жадного, ищущего, творческого начала. Такая любовь поднимает людей, поднимает все, к чему они прикасаются, и тогда даже быт перестает быть формой существования и заскорузлой повседневностью, а становится источником творческой радости.

Но, увы, такое в нашей окружающей жизни не меньшая редкость, чем большое произведение искусства.

Тамарочка, моя родная, эта тема неиссякаемая, как само творчество, а я вовсе не собираюсь писать диссертацию, придравшись к нескольким вашим строчкам о М. Но я знаю, что все, что я пишу верхушечно и галопом, для вас изнутри важно. Это круг ваших чувств и размышлений и великой вашей неудовлетворенности. Я очень люблю вас такой, какой знаю, а знаю я вас лучше, чем вы сами себя знаете (пока)...»

Письма пронзали. Открывали «подтекст» существования! Строили душу! И звездная твердь представлялась прочнее земной.

Сумасшедшее чувство волнения от писем Александра Осиповича выталкивало из барака. Тесными оказывались и его стены, и зона.

В спрессованности строк воздуха было больше, чем в кубатуре всего, что знала до этого. «Творческая суть человека! Все в ней! Она приложима и к личной жизни, и к быту, и просто к восприятию. Спасение! — твердила я про себя. — Это карта из замка Ив! Клад зарыт именно тут!..»

Жег стыд за суждение о М-ком. Я теперь иначе видела двоих отъединенных от мира людей, шепотом разговаривавших друг с другом. Начинала понимать, что метр земли, на которую М-кий прилаживает сидение для смертельно больной женщины, не только их судьба, но и достоинство личности, зримая глубина сотворенной ими самими жизни, о чем миру, с их точки зрения, незачем знать.

Мое дитя колотило ножками. Я задыхалась. После рабочего дня заставляла себя ходить сама. Врачам я не нравилась.

Через начальника санчасти Филипп пытался отхлопотать для меня более легкую работу. Но я знала: надо «как все!». Каким-то образом в этой формуле мерзкое уживалось со справедливым.

Неожиданно меня вызвали во второй отдел. Меня разыскивала по лагерям Вера Николаевна Саранцева, друг по внутренней тюрьме НКВД во Фрунзе и Жангиджирскому лагерю. Не родственники, нет! Друг по тюремной камере... Есть величие дружбы, начавшейся в тюрьме.

Началась наша с Верой Николаевной переписка, продлившаяся затем тридцать лет. Веру Николаевну все-таки освободили. В общей сложности она просидела чуть больше года. Конечно же, ее не имели права тогда этапировать в Нижний Тагил. Решение о ее освобождении шло за ней следом. Плутало. Задерживалось. А ее мытарили по пересылкам. Воля допустила ее до себя не сразу.

При освобождении объявили, что даже оправданной ей нельзя жить во Фрунзе. Местожительством определили Казалинск. Там не брали на работу. Она подробно описывала, как жила впроголодь, перебиваясь случайными заработками и питаясь арбузными корками.

Мария Сильвестровна оставалась в лагерях. Первое, что сделала Вера Николаевна, когда отец все-таки отхлопотал разрешение прописать дочь у себя: подала заявление на заочное отделение филфака МГУ, решила изучать испанский и итальянский языки. Позорная социальная участь профессии юриста в те годы подтолкнула к тому, чтобы перечеркнуть ее раз и навсегда.

Во Фрунзе Вера Николаевна навестила Барбару Ионовну. Рассказала ей о нашем знакомстве и встрече в Джангиджирском лагере. Не знаю, о чем она еще поведала ей, но Барбара Ионовна стала часто писать мне, и письма ее раз от раза становились все теплее и душевнее. Она просила простить ее за несправедливость и черствость. Писала, что я очень хорошая, что гораздо ближе и роднее, чем собственный сын: «...прости, прости меня за все, Тамара. Я так виновата перед тобой. Прошу, когда освободишься, приезжай ко мне, будем жить вместе...»

С каким холодом, еще не став для меня прошлым, эта семья перечеркнула меня в свое время! Возвращение ее сейчас в таком истерзанном виде переносилось болезненно, но человеческим связям дано выучивать и продолжать нас.

С этапом в Межог привели Ольгу Викторовну Третьякову. Мы обе обрадовались встрече.

Одно событие мы пережили здесь вместе. После работы я сидела на своей койке. Вбежав в барак, она с порога сорвавшимся голосом выкрикнула:

— Тамарочка, Володи (так она называла Яхонтова) больше нет!

Я испугалась. Женщины набросились на Ольгу Викторовну:

— Разве так можно? Она схватилась руками за лицо. У ребенка теперь будет родимое пятно!

— Он покончил с собой, — плакала Ольга Викторовна. — Читайте: «...Выбросился с седьмого этажа в пролет лестницы. Оставил записку: «Лечу в стратосферу!»».

Весть и текст записки оглушили. Что за представление было у него о поступке, который он вознамерился совершить? «Лечу в стратосферу!» Какой вывих и слом сознания у человека-сруба! Расшибить себя самого, такого крупного, с густыми пшеничными волосами и голосом, тяготеющим к «музыке сфер»!

Питерский туман, прогулка возле Медного всадника, круглый стол в квартире Анисовых во Фрунзе и скворода с тушеным «военным» луком, походы на рынок за тыквой. Его исповедь и та сакраментальная просьба: «Посмотрите, кто за мной... идет».

Человек говорит: «Мне больно. Страшно! Я страдаю!» — а как провидеть степень чужого страдания? В то время как все дело именно в ней, в этой степени боли.

Ради освобождения от какой своей муки пресек свою жизнь Владимир Николаевич?

Какое личное поражение захотел превратить в смерть с таким пиршеством: «В стратосферу! Лечу!»

Наступил декабрь. Лишь за две недели до родов меня освободили от работы.

В трубе без усталости завывал ветер. Мело. Просыпаясь, я смотрела через окно на ряды бараков, занесенные снегом, сугробы и небо. Тщательно причесывалась. Надевала бумазейное платье, присланное Филиппом. Садилась с иголкой за шитье раскроенных распашонок. Я дорожила одобрением женщин в бараке: «Молодец. Красиво ходишь».

Днем барак пустел. Все уходило на работу. Оставались спящие после ночного дежурства медсестры и дневальная, которой я помогала растапливать печь, чтобы барак поскорее нагрелся.

Мысли и чувства были до крайности обострены. Я думала не про лагерь, а про жизнь и смерть. С некоторых пор стало казаться, что я при родах умру. Была будто не «в фокусе» жизненных сил. А как переместиться, чтобы попасть в надлежащую точку, не знала. Зацепкой была мысль о Филиппе: «Он не допустит, не даст мне умереть».

Делилась я, однако, своими ощущениями не с ним, а с Александром Осиповичем. Филипп написал бы мне: «Это издержки нормального, обычного состояния в твоём положении». Александр же Осипович понимал даже то, что было едва уловимо. Описывая аналогичную ситуацию с женой его брата, он успокаивал меня. И позже еще возвращался к этому:

«...Помнишь, как перед родами в Межогге ты была уверена, что будет плохо? И я тогда мучился страшно, потому что ничего в себе не мог найти такого, что могло бы сбить страх и у тебя, и у меня. Тогда я рассказывал тебе о жене брата, которая была чем-то вроде медиума в быту. Она всех поражала умением предвидеть. Даже такие мелочи, как срок прибытия или содержание какого-то письма. И все, конечно, не могли не мучиться только потому, что это — она с ее непостижимым даром. А потом все обошлось. И это было удивительно и неожиданно. Я тебе об этом писал. Так вот, тут я тогда покривил душой. Тут обманул. Обошлось-то обошлось, но она почти не выдержала. Несколько самых знаменитых врачей еле спасли ее, и 5—6 дней было страшно и безнадежно».

Неожиданно перед родами у меня на колонне появилась привязанность. Я подружилась с приехавшей в Межог рожать Серафимой Иосифовной Рудовой. Она была старше меня, но восприятие жизни и мира было у нее редкостно молодым и радостным. Ребенка она ждала, находясь в столь трепетном и экстагическом состоянии, что вся лучилась.

Человека, с которым она встретилась в лагере (на воле — талантливый физиком — М. Корецом), Симочка преданно любила. Должна сказать, что за всю жизнь не знала лучшей семьи (из тех, что произошли отсюда), чем эта.

Думаю, радость, с которой Серафима Иосифовна ожидала рождение ребенка, осталась среди людей навсегда. Ею напитана их необыкновенная дочь — Наташа. Яркий, талантливый человек, она сама затем, став прекрасной матерью и женой, препоручила эту радость своему потомству и, следовательно, жизни.

Симочка должна была родить ребенка позже, чем я. А слабенькая Наташа появилась на свет раньше. Сима буквально дышала на ребенка, отогревая девочку любовью.

Я же все еще «ходила».

С неизбежной иронией Александр Осипович не преминул по этому поводу высказаться:

И неестественно и странно.
Родишь ли ты в конце концов?
И одного ли великана,
Иль только пару близнецов?

А вдруг, и это может статься,
Носить ты будешь целый год?
И не желаешь опростаться
Во избежание хлопот?

Седьмого декабря женщины в бараке называли мои прохаживания вокруг печки беспокойными, напутствовали меня: «С Богом!» — и проводили в лазарет. Там подтвердили ранее сказанное: «Не нравитесь! По всему видно, сказалась работа на наклон».

Чувствовала я себя скверно. На третий или четвертый день состояние ухудшилось. Я видела: врачи растеряны, спорят. Сцепив зубы, я терпела, мучилась. Кто-то наклонился ко мне:

— Филипп Яковлевич волнуется. Звонит по селектору каждый час.

Расслышала и другие слова:

— Кесарево сечение...

Потеряв представление о времени, о достоверности происходящего, куда-то отплывала. Мука и боль выцарапывали оттуда. Не оставляло постороннее удивление: «Почему же мне ничем не помогают? Чего они ждут? Ведь я умираю».

Суматоха. И снова заминка. Хотели, видно, сохранить и меня, и ребенка. Боялись ударить лицом в грязь перед вольным коллегой. Престиж был важнее, чем я.

Потом раздался низкий возмущенный голос зашедшей сюда начальницы сангородка Малиновской:

— Вы что, с ума сошли? Не видите, что мы ее теряем! Немедленно кладите ее на стол. Кесарево!

И почти тут же чей-то облегченный взглас:

— Приехал! Приехал! Скорее, Филипп Яковлевич, скорее!

Едва ли доверяя действительности, я увидела над собой сосредоточенное лицо Филиппа, услышала его энергичный приказ персоналу:

— Шприц с питуитрином! Мелкими порциями хинин. Еще шприц.

— Сейчас! Сейчас все будет хорошо! Ты меня слышишь? Постарайся делать все, что я буду говорить. Понимаешь? Слышишь? — спрашивал он меня.

Я его очень ждала. Он приехал. Я — дотянула. Но какая беспредельность в боли!

Теперь командовал он один, приподнимал мне голову, давал что-то пить. Опять уколы. Снова его шепот: «Сейчас все будет хорошо».

...Я родила сына.

«У меня сын. Я жива. Филипп рядом». Филипп держит его на руках.

Его торопили: «Пора, Филипп Яковлевич. Может кто-то нагряться. Спасибо. Все. Уходите...»

Скатываясь с кручи, проваливаясь в черноту, выныривая оттуда, еще увидела: Филипп стоит в углу операционной, плачет. И если бы я имела силы выговорить словами глубокое чувство, охватившее меня, это был бы крик-мольба: «Не смей уходить от меня сейчас! Ни за что не смей! Будь рядом! Хотя бы однажды побудь сколько нужно, только так люди становятся близкими». Но оставаться ему, вольному человеку, возле заключенной, в чужой зоне было нельзя.

Меня поместили в крошечную каморку, стены которой были покрашены в розовый цвет. Я осталась одна. Все отступило.

В ту же ночь мне приснился похожий на явь сон: здесь же, в Межоге, при данных именно обстоятельствах открылась дверь этой каморки, и, пошатываясь, вошел Эрик. Очень несчастный. И только одна я знала, как ему тяжело. Он опустился перед постелью на колени, уткнулся лицом в нее. Горевал так сильно, что я не могла этого вынести. Внутри все разрывалось: «Я перед тобой виновата, Эрик. Хороший ты или плохой — это твое дело, но все равно почему-то виновата. Может, не совсем перед тобой, перед собой больше? Не знаю. Не плачь Бога ради. Отпусти меня. У меня отныне совсем другая жизнь». Проснувшись, долго не могла справиться со смутением. Так я в ту ночь простилась с Эриком насовсем.

Наступал удивительный день, удивительная, как я считала, жизнь. Я ждала, когда мне принесут сына.

Филипп из-за зоны писал: «Счастлив! Благодарю! На всю жизнь — твой, ваш. Назови сына Юрием. Да хранит вас обоих моя любовь!»

Платон Романович умолял назвать будущего крестника Сережей. Значит — Юрий.

Сына записали на мою фамилию. Отчество — Филиппович. В графе «отец» — прочерк.

Поскольку роды были тяжелыми, в лазарете меня продержали дольше обычного. Несколько дней иллюзии нормальной жизни вместе с теплым клубочком энергии, инстинктов, у которого жадность и требовательность сменялись таинственным сном. Сын! Мой! Мой!

В душе раскинуто. Ново. Я не напрасно живу на свете. Я — молодец. Я — счастлива.

Во главе с начальницей сангородка Александрой Петровной Машиной врачи делами обход. Открылась дверь моей каморки.

— Ну, как тут мужественная Тамара?

Оказывается, терпеливость называют мужеством?

Иногда кто-то проникающе посмотрит в глаза, и понимаешь: видит в тебе то, о чем сама не догадываешься, но за это очень хочется схватиться. Миг — и перекинут мост. Так посмотрела на меня главврач сангородка Межог Александра Петровна.

— Заберу к себе. Мне такие нужны. Будете работать в ОП.

Таким образом, я была определена на работу, находясь еще в лазарете.

Настал день выписки. Моего сына унесли в детприемник. Теперь каждые три часа я бегала его кормить в один из ясельных барачков.

Режим жесткий. В шесть утра — первое кормление. Работа. Каждые три часа оттуда — сюда. Последний раз в двенадцать ночи. Затем короткий сон. Потом все снова. И, как сквозь туман, вечное беспокойство: «Сухой ли? Не плачет ли? Сыт?».

Детей в протянутые материнские руки выдавали через окошечко со ставнями. В просторной комнате на низкую скамью усаживалось сразу человек пятнадцать кормящих матерей.

Надо было научиться отъединяться от всех: «Есть ты, мой сын. И я. Нас двое. Мы с тобой существуем в мире. И какое нам дело до того, что происходит вокруг? Ты согласен со мной, мой мальчик?»

От вечного холода и сквозняков — мастит. Температура. Попытки раздобыть что-то шерстяное. И все-таки через вьюгу и трескучий мороз — туда, туда!

Сын стал прибавлять в весе. Родился — три шестьсот, и вот уже пять, шесть... Начал меня узнавать, улыбаться беззубым ротиком, когда нашептывала нужные нам обоим слова.

Наш с ним мир потеснил все другое.

— Тамарочка, милая! Моей девочке не хватает молока! — обратилась с мольбой Серафима Иосифовна.

Так кареглазая Наташа стала «молочной сестрой» Юрика.

ОП — это оздоровительный пункт. Лагерное начальство избрало его, чтобы, поддержав «лошадиные силы» заключенных, не снижать высокий процент выработки.

Молодых истощенных людей свозили в ОП на подкормку, чтобы отсюда послать на особо тяжелые работы. В основном заключенных, имевших бытовые статьи.

Александра Петровна привела меня в один из барачков:

— Ну, вот. У вас, Тамара, будет сорок гавриков. Придумайте, как организовать им жизнь. Уверена — справитесь.

— Одна?

— Разумеется!

От беспомощности хотелось тут же сесть на пол в пустом, вмещавшем сорок топчанов барачке и хоть однажды выплакаться

до конца. «Ну, не смогу же я! Не справлюсь! Одна — и сорок неизвестных зеков. Кем я должна стать? Медсестрой? Воспитателем?»

Через пару часов барак ОП заполнило сорок молодых мужчин и мальчишек. Каптер облачил их в застиранное нижнее белье и выдал на всех десять больничных халатов. Я вглядывалась в лица чужих людей. Казалось, легче умереть, чем как-то суметь с ними обойтись. Не своим голосом стала давать им задания:

— Вы принесите дрова. Вы растопите печь, чтобы стало тепло. Вы получите на складе миски и кружки. Навяжите из еловых ветвей веников. Что еще?

Я бегала по баракам, раздобывала какие-то книжонки, пыталась вспомнить стихи. Обращалась к тем опэшникам, кто постарше:

— Может, вы вспомните какой-нибудь фильм? Ах да, давайте выберем старосту.

Шанс выжить, радость передышки на какое-то время опьянили прибывших. При каждом удобном случае они заваливались на топчан и запойно спали.

Никакой опэшный паек, конечно, не мог насытить молодых изголодавшихся людей. Они постоянно хотели спать, говорили только о хлебе.

Чуть ли не на пятый-шестой день ко мне подошли:

— Сестра, у меня кто-то ночью украл одеяло.

— И у меня тоже.

Как и кому заявить о пропажах? Рассчитываться нечем. Денег ведь нет.

— Кто взял? — растерянно спрашивала я.

Тщетно! На колонне, где существовали рабочие бригады, продать лагерные вещи или обменять их на хлеб ничего не стоило. «Хлеб! Хлеб!» Речь шла только о нем.

Вечерами я читала бээшникам книжки. Расспрашивала, у кого что болит. Начинало казаться: справлюсь. Но уже не раз, едва чувствуя устойчивость стоило явиться, как я получала от жизни такую протрезвляющую затрепину, что едва могла устоять на ногах.

Как и всюду, в Межоге имелись «идейные» отказчики, не желавшие «вкалывать» на государство. На колоннах, подобной этой, их сурово карали. И срок добавляли немалый. Чтобы избежать суда, отказчики прибегали к «мастыркам», симулировали болезнь. Способов доставало: прокалывали иголкой подушку ладони под большим пальцем, вводили под кожу керосин, вдыхали в пыль истолченный сахар в легкие и т. д.

В конце рабочего дня внезапно открылась дверь моей дежурки. Вошли два отъявленных бандита колонны — Иван по прозвищу Бацилла с подручным. Руки держали в карманах.

— Надо помочь корешу! И чтоб никому!..

Никак к ужасу не привыкнуть. Неизвестно откуда он вползает вовнутрь, опоясывает до ломоты в голове и горле.

— Что с ним? — спросила я.

— Бери весь инструмент. Пошли!

Что-то накинув на себя, двинулась за ними.

По подставленной к чердаку лестнице пришлось забираться наверх. Синяя вздувшаяся рука «кореша» была толста, напоминала полено. От введенного керосина образовалась флегмона. Не хуже, чем я, они понимали, что срочно необходим хирург. Но объявиться у врача — значило получить дополнительный срок.

Боже, как страшно было прикасаться к вздувшейся руке незнакомого урки! Настолько, что я потеряла ощущение себя. Вынув скальпель, сделала надрез, промыла рану риванолом. Забинтовала.

Неукоснительно на всех колоннах утром и вечером пересчитывали созванных ударом о рельсу в строй заключенных. Поддерживая с двух сторон, сволакивали с чердака для пересчета и этого.

Бог был. «Пациент» начал поправляться.

Так же неожиданно, как и в первый раз, в барак снова пришел Бацилла. Криком надзирателя поднял всех обитателей барака:

— Всем встать!

Его знали. Боялись не меньше, чем я.

Переходя от одного к другому, он испытующе глядел каждому в глаза.

— Ты, падло, украл одеяло, — остановился он возле одного. Потом возле другого: — И ты. Даю два часа. Чтоб одеяла были на месте. И чтоб ни одна тряпка здесь не пропала. Дело будете иметь со мной!

Уворованное вернули. Больше не крали.

Так, с математической точностью вычислив для себя полезное, бандиты отблагодарили меня.

Имя вольнонаемной заведующей детским приемником Метряковой произносилось в Межоге со смесью боязни и некоторого уважения. Здоровенная мужеподобная рябая баба походила больше на фельд-фебеля или урядника, чем на врача. Философия ее была страшна: «Выжил ребенок? Значит, здоров и должен жить, а умер — так слабак, туда и дорога!» Она тем не менее пеклась о яслях и проводила там много времени. Обслуга была вымуштрована железно, боялась ее.

В яслях работали счастливые «мамки», которые могли постоянно находиться возле своих детей. За эту привилегию стоило платить беспрекословным повиновением самодурше.

От ясельного барака, в котором находился Юрик, мой рабочий отстоял метрах в ста. Когда стало тепло и детей начали выносить на улицу, я среди сотни детских плачей узнавала плач своего сына. Срывалась, бежала напрямую, пролезала через дыру в заборе — и непременно налетала на Метрякову.

— Вы что здесь делаете в неурочное время?

— Мой сын плачет!

— Скажите, «плачет»? Ну и что? Пусть плачет.

— Он сильно плачет. У него что-то болит.

— Может, и так. Перестанет болеть — перестанет плакать.

— Разрешите, я только посмотрю.

— Нет.

— Я только взгляну, пожалуйста.

Идеолога «дарвиновского» естественного отбора ничем нельзя было пронять. Проси, плачь, умоляй — не уступит. «Ребенок сам поправится. А нет — значит..»

Как я ни старалась найти верный тон в разговоре с заведующей детприемником, ничего не получалось. Встречаясь с ней, я по-дурацки улыбалась, называла ее по имени-отчеству. Было или не было за что, говорила «спасибо!». Она будто не видела меня.

В глубине души ты мог чувствовать себя человеком, это было твоим сугубо «личным делом», но в этом «скопище» человеком не был все равно. Это подтверждали постоянно.

Во время кормления я держала сына на руках, когда вплотную ко мне подошла Метрякова и, задрав полу своего халата, бесцеремонно круговым движением провела ею мне по щеке.

— Ишь ты, не краска! А я думала — намалеванная.

Я вскочила, вскрикнула: «Вы что?» Мы стояли друг против друга. Я с ребенком на руках, и она, обладавшая преимуществами свободного человека и начальника. Усмехаясь, она выжидала, что скажу еще. Заглотив ком черствой горечи, я смолчала.

Метрякова ненавидела «мамок». Все они были для нее неким общим числом нарушителей закона. Иногда она появлялась в часы кормления.

— Как держишь ребенка, идиотка? А ты? Что делаешь, кретинка? Тебе шакала кормить, а не дочку! — швыряла она то одной, то другой в лицо. — Ну ты же ублюдок, ублюдок!

И ублюдки действительно имелись.

Надо иметь незаурядную фантазию, чтобы представить себе, скольких разных людей здесь перемешала жизнь.

— Харей мой пацан весь в отца, — хвасталась одна уркачка. — А отец наш прораб. Здоров собой. Мужик что надо.

При этом она обнародовала имя и фамилию папы девятимесячного сына. И тут выяснилось, что прораб является заодно отцом двухмесячной дочки, которую здесь же кормила другая уголовница-мать.

Поначалу ситуация забавляла аудиторию. Но когда поток словесной мерзости не исчерпал злобы, они перешли к драке. Исцарапанные, окровавленные, они доказывали: «Мужик — мой. Ты — самозванка». Распалаясь все больше, матерая баба, схватив за ножки девятимесячного сына, стала бить им соперницу по голове...

Полумертвого мальчика едва удалось спасти. Подоспевшая Метрякова кричала: «Пусть сохнет!» И на сей раз, возможно, была права.

Я видела и слышала все, что происходило вокруг, но была глубина убежища; я прижимала Юрика к груди и отходила.

— Улыбнись мне. Засмейся, сынок!

Он смеялся. И я была счастлива. У нас был собственный, огромный мир.

Я вышивала на его кофточках и курточках солнце, зайчиков, инициалы. Сын был самым обаятельным из детей! Были красивее. Приветливее и нежнее, чем он, — никого!

«Милая моя, любимая! Родная! — писал Филипп. — Сейчас без 10 минут 6 часов утра. Я не сплю. Везде, во всем чудисься Ты. Вот солнце встает. Я смотрю на него из окна. И в золотистом его круге — Ты, моя дорогая... Я безумно люблю Тебя... Какая радость, что ты живешь на свете... Напиши, что надо тебе и малютке. Твой. Твой. Твой...»

В административной должности начальника сангородка состоял Родион Евгеньевич Малахов. Он был из фронтовиков. В чем-то проштрафившегося разведчика направили в войска НКВД «исправлять зеков». Эта категория начальников круто меняла весь образ жизни колонны на военный. Подъем, отбой, вывод бригад на работу, обед, сон — все должно было выполняться по часам, по минутам.

В короткой шубейке, опушенной светлым бараньим мехом, начальник мог появиться всюду: в бараке, в столовой, у вахты при разводке рабочих бригад. С хищным вырезом ноздрей, ярким орлиным взглядом, Малахов казался эталоном здоровья. Разговаривал отрывисто, жестковато. Его побаивались, но уважали. Считали справедливым.

Я ни по каким поводам с ним не сталкивалась и потому не могла объяснить себе, зачем он меня вызвал.

В его конторском кабинете под жестяным абажуром горела настольная лампа.

— Тамара Владиславовна? Проходите. Садитесь.

От того, что он назвал меня по имени-отчеству, отлегло на сердце.

— Как вам здесь живется?

— Хорошо.

— Работа устраивает?

— Да.

— В бараке как?

— Все хорошо.

— Вы в каком?

— В медицинском.

— Может, перевести в конторский?

— Спасибо. Я тут привыкла.

— Выходит, вам ничего не нужно?

— Действительно ничего.

— Догадываетесь, почему об этом спрашиваю? Есть в управлении человек, которого я с давних пор знаю и очень ценю: Давид Владимирович Шварц. Он прислал письмо. Просит помочь вам.

Нетрудно было догадаться, что перед Шварцем за меня хлопотали друзья из ТЭК, и более всех Александр Осипович.

— Так смотрите: если что-то понадобится, приходите ко мне. Я поднялась. Малахов остановил:

— Если у вас ко мне нет просьб, так у меня к вам будет. Сумеете выучить наизусть «Девушку и смерть» Горького? И прочтите здесь со сцены. А?

— Попробую.

Поэму Горького выучила, прочла. Малахов был доволен. Зрители аплодировали, не однажды просили повторить.

С бывшим разведчиком Родионом Евгеньевичем Малаховым жизнь свела еще однажды в один из самых критических моментов, и если бы я послушалась этого человека, была бы куда счастливее. Но об этом позже.

Главврача сангородка Александру Петровну Малиновскую, врача-психиатра, зеки между собой называли Екатерина Вторая. Для меня она — одна из самых замечательных женщин, встреченных в жизни. Говорили: «Она греховна. Любит мужчин». Возможно. Не это было главным в умной и страстной Александре Петровне. На воле — заслуженный врач РСФСР, она, отсидев пять лет в СЖДЛ, после освобождения осталась здесь работать.

Полная, невысокого роста, с опущенными уголками рта, главврач выглядела обиженной и насмешливо-огорченной. Психкорпус СЖДЛ — создание ее рук. В него помещали и вольных, и заключенных душевнобольных.

Когда я собиралась в Межог, Александр Осипович написал ей письмо, в котором просил помочь мне. Но сказал: «Женщин она не жалует. Не знаю, как отнесется к тебе. Боюсь, невзлюбит. Человек же она все равно редкий». Письмо я ей не отдала. «Женоненавистница» проявила ко мне не только благосклонность, а так много сделала, что я ей обязана едва ли не жизнью. Позже мы стали дорогими друг для друга людьми. Пришло это со временем и само по себе.

А начались наши взаимоотношения смешно.

На колонне был завхоз, сибиряк, похожий на косолапого хозяина тайги. Цельный и чистый человек. Она отличала его. Желая уберечь от этапа, спрятала его на время в психкорпус. Однажды Данила не выдержал, перелез через забор, постучал в окна моей дежурки. Взгляд был затравленный, молил о сочувствии.

— Сбежал я оттуда. Хоть в петлю лезь. Трудно.

Здоровяк чуть не плакал. Я понимала его, как крепостной крепостного, как брата сестра.

— Что делать? — спрашивал он.

— Вернуться опять туда, — сказала я Даниле.

Утром Александра Петровна пришла ко мне в корпус грозная, с насупленными бровями. Я ждала — спросит: «Что? Приходил медведь? Жаловался?» Но мы посмотрели друг на друга, и слова не понадобились. Выглядела она провинившимся ребенком, а ведь была в полном смысле слова легендарной личностью.

Существовал, конечно, архив, в котором хранились истории болезни психических больных. По ним можно было бы составить представление о причинах разрушения сложного мира психики. Картина была бы, несомненно, впечатляющей. Но доступа к ним не было. А живые легенды блуждали.

Одну из самых жутких лагерных историй мне рассказала Хелла Фришер, лечившаяся у Александры Петровны и оказавшаяся свидетелем трагедии.

Тотос Вартамян торговал вином в одном из погребков Армении. Проворовался. Попал на скамью подсудимых. Оттуда проследовал в лагерь. Говорят, что подавленное состояние было у него с самого начала. Вскоре он очутился в психкорпусе. Был тихим помешанным.

С другим психическим больным дела обстояли иначе. У бывшего сотрудника НКВД Воинова был пунктик: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!» Работая на Лубянке следователем, он в глубине души мечтал о куда больших масштабах операций, чем те, которые осуществлял. Кое-что сделал. Многого не успел. Сотворил бы еще больше, но очутился в лагере. И в психкорпус попал как буйный. В больное сознание причастного к арестам функционера спроецировалась одна из самых кровавых страниц нашей истории, и в коридоре психбольницы он вывешивал приказы: «Дня такого-то... приказываю арестовать всех женщин Москвы... сослать всех жителей города туда-то... В 24 часа расстрелять таких-то» и т. д. Подписывался он: «Заместитель наркома Внутренних дел СССР. Воинов». Вывесив приказ, на некоторое время успокаивался, а потом замечал: выстрелов не слышно, движения нет, мало слез.

Помраченное, но деятельное сознание требовало сатисфакции. Скрытно и тщательно он готовился действовать.

Выбрав час, когда персонал передавал друг другу дежурство, Воинов закрыл в отделении дверь и забаррикадировался. Приказ был: «Рубить всех!» Добытые Воиновым топоры должны были решить дело. «Тихий» виноторговец Тотос Вартамян был призван в исполнители. И смиренный больной Тотос, обожавший главврача Малиновскую, называвший ее «солнышко» и «мамка», стал пробираться к ее кабинету с группой вооруженных топорами больных. На пути к кабинету у нескольких человек были отрублены руки, ноги. Все было залито кровью.

Александра Петровна находилась в этот момент в отделении этажом ниже. Услышав истошные вопли, она и медперсонал бросились наверх. Взломали двери, порушили баррикаду. Первые же прорвавшиеся тоже попали под топор.

На убежавшую Малиновскую с топором шел сам Воинов. Старый санитар Михеевич в попытке защитить ее бросился наперерез и был наповал убит. Воинов занес топор над Александрой Петровной, но она, вскинув вверх руки, зычно, требовательно вскрикнула: «Где приговор? Когда был суд?» Воинов остановился. В его сознание, видимо, все-таки была вколочена процедура суда. Он ступеялся, помедлил.

— Судить должна тройка! — яростно наступала Александра Петровна. — И ты сам обязан вести суд! Я требую, чтобы суд вел ты!!!

Важно было выиграть время. И все это при кровавом хаосе.

«Тройка» тут же была создана. Воинов начал судилище. Александра Петровна вступила с ним в спор, требовала не сбрасывать со счета то, что она их лечила, назначала процедуры, хорошо

относился к ним и т. д. Учтя заслуги, «тройка» приговорила ее «к лишению пальца через топор». Помощь еще не подоспела. Она положила отставленный палец на стол. Топор отсек его.

И только тут пожарные и охрана, выбив стекла, заработали шлангами с водой.

Александра Петровна была не только волевым человеком. Она была изобретательна. И человечна.

— Тамара Владиславовна! Проснитесь! Мне надо с вами поговорить! — будил меня кто-то.

Еще не пробили подъем. Возле моей койки стояла Вера Петровна:

— Где мы можем посидеть? У меня очень мало времени.

Сердце заныло. «Как она очутилась здесь? Зачем?» Я наскоро оделась.

Она объяснила, что привезла сюда из Урдомы родившую там заключенную специально, чтобы повидаться со мной. Теперь торопится к обратному поезду.

— Как живете? Как похорошели! Как ваш сын? Значит, все хорошо? Я за вас рада.

И, как всегда, напористо, прытко и без перехода:

— Надо включаться в борьбу, Тамара Владиславовна! Поверьте: я исхожу только из ваших интересов. — Она протягивала два исписанных листка: — Читайте! Читайте! Скорее.

Почерк Филиппа. На листке написано: «Леля! После вчерашнего свидания с тобой ни о чем не могу думать, кроме тебя...»

— Кто эта Леля?

Именно этого вопроса и ждала Вера Петровна.

— Не так давно пришел этап. Там много полячек. Среди них одна черт знает как красива, только безобразно толста. Ее и зовут Леля. С ней Филипп и спутался. Хищница. Зверюга. Это — не вы. Никого не уважает, никого не признает. Расчетливая. Холодная. Исползует Филиппа в своих целях. Вы ему должны написать, должны пригрозить, что не потерпите этого. Ведь есть ребенок. А он? Какой мерзавец!.. Только не говорите, что я вам все рассказала.

Выполнив добровольно взятую на себя миссию, Вера Петровна уехала.

— Тут какая-то вольная рано-рано приходила посмотреть на вашего ребенка, — сказала мне в яслях медсестра.

Мне уже исполнилось двадцать шесть лет, но в визите Веры Петровны я не усмотрела большего, чем любопытство и желание рассорить нас с Филиппом.

Издавна страшась измен и обмана, я спрашивала Филиппа в письмах, может ли он быть другом. Он отвечал:

«Родная, близкая, любимая! Только теперь я чувствую смысл и очаровательную прелесть этих слов. их особенное значение. Как это чудесно — все я мыслю теперь неотделимо от Тебя. Я не говорю теперь: «Я так думаю», а: «Мы так думаем». Могу ли я быть другом Твоим? Так любить и не быть другом — нельзя. Но правильно ли

я понял Тебя? Быть другом — значит ничего-ничего не утаивать, ни мыслей своих, ни поступков. Я такой к Тебе. Многое, очень многое мы еще не успели сказать друг другу. Но мы скажем... Мы будем говорить друг другу все, все».

Теперь Вера Петровна показала его записки к Леле. Существование «ее» было неоспоримым фактом. И все большое полетело, повалилось.

Не выдавая Веру Петровну, я написала: «Говорят...»

«Никогда Ты не наносила мне такой обиды, как письмом от 18 — 19.IX.46 г. — отвечал Филипп. — Я весь растворился в Тебе, я Твой до конца. Я люблю тебя не только как чудесный образ, не только как женщину, не только как человека, любовь и дружба, верность и преданность которого дают истинную, настоящую живую радость. Я люблю Тебя во всех проявлениях бытия и человеческого существования, которому присущи и «некрасивые» стороны. Я боюсь произнести, как еще люблю Тебя. Я навсегда потерял представление о возможности не любить, а хотя бы увлечься другой женщиной. И после этого ты пишешь: «Многие говорят». И ты смеешь верить?»

Обвинительная энергия ответа Филиппа и в начале, и в конце письма, перевернутость самого вопроса стеснили сердце. Собственную вину он хватко умел обратить в чужую. Беда, оказывается, была не в нем. Во мне. Это я «посмела верить».

«Открытия» понуждали жить в обход завязанным узлам, доверившись себе одной. Заминки и свои существовали внутри и собственного сердца, но нас связывал сын.

У колонны был свой ритм, режим, заботы. Ванда была права, негодуя: «Какой другой жизни вы ждете?» Я уже не упрямылась, все глубже понимала, что какой бы ни была ежечасность — она моя. Но, понимая это, не очень умела в нее вписаться.

На «летучке» Александра Петровна объявила:

— С завтрашнего дня будете ходить на кухню снимать пробу.

Я была тронута: за приказным тоном пряталось желание подкормить меня.

Встала в четыре часа утра. Волновалась. Из небольшой кастрюли, стоявшей на плите, повар молча налил мне миску жирного супа и поставил ее на небольшой столик, рядом с журналом «О приемке». На дне тарелки лежал солидный кусок мяса. «Угощение» он мне преподнес, будто швырнул кость собаке.

Какое же это имело отношение к общему котлу, о содержимом которого я должна была написать: «Принято»? Ходить отведывать подкачку из спецкастрюли не смогла, несмотря на то что, конечно же, хотелось прибавки.

— Какая дуреха! Ну надо же быть такой дурехой! — трубно басыла Малиновская. — Ну надо же!

В большинстве своем медсестрами в межогском лазарете были харбинки двадцати пяти — тридцати лет. Как на подбор рослые,

красивые, со стройными ногами, подвижным телом. Свои медицинские халаты летом они надевали прямо на голое тело, умело подпоясывались, ходили с вызовом; ловко справлялись с лазаретными обязанностями.

После дежурства я зашла как-то в одну из дежурок ОП. Застала там человек пять. Тесно усевшись на медицинский топчан, молодые женщины сумерничали. Рассказывали друг другу щекочущие нервы анекдоты, приглушенно хохотали, пылко судили мужчин. «А я заставляю его мыть мне ноги! — смеясь, говорила одна. — И, как миленький, моет, вытирает, целует...»

Они не скупилась на меткие, неканонические характеристики окружающих. Легкомысленный, непринужденный тон казался привлекательным, угодным жизни, тепло-земным. Хотелось поддержать беседу, «соответствовать» ей. И — не получалось! Словно была во мне какая-то запруда или суеверие. Я чувствовала, что сковывала их, стесняла, и, когда поднялась, чтобы уйти, меня никто не задержал, не спросил: «Куда ты? Посиди». Было обидно, но я видела, что чем-то не подхожу им.

По пути заглянула еще к одной медсестре. Черноглазая бойкая Валя приняла радушно:

— Свет не зажигай. Посидим впотьмах.

Сумерки — всегда хорошо. Облице зоны утрачивало четкость. Что-то смягчалось. Мы тихо разговаривали. Со стороны зоны к окну подкрался человек.

— Вор, — сказала Валя. — Сиди тихо.

Уверенный в том, что дежурка пуста, искатель наживы примерялся, как открыть форточку, чтобы залезть в окно.

— Прихватится рукой за перекладину — полосну по пальцам бритвой. Сразу найдет дверь, чтобы перевязала, — решительно прошептала Валя и потянулась за лезвием.

Валю можно было понять. Ударить по гадости — всегда хорошо. Но лезвием по руке?.. Я с шумом поднялась. Вор убежал.

Жизнь не принимала меня.

Совсем рядом, в ясельном бараке, находился мой сын, а мне было запрещено там появляться в не установленные для того часы. Филипп? Не верен. Вернувшись в барак, уткнулась в подушку. Одиночество сводило с ума. Я металась. Ни в чем не находила приюта.

— Тamarочка! Я хочу угостить вас чем-то вкусненьким. Возьмите. Сегодня пришла посылка от дочери. — Возле меня стояла медсестра одного из корпусов Ольга Петровна Тарасова¹, протягивая кусочек сухого торта.

— Ну что вы, спасибо.

— Берите, берите. Это еще не все. Вот соевые конфетки. И не смейте плакать.

— Я и не плачу. Просто тяжело. И почему-то сегодня собаки так злятся. Слышите?

У вахты надрывались, неистовствовали овчарки.

— А мне, Тamarочка, пришлось видеть совершенно замечательных собак.

— Где?

— На вершине Альп, у Интогарского перевала в Италию. В бытность мою там мы решили наведаться в Сенбернарский монастырь. К монастырю подошли как раз к часу, когда кормили знаменитых сенбернарских собак. Перед сараем там в два длинных ряда на земле стояли миски с едой. И каждая из собак становилась возле своей. Потом раздался «колокольчиковый» звонок, и собаки принялись за еду. А во время снежных бурь и заносов собак выпускали. У каждой на ошейнике был крошечный бочонок с вином. Они разбегались в разные стороны по горам и ущельям на помощь заблудившимся, замерзшим путникам. Тех, кто не мог двигаться от холода, собаки приволакивали в монастырь.

— Это не сказка, Ольга Петровна?

— Что вы, мой друг! Это правда.

— А как вы там очутились, в Альпах? У Интогарского перевала?

— Если захотите, когда-нибудь расскажу.

Глаза Ольги Петровны лучились, как у княжны Марьи Толстого.

И она рассказывала: о счастливых днях, проведенных в Швейцарии, в Париже, где они с мужем посещали в Сорбонне лекции о музыке и музыкантах прошлого века, которые читал в сопровождении рояля Ромен Роллан.

Приватное отчаяние рассеивалось. И я таким образом оказывалась приобщенной к кочующему из века в век духу человеческой общности, который выручает и поддерживает нас.

В Петербурге Ольга Петровна окончила среднее учебное заведение принца Ольденбургского.

— А где такое помещалось? — спросила я.

— На Петроградской стороне. Угол Большого проспекта и Каменноостровского.

— Быть не может! Ведь это и моя школа! Я проучилась там первые три класса, не в Петербурге уже, правда, а в Ленинграде, и не в гимназии, а в школе номер сто восемьдесят два.

Ольга Петровна мечтала стать врачом. Но принимали учиться только в возрасте двадцати одного года. Она уехала в Женеву, где и поступила на медицинский факультет университета.

Вскоре туда же приехала ее сестра Зета — активная революционерка, член социал-демократической партии, считавшая, что Россия — страна аграрная, и ратовавшая за социализацию земли и за борьбу с самодержавием. Ольга Петровна, вознамерившаяся быть земским врачом, увлекшись идеями этой партии, стала революционеркой.

Слить воедино облик светлой, мягкой Ольги Петровны с ее биографией я сумела позже, поняв, чем для нее были некрасовские строки и какой она в них вкладывала смысл: «Я была счастлива, что „ушла от ликующих, праздноболтающих... в стан погибающих за великое дело любви!“» — говорила она, блестя глазами. Отсидев при царском режиме девять месяцев в Петропавловской крепости, в тридцать седьмом году, при советской власти, она получила десять лет лишения свободы. Таковы тернии дороги «за великое дело любви» к человечеству.

Дружбу нашу, все, что мне дал этот неукротимо светлый человек, почитаю одним из великих даров своей жизни.

Как снег на голову, совсем неожиданно, раньше, чем предполагалось, в Межог прибыл ТЭК. Меня ожидал преудивительный сюрприз: вместе с ТЭК приехал Александр Осипович.

Приезд учителя, никогда и никуда из-за больных ног не выезжавшего, выражал его необыкновенную отвагу и крайнюю степень участия в моей судьбе. Его сын умер в ссылке на Медвежьей Горе.

— Должен же я повидать твоего сына! — сказал он.

— Показывай его! — тормозили друзья.

Пробившись через метряковскую заградилровку, смельчаки навестили ясли.

Но как быть с Александром Осиповичем? После многих униженных просьб я все-таки выпросила у медсестры дать мне сына в дежурку после ухода Метряковой из зоны.

Мой ласковый сын вцепился ручонками в бороду Александра Осиповича и, крепко держась за нее, стал выводить свое сладостное, свое певучее, медовое: «А-а-аа-а...»

— Жалуешься на маму? Так, так! Ну, ну, говори все, рассказывай, я ведь для того и приехал, — поддерживал Александр Осипович диалог с моим сыном.

Знакомством довольны остались оба.

Во время его визита в Межог я металась между работой и яслями. В общей сложности для разговора удалось отвоевать лишь два-три часа. В память о посещении я получила порцию стихотворных посланий — свидетельства того, что и простая житейская усталость может быть вписана в строку бытия с улыбкой.

Разговор мамы-Плюшки с сыном-чижиком

«Мой чижик, я совсем устала,
Я просто больше не могу.
И ем, и сплю я слишком мало».
И чижик отвечал «Агу!»

«На сердце муторно и хмуро,
И как не проклинать судьбу,
Когда мастит с температурой!»
И чижик ей ответил: «Бу!»

«Мне трудно без друзей и книжек,
Когда же Солнце и Весна?»
И успокоил маму чижик,
Он ей ответил: «А-а-а!»

Колыбельная маме-Плюшке

Светит месяц через раму
В колыбель мою.
Я пою, пою про маму,
Баюшки-баю!

Называют маму — Плюшка,
Чижиком — меня,
Златокудряя толстушка
Мамочка моя.

У нее как звезды очи,
Нежный цвет лица,
Хохотушка мама очень
И красавица!

Месяц смотрит сквозь оконце,
Маму серебра,
Мама, мама, будет солнце,
Что же плакать зря?

Смотрит месяц через ветки,
Весь из серебра.
Ты зваешь возле детки,
Спать тебе пора.

Месяц скрылся за трубою
В темных складках тьмы.
Будем счастливы с тобою
И довольны мы.

Жизнь, конечно, не игрушка
И полна забот.
И недаром мама-Плюшка
Часто слезы льет.

В небе звездочки уснули,
Только я пою.
Дремлет мамочка на стуле,
Баюшки-баю.

В 1946 году контингент лагеря в корне менялся. Былую двузначность — политические и уголовники — стала заменять куда большая дробность: изменники Родины, зеленые, власовцы, бендеровцы, старосты и т. д. Война, плен, оккупация, партизанское движение, прибалтийское сопротивление выбросили в лагерь несметную рать людей с незнакомой психологией и непривычным поведением.

Тяжелее всего было наблюдать воспаленные беседы отвоевавших по три, четыре года фронтовиков, попавших затем в плен. До их сорванных нервов нельзя было дотронуться. Они начинали ругаться, кричать, почти бросаться с кулаками. И мгновенно усмирялись, если с ними был ласков. Именно их нельзя было угомонить и после отбоя. Они все перебирали загнанные вовнутрь сознания пережитые «переплеты», надсадно, с болью рассказывали о безграмотных приказах командного состава, честолубии и ячестве небольших чинов, о трусости и отваге погибших и живых солдат. Судили обо всем рьяно, бурно. Им казалось, что, доведя до сознания других курьезы военных ситуаций, они смогут доказать свою невиновность, выручить правду, опровергнуть статью «измена Родине».

Тут же по зоне шныряли мужички с хитрыми глазами и гнущимся в три погибели позвоночником. За освобождение от работы они готовы были лизать не только руки, но и сапоги. По слизким, угодливым лицам можно было узнать одно людское порождение, по озлобленным, замкнутым — другое. И третье... и четвертое...

Иногда в дверь дежурки осторожно стучали. Входил улыбчивый молодой человек, лез за пазуху и вынимал оттуда завернутый в чистенькую белую тряпочку кусок просоленного посылочного сала:

— Возьмите, сестра.

Это были прибалтийцы. Уязвленная тем, что они считали, будто всех и все можно купить, выставляла их вон. Какое-то время они переживали, будто проверяя меня. А потом, удостоверившись в том, что все так и есть, согнав принужденную улыбку, еще осторожно, холодновато, но уже доверчиво, а то и совсем беззащитно просили спрятать от обысков маленькие молитвенники или Евангелие, которые ухищрялись до той поры хранить. В таких случаях, хоть и не сразу, рождались уважительные отношения в «индивидуальном порядке».

Те, кто попадал по уголовным статьям, тоже отличались от прежних рецидивистов. В аптеке работала фронтовичка Маша Голубева. Крепко сбита, приятная простушка. Военную гимнастерку не снимала и здесь. Она лихо отплясывала «барыню», залихватски пела частушки и громко в голос плакала. На фронте у нее был роман с лейтенантом. Его откомандировали в штаб полка. Приехал на мотоцикле навестить ее. Она сказала: «У нас будет ребенок!» Лейтенант ответил: «А на что он мне? Прощай!» И завел мотоцикл. Маша с крыльца кричала: «Подожди!» Он не обернулся. Вынув из кобуры наган, она выстрелила отъезжавшему в спину. Убила наповал. Суд дал Маше за убийство пять лет.

По колонне со столь разношерстным составом вдруг разнеслась несусветная весть:

— Приехали уполномоченные брать подписку на заем!

У заключенных, от которых скрывали какой бы то ни было пересчет их труда на государственные деньги? У тех, кто не получал ни рубля?

Заклученных построили. Функционеры не церемонились:

— Подписывайтесь здесь. Ставьте сумму. Что-что? Ну-у, это стыдно. Утройте. Правильно вас посадили, если этим отделаться хотите. Что? Своему государству жалеете? Следующий.

И лишенные свободы люди, почитая вжитое в сердце понятие «отечество», те, которые ночами видели сны о хлебе, подписывались на заем своей страны.

Очередь дошла до меня. Личной подписью я должна удостоверить, что даю согласие на урезанный паек и рваную одежду, что без протеста включаюсь в очередное фарисейское мероприятие режима? Память бросилась на выручку. Вспомнилось, как в начале войны отвергнутые служители культа, священники, митрополиты сдавали в казну военных наркоматов сохранившиеся у них драгоценные камни, золотые цепи, перечисляли Советской Армии суммы на самолеты. Это волновало тогда.

Я подписалась.

Один ряд чувств опровергал другой. Смотреть в глаза друг другу не хотелось.

Затем опять новость. На свой лад — невероятная.

На колонне вдруг начали белить бараки. Аврально выводили клопов. Выравнивали дорожки. Приезжие контролеры переворачивали столы, проводили снизу носовым платком и, уличив, укоризненно качали головой:

— Ну куда же вы смотрите? Пыль! Ай-яй-яй!

— Да что, наконец, происходит?

— Говорят, лагеря будут объезжать комиссии ООН.

В прозвучавшей аббревиатуре прослушивался ветер дальнего мира. Донесется ли он до нас? В душе шевельнулось что-то, похожее на надежду. Люди земного шара? Иные нации! Другой общественный строй! Разве это может иметь к нам отношение?

В бараке ОП излюбленным для всех местом была огромная печь. Прижавшись к ней, люди отогревались. Стоял там и двадцативось-

милетний Нейман. С некоторых пор я заметила, что глаза его как-то особенно блестели. Видела, хочет поделиться чем-то. То был поток.

— Говорю только вам, сестра. Я буду скоро на свободе. Получил письмо. Евреи за границей организовали общину. Собирают деньги, чтобы нас освободить. Это точно. Это будет скоро. Верите? И я обещаю вам: сделаю все, чтобы освободили и вас. Понимаете, это все так здорово! Там хлопчут за здесь!

В Беловодске так когда-то верили поляки в то, что их вызовет правительство. Нейман верил в то, что его спасет нация, к которой он принадлежит. А я? Я была не уверена даже в том, что могу считать себя законным обитателем Земли. Многие прожили длинные жизни, не подозревая о возможности подобного самочувствия. Его знают не обогретые в детстве и те, которых преследовали и предавали. Нет, я веры милого рыжего Неймана не разделяла.

За мной прибежали: «Приехал Филипп Яковлевич. Пошел в ясли. Ждет вас там».

Нам разрешили войти в заветную комнату, где стояла кроватка Юрика. Филипп поднял на руки сына, рассматривал его, прижимал к себе: «Крошка моя! Отрада! Сын!»

Он был не на шутку взволнован. Обратив ко мне растроганное лицо, произнес:

— Как я тебе за него благодарен, Леля!

— Я — Тамара! — пришлось поправить его.

— Ересь! Чушь! Не может быть, чтобы ты хоть на секунду подумала, что у меня в жизни есть кто-нибудь, кроме вас. Есть мы трое. И все! Больше никого. Ничего. До конца моей жизни. Верь мне. Прошу! Верь! И прости! Как глупо получилось... Прости.

В который раз на глазах происходила метаморфоза. Из суетного, выпренного он становился искренним, простым. Да так мгновенно, что боль не успевала обварить.

— Скажи, что ты мне во всем веришь! Успокой меня. Веришь? Да? — настойчиво повторял он один и тот же вопрос. Он умолял и... требовал.

— Верю, — ответила я, зажмурившись, потому что ничего другого вынести уже не могла и потому еще, что была в тот момент сильна материнством.

— Спасибо! Я — твое пристанище. Обопрись на меня. Доверяй мне во всем! Я не обману тебя! Мне сорок лет. Я так мечтал о сыне! Только теперь я обрел семью. Давай с тобой все обговорим.

Времени на то, чтобы обстоятельно поговорить, никогда не хватало. Посещения были нелегальными, минуты — подконтрольными страху собственному и за тех, кто решался пропустить его в зону. Главной новостью, которую он торопился сообщить, было то, что он «наконец развязался с Верой Петровной, уехал из Урдомы». Живет один. Даже географически наконец избавлен от нее. Что именно так намерен жить дальше и ждать нас с сыном — свою

семью. Ждать, понятно, еще немало, но он продолжает хлопотать о моем освобождении. Надеется на лучший результат. Рассказал, что работает теперь начальником санчасти крупного отделения. Он счастлив. Он любит нас с сыном. «Так, как никто никогда и никого не любил».

От Веры Николаевны пришло письмо. Ей удалось найти мою сестру. Валечка жила в Москве.

Я растерялась. Написать младшей сестре, что нахожусь в лагере? Осуждена? А за что? Какая она? Что понимает? Что нет? Не терпелось узнать, как сложилась ее жизнь. Что с нею? В конце концов я набралась храбрости и написала. В ответном письме Валечка описывала, как из угличского детдома была мобилизована на строительство газопровода под Москву. Доучиться в школе не пришлось. Жила в общежитии. Зарабатывала мало. Понять случившееся со мной — не может. Задавала простейшие вопросы, на которые невозможно было ответить.

Следовало написать ей о сыне. О Филиппе. Скрывать происшедшее не хотела. И все-таки не решилась. Отложила.

Филипп уезжал в очередной отпуск на юг, в Ессентуки, через Москву. Просил дать адрес сестры: «Хочу познакомиться с Валечкой — ведь это твоя сестра».

Я заколебалась. И адрес — не дала. Приехав в Москву, Филипп разыскал ее сам. Навестил.

Младшая сестра была уже взрослой девятнадцатилетней девушкой, но мне виделась все тем же незащищенным подростком.

Блокада, война, детдома и стройки, на которых она работала, сформировали ее на свой лад. И письмо, в котором она описывала свое впечатление о Филиппе, потрясло меня:

«Ты меня прости, милая, — писала она, — но, понимаешь, на меня что-то не очень хорошее впечатление произвел твой второй супруг. Может, он и хороший, ведь я его видела один раз. Пойми, я тебя жалею, мне трудно, но я была убита, когда он мне сказал, что есть сын. Он мне рассказывал, как ты живешь, как ходишь в морозы в телогрейке, рассказывал, чем вас кормят там, в лагере, говорил, что безумно тебя любит. Но как же он может ездить по курортам в Сочи, в Ессентуки, если ты там, в лагере, работаешь и мучаешься? Лучше бы он тебе на эти деньги купил что-то теплое».

В практицизме младшей сестры читался итог суровой жизни. Было больно сознавать, что ей пришлось сражаться с военными и послевоенными трудностями одной и так по-своему. Но это было не все. Смutilи линейность ее суждений, ее «взгляд на жизнь». Озадачили прежде всего тем, что, как бы там ни было, в рассуждениях Валечки была выражена вполне определенная «мера вещей». Более того — достоинство. Следовало признаться себе в том, что я «права пользования» своей мерой и Филиппа, и жизни по высшему счету еще не применяю. С достаточным багажом знания и «учувствования» моя мера находилась еще в пути, добирала нужный ей объем. Она

вызревала с учетом таких подробностей и характеристик, которыми я не имела права пренебречь. Как бы это ни выглядело недостойно и странно, было именно так. Поистине, «мера вещей» — это сам человек, его собственная, отдельная судьба.

С очередной комиссией для обследования колонны приехал новый заместитель начальника лагеря полковник Варш. Приземистый, прочный мужчина с густыми кустами бровей был похож на танк. Заложив за спину руки, он высокомерно и отчужденно вышагивал впереди своей свиты. Готовые тут же броситься, ответить на любой вопрос, «остальные» уважительно соблюдали дистанцию.

— Идут, идут к нам! — закричали мои опэшники, стоявшие в карауле.

К приходу комиссии велено было всех построить. Полковник Варш обходил строй.

— Чисто, — заметил он. — Нарядно. Жалобы есть?

— Нет! — дружно ответили «гаврики».

— Почему в других бараках нет такого уюта? Кто здесь сестра?

— Петкевич! — доложило местное начальство.

— Вы? — спросил он меня и повелел нарядчику: — Внести в список. (Имелся в виду список на досрочное освобождение.)

Комиссия покинула корпус. Проследовала дальше.

Задержавшись в ожидании их прихода, я опоздала вовремя покормить Юрика. Едва они вышли, как я привычным путем перебралась через дырку в заборе к яслям. Покормив сына, еще держала его на руках, как теперь уже ясельная обслуга оповестила: «Повернули сюда. Идут!»

Варш увидел меня с ребенком на руках.

— Чей ребенок?

— Мой.

— Ах вот как!..

Полковник недокомментировал то, что с очевидностью проступило на его лице: он ошибся, он обманулся во мне, я не тянула на «обращено-показательную заключенную».

— Из списка — вон! — произнес начальник.

С провидческой остротой, которая меня посещала, я поняла, что гнев начальника Варша изъятием меня из списка не избыт. Я ни на секунду не обольстилась надеждой на досрочное освобождение. Не поверила бы в то, даже оставшись в списках. Лишь бы не было хуже — вот что забеспокоило.

С меня Александра Петровна спрашивала больше, чем с остальных медсестер. Теперь, когда закончился срок пребывания в ОП одной, а затем и другой партии и в ОП привели следующий этап для двухмесячного отдыха, она приказала:

— Будете сидеть в комиссии по приемке больных! Мы на этот раз сделаем иначе. Всех рецидивистов соберем в один корпус —

штрафной, чтоб остальным жилось спокойнее. В каждом корпусе по паре хулиганов — неумно.

— Кого вы определите туда медсестрой? — спросили ее.

— Как кого? Тамару Петкевич.

Решив, что это одна из ее коварных шуток, я не приняла этого всерьез, но сердце екнуло.

Александра Петровна не шутила. Значит, ее доброе отношение — миф?

— Александра Петровна, меня в штрафной корпус? Но я не могу!!!

— Сможете! — отрезала она. — Сможете!

Невероятно! За что? Я ничего не понимала. Александра Петровна делала вид, что не замечает моей паники.

Я до смерти боялась уголовников. Пугали их порочные лица, землистый цвет лица, гнилые рты, набитые золотыми коронками, глаза, не принимающие сигналов других человеческих систем.

Перед столом предстала очередь измученных, натруженных тел, худых, отощавших людей. Большинство из них было вдоль и поперек растатуировано. На груди, спинах, животах, руках — галереи синих русалок, женских лиц, зверей, переплетений, имен и афоризмов, откровенных и смачных. Одни их стыдились, другие как будто и не помнили, что у них там начертано на теле. Сейчас они жаждали двухмесячного отдыха с улучшенной кормежкой, и только.

Очередь дошла до бледного, изможденного урки. Я его сразу узнала.

— Фамилия? — спросила Александра Петровна.

— Вы ж меня знаете, Львов.

— Ну как же, знаменитый Львов. Опять прибыл к нам. Что же нам с тобой делать?

— Дайте в ОП побыть!

— Чтоб снова здесь безобразничал? Не знаю, не знаю. Все зависит от Тамары Владиславовны. Возьмет она тебя в свой штрафной корпус — тогда так и быть, покантуйся немного. А нет — отправлю обратно и глазом не моргну. Как? Возьмете? — обратилась она тут же ко мне.

За Львовым стоял Лавняев. Узнала я и его.

Александре Петровне было неизвестно то, что произошло несколько месяцев назад, когда урки находились на этой колонне.

Вечером я сидела в бараке и что-то шила для сына. Вошел «второй», Лавняев. В руках держал голубой шерстяной свитер.

— Купите! Всего за тридцать рублей.

Свитер был пушистый, нежно-голубого цвета. Я представила себе, как он пойдет Юрику, когда его перевяжу для него. Присланные Филиппом тридцать рублей были под рукой.

— Я возьму.

И в ту секунду, когда, отдав деньги, я протянула руки, чтобы взять свитер, в барак ворвался Львов.

В существование этих неписанных сценариев я не была посвящена. Львов, имитируя негодование, набросился на Лавняева:

— Мерзавец! Украл мой свитер. Верни, а то убью!

Львов должен был выхватить у меня из рук свитер. Таким образом, и вещь, и деньги оставались при них. Но со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Поняв, что это одурачивание, я выкрикнула: «Не отдам!»

И знала твердо: действительно не отдам! Дело было не в деньгах, а в факте шантажа.

В глазах стало темно. Самым важным из действий на свете было не уступить. Женщины барака перепугались:

— Господь с вами! Отдайте ему, отдайте!

Но я была не в силах внять разумному, здравому. Сорвавшись с привязи покорности, воспитанности, я была схвачена волной такой ярости, которая могла нести только в пропасть.

На меня наступал побелевший, с искаженным от бешенства за оказанное сопротивление лицом урка:

— Убью-ю-ю! Убью-ю-ю!

Всеми силами души я ненавидела его в тот момент. Потеряв над собой всякое управление, швырнула:

— Убей! Не отдам!

Страх — был. Ненависть — сильнее. За все прежнее, испытанное я схватилась тогда с бандитом: за уркачек, которые заносили в Беловодске доску, чтобы бить меня, за их грязную брань, их издевательское: «Гони платформу одна, гони!» — за все уворованное ранее, за всю эту ежeminутно унижающую жизнь.

Львов в злобе так тряхнул вагонку, что все посыпалось с нар на пол. В истерике стал рвать на себе рубаху, но звериным своим чутьем уловил, что перед ним не уступающее ему в энергии бешенство. Выбегая из барака, он опять грозил:

— Ну берегись, убью!

Женщины смотрели на меня так, словно впервые меня вообще видели. Тихая, неизменно вежливая, и — вот тебе на!

Буря пронеслась. Все было позади. Жег стыд: «Как могла? Что со мной?». Что-то похожее было однажды в юности, когда схватилась с отцом, потерявшим казенные деньги.

Вернувшись из страшной пустыни, где все, кроме ненависти, мертво, к нормальному, человеческому миру чувств, я не могла связать концы с концами и вместе с ними себя. Там за установленными разумом пределами мир напрочь распался. По одним ей известным законам сила секла там все на бессмысленные порции и куски.

Во время комиссовки все случившееся ранее пронеслось в голове. Вопрос «возьму ли?» застал врасплох. Я ответила: «Не возьму!»

Мастерившая мне авторитет и «марку» Александра Петровна подвела разговор под черту:

— Раз не берет — обойдетесь. Пошлю на этап.

Вопрос был закрыт. Мне было не по себе. Не имея представления о бывшей схватке, Александра Петровна могла понять все не так.

В перерыве Лавняев отозвал меня за огромную четырехстенную печь, стоявшую посреди барака. Там уже стоял Львов.

— Сестра, возьми нас в корпус! — со смесью угрозы, но больше просьбы.

— Чтоб хулиганили? — храбрилась я.

— Будет порядок. Возьми.

— Дайте мне слово!

— Слово!

От самого факта их обращения стало уже как-то легче. Я была почти благодарна двум уголовникам, вынужденно предложившим мне мир.

Они пробыли в ОП целых два месяца, ни разу не нашкодив. У Львова был туберкулез. В чем-то и они были потерпевшие.

Не знаю, что именно случилось с ними, но, когда я встретила их обоих много позже на другой колонне, они с удивившим меня почтением поднесли мне ко дню освобождения сделанную собственноручно доску для разделки продуктов, деревянный молоток, совок.

По какому принципу был тогда укомплектован штрафной корпус, я толком не поняла. Штрафники были восемнадцатилетние, двадцатилетние мальчишки, осужденные за военные провинности. Львов и Лавняев, которым было тридцать, числились в «старичках».

Не помню всех историй, статей ребят. Но восемнадцатилетний Сережа Бекетов, мобилизованный в армию в 1944 году, был, к примеру, приставлен в Лейпциге охранять на разбомбленном складе рояли. Без сменщика. Не выдерживал, засыпал. Инструменты раскрадывали. Сереже вкатили семь лет.

Виктор Лунев, его одноклассник, был прикомандирован начальством к вагону с кофе, предназначавшемуся для спекуляции. Командир с приспешниками выкрутились. Виктор получил семь лет.

Мальчишки были обозленными и беспомощными. Дерзили надзирателям, сопротивлялись режиму. При одной из схваток с вохрой командир взвода бросил им: «Отбросы человеческие!»

Они этого не забыли. В хриплых и злых мальчишеских истериках кричали, что никакого добра на свете нет, все ложь, «сволота и мразь». И тут же со светлыми глазами обнаруживали готовность к рыцарству и доброте.

Когда начальник межогской санчасти зашел ко мне в дежурку с объяснением в «чувствах» и попробовал дать волю рукам, мне не пришлось толкать дверь. С другой стороны ее открыл Юра Страхов и, стуча зубами, прошипел:

— Убью! Негодяй!

Защитительный порыв мальчика-мужчины привязал к нему. Трижды залатанную им самим рубаху я заменила новой, сшив ее из куска серой холстины. С чувством нежной дружбы, мало понятной окружающим, встречались мы не однажды и потом. Как же тут быть с «мерой вещей»?..

«Штрафники» быстро наладили дежурство, распределили обязанности. У Александры Петровны я выговорила право посылать их подрабатывать в хлеборезку, на кухню, в каптерку. Они голодно и жадно уничтожали все, что напоминало еду. Отношения у нас установились доверительные, даже дружеские. Готовность ребят сде-

лать этот барак на два месяца своим домом была захватывающе заразной. Изоляция от внешнего мира и молодость стали союзниками усердия.

Нам выдавали все те же пропитанные водой кругляши дров. Огонь не брал эти кувалды. Колоть было нечем. Где-то на свалке я отыскала ржавый топор. Мальчики сделали топорщице, мы выставили дозор и начали бороться с поленьями. Не уследили. «Накрыл» комендант. Привел вохру. Топор отобрали.

— Кто его принес?

— Я.

Перебивая меня, Виктор Лунев закричал:

— Неправда! Я нашел топор.

Меня посадили в один изолятор на трое суток, Виктора Лунева — в другой. Ребят караулили, когда меня выведут кормить сына, чтобы вручить сэкономленный хлеб, восполнявший штрафные триста граммов.

Удивительный это был набор, а не штрафной.

В ту пору мне казалось, что постоянно, без отдыха надо совершать что-то полезное, доброе, и тогда жизнь уцелеет. Я получала потом не один треугольник-письмо: «Вы научили меня отличать белое от черного», «Если б я не встретил здесь такую сестру, как вы, я бы погиб».

И для меня с сыном это было определяюще важно.

Далеко не все было идиллией. Появлялись, сменяя друг друга, приходившие с этапом рецидивисты. Страшные. Некий Кондратов обещал меня непременно «зарубить топором». Опасное и дикое преследовало повсеместно и непредсказуемо.

Моим упованием, Надеждой было единственное — сын. Он был и настоящим, и будущим. Я прижимала к груди своего маленького человека, и мир светлел, все приходило в согласие. Он заливался смехом. Взмахивал ручонками, будто хотел взлететь. Прорезались зубки. И, наконец, было сказано заветное слово: «Мама».

Настал день, когда Юрий сотворил свой первый шаг. Личико стало невероятно серьезным. Затем расслабилось. Он осознал шаг как собственное деяние, сам же его оценил и остался необычайно доволен собой. Замерев, я шептала ему:

— Ну! Еще, еще! Ну! Ко мне!

Глядя мне в глаза, сын заносил ножку на свой второй шаг и с залихватным смехом валился назад или прямо мне в руки.

Хотелось оповестить о том весь мир. Филипп был далеко. Я бежала к Ольге Петровне: «Юрик сделал первый шаг!»

Возвращаясь в барак, я писала сыну письма-дневники, обещая в них: «...мы с тобой вместе будем лазить по деревьям. У нас дома будет непременно рояль и много музыки... Мы с тобой выправим нашего отца...» Филипп в свою очередь подтверждал: «Вот уже полгода, как я один, и в первый раз за свою сознательную жизнь я не могу не претворить в жизнь своей мечты, своих желаний. Жду вас, мои любимые. Вы — моя жизнь».

По колонне прополз слух: собирают дальний этап. Даже уточнили: в Мариинские лагеря.

Смысл перемещений громоздких масс из одной дали в другую уяснить было невозможно. Едва с Севера уходил этап в Сибирь, как сюда из другого «далека» привозили новые партии.

На этот раз я была относительно спокойна, надеясь, что меня обойдет беда. Знала, что Александра Петровна меня не отдаст.

На колонне плакали, стонали. В этап было назначено много «мамок», закончивших кормить детей.

Когда матерей угоняли в этап, детей переправляли в вольные детские дома. Как и где потом можно было отыскать ребенка, оставалось неясным. В бараке творилось что-то несусветное. Одна из блатных матерей, не желавшая расставаться с ребенком, разделась донага и, бегая по верхним нарам, сквернословила и клялась, что беременна опять и ее обязаны здесь оставить. Пятеро вохровцев, вызвавшихся ее поймать, дело свое завершили успешно. Завернутую в одеяло женщину уносили в карцер, и еще долго были слышны ее вопли. Чей бы ни был человеческий крик, он неизменно переворачивал душу. А если тебя будут отрывать от ребенка? Что сам будешь делать? Не дай Бог!

Когда в корпус вошли двое из моих опэшников, я делала внутривенные вливания.

— Сестра, велено вас на носилках отнести в хирургический корпус.

— Что за вздор? Глупые вы придумали шутки.

— Малиновская велела, чтоб вас немедленно туда принесли.

Я похолодела, но добровольно включиться в явно недостойную игру не могла:

— Сейчас приду, выясню, в чем дело.

Александра Петровна появилась сама. Подчеркнуто начальственным тоном сказала:

— С тем, что у вас, не шутят. Немедленно на носилки и в хирургию.

Что же у меня? Значит, случилось нечто чрезвычайное. Ясно: я в списке на этап. С чувством неодолимого стыда я улеглась на носилки.

Дежурная сестра Верочка Жевнерович была предупреждена. Меня поместили в палату. Александра Петровна не шла и не шла. Я понимала, что дел с отправлением этапа масса, но...

Наступил вечер. Ночь. Уложив больных, зашла Верочка. Прилегла на соседнюю койку. Мы искали ответ: как, почему? Поплакали и уснули. Проснувшись, Верочка как-то выбралась из палаты. Направляющаяся в туалет больная увидела дежурную медсестру лежащей в коридоре на полу. Мы угорели. Санитарка рано закрыла в палате вьюшку. Меня вернула к жизни застенчивая доктор Голубева, ребенок которой был в одной группе с Юрочкой. Она потом рассказывала, что впервые в жизни рискнула ввести в сердечную мышцу адреналин и пришло это к ней будто «по наитию».

Когда этап был отправлен, Александра Петровна пришла в палату, села напротив меня:

— В третий отдел поступила телефонограмма: «Мать Петкевич отправить Мариинские лагеря ребенка оставить Межог Варш».

Как я ни старалась понять, что кроется за нечеловеческим, безумным текстом, ничего не получалось.

— Полежите еще. Так надо. Выпишу через пару дней, — велела Александра Петровна.

Но и вернувшись к работе, оправиться от страха я не могла. Кто мог хотеть оторвать меня от сына? При чем здесь Варш?

Решимость Малиновской противостоять Варш, объявив меня больной, была дерзостью и расположением ко мне. Как ей сказать «спасибо»? Я ее просто любила.

Вечером она пришла в дежурку. Та же горькая складка у рта, так же много опыта в глазах. Она не сразу начала:

— Тамара, я вам сейчас задам один трудный вопрос. Подумайте. Сразу не отвечайте. Мог это сделать Бахарев?

Это был не трудный, это был жутчайший вопрос из всех. Но он был задан. Он существовал.

Телефонограмма была итогом чьего-то направленного и кипучего усердия. Я сама иступленно докапывалась до причин. Филипп? Нет, Филипп этого сделать не мог! Для чего? Я отмела эту страшную мысль на корню. Усомниться в нем? Крах жизни! Нет! Тысячу раз нет! Объяснить все личной неприязнью Варша, возникшей во время приезда в Межог?.. Можно, и все-таки тоже не это.

Чтобы сердце оставить живым, был один способ верить его любви и быть верной себе!

Ведь я перед собой обязалась «дотянуть» до «только большого» и крупного.

На колонне произошли перемены. Родиона Евгеньевича Малахова перевели на работу в другое отделение. В Межог был назначен другой начальник. Его жену, Асю Арсентьевну, я знала по Урдоме, где она работала в аптеке. Их приезд сюда сыграл огромную роль в моей судьбе.

Кончался 1946 год. 12 декабря Юрику исполнился год. Лагерь не лагерь — сыну год! Праздник жизни!

Метрякова смилостивилась: разрешила быть с ним сколько захочу. Я кормила его, одевала и раздевала, укладывала спать в кроватку, учила ходить, играла с ним.

День рождения выдался на славу.

С утра поздравила Ольга Петровна. Она всегда припасала сладкое, придумывала что-то душевное.

От Филиппа пришло замечательное письмо и подарки сыну. Он писал:

«Милая, милая моя жена! Дорогая мать нашего сына! Родная, любимая моя! От всего сердца поздравляю нашу крошку и Тебя с днем рождения. Я проникнут к тебе огромной благодарностью

за то, что Ты, несмотря на тяжелые моральные и материальные условия, исполнила мою просьбу, увеличила мою радость любви к Тебе и родила сына; за то, что ты доверилась мне, отдала себя мне, я не обману Твоего доверия. Пусть будущее представляется Тебе ясным, определенным, связанным кровно, навечно со мной во всем. Сейчас я еще не теряю надежды перевести Тебя и Ю. сюда. Теперь мне остается действовать открыто, но для этого необходимо Твое неколебимое решение разделить во всем мою судьбу, быть со мной всегда и во всем и победить все препятствия, которыми насыщен последний отрезок, разделяющий нас, с тем чтобы уже больше не разлучаться. И так как я уверен в Твоем решении, я, как никогда, спокоен, ясен, и ничего не омрачает моих ожиданий — мы будем вместе. Я хочу, чтобы и Ты не обманула моих ожиданий, моих чаяний, моей мечты. Я полагаю, что будет лучше для Ю., если я возьму его к себе, и я прошу тебя об этом. Я знаю, что мне легче было бы с ним ждать Тебя. Мы бы вместе ждали Тебя, нашу чудесную маму. Ты мне сама напишешь свое согласие. Еще не исчерпаны все возможности Твоего перевода. Если мне, наперекор всему, удастся это, Ты сама будешь видеть время передачи нашего сынульки. Будь спокойна. Не надо задавать себе тревожных вопросов: «Что делать?» Я с тобой правдив. Ведь мы договорились с тобой быть правдивыми».

Трескучий декабрьский мороз. Вечер лунный, звездный. Письмо Филиппа внесло свою лепту в праздник... Но... с сыном я не намерена была расставаться.

Я возвращалась в барак и столкнулась с нарядчиком, который меня разыскивал. Мне надлежало срочно явиться к новому начальнику колонны, который самолично провел Филиппа в зону.

— Не мог не приехать на день рождения сына. Сел в поезд, уехал от всех дел. Обойдутся как-нибудь, хотя работы по горло. Приезд был достойным этого дня подарком. Мы вернулись в ясли. Юрочка спал.

Филипп рассказывал о своей работе. Он был на подъеме. Энергии — хоть отбавляй. Изучает английский язык. Занимается спортом. Уверен: мир подвластен ему, он — хозяин положения, никто и ни в чем не сможет ему отказать. Поскольку живет один, нуждается в том, чтобы кто-то его обихаживал, намерен взять себе в домоуправительницы Ольгу Ивановну, с которой я когда-то лежала в Урдомском лагере. Ольга Ивановна, с его точки зрения, годилась для этой роли. Хлопотливой, хозяйственной женщине было за шестьдесят. Она не имела семьи, после освобождения перекликивалась в прислугах у лагерного начальства.

Тому, чтобы Филипп взял сына к себе, как он предполагал, я воспротивилась.

Тогда нынешнее положение дел он предлагал решить так: он просит начальника своего отделения спустить наряд на меня и Юрочку, и первой же оказией мы переезжаем поближе к нему, в Реваж.

На перевод я соглашалась, раз мы с сыном будем находиться там вдвоем.

Вообще его планы были обширными. Братья его жили под Курском: «Я им написал о нас. Тебя уже любят, ждут. Счастливы за меня — отца. Освободишься, поедем сразу к ним, а потом на юг».

Историей с телефонограммой Варша Филипп был не на шутку озадачен. Пару секунд, казалось, решал некую задачу с одним неизвестным: «Да нет, ничего серьезного. Не волнуйся. Ерунда».

Именно в ту минуту я удивленно подумала: «Как же самое простое из всех объяснений не пришло мне в голову? Конечно же, это Вера Петровна ездила к Варшуву. Это она сумела аттестовать меня надлежащим образом, доказать ему то, что нужно ей. Сразу должна была догадаться. Но письма и разговоры Филиппа уже более полугода исключали ее из ситуации. А клятва, что он не только не любит Веру Петровну, но едва выносил ее — «ничтожную, глупую», — убедительно венчали это.

Прошло около трех недель. Наряд, которого мы ждали, не поступал. Филипп слал встревоженные письма, описывал, как встречал пришедший из нашего отделения этап и был обескуражен тем, что нас там не оказалось. Спрашивал, в чем дело: «Неужели ты раздумала? Как могла в этом случае не предупредить?»

В январе по колонне распространился устрашающий слух, который подтвердила и Александра Петровна: детей старше года будут передавать в вольные детские дома и ясли Коми республики. Постановление об этом будто бы спущено несколько месяцев назад, и вот-вот в Межог прибудет комиссия для составления списков.

Якобы «гуманные мотивы» акции вызволения детей из зоны по сути являлись чудовищными. Кто мог додуматься до того, что оторвать ребенка от матери, когда она имеется, лучше для самого ребенка? До сей поры дети оставались в сангородке до момента освобождения родителей.

Вольные детские учреждения имели не просто худую, а зловещую славу. Огромный процент дефективных, туберкулезных и покалеченных детей говорил за себя. Матери получали оттуда детей, которые в четыре, пять лет почти не умели говорить: показывая на предмет пальцами, мычали. В лучшем случае произносили не слова, а слоги. От рассказов о недоразвитых, покрытых коростой, больных детях все внутри цепенело.

Еще с детства слово «приют» приводило меня в содрогание. А это были именно приюты для детей заключенных.

Но всякого рода соображения пришли на ум после. Тогда же от одной мысли, что Юрика могут увезти в неизвестно где существующие ясли, — он будет протягивать ручонки, а я не кинусь к нему; будет смотреть на дверь, а я не появлюсь; заплачет, а успокоить будет некому, — я теряла всякую способность думать о чем-то другом. Всюду была стена. И с одной, и с другой стороны.

Я понимала, что нахожусь в положении несравненно лучшем, чем многие. Моего сына хочет взять отец. Просит об этом. Но я заматалась. Спокойнее было бы сына отдать сестре. Но она была

слишком молода и жила в общежитии. Я даже хваталась за мысль о московских друзьях Платона Романовича. Сам он постоянно писал в Межог и тревожился: «Как вы там?» Самый естественный вариант — отца — я почему-то отодвигала напоследок.

Сразу же написала Филиппу, чтобы он поторопил на нас второй наряд. Однако распоряжение об отправке детей старше года в равной мере могло относиться теперь и к колонне Реваж. И оттуда могли увезти ребенка, раз такое постановление существовало.

Александра Петровна не давала советов. Только однажды исчерпала все логическим умозаключением:

— Бахарев ведь и из детприемника сумеет забрать ребенка без вас. Или вам придется доказывать, что он — не отец.

Не находя себе места, я, наконец, дала Филиппу согласие на то, чтобы ребенок находился у него. Главное: Юрочке должно быть хорошо. Филипп написал, что приедет вместе с Ольгой Ивановной, чтобы успеть взять ребенка до общей отправки. Бросало то в жар, то в холод от крайних решений: заставлю его поклясться страшной клятвой; пусть напишет письменное обязательство... Но ведь это значит оскорбить близкого человека. За что? Он любит и меня, и сына. В этом не было сомнения. Я не могла обмануться: любит. И больше, чем я его.

В лютый мороз, темным, зимним утром они приехали.

Вместе с Филиппом через вахту пропустили и Ольгу Ивановну. По заключению мне помнилось более приветливое лицо. Вероятно, я ждала от старшей женщины сочувствия. Филипп успокаивал: «Она добрая, заботливая, а как выглядит внешне — не самое главное». От Филиппа я тоже ждала особых слов. До освобождения оставалось три года, целая вечность. Уповала на одно: Филипп придумает что-нибудь, будет привозить сына. Я его буду видеть.

Ольга Ивановна перекаладывала в свой саквояж нашитую здесь мною одежду сына. Помогая ей, я заискивающе поглядывала на нее: «Вы уж, пожалуйста, Ольга Ивановна... Очень прошу вас!..»

Сын беспечно болтал ножками, веселился, не ведая, что происходит. Я укутала его в ватное одеяло, которое привез Филипп. Он взял сына на руки.

До вахты шла рядом с ними...

Меня разорвали на части. Помертвевшую часть оставили в зоне.

«Как доехали? Плакал или нет? Как ест? Где стоит кровать? Ту серенькую курточку надевайте на беленькую. Попроси Ольгу Ивановну, чтобы побольше гуляла. Понаблюдай сам...» — писала я вдогонку.

От Филиппа стали приходиться письма-отчеты. Во всех подробностях он описывал, как Юрочка спит, каким просыпается, что бормочет. На тревогу о том, как Ольга Ивановна относится к мальчику, отвечал: «Ты пишешь: раз выбрал Ольгу Ивановну — значит, она хорошая. Она большая ворчунья, недовольная почти всегда (характер такой). Но что бы она ни делала — лучше сделать нельзя».

Через несколько дней из Межога отправили детей по детприемникам Коми. Сомнений в том, что я сделала правильно, не осталось.

Конечно, моему мальчику лучше. Но я тосковала! Страшно! Усмирить, обуздать тревоги, тоску не удавалось никак.

Теперь поистине вся моя жизнь стала зависеть от череды писем. Я их вычитывала до дна и глубже.

Обещание Филиппа перевести меня в свое отделение оставалось в силе. Я ждала наряда.

После отъезда «штрафников»-опэшников Александра Петровна заявила:

— Перевожу вас на другую работу. Нужна манипуляционная сестра для вольнонаемных. У вас хорошие руки. Будете делать внутривенные вливания вольным и заключенным.

— Я не справлюсь! — взмолилась я.

— Слышала. Выучила наизусть.

Лекарства для вольнонаемных выделялись из особого фонда.

Утренние часы были отведены для больных-«вольняшек», вечерние — для заключенных. Перед дежуркой вечно толпился народ. Шли вохровцы, их жены. Ждал очереди и командир, посадивший меня за топор в изолятор. Пытался теперь острить, шутить.

Выглядевший здоровяком тучный агроном Целищев норовил остать в очереди последним. Жаждал «посидеть, поговорить». Однако сидел молча и смотрел куда-то в пространство. Летом приносил букетики полевых цветов. Его присутствие тяготило, но что-то мешало сказать: «Уходите, я занята». Застенчиво улыбаясь, он однажды высказался:

— Всюду — стена! В мыслях. В желаниях. В жизни. Всюду! Постоянно натыкаюсь на нее. Мне кажется, именно вы можете это понять.

Я — испугалась: это мой образ. Еще бы я не понимала! Не хотела этого понимать, но это уже дело другое. Стены едва ли не смыкались надо мной, грозя скрыть небо.

Доверительность человека насторожила. Почему он решился обнаружить столь интимное ощущение? У вольного-то откуда образ стены? Ведь он никогда не сидел в лагерях, не прошел войну. Если мне казалось, что я схожу с ума от призрака стен, то этот степенный, до неестественности спокойный человек — тоже на грани? Болен? Еще чуть-чуть, и он попадет к Александре Петровне в психкорпус.

Я раз и навсегда была поражена шаткостью кладки между безумием и нормой. Вспоминала и о конце Яхонтова. Для себя утвердилась в собственном открытии: постоянная психическая неуверенность в себе — тоже болезнь. Почему ее не принимают в расчет? Я спросила Александру Петровну:

— Агроном, по-вашему, здоров? Мне кажется, ему жить очень плохо.

— Их так мало, кому хорошо... — ответила она.

Значит, не болезнь? С неуверенностью человеку надо самому справляться?

Александра Петровна звала меня с собой в психкорпус:

— Пойдем! Покажу своих детей.

Я оттягивала визит. Хотелось поворачиваться к солнцу, не к мраку. Но однажды согласилась: «Пойду!»

За высоченным забором стоял двухэтажный деревянный дом, отличавшийся от обычных бараков не только дополнительным этажом, но и тем, что низ дома был опоясан галереей. Возле психкорпуса летом разбивали клумбы. Больные прилежно ухаживали за цветами.

Александра Петровна шла по дорожке, и больные провожали ее тягучим, полуулыбчивым: «Ма-а-ма...»

В кабинете у нее на столе лежала стопка рисунков: неземные существа, деревья; запутанные, сплетенные в клубок линии; одни носы или рты.

Особенно много среди больных было прибалтийцев. Некоторые больные с маниакальной настойчивостью немилосердно сквернословили по-русски; лица других выражали отрешенность, почти что блаженство. Казалось, им в ухо кто-то транслировал дивную музыку, от которой их ничто не могло оторвать. За стеной санитары умирляли кого-то, бившегося в завываниях от видений ужаса. И беззубая старуха с неестественно прямой спиной ходила взад и вперед величественным шагом, поскольку мнила себя английской королевой.

В кабинете Александры Петровны на стене висела скрипка.

— Вы играете?

— Это для тех, кто умеет.

«Малиновская — талантище! У нее есть серия потрясающих рассказов», — говорил Александр Осипович.

Новеллы о больных? Хотелось попросить дать прочесть. Но я так часто не смела. «Не спрашивать! Не выяснять!» — тяготел надо мной непонятно кем внушенный запрет. И сколь многого в жизни лишила меня эта проклятая боязнь оказаться неделикатной! Только один вопрос я не могла не задать Александре Петровне, находясь под впечатлением от картин этой страшной обители и оттого, что дико страдала от разлуки с сыном.

— Почему же один уцелевает, пережив десяток катастроф, а другой не осиливает одной беды?

— Зависит от предрасположения к тому психики, — скупо объяснила она.

«Значит, я здорова», — поблагодарила я ее мысленно.

Неожиданно одно из писем Филиппа глубоко задело. «Сколько надо заботы, — писал он, — внимательного, кропотливого ухода, чтобы он (сын) был здоровый, веселый, сколько надо любовного отношения, чтобы улыбка не сходила с его обаятельного личика. И какой ужас, я представляю себе, был для него там. Поэтому он был такой худенький, больной, с зачатками рахита».

«Больной, с зачатками рахита?» Этого не находил никто. Ни врач, ни сам Филипп, твердивший: «Сколько в нем радости, сколько энергии».

Так обретала жизнь «легенда», которую (это я понимала) уже ничем в дальнейшем нельзя будет оспорить. Для нее имелись

формальные основания: лагерь как таковой. Но во имя чего надо было пренебрегать конкретной правдой? «Для репутации хорошего отца, взявшего из лагерных условий своего ребенка», — пыталась я оправдать «подлог» Филиппа.

Испугало еще одно: меня в письмах становилось все меньше и меньше. Лишь в конце письма он приписывал: «Ты мне очень понравилась как мать. Я даже не ожидал. У тебя такое огромное чувство материнства, способное подавить все другие чувства. Какая ты полноценная женщина!»

Кое-как уминала в себе тревогу, которая заполняла: «Ведь Юрику действительно лучше. Главное — это. И они оба меня ждут!»

Филипп немедленно исполнил просьбу прислать фотографию сына: «Дорогая мамочка, посмотри, какой я толстенький. Я хочу, чтобы, глядя на меня, пропадало всякое горе и Тебе становилось бы хорошо-хорошо. Ф. Писали вместе», — вывел Филипп рукой Юрика.

Меня вызвали к новому начальнику колонны.

В кабинете сидели оба, муж и жена. Как и в Урдоме, Ася Арсентьевна работала здесь фармацевтом.

Начальник тут же вышел.

— Это я просила позвать вас сюда. Садитесь, Тамара. Будет нелегкий разговор.

Что-то наплыло, нашло при таких словах. Слезы уже караулили «разговор».

— Так не пойдет. Или вы будете мужественной, и тогда мы поговорим. Или разговор не состоится, — обусловила вызов женщина.

— Буду мужественной. Говорите.

— Я долго не решалась: сказать вам или нет. Советовалась с мужем. Мы оба хорошо к вам относимся, и не хочется, знаете, быть подлецами. Короче, вы должны знать: вашего сына воспитывает Вера Петровна.

— Ольга Ивановна...

— Ольга Ивановна их домработница, их прислуга.

Ася Арсентьевна говорила еще и еще... но это не могло быть правдой! Поверить в то, что сказанное — не клевета, значило бы, что кто-то изуверски коварен. Или безумен.

Я приходила в ужас от себя самой. Меня вразумлял в Урдоме Симон: «Он связан с Верой «делишками» больше, чем всем остальным — с другими». Говорил правду Рашид на «Светике». Давал понять ее в Княж-Погосте Илья Евсеевич. Филиппу никто, кроме меня, не верил. Почему верила я? Я мысленно возвращалась к пережитому: он вытащил меня из ада «Светика», так много сделал в час рождения сына. Фактически дважды спас мне жизнь... А почему я при этом всегда боялась его? Почему кровь отливала от сердца, когда он появлялся «невзначай»? Откуда такое происходило? Я не могла постичь всех оборотов жизни. Написала крушащее все на пути, бессвязное и, безусловно, самое глупое из глупых писем.

Он ответил: «После десятидневной командировки вернулся и поехал в город на почту за письмом от Тебя. Крупные капли холодного пота появились на моем лице, и леденящее ощущение разлилось по моему телу, когда я читал Твое письмо. Какие жуткие вещи ты пишешь. Зачем?.. И тобою было решено, что Юрий будет временно моим квартирантом, это Ты подразумеваешь? И ты подозреваешь, что я, осуществляя свои планы, хочу избавиться от тебя? Ты это хочешь сказать? Сумасшедшая! Ты даже пишешь, что я переживаю какое-то счастье с В. П. Слепая! Ты не видишь, что я выполняю только определенный долг, обещание. Безрассудная! Ты не можешь понять, что все делается только для тебя и для Юрика.

Никогда я еще не любил Тебя так полно, так глубоко, так преданно, так искренне, так вечно, так радостно, так счастливо, как люблю теперь. Как часто я думаю о Тебе! Как страстно хочу, чтобы Ты, усталая, истерзанная, исстрадавшаяся, бросилась в мои всегда открытые для Тебя объятия и в трепетной радости забыла весь мир горя и тревог, чтобы на моей груди Ты почувствовала веру в людей, веру в чувство, веру в самое себя и ощутила бы мою к тебе любовь, дружбу, защиту и была бы горда своим счастьем. Если по-настоящему любишь, верь мне и будь сама верна, по-настоящему верна, чтобы сберечь чистоту совести».

Я отшвыривала эти слова. Мне надо было прочитать одно: «Никакой Веры Петровны возле нашего сына нет! Тебе солгали». Он этого не написал. Именно от этого отмахнулся, как от незначашей детали.

Все предстало невероятной, напыщенной ложью. Но почему не раньше?

«Помните, Вера уезжала? Ее долго не было, — рассказывала в Урдоме одна из медсестер, — она ездила на грязи лечиться. В лагере она делала много абортгов. Когда встретила с Филиппом, захотела его удержать во что бы то ни стало. Но детей уже иметь не могла. Лечение тоже не помогло». Бог мой! Я даже не закрепила тогда в сознании ни эти отъезды, ни эти откровения.

Стал теперь понятен и смысл ее приезда ко мне в Межог: «В ясли приходила вольная. Просила показать вашего сына».

Перед тем как предпринять дальнейшие шаги, она должна была посмотреть на моего мальчика. Ей понравился мой ребенок. Она любила Филиппа. С незаурядным житейским умом, хитро, планомерно добивалась его. И мой сын стал ее главным расчетом.

Острое и полное прозрение уже ничему не могло помочь. Сын находился у них. Я в лагере. Земля разверзлась.

...Перестать ему писать? Но жить, ничего не зная о сыне, значило не жить вообще. Я должна была получать письма о моем мальчике. Надо было с собой справиться. Каким-то образом. Как-то.

Ничего уже теперь не страшась, не прибегая ко лжи, Филипп Яковлевич не замедлил нанести мне самый страшный из всех ударов.

Описывая болезнь Юрика, как к «удобному моменту», он приспособил то, что нельзя было и вообразить. «Я не скрою от тебя, — писал он, — Вера Петровна никому его не доверяет, она каждое мгновение с ним, и лишь когда я прихожу домой, беру его, ношу

по комнате, она ненадолго отойдет и снова берет его. Когда ему было очень тяжело, она плакала. Она фанатически привязана к нему. Она взяла двухмесячный отпуск, чтобы только быть с ним. Она обожает его, она влюблена в него бескорыстно. Она живет Юрием».

После этого следовала приписка: «Обнимаю тебя, моя единственная, моя самая дорогая любимая жена».

Так Филипп расправился со мной. Так я была поставлена им на колени.

За сотню верст от лагерной зоны существовал их дом. В одной из комнат стояла кровать моего сына, его стульчик, столик. Там было тепло, топилась печь. Там пили, ели, совещались. Сын учился говорить. Его мыла, ласкала проворная, чужая, черная женщина, женщина-политик, борец, полная зрелых сил.

Представив себе все достаточно ярко, я теперь не только допускала, но и верила, что она с усердием ухаживает за моим сыном. Но если есть Бог, если есть на свете хоть что-то вроде милости, то по какому человеческому праву? Как она могла решиться на это? Как посмела? И кто из них изворотливее? Или они согласно лгали вместе?

В письмах Филиппа слова и вопросы обо мне больше не путались под ногами. Следующим письмом он меня добил до конца:

«Во втором, последнем письме ты пишешь: верю, что В. П. «хорошо» относится к Ю. Разве можно этим бесконечно слабым словом выразить отношение В. П. к Ю.? Она его страстно любит, обожает его, любит больше, чем своего сына, она живет им, она знает значение каждого его движения ночью и днем. Она больше не мыслит жизни без него, она, если бы это было нужно, с радостью пожертвовала бы собственной жизнью. И Ю. платит ей такой же любовью. Если оторвать Ю. от нее, это значило бы непоправимо искалечить душу Юрия и погубить душу В. П.».

Так писал мне, матери, отец моего сына с воли за проволоку, защищая душу моего полторагодовалого сына и так называемую «душу В. П.» от меня.

Едва не очутившись в психиатрическом корпусе Александры Петровны, я не хотела ничего чувствовать вообще.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Ольга Петровна Тарасова, в девичестве Красильникова, родилась в 1883 году. Дед ее был городским головой города Севастополя. Когда в 1900—1901 годах в Херсонской губернии начался голод, по примеру других Ольга Петровна поехала туда. В деревне Куртовка они организовали для голодающих столовую. Земство снабдило посудой, некоторыми продуктами. Ольга Петровна нашла помощницу. Они сами пекли хлеб и кормили голодных крестьян. Но средства земства были ограниченными. Ольга Петровна написала матери в Севастополь. Письмо, в котором описывалось бедственное положение людей, мать показала морским офицерам, квартировавшим у нее. Те в свою очередь прочли его на кораблях. Начался сбор денег и вещей. Откликнулись и жены офицеров. В Куртовку пошли посылки, деньги, тюки с вещами.

После отъезда из России в Женеву, где она увлеклась революционными идеями, она научилась набирать в типографии шрифт. Вернулась в Россию. Из Севастополя

была откомандирована в Саратов, где познакомилась с присяжным поверенным, своим будущим мужем Борисом. Позже уже вдвоем они были направлены в тщательно законспирированную типографию города Пензы. Туда приезжали связные и увозили в Москву напечатанные ими брошюры о налогах, прокламации.

В 1910 году пензенская жандармерия арестовала обоих. При обыске нашли кассу с типографским шрифтом, так что улики были налицо.

Офицер, который вез Ольгу Петровну в Петербург, представился ей: «Моя фамилия Левенталь. Не помните меня? Мы с вами встречались на вечеринках у Карабчевских».

Довезли до Петербурга. Доставили в «охранку». Оттуда, рассказывала Ольга Петровна, посадили в карету с синими занавесочками и отвезли в крепость.

В Петропавловской крепости Ольга Петровна провела девять месяцев. После чего на пять лет была отправлена в ссылку в Архангельский край. Встретилась там с Верой Николаевной Фигнер и ее сестрой Ольгой Николаевной. Носила им обеды в «тюремную контору».

Муж Ольги Петровны после крепости был сослан на Колыму на семь лет. Они находились в постоянной переписке, которая внезапно оборвалась. А затем пришло письмо со штемпелем «Париж». Борис с Колымы убежал. Ольга Петровна решила попробовать: может, и ей удастся. Одна из тамошних ссыльных дала ей адрес в Варшаве, сказала пароль. Из Варшавы ее переправили во Францию, где она и встретилась с мужем. Там они поселились в Латинском квартале Парижа.

Однажды в Париже их пригласила на обед жена известного создателя «боевой партии» Азефа — Любовь Ефремовна. Сам Азеф произвел на обоих чрезвычайно неприятное впечатление: «Высокий, грузный, с толстой золотой цепочкой на брюшке. Большое, грубое лицо, беганющие глазки. Как говорил муж, для конспирации — фигура подходящая», — рассказывала Ольга Петровна.

Через жену Азефа она получила задание перевезти в Россию динамит. Так она вновь очутилась на родине.

ГЛАВА IX

Шел 1947 год.

Готовились к освобождению люди, создавшие в непроходимой тайге страну лагерного бытования не только для себя, но и для тех, кто их сменил.

Воля всем уцелевшим, конечно же, представлялась возвратом былых безусловных ценностей. Как никогда, в зоне писалось много писем. Слिसывались с родственниками, знакомыми. Шили, чинили свое барахлишко. Украдкой рассматривали себя в зеркальце. Полубезумная радость в глазах была перемешана с укуренными и обоснованным страхом. Где-то в кромешных трущобах секретности и канцелярщины та же анонимная сила по одним им известным принципам выборочно помечала на делах: освободить или нет. Вопреки приговору и сроку, без всякой видимости суда и теперь выпускали не всех. Весь набор 1937 года существовал как под током: только бы переступить через порог зоны!

Десять лет продержавшись кто на чем — на любви к семье, на упрямстве, — неосвобожденные в этих случаях в течение нескольких недель превращались в дряхлых стариков и таяли на глазах. Короткий, резкий удар неосвобождения добывал.

От первой же партии вышедших на волю стало известно нечто неожиданное: жить в Ленинграде, Москве или в других столичных городах республик не разрешают. В местных отделениях милиции

отсидевшим по статьям КРД, КРА и 58-й выдавали вместо паспорта «временное удостоверение». Инспектора усердным нажимом пера «рондо» вписывали теперь в них административный пункт «39». На языке паспортного режима это означало, что в 39 городах страны селиться запрещено. На самом же деле во всех приморских и пограничных — тоже. Жить от указанных центров можно было не ближе, чем на сто первом километре. Таким образом, если семья сохраняла желание воссоединиться с отсидевшим, надо было переезжать в отдаленный периферийный город или соглашаться на разрозненное существование двумя домами: семья — в столице, а освобожденный — на сто первом километре.

В действительности все оказывалось куда драматичней, чем это представлялось в зоне. Наружу проступал то один, то другой образовавшийся за эти годы вывих или нарост. Не все узнавали о развале семьи сразу. Многим это стало понятным только теперь. Мечтали о встречах с детьми. Думали об этом с замиранием сердца. Не учитывали одного: за десятилетие они для детей стали постаревшими и малознакомыми людьми. Оставляли двухлетними, трехлетними. Теперь это были школьники пятых-шестых классов. Бывало и так, что усыновленные новыми семьями дети вовсе не желали узнавать кровных родителей, отсидевших срок в тюрьмах и лагерях «неизвестно за какие преступления».

Побывав после освобождения дома, многие из тех, с кем я подружилась, возвратились обратно на Север. Тогда это казалось необъяснимым и, как все непонятное, пугало.

Общая картина освобождения 1947 года складывалась, понятно, из множества отдельных случаев и судебных, но счастливые исходы были исключением.

Раньше других выпустили Тамару Цулукидзе. По ходатайству политотдела за подвижническую работу театра кукол ей скостили семь месяцев срока. Освободившись, Тамара поехала в Тбилиси. Пока она находилась в лагере, сына воспитывали родственники Ахметели — семья Мухадзе. Это был тот редчайший, тот исключительный случай, когда мальчику вкоренялось в сознание, что у него прекрасная, ни в чем не повинная мать, встречи с которой он должен ожидать как счастья. Обнимая Тамару Григорьевну, пятнадцатилетний Сандик, не стесняясь слез, сказал ей:

— Наконец-то я могу произнести вслух дорогое слово «мама»!

Не удержавшись, Тамара пошла на спектакль в театр имени Руставели. Любимую заслуженную артистку узнали, едва она появилась в зале. Вокруг зашептались. Нашлись смельчаки, подошедшие к ней и склонившие головы. Кто-то, опустившись на колено, поцеловал край ее платья. Однако оказанные в театре почести и знаки уважения только испугали ее.

Следует представить себе, чем становилось возвращение отсидевших для тех, кто в тридцать седьмом году вольно или невольно на очных ставках их предавал. Количество замаранных лжесвидетельством людей было несметным. Ведь по каждому делу привлекалось по два-три, а то и больше «свидетелей».

Многие из них за эти годы стали признанными и заслуженными деятелями, возведенными в чины и ранги. И вот ситуация стала осложняться. Ранее оболганные обрели возможность свидетельствовать чудовищность показаний ныне именитых, бывших своих знакомых и друзей. Чаще всего, правда, этого не совершали.

А что следовало предпринять тем? Повиниться? Признаться в собственном малодушии, принуждении? Или отстаивать свою «политическую правоту»? Желавших объясниться находилось немного. Предпочитали саморазрушаться далее, чем глубже и необратимее разлагали и самую жизнь.

Взяв обратный билет на самолет, Тамара возвратилась на Север. Приняла предложение при Сыктывкарской филармонии создать театр кукол и переехала туда.

Ей было для кого жить. Жизнь сохранила ей сына. Сандику оставалось сдать экзамены в Тбилиси, после чего он должен был прилететь к ней в Сыктывкар. Мать и сын считали дни до встречи.

Перед своим освобождением в декабре сорок шестого года, когда стоял невообразимый мороз, ко мне в Межог из Княж-Погоста приехала Ванда Разумовская.

В клубах ворвавшейся с ней стужи она появилась в дверях барака, укутанная в рваное подобие извозничьего тулупа. Я не сразу узнала ее. Вынув из-под полы завернутый во множество тряпок и в бумагу горшочек с живым цветком розовой примулы, она протянула его мне. Где она раздобыла, как сумела довести и сохранить это диво в такой мороз, осталось ее секретом.

Ванда с особым воодушевлением готовилась к выходу на свободу. Но неожиданно в лагерь пришел официальный отказ старшего сына от матери и письмо бывшего мужа. Он в категорической форме протестовал против намерения Ванды навестить сына: «Забудь его, — требовал он. — Подумай о его будущем. Ему надо жить, делать карьеру. Твой приезд и твое прошлое погубят его! Будь разумной матерью».

«Не появляйся! Не ломай! Не вторгайся! Не мешай налаженной жизни!» — так нередко взывали к разуму выходившего из лагеря. Апеллируя к совести, не стесняясь, добавляли: «Если любишь своего ребенка!» или: «Если ты настоящая мать!». Освобождение близких кое-кем воспринималось как рецидив чумной болезни.

Была у Ванды младшая дочь, находившаяся в одном из детских домов Вологодской области. Из лагеря Ванда умудрялась посылать ей скопленные сухари. Девочка с нетерпением ожидала, когда мать заберет ее к себе. Дома у Ванды не было. Родных тоже. Она пришла к решению остаться работать на Севере. Устроившись в один из княж-погостовских детских садиков музыкальным руководителем, сразу же поехала за дочерью.

Позже она описывала картину дичайшего голодного существования детей в вологодском детском доме. Свою дочь Киру Ванда нашла рывшейся на помойке в поисках еды. Девочку пришлось не только отмывать, отскребывать, но и обрить наголо. Забитая, затравленная и недоразвитая Кира жаждала материнского тепла и ласки. Сама

была то необычайно нежной и покладистой, то агрессивной, часто впадала в бурные и тяжелые истерики. Так началась неслыханно мученическая жизнь матери с дочерью, в полной мере отразившая надругательства и преступления тридцать седьмого года.

Ольга Викторовна Третьякова, повидавшись после освобождения с дочерью, также задержалась на Севере.

В 1947 году должны были освободить и моего отца. Вдруг он выдержал десятилетний срок? Вдруг вышел на волю? Я пыталась представить себе, как он, приехав в Ленинград, ищет хоть какие-то следы своей семьи, никого не находит и как никто ему не может ничем помочь.

Перед тем как уйти после рабочего дня из зоны, Александра Петровна нередко заходила ко мне в дежурку. Зимой в метель ли, в гололед я шла провожать ее до вахты. Небо в особо морозные вечера зажигалось красно-багровыми всполохами северного сияния, беспорядочно, в грозном смятении выдыхавшего из себя месиво цветных облаков. Беззвучный разгул непостижимых сил и красок подавлял.

Александра Петровна уходила домой, где была ее семья — дочь и внук, а я по наледи торопилась от вахты обратно к бараку.

Не раз выводившая меня из самых безвыходных ситуаций, в одну из самых черных минут своей жизни она пришла ко мне, заставив пережить с ней сильнейшее душевное потрясение.

Вошедшая Александра Петровна была не бледна, а как бы вообще без лица. Я не осмелилась сразу спросить, что случилось. Уложила ее на свой топчан. Укрыла.

Она лежала вниз лицом. Начальница. Врач-психиатр, усмирившая кровавое восстание сумасшедших, положившая под топор руку.

— Сегодня ночью, уснув во время кормления, моя дочь «заспала» ребенка. Что делать, Тамара? — безжизненно, но требовательно спросила она.

Меня обужал ужас. Я не знала, что делать.

— Что делать? — еще настойчивее спросила она и пояснила: — Дело в том, что комиссию вызовут с «Протоки» и возглавит ее мой лютей враг, который сделает все, чтобы дочь засудили.

Ей надо было придумать убедительную ложь во спасение дочери. И она уже нашла решение, но хотела, чтоб ей помогли в нем утвердиться.

Разговор был вне морали, вне божеских и юридических законов. Он велся за границами правды и неправды. И я поняла в тот момент, что значит человеку взвалить на себя одного ношу, даже если этот человек своеволен и силен. Я будто находилась в эпицентре личности другого человека, на той глубине недр души, где формируется и отыскивает себе опору единоличное решение.

«Разве не она, Александра Петровна, — думала я, — приказала уложить меня, здоровую, на носилки, чтобы спасти от разлуки с моим сыном, уберечь от этапа? Я приняла это как защиту,

была благодарна. И все? Вот, значит, как это происходит». С ухающим сердцем ринувшись за ней в эту пропасть, я поддержала ее: «Да, скажите — асфиксия. Да, скажите — нечаянно!»

Она отвела от дочери суд.

Мгновенно и чутко откликающаяся на чужие беды, действующая там, где остальные боязливо отступали, оплачивающая свои и чужие страсти риском и мукой, Александра Петровна была могучей натурой. Ее безоглядной отдачей профессии и людям, когда она бралась кого-нибудь вылечить, вызволить и защитить, была спасена не одна, а множество жизней.

Личность человека живет и шире закона. И Боже мой, как трудно, как одиноко и страшно быть живее и шире. Когда наши жизни решал не закон, а «тройки» и суды, это был всепотрясающий урок противостояния и сражения. Человек сам себе — высший судья.

— Можете сделать для меня одолжение? — будто стыдясь своей слабости, спросила однажды Александра Петровна. — Люблю рассказ Горького «Хан и его сын». Разучите его для меня.

Второй по счету начзаказ я тоже прочла на колонне со сцены. Ей этого было мало.

— Договорилась с командиром. Вас выпустят за зону. Сегодня собрание в клубе для вольнонаемных. Прочтите им.

В клуб разом пришли все «вольняшки». На крошку-сцену водрузили стол для президиума. Объявили начало собрания. Произносились вспученные, остекленелые слова: «Повестка дня, бдительность, ...партия Ленина — Сталина, ...враги народа, ...разное...»

Затем меня позвали, и я начала читать:

«Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб и был у него сын Толайк Алгалла. Хан был стар, но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей...»

Рассказ поведовал о том, как отец и сын любили эту женщину, как, не сумев друг другу ее уступить, решили бросить ее в море с горы и как старый хан сказал: «...все мертвое — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его». И о том еще поведовалось в рассказе, как, не пережив утраты, старый хан сам бросился с обрыва вниз.

То, о чем гласила легенда, было, вероятно, трепетнее происходившего вокруг, и несколько минут назад равнодушно за что-то голосовавшие вольные люди, возможно, потому теперь и плакали.

Великое спасибо Александре Петровне за догадку прислать гонца, сообщившего о появлении за зоной Филиппа Яковлевича. Я и мысли не допускала, что он решится теперь приехать.

Стоя на пороге дежурки неестественно оживленный, он уже протягивал руки, чтобы обнять.

— Как Юрочка? Каким стал мой сын? — отстранилась я от него, полагаясь на то, что охватившая лихорадка своим ходом собьет

растерянность и смятение во что-то твердое, способное хоть временно заменить меня.

— Какая дикость, что мать должна задавать подобный вопрос, — патетически воскликнул он и без паузы, уже смеясь, рассказывал:

— Если бы ты видела, как он ломает игрушки, как расправляется с ними, как летит мне навстречу, когда я возвращаюсь с работы. Он нас так радует! Он так нас веселит!..

Я уже не сомневалась в том, что в действительности он жалеет и любит Веру Петровну. Сделав свою генеральную ставку, она продемонстрировала, с какой степенью отдачи может ухаживать за его и моим сыном во имя того, чтобы «хоть прислугой, но быть рядом» с ним. Для него это стало жизненным открытием, льстило и возвеличило его в собственных глазах.

Подчинившись непреложному закону вольнонаемных: не иметь ничего общего с зеками, Филипп Яковлевич был нынче «отряхнувший с ног пепел». Имея теперь репутацию не просто «опомнившегося грешника», но даже «распнувшего» этот грех, он и по службе продвигался успешнее.

Я не списывала вины с себя. Была уже тем виновата, что, не выбравшись самостоятельно из лагерного омута, поверив ему, сочинила из того «душеспасительную историю». Вернее было объяснять его поступки распушенностью и эгоцентризмом. Давний страх перед этим человеком подмял способность угадать его до конца. Нынешний имел другой характер. Я и сын были у него в заложниках.

Надо было отыскать точный и осторожный способ поведения с ним, как с силой, характер которой был мне неподвластен.

Душу и мозг сковывал и пытал помысел о будущем: сына, их, моего. К моменту освобождения Юрику будет четыре года. Как они определят мое место в сознании сына? Уже сейчас и на ближайшие три года важно было это и только это! Считая себя дальновидной, я отказалась от каких бы то ни было объяснений, остереглась назвать вещи своими именами, поддержала «миролюбивый» тон, каким бы чудовищным и искусственным он ни был. И, вопреки всему, ...еще малодушно цеплялась за мысль об остатках чего-то человеческого в отце моего сына: «Он знает, как я хотела ребенка, помнит, в каких муках он появился на свет. Если он пожалел Веру Петровну, сжалится потом и надо мной».

Филипп Яковлевич делился планами поехать с Верой Петровной, ее сыном и с Юриком на юг, поест фруктов, попутаться в море.

Возвратившись оттуда, прислал фотографии Юрика: одну — на песчаном пляже у моря, зажмурившего глазки от солнца, другую — в цветнике с мишкой в руках. Я видела, понимала: моему мальчику хорошо, но, всматриваясь в его личико, в буквальном смысле этого слова билась и расшибала голову о стены своей дежурки: мой сын забудет меня, он в чужих руках.

По лагерю прокатилась очередная волна «усиления режима»: обыски, дальние этапы, перемещение заключенных с одной колонны на другую. ГУЛАГом был отозван начальник СЖДЛ Шемина. Его место занял полковник Ключкин.

Воспользовавшись отъездом «покровителя» — Шемины, третий отдел незамедлительно отстранил Александра Осиповича от обязанностей режиссера ТЭК и торопливо спровадил его этапом с ЦОЛПа на колонну Ракпас. В эту же этапную партию попала и Хелла Фришер.

К счастью, очередную встряску Александр Осипович пережил легче, чем можно было ожидать. На новой колонне его устроили работать в КВЧ. И, что для него было сущим благом, разрешили жить не в бараке, а в похожем на щель закутке при своем рабочем месте. В письмах он просил о нем не волноваться, писал, что ему там «очень даже ничего». С Хеллой и Ани Кольб он мог в свое удовольствие говорить по-немецки. Вокруг него сгруппировались интересные, творческие люди. Появились и новые друзья из молодых, среди которых выделялась Ариадна Сергеевна Эфрон — дочь Марины Цветаевой. Александр Осипович воодушевился, начал готовить для ракпасской «публики» водевили Чехова и новеллы Мериме.

Особое место в письмах отводилось Борису Маевскому. «Паразитально и всячески талантлив. Могу с ним говорить решительно обо всем. Вам непременно надо узнать друг друга. Это и мой и твой человек».

Имя Бориса не однажды возникало и в разговорах с другими людьми, особенно в связи с историей, ставшей в лагере едва ли не сенсационной. Рассказывали, как на прием к заместителю начальника политотдела Баженову попросилась московская актриса и предложила на колоннах СЖДЛ дать для заключенных ряд бесплатных концертов. Умный Баженов не стал спрашивать, что ее побуждает к этому. Разрешение на концерты дал. Отзыви были восторженными. И только после этого актриса попросила Баженова разрешить ей свидание с сыном. Так Борис Маевский встретился со своей замечательной матерью, с которой они не виделись много лет, поскольку в лагерь он попал прямо с фронта.

Бывшие на концерте зеки пересказывали, как на маленькой лагерной площадке высокая, статная актриса читала заключенным рассказ Горького «Старуха Изергиль», а сын, скрытый серой тряпичной кулисой, стоял сбоку на сцене и плакал.

Чаще других в письмах Александра Осиповича стало мелькать имя Моти, или, как он ее называл, «Мотылька». На воле она была переводчицей.

После того как Ариадну Сергеевну Эфрон этапировали в Сибирь, Александр Осипович поручал Моте главные роли в пьесах и делился радостью общения с ней. А мне повторяющееся «Мотя, Мотылек» было куда-то прямо в рану. То была не ревность. Чувство бездомности и покинутости, одичалый страх сводили меня с ума. Почва из-под ног была выбита. Издавна все ценности мира виделись мне

в единственности и постоянстве: единственная мама, единственный ребенок, друг, муж, единственный любимый город.

В свои двадцать семь лет я ни для кого не стала таковою. Даже для сына. Место единственной, незаменимой ученицы Александра Осиповича должно было остаться за мной! За это место в его душе я держалась с судорожной силой тонущего. Ни жить, ни дышать без этого не могла. Наперекор Судьбе, логике, фактам, слепо, упрямо — должна была быть хоть для кого-то единственной!

И я написала Александру Осиповичу недопустимое, похожее на примитивный первобытный крик письмо. Писала о его отступничестве от меня, о его неумении делить себя. Все то, наверно, что следовало написать отцу моего сына. Но там меня отшвырнули, и все. Так неужели и здесь?

Да благословит Господь своим Светом имя Александра Осиповича и память о Нем. Он услышал. Он понял именно это.

«Ну вот, прошло уже много часов, скоро будет совсем светло, а я не могу взять себя в руки, чтобы написать тебе, — отвечал Александр Осипович. — Все это было мучительно и страшно.

Около семи часов вечера мне удалось отделаться от предстоящей репетиции, и я остался один с Борисом. Я чуть-чуть писал Тебе о нем. Он талантлив очень, слишком только разносторонне, и он здесь единственный (еще Хелла, ее Ты знаешь). Не знаю, как это и почему случилось, но я много и как хотелось говорил о Тебе. И я смог нарисовать Твой пленительный образ и, помню, сказал: «Господи, если бы только не расставаться и помочь ей раскрыться как художнику и актрисе». Мне кажется, я нашел те слова, которые не видевшему и не слышавшему Тебя могли донести Тебя, такой всегда необходимой, каждое мгновение любимой... И вот я сижу у столика, на котором Твой такой несправедливо казнящий листок. Мне нужно спросить и сказать, а у меня скован мозг от боли. Что же Ты делаешь?

Слушай, у Тебя есть сын, я знаю, как Ты его любишь. Я клянусь Тебе его жизнью, что никогда Ты мне не была дороже и ближе, никогда я не любил Тебя так, как теперь. И никогда великая жажда идти через жизнь вместе с Тобой не была для меня опорнее, чем в последнее время. И я клянусь Тебе Твоим Юриком, его жизнью. Я не знаю характера своего дарования и умения. Я всю жизнь шел от разрушения к подъему, всегда был беспощаден к себе и к своему творческому труду, делу. Но одно я знаю: я не похож на других в моей любви и ненависти. У меня свой «стиль». В этом и горе мое, и моя главная сила. Пойми это.

Ты пишешь: «Вы не умеете делить себя». Да, моя любимая и проникновенная, не умею. Но так ли Ты понимаешь это слово «делить»? Неужели, навсегда отравленный лучезарностью Моцарта, я не могу до конца впитать в себя мендельсоновские «Песни»? Боже, как глупо то, что я пишу, как не то совсем, не то.

Скажи, разве я ушел от Ольги, так беспредельно и навсегда полюбив Тебя и нашу с Тобой Судьбу и жизнь? И неужели Ты не понимаешь, что через Тебя и через мой рост от нашей

дружбы Ольга выросла в моем сознании и окрепла? А Ты мою глубокую и нежную привязанность к ребенку, которого я спас и создал, Ты это отцовское чувство к дочери считаешь помехой святому единству с Тобой? С Тобой, Тамарочка? Как все это странно, как во всем, и в чувствах, и в мыслях, преступно ложно.

Я благословляю каждое Твое дыхание и боль, которую Ты мне причиняешь. Нет, моя любимая, я хочу жить, и Твоя жизнь — мне самая волнующая опора. Ну, пойми же, как я Тебя люблю.

Прости, если все глупо, но мне так тяжело то, что Ты написала.

Всегда с тобой. А. Г.».

Все происшедшее с сыном, дичь одиночества вытолкнули меня за пределы всех существующих норм. И разговор «в помощь» тоже мог исходить лишь оттуда, с той же запредельной территории. Как и готовность подложить себя под боль ребенка, подобный язык органичен только для матери и дитяти. В ответе Александра Осиповича я услышала схожий инстинктивный порыв во что бы то ни стало подхватить, укрепить. Он и выловил меня из истерики.

Привела это письмо целиком, чтобы свидетельствовать, как один человек может слышать другого, как сострадание может стать спасительным для жизни.

В одном из предыдущих писем Александр Осипович как-то написал:

«...Больше, чем какой-нибудь род самозапечатления — письмо, если оно не чисто информационное, явление настроенческое. Именно настроение влияет на характер и содержание отбора, лепит некую внутреннюю ритмическую основу, тему».

Так я и читала письма. Главным было схватить ток, напряжение письма. Если к тому и слова совпадали с «ритмической основой», тогда письмо утоляло. Я пропитывалась им, припадала к нему как к источнику жизни. Я и сама часто писала оголтело, страстно, словно в забытьи.

Александр Осипович хлопотал о моем переводе на Ракпас. Вовлек в уговоры и своих молодых друзей. Они написали мне оба: и Борис, и Мотя. Но какими юными, совсем еще не знающими горя, существующими на легкой, игривой волне, они мне показались!

Сама я считала выходом для себя возврат в ТЭК. Только разъезжая с коллективом по трассе, я смогла бы хоть иногда видеть сына.

Я написала директору ТЭК Ерухимовичу и его заместителю Георгию Львовичу Невольскому. Они ответили, что будут рады моему возвращению и намерены выслать наряд.

В ТЭК к тому времени многое изменилось. Увидев его новый состав, Александр Осипович писал, что там много даровитых солистов, музыкантов и профессиональных артистов драмы. «Особенно, — отмечал он, — меня поразили один актер оскар-уайльдовского типа. Очень талантлив».

Режиссер в ТЭК тоже был новый: Борис Павлович Семячков. Закончил ГИТИС. По национальности — коми. Говорили, творческий, темпераментный, ищущий.

Новости эти отпугивали. Профессионалы? Но главное — без Александра Осиповича? Смогу ли? Конечно, нет. Пыл мой, однако, не убавился. А с нарядом на меня дело как-то застопорилось.

Били подъем. Поднимались больные. Ели кашу, звякая алюминиевыми ложками по мискам. Начинались хлопоты по корпусу. Я кипятила шприцы. Делала вливания, уколы, ставила банки. Монотонность межогского существования отупляла. Меня изгрызла тоска по сыну.

Александра Петровна давно выговорила у охраны право медперсоналу жить при корпусе, где работали.

Пытаясь найти определение своему тогдашнему состоянию, оставшаяся одна в дежурке, я успевала что-то записать. Желтоватые, иссохшиеся листки сохранили вопросы, которыми я пыталась проломить стену:

«Теснит в груди. Что делать, чтоб совсем окаменеть? Как заморозиться?» — «Что будет, если охвачу размеры беды от того, что не я укладываю спать своего мальчика, не я встречаю утро каждого дня с моим сыном, не ко мне тянутся его ручки? Что делать? Что? Что?» — «Адское удушье сменяет смирение. Оно так могильно тихо, что по безысходности равняется смерти». — «В эти самые минуты сын мог бы быть со мной! Не могу больше! Не могу!» — «Вещи не имеют тени. Мне страшно! Это и есть ад!» — «Чего больше, презрения или ненависти к отцу сына? Нет. Превыше всего — стыд, нестерпимый стыд за себя, за свою незрелость... Мы с Тобой будем вместе, сын. С первого же часа выхода на волю... Только помни меня, мой мальчик, помни, помни меня...»

Из событий на этих листках отмечено одно: ударники, то есть работа после рабочего дня. «Всю ночь была на ударнике. Разгружали вагоны с камнем». — «Ночью погнали на ударник на парники». — «Опять прибыли платформы с досками. Ночью будем выгружать».

Кое-что о том, что скрашивало жизнь:

«Сегодня Юра К. принес девять кусочков сахара. Не брала. Очень уговаривал: «Я ведь знаю, что пьете пустой кипятком, а я получил посылку». И сегодня же Леночка Горбунова угостила целым стаканом молока. Почему все так вдруг? В один день, сразу? Все разделила. Пару кусочков отнесла в лазарет больному Хрунину. Остальное — матери с ребенком, что лежат там же. С Ольгой Петровной пили чай. Не понимаю в жизни ни самого простого, ни главного... Надо куда-то выше подняться, в сторону сместиться. Необходимо что-то свершить! Хоть что-то!»

Только я в дежурке сняла с плиты стерилизатор со шприцами, как вбежала медсестра из соседнего корпуса:

— У Тамары Цулукидзе несчастье.

— Что с ней?

— Ее сын в Тбилиси попал под трамвай и тут же скончался!

Стерилизатор выпал из рук. Пятнадцатилетний сын, дождавшийся освобождения матери?! По какой закономерности такое возможно?

Это уже не социальная мерзость, не общественное зло. Другое. Ничему не подвластная расправа Рока. За что? Почему? Откуда это происходит?

Позже рассказывали: Тамара вмиг забыла русский язык, стала что-то быстро говорить по-грузински. Никто ее не понимал. Денег на дорогу в Тбилиси не было. Пустили «шапку по кругу». Собрали.

А много лет спустя я спросила родственницу их семьи Нателлу о Сандике. Она рассказала: мальчик был удивительный. Сестра Ахметели Екатерина и ее муж, известный в Тбилиси хирург Мухадзе, любили его, как родного сына, воспитали сдержанного, разумного и хорошего человека. По окончании весенних экзаменов Сандику уже купили билет до Сыктывкара, чтобы отправить к матери. Оставалось съездить к попутчику и договориться о поездке. Он вскочил на ходу в трамвай. Ручка, за которую он ухватился, оторвалась. Мальчик упал. Ему перерезало ногу. Помощь вовремя не подоспела. Сандик изощел кровью.

О Тамаре Григорьевне, уехавшей на похороны сына, длительное время вообще ничего не было слышно.

Я привыкла к вспышкам Эрика, начинавшего вдруг забрасывать меня письмами, в которых он жаловался на тоску. Такие периоды бывали краткими. Наступали лучшие дни, и он замолкал.

Регулярнее сына писала Барбара Ионовна. Жила моя бывшая свекровь в нужде, замкнута; внучке Таточке заменила здравствующую мать Лину, имевшую теперь другую семью. Сквозь строчки ее писем все настойчивее пробивалась не свойственная прежним отношениям нежность. Но одно из писем Барбары Ионовны надолго выбило меня из колеи. «Однажды вечером, — писала она, — постучали в дверь». В пришедшем госте она не сразу узнала моего следователя. Он напомнил о себе. Испуг ее был неопишем. «Не угостите ли чайком?» — попросил он. Стал расспрашивать, где я нахожусь, здорова ли. Сказал, что получил повышение по службе, уезжает в Москву и «вот зашел, чтобы вернуть взятые при обыске фотографии. Это была последняя просьба Тамары Владиславовны», — и отдал ей увесистый пакет.

Я хорошо помнила ночь после суда: прерванный скрежетом ключей в замке сон и противоустановное появление взъерошенного следователя: «Мне показалось, что вы повесились». Затем глупейший диалог:

«Могу ли я что-нибудь для вас сделать?»

«Вы уже все сделали».

И, как бы в извинение за злой ответ, добавление:

«Сохраните мои фотографии. Они мне очень дороги».

Заканчивала свое письмо Барбара Ионовна неожиданнейшим образом:

«Я не поняла, зачем приходил ваш с Эриком следователь, зачем принес фотографии. Ты умная. Пойми: я устала жить под вечным страхом. Боюсь любого стука в дверь, даже скрипа. Всего боюсь».

Прости меня, Тамара. После ухода следователя я сожгла все фотографии. Оставила только две, где вы сняты всей семьей. Прости!»

Понять панику Барбары Ионовны можно было. Те годы и страх неразъемно сращены друг с другом. И все-таки сохраненные странным следователем и брошенные ею в огонь фотографии зывали к какому-то другому уму и сердцу.

Со всем сущим у человека устанавливаются собственные отношения. Даже с солнцем, с утром и с деревьями. Самыми неразрывными и неумолимыми мои отношения были с Болью. Она таилась во всем, что только у меня было. Боль, как стихия. Безжалостная. Режущая. И такая внятно-одушевленная. Она вымахивала в рост, умножалась в своем весе, вминала в почву, затаптывала своей массой так, что я головы не могла поднять, сдавалась, и она выжирала мои надежды и силы. Отваливалась, только набив ненасытную утробу. И лишь тогда, еще не вполне доверяя тому, что она отступила, я переводила дыхание.

Мы, в сущности, многого не знаем о себе. Ведь нас вытесывают не только биография, события и встреченные нами люди, но более всего таинство материи, сырья, из которого мы исходим. И в особый час послебольша природа явила мне наконец новую точку отсчета. Чего? Не знала. Но я вновь начала видеть, слышать, воспринимать как нечто не вполне известное лес за зоной, изменчивое небо, травинку, пробивавшуюся из земли.

Иногда, просыпаясь ночью и всунув ноги в кирзовые сапоги, я выходила во тьму. Гремели цепью о проволоку привязанные к ней за кольцо овчарки. Сырой туман мешался с запахом спиленных стволов. Доносился все тот же господствующий над тайгой изнывающий крик паровоза с далеко отстоявшей от нас железной дороги. Протяженность пространства превращала его в истошный призыв к единству бездомные, одинокие души.

После дождя капли ровными рядами свисали с колючей проволоки зоны. С вышки шарил прожектор, высвечивая круглость и совершенство водяных шариков. Собственная тяжесть оттягивала их, и они гулко шлепались в лужи. Продуваемая ветром, я простаивала в жиге грязи лишь для того, чтобы ощутить: все дышит, звучит, все вокруг нестерпимо живое, и я подробность целого.

Бедные, почти нищенские знаки жизни. Но открывшаяся, растревоженная душа отзывалась на них. Я стала ощущать жизнь как жизнь вне собственной Судьбы.

Я и днем в свободную минуту выбегала из медицинского барака к западной стороне межогской зоны. Меня неотвратимо влекло к этой границе лагеря и свободы. С небольшого пригорка через проволочное ограждение хорошо просматривалась кромка реки, протекавшей близко к зоне. Она спокойно держалась направления к Западной Двине, чуждая тому, что происходит среди людей на ее берегах. Я не могла наглядеться на воду, на заходящее солнце, красившее небо то в нежные, то в угрюмые тона. Мысленно

протягивала руки речной свежести. Никогда я не чувствовала себя моложе, иступленнее и надрывнее, чем тогда.

Меня изнутри разрывал откуда-то взявшийся порыв к жизни, натиск неотданных сил, сокрушительная сила неизвестной еще энергии. То было даже не чувством, а состоянием, пугающим и отрадным одновременно. Словно, вопреки всему, я только теперь созрела для жизни. Подчиненная самовластным свершениям, я уже была какой-то другой, меняла возраст и кожу.

О передвижении ТЭК по трассе кто-то в зоне всегда все знал с той непогрешимой точностью, которая поражала: «Они уже в Микуни!», «Переехали в «Протоку», «Завтра будут у нас!».

И вот действительно — приехали!

Сердце оглушительно застучало: «Сейчас прибегут и произнесут долгожданные слова: «А ну-ка собирай вещички, наряд на тебя в кармане!» Буквально через несколько минут услышала голоса заместителя директора ТЭК Георгия Львовича Невольского и солиста Хмиеля:

— Кто не встречает друзей? Где она там? Идемте же, все вас ждут.

И о наряде на меня ни слова. Значит, нет его, что ли?

Я шла с друзьями по выученной наизусть межогской зоне, радуясь приезду ТЭК. Ступала по железно-комкастой земле, по которой бегала ежедневно вот уже около двух лет. А сейчас, между тем, вот-вот сию минуту должно было случиться с сердцем моим, со всей жизнью обвал, катастрофа, счастье...

ТЭК на сей раз размещали в бане. Другого свободного помещения не нашлось. Работяги сносили туда топчаны для ночевки актерам. К бане мы и подошли. Галантно пропуская меня вперед, Георгий Львович толкнул низкую дверь предбанника. Образовавшийся изнутри дверной прямоугольник света в эту секунду пересекал незнакомый высокий мужчина. Он был по пояс раздет. На голые плечи была накинута телогрейка бежевого цвета. Кому-то, находившемуся перед ним, он что-то увлеченно доказывал.

Едва открылась дверь, он обернулся, прервал разговор, остановился. Он смотрел на меня. Я — на него. Пораженно, пригвожденно, утратив способность видеть кого-нибудь, кроме именно этого человека.

Смуглое красивое лицо с огромными темно-серыми глазами выдавало мятежность, истовость, странным образом имело отношение к моему существованию. Было так, словно из всего существующего материального мира этот прямоугольник света высветил единственно прекрасного, желанного человека, и меня спросили: «Узнаёшь?»

Время прекратило ход. Его не стало вовсе. Переступая порог реально существующей в Межогге банной пристройки, я будто провалилась, пролетела сквозь сегодня и вчера к началу начал жизни, где не замысливались ни лагеря, ни летосчисления, где была лишь власть и воля чувств, их полная свобода.

Я не понимала, что со мной происходит. Все переломилось, выметнулось, восстало. Я была почти свободна и уже напрочь закабалена. И уже знала: не смогу это уступить ничему, никому.

Как во сне переступила я, наконец, порог навстречу неизбежности. Нам сказали: «Знакомьтесь». Мы протянули друг другу руки.

Окружили товарищи. Сыпались вопросы. Я отвечала. Еще оглядывала всех, машинально интересуясь новостями, но уже торопилась уйти, желая отодвинуть от себя все, кроме того, что во мне происходило.

— Мне пора!

Георгий Львович отозвался:

— Я вас провожу.

И, наступая на готовность Львовича, его голос:

— А мне с вами можно?

Я знала, что он это спросит. Хотела, чтоб так сказал. С какой-то жуткой отрадой, с мучением чувствовала: он рядом! Он идет! Он со мной! Но я ли это?

Я кружила по корпусу, ставила чай, ошеломленная переворотом в себе, тем, что вся вселенная и ее смысл сидит в дежурке, и это «все» — один, несколько минут назад вовсе незнакомый человек.

Мы пили чай втроем. Говорили. Вслушиваясь в подтекст каждого его слова, отдаваясь тайнописи взглядов, будто сверяла: все — так! Те — слова. Та — улыбка. То — в складках губ и век. С каким краем, чьего, известного сознанию прообраза шла сверка видимых, наполненных жизнью черт этого человека?

О Господи, как же прекрасно было все то!

Только теперь впервые я открывала истину и безумие существования, предназначение судьбы. Меня будто повернули к неизвестной дороге, в самую глубину сущего мира. И независимо от того, что было в конце этого пути, я захотела пройти его весь!

Я плохо запомнила первоклассный концерт, данный на колонне новой труппой. Он был совершенней, чем наш прежний, любительский. ТЭК приобрел превосходную певицу, сильного чтеца, танцоров. Затем вышел на сцену он — Николай Данилович. Ему было лет около тридцати. Высок. Красив. Худощав. Изящен. Профессионален. Он читал «Графа Нулина». Я заглатывала смысл каждого слова и чеканку фраз. И вдруг поняла, так ведь Александр Осипович о нем писал: «Талантлив. Такого, знаешь, оскар-уайльдовского типа».

После выступления ТЭК разрешили танцы. Быстро сдвинули скамьи. Заиграл оркестр.

При том, что я оживленно «рецензировала» выступления друзей и незнакомых артистов, стоя в их кругу, ничего, кроме ожидания его, в этом мире не существовало. Он подошел. Он пригласил на первый вальс.

Неужели тот вальс, то кружение было в лагере, среди заключенных братьев, в убогом и чадном клубе? Откуда же тогда крушащий все разлет? Откуда столько пространства?

Впервые я танцевала так разбуженно. Только сейчас так пронзительно ощущала свою единичную жизнь и растворившуюся дверь запертого до этой минуты «донного» мира.

Прекратил свою работу движок, подававший электричество. Свет погас. Не расходясь, мы режимными диверсантами сидели в камере за сценой. Вполголоса говорили, слитые сумерками и музыкой в «общую душу». Кто-то тихо пел под гитару. Я так за всю жизнь и не поняла: каким это образом удается забыть каждодневные лишения и тяготы, едва чей-то голос выводит: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...»

На улице лил дождь. Выл ветер. Мы непозволительно медленно шли по колонне. Коля провожал меня к корпусу. Я не знала, что будет дальше. Он шагнул за мной.

Всегда во всем неуверенная, сомневающаяся, я в тот момент личной волей и властью отменила для нас режим и запреты зоны. Была абсолютно уверена в том, что ничто недостойное не посягнет на эти мгновения жизни.

И ничто не посмело.

Слепящее сочетание неискренности и огня. Истинно, оно сулило счастье и погибель...

Пытаясь перевести на человеческий язык все, что предшествовало нашей встрече, мы рассказывали друг другу:

— Я выходил в тамбур, когда ехали в поезде. Ветер рвал, бесновался, готов был сбить с ног, я глотками хватал воздух. Тоска гнала, душила... вглядывался в темноту, вслушивался в голоса. Я ждал, ждал...

— А я ночами выходила в зону, в холод сырых испарений тайги. Слышала, как разбухает земля, как звенят звезды. Казалось, вот-вот произойдет что-то невероятное...

— Кто у тебя есть?

— Сын. Сестра. А у тебя?

— Кроме матери, никого. Только не знаю, где она и жива ли.

— У меня еще есть учитель — Александр Осипович Гавронский.

— Я с ним знаком. Красивый человек...

...Тупой удар балкой о чугунную рельсу. С какого света он донесся? Имя этому звуку: реальность, лагерь, Межог. Пять часов утра. Несводимость сфер чувствований. Почти шок. Боль. И удивительная мощь простой радости, которой под силу посчитать на сей раз лагерь не главным. Брось себя сам в оковы, чтобы меньше их замечать. Сейчас торжествует другое!

Раздача лекарств. Завтрак. Перевязки. Я уже крутилась в заботах и делах. Глянула в окно. Против него на пне сидел Коля. Необходимость неотлучно быть рядом была осознана обоими сразу.

— Занимайся своими делами. Я буду сидеть здесь. Я не помещаю, — просил он, войдя в дежурку.

Три дня пребывания ТЭК — мгновения небытия, счастья и страха перед неизбежностью расставания.

В корпус зашел товарищ Коля.

— Познакомься. Мой друг Жорж Бондаревский.

— Да. Очень рада...

— Мне так не кажется... вижу, вам не до меня! — понял пришедший.

Коля! Николай Данилович! Как мало и как все я знала о нем уже тогда.

Весь новый набор заключенных военного времени имел преимущественно одну и ту же статью: 58-я, часть 1-я — «измена Родине».

По этой страшной статье Коля был приговорен к расстрелу. Через два месяца расстрел заменили десятью годами. К познанному самой прибавилось пережитое им: реальность пятидесяти семи суток ожидания, когда вызовут на расстрел. Я представляла ее себе лишь до какого-то предела. Коля через это прошел. Час за часом пережил эти пятьдесят семь дней и все жуткое, что им предшествовало: плен, немецкие концлагеря. В Польше он работал в театре, поэтому при аресте ему вменили в вину и плен, и работу в оккупированной стране.

Лучшая пора его жизни — годы учебы в студии Юрия Александровича Завадского в Москве и в Ростове.

«Мы должны быть вместе. Мы будем вместе работать, необходимо вернуться в ТЭК, чтобы быть рядом», — в десятки раз повторенных фразах были надежды на жизнь. Поистине в тэковском наряде для меня теперь слились обе жизненные цели: и Юрик, и Коля.

До сей поры вопрос о наряде ввязнул в обстоятельствах, которые дирекция ТЭК объяснить не могла. Они подавали прошения. Управление СЖДЛ не отзывалось.

— Я сделаю все! Все, что в силах и выше сил! — твердил Коля при прощании.

За ним, за последним, как и при отъезде Юрика, двери вахты захлопнуло ветром. В межогской зоне я снова осталась одна. На какое-то время хватило изумляющих воспоминаний. Встреча с Колей — поворот, круча, наброшенное чем-то могучим лассо. Я не узнавала себя. Вот, оказывается, что означает любить. Это ко мне пришло впервые! Впервые в жизни. В неволе!

Внутрилагерная переписка целиком была на откупе у добросовестности командировочных, передвигавшихся с тем или иным заданием от одной колонны к другой.

В одном из переданных таким образом писем Коля писал:

«Ты получишь это письмо, по-видимому, в знаменательный день моей жизни. Ты его знаешь. Этот день был гранью между смертью и жизнью. В 1946 году в этот день, в 12 часов дня, было провозглашено помилование. И после 57 суток мучительного, неизвестного

ожидания расстрела в камере смертников меня перевели в общую камеру. С того часа началась другая жизнь. Вспоминая теперь все, я не верю, что это было со мной.

Сейчас я встретил Тебя, что значит — обрел себя.

И я теперь благодарен Богу за весь путь, что привел нас друг к другу. Буду вечно благодарить небо за тебя — мою путеводную звездочку. Ты — мое счастье. Жизнь моя! Дыхание мое!»

Испепеляющее письмо было фактически страшным.

В юности, читая исторические романы, где пылали костры инквизиции, где кара могла пасть на любого безвинного, а предательства и пытки губили загнанных людей, я задавалась вопросом: как они при том существовали? Дышали чем?

Жизнь своим ходом отвечала на сей, не столь уж наивный, вопрос. Потоку, который мчал через те годы, удалось переправить меня сквозь густые слои страшных современных реалий к тому, что вечно. Я полюбила. Истинно: только в любви была жизнь. Зачем же при ней такая мука? Сын в чужих руках. И мы с Колей лишены права свободы передвижения.

Нетерпение сердца требовало одного: как можно скорее быть вместе. Он сообщал: «Сегодня директор говорил о тебе в политотделе. Обещали... Заместитель директора опять ходил к начальству. Заверили...»

Наряд не приходил. А мы с Колей не могли принять разлуки. Не веруя в милость власти, не вымаливая у нее воли, мы хотели одного: за проволокой, но быть вместе. Невостребованной, уплотненной в людях энергии протеста под силу смять все, вплоть до сгоравшего в огне самого человека. В лагерях эта сила бросала в побег, в изолятор, под пулю. Желание, возведенное в подобную степень, именовалось «борьбой».

Испытывая странное волнение, я в ту пору чаще обычного задумывалась над характером отца. Вспоминала его одержимость, его фанатизм. В нем я теперь узнавала себя, в себе — его. Переосмысливала его завет «бороться». Поняла, что отец оставил мне в наследство и более ценный дар. В поступи, в самочувствии я не однажды отмечала спасительные свойства здоровья. Мысленно благодарила его за это. И билась над вопросом: зачем он сам повредил дарованное? Зачем меня в детстве бил, породив клятую в себе неуверенность? Она так много во мне скосила.

В ту межогскую пору разом рухнули все перегородки, отделявшие меня от самой себя. Собственное материнство, пришедшее чувство к Коле оживили душу. Я ужаснулась своей бывшей глухоте по отношению к маме. Без пощадки к себе думала теперь сердцем о том, чего раньше стыдилась и гнала прочь: от какого бездорожья, от какой меры страдания мама после ареста отца искала утешения в вине? Все неотступнее в памяти всплывало выражение стыда и мольбы на ее лице после продажи какого-нибудь предмета, вещи. Я не рванулась, не кинулась к ней, чтобы помочь участием. Словно проснувшись, я только теперь до самых корней ощутила, как, не справившись с бедами века, мучилась моя мама, как ее убивало

ощущение бесправия и неисполнимости стремлений. И в этом тоже узнавала себя.

Глубоко проникнув в свойства характера родителей, в то, что сотворено с моей семьей, я теперь ощущала себя матерью своих отца и мамы. Живых или ушедших — роли не играло. Не в том было дело.

Забежавшая в дежурку харбинка Лиля Гросс сияла:

— Только что в контору по селектору передали, чтобы встречали ТЭК. Едут!

После встречи с Колей прошло четыре месяца. По чьему настоянию этот внеочередной приезд?

Разрешение взять меня в коллектив дирекция и на этот раз не привезла. На ЦОЛПе все хлопоты о наряде взял на себя Илья Евсеевич. И только тогда выяснилась причина заминки. Наряд не подписывал все тот же заместитель начальника лагеря Варш. Наветы предприимчивой Веры Петровны, ее ходатайство об отправке меня в дальние лагеря были еще свежи. Забыть, что его личное телеграфное повеление отправить меня в Мариинские лагеря осталось невыполненным, Варш также не мог.

Я поняла, что ТЭК мне не видать. «Да без Александра Осиповича я и не сумею ничего сделать», — призналась я Коле, пытаюсь одновременно оправдаться за стыд, что меня не берут в ТЭК.

— Я сумею помочь! Я смогу! — горячо откликнулся он. — Ты будешь в ТЭК! Поверь мне! Приедешь, начнем работу с отрывка из «Маскарада» Лермонтова. — И он вполголоса читал:

Послушай... нас одной судьбы оковы
Связали навсегда... ошибкой, может быть;
Не мне и не тебе судить...

.....
Ты молода летами и душою,
В огромной книге жизни ты прочла
Один заглавный лист...

.....
Но я люблю иначе, я все видел,
Все перечувствовал, все понял, все узнал,
Любил я часто, чаще ненавидел
И более всего страдал!

Я слушала и в странном замешательстве порывалась найти отгадку: почему он стал читать именно эти отравляюще-прекрасные строки, издавна действующие на меня? Набрести в искусстве на одного кумира?

Едва ТЭК уехал, как распахнулась дверь дежурки, вошла Александра Петровна и грозно, без обиняков спросила:

— Артист — это что? Серьезно?

— Очень, — ответила я.

— Хочешь уехать? — Она перешла на «ты», как и в иные крутые минуты.

Я не стала объяснять, что надежд на наряд нет:

— Хочу.

— Имей в виду: не отпущу!

— Почему? — растерянно спросила я.

— Потому что от добра добра не ищут, — горько и обиженно ответила она.

Мой долг Александре Петровне был непомерно велик. В каком виде и состоянии я была бы без нее? Следовало себя казнить за неблагодарность, но я уже не добра искала; нашла любовь, за которую мы с Колей вступили в свой страшный, в свой смертельный бой.

Подошел срок освобождения Ольги Петровны Тарасовой. Есть люди, само существование которых помогает душе остаться живой. Ольга Петровна принадлежала к таковым. Я смотрела на нее и думала о том, что на свой лад она послужила не столько революции, сколько делу любви. Еще как послужила! Любви Ольги Петровны хватило на всех. И на обеих ее прекрасных дочерей Верочку и Катюшу, и на внуков, и на друзей, и на меня. У нас с нею был поэтический молитвенник: «...Нету солнца — в себя смотри. Хватит солнца в душе твоей — не ослепнешь среди теней».

Она поняла, кем стал для меня Коля. Благословила эту встречу. Это много значило для меня.

Я провожала Ольгу Петровну до вахты, не предполагая, что дружбе нашей суждены десятилетия.

Молва меня никак не обходила стороной.

Пока я раздумывала, как достовернее описать Александру Осиповичу встречу с Колей, в виде самой банальной сплетни новость опередила меня.

..Но — «бывшее быть перестанет»,
И по-иному стало ныне.
И снова Плюшка донжуанит
Или, вернее, мессалинит...

— значилось в отпущенной порции «стишков».

Вопрос рассматривался со всех сторон. Привлекая к теме двух других Тамар, он продолжал язвить:

Их целых три у нас Тамары,
Трех разных стилей и манер.
И каждая из них пример,
Как выносить Судьбы удары.
Одна — случайно ли, со зла —
Недавно сына родила.
И ходят слухи, что не прочь
Она родить в придачу дочь.
На папу претендентов рать.

Но как такого подобрать,
Чтоб был он молод и пригож,
Чтоб ненавидел фальшь и ложь,
Чтоб был властителем идей
И уж, наверно, иудей?

Он варьировал этот мотив и далее, посвящая Тамаре Цулукидзе и мне талантливые и блестящие образосплетения:

О, как приятно и легко
В любви, веселье и игре
Жилось в те дни Манон Леско
И кавалеру де Грие!
 Была судьба их, как трик-трак,
 Как лотерея, как лото.
 Теперь, увы, совсем не так,
 Все по-другому, все не то.
Мужчины нынешних времен
Умеют только оскорблять.
Они сказали бы: «Манон,
Хоть и французинка, а б...»
 И был бы беспощадно строг
 Теперешний над нею суд, —
 Ведь отбывать пришлось бы срок
 Не в Орлеане ей, а тут.
Но нет! Манон тут не сыскать,
Куда пыгливый взор ни брось.
Тут много разных Лиз и Кать,
И Варь, и Вер, и Тусь, и Тось.
 И не найти тут «шевалье», —
 Все наши рыцари без лат.
 И ходят в порванном белье,
 И носят вытертый бушлат.
Лишь иногда, как божий дар,
Мелькнет животворящий сон.
И ты увидишь... двух Тamar,
Что поманонистей Манон.
 И каждая из них, как рок
 (Сиречь изменчива вполне),
 А от измен какой же прок
 Не только прочим, но и мне.

Пародийные строчки воспринимались мною чрезвычайно болезненно. Вмещенная в нарицательные имена, я не на шутку обижалась, отчаивалась, мысленно вдребезги разбивала кривые зеркала. И тем временем училась отношению к чужому волеизъявлению, обретала вкус к более смиренному обхождению с пресловутой молвой и житейской сплетней.

Было еще одно благодетельное свойство в ехидстве Александра Осиповича: в его цветном отражении будто игнорировалось все драматичное, что происходило в черном подтексте жизни.

В окно дежурки дробно постучал нарядчик:

— Прыгайте! На вас пришел наряд в ТЭК!

Все-таки? Извини меня, прошлое, за способность радоваться!
Извини, что жива сама по себе, что так занялось, так горит сердце.

И тут же залил страх. Угроза Александры Петровны пустяком не являлась, могла все перерешить. Александра Петровна миловала, но умела и казнить. Крепостнический уклад лагерной жизни искушал всякого власть имущего.

Что делать? Увидев ее, вышагивавшую в окружении своей постоянной свиты — врачей, завхоза, прораба, — я ухватилась за шальную, еще самой до конца неясную мысль: сорвалась с места и помчалась навстречу.

Рукой придержав строй людей за собой, она остановилась и сердито закричала:

— Что еще случилось? Что такое?

— Матушка! Государыня! Смилуйся надо мной! Не гневайся и отпусти рабу Божию в ТЭК! — возопила я, рухнув перед ней на колени.

«Государыня» не устояла. Подданные многоголоьем вступились за меня:

— Отпустите ее, Александра Петровна! Пусть едет!

— Убирайся с глаз долой! Видеть тебя не хочу! — доиграла Александра Петровна немудреный сценарий.

Я отрывалась от места, где родила сына, где были ясли, в которые бегала его кормить, разговаривать с ним, мечтала о нашей с ним будущей жизни; дорога, по которой оцепенело провожала его к отцу с верой в это «будущее». Помешательство при отречении от меня отца моего сына тоже было пережито здесь.

Для многих юных опэшников я здесь нечаянно стала «учительницей», стараясь спасти их от разочарований и цинизма. Тут же однажды схватила за шиворот рыжего детину коменданта, начавшего избивать одного из мальчишек, и, наделенная неясно откуда взявшейся сверхсилой, собственноручно вышвырнула его из барака.

Из таинственного Ниоткуда сюда, в Межог, пришел человек, которого я полюбила и к которому так безоглядно стремилась теперь.

Прощание с Александрой Петровной получилось тяжелым. Мы обнялись. Она хрипло сказала: «Бросает меня? Вот и отдавай душу!»

Ждал конвоир.

На этот раз я покидала Межог навсегда.

Астрономическая дальность счастья, о котором мечталось в начале жизни, обернулась вдруг буквальными земными километрами до Коли. Тем обстоятельством, что это пространство было опутано проволочными заграждениями, я пренебрегала.

Княж-погостский старожил старший хромой надзиратель Сергеев принял от сопровождавшего меня конвоира документы и впустил меня на колонну. ТЭК на ЦОЛПе не оказалось. Они обслуживали северный участок трассы.

За пришедшим на меня нарядом числились усилия и вера в меня многих людей. «Тот, кто ступал по этой благословенной почве, уже не смел считать меня обойденной», — думала я и отправилась

со словами идиллической благодарности к Илье Евсеевичу, немало сделавшему для того, чтобы я здесь очутилась. Его странное признание быстро сбросило меня на землю.

— Я — эгоист. Хотел видеть вас снова на сцене. Не благодарите, — сказал он. — А сейчас признаюсь вам вот в чем: я прочитывал ваши письма к Николаю Даниловичу и его к вам. Письма шли через меня.

— Зачем? — только и нашлась я спросить.

— Хотел понять вас. Знаю, что вы теперь возненавидите меня, но я не мог себе отказать в этом. Как и в том, впрочем, чтобы не повиниться сейчас.

Хотя это и мотивировалось «мученической любовью», стало трудно его видеть.

Выдворенные из всех сфер человеческой деятельности, из семей и жизни вообще, люди иногда здесь вешали друг на друга весьма «свободные» поступки. Не всегда было легко это простить.

Поселили меня в общий барак. Нары-вагонки. Женщин-королев тридцать седьмого года сменили другие, более молодые, среди которых также было много заметных и привлекательных, русских и иностранок.

— Здесь вам будет удобнее! — угодливо уступая место на нижних нарах, сказала мне одна из старых знакомых.

«Добровольно отказаться от такого места?» — удивилась я про себя. Место тем не менее освободили. Шум поутих. На меня устремился пучок любопытных взглядов. «Что происходит?»

Напротив отведенного для меня места внизу на нарах сидела очень красивая женщина. Полная, но лицо... Лицо мадонны.

— Познакомьтесь! — предложили нам зрительницы-соседки.

Я протянула руку. Назвалась.

— Леля N. — отрекомендовалась красавица.

А, вот оно что! Та самая полька, которой Филипп так увлекся, что как-то назвал меня ее именем? Да, она была хороша. Устойчивая, наследственная красота. Я против воли восхитилась ею. Мы обе с интересом приглядывались и, кажется, понравились друг другу.

К вящему разочарованию осведомленного во всем барачного населения, встречи «соперниц» не произошло.

Надменная, безапелляционная Леля без всяких обиняков завела однажды разговор о Филиппе.

— Знаете, что Бахарев вас любит?

Я подобралась.

— Любит. Любит, вас одну. У него только и есть стоящего, что хороший врач и что вас любит. Вам, я думаю, он ни к чему. Освободитесь, возьмете ребенка, и все.

Я в те дни пребывала в приподнятом состоянии духа. Ждала. Считала часы и минуты до приезда ТЭК.

— Можно побыть возле счастливого человека? — спросил, присаживаясь на скамейку, один из «лордов», Николай Трофимович,

у которого был пятнадцатилетний срок. Совместное участие в судьбе Бориса Марковича Кагнера, точнее, растерянность перед этой Судьбой углубило тогда эту дружбу.

Замначальника экономического отдела управления СЖДЛ, один из могикин, Борис Маркович готовился к освобождению. Умный, корректный, он всегда существовал несколько отдельно от всех. Лагерное начальство относилось к нему с безусловным уважением, понимали, что он — мозг лагерной экономики.

— Ну, что нового на свете? Что слышно? — вполне серьезно спрашивал у него начальник лагеря Ключкин.

— Это вы у меня спрашиваете? — поворачивался Кагнер.

— У вас, понятно. Вы ведь во всем разбираетесь куда лучше, чем мы.

В профессии, политике и жизни в целом такие, как Кагнер, действительно разбирались лучше. Именно это и гарантировало им бессрочную изоляцию от общества.

Когда в день освобождения Кагнер пришел во второй отдел, ему объявили: «Москва не разрешила выпускать вас на волю».

Расписавшись под формулировкой: «Задержан до особого распоряжения», Борис Маркович как-то мгновенно сгорбился, поседел и вскоре попал в лазарет. Так и не встретившись с семьей, которая его стойчески ждала десять лет, через несколько дней умер. Мы с Николаем Трофимовичем долго сидели на крыльце лазарета, узнав о его смерти. Говорить не хотелось. Не вынес неосвобождения значительный человек.

Коллектив ТЭК приехал поздно вечером. Услышав об этом, от сильного волнения я не сразу могла подняться.

Прислонившись плечом к косяку открытой в зону барачной двери, стоял и ждал Коля. За его спиной гудел многонаселенный барак.

Мне было едва ли не дурно: «Сейчас он бросится навстречу».

Трагически-торжественный, Коля стоял не шелохнувшись, глядел, как я подхожу.

Я вступила в наш невидимый и каким-то образом вроде бы означенный в пространстве призрачной светлой линией — дом. Наш дом.

Произнести хоть какое-то слово так и не смогли ни он, ни я: «Им алтарем был темный лес, венчал их ветер вольный».

ГЛАВА X

Конец 1947 года был временем некоторого режимного послабления. Статейные отличия не мешали привлечению в ТЭК даровитых людей, и дирекция, собирая сведения о прибывающих с новыми этапами специалистов, хлопотала о нарядах на них.

Наряду с интересными, одаренными музыкантами и артистами в ТЭК взяли совершенно замечательную художницу. Маргарита Вент-Пичугина одновременно выполняла обязанности костюмерши и бутафора. Мать ее была немкой. Вышла замуж за русского инженера-мостовика и осталась жить в России. Маргарита же в 1926 году уехала к тетке в Германию учиться; выйдя замуж за немца, осталась в Германии. Имела четверых детей. Когда в 1946 году Сталин, Черчилль и Рузвельт подтвердили соглашение «вернуть всех русских на родину», этапом «в отечество» привезли и Марго. По статье 58-1 ей дали десять лет лагерей.

Удивительная женщина была эта Марго! Она неизменно носила свитер крупной вязки, подпоясанный тонким кожаным ремешком. Узел густых волос был подобран сзади сеткой. С губ не сходила загадочная полуулыбка. Подговорила она мало, односложно. Марго-сфинкс. В нее влюблялись.

Жесть, битое стекло, марля с помощью клея превращались в руках чудотворной Марго в кокошники для танцовщиц, сумки, короны, украшения. Она красила ткань, шила платья, замысловатым узором выкладывала по подолу шнур, и на свет Божий появлялся вечерний туалет, поражавший воображение заключенных женщин и вызывавший зависть у вольнонаемных.

Все новые и новые фантазии вводили эту женщину от лагерного быта в мир творчества, в суверенный мир, закрытый от посягательств, где человек всегда свободен и независим.

Помню, по дороге на одну из колонн нам повстречалась женщина с детьми. Мы обе долго смотрели ей вслед. Четверо детей Марго находились в другой стране. В известном смысле и мой сын был за границей. Кажется, этой минутой и обозначено начало нашей дружбы с нею.

Жемчужиной труппы стала певица Инна Курулянц, армянка. Это был яркий, диковатый цветок, обладавший красивым меццо. Девчонка-хулиганка могла запросто вложить в рот пальцы и разбойно, на всю округу засвистеть.

Но стоило ей появиться на сцене в длинном, сшитом Марго черно-белом платье, как она преображалась в гармоничное и очаровательное создание. В голосе был огонь и терпкий мед. Загорались пламенем слова испанской песни:

Волны плещут о берег скалистый,
За кормой след луны серебристой.
И прибоя глухие удары
Пробуждают волнение в крови.

Как никому другому, ей рукоплескали, кричали: «Еще! Еще! Bravo! Бис!» Где бы я ни была, что бы ни делала, бросала все, когда Инна начинала петь.

Не помню, как именно она очутилась в Румынии. Но десять лет ей вручили «за связь с румынскими офицерами».

Сеня Ерухимович и Дмитрий Караяниди, закончив свой срок, были освобождены. Из-за той же пресловутой 39-й статьи оба

остались на Севере работать по вольному найму: Сеня — директором ТЭК, Дмитрий — дирижером и пианистом.

К Сене после освобождения приехала из Ленинграда старенькая мама с младшей сестрой Фирой. Они осмотрелись, после десятилетней разлуки не пожелали больше расставаться и переселились на жил-тельство в Княж-Погост.

Мать Сени привезла сыну вещи, сохранившиеся со времен их харбинской жизни. Он сменил бушлат на добротное пальто с бобровым воротником и бобровую шапку, которые вызвали пристальный интерес у лагерного начальства. Воля как-то особенно красила Сенечку. И до того всегда приветливый и улыбочивый, он, став свободным, пребывая в состоянии стабильной окрыленности, наивно полагая, что отныне жизнь ему будет дарить только радости.

Утверждать программу он ходил в политотдел самолично. Для этого требовалась мобилизация всех дипломатических и бойцовских качеств.

— Что за ерунда такая? — тыча в программу пальцем, спрашивал начальник политотдела. — «...Одинокая бродит гармонь...»? Чушь ведь какая-то в этой песне.

— Почему чушь, Николай Васильевич? Песня хорошая, мелодичная.

— Да брось ты! Ну где ты видел, чтоб в наших советских деревнях бродил одинокий гармонист? Да за ним всегда куча колхозников увязывается. Вычеркивай!

Всеми правдами и неправдами Сеня отвоевывал задуманное.

— А что это за «Рассвет» Леонкавалло? — спрашивал Штанько.

— Ну там, знаете, об Авроре поется, — отвечал Сеня.

— Про «Аврору» нужно! Это оставим!

Услышав на концерте романс в исполнении солиста Хмиеля, начальник рассвирепел:

— Я этого не утверждал! Что он поет?

Сеня объяснил.

— При чем тут богиня зари? «Аврора» есть «Аврора». Она одна. Ты у меня эти штучки брось!

Обаяние Сени, миролюбивый нрав и неизменная доброжелательность во многом облегчали существование ТЭК.

Трудно сказать, кому принадлежала идея взять в репертуар ТЭК пьесу К. Симонова «Русский вопрос», в которой журналист Гарри Смит вознамерился поведать американскому народу «правду о России». Но вывели распределение ролей. Гарри Смит — Г. Бондаревский, Гульд — Н. Теслик, Джесси — Т. Петкевич. Режиссер — В. П. Семячков.

Моему появлению в коллективе новый режиссер был, казалось, необычайно рад.

— Надежд на вас возлагаю... у-у сколько! — сказал Борис Павлович в первую же минуту знакомства.

Не ведая, чем для меня будет чревата эта работа, я легкомысленно обрелась роли Джесси.

Речь режиссера пестрела незнакомыми терминами: «действенный анализ», «этюд» и прочее. Язык гитисовской грамоты поставил меня в тупик, перепугал. Борис Павлович предлагал выполнить простейшие для всякого профессионального актера задачи. У меня ничего не получалось. Я ждала магического языка Александра Осиповича, но тот язык был уникальным и неповторимым. Без него же я, в самом деле, шагу не могла ступить.

Накатило тупое, бесформенное отчаяние и ослепляющее протрезвление: я — ничто! Бездарность. Неуч. Мне двадцать семь, и я уже не смогу никогда ничему научиться.

Дружелюбие режиссера быстро перешло в откровенное разочарование, и однажды я услышала, как он растерянно-недоуменно сказал заместителю директора ТЭК Георгию Львовичу Невольскому: «Но она ведь ничего не умеет».

Это был позор. Катастрофа.

Окружающие чего-то ждали. Видела: терпеливо ждали, а я от этого еще больше замыкалась, погружалась в кошмар и беспросветность провала. Ждала отчисления.

Коля был необычайно бережен, утешал, упрасивал:

— Давай репетировать вдвоем. Я помогу. Ну, попробуем.

Более чем от кого бы то ни было, я отгородилась стыдом от него. Стыд сжигал. Бессилие убивало. Как всегда в крайне тяжелые минуты, я дезертировала в свое глухое, слепое подполье.

Однажды Коля нашел меня в углу зоны. Я не хотела его видеть.

— Оставь меня! Уходи! Не смей!

Я заходилась в гневе. Он наступал. Я гнала его. Он требовал:

— Ты должна мне сказать обо всем, что тебя мучает. Обязана. Не смей молчать! Выговори все. Я никуда не уйду.

Казалось, возненавижу его.

— Не тронь! Не смей! Уйди! Оставь! — отбивалась я, но он не отступал.

— Ты — дикарка! Ведь я — твой родной! Хочу, чтобы мы вместе вырвались из твоей муки. Ну, услышь меня! Возьми все, что у меня есть. Неужели ты не понимаешь, что мое сердце бьется для тебя одной на этой земле? Есть мы. Не ты. Не я. Только мы! Мы!

Он говорил слова, высота которых когда-то снилась, но в искренность которых я уже не умела верить. Возможность такой человеческой близости? Такого «вдвоем»? После всех предательств я привыкла самое болезненное первобытно терпеть в одиночку. Заросла неверием. Одичала. Потому теперь, когда Коля задался целью отодрать эту приросшую защитную броню, мне было больно. Но и — счастливо. Единственное есть в жизни убежище — глубина.

Понятие «публичное одиночество» для лагерной жизни имело вполне конкретный смысл. При постоянном пребывании на людях вроде бы образуется невидимая скорлупа, в которую удастся кое-что спрятать. Многолюдье становится лишь атрибутом, а то и вовсе может быть не в счет.

Мы с Колей умудрялись здесь, в бараке, поведать друг другу о сокровенном, уловить сокровенное в душе другого. Нам удавалось творить «нашу жизнь».

Колюшка понимал, что Юрик — постоянная, неуходящая боль. Он не спрашивал: «Что с тобой?» Говорил: «Не плачь. Я узнавал, мы скоро поедем в Вельск, и ты увидишь сына. Скоро заберешь его к себе». Он рассказывал о своей матери, которую во время войны потерял. Его изводило чувство вины за то, что она о нем ничего не знает. Я мысленно дала себе обет после освобождения во что бы то ни стало найти ее.

В мое творческое невежество Коля вторгся практическим путем. Принятая из его рук азбука актерского мастерства стала некой частной школой, как-то помогла.

Сам Коля был артистичен до мозга костей. Физически натренированный, изысканный, он с равным успехом играл в спектаклях, читал стихи и прозу, исполнял пантомимические номера, танцевал.

У него были свои боги: Завадский, Мордвинов, Марецкая, Абдулов.

— Помнишь, в фильме «Последний табор» Мордвинов идет по ржаному полю, едва прикасаясь к колосьям? Помнишь? Затем, расставляя руки, сгребая их в охапку, приникает к ним и говорит только одно слово: «Хлеб»? Мордвинов рассказывал, как долго это слово не давалось ему, с каким трудом он его, наконец, нашел, — пытался Коля успокоить меня. И у мастера, мол, поиск весомости слова «хлеб» потребовал бездну времени и неутомимости.

Мы часто репетировали втроем: Коля — Гульд, Жора — Смит и я. Колина самоотдача, искреннее желание Жоры помочь мне, моя сверхмерная жажда прорваться к профессионализму в конце концов раскрепостили по-человечески, что-то изменили в моем состоянии. Бог его знает, как такое случается.

— Для Завадского тишина во время репетиций была священна. Если кто-то с шумом открывал дверь, он мог того выгнать, — вспоминал Коля.

Наверное, такая репетиционная тишина и царила в один из дней. Моя Джесси, отгадывая что-то через поступок Филиппа, уходила от Смита.

С м и т. Такси? Я не вызывал такси.

Д ж е с с и. Я вызывала. (*Шоферу.*) Подождите, я сейчас приду... Захватите чемодан.

С м и т. Ты уезжаешь?

Д ж е с с и. Да.

С м и т. Совсем?

Д ж е с с и. Да.

С м и т (*доставая сигареты и протягивая их Джесси*). Закурим?

Д ж е с с и (*беря сигарету*). Спасибо.

С м и т. Посидим?

Д ж е с с и. Хорошо.

С м и т. Хорошо, что сегодня.

Д ж е с с и. Почему?

С м и т. Все сразу. *(После паузы.)* Я ждал. Я знал, что так будет.

Д ж е с с и. Я не обманывала тебя тогда, девять дней назад. Я, правда, думала, что найду в себе силы остаться с тобой.

По щекам режиссера текли слезы.

— Тamarхен! Да вы же... Господи, да это... Спасибо!

Я больше не боялась режиссера. С промахами, обретениями репетиции шли теперь своим ходом. Отношения с Борисом Павловичем изменились и в жизни.

Он как-то поссорился с одаренной Валечкой Лакиной. Взбешенный, запустил котелком с кашей в стену барака. Каша островками зависла на стене, котелок протарахтел по полу.

Уже через минуту Борис Павлович устыдился учиненной им баталии. Мне стало его жаль за «позорище». Я выручила его перед всеми шуткой. Через всю жизнь мы пронесли нашу дружбу и уважение друг к другу. А тогда он немало удивил меня и Колю, заявив:

— Вы, ей-Богу же, характерная актриса, Тamarхен. Поверьте. Давайте-ка сыграем с вами «Хороший конец» Чехова.

— Что вы! Я — сваху? Не смогу.

— Еще как сможете! Решено?

Он не на шутку загорелся. Колюшка из «педагогических» соображений поддержал его. Начали репетировать. Получилось. Мы долго с успехом играли вдвоем этот маленький спектакль.

Я была уже прочно занята в репертуаре, а Борис Павлович все что-то придумывал, искал новые миниатюры, отрывки.

— Как вы смотрите на сцену из «Леса» Островского? Я — Аркашка. А вы — Улита.

— Ну что это вы? Это уж, знаете, суший бред.

Товарищи диву давались этой затее, но вскоре и она была воплощена. Борис Павлович узрел во мне какого-то озорного чертенка, и джинн был выпущен.

В театральном бараке стоял ровный гул обыденной жизни. Открылась входная дверь. Со свистом ворвался зимний холод. Вошел незнакомый человек в повидавшей виды шинели. Шумно и весело поприветствовал:

— Здравствуйте, товарищи! А где тут можно увидеть Тамару Петкевич?

— Я.

— Здравствуйте! Вот вам письмо от Александра Осиповича. А я — Борис Маевский.

Я с любопытством смотрела на того, с кем уже обменивалась письмами, не будучи знакомой, о ком так много слышала и знала из писем Александра Осиповича.

— Привет, Коля.

— Здравствуй, Борис.

По встречам в Ракпасае, куда ТЭК выезжал ранее, они уже знали друг друга.

Покрытый чистой тряпочкой чемодан, стоявший на Колином топчане, заменял нам стол.

— Мы ужинаем. Присаживайся к нам.

— Есть чай? Это славно. На улице холодища.

Борис осмотрел барак:

— А у вас тут совсем неплохо. Рассказывайте, как живете. Чего такого готовите?

Через несколько минут мы уже разговаривали как стародавние знакомые.

Лицо у Бориса мальчишеское. А взгляд — человека, умудренного опытом. Умен. Все знает. Литературные новинки? Ради Бога! Музыка? Пожалуйста. Сам играет на пианино. Театр? До войны был в труппе ЦТСА в Москве. Поэзия? Тут речь пересыпалась именами, коих я и вовсе не слыхивала. К тому же он и сам пишет стихи. Александр Осипович прав: «Талантов — тьма! Даже слишком много!»

Разговор задержался на Эренбурге. Недавно я прочла «Бурю». Мне нравилась Мадо. Борис заспорил, начал нападать. Я ступевалась. Даже в манере спора у Бориса ощущался блеск. Я этим искусством не владела. И здесь все упущено! Все теперь недостижимо, и отчего-то тревожно.

— А относительно вас... — сказал вдруг Борис. — Такой вас и представлял. С внешностью только ляпус. Слишком красивая. Это ни к чему.

Он был самоуверен. Держался с бравадой. Не знаю, почему, но первое, что я ощущала в людях, была их бесприютность. Была она и в нем.

Пришедшее вскоре после сего отъезда письмо, казалось, начисто опровергало это впечатление, однако не ушло:

Письмо про чужое

Наша жизнь должна быть
сочиненным нами романом.

Г. Ноголис

Ну что ж, пройдем, пожалуй, мимо,
В толпе друг друга не узнав.
Забудем день неповторимый
И не нарушим липкость сна.
Пусть в кровь чужие губы рая,
Разменной нежностью брэнча,
В чужих домах нас боль застанет,
Рассвет услышит, как кричат,
Как плачут две большие птицы,
Томясь от страусовой лжи —
От жадной, юной небылицы,
Бездарно розданной чужим.

Нет, мы не скажем, что ошиблись,
Смешав в труднейшем из искусств
Удушье чувственнейших мыслей
И холодок умнейших чувств.

Пожалуй, честности не хватит
 Признаться с горькой, едкой силой,
 Что в гонке «творческих зачатий»
 На жизнь нас явно не хватило.
 Что воля к счастью, к муке крестной
 Дотлела в сером, умном штрафе,
 Ушла в крылатость рифм и жестов
 Из двух наземных биографий.
 Захлопнув смехом двери в ад,
 Сочтемся фальшью. В чье-то ухо
 Шепнете вы: «Забавный фат..»
 Я буркну: «Яркая толстуха».
 И злой, заученный восторг
 Расплескивая в чьи-то ночи,
 Тоску и муť вот этих строк
 Никто запомнить не захочет.
 И будет все оллрайт! О'кэй!
 Не злитесь, Плюшка. Я измучен,
 Да, в вашей маленькой руке
 Сюжет до слез благополучен.

Б. М.

Для передвижения по тысячекилометровой трассе лагерное руководство выделило наконец ТЭК два товарных вагона. Один для мужчин, другой для женщин.

Нас мотало по дорогам. Ночами то прицепляли к товарному составу, то отгоняли в тупик. Один рывок, другой, десятый, еще, совсем осатанелый. С полок слетали чемоданы с реквизитом. Во время сна толчки отдавали в голову, в нервы. Машинисты вряд ли знали, что в их составе, кроме угля и чурок, наличествуют люди.

Дошчатые стенки вагонов никак не защищали от зимней стужи. В дни моего дежурства из соседнего вагона прибежал Коля, чтобы помочь мне принести в ведрах воду с кусками льда, разбить лопатой и наворовать с привокзальных насыпей смерзшегося угля. Я колола щепки, растапливала «буржуйку». Огонь начинал гудеть. Железо печи и трубы постепенно накалялись до красноватого свечения. Закоченевший вагон теплел. И тогда один за другим, сбрасывая толщу наваленного на себя баракла — занавесей, кулис, — вылезали тэковцы. Кипятили чай. Мужчины выскакивали из своего вагона. Кто-то растирался снегом, кто-то бегал, разминался. Вохровцы следили, стерегли.

Потом мы разбирали свои и тэковские чемоданы, которые были закреплены за каждым, и пешком отправлялись на очередную «точку».

Как всегда, размещались в предоставленных нам закутках и щелях, вынимали свои тряпицы. Я отыскивала где-нибудь жестяную банку, ставила туда принесенные ветки хвои, и на день-два обязательный «уют» был налицо.

На глухих колоннах играли при керосиновых лампах или сальных свечах. Выходили на чадящую «сцену», едва разглядывая тех, кто сидел на скамьях, слушал и смотрел наши программы.

После концерта нас окружали работяги: «Напишите слова «Землянки»... А мне — «Заветного камня»... Опустите где-нибудь письмо домой...»

Каждая просьба была для нас с Колей священна.

Колонна за колонной. За зимой — весна. Бесконечные дороги, багаж на плечах, наши концерты. Смех и слезы зрителей. Но мы с Колей — вместе. Безобразен и дивен мир вокруг нас.

На самом южном, Березовом ОЛПе, куда от станции надо было идти пешком ходом немало верст, колонной управлял капитан Силаев. Когда-то он сам сидел по бытовой статье. Затем попал на фронт. Был в штрафном батальоне. Имел боевые ордена. После окончания войны сам попросился в систему лагерей.

Концерты и спектакли ТЭК проходили на этой колонне всегда с особым успехом. На этот раз мы приехали в день аврала, похожего на светопреставление. Посередине колонны над кострами были пристроены огромные чаны с кипящей водой (где только капитан такие раздобыл?). Заключение сносили сюда свои топчаны и окунали их в кипяток, объявляя клопину полчищу «последний и решительный».

На короткое время Березовый ОЛП становился базой, с которой мы выезжали обслуживать таежные зоны. Тот наш приезд совпал с прибытием сюда управленческого начальства. К подразделению, находившемуся в глубине тайги, капитан Силаев сопровождал нас всех вместе. Маленький визгливый паровозик-«кукушка» по проложенной туда узкоколейке бойко тащил две открытые платформы. На одной из них на стульях, «мобилизованных» для этого случая из квартир вохровцев, восседал лагерный «генералитет». На другой кое-как расположились мы. «Кукушка» пыхтела, тужилась, истошным голосом оповещала тайгу о своем продвижении.

Верный пес Пегас, оставленный капитаном Силаевым дома, нагонял своего хозяина и наш «состав». Узкоколейка была проложена по болотистому, топкому участку тайги. Собака мчалась за нами, перепрыгивая с кочки на кочку, на колею, опять на кочку, на другую, лаяла, надсадно просила ее подобрать. Мы не выдержали:

— Гражданин начальник, да остановите же «кукушку», возьмите собаку!

«Генералитет» манекенно хранил молчание, смотрел куда-то мимо, заявляя тем о своей непричастности к лирическим «пустякам».

У капитана от тревоги за пса сводило скулы, но он хорохорился: «Добежит!»

И пес действительно старался. Вскидывал уже заплетающиеся лапы, мчал не по прямой, а сложным зигзагом, норовя не отстать от платформ.

— Да пожалейте его! — еще раз подали мы голос, защищая животное.

Четвероногая доверчивость еще несколько минут перемахивала с торфяных кочек на колею, нагоняла нас, опережала... Раздался жалобный предсмертный взвизг под колесом, и собаки не стало.

Только тогда капитан заорал не своим голосом: «Остановите!», поднял бездыханную собаку, бережно положил на платформу. Худо было капитану Силаеву. Но ни слова. Ни слезинки. Только крикнул:

— Поехали! Давай! Дальше!

За сострадание к живой собаке капитан Силаев мог прослыть у начальства слюнтяем. А чучело, которое он соорудил из мертвого Пегаса? Что ж, чучело посмертно любить не возбранялось.

Во всех известных мне случаях побег был стихийным рывком, редко точно рассчитанным планом.

Приехав на свидание к своей восемнадцатилетней дочери и получив разрешение на двухдневное проживание с ней за зоной, одна мать увела дочь через тайгу в побег. Разрыв между наивным, естественным сознанием и реалиями закона был оплачен тем, что мать получила срок, а дочери его добавили.

Из вагонов ранним утром мы отправлялись репетировать на колонну. Распевали птицы. Мы считали природу, лес другом. Но дружественны были только обочины таежной глубины.

У края я увидела белый гриб, за ним другой, еще...

— Можно, я забегу в лес? — пожадничала я, воображая, как вкусен будет обед.

Конвоиры разрешили. Я быстро заполнила тару. Аукалась с Колей. «Воз-вра-щайся, хватит!» — кричал он. А коричневые шляпки дразнили: «Вот я, вот». Один крепче и моложе другого. Кидала уже в платок. Еще один, еще... И вдруг наткнулась на плотность тишины. Ни пения птиц. Ни «ау». Колодец безмолвия. Я заблудилась. Опрометью кинулась в одну сторону, в другую.

Вся исцарапанная, в панике я продиралась куда-то, окончательно утратив представление о том, где нахожусь. Вдруг услышала хруст сучьев, вертанулась на него, и у меня кровь застыла в жилах. Невдалеке, возле одного из деревьев, стояла и сумасшедшими наводненными безумной хитростью глазами смотрела на меня не то коряга, не то человеческое существо. Успела уже понять, что это одичавшее создание — женщина, вперившая в другого живого свои уже совсем недогадливый, но страшный взор.

Какое-то мгновение от ужаса не могла двинуться с места. Потом метнулась и побежала без оглядки неизвестно куда. Бежала, пока не обессилела. Оглянулась. Никого. «Оно — она» не гналась.

Безнадёжная тишина задавливала. Я уже сама была близка к помешательству. Все! Я никогда отсюда не выберусь.

Не слух даже, а инстинкт шёл какой-то неясный звук полезным. Я требовала от него: «Еще! Еще! Еще!» — чтобы понять его смысл. Тишина откусила еще небольшую порцию звукового отражения. Я заклинала: «Повторись еще! Спаси!» Замерло, вовсе исчезло все, кроме слуха. Издалека доносился, кажется, звук трубы. Мне помогали. Прислушиваясь к звуку-комарику, я перебежками помчалась ему навстречу. Звук густел. Трубочник Володя Куликов, забравшись на верхотуру полусгнившего элеватора, трубил оттуда.

Тэковцы стояли стеной, осуждающе смотрели на меня, когда я выходила из леса. Напуганы были и конвоиры, и товарищи, и более всех Коля. У него дрожали и руки, и ноги. Мне могли «припаять» срок за побег, да и всем было бы худо.

Я рассказала о «существо». Остановились на том, что это заблудившаяся и обезумевшая в тайге беглянка. Что делать? Решению такое не поддавалось. Искать и выводить ее из леса к вохре? Кто мог на это пойти? И кто пустил бы?

Какие же сильные и безысходные чувства теснили людей изнутри и извне в их жажде свободы и как безуспешно они полагались на чудотворное спасение!

Едва отъехав от Березового ОЛПа, стоя у своих вагонов на узловой станции Котлас, мы увидели направляющуюся к нам группу оперативников. Проверив у конвоиров документы, они зашли в вагоны, осмотрели все углы, все перевернули, залезли под нары, нас пересчитали. Было ясно: кто-то бежал, кого-то искали.

— Как? Ничего не знаете? Не слышали?—воскликнул встреченный знакомый по Княж-Погосту. — На ЦОЛПе повальные обыски. Все поезда проверяют. Бежал Николай Трофимович Белоненко, один из «лордов», тот, с которым мы ходили в лазарет навещать Кагнера.

— Да вы что? — заговорили мы хором. — Он находится в командировке на Березовом! Мы только что его там видели! Всего неделю назад.

Он провожал нас, когда мы уходили с колонны. Шли по лесу. Читали друг другу стихи. Неужели он был уже готов к побегу?

— Знают, что был там. Искали. Исчез. Но это лишь половина новости. В Княж-Погосте с РЕМЗа (ремонтно-механического завода) бежал, помните, тот хромой американец, что всегда ходил с костылем. Считают, что они бежали вместе.

Новость была настолько оглушительной, что мы долго не могли ей поверить: американец бежал с ЦОЛПа, а Николай Трофимович с пункта, находившегося на четырехста верст южнее. Почему же «вместе»?

Затем рассказ пополнился подробностями: на РЕМЗе внезапно погас свет. Пока чинили, пока строили заключенных, одного недосчитались. А когда электричество исправили и подняли тревогу, со стороны заводской ограды обнаружили сброшенную американцем телогрейку и костыль. Добавляли, что видели промелькнувшую легковушку, для Княж-Погоста редкую. Предполагали, что недалеко их ждал самолет.

С американцем в конце концов все было понятно. С Николаем Трофимовичем — нет.

Представить себе, что, как многие из предыдущих беглецов, Николай Трофимович может оказаться проколотым длинными железными «щупами», коими оперативники протыкали грузы товарных составов в поисках беглеца, или пристреленным, лежащим у вахты, воображение отказывалось. Когда в лесах под Березовым обнаружили человеческий скелет (по всем приметам — задрал медведь), тоже невмоготу было поверить, что эта участь могла быть уготована ему.

О чем думал Николай Трофимович, сидя на цолповском лазаретном крыльце, когда умер Кагнер? Может, мысль о побеге к нему пришла именно тогда?

Когда человеком овладевала идея побега, это было похоже на пожар. Решимость Николая Трофимовича отличалась чем-то продуманным, тщательно выверенным. Значит, есть энергия воли! Есть точная мысль! И — сопротивление! Он должен стать свободным, а нам нужна была легенда об удаче.

Только летом 1948 года мы получили направление на лагпункт Рапнас, где находился Александр Осипович.

Мы давно не виделись. В жизни многое изменилось. Я очень хотела, чтобы не слишком общительный Коля понравился Александру Осиповичу.

От помещения КВЧ фанерной перегородкой Александром Осиповичем был отвоеван чулан — полоска для одиночества. Возле уродливого оконца стоял маленький, сколоченный из досок столик. В темном углу ютился топчан. На небольшой печурке, обогревавшей убогое жилье, победно дымился черный кофе, присылаемый с воли женой Ольгой Петровной Улицкой. Александр Осипович выглядел постаревшим и нездоровым.

Как всегда, вокруг него было множество самых разных людей. Приходили, прибегали, просили уделить им время. Прехорошенькая с фарфоровым личиком Мотя (Мотылек) держалась в стороне.

Я со сцены для Александра Осиповича предстала как сваха в «Хорошем конце» Чехова и как исполнительница рассказа «Династия», который читала от лица старой железнодорожницы.

— Удивила ты меня чрезвычайно, — заключил он. — Неожиданно. И — талантливо.

И, как всегда, — ширь вопросов и тем. От интереса к тому, что с Юриком, со здоровьем, до того, что пароход, на котором он и мы очутились, отклонился от курса на весь разворот градусов.

Он дал мне прочесть журнал «Звенья» — сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, в котором указал на статью Пиксанова «Дворянская реакция на декабристов».

Мне впервые открылся новый план трагизма этих жизней. Отношение отцов к поступкам сыновей, дворянские представления о чести, искреннее раскаяние декабристов, их настоятельная потребность объясниться с царем — все это лавиной обрушилось на меня и ошеломило. Нестерпимо мощная иллюзия, когда чувствуешь, что история оживает, превращаясь в лично всех касающийся урок. Подступ к зрелости, толкающий к деянию, поступку.

В одном разговоре я сослалась на термин Чернышевского, употребила его как аргумент в споре:

— Есть же «новые люди» как достижение истории.

— Не можешь ли ты мне объяснить, что это такое — «новый человек»? — усмехнулся Александр Осипович.

Вроде бы и могла, была еще не согласна с насмешливой улыбкой, но ирония уже внесла поправку: «Действительно, — осеклась я, — «классический», вечный человек всегда жил и мучился, умел или не умел быть достойным себя».

В один из вечеров вохра не стала нас разгонять, и мы засиделись в дощатом закутке Александра Осиповича до утра. Стояла белая июньская ночь. Он читал нам «Трех сестер». Читал так, как мог только он — прибавив к Чехову себя самого и все наши страдания тоже.

Потрясенные, как будто впервые, мы слушали:

— «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!»

Свежий утренний ветерок сотрясал тонюсенькие стволы посаженных на Ракпасе подростков-березок. И так же знобило душу.

Неразъясненные догадки про бытие, едва постигнутые чувством, космически интимно звучали в искусстве? Что же оно? И где границы между ним и жизнью?

Здесь, на Ракпасе, находилась Хелла Фришер. Еще не ведая, как близко сведет нас жизнь в дальнейшем, я не забывала чужестранку со страшной судьбой.

Александр Осипович открыл Хеллу с неожиданной стороны: — Она талантливая писательница!

Нещадно коверкая русские слова своим сильным акцентом и хрипловато смеясь, Хелла добавляла: «Русска писателница».

Она думала и писала по-немецки. И все, кто владел этим языком, тогда и позже утверждали, что в переводе ее «листки» утрачивают очарование.

И все же я с жадностью впиалась в них.

Изборожден твой лоб,
И нет числа морщинам
Около твоих глаз.
Своя повесть у каждой складки,
И каждая говорит.
И одна из них,
Резкая борозда,
Это повесть моя.
В ней вся любовь
И в ней вся скорбь,
Все, что я тебе принесла,
И то, что ты сказал мне тогда,
Когда эту борозду
На лик твой нанесла.

Когда Александр Осипович написал мне однажды: «У меня с Хеллой самый настоящий роман», я не перевела это на язык конкретных понятий. Но теперь, когда вникла в Хеллины листки, поразилась, в какой смертной зависимости она существует от Александра Осиповича.

За экзотической внешностью, за ее древней красотой изнемогала мятежная и бурная женщина. Она жила импульсами, взлетала, срывалась. То бывала крайне возбужденной, не замечавшей никого вокруг, а то пребывала в тяжелом, угнетенном состоянии. Причины для этого были веские: Хелла доживала последние дни своего срока. На родину, в Чехословакию, ей возвратиться никто бы не дал. «Коминтерновской Москвы» не существовало, все «коминтерновские друзья» были ликвидированы в 1937 году. Никакой душевной и духовной опоры, кроме Александра Осиповича, она не имела.

К счастью, в это же время освобождался наш друг китаец Цю Дзиньшань, работавший ранее в коллективе Тамары Цулукидзе. Приняв своеобразное решение уехать после освобождения не к центру или к югу страны, а еще дальше на север, он списался с усть-куломским театром, который нуждался в художнике, перетащил туда своего друга Джан Бао и добился приглашения Хеллы в качестве костюмерши. Хелла согласилась и, освободившись, уехала к ним в Усть-Кулом.

В Ракпасае много времени с нами проводил и Борис. Позвал нас с Колей к себе в мастерскую, где стояли подрамники с натянутыми холстами, висели его картины. Он рисовал без усталости, выполнял официальные и личные заказы начальства.

Письма его были бравурны. В них проступала своеобразная, незнакомая мне еще индивидуальность:

«Я не боюсь своей юности, хочу сделать ее стабильной, разделить с моим человеком и в полночь нового, 2000 года умереть с бокалом в руке, с улыбкой в морщинах и умной наглостью в сердце... — писал он. — Очень хорошо все на свете, Зорюшка! Попробуйте заявить, что нет!.. Жаден к каждому новому утру и, какое бы оно ни было, от чистого золотисто-тихого до изгаженного оруще-порочного, с просторными прозрачными ветрами или замечательно черными ямами, обнимаю его в чувственном и в головном наслаждении. В каждом завтра — клад кладов, и как бы ни случался иной раз страшен в кажущемся бесплодии материал ежедневности, мастер способен преодолеть его, обнажив бездну удивительных форм...»

Провожая нас, держась за борт грузовой машины, он встал на колесо, подтянулся и сказал: «Коля, ты должен знать: я люблю Зорюшку». Коля заботливо натянул мне на плечи брезентовую покрывку, чтобы укрыть от ветра, и, усевшись рядом, крепко обнял. Сердце мое зашло от благодарности за высокую и непререкаемую веру в меня и в «наше».

Впереди опять были дальние дороги, но, Боже, как мне было хорошо! Не страшен ни холод, ни ветер. Мы были вместе с Колей.

В поездке мы чувствовали себя лучше, чем в Княж-Погосте. Особенно в летнюю пору и если попадался «нескандальный» конвоир. Есть мы, тайга, тундра, дороги, которые доведут меня до сына, а позже нас с Колюшкой до воли.

Дверь теплушки откатывали в сторону. Свесив наружу ноги, мы усаживались на пол вагона. Мерно стучали колеса. Хвойно-лиственные полосы леса дарили глазу отдых. С товарной скорости на зеленом мху можно было разглядеть красную и черную спелость. В пункте назначения паровоз, поманеврировав, сталкивал наши вагоны по заржавленным, заросшим травой рельсам в тупик, и мы тонули в тишине необжитого полустанка. После концертов в ожидании, когда нас прицепят к проходящему составу, разжигали костер, подкидывали сучья. Пламя дымно и шумно рвалось к небу. Из леса тянуло холодом, сыростью. Наползал слоями туман.

Мимо пронеслись пассажирские поезда. Стоя у насыпи, запрокинув головы, мы с Колей смотрели, как яркий электрический свет рассекал тьму. Оранжевые колпачки настольных ламп в спальнях вагонов, протрассировав, уносились поездами дальше, к Москве. Земля долго дрожала. В несоизмеримости судеб вершителей наших жизней, пребывавших в уюте экспресса, безумной «корягой», погибавшей в лесу, нами, дрогнувшими у насыпи в ожидании «телячьих» вагонов, — была неумолимая печаль без начала и конца.

В Княж-Погосте нас обычно застигали приказы, инструкции, постановления о тех или иных ограничениях. Лагерь не терпел стабильности и успокоения. Где-то внутри системы, совсем вблизи, существовал идеолог передвижек и постоянного устрашения.

Еще до выезда на трассу вышел приказ: всех женщин с ЦОЛПа перевести жить на сельхозколонну, находившуюся в трех километрах от основной базы. На ЦОЛПе мы проводили весь день, ночевать отводили туда. Готовить теперь приходилось мужчинам, поскольку мы получали сухой паек, а плиты на новом месте не было.

В то утро Колюшка встретил меня как обычно. Усадил завтракать. И только после этого сказал:

— Обещай, что отнесешься спокойно к тому, что я расскажу.

Я уже знала, что последует дальше. Знала потому, что ожидание мучительства от третьего отдела лагеря не оставляло ни на мгновенье.

— Тебя вызывали?

— Сегодня ночью. После того как вас увели «на отшиб».

— Что они хотели?

— Или работать у них, или нас разлучат. В обоих случаях я теряю тебя. Но в случае согласия — навсегда. В другом — за нас время. Знаешь, — добавил Коля, — уполномоченный — мой ровесник. Я спросил его: «Неужели у вас не дрогнет рука? Сможете разлучить нас?» Он как отрезал: «Не забывайтесь!» Это давно следовало сделать».

«Не забывайтесь!..» Коля держался. Меня согнуло.

Спроецировав вызов Коли на собственный панический страх перед лагерной внутривластной службой, я испытала разящее удивление от его лаконизма и ясности мысли.

Когда за нами вечером пришел конвой, Колюшка, провожая меня, неожиданно шепотом не то задал вопрос, не то попросил: — Ты... помолишься на ночь?

Мы раньше не говорили о Боге. «Это он там, в камере смертников, обращался к Нему сердцем».

Я и так каждый день молилась и просила: «Господи, пусть общие работы, но только — вместе! Боже! Только не разлучай нас!»

Мы каждый час жизни проживали в страхе перед тем, что кого-то из нас могут назначить в этап, до того неминуемого расставания, которое было предопределено лагерным сроком. После моего освобождения Коля должен был оставаться в лагере еще пять лет.

Вызов Коли в третий отдел был всего лишь попыткой «налетчиков» успеть соорудить «стукача», поскольку приказ об отчислении всех, кто имел статью 58-1, уже лежал на столе у начальства.

Утром следующего дня, когда нас привели на базу, на койках увезенных лежали голые доски. Коли больше не было рядом.

Меня не трогали. Ко мне не подходили. Я была невменяема.

В лагерном уродстве встретились двое и были счастливы вопреки всему. Окружающие говорили: «Спасибо за то, что так бывает». Теперь разбили не одну, а обе наши жизни. «Очаг погас».

Письма друг другу писались ежедневно. Мы оба были безумны. Среди пылающих строчек Коли я читала заверения в нерушимости нашего «вместе», о его готовности ради этого вытерпеть что угодно. Я была «божеством».

«Ты выше всех, — писал он. — Твоих слез не искуплю даже смертью. Живу для тебя... Всюду достану, найду тебя, мой воздух, моя жизнь... разве есть на свете кто-нибудь прекраснее тебя, красивее тебя, благороднее и честнее. Да разве любит кто так, как ты. Скрепи сердце и иди, иди вперед для нас. Горе, слезы, болезни, невзгоды, тропинки в лесу от колонны к колонне, радость и счастье связали нас на вечную жизнь. Надо было только дойти до тебя. Я дошел. Ничему и никому не верю, горжусь тобой, люблю, привязан к тебе как зверь...»

Когда окружающая среда ничем, кроме отравы, не питает, «привязан как зверь» перестает быть метафорой, становится буквально. Нас с Колей нельзя было разлучать! Но вопли охранительного человеческо-звериного инстинкта: «Не подходи! Не тронь! Не отдам!» — не достигали здесь ничего слуха. С садистским наслаждением подходили! Трогали! Отбирали! Подвергали тем самым пытке материю нервов и чувств.

Только однажды мы с ТЭК побывали в ту пору на Ракпасае, где находился Коля. Ни сборов, ни дороги туда не запомнила. Лишь минуту, когда увидела его; часы, когда смогли наговориться.

Александр Осипович сказал в тот приезд:

— Я понял, почему именно он. Я все понял, Тamarочка!

Не зная, как справиться с отчаянием, я твердила одно:

— Не вынесу разлуки с ним! Не могу! Не могу!

Еще совсем недавно Александр Осипович мне писал: «Вспомни свою жизнь, несмотря ни на что не только не изуродовавшую тебя, а наоборот, назло всем и всему, давшую тебе право и силу стать тем, что ты есть». Сейчас же вместо привычных поднимающих все слов, вместо утешения он тихо и сдержанно произнес:

— Не можешь?.. Тогда изменись сама.

С разбега я больно стукнулась о неожиданную формулу. Она была слишком сурова, жестка. Я была не готова к ее приятию. Только смутно угадывала чутьем ее неизбежность. Обошлась мыслью: «Да, это предстоит. Но — не теперь. Сейчас надо одно: быть рядом с Колей. Только это!»

Парадокс заключался в том, что, увидев, насколько стертыми стали наши выступления, начальство взамен отчисленных военнопленных стало пополнять ТЭК заключенными за действительный шпионаж. Логика блистательная! К нам привели иностранку Елену N. В Праге она выступала в кабаре. Чуть танцевала, чуть занималась акробатикой. Холеная, зазывно-привлекательная женщина с белой розовой кожей подтвердила:

— Да! Сижу за шпионаж.

И, как нечто обыденное, рассказывала о том, что спецврач высверливал ей в зубах дорожку, чтобы прятать шифровки; как в шпильки и волосы прятались донесения. Человеческое тело в ее откровениях представало неким комодом со множеством ящичков для шпионских сведений.

Все в ней сбивало с ног. Но более всего срок, который ей был дан: шесть лет. Шесть лет за доказанный шпионаж. У меня «без состава преступления» — семь, у Марго, у Инны — по десять лет, а у настоящей шпионки — шесть.

Кто-то не побоялся ей об этом сказать. Она не растерялась:

— А я не на одно государство работала. И на ваше — тоже. Были, стало быть, заслуги перед вашей страной.

Елене разрешили везти в зону три сундука с личными вещами, которые хранились на складе. Она периодически вынимала из них один из предметов туалета и демонстрировала перед женским населением. Бывало: сногшибательную ночную рубашку из шифона, похожую на мираж, на дым, блузку с каким-то невымыслимым вырезом или брюки-юбку. Как и многие другие, я впервые в жизни видела предметы роскоши из неведомой, совершенно незнакомой жизни.

Женщины ахали, просили разрешения примерить и ссорились из-за желания купить. Купившая шикарную вещь прохаживалась по требованию зрителей; нары превращались в галерку, середина барака — в демонстрационную площадку.

Неунывающая, красивая Елена посвящала желающих в сексуальные извращения любви и способы заманивания людей. Открывалась все гаже и гаже.

В бараке при постоянных обысках воровцы стали на удивление удачливы. Безошибочно угадывали, что и где у кого спрятано. Выследили: перед уходом с ЦОЛПа на сельхозколонну она заблаговременно исчезала из барака ТЭК, «ныряя» к оперуполномоченному в комнату, находящуюся при вахте.

Избавиться от доносчицы оказалось делом безнадежным. Ни ее, ни «устройство» этой жизни смутить нельзя было ничем.

В Княж-Погосте начальство СЖДЛ замыслило крупное мероприятие. От ТЭК потребовали «интересную, обширную программу». Руководство ТЭК осмелело: «Лучшие артисты и музыканты отправлены на Ракпас. Вернете — выступим успешно!»

В реальность такого жеста, как «вернуть лучших артистов со статьей 58-1», никто, естественно, не верил. Но, когда начальство нуждается в престижной витрине и в удовольствии, возможным оказывается все. Три месяца обходились чем попало. А тут буквально в несколько часов приказали: «Вернуть»!

В Ракпас был послан грузовик и конвой. Нам с Колей вернули жизнь. Концерт прошел с небывалым успехом.

Неуверенные в завтрашнем дне, на свой страх и риск приступили к репетициям новых концертных номеров, отрывка из оперетты «Баядера».

«Баядера» была выношенной мечтой Коли. Режиссировал он сам. Равнодушная к оперетте, я попросту отступилась от роли Мариетты. Петь и танцевать на сцене? Не умею! Не могу! Но, горячо доказывая, что именно оперетта даст возможность всем задержаться в ТЭК, Коля деспотически потребовал от меня вокальных и танцевальных достижений, ставил танец: «И-раз, и-два..» Превосходя себя, я разучивала: «Снова звезды зажглись в небе..» Марго колдовала над моими туалетами. В результате у начальства, как и предсказывал Коля, отрывок из «Баядеры» имел грандиозный успех:

— Давайте, давайте, еще какую-нибудь оперетту, помозыкальней, посмешнее. Работайте!

Одновременно с премьерой мы отметили Колино тридцатилетие.

На одной из колонн вместо бараков нас поселили в двухквартирные коттеджи. «Неужели здесь живут заключенные?» — удивилась мы. Но я заболела. Высокая температура не дала насладиться комфортом.

С места, где я лежала, хорошо просматривалась прихожая и входная дверь. Я ждала Колю. Знала, что после своего номера он сразу же прибежит.

Действительно, через некоторое время услышала, как он вошел. Но шли секунды, а он не подходил ко мне. Открыв глаза, я увидела его стоящим у двери. Не раздевается. Не двигается. Это было настолько противоестественным, что я усомнилась в яви: «Сплю? Или это бред от высокой температуры?»

Наконец Коля приблизился:

— Сейчас со мной было что-то странное. Никак не могу понять, что. Вышел на сцену. Начал читать «Макара Чудру» и вдруг все забыл. Не мог даже вспомнить, о чем там идет речь. Кто-то из оркестрантов подсказывал. Не слышал. Потом вдруг вспомнил. Дочитал.

«Так же бывает, — думала я. — Почему он так испугался? Что с ним? Я его таким никогда не видела».

И вдруг, казалось бы без всякой связи, я вспомнила один крайне тяжелый разговор с нашим певцом Хмиелем. Это был старый, умудренный жизнью человек, но с причудами. Многие его сторонились. Однажды он подошел ко мне и сказал до того страшные слова, что лучше было бы их забыть тут же:

— Если вы не хотите совсем потерять Колю, то оставьте его.

Что значит «совсем потерять?» Что значит «оставить»? Как оставить? Я дня не могла прожить без него. Не попросив его пояснить сказанное, я отшатнулась от него, как от злой кликуши, посчитав его про себя сумасшедшим.

Не знаю, почему упомянутый разговор связался с тем, что Коля забыл текст, но тревога ужалила и долго не оставляла меня.

Наконец в маршрутный лист был вписан город, где находился мой сын. Поездка туда раз за разом откладывалась из-за административных переоформлений и переподчинений. О приезде я известила Бахарева письмом.

По моей просьбе наш дирижер Дмитрий Караяниди купил для сына и, не занося в зону, погрузил в наш вагон игрушки — большую серую лошадь и другие подарки.

Я старалась не думать об обстоятельствах и условиях встречи. На мысли о том, что смогу взять сына на руки и прижать к себе, на ожидание того, как он ко мне потянется, решительно все замыкалось.

Едва мы приехали на центральную колонну этого отделения, как в зону пришел Бахарев и объяснил, что ему, как должностному лицу, самому привести сына на колонну неудобно, поэтому все сделает Вера Петровна. Слишком, мол, много людей следит за тем: «Как все это будет?»

Действительно, после концерта, едва разошлись зрители, в клубе появилась Вера Петровна с Юриком на руках.

В прыгающем, скачущем пространстве сын показался мне светящимся комочком покоя. Я протянула к нему руки и, как смогла, как только вышло, позвала:

— Юринь-ка! Юрочка!

Он смотрел и... молчал.

— Ну, скажи «здравствуйте!» — стала тормошить его Вера Петровна.

Одной ручонкой сын держал ее за шею. Взглянув на меня раз, другой, он, будто играя, улыбнулся, с силой откинулся назад

и затем обхватил Веру Петровну второй ручонкой, повернувшись спиной ко всем.

Я продолжала называть его по имени, как можно тише и спокойнее. Не отрываясь от Веры Петровны, сын стал рассматривать всех по очереди и в том числе — меня. На руки ко мне не шел.

Я понимала: не сразу, надо дождаться, помочь, оживить. Мне необходимо было остаться с ним одной без всех. Но именно это, самое насущное и простое, оказывалось недоступным.

— Ну что же ты, как дичок, — выговаривала ему Вера Петровна. — Да посмотри же, кто тут, посмотри...

Однако она недоговаривала, кто же именно этот «кто».

Я гладила рукой его спину, руки. Он продолжал молчать.

— Поздоровайся же, поздоровайся, — подталкивала она ребенка.

Ничего не добившись, ни к чему не склонив Юрика, Вера Петровна, как видно, заученно игриво и неоднократно опробованно, обратилась к моему сыну:

— Что же ты меня срамишь? Ну и ну! Ну, покажи тогда, как ты любишь свою маму!

Еще крепче прикинув к ней, Юрик «показал», как любит «свою маму». Она просила еще что-то продемонстрировать. Но страшные своей правдой слова «покажи, как ты любишь свою маму» набирали и набирали силу. И сын, и она, и все отплывало.

Тэковцы отошли. Мы остались втроем. Я еще протягивала к сыну руки, звала его.

— Видите, какой он стал! Вырос? Правда? — оживленно спрашивала Вера Петровна. — Знаете, очень любит собак!

Сын смотрел на меня чуть веселее, почти уже без смущения. Но вскоре стал капризничать, запросился домой, и... они ушли. Только издали, поддавшись на ее уговоры, мой повзрослевший, должно быть, необычайно теплый и нежный мой мальчик помахал мне ручкой.

Меня трясло, как во Фрунзе во время суда. Било и било. Я, кажется, ничего больше не хотела. Вообще ничего. Спрятавшись за кулисы, вжималась в холодную стенку. Что-то подобное я иногда себе представляла. Происшедшее было проще и жутче.

Сидя в углу обшарпанной сцены, я точно знала, что сейчас на меня накатит вал еще более смертоносной боли, которой я не выдержу, от которой захлебнусь. Этот вал уже несся на меня, и я, не сопротивляясь, ждала... Но он почему-то не обрушился, словно замерз на взлете, превратился в лед. Я это тоже знала. Так было, когда в блокадном Ленинграде умерла младшая сестра Реночка. Боль развела сердце потом, по частям.

Коля, трясая за плечи, приказывал:

— Заплачь! Заплачь! Бога ради — заплачь! — и плакал сам.

Более или менее нормальные реакции пришли позже. Этому помогло то, что я вспомнила: Вера Петровна с удивившей меня охотой сказала, что если завтра я сумею уговорить бойца вывести меня за зону, она в шесть вечера приведет Юрика в амбулаторию, где я смогу побыть с ним.

Вечером следующего дня я упросила конвоира, «пока буду с ребенком», посидеть в коридоре поликлиники.

В кабинете, куда меня провела Вера Петровна, свет не горел: «в целях конспирации» — как она сказала. С улицы прямо в окно светил яркий фонарь.

На сей раз Юрик незамедлительно пошел ко мне на руки. Я, наконец, прижала его к себе, ждала, что Вера Петровна скажет: «Мне надо по делу, сейчас приду!» Она не уходила.

«Мой маленький, загадочный человек, сын! Мне надо добраться до твоей памяти! Ты не можешь не вспомнить меня!» — наколдывала, вымаливала я.

Юрик затих. Я знала, чувствовала, что вот-вот в нем проснется то, что не определяется словами, — живая наша нить, связь, в тоске о которой я изнывала, старела.

До физической боли, до помутнения рассудка мешало то, что Вера Петровна, не умолкая, что-то говорила, спрашивала. Я уже поняла, что она тараторит намеренно, чтобы разбить возникшее в полумраке настроение близости. «Это лишнее, это нам не нужно, — отклоняла она мои бедные подарки: лошадь, сшитое мною для сына. — У него все есть. И вообще дом ломится от игрушек. А пирожные? Ему их нельзя...»

Даже для тактических ходов ее тарактение выглядело нервическим перебором. Мне было не до того, чтобы вникать в причины ее вздернутости. Я держала на руках своего мальчика, а в коридоре ждал конвоир.

И вдруг с внезапностью урагана Вера Петровна сделала какой-то рывок, выдохнула из себя неясный истерический звук и, соскользнув с табуретки, встала передо мной на колени:

— Тамара Владиславовна, отдайте мне Юрика! Вы молоды. У вас еще будут дети. Я не могу их иметь. Отдайте мне его!

Я всякий знала страх. Такого вообразить не умела.

— Что вы такое говорите? Господи! У вас есть сын. У вас есть ваш ребенок.

Но ей нужен был Филипп. И потому мой сын — тоже.

Степень ее ошалевшего бесстыдства грозила втянуть в крошечный ужас. Но что-то охранительное, ведущее механически удерживало, не давало права на неверное движение. Я заторопилась умерить, утишить опасную силу, которая с таким откровением и цинизмом обнаруживала себя. Надо было заверить эту женщину в том, что я не помышляю о Филиппе. Я сделала все, чтобы убедить ее в этом.

Почему-то я никому, никогда не смогла рассказать о происшедшем в амбулатории. Воспоминание об этом наплывало как кошмар, как наваждение и ввергало в тяжелую депрессию. Я не могла понять, откуда они оба набираются права считаться только с собой.

Примерно через неделю, отъехав недалеко от места, где жили Бахаревы, я узнала, что сын заболел. У него нашли корь. Была высокая температура.

Болея в Межогге, Юрик мотал головкой то влево, то вправо, в глазах появлялся первый опыт терпения. Эта картина преследовала меня: сын мечется, задыхается, я нахожусь почти рядом и ничем не помогаю ему. Казавшаяся поначалу бредовой мысль добраться до сына стала маниакальной, окрепла и, упросив свое начальство отпустить меня, я уговорила конвоира, и мы отправились в путь.

Дрожали руки и ноги, когда мы подошли к деревянному дому, где находился мой сын. Я понимала, что, идя туда без разрешения, совершаю неправоё дело, но страх и тревога погнали бы меня и дальше.

Дверь открыла Вера Петровна.

— Можно войти? Как Юрик?

— Пока тяжело. Идите туда, в спальню, — зло ответила хозяйка.

Юрочка лежал на «взрослой» постели. Затрудненно дышал. Сидевший в кресле Филипп встал:

— Страшного ничего нет. Сейчас ему легче. Сделано все, что надо. Паника ни к чему.

Вбежавшая вслед мать Веры Петровны смерила меня лютым взглядом и, поняв, кто пришел, стала греметь тазами и громко ругаться:

— Нечего впускать в дом арестантов. Освободится, тогда пусть и является.

Как передавала сама Вера Петровна, ее старая мать давно грозила меня «ошпарить кипятком или кислотой глаза выжечь». Но Боже, каким благом прозвучало сказанное ею сейчас: «Освободится, тогда пусть является». Значит, они говорят об этом, ждут.

Встав на колени, я положила голову на подушку к сыну. Он серьезно и воспаленно смотрел. Я что-то шептала, говорила ему. Вера Петровна стояла рядом у спинки кровати. Хозяйка. Вторая мать.

Случайно я повернула голову к Филиппу. На лице его было неуместное выражение откровенного самодовольства. Ну да. Две «его» женщины страдают, стоя у кровати его сына.

Юрочка вскоре поправился, стал «веселеньким», как сообщили они в письме.

Как-то нас повели на одно из подразделений, на котором мы никогда не бывали. Семь или восемь километров мы шли в глубь леса едва обозначавшейся дорогой. Колонна была обнесена бревенчатым старообрядческим частоколом с натянутыми поверх него проволочными рядами.

Отыграли концерт. Ночевать на колонне не разрешили. Объект был засекреченным. Нам дали под поклажу сани и отправили в обратный путь.

Лес. Безмолвие. Луна ушатами света обливала снег, зажигая каждую снежинку многоцветьем. Мы оказались в царстве торжественной зимней ночи, словно это был параллельный более подлинный мир, в котором не надо тратить на слова, где скрип от собственных

шагов — кошуństwo и помеха и все Божье — понятнее и яснее, чем наша реальная жизнь.

Даже зайдя в барак, никто не стал зажигать лампу. Довольствовались тем, что луна ярко светила в окно. Как всегда вместе, Дмитрий, Инна, Коля и я сели ужинать, не предполагая, что больше в этом составе никогда уже не соберемся.

Вошедший нарядчик зачитал список на этап. Замерев, мы выслушали фамилии тех, кого этапировали в тайшетские лагеря.

Едва я перевела дыхание, поняв, что наших с Колей фамилий в списке нет, как осознала, что наша солистка Инна сейчас уйдет навсегда. Только что у Дмитрия умерла дочка. Сейчас он терял Инну, которой был увлечен. Уезжали и литовка-певица Альдона Блудживайтите, музыкант Магомет Утешев, еще двое, еще...

Я смотрела на помертвевшее лицо Альдоны, которая русских не жаловала, на потерянный взгляд Инны, и сердце сжималось от немилосердия к нам. Вынув рукавицы, я подошла и протянула их Альдоне. Она заплакала точно так же, как и я, когда джангиджирский технорук вручал мне носки, беспомощно прижалась, сняла янтарные бусы.

— Тебе на счастье. От чистого сердца. Ты мне — дорогая.

Отдала Инне теплый платок. Надрывно простилась с нею.

Каким мы станем ровным и теплым человеческим полем, когда наши характеры сминает бедой.

В далеких тайшетских лагерях на одной из колонн находился Эрик. Писал, что занимается там хирургией. Инне и Альдоне я назвала его имя и фамилию. Написала записку: «Помоги, Эрик, чем можешь, моим друзьям, как я помогла бы твоим».

Их увез сформированный спецсостав со всеми признаками «цивилизованного века»: установленными на крышах товарного поезда прожекторами, слепившими глаза, современным оружием, дрессированными собаками, рьяно лаявшими из тамбуров.

Только спустя уйму лет я уяснила простую истину: отношение друг к другу и к самому коллективу ТЭК у всех было различным. Для тех, кто успел до лагеря прожить свою «главную» жизнь, пребывание в ТЭК было удачей, и только. Для тех, кого никто и нигде не ждал, ТЭК стал семьей. И судьбы составляющих эту семью людей воспринимались кровно, как своя. Для меня это все было значительно и серьезно. Без любви к своим товарищам, без подробностей существования тех лет я сама не поняла бы своей жизни.

Прирожденная потребность любить людей превалировала над разборчивостью. Очень многие люди были мне интересны и важны. И если обнаруживалось, что ко мне относятся с безразличием или неприязнью, я в ту пору решительно не понимала, почему и за что. Была, вероятно, тем самым смешна.

Подошла весна 1949 года. Шел последний год моего срока. Я получила пропуск для вольного хождения. Преимущества имевшего

пропуск были неоспоримы. От сельхозколонны до ЦОЛПа я имела право проделывать теперь путь одна. Идти не в шеренге, не в строю под конвоем, а самостоятельно — шутка сказать! Как-то в темноте умудрилась забежать в гости к Ванде Разумовской. Мне не терпелось увидеть ее дочь Киру, которую она взяла из детдома.

— Входите! — ответила Ванда на мой стук в дверь.

Как будто скинув опостылевшую лагерную шкуру, она стояла нагая, вызываясь, с наслаждением впитывая в себя свободу кожей. Ей бы в пору услышать: «Как вы прекрасны!» Но я смутилась.

Решив угостить меня чем-нибудь вкусненьким, Ванда нагнулась и вытащила из-под тумбы старого письменного стола тарелку с недорогими карамельками.

— Приходится прятать. Не напасешься! — как-то совсем уж бесхитростно пояснила она происхождение странного тайника. — Кира ест все подряд.

Жаль было Киру с не утоленным после детдома аппетитом, без удержу бросающуюся на любую еду. Сжалось сердце и за Ванду, разучившуюся за двенадцать лет заключения быть матерью. К ее отношениям с дочерью было приковано внимание всего поселка.

Услышав однажды, как кто-то плачет в сарае, соседка Ванды (заведующая детским садом) обнаружила там лежавшую на дровах Киру и забрала ее к себе. Позже прочла в дневнике девочки: «Почему мама — не мама? Она меня не любит. А я хочу, чтобы любила».

Ванда бушевала. Требовала дочь обратно. Та не шла. Обе страдали. Никто им не мог помочь.

Отчитывавшая меня когда-то «львица»: «какой другой жизни вы ждете? Эта и есть — ваша», — свою, конечно, хотела бы видеть иной.

Ванда к тому же не желала мириться с наступлением возраста. А женского счастья судьба ей также не припасла. Знакомые мужчины оказывались мельче ее. К несчастью, глубоко в подобные драмы никто не желал вникать. Они не вызывали у окружающих ни отклика, ни сочувствия. Только пересуды.

Освободившиеся нелегко принаравливались к воле. И она по-разному, но всегда драматично их проявляла.

Однажды на княж-погостской платформе я увидела сошедшую с пригородного поезда Ольгу Викторовну Третьякову, с которой мы провели столько прекрасных дней в Урдоме и Межогге. Я обрадовалась и кинулась ей навстречу. Бросив на меня испуганный, недоуменный взгляд, она отступила, сделав вид, что не знает, кто я такая.

Рывок заключенной к освобождению был действительно непростительным поступком. Но и воля, не избавлявшая людей от страха, мало чем отличалась от тюрьмы.

Колюшка упрямо копил деньги: «Тебе на пальто к освобождению!» (Последние два года нам стали выплачивать какие-то рубли). Где-то на глухом полустанке нашли селпо и попросили бойца сходить с нами. В магазине полки были забиты тюками материи. Коля просил снять то один, то другой рулон. Интересовался шириной. Наконец, указав на красивый темно-синий материал, сказал:

— Это тебе пойдет больше всего. Отмерьте три метра, чтобы хватило и на капюшон.

«Ведь я твоя мама!» — часто говорил он.

Пальто сшил наш портной. Марго была главным консультантом.

Время моего освобождения стремительно приближалось. Я никому не призналась бы тогда в том, что сердце мое еще не начинало радостно биться при мысли о воле.

Как больной, пролежавший несколько лет в гипсе и напрочь разучившийся двигаться, я теряла голову при мысли о первых шагах на свободе. Меня мало заботили такие вопросы, как работа и жилье: «Другие же не погибли. Устроюсь и я». Главной, устрашающей была, конечно, мысль о том, как я буду забирать сына у Бахаревых.

Хотя меня и удивляла в свое время формула Александра Осиповича «факт — это еще не все», сама я исповедовала ту же веру. Вопреки очевидному при аресте отречению от меня Барбары Ионовны, тому, что она так и не приехала ко мне ни в Джангиджирский, ни в Беловодский лагеря, верила, что у нее болит за меня душа. И вот теперь получала ее письма, исполненные муки и раскаяния. Так было и по отношению к Филиппу. Вопреки всему, что он натворил, вопреки всем фактам, я верила: при моем освобождении в нем возобладает человеческое начало, и он отдаст мне сына без суда. На эту веру полагалась.

Как-то мы с ТЭК шли по шпалам на одну из колонн, и я вдруг увидела вышагивавшего нам навстречу Филиппа. Это граничило с галлюцинацией, но тем не менее это был он. Лицо его, вне всякой логики, выражало неподдельную радость, которую он не замедлил явить, будто после долгого заточения решил устроить себе небольшую пирушку. «Какое счастье видеть тебя... — восклицал он при тэковцах, целуя мне руки, — Боже, какое счастье!» К концу спектакля мне принесли от него письмо. Случившееся он именовал в нем «трагедией», писал, что его болезни, на которые он в последнее время жаловался, происходят только отсюда. Почти доверительно объяснял: «В последнее время я был так придавлен обстоятельствами, которые хотел разрушить, что был как бы парализован, не мог даже писать тебе. Я только думал о тебе не переставая. Жаль страдающую и физически, и морально В. П. Но я люблю тебя».

Я придала значение только тону письма. Он был серьезным.

Капитальным же его поручительством я продолжала считать написанное чуть раньше:

«Если ты опасаясь за ребенка — напрасно. Ребенок может быть всегда Твой, и если бы я любил его больше собственной жизни, по Твоему требованию я отдал бы Тебе его в любую минуту, хоть через 10 лет, лишь бы Тебе было хорошо...»

Это письмо я почитала для себя наиважнейшим, Божьим документом. Держалась за него со всей силой убеждения и веры, на которую только была еще способна, хотя, поруганная Филиппом, не имела права доверять письму больше, чем самому человеку.

Когда в одном из своих посланий отправленный этапом на Крайний Север Платон Романович выговорил то, что я пыталась утаивать от себя, я все-таки очнулась:

«Что случилось с нашими жизнями, Тамуся? Сын растет без тебя. Ты должна нанять адвоката... А-а, какой там адвокат! Чушь! Надо что-то придумать. Ты понимаешь, что отец не захочет отдать сына? Это именно так. Сделает все, чтобы не отдать его... Коля? Ты любишь его! Вижу. Понимаю. Но он тоже не может помочь тебе. Он, как и я, связан по рукам и ногам. Как же ты справишься? Как мне за тебя тревожно. Господи! Скорее бы мне освободиться, чтобы стать тебе хоть какой-то подмогой. Куда поедешь, когда освободишься? Где будешь жить? И денег нет. И крова никакого...»

«Платон Романович прав: мне мирно не отдадут сына. Придется обращаться в суд!» А я, еще не умея осознать до конца, что со мной сделали эти семь лет исключения из жизни, цепенела при мысли о законах, юристах и судах.

За два месяца до освобождения нас направили обслуживать близлежащее к местожительству Бахаревых отделение. На одну из колонн после концерта приехал Филипп.

Тысячу раз я представляла себе этот «предвольный» разговор с ним. То бурным, то человечным и достойным, то с его вопросами о Коле или апелляцией к привязанности Веры Петровны к Юрику.

Все ушли. Мы остались вдвоем в маленькой комнате за сценой. Филипп снимал с хлипкой этажерки КВЧ газеты, вертел их в руке и тут же клал обратно:

— Ты, наверное, хочешь поговорить?

— Конечно, — ответила я, холодея при мысли, что это и будет, наконец, решающий все разговор. — Ты знаешь, что я скоро освобождаюсь, что приеду за сыном?

— Полагаю, не сразу. Хотя бы тогда, когда устроишься на работу и будешь иметь жилье.

— На это уйдет немного времени.

— Посмотрим.

Я считала, что он заговорит о моем устройстве на работу неподалеку от Вельска, чтобы самому чаще видеть сына. Но он, казалось, дал себе зарок не проронить лишнего звука. Ждал, что буду говорить я. И вдруг со всей очевидностью поняв, что это не сдержанность, а повадка приготовившегося ловить ошибки или оговорки человека, я сникла. Как цапля, пыталась удержаться на одной ноге, не зная, как и куда поставить другую.

Напротив меня сидел человек, абсолютно отстраненный от всех былых чувств. С заинтересованностью охотника он холодно следил за мной, пытаясь понять, чем я могу ему быть опасна. За мной наблюдали. И только. Если бы я тонула, он, допуская, заплакал бы, но не помог бы мне выбраться.

Говорить оказалось не о чем. Предстояло действовать. Во всяком случае, готовиться к этому.

Понятие: «За матерью все права!» — было крепко вбито в сознание. Издавна. Имея пропуск, на крупном железнодорожном узле Кулой, где меня никто не знал, я отправилась в юридическую консультацию. В случае необходимости полагала представиться вольной.

Отвыкнув за семь лет от посещения каких бы то ни было официальных учреждений, я поднималась по скрипучей деревянной лестнице поселкового Совета чуть ли не в обморочном состоянии. Юрист выслушал. Задавал вопросы, уточнял подробности, рылся в кодексе, называл номера статей, на которые ссылался.

Его заключение сводилось к следующему: лучше всего вопрос решить доброй волей. Если же нет, то суд в первую очередь руководствуется в таких случаях интересами ребенка. Будут учитываться моральные и материальные возможности сторон, поскольку, с точки зрения государства, ребенок должен воспитываться в лучших для него условиях. Неоспоримые материнские права в его изложении оказывались условными, едва ли не сомнительными.

— Известно ведь, что все права на стороне матери? — настаивала я.

— Конечно. При условии, что она в состоянии обеспечить нормальное развитие ребенка. Жилье у вас есть? Работа есть? Тогда чего же вы расстраиваетесь? Подавайте заявление. Надо собрать справки, характеристики.

Сказанное означало: после освобождения я должна достичь равного с Филиппом уровня жизни, чтобы с ним «спорить».

Воля представляла враждебной силой, с которой должно сражаться не просто сильным, а изощренным и бывалым в схватках людям. Я вышла оттуда вконец подавленная и растерявшаяся. Сбоку от юридической консультации громоздилась куча ящиков. Дошла до них. Не сдерживая себя, плакала так, как за всю жизнь не случалось. Объяснил бы кто-нибудь: за что вся эта мука без конца и без края?

Кто-то дотронулся до плеча:

— Что приключилось? Так негоже плакать. Ну, ну же... Ах да, это вы?..

Узнала и я этого человека. Возле меня стоял бывший начальник межогской колонны Родион Евгеньевич Малахов.

— В чем беда? Рассказывайте все по порядку.

В конце концов я рассказала ему о беседе с юристом.

— Так он же ничего страшного вам не сказал. Все правильно. И работать будете, без этого не прожить, и хата со временем будет.

Однако, как выяснилось по ходу разговора, он был в курсе моих дел куда больше, чем я могла это предположить, и потому закончил этот разговор уже иначе. На радужное решение вопроса и он не надеялся.

— Вот что я вам скажу. Вы у нас человек славный. Потому сделайте все так, как я вам скажу. Идет? Послушаетесь меня? У меня с собой есть пятьсот рублей. Я их даю вам. Так?

Не бойтесь. Когда станет легче, отдадите, если очень захочется. А дальше вот что: подкараульте своего ребеночка, когда его выведут гулять, схватите его, садитесь в первый же самолет — и чтоб только вы одна знали, куда полетите! Нате деньги!

Я объяснила, что вовсе еще не освободилась, что мне еще сидеть около двух месяцев, что денег взять у него не могу. И главное, как это я украду сына? Я о таком не думала. Не сумею.

— А напрасно. Хотелось бы мне, чтобы вы последовали моему совету.

Сколько же должно было произойти, чтобы я сполна оценила дальновидный и точный совет великодушного человека!

Выслушав мой рассказ и о встрече с юристом, и о разговоре с Родионом Евгеньевичем, Колюшка сказал:

— К сожалению, Малахов прав. Это наиболее верный шаг. Так и следует сделать.

— Что? Уворовывать собственного сына, на которого у меня все права? Даже метрики на сына у меня. У Юрика моя фамилия.

— Ты не понимаешь, с какими опасными людьми имеешь дело.

— Ну а ты? Как ты? Как я без тебя? Ведь мы решили, что я беру Юрика и буду устраиваться на работу в Княж-Погосте.

На этот вопрос ответа не находили ни он, ни я. Освобождение — это воля, Юрик и... разлука с Колей. Стоило только об этом заговорить, как Коля в который раз повторял одну более чем странную фразу:

— Я сказал тебе, что скоро буду по ту сторону зоны!

В этих словах не было реального смысла. Я относилась к одному: утешает. И категорически не допускала до сердца мысль о том, что удачный (как считали все) побег Николая Трофимовича засел в его сознании как выход.

Ближе к освобождению навалилась уйма дел. То и дело, уклоняясь от дозволенного пропуском маршрута, я бегала по всем возможным пунктам и разузнавала, где могу устроиться на работу. Нет ли места в управлении? Нет ли в поликлинике? Не раздумал ли Сенечка Ерухимович взять меня в филиал Сыктывкарского театра, если не устроюсь нигде? (Он перешел туда на работу в качестве администратора). Надо было подыскать и жилье.

Неожиданно меня вызвал на разговор Георгий Львович Невольский.

— Тамара Владиславовна, у меня к вам большая просьба. Хочу просить, чтобы вы поселились у моей Клавочки. Комната у нее большая. Она вам будет рада. Нижайше прошу согласиться.

Георгий Львович хотел помочь и мне, и своей пухленькой, миловидной жене Клавочке, которая, по соображениям нашего замдиректора, стеснялась бы при мне выпивать, к чему так пристрастилась после освобождения.

Илья Евсеевич через кого-то попросил зайти к нему в управление.

— Когда будете получать документы, напишите заявление, что уезжаете отсюда, и укажите как можно более отдаленный пункт, чтобы я мог выписать вам на дорогу деньги. (Лагерь оплачивал стоимость железнодорожного билета до места, указанного освобождающимся).

До освобождения оставалось двенадцать дней, когда ТЭК получил приказ выехать на Север.

Заходясь от страха, что второй отдел спохватится и меня уже напустят в поездку, я погрузилась вместе со всеми в вагон. За каждый день, час, минуту, проведенные с Колей, я готова была вытерпеть что угодно. Только бы уехать вместе с ним! Все-таки двенадцать дней вместе. Но прошел день, а нас все не цепляли к составу. И второй отдел спохватился. Поздно вечером 21 января, за девять дней до освобождения, в дверь вагона заколотили прикладом:

— Петкевич велено вернуть на колонну.

Вот оно! Все! Конец.

Стащив с нар свой деревянный чемодан, ощущая только дрожь и холод, я стала прощаться с моими товарищами.

— Держись!.. Смотри у нас!.. Как-нибудь все наладится... Нас не забывай... — говорили мне, не пряча слез. — Мы в тебя верим. Ты у нас вон какая!.. И как же это без тебя?.. Выше нос! Это же воля! Свобода!

Пришедшие за мной вохровцы торопили.

Мы с Колюшкой сошли с вагона. Поздний вечер. Тьма. Лютый январский мороз. Рельсы, пути. Двое конвоиров с автоматами. Звезды в вышине.

Если и было тогда что-то живым, то не я и не он. Приговоры с различием сроков раздирали нашу с ним жизнь на части.

— Хватит. Пошли, — пресек прощание один из вохровцев.

Мы не могли отойти друг от друга. Как это взять и своими ногами сделать от Коли шаг в сторону? Оставить его на пять лет одного за проволокой? Опять конвойное требование: «Хватит! Пошли!» И еще... И еще.

Едва я вслед за охранниками дошла до поворота дороги, как никогда не срывавшийся, сдержанный Коля нечеловеческим голосом закричал:

— То-о-оми-и-и!

Крик тот не только повис, но и пророс через лед и землю Коми. Услышав его, конвоиры смолкли. Не посмели одернуть.

Не помня себя, мы с Колюшкой рванулись обратно друг к другу.

Девять дней до освобождения я прожила на сельхозколонне вслепую, в надсадной тоске по Коле и диком страхе перед будущим.

Вдруг до сознания дошла реальность: ведь я освобождаюсь. Ни при каких обстоятельствах меня уже в зону потом не пропустят. Это значит, что я никогда больше не увижу Александра Осиповича.

Я отправилась к начальству КВО просить разрешения съездить на Ракпас. Отказали. Я просила опять и еще. В конце концов измыслили командировку с «проверкой красного уголка».

Сквозь сильный снежный буран на Ракпас с трудом пробивалась не только я, но и буксующие грузовики. Я сошла на обочину, подняла руку: «Возьмите!» Кто-то сжалился.

В Ракпасе долго не пускали в зону: «Непонятно, что за проверка. Непонятно, кто прислал. Что за командировка?» Попросила сообщить в зону Борису: «Приехала. Не пускают». Борис побежал к командиру. Убедил. Впустили.

Александр Осипович лежал в лазарете с пневмонией. Я села возле его больничной койки в мрачной, холодной палате.

— Тamarочка приехала! Ах ты моя Тamarочка! Сумела-таки приехать! — тихим и слабым голосом восклицал он. — Приехала, чтобы попрощаться. Все-таки приехала? Да, да, попрощаться.

Не жалуясь ни на здоровье, ни на одиночество, он держал меня за руку и повторял:

— Ко мне при-е-ха-ла Тamarочка. Приехала. Ко мне. Спасибо!

Подошел доктор Владас Шимкунас напомнить:

— Обещали долго не сидеть.

А сказать надо было много! О том, как он дорог, как нужен мне, что я уцелела благодаря ему...

— Мы ведь с тобой больше не увидимся, Тamarочка. Не перебивай. Не увидимся! Выслушай мое завещание. Вот оно: как только сумеешь, родная, желательно поскорее, при первой же возможности поезжай в Одессу к моей Олюшке. Познакомься. Расскажи ей про меня. Именно ты сумеешь это сделать. Я знаю, вы полюбите друг друга. Да, да. Полюбите. Вот, пожалуй, и все. Других просьб нет.

Я пообещала. Поклялась.

В лазарет вбежал Борис:

— Я жду вас.

«Зачем он торопит? Неужели ничего не понимает?»

— Ты на него не сердись, — сказал Александр Осипович, — ему ведь тоже очень худо. Ты у нас максималистка. Мне жаль, что ты про него чего-то не поняла. А вот он очень про тебя все знает. Простись с ним дружески, Тamarочка. Так будет правильно.

Борис успел приготовить угощение.

— Хотите что-нибудь из этого? — широким жестом указал он на стену, где висели его картины.

Я огляделась.

— «Аленушку» Васнецова.

Он усмехнулся:

— Что ж. А «Грачей» от меня в придачу.

Не дождавшись от меня, сухой и колючей, хоть какого-то теплого слова, Борис раздраженно бросил:

— А знаете, Зорюшка, у вас нет сердца!

Верно! У меня его не было! Оно было отдано Коле. Именно этого Борис не понимал. Этому не верил.

Я ушла. Он догнал:

— Да не сердитесь. Счастья вам на воле! Счастья желаю я вам.

Перед выходом из зоны я еще раз забежала к Александру Осиповичу.

Буран не прекращался. Машины не шли. С картинами Бориса под рукой я пробивалась к Княж-Погосту. Километра через три из леса выехал самосвал и подобрал меня, в голос плакавшую вместе с вьюгой обо всем, что уже было пережито, что есть и еще будет.

Мне вспомнилась встреча с Тамарой Цулукидзе после гибели ее сына. Увидела ее случайно, зайдя в княж-погостский Дом культуры. Она была совсем потухшей. Я робко спросила ее:

— Как живете?

Слегка приподняв плечо, она ответила:

— Живу? Я презираю себя за то, что живу, за то, что осталась жить после Сандика.

Тон и слова глубоко запали в душу.

Наступило серое, пасмурное утро 30 января 1950 года. Прошло ровно семь лет с того утра во Фрунзе, когда женщина в каракулево мантио возникла у калитки дома, чтобы арестовать меня.

В барак пришел нарядчик:

— Идите во второй отдел, оформляйтесь.

Инспектор листал мое «дело». Перебирал вклеенные туда квитки вызовов на допросы.

— Солидно вас погоняли, — заметил он. И продолжил «отеческим» тоном: — Освобождаем вас, значит. Все у вас хорошо. Худо только, что мужа забыли. Он забросал нас письмами. Просит, чтобы вас к нему направили. Хочет, чтобы там его освобождения дожидались. А это сколько же? А-а, так это всего три годочка. Это можно. Это недолго.

Он протянул мне два заявления, написанные рукой Эрика. Одно — с просьбой выдать мне путевой лист к нему в Тайшет, другое — в народный суд:

«При рассмотрении дела моей жены Т. В. Петкевич о передаче ей для воспитания сына прошу присоединить мое ходатайство перед судом об этом же, т. е. об удовлетворении ее просьбы. Со своей стороны заверяю суд, что приложу все усилия для совместного воспитания ребенка и усыновления его. 7.IX.1949 г.»

С чувством недоумения перед самым важным, что так и остается непостижимым, непонятым в жизни, я сложила выданную мне справку об освобождении и несурзные листки Эрика. Сдала в каптерку казенные вещи. Переступила порог вахты. Оставшиеся в бараке женщины с усталой завистью глядели через окно мне вслед.

Первые минуты воли.

От лагерной зоны отошла к поселку сотню метров. Поставила чемодан на мерзлую землю. В растерянности села на него. Ждала: вдруг все-таки появится радость? Ее не было. В лагере оставались Коля, Александр Осипович, друзья, прожитые семь лет жизни.

В поселке лаяли собаки. Мир виделся пустынным и плоским.

Уже на сегодня предстояло добыть себе хлеб и крышу. Следовало получить временный — на три месяца — паспорт.

Домик, в котором жила Клава, был почти притерт к ЦОЛПу, что было немаловажным преимуществом. О том, чтобы поселиться у нее, просил не только Георгий Львович, звала и сама Клава. Я занесла к ней чемодан и тут же отправилась по делам.

Желания были чеканно просты: работа в Княж-Погосте, четыре стены собственной комнаты, чтобы как можно скорее забрать сына; время от времени видеть Колю и ждать его освобождения.

Обегав все места, где месяц назад обещали «посмотреть и что-нибудь придумать с работой», я всюду получила отказ.

Кое-кто из добрых знакомых в управлении не успокоился и еще хлопотал о моем устройстве. Кому-то звонили. Узнавали, где все-таки кто нужен. Уговаривали взять меня хотя бы на временную работу. Однако причины отказа были непреодолимее, чем это могло освоить сознание.

Три года назад, в 1947 году, устройство на работу в лагерную систему было беспроблемным. В кадрах нуждались, и никто освобожденным препятствий не чинил. Как выяснилось, в данный момент вышло секретное предписание, запрещавшее брать на службу бывших заключенных. Без ссылок на этот циркуляр отделы кадров продублировали один ответ: «Не надо! Мест нет!» Приказная сила новоиспеченного документа была действеннее мифического посула конституции о «праве на труд».

Отказы взять на работу повергли в шок.

Оставалось единственное: обещание Сени Ерухимовича устроить мне просмотр во вновь организованном филиале Сыктывкарского театра.

Мне вручили роль Мари Клер в пьесе Собко «За вторым фронтом», прослушали и дали «добро» на зачисление в труппу. На размышление отпустили пару часов. В случае, если решусь, следовало уже к двенадцати часам ночи быть готовой к отъезду театра на гастроли в Ухту.

Кроме давнего урдомского друга Симона, близких друзей не было. И он, и знакомые в один голос убеждали: «Хватайтесь! Не раздумывайте ни секунды! Это просто удача!» Таким образом, к вечеру я оказалась зачисленной в штат вольного театра.

Все произошло стремительно, в обход желаний; казалось, здесь присутствует тот же лагерный дух произвола. Менее чем за двенадцать часов судьба определилась неожиданным образом. Даже не

переночевав у Клавы, я снова очутилась в поезде. Теперь в пассажирском: Москва — Воркута. Собственное плацкартное место. Вокруг мирно спящие люди. А на душе — взбаламученно, смутно: опять на колесах? Когда же свой дом, сын? Одно утешение: направление гастролей — Север. Мы ехали туда же, куда недавно отправился ТЭК.

В репертуаре театра было два спектакля: «Коварство и любовь» Шиллера и «За вторым фронтом» Собко.

Труппа разношерстная. Около половины — освободившиеся из лагеря харбинцы. Двое актеров из Москвы, человека четыре из провинциальных российских театров.

С героиней, выпускницей Вахтанговского училища Наташей С., мы почти подружились. Вместе ходили на репетиции, на спектакли, обедать в столовую. За много лет отвыкнув иметь в обиходе ножи и вилки, я то и дело перехватывала ее недоуменный взгляд, когда принималась расправляться с котлетой или другим вторым блюдом ложкой. Особенно ее шокировали подобные «навыки», когда к столу подсаживались посторонние.

Город Ухта хорошо снабжался. В ухтинских магазинах висели платья, халаты, лежало белье, туфли на высоких каблукках. Наташа бойко просила: «Покажите!», «Заверните!». Я с позабытым «чувством денег» на свои лагерно-дорожные накупила игрушек — для Юрика, сигарет и разных мелочей — для Коли. Бегала на почту, исправляла все по адресам и только тогда немного успокаивалась. То я изыскивала возможность связаться с ТЭК по селектору, то Коля, превосходя себя в выдумке, вызывал меня по телефону. Я строчила ему длиннющие письма. Писала Бахаревым. Бахаревы не отвечали. От Коли письма прибывали ежедневно. В них одних и только в них я черпала энергию.

Первые недели театр делал приличные сборы. Затем они упали. Денег хватало только на выплату суточных. И то не всегда.

На один из спектаклей было продано всего двадцать билетов. Дирекция посоветовалась и решила отменить спектакль. Было восемь часов вечера. Временем можно было распорядиться по своему усмотрению. ТЭК двигался параллельно нашему маршруту. Мы — в Ухте. Они — в Ижме. Расстояние между нами — двенадцать верст. Годилась же, в конце концов, на что-то свобода?

Я бросилась на вокзал. Все поезда ушли. Последний автобус также отошел пятнадцать минут назад. Но отказаться от мысли увидеть Колю я уже не могла.

— Где дорога на Ижму? — спрашивала я у местных.

— Глядя на ночь? В этих лесах всякое случается. И волки водятся.

Мороз крепчал. Вокруг ни души. Я то шла, то бежала, почти неслась к тому человеку, который писал:

«Ты — целый мир, единственная, любимая! Хочу к тебе! Перетерплю всех терпевших когда-то и нынче. Готов отдать десять

лет жизни, только бы уже быть рядом с тобой, помогать во всем. Залечу самые глубокие твои раны. Брежу тобой. Иногда задаю себе вопрос: есть ли еще на свете такие, как ты? Светлая, добрая, настоящая! Нет моей любви ни границ, ни времени. Прими боль любящего, радость любимого. Ты там одна, без друзей. Опять открытые грузовики и поездки. Том! Том! Том! Как мне помочь тебе? Как сделать невозможное? Выслушай признание: когда-нибудь ты получишь от меня больше, чем может человек вообще дать... Живу, дышу для моего Тома. Помогаю тебе моей ясностью, чистотой моей, жизнью... Приду таким, каким хочет твое истерзанное, измученное, родное сердце. Молю Судьбу скорее соединить Тебя с Юриком. Я не просто любящий. Еще и демон, зверь. Мною любит тебя вся вселенная. Ты — мой ребенок. Это так. Моя родительница. Это так...»

Железнодорожный узел Ижма. Пути, пути, пути, запруженные, заставленные товарными составами. Их несколько сотен. Не найду? Вагоны ТЭК отличаются одним: у крыши освещенные зарешеченные щели. Была уже глубокая ночь. Нашла. Постучала. Сонный голос спросил: «Ну, кто там? Чего надо?»

Назвалась. Там закричали: «Коля! Коля!» Закопошились. Отодвинули дверь. С охами, ахами втащили замерзшую, «похожую на снежный ком», как кто-то свирепо ворчал. Вскипятили воду...

На несколько часов я была среди своих, рядом с родным и любимым человеком. И я перевела дыхание.

Наш вольный театр продвигался дальше к северу. Абезь. Тундра. От разреженного воздуха непрерывно клонило ко сну, одолевало бессилие. Играли всюду, куда «продавали». Все, чему полагалось существовать за понятием «свобода», здесь, на северных широтах, перечеркивалось лагерями.

В Инту мы приехали в день выборов в Верховный Совет. Из черных тарелок репродукторов, развешенных на столбах, неслись звуки браваурных маршей. Вьюга злобно расправлялась с флагами. Из снежной мглы то и дело возникали подъезжавшие к избирательным пунктам олени и собачьи упряжки.

Приехавшие из дальних чумов и селений коми в шубах, меховых унтах выпрыгивали из-под оленьих шкур, степенно поднимались по ступеням Дворца культуры, чтобы там проголосовать за неизвестного им, «продиктованного сверху» кандидата, за нечеловеческой общественной строй. Мне, получившей к своим семи годам заключения три года лишения избирательных прав, участие в этой общегражданской обрядовой процедуре было заказано.

А утром следующего дня предстала более достоверная интинская картина: мимо театра на работу вели заключенных. На телогрейках у каждого из них был нашит грязно-белый лоскут с четырехзначной цифрой. Здешние лагеря числились в ранге «особого режима». И меня, отсидевшую срок, эти номера на человеческих спинах каторжан сразили. Я вспомнила человека, привезшего в тридцать восьмом

году из Магадана весть об отце: «В лицо вашего отца не знал. Мы все там ходили под номерами».

Значит, вот так, с номером на спине, водили и моего отца. Как заговоренная, я зачем-то ждала часа, когда снова увижу пронумерованные «единицы» людей.

И еще одно интинское впечатление увезла я с собой.

До недавнего времени здесь находился знаменитый тенор, солист ленинградского Мариинского театра — Николай Константинович Печковский. Он создал тут нечто вроде студии. Многие называли себя его учениками. Посмотрев у них два интересных спектакля — «На бойком месте» и «Марицу», — мы попросили режиссера Карпова о творческой встрече с актерами.

Поскольку труппа была смешанной (из зеков и вольнонаемных), встречу разрешили только в присутствии конвоя и «никаких личных контактов с заключенными артистами».

Мы расселись на стулья вдоль стены. Интинские солисты исполняли романсы, арии. Аккомпанировал заключенный-пианист М-ль. По настойчивым взглядам, которые он стал переводить с меня на крышку рояля, я поняла, что должна оттуда что-то взять. Но как подойти, когда за всем следит режимное око? Подговорив Наташу «сорваться в бурном восторге» и подбегать к инструменту, я, будто невзначай, взяла клавиш. Так и есть! Письмо!

Как и всюду в лагерях «особого режима», заключенные и здесь были лишены права переписки. Пианист писал, что от режиссера узнал, что я ленинградка, поэтому просит, когда буду там, отдать письмо его сестре в руки. В почтовый ящик просил не опускать.

Но когда я буду в Ленинграде? И буду ли вообще?

Нерентабельность театральной затеи с филиалом Сыктывкарского театра быстро вынудила дирекцию тут же в поездке прибегнуть к сокращению штата. Дошла очередь и до меня. Мне предложили перейти на должность реквизитора со значительно меньшим окладом плюс «разовые» за исполнение эпизодических ролей.

Казалось бы, что может быть обидного в должности реквизитора для человека, практиковавшего на лесоповале и кайлившего каменные карьеры? Однако все во мне возмутилось. Мотаться по дорогам с театром, который не приносит никакой творческой радости, за жалкую зарплату и обставлять сцену? Нет, нет и нет! Мне как воздух нужен был дом и приличный оклад, чтобы забрать сына.

Сочувствия, однако, я ни в ком не встретила, даже в Сене Ерухимовиче.

— А тебя другого назначения ты не предполагаешь? — с укором спросил он. — Мое место, считаешь, здесь? Потерпи полтора месяца. Приедем в Княж-Погост, поищешь другую работу, коль веришь, что найдешь ее.

Верила не очень. Но все же казалось, что какие-то возможности должны быть еще, а я их не использовала.

От Коли тоже пришел испугавший упреком ответ:

«Пусть реквизитор. Разве это так страшно? Вспомни гору, которую ты перешла после болезни, слабая, изможденная, перешла через

силу. У тебя был девиз: это путь ко мне! Почему же сегодня это не действительно? А Юрочка? Ты — прекрасная мать.

Попадутся человеческие судьбы. Не посмеют оставить тебя без него. Нельзя так разрывать сердце, еле-еле зарастающие раны так кровоточить. Иначе — смерть. Я сам в отчаянии. Как это все вынести? Где взять силы на нашу ношу?»

Я ждалась. Собралась. Осталась.

Не доехав до Воркуты, мы повернули к югу. ТЭК снова находился недалеко. Я отпросилась выехать на сутки раньше, чтобы затем подсесть к труппе в проходящий мимо поезд.

Купив для конвоиров водки и мелочей для своих товарищей, вроде мыла, сигарет, расчесок, взяла билет. В пустынном Чикшине, кроме меня, никто из пассажиров не вышел. Поезд ушел. Тундра. Темно. Сильно метет. Пурга. В стороне на запасных путях нашла два отцепленных тэковских вагона. На обоих висели здоровенные замки. Все были на колонне. Шел концерт.

Запрятав свои кули под вагон, отправилась к зоне. Исхитрилась, сообщила о своем приезде. Мне тут же вынесли ключи.

Стены вагона, сотрясавшиеся от шквалов ветра, казались скорлупой нечаянно за что-то зацепившегося, мотающегося в мировом пространстве прямоугольника. Я разожгла «чугунку». Огонь высветил нары, накиданные вещи. Все та же фантазмагория, тот же ирреальный мир. Страшно.

То и дело выглядывала наружу в завьюженную темень, угадала мчавшуюся фигуру. Колю выпустили одного. Кинулась навстречу. На каком мы свете? Есть ли вообще кто-нибудь на какой-то планете? Если нет — и не надо!

Время двигалось к весне. Гастроли нашего театра были, наконец, завершены. С остановками мы возвращались на базу в Княж-Погост.

С одним из встреченных в поезде знакомых Сеня Ерухимович подошел ко мне:

— Доктор Ш. хочет с тобой познакомиться.

Имя ближайшего друга Филиппа по их былым беспутствам было хорошо знакомо.

— Вот вы какая! — с любопытством разглядывал он меня.

— Вот вы какой!

Заочно я его не жаловала. Теперь увидела дружелюбного, неглупого человека.

Доктор Ш. предложил уйти в свободное купе полупустого вагона, чтобы никто не мешал поговорить. С каким-то тоскливым испугом я слушала, как три года назад после освобождения он выписал сюда семью — жену и дочь. «А люблю другую женщину. К ней сейчас и еду. Только с нею и счастлив. Жене не признаюсь. Она десять лет ждала моего выхода. Как справлюсь со всем этим, не знаю». Я надеялась, что с такой же откровенностью он скажет что-нибудь и о Филиппе. Но он отвлекся. Приник к оконному стеклу и долго смотрел в темноту. Потом сказал:

— Вам эти скелеты зон и баракв вдоль дороги мало что говорят... А я здесь начинал. Всех помню. Лежат здесь в свальных ямах. Без могил, без крестов. Кого дожрал голод и вши, кого болезни.

Доктор стал расспрашивать обо мне. Есть ли у меня родные? Куда думаю устраивать на работу? Перед тем как проститься, он, не то желая подбодрить, не то прояснить что-то, сказал:

— Хотел бы я вам чем-нибудь помочь. Вам треба быть сильной. Много закавык вокруг. У Филиппа юристы днюют и ночуют.

В оброненной фразе «юристы днюют и ночуют» не было чего-то неожиданного, и все-таки она «застолбила» сознание. Я с этим не могла совладать. Бездомность, маловероятное устройство на работу, пять предстоящих лет Колиного заключения, то, что мне некуда и не на что взять сына, как и мысль о суде, — доводили меня до настоящего безумия. Одолеть это казалось невозможным. Я, в общем, отчаялась. Я не хотела больше жить.

В минуту такого крайнего упадка сил и воли, возвращаясь в Княж-Погост, решила в последний раз повидать Колю.

Неправдоподобно, но на мой стук в дверь тэковского вагона выглянул сам Колюшка. Он был болен. В вагоне находился один.

— Что? Почему завязано горло? Ангина? Почему ничего об этом не написал?

— Что ты так разволновалась? Просто вспухли железы. Пройдет! Я заставила снять повязку!.. Опухоль! Вид ее был равносильен удару. Я зашла в истерике:

— Нет! Нет! Нет!

— Ничего не болит! — успокаивал Коля. — Посмотри: завязываю горло двумя галстуками, как бантом, и выхожу на сцену. Вот так. Никто ничего не замечает.

Обуявшая меня жуть не спадала. Тут же в Ижме я побежала к одному, другому врачу: «Посмотрите! Что это?»

В диагнозе расхождений не оказалось: ТБЦ желез. «Необходим рыбий жир. Нужно прогревание кварцем». Рыбий жир достала. Больные поклонники Коли организовали ему несколько сеансов кварца. Но разве мыслимо в лагере вылечить туберкулез желез. Все сошлись «к одному. Теперь — Колюшкина болезнь. Опять сшибка «стен». Неодолимость. Освобождение для меня оказалось западней.

Набрав дыхание, я выговорила Коле:

— Давай покончим с собой. Я больше не могу выносить ни бес-силia, ни страдания, ни боли. Пойми, я больше не могу.

Я действительно — не могла.

Колюшка стал осторожно уговаривать, убеждать:

— Сколько раз нашу жизнь хотели прервать насильственно, против желаня, против нашей воли! Мою — расстрелом, твою — голодом, унижением. Самим — нельзя. Нет права. Да, ты устала. Но мы будем счастливы непременно. Неужели ты в это не веришь? Почему ты в это больше не веришь?

И вновь повторил странные и страшные слова:

— Клянусь тебе! Я скоро буду по ту сторону зоны!

В канун своего тридцатилетия, 29 марта 1950 года (по предсказанию отца — года благоденствия), уже глотнувшая воли, я осталась ночевать на нарах в вагоне моих заключенных товарищей на своем прежнем месте, рядом с прекрасной Марго.

Первое, что я увидела утром, был мой портрет, написанный маслом художником Миллером по моей фотографии. Колин подарок.

Трещала печурка. Меня поздравляли стихами, рисунками, припасенным для случая чаем. И что-то в душе смягчилось. Немного отошло. Конечно, может случиться: жизнь будет еще милостивой к нам!

О судьбе нашего театра толковали всякое: вовсе расформируют, лучших актеров сольют с основной труппой Сыктывкарского театра, еще сократят штат, но все-таки оставят как филиал. Решать участь театра приехала чиновница из Сыктывкара. В княж-погостском Доме культуры был назначен час общего собрания.

Я приехавшую начальницу в лицо не знала.

Кто-то бесцеремонно рванул дверь в гримуборную, где я переодевалась. Элементарно воспитанному человеку полагалось, извинившись, тут же ее закрыть. Но женщина стояла и рассматривала меня.

— Что вы хотите? — спросила я не слишком любезно. — Кроме меня, здесь больше никого нет.

А поднявшись в зал, увидев эту даму на председательском месте, усмехнулась про себя: сколько раз анекдотические ситуации решали судьбу так всерьез. Повсеместно.

Замкнувшись на своих проблемах, я была слепа и глуха к окружающим; из-за моих отлучек «не туда, куда положено», против меня в труппе накопилось немало раздражения; творчески я себя никак не зарекомендовала; молниеносно вспыхнувшая у начальницы неприязнь сложила все «в итог»: я была «уволена по сокращению штатов».

Труппу в усеченном виде сохранили и вновь отправили на гастроли. Уехал и Сеня Ерухимович.

Узнав о моем увольнении, Коля страшно расстроился: «Где найдешь теперь работу? Где?»

Я вновь обходила княж-погостские учреждения. Всюду отказывали. Единственное, от чего я отказалась сама, — была вакансия банщицы в городской бане, куда меня соглашались взять.

На выплаченную за время пребывания в театре зарплату можно было продержаться не более месяца.

Я собралась в Вельск к сыну. Неожиданно Дмитрий принес из зоны Колино огромное письмо. Прибегнув к обстоятельным доводам, Колюшка настаивал на идее, показавшейся мне сначала чрезмерно экстравагантной:

«Раз будешь брать билет до Вельска, придется совсем немного доплатить, и ты дней пять сможешь побыть в Ленинграде. Надо повидаться с сестрой. Сходишь к юристам. Может, кто-то из родственников подскажет разумное. Прошу: поезжай. Другой возможности может долго не оказаться. Сделай это для меня! Для себя!»

На приложенном к письму листке — столбики цифр. Стоимость билета туда-обратно, на еду. Коля рассчитал все до рубля:

«Сможешь! Хватит! Поезжай! К твоему возвращению что-то подкоплю! За дни твоей поездки пройду все обследования. Даю слово!»

Вельск — Ленинград? Увидеться и с сыном, и с сестрой, и с прошлым? За всем моим неустройством такая мысль мне просто-напросто не могла прийти в голову. В идее о подобном броске, выпестованной Колюшкой, было что-то ослепительное, бесконечно внимательное и шальное. Мне словно выдали глоток живой воды.

Ехать уже хотелось. И хотя я не чувствовала себя готовой к подобной встряске, подумала: может, она-то, с разбегу «долбанув», как раз и расколет стиснувший меня обруч.

Я написала Бахаревым. Просила, чтобы кто-то пришел с Юриком на вокзал встретить меня, и предупредила, что через пять дней, на обратном пути, остановлюсь в Вельске. Послала письмо Валечке в Ленинград.

Везением было и то, что Симон собирался в командировку в Ленинград. Освободившись три года назад, он очень по-своему распорядился возможностями воли. Устроился «коммивояжером». Как сам он острил: «Я — вояжер из Коми». Главным для него было — имея службу, чаще бывать в Москве и Ленинграде, встречаться со старыми друзьями, ходить по театрам и покупать нужные книги для своей прекрасной библиотеки. Мы выехали вместе.

В Вельске, увидев через окно сына, я уверенно соскочила с подножки и, раскинув руки, побежала ему навстречу. Словно почувствовав степень отдачи и самозабвенности, четырехлетний сын вырвался из рук Веры Петровны и помчался навстречу. Я кружила его, он смеялся. И пока поезд стоял, верилось в то, что нам суждена радость.

При встрече с Симоном, знакомым ей еще по Урдоме, Вера Петровна подтянулась, старалась быть улыбочивой.

Понятно, мне хотелось взять Юрочку с собой в Ленинград. Я написала об этом Бахареву. Контрдоводов было много. Принять их помогла неуверенность в обстоятельствах поездки.

Позади уже осталась Вологда, проезжали Череповец. Я высматривала реку Суду, через которую пятнадцать лет назад, приехав к папе, мы всей семьей переправлялись на пароме в теплую белую ночь с наводнявшим ее соловьиным пением. Отец, мама, сестры, юность! Да разве все это было когда-то? Даже воспоминания были отмежеваны, отчуждены от меня пережитым, но сила и скорость сближения двух рассеченных кусков нескладной, но все-таки единой моей жизни грозили сейчас смять эту «меня».

К Ленинграду мы подъезжали ранним утром. Поезд замедлил ход. За окном появились первые встречающие. Вместо четырнадцатилетнего подростка я увидела идущую по перрону красивую, полноватую девушку — мою единственную уцелевшую сестру Валечку. После девятилетней разлуки мы неотрывно и жадно вбирали друг друга через оконное стекло. Пораженные переменами, не в силах

сдержаться, обе плакали навзрыд. Обнимая ее, я все никак не могла смириться с тем, что вместо худенькой младшей сестренки передо мной взрослый, сформировавшийся человек.

Наша встреча с сестрой подействовала и на Симона. Он пригласил нас позавтракать, но сестра торопилась на работу.

— Остановишься у тети Дуни. Она тебя ждет.

— А ты?

— Я в общежитии. У меня — негде.

После возвращения из угличского детдома Валечка не однажды подавала в суд заявления с просьбой вернуть ей комнату. Столько же раз ей суд в площади отказывал.

«Сейчас выйдем с Московского вокзала, и я увижу стрелу Невского проспекта, позолоту Адмиралтейского шпиля, достоинство и соразмерность домов и улиц». Разве я смела себе представить, что когда-нибудь окажусь в родном городе?

Торжествовала весна. Слепило солнце.

— Позавтракаем в Восточном кафе при Европейской гостинице, — предложил Симон.

Я помнила это скромное, элегантное кафе.

— Выбирайте! — протянул Симон меню.

— Сардельки! — механически определилась я.

Меня укорил смеющийся взгляд друга. «Ах, ну да, конечно! Не то!»

— Разрешите! — взял он на себя инициативу. И тут же продиктовал официанту: — По двести граммов сметаны, по бутерброду с красной икрой, салат, яйцо, кофе на двоих.

Я глядела на этот изыск, но все никак не могла «приземлиться».

Вышли на неповторимую улицу Бродского. Филармония. Русский музей. Навстречу вышагивал мужчина. Они с Симоном обнялись.

— Михаил Светлов, — представился он.

Его нагнала молодая женщина.

— Мне надо с вами поговорить! — обратилась к нему.

Он повернулся и бросил ей насмешливое:

— Добивайтесь!

Совсем забыла: в обиходе есть такой язык. Занятно. И — как далеко.

Я собиралась ехать к тете Дуне. Симон наставлял:

— Улицу переходите только в положенных местах. Если милиционер все-таки подойдет, тут же, без разговоров, платите штраф! Паспорт ни в коем случае не показывайте! Скажите: «Забыла дома!» С тридцать девятием пунктом имеют право выдворить из города в два счета. И не как-нибудь, а столыпинским.

По этому поводу тогда острили. «Как живете?» — спрашивает один другого при встрече. «Ничего, спасибо, все хорошо. Только вот температура 39».

Тетя Дуня, к которой мы в детстве ездили в Белоруссию, та, что сообщила во Фрунзе о маминой смерти, увидев меня сейчас, особенно не ахала. Почти ничего не расспрашивала. Провела в комнату, и я не сразу поняла причину смущения, охватившего

меня. Внимательней присмотрелась: наша мебель! Стол. Стулья. Даже клеенка с чернильными пятнами — памятью об усердном приготовлении уроков младшими сестренками. На стене зеркало в замысловатой бронзовой оправе с острием, от которого у меня на всю жизнь остался шрам на лбу...

У блокадного Ленинграда имелись свои тайны, были свои права. Я не посмела до этого дотронуться. Только сердце сжалось.

Внутренне я готовилась к исповедальному разговору с Валечкой: как все было? С мамой? С Реночкой? Замирая, ждала погружения в доверительную близость с сестрой. Но после одной, другой встречи поняла: она избегает этого разговора, он для нее — загнанная вовнутрь боль.

В стремлении завоевать доверие сестры я пыталась то так, то иначе приблизиться к ней. Удивилась и растерялась от того, насколько это оказалось трудно. Попросила разрешения побывать в общежитии, где она жила. Комната была огромной. В ней стояло шестнадцать или восемнадцать кроватей. У кого-то сидели «ухажеры», кто-то ел, кто-то наигрывал на гитаре. Так жила моя сестра, работница механического завода, что на Обводном канале. Война, блокада, болезнь не дали ей даже закончить школу.

Соседки нас с любопытством разглядывали.

— Ну до чего же похожи! Откуда сестра приехала?

— Издалека. Завербовалась на Север, — отвечала за меня Валечка. Страшась моего непонятого прошлого, сестра, видимо, утаивала, что я у нее есть вообще.

— Пальто у тебя есть? — пыталась я пробиться к разговору с нею.

— Да ну тебя, Тамуся. Есть, конечно, — отмахивалась она.

— А подруги? Молодой человек?

— У всех есть, и у меня тоже, — избегая и здесь всяческой откровенности, отвечала она.

«Самостоятельность! Завершенность!»

Только однажды внезапно в ней что-то открылось:

— Перед смертью мама внушала нам с Реночкой одно: «Любими путями доберитесь до Тамочки! Как-нибудь, но только доберитесь до нее!»

И, охваченная чувством вины за все, что случилось с моей семьей, я творила про себя нечто вроде молитвы: «Простите! Простите за все! Я так хотела вам помочь! Я вас так ждала во Фрунзе. Теряла голову. Сходила там с ума...» Рассказывать об этом было почему-то незачем, не нужно и не годилось. Обретала контуры еще одна не очень понятная беда, которой надо было дать имя: я своей единственной сестре была не нужна.

На квартиру, где «все» случилось, где в свой последний приезд из Фрунзе я слышала, как шелково-заливисто смеялась Реночка, возвращавшаяся из школы, где и сейчас существовала лестница, на которую «выбросили» маму, я не просила сестру проводить меня.

Это было выше сил. А на прежнюю нашу, на Васильевском острове, предложила поехать.

Дверь в нашу квартиру открыла незнакомая женщина.

— Мы здесь когда-то жили. Разрешите только взглянуть?

— Проходите, проходите, девочки. Как видно, сестры?

Все здесь было по-иному, не так, как у нас. Но среди чужой обстановки царствовал наш дубовый резной буфет. При обмене мама не стала перевозить его на меньшую площадь.

— Наш! — воскликнули мы обе.

— Так забирайте его. Берите! Все-таки память! — отозвалась хозяйка квартиры.

Примета послевоенной поры — душевная широта чужого человека.

— Да нет, что вы! Спасибо! Не нужно... И куда,— отказались обе.

Мы спросили, не разыскивал ли нас отец.

— Никто не спрашивал, не приходил.

Постояли во дворе нашего детства.

— А помнишь, как тебя здесь избил Юра Бучель и как я расшибла ему голову поленом? А помнишь... это... то... А что, если мы поднимемся в квартиру Давида? — спросила я напоследок.

Школьный друг Давид, так долго бежавший по платформе при моем отъезде во Фрунзе! Его подарок — коричневая сумка с запиской: «Зачем ты это делаешь, Томочка?»

На звонок вышла мать Давида.

— Ой, я не могу! Не выдержу! Кто пришел! Кто тут стоит на площадке! — заплакала она.

Нас почти насильно втащили в квартиру.

Был дома и Давид. Рядом с ним стояла красивая, удивительно милая молодая женщина.

— Познакомься, это моя жена Лиза, — представил ее Давид.

— Какой праздник! Какое событие! — причитала Софья Захаровна. — Доставай вино. Мы как раз собирались обедать. А мама-то твоя... Отец... Какие у вас были красивые родители! Ах, какое несчастье свалилось на вашу семью, какая беда, горе какое!.. — И Софья Захаровна сокрушалась, качала головой и суежилась в желании принять нас как можно радушнее.

Давид был растерян, чем-то смущен. Почти не задавал вопросов.

Увидев наш дом на Васильевском острове, квартиру школьного друга, в которой все было на своих прежних местах, вплоть до бархатного занавеса, делившего комнату пополам, я не сумела сдержаться. Из глубины, о которой мы так мало что знаем, выхлынули и полились слезы. Поняв, что не останемся, ни при каких обстоятельствах не смогу взять себя в руки, я поднялась.

— Приходите! Приходите к нам! — неслось вдогонку. — Приходите к нам в гости, Тamarочка. Валечка!

Не знала Валечка, и никто не мог указать места захоронения мамы и Реночки. Неизвестно было, на каком краю света могила отца, раз он не вернулся.

Нигде и ни в чем не находя себе места, я отправилась в церковь. В пятидесятом году туда стекалась масса горюющих людей. Поставила свечи за своих родных, на коленях молила высшие силы без осложнений вернуть мне сына, пощадить Колюшку, помочь обрести в жизни приют.

Хотела сердцем прикоснуться к камням моего трагического города. Любовь к нему была беспредельна. На мгновение умудрилась растянуться на ступенях Исаакиевского собора, прижаться к ним.

В юридической консультации моих страхов не поняли и ничего нового не посоветовали: «Да что вас, собственно, беспокоит? Получите жилплощадь, работу, подадите в суд, и ребенок будет ваш».

Я еще как-то пыталась пробиться в прошлое. Отправилась к прежней любимой подруге Ниночке Изенберг. Дом помнила. А лестница? С парадной? Со двора ли? Забыла. Память ничего не подбрасывала, будто прочно в свое время исключила всю прошлую жизнь.

Как и мать Давида, Нинина мать Нина Александровна вскрикнула: — Бог мой, ты ли это, Тамара? Живая? Откуда?

Ниночка не отпускала мои руки, смотрела в глаза, словно самым важным в тот миг считала влить в меня уверенность и покой. Она была больше чем подруга. Редкое, удивительное создание, обладающее даром умиротворения.

— Выходит, вы всю войну пробыли в Ленинграде? — спрашивала я.

— От начала до конца. Сбрасывали с крыш бомбы. Тушили зажигалки. Голодали. Умирали. Но выжили. Чудом, конечно, — рассказывали они по очереди.

Соизмерять блокаду города, смерть мамы и сестры я не могла ни с чем.

— Как же страшно все блокадное! Невозможно представить!

— Что тебе сказать? — отозвалась Нина Александровна. — Не страшней, наверное, чем все твое... Спустишь в булочную, куплю к чаю твои любимые «наполеон» и «буше», — заторопилась она.

Кто-то на земле помнил названия моих любимых пирожных? От этого тоже судорога прошла по сердцу.

Как и у Давида, в их уютной квартире все было на прежних местах. Те же матовые колпаки со стеклянными воланами на настенных лампах, люстра из розового стекла над круглым столом. Белые стулья и кресла. Жардиньерки. Книжные полки. Мне представлялось, что все книги в блокаду были сожжены, все стеклянное побито. Как хорошо, что именно этот дом с иконами и книгами не разорен и напоминает о целостном мире. Вон мой любимый Владимир Соловьев в старинном издании.

— А «Семья Горбатовых»? Сохранилась? А Кржижановская?

— На месте.

— Расскажи про себя, Ниночка.

— Замужем. Но развожусь.

— Почему? Кто он?

— Химик... А почему? В двух словах не расскажешь. Он против церкви. А мы с мамочкой верим в Бога.

— Кто из прежних знакомых остался в Ленинграде?

— Лиза здесь. Кирилла-белого убили на фронте, — сообщила Ниночка. — Нюру тоже убили.

— Какую Нюру?

— Амосову. Ах да, ты же ее не знала. Это моя подруга по военной поре.

У меня было точно такое же чувство: хотелось говорить о своих северных друзьях как об общих.

— А Боря Магаршак, Илья Грановский, Ной Левин живы? — допытывалась я. — Ася Чижилова здесь?

— Не встречала. Не знаю. Видела Владимира Д. Военврач. Спрашивал о тебе... А у тебя все такие же волосы. Глаза стали другие.

Я дала себе зарок не спрашивать про Роксану и про другую — «Норд», что доносили на меня. Об этом когда-нибудь. Не сейчас, но помимо желания, с остановившимся сердцем все-таки задала вопрос:

— А Роксану встречали?

— Здесь эта страхолюдина! Здесь... — бросила не Нина, а Нина Александровна. — Так хочется спросить тебя обо всем, а боюсь притрагиваться. Вдруг причину тебе боль? — не выдержала она.

— Спрашивайте. Не бойтесь. Сейчас болит самое-самое давнее. А все «то», что случилось после, как будто было не со мной, с кем-то.

И Нина Александровна не спросила, а с неожиданной прямолинейностью выложила:

— Да ты не думай, я к тебе в душу не лезу. Но жизнь-то сгубили! Жизни-то нет! Кто ты теперь? Ни жена. Ни мать. Ни города у тебя. Ни крыши. Институт не дали закончить. Думать о тебе — и то страх один! Представляю, как ты их ненавидишь!

— ...Ненавижу? Кого?

Переспросила напрасно. Все поняла... Только, как в физическом недостатке, было бы стыдно признаться, что ненависти в тот момент не ощущала. Была еще на дне колодца. Не успела отодвинуть пережитое. Я только тайно про себя знала, отлично знала: когда выкарабкаюсь, меня охватит чувство большее, чем ненависть.

Ленинградские встречи невольно втягивали в свои люки, вовлекали в отсеченный войной и тюрьмой мир юности, бередили душу. Меня встречали запасами тепла, любви и памяти. Плакала моя тетя Мария, рылась в вещах, чтобы мне что-то подарить. Услышав мой голос по телефону, художница-опекунша Лили закричала:

— Где вы? Где? Я сейчас же схвачу такси и приеду! Или вы ко мне. Я встану перед вами на колени. Это я уговорила вас, я подтолкнула уехать тогда во Фрунзе. Я! — захлебывалась она. — Если бы вы не послушались меня, всего этого кошмара не случилось бы.

Я разубеждала:

— Случилось бы. Точно так же!

Она отказывалась это понимать.

Иные признания не только трогали до глубины души, но и что-то возвращали. Лиза, которую я нашла по адресу, данному Ниночкой, горько заплакала, то и дело вскакивая:

— Поешь! Полежи! Отдохни! Прими ванну! Сяду против тебя. Хочу на тебя насмотреться.

И потом:

— Знаешь, Тома, когда начался голод, я думала об одном, только одна мысль точила мозг и душу: как добраться до Тома? Я больше ни о чем не могла думать. Даже когда нас погрузили в поезд, повезли в Биробиджан, я думала: выскочу, пересяду. Только к тебе, чтоб рядом с тобой перебыть этот ужас!

О настоящем меня спрашивали мимоходом, особенно не вникая. Жива? И слава Богу! Никто не знал, как со мной обходиться, каким образом следует осваивать мои арест и лагерь. Еще не остывшие от своего военного несчастья, люди чему-то сочувствовали, но тяготели к выздоровлению, а не к болезни.

Мне оставалось отвезти письмо сестре интинского пианиста. Времени было в обрез. Днем я ее дома не застала. Вторично мы с Валечкой приехали к ней в одиннадцать часов вечера. Дверь открыла соседка:

— М-ль? Вон та комната, третья по коридору.

Я постучала. Молчание. Еще. И еще. И еще раз. Не отвечали. Тогда — в последний. За дверью взорвался женский голос:

— Совесть у вас есть? Что вы лезете в дом, когда люди спят? Нахальство!

— Простите, — пыталась я оправдаться, — я приходила днем. Мне нужно вас на одну минуту.

— Убирайтесь вон! — кричала из-за дверей женщина. — Мало того что на работе покоя не дают. Домой приперлись.

Валечка возмущенно тащила меня за рукав: «Немедленно уйдем отсюда! Как ты можешь?» Но я не могла уйти... Приникнув к дверной щели, я сказала:

— Это я вам нужна, а не вы мне!

Дверь распахнула разъяренная, в наспех накинутом на плечи халате особа.

— Что же мне от вас нужно? — взбешенно процедила она.

— Я привезла вам письмо от брата. Возьмите. Он просил отдать вам в руки.

Женщина отступила в комнату.

— От кого?

— От вашего брата М-ля.

— Тише! Ради Бога, тише! Идите сюда!

Я повернулась, чтобы уйти из квартиры. Женщина в меня вцепилась. Валечка была у парадной. Она бросилась за ней:

— Умоляю, вернитесь! — И снова ко мне: — Простите! Боже мой! Не понимаю! Откуда вы?

- Оттуда.
- Вы что, его видели?
- Видела.
- Живого? Когда?
- Месяц назад.
- Он худой? Во что одет?
- На нем была куртка. Не помню, какого цвета.
- Не может быть. Он бритый?
- Нет. У него шевелюра.
- Его шевелюра? Цела? Такая пышная, черная?

Она закрывала себе рот обеими руками, чтобы не плакать, разорвала письмо, глазами выхватывала строчки, бухнулась на колени:

— Простите меня! Как я вас встретила?! Мне это не простится! Я работаю в Смольном. Каждый день тьма посетителей. Заявления. Узнают адрес. Приходят домой. Простите! Поймите!

Поняла: в одном конце — партийный Смольный, в другом — брат с номером на спине. Меж эдаких флангов существовать не просто.

Долго мы с сестрой шли молча. С неожиданно крутой откровенностью она вдруг сказала:

— У меня такое чувство, что ты незнакомый мне человек. Что ты когда-то была моей сестрой, потом что-то случилось и... в общем, ты умерла.

— Почему, Валечка? — превозмогла я невыносимую боль.

— Не знаю.

— Попробуй объяснить. Мне это важно.

— Не могу. Ты из какой-то другой жизни. Я не понимаю тебя.

— Я слишком мрачная? И вокруг меня все мрачно? Да? Я много плачу?

— Нет. Ты даже стараешься быть веселой, но я не верю этому.

— Чему не веришь?

— В общем, ты какая-то чужая.

Внутри все светло. Хотелось воззвать: «Единственная моя сестренка, не называй меня чужой! Я не могу этого слышать. Я родная, твоя».

Оставшись без опоры, Валечка в одиночку одолела все напасти. Имя «старшей сестры» для нее выхолостилось в пустой звук. Ей было даже неведомо, неизвестно, как я пыталась до ареста вырвать ее из детдома, что делала для того, чтобы заполучить ее к себе. Сейчас она была права: я «старалась». Старалась быть как бы без прошлого. Боялась ее испугать. И тем, видно, еще более ее отдаляла.

На следующий день, не удержавшись, поставила точку наша родственница, проживавшая в одной квартире с тетей Дуней:

— Ты бы не водила никуда с собой Валю. Не тронь ты ее душу. Не нагружай ты нас. И веселье твое какое-то перевернутое.

Открыв нам как-то с Валечкой дверь, не сказав даже «здравствуйте» после десяти лет, что мы не виделись, она повернулась и ушла к себе в комнату. Я решила, что она не узнала меня.

Тетя Дуня защитила ее:

— Не сердись. Сын погиб во время войны. Муж от разрыва сердца умер в одночасье. Нервы — никуда. Она говорит: «Не могу видеть этих несчастных сестер. Не выдерживаю!»

Предстояло понимать все, ни на что не претендуя. Сказал же когда-то Александр Осипович: «Не можешь? Тогда изменись сама?»

Я рвалась обратно на Север.

Провожала одна сестра. О чем-то напряженно думая, она не выдержала и спросила:

— Ты все-таки скажи мне: за что тебя?

Вопрос был нормален. Человек ведь отсидел за что-то семь лет. Что для сестры могло означать: «Ни за что?» Только ложь или нежелание быть откровенной.

Своим растерявшимся сердцем она жалела меня:

— Береги себя! Приезжай, Тамуся!

Мы снова обе плакали в бессилии извлечь из боли полное имя тому нечеловеческому, что уничтожило наш дом, надругалось над семьей и сделало родство с отсидевшей сестрой едва ли не смертельным обстоятельством для жизни.

В Вельске я отыскала знакомую по Урдоме. Она предложила больше чем ночлег: «Пусть сюда приведут сына. Побудешь с ним у меня».

Филипп, уехав в командировку, избежал встречи.

— Он все порекомендовал мне, — поставила меня в известность Вера Петровна.

Принесла мне в подарок фотографию сына.

— С кем он здесь сфотографирован?

— С моей племянницей.

Юрочка жался, оглядывался на нее.

— Для чего вы ему это купили? Нам ничего не нужно, — снова ревизовала она меня.

— Я скоро приеду за Юриком, Вера Петровна!

— Вы же не устроены. Неужели у вас не станет болеть сердце из-за того, что ребенку у вас будет хуже, чем у нас?

— Ребенку с матерью не может быть хуже!

— Филипп велел, чтобы я ни в какие разговоры с вами не вступала.

— Вы только что сказали, что он все порекомендовал вам.

— Да, порекомендовал, чтобы я не бросала Юрочку.

— Что значит — не бросали?

— Ну, чтобы не оставляла вас с ним вдвоем.

— Как это «не оставляла вдвоем»?

— Спросите у него сами.

— Я пойду погуляю с сыном.

— Нет, Тамара Владиславовна, это неудобно. Здесь все на виду друг у друга. Лишние толки, разговоры. Не надо. Я буду приводить его сюда. И так хватает всего.

Я не выдерживала ее хозяйского, уверенного тона. Не желала признавать за ней полную прав! Не хотела быть за что-то ей благодарной!.. Но боялась открытых с ними обоими столкновений.

Стыд от того, что я растеряна перед свободой, замучивал меня. Валечкин рассказ о последнем маминем напутствии сестрам: «Доберитесь до Тамочки», Лизино: «Точила одна мысль — добратсья до тебя» — укоряли. В меня верили. Аргумент Веры Петровны: «Но вы еще не устроены» — превращал эту веру в ноль. Путь, как всегда, оставался один — превзойти обстоятельства и себя. Спрессовать энергию. Взорваться! Бьется же рыба об лед, и, случается, попадает в желанную прорубь.

В Княж-Погосте я узнала, что Колю в лазарет не положили, хотя улучшений со здоровьем не намечилось никаких. ТЭК находился в поездке.

В поисках работы я снова методически обходила все подряд. Ответ был прежним: «Мест нет».

Клава в своей хибаре поставила для меня топчан. Дала что-то, заменявшее одеяло.

Приходя из больницы, где работала медсестрой, она глушила водку, пела жалостливые песни, заплетающимся языком убеждала: «Говорю тебе: не найдешь ничего!» — и задавала «веселые» вопросы: «А ты понимаешь, зачем мы живем?» (Она взяла свою дочь из детдома; будучи добрым человеком, била ее. А затем взяла и отравилась.)

Я уходила вечерами к родным Сени Ерухимовича. Его сестра Фира работала в управлении.

— Научи меня печатать на машинке, Фира! Может, устроюсь где-нибудь машинисткой.

— Давай. Начинай, — ставила машинку она.

Нигде не столуясь, я блюла гордость: «Нет-нет, сыта. Все в порядке».

Как-то после очередного безрезультатного похода я понуро возвращалась к Клаве. Навстречу шла знакомая пара, муж с женой. Перейдя дорогу, они направились ко мне и... протянули мне буханку хлеба:

— Возьмите, Тамара, возьмите. Нам ничего не надо объяснять. Все знаем по себе.

Потрясенность от столь откровенного сочувственного подаяния была настолько сильной, что согнула: за предел!

Лишь одно мое усилие в ту пору обернулось удачей. Настойчиво атакуя адресные бюро южных городов, я разыскала, наконец, Колюшкину мать. Из Кировабада прислали ее адрес. Я ликующе сообщила об этом Коле. Сын нашел мать. Мать — сына.

«Здравствуйте, дорогая моя дочка Тамара! — ответила мне Дарья Васильевна. — Получила ваши оба письма, драгоценные для моего сердца и жизни. Прежде всего целую вас как мать Коли

и отныне — ваша и приношу свое Материнское Благословение на совместную долгую жизнь с Колюшкой и со мной, если Судьба нам даст это и сжалится над нами. Живите дружно, любите друг друга до гроба. Бог сжалился над нами, взамен горя послал и радость. Это — вы, моя дорогая дочка Тамара. Описать вам мои волнения и переживания, которые я перенесла за все эти 10 лет, не в силах. Вкратце напишу только, что я искала своего сына, и вот вы мне его подарили. Я снова мать!..»

Дарья Васильевна спрашивала, чем может помочь Коле. Сама жила в чужой семье. Своего угла не имела.

Письма ее, трогавшие своей безыскусностью, я пересылала Колюшке, умоляя его скорее откликнуться, объяснить все, как найдет лучшим.

Колюшка медлил. Понимая, как ему горько и тяжело отягощать материнскую душу известием о том, что это не ссылка, как я ей написала, а лагерь, я продолжала настаивать: «Ответь!»

Наконец, гонения на «бывших заключенных» в 1950 году были объяснены. Сполна. Точки над «i» расставлены самым беспрецедентным в юридической практике образом.

В Княж-Погост на несколько спектаклей прибыла основная труппа Сыктывкарского театра. Привезли спектакль по повести Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды».

Сеня Ерухимович, только что вернувшийся из гастрольной поездки, звал посмотреть. В конце концов это было лучше, чем видеть, как Клава сидит за бутылкой. Но спектакль был скучен, настроение — тяжелое. Пообещав, что утром зайду к Сене, я после первого акта ушла. Сеня остался досматривать спектакль.

А утром, подходя к центру поселка, где жила Сенина семья, я увидела несущуюся по деревянным панелям растрепанную, с опухшим от слез лицом Фиру. Она изменила направление, побежала ко мне:

— Идем скорее к нам! Сему арестовали!

— Опомнись, Фира, что ты говоришь? Скажи вразумительно.

— Сему после спектакля уже ждали двое. Арестовали на улице.

Невероятно. Немыслимо. И у меня вырвался тот же сакраментальный вопрос: «За что?»

Обезумевшая Сенина мать кричала: «Сыночек мой! Сыночек! Иди скорее домой!» На квартиру к ним из управления лагеря прибежали за мной:

— Вас просят зайти к Шустову. Сейчас же, если можно.

Закрыв дверь, там меня обступили со всех сторон. Бывшие зеки, освободившиеся в сорок седьмом, пытались уцепиться за какое-то логическое звено, разрывали меня на части:

— Вы с ним ездили на гастроли. Может, он там совершал какие-нибудь махинации с билетами?

— Да что вы! Нет!

— Может, он говорил то, что не следует?

— Ничего не говорил.

— Припомните! Может, что-то замечали сами?

Я ничем не могла утешить переполошившихся, взбудораженных арестом Сени людей. Лица у всех были серые, вытянувшиеся. Спрашивали друг у друга!

— Понимаешь что-нибудь?

— А что тут понимать? — тяжело и весомо произнес, наконец, один из них. — Начался второй тридцать седьмой! И начали его с евреев.

«При чем тут евреи?» — не удивившись тому, что «начался второй тридцать седьмой год», подумала я.

Фира добивалась свидания с братом. Захватив для Сени свою бывшую лагерную телогрейку, я пошла вместе с нею. Сенины объяснения подтвердили то, что могло именоваться только сатанинским психозом власти.

— Обвинений новых никаких, — сказал он. — Все те же, что были при первом аресте. Увозят для допросов в Сыктывкар. Из другой камеры получил записку от Толубенко. Пишет, что новых обвинений тоже не предъявили. Сказали: вышлют в Сибирь на пожизненное поселение.

«Обвинения те же. Новых не предъявляют!» И человек опять в тюрьме.

Таких, которые отказались бы верить в то, что отсидевших по приговору десять лет арестовывают вторично, все за то же — «ни за что», не было. Опытном своим поверили: «Так было, так есть и будет».

В Сыктывкаре арестовали Миру Гальперн. Следом за ней — ее мужа Алексея Линкевича. В Курске отыскали и вторично арестовали Тамару Цулукидзе. Страх ареста и ссылки снова повис над нами на все двадцать четыре часа в сутки. Заготавливали сухари. Ждали.

Нет, то был не тридцать седьмой год! Шед пятидесятый! Было чуть тише. Добивали уже не таких в расцвете сил, какими были в тридцать седьмом, а недобитых. Обирали обобранных и, как в той притче о податях, уже не плакали. Смеялись. Во всяком случае, пытались.

— О-ля-ля! На сегодня мы, кажется, живы! — приговаривала приятельница-француженка каждый вечер.

Остроумный человек Лев Фруг шутил:

— Гадаете, по какому принципу забирают, голубчики? Без оных! Давайте-ка лучше купим сами билет до Красноярска. Заявимся к властям: вот, мол, прибыли! И столыпинский не понадобится!

Из Усть-Куломского театра вернулись уволенные оттуда Хелла Фришер и китаец Шань. Шань чудом устроился в Сыктывкарский театр кукол. Румын Тарно, занимавший должность фармацевта при железнодорожной поликлинике на станции Микунь, устроил в амбулаторию сестрой-хозяйкой Хеллу. Оба стали усиленно хлопотать о месте для меня. И «интернациональные» связи выручили.

Меня вызвали на переговоры, вызвали как раз в тот момент, когда Колюшку наконец положили в цолповский стационар.

Микунь, где находилась поликлиника, отстоял от Княж-Погоста на сто километров. Уезжать в момент, когда Коля так остро нуждался в помощи, казалось невыносимым. Но поддерживать его при туберкулезе желез надо было хотя бы усиленным питанием. Для этого требовался заработок. В Микуни же главврач пообещал взять меня санитаркой.

— Оклад триста рублей. Жилья нет. И не обещаю. Через пару месяцев смогу вас перевести на должность медстатистика.

Я согласилась.

Хеллу приютили супруги Шпаковы. В двухкомнатной квартире большую занимали они, маленькую — геолог. Хелла спала в кухне на полу слева. Мне положили матрац справа.

Теперь Колюшка мог за меня не волноваться.

«Работаю. Живу в тепле и уюте. Со мной все устроилось. Главная забота у нас одна: твое здоровье! И еще раз оно! Я и лекарства тебе здесь смогу доставать, какие понадобятся!»

В самом деле, добрый аптекарь Тарно обещал выписывать все, что будет нужно. Как работник железнодорожной поликлиники я получила бесплатный проездной билет до Княж-Погоста. Накануне выходного дня мчалась туда. Ночевала у Клады. Искала встреч с кем-либо из зоны: чтобы передать в лазарет еду, разузнать о Колюшкином здоровье.

Я укоряла его за то, что он не ответил матери. Колюшка обещал, но... оттягивал. И вдруг, как смерч, — письмо правды. Я читала и не верила написанному:

«Мне очень плохо, Том! Я не могу тебе не сказать этого. Жалко, что ты уже сообщила маме о моем существовании. Может, и не надо было тревожить затянувшиеся раны. Какая ей, уже старенькой, больной и одинокой, польза от меня? Вот человек, поистине проживший жизнь в беспросветной бедности и ежедневном горе. Мой родной, прости за это письмо. Я долго не находил в себе сил написать его таким. Но все несу к тебе. Мне очень тяжело. И не только сегодня, но и вчера, позавчера. Опухоли остались прежними... появилась температура».

В Княж-Погосте я разыскала адрес лагерного врача. Незнакомая женщина-врач приняла враждебно. Я просила выслушать меня, сделать для Колюшки и положенное и невозможное, подсказать, какие нужны лекарства. «Ему только тридцать два года! Он талантлив! Добр! Красив! Прошел войну. Наша любовь победила лагерь. Я нашла его мать. После десяти лет мать обрела сына. Его необходимо поставить на ноги. Умоляю вас...»

Постепенно она оттаяла.

— У него туберкулез желез. Неприятно. Но... ничего. Могу отправить его на туберкулезную колонну.

— Нет. Этого недостаточно. Нужен консилиум, — смелела я.

Мне казалось, что я сумею уговорить княж-погостских светил посмотреть Колюшку.

— Разрешите! Я сама их упрощу! Согласитесь только допустить их для консилиума! Не обижайтесь!

— Хорошо, — кивнула она. — Все равно, они только подтвердят мой диагноз. И в зону пройти им будет непросто.

Это я понимала. Но там, за забором, изнемогал Коля. Если он написал «мне плохо», значит, ему было невыносимо худо.

Лично я знала из «светил» только доктора Перельмана. С врачами Ланда и Абрахамом знакома не была. Ланда, в прошлом известный профессор, выйдя из лагеря, жил в общежитии-развалюхе, где обитал и Симон. Вечерами они играли в шахматы. Симон помог его уговорить. Доктора Абрахама упрощить помогли другие знакомые.

Третий отдел СЖДЛ не дал согласия показать больного заключенного вольным врачам. Уговорили сами врачи: «Редкий случай! Сделайте исключение!»

Посмотрев Колю, врачи потребовали повторить все анализы. Почувствовав, что он не брошен на произвол судьбы, Колюшка оживился. Письма стали более уверенными: «Лучше! Боли отступили. Только температура еще держится. Мне лучше!..»

Значит, опухоль, температура. И... боли?

Я вспомнила, как Колюшка забыл на сцене текст рассказа, вспомнила и одно его «нечеловеческое» признание. Он никогда не рассказывал про немецкие концлагеря. Только однажды вскользь обронил: «...кое-кого из нас там облучали..»

Я обходила каждого из скупых на ответы врачей отдельно.

— Подождите. Сделали посев. Недели через две станет все ясно.

Вопреки чутью и страху, я еще надеялась на Колюшкино выздоровление, как в Микунь нарочным привезли письмо от Симона:

«Родная моя, бесконечно родная мне голубка! Все, о чем мы говорили, сделано. Сегодня у Коли был Перельман. Диагноз его страшный — туберкулезный менингит. Завтра повторно будет Абрахам. Решили, что он нужнее, чем Ланда. Видел я и говорил с Ирин. Григ. Плохо, роденькая моя, очень плохо с Николаем. Состояние его чрезвычайно тяжелое. Выдержит ли несчастный наш друг, неизбывными муками своими ставший для нас одинаково близким и дорогим? Будем надеяться, что выдержит. Да найдутся в вас, родная моя, силы пережить жестокие, страшные и неумолимые удары судьбы, ожидающие вас впереди.

Крепко жму вашу руку, обнимаю Вас, неутешную в великой скорби Вашей. Симон».

Примчавшись тут же в Княж-Погост, я снова пошла «по домам» врачей. Доктор Абрахам, не пряча глаза, сказал: «Это лимфогранулематоз». Доктор Ланда подтвердил худшее: «У него лимфосаркома». Добавил: «Преступно было делать кварц!»

Ни один, ни другой не обещали Колюшке жизнь.

Колюшка верил в выздоровление. Страстно хотел жить.
«...А теперь, любимая, честное слово, температура утром сегодня — 36, вечером — 36,9. Сейчас, когда пишу, кажется, выше,

но это от грелки. Глотаю сульфидин. Чертовски болит и мутит голову. Сегодня всю спину покалывает иглами, так называемая невралгия... но, главное, завтра с утра начинают колоть пенициллин каждые три часа... Все силы кладу на то, чтобы скорее и по-настоящему быть здоровым...»

Плохо помню, как и что я выполняла на работе. Были ежедневные поездки в Княж-Погост, добывание для Колюшки чего-то из лекарств, еды.

Три лазаретных барака находились на северной стороне ЦОЛПА.

— Добейся, чтобы тебя положили в тот, что стоит первым у забора, — просила я Колюшку в письмах.

Именно он находился против Клавиного дома. Я брала в руки гвозди, молоток и, под видом того, что чиню тес или трубу, забиралась на крышу. Оттуда можно было разглядеть не только окна его палаты и постель, но и его самого.

Предупрежденный записками, он ждал моих появлений, которые называл «восходами солнца». Подходил к форточке. Иногда мог подать знак о самочувствии. Уточнял в письмах:

«Все глядел в окно, ждал появления моего родного личика. Я считал, что твоя труба — третья. А ты вышла ко второй. Она мне не видна. Доска у забора возвышается, на коей лампочка, и только когда ты на секунду показалась у третьей, я подскочил к форточке...»

— А ну, слазь! — кричали мне вохровцы с вышки.

Но Колюшка ждал «восходов», и я лезла на крышу. Наиболее рьяные наводили на меня пулемет: «Немедленно сойди!»

Под дождем за дряблый тес не всегда можно было зацепиться. Соскальзывала на землю. И снова забиралась наверх. Мало-помалу вохровцы привыкли. Некоторые перестали «замечать». Я им кивала головой: «Спасибо, человеке...»

Отчисленные из ТЭК после очередной кампании «усиления режима» Жора Бондаревский, Сережа Аллилуев, навещавшие Колюшку в зоне, все видели, знали, но успокаивали: «Он очень хочет поправиться и, конечно, встанет на ноги».

Колюшка уже не мог подходить к окну.

С крыши, через ограду и оконные стекла лазарета, я с трудом угадывала движения рук, выражавшие: «Вижу, вижу».

От лечащего лагерного врача Ирины Григорьевны я получила теперь разрешение приходить к ней домой в любое время. В один из визитов она заплакала.

— Красивый он человек! Я и не знала, что можно так любить, как он вас. Вхожу сегодня в палату, а он спрашивает: «А какого у вас цвета туфли, доктор? Когда я только сумею купить моему Томику такие? Хочу, чтобы она так же весело стучала каблучками».

«Почему он спрашивает, какого цвета туфли?»

— Он не может повернуть головы? Почему?

— Метастазы. Стал очень нервничать. Иногда просто страшно.

Жизнь превратилась в сплошную муку. Чем помочь? Что сделать? Я исписывала тетради писем. Сочиняла сказки. Жаждала перелить в Колю свои силы. Теряла рассудок. Опять и опять залезала на крышу.

«Моя родная! Том мой! Эликсир мой! Как только увидел тебя, все слетело вмиг. Девочка, я вчера не мог написать. А сегодня я себя чувствую лучше, но невыразимо слаб. Позавчера с 11 ночи до 3-х был этот невралгический приступ. Думал, что не увижу утра. Сердце схватывала судорога, и нечем было дышать».

Я должна была находиться при нем неотлучно. Ну хотя бы возле ЦОЛПа. Снова просила знакомых похлопотать о работе в Княж-Погосте.

По тем временам жизнь Ильи Евсеевича сложилась благополучнее, чем у кого бы то ни было. Во-первых, повторно не арестовали. Во-вторых, к нему приехала жена с двумя прелестными дочерьми. Работал он на прежнем месте. Я знала, что он подыскивает для меня «хоть какую-то» работу. И вдруг передали, что он просит зайти к нему в управление. Бросилась тут же.

— Тамара, — сказал он, — вы ведете себя недопустимым образом. Все время поддерживаете отношения с зоной. О вас ходят самые невероятные слухи. Вас все время видят возле ЦОЛПа. Рассказывают, что вы даже на крышу там залезаете. И при подобном поведении вы хотите, чтобы друзья хлопотали о вашем устройстве? Вы что думаете: я не хотел бы переписываться с Александром Осиповичем? Вы же знаете, как я к нему отношусь. За одну партию в шахматы с ним я бы отдал многое... Но мы все висим на волоске. Вот-вот арестуют. Надо же понимать это...

Он говорил что-то еще. А я задыхалась. Дверь в кабинет открылась. Заглянул Симон.

— Симон! Симон! — вздернулся Илья Евсеевич. — Зайдите сюда! Ну скажите вы ей! Вразумите ее. Она должна уговориться. Я ей говорю, а она как каменная. Ведь она просто не умеет себя вести.

Как четко прописались в воздухе слова Симона:

— Вы, Илья, подлец. Оставьте ее в покое. Она делает так, потому что иначе не может!

Секунду назад казалось, что петля «здорового смысла» удушит. Отпор Симона вернул дыхание. В те черные дни мытарств он был самым чутким.

— Возьмите ключ от моей конуры, отдохните там. Совсем измотались: туда — сюда! Я себе место найду. Возьмите деньги. Да не для себя, а для Николая.

Справлялась сама. Бешено и безрезультатно работал мозг. Колюшка молод! Война. Плен. Тюрма. Камера смертников. Лагерь. Невыносимые страдания и боли сейчас! Я не могу отдать его смерти! Языческий инстинкт требовал: ищи, действуй!

Я вступала в заговор с темными, смутными силами. Ночью толчок: «Если встану, дойду босиком до леса, он останется жить». Вставала. И шла. И только исполнив приказанное самой себе, на час находила успокоение.

Отповедь Ильи Евсеевича принесла пользу: втокнула в действительность. Я поняла, что должна не на крышу лезть, а войти в зону, увидеть Колю, обнять его.

Когда произносили фамилию начальника третьего отдела Астахова, мурашки пробегали по спине. Он отсылал в этап, санкционировал аресты, наряды на штрафную, лагерные допросы. Я никогда не видела его в лицо. «Пойду к нему! Пусть даст разрешение пройти в зону!»

Меня отговаривали: «С ума сошла? При теперешних арестах он вас просто не выпустит оттуда. Остановитесь!» Мое решение отмене не подлежало.

Дорогу преградил Дмитрий:

— Не делайте этого. Вас арестуют.

К порогу одноэтажного зарешеченного дома оперчекотдела я катилась как цунами. Все могла смести на пути! Правом страдания и боли.

— Мне нужен начальник третьего отдела!

— На обеде.

Ждала. Хозяйской походкой он двигался к своему «департаменту».

— Мне нужно к вам.

— В чем дело?

— Примите. Скажу.

Не удостоенная ответом, следовала за ним. Жестом он приказал охране: пустить! Усевшись за свой стол, не спеша, перекинув бумаги, указал на стул против себя. Я не опустила глаз под его металлическим, изничтожающим взглядом.

— Ну? Что там?

— Дайте мне разрешение пройти на ЦОЛП к больному.

Опять ледящий взгляд.

— На каком основании?

— Я люблю этого человека, он любит меня. Вы это знаете.

— Понимаете, что просите?

— Да!

Долго смотрел на меня. В упор. Я — на него.

И уже молча он придвинул к себе блокнот и выписал мне пропуск. Выписал!

Мне не поверили, когда, купив продуктов, я примчалась к вахте ЦОЛПа. Тот же стальногоглазый старший надзиратель Сергеев перезвонил в третий отдел: «Точно ли так?»

Извещенные святым духом, внутри зоны у вахты стояли знакомые. Я без остановки и без слов проследовала к лазаретному бараку. И едва открыла дверь палаты, как сорвавшимся голосом, не пошевелив головой, Колюшка воскликнул:

— Это ты? Томик? Ты? Это ты! Я знаю!

И я... увидела его.

Чудовищные метастазы парализовали ноги, руки. Они буграми были раскиданы повсюду. Но он был жив! Переполнен надеждами, почти что счастьем!

Окаменев, помертвев, я старалась улыбаться, говорить, утешать. Согревала прикованного к тюремной больничной койке родного, любимого человека, своего ненаглядного Колюшку.

— Я знал, что ты придешь! Знал, что мой Томик меня не бросит! — пылко-радостно выговаривал он. — Видишь, какой я стал?

Он усмехнулся:

— Да? Видишь? Но я поправлюсь. Пересядь сюда. Мне надо лучше тебя видеть.

И вдруг оживленность, такая очевидная, зримая радость в мгновение, которое я даже не уследила, сменилась сатанински трезвым, пронзительно ясным вопросом, заданным жестко, с расстановкой:

— По-че-му ты не пла-чешь?

Этот вопрос нельзя было впускать в себя. Ни в коем разе. Разве сама я понимала, кто за меня произносит какие-то слова? Как удавалось не только не плакать — не биться, не стенать?

— Тебя сактируют по болезни! Мы добьемся. Я тебя заберу. Мы все сделаем! — шептала я.

— Ты еще придешь? Придешь? Обещай! — Руки с верой и страстью держали мои.

Время мое истекало.

— Непременно! Обещаю! Не сомневайся, родной. Я приду!

Сам Колюшка больше писать не мог.

Вместе с ним в палате лежал уголовник. Я стала получать полуграмотные, написанные его рукой благословенные письма.

«Томочка, я немного ему помогаю и очень часто ругаю его за то, что он ничего не ест, а только пьет воду. Может, вы на него подействуете? Тома, верьте, что он день и ночь мечтает о вас. Когда вы были на свидании, он после вашего ухода из палаты рвал на себе волосы, прокусил губу. Я просил его меньше расстраиваться. В понедельник у него снова будет консилиум. До свидания. С приветом, Михаил».

Жизнь продолжала свой механический ход.

Я снова пошла в третий отдел. Шла уже без той силы. Подкошенная тем, что знала истину теперь не с чьих-то слов, а сама.

Хорошо осведомленный о состоянии Колюшки, уже не задав ни одного вопроса, Астахов подписал мне пропуск на второе свидание.

Вернувшись после той встречи с Колюшкой, записала себе в тетрадь:

«...Только, чтобы ты так не мучился. Пусть Бог хоть как-то спасет тебя, хоть как-то умерит страдание. Ничего не знаю и знаю все. Не охватываю всего сознанием. Но пережить Тебя не смогу... Сердце отключено. Человеческих сил нет. Жизнь отвратительна, неприятна. Если вижу изможденное, больное лицо, молю, хотя бы таким Тебя оставила Судьба. Пусть калека, какой угодно. Только бы твое сердце билось рядом. В ужасе нашей разлуки в январе, в день моего освобождения, было все: предзнаменование, безысходность...»

Колюшка все-таки хоть небольшое, но письмо матери написал. А что могла ей сообщить теперь я? И что я вообще натворила, разыскав ее?

Колюшкин «сопалатник» Михаил скрупулезно отчитывался за сутки:

«...Б 4 часа он стал просить кушать. Мы его накормили: один помидор, одно яичко, 300 граммов молока и немного масла. Поверь, Тома, этого никогда не было. Он очень добрый. Дает мне персик или что-то другое, но поверь, Тома, я ничего не позволяю себе. Знаю, как Вам трудно достаются эти продукты. Мне очень вас жаль. Как Вам приходится переживать и расходоваться последними копейками. Еще раз прошу: не покупайте дорогих продуктов. У него еще есть несколько кубиков шоколада, 2 банки сгущенного молока. Он сегодня всю ночь бредил. Просил тебя прийти, говорил тебе разные слова, что готов целовать твои ноги, что Тома знает мою преданность. Тома, сегодня утром он просил, чтобы его посадили. Поверь, такого не было. Он просидел минуты три. Прошу, дорогая, ты еще такая молодая: не волнуйся. С уважением к вам Михаил».

Впиваясь в письма парнишки-уголовника, я находила в них, как это ни странно, ответы на все вопросы.

Рано утром 27 июня, приехав из Микуни, я вышла из поезда в Княж-Погосте. В кармане у меня лежало разрешение на третье свидание с Колюшкой. Я могла сама его умыть, поправить ему постель.

Тут же на перроне ко мне подошли незнакомые мужчина и женщина:

— Держитесь, Тамара Владиславовна, мужайтесь. Ваш Коля умер. Сегодня ночью, около пяти часов.

Где-то была. Не знаю. Не помню.

Вдруг полоснула мысль: «Его, моего Колюшку, сбросят в свалочную яму для заключенных! Неизвестно где». В Ленинграде маму выбросили на лестницу, сбросили куда-то Реночку и отца свалили в яму где-то на Колыме. Теперь Колю? Я не мо-о-огу-у! Я не смо-о-гу-у этого вынести...

Пошла на ЦОЛП к старшему надзирателю Сергееву. Он сидел на вахте.

— Если есть на земле хоть что-то, самое малое, если хоть где-то и что-то есть вообще...

Он не дал договорить. Сжал челюсти. Голос дрогнул. Я не могла в том ошибиться:

— Все! Все! Идите ройте могилу на кладбище. Придете в три часа ночи сюда. Я вам отдам его.

— М-м-м-м-м-м...

На городском кладбище наняла кого-то вырыть яму.

К трем часам белесой июньской ночи уже сидела на куче бревен у вахты ЦОЛПа.

Припадая на больную ногу, из зоны вышел надзиратель Сергеев. Направился ко мне. Я испугалась: передумал? Откажет? Он коротко глянул, протянул сверток: мои письма к Колюшке. Сам вынес их из зоны. «За вещами придете завтра», — сказал.

В тишине июньской ночи пятидесятого года заскрипели ворота лагерной зоны ЦОЛПа, медленно открылись. Оттуда выступила лошадь с дрогами. На них стоял сколоченный заключенными друзьями гроб с Колюшкой.

Лошадь остановилась. Стоял Сергеев. Вышел другой надзиратель. И я — на коленях у дрог.

Стальноглазый надзиратель вложил мне в руки вожжи:
— Везите!

Дорога шла через поселок. У некоторых домов стояли люди. Колюшку знали. Любили. Крестили. Плакали.

Спасибо им! Тем, кто стоял. Кто вышел той ночью.

За поселком по дороге к кладбищу взад и вперед ходил Дмитрий. Несколько тэковцев убежали из стоящих на станции вагонов. Конвой был новый, начал палить из нагана. Их вернули. Наказали.

Я просталась с Колюшкой.

Так он сдержал свою чудовищную клятву: «Я буду по ту сторону зоны скорее, чем ты полагаешь. Обещаю! Клянусь!»

Засыпали могилу.

Колли больше не было. И времени не стало. Не стало и меня.

Дима не уходил. Я просила оставить меня одну. Велела подчиниться. Легла на холм. Земля была живой. Потом кто-то тряс меня за плечо:

— Не дело так. Хватит. Завтра опять придете. Здесь нельзя одной оставаться, — уговаривал старший надзиратель Сергеев.

Вместе с дежурным они приехали на двуколке за лошадью, за телегой и за мной.

Почему он отдал мне Колюшку? Почему разрешил похоронить на кладбище, все взяв на себя?

Долгие, долгие годы, десятилетия всегда и навсегда помню вас, стальногоглазый хромой надзиратель Сергеев. Кланяюсь вашему человеческому сердцу!

«Милая, дорогая Тамара. Сердце мое до письма извещало и грудь мою сжимало, каждую минуту я ждала такую весть. Ах Боже мой! Какое несчастье! Какая тоска! Наша Судьба до гробовой доски плакать и горевать. Дорогая Тамара, как мне тяжело и как мне горько, что я потеряла своего бесценного сыночка Колюшку.

Милая и дорогая доченька Тамара. Получила и фото, где сняты мои голубята и где сидите вы с Колюшкой, как два душистых цветочка. Я так нарыдалась, что даже не могу тебе, моя голубушка, сказать. Ведь ты, детка, пойми, что такая долгая разлука меня надорвала и здоровья на десять лет унесла. Когда получила первую весточку, я не знала предела радости. Думала, что везде теперь

так светло, как у меня на сердце. Но в то же время сердце так ныло, что не могла найти себе места. Я думала, оно просто болит, а оно предсказывало несчастье... Колин папа погиб в 18-м году, когда я была Коленькой беременна. Так что он родного папу и не знает. Ах Боже мой, зачем я его на свет родила, такого мученика!.. Милая моя девочка, я тебя никогда не забуду и всю жизнь буду благодарить за твою ласку к Коле и за твою заботу обо мне... Твоя мама Дарья Васильевна».

«Здравствуй, дорогая, героическая Тамара! Пишу Тебе утром, солнечным утром. Хочу, чтобы солнышко хоть немного заглянуло в твою душу, где с уходом Коли вечный мрак...

Я видел, как ты добивалась, чтобы Тебя пропустили. Видел, что здесь не романтика. Человечность. Причем я видел, что ты о многих беспокоилась, чего не могу сказать ни об одном человеке, освободившемся из лагеря.

Затем случилось непоправимое — заболел Коля.

Твоя преданность, твоя забота выше человеческих. Первой чертой благородства — способностью к самопожертвованию Ты обладаешь не меньше, чем способностью любить. Не думай, Тамара, что я выношу тебе благодарность. Нет. Больше. Я пою гимн человечности, гимн радости, любви — в наш век бесчеловечности, трусости, подлости.

Боже мой! Как я рад, что жизнь многому учит!

Тамара! Вне зависимости от того, где Ты будешь, как Ты будешь жить и прочее, я твой друг.

Человек — звучит подло.

Человек — это лагерь, донос, тюрьма, провокация, трусость.

Твой друг — определенно!

Тамара! Где бы ты ни была, как бы ни было Тебе трудно, знай, что у Тебя есть Человек, абсолютно преданный, готовый прийти Тебе на помощь.

Тамара! Что касается меня, то не беспокойся обо мне. Чем мне труднее, тем это делает меня злее. Мне ничего не надо. Целую. Сергей Аллилуев».

«Томик, дорогая! Взяла бумагу и ручку в руки, но они дрожат, и нет, дорогая, нет таких слов, не нахожу просто их, которыми я могла бы Тебе помочь перенести эту боль. Я знаю, она сжала всю Тебя. Ты чувствуешь даже физическую боль, но, Томик, крепись, наша дорогая, хорошая Томик, крепись. Не сгибайся. Ведь ты уже столько перенесла, столько перетерпела, всегда подняв голову. Так жаль и Колю и Тебя... Как же Тебе, наша дорогая, не везет. Все какие-то иглы, шипы на твоём пути. И почему так? Почему? Нет ответа... Прошу тебя, не забывай, что надо есть, а то Ты как тень. Вика, Валя, Маргарита — мы все беспокоимся о Тебе. Мы, твои друзья, всегда с Тобой. Всегда с Тобой».

«Томочка! Не нужно так! Я ужаснулась, увидев Вас сегодня, — ведь Вы же умная, сильная женщина. Вы понимаете все. Возьмите же себя в руки. Вы должны сохранить свои силы, свое здоровье. Ну, ушел Коля, что же поделывать? Разве с этим окончилась Ваша жизнь? Ах, Тома, как хотел бы я поговорить с Вами, дать хоть

небольшую частицу своего оптимизма, но... только два-три слова, только пожатие руки. Ваши пальцы стали такими сухими, Тома. Горе ходит по нашим семьям. Неужели же не успокоится оно на этом? Боже, Боже! Сколько жертв, сколько потерь!

Мне больно, мне ужасно тяжело, хотя и я понимаю, что ничем не поможешь, не вернешь Колюшку. Плачу вместе с вами, вместо того чтобы успокоить.

Да хранит Вас Бог. Искренне Ваш Жора».

«Солнечный друг мой Тamarочка! Весть о страшном событии, о глубоком Вашем горе поразила меня, как и всех ваших друзей.

Я подолгу сидел вечерами над маленьким столом своим, вспоминая ваш нежный, как та лилия, светлый, вечно юный образ и рядом с Вами Колю. Сидел и не находил в себе сил помочь рассеять ваше горе.

Во-первых, память о Коле, светлую память как о прекрасном товарище, как о человеке, всей душой любившем Вас, как о талантливом актере, я буду нести в своем сердце вечно, вечно. Во-вторых, любовь моя к вам, тихая и нежная, настоящая, человеческая любовь брата к чистой своей, убитой горем сестре по крайней мере удвоилась. Я целую ваши руки, обнимаю вас ласково, глажу ваши чудные волосы и тороплю время. Пусть оно идет быстрей, все дальше и дальше уносит вас от этого страшного события.

Коля находил в себе силы ради вас, ради любви к вам преодолевать всякие и всяческие препятствия. Надо и Вам найти эти силы...

У нас на реке много белых лилий. Когда я их вижу, то вспоминаю Вас и Колю. Ваш Алексей».

«Дорогая Тamarочка! Это ужасно, родная. Боже мой! Зачем должен был уйти Коля так далеко и безвозвратно? Кому это нужно было? Но ты должна смириться, милая девочка, родная Томочка, с мыслью, что для Коли теперь все, ничего не нужно. Как много на твою долю пришлось переживаний и слез! Я понимаю тебя, как никто, любимая. Но постепенно, с годами горечь утраты любимого будет зарастать. А жить ведь нужно, ты еще молода и когда-нибудь будешь радоваться красавцем Юрочкой. Все же Ты будешь с ним вместе, пусть не сегодня, не завтра, но в будущем... Жаль тебя, одинокую страдальицу, жаль Николаюшкину молодую жизнь, так рано ушедшую. Как он, бедняжка, хотел семью, детей.

Очень хорошо, что Ты похоронила его по-человечески. Приезжай ко мне. Целую, целую. Оля».

«Дорогая, родная моя Томочка! Хотелось бы обнять Тебя крепко, прижать к себе и поплакать вместе с Тобой. Слов нет. Да и разве есть такие, которые могли бы выразить весь этот ужас? Все слова пусты и бесцветны, даже оскорбительны рядом с тем глубоким горем, которое Ты несешь в себе!.. Твоя Таня Мироненко».

«О моя родная! Как успокоить, залечить твою боль? Ведь Колина смерть — это что-то ужасное, болезненное. Это подействовало не только на нас, но на всех девушек сельхозколонны. Все сильно переживают и жалеют Колю. Все его знали по сцене и любили. И кто же мог Колю не знать? Разве можно забыть его басни? А ваш отрывок

из «Баядерки»? Надолго все это останется в памяти. Жаль, что его талант не успел подышать вольным воздухом и остался в закрытом мире... Твоя Вика».

«Твоя Леля», «Ваша Ревекка», «Твоя Мира», Катя, Агата, Вика, Алексей, Жора... Писали едва овладевшие русским языком литовские и латышские девочки — друзья. Семнадцатилетняя литовка Броня, сердечно откликнувшаяся на мою беду, через пару лет не выдержала своей и повесилась. Приходили письма от совсем незнакомых людей.

Дарья Васильевна долго писала мне. Потом писем не стало. На мои никто не отзывался.

Хелла находила меня на кладбище. Приходила с вилкой и банкой консервов. Заставляла:

— Поешь! Или я лягу тут и умру. Моя Томика, ты ведь не хочешь этого? А я — запросто. Мой сын, моя сестра в другой стране. И я никогда их не увижу. Мой муж расстрелян. И виновата в этом я. Как жить будем, Томика? Надо ли?

Неподдельность участия и боли удержали, помогли остаться жить.

ГЛАВА XII

Штат микуньской железнодорожной поликлиники, в которой мы с Хеллой работали, наполовину состоял из выпускников ленинградских медицинских вузов. От Ленинграда до Коми АССР езды было чуть более суток. А броня на ленинградскую площадь давалась. Поэтому при распределении на эти точки молодые врачи охотно соглашались.

Чтобы иметь полный комплект документов для суда и взять сына, мне нужны были хотя бы девять метров площади и прописка.

— Не вам же, бывшим заключенным, я буду выделять жилье, когда мне надо расселить ленинградских специалистов, — отвечала на наши с Хеллой просьбы начальник лечебного отделения Денисенко. — Фонды ограничены.

Да, фонды были малы. Но от того, сумею я добыть жилье или нет, зависела жизнь. Из мизерной зарплаты выкроить хоть что-то на оплату частной комнаты было попросту невозможно. По тем временам мы с Хеллой получали по тридцать два рубля.

В поисках выхода из положения я добилась разрешения на работу по совместительству. Второй работой стала должность лаборантки. Прибавилось еще тридцать два рубля.

Рабочий паровозного депо, недавно построивший дом, искал квартирантку. Отец, мать и пятилетняя девочка.

Я въехала в пустую квадратную комнату с двумя выходившими прямо в лес окнами. Сбила из досок топчан, установила его на два кругляша. Бывалый чемодан привычно обратила в стол. И впервые за много лет закрыла за собой дверь.

Даже недобрая жуть шумевших за окном елей не показалась тогда враждебной: «Здесь поставлю кровать Юрика. Сумею посте-

пенно купить и белье, и посуду. Все начинают с нуля». Однако, узнав, что я из «бывших», хозяева стали выказывать мне всяческое недоброежелательство. На попытки завоевать их расположение не отзывались. А я прилагала к тому немалые старания.

— Давайте я помогу вам распилить дрова, — и брала другой конец пилы у хозяина.

— Я наношу воды в бочку! — предупредительно спешила я взять ведро.

Пилила. Носила. Но молодым, здоровым хозяевам часто плакавшая жиличка без имущества пришлось «поперек нутра».

— Что это вы тут все пишете? — спросила меня как-то хозяйка.

— Письма.

— Столько? Так вроде не бывает. Что-то другое, наверное?

Раздражение хозяев нарастало. И очень быстро все разрешилось. Рано утром ко мне в комнату зашла их пятилетняя девочка.

— Иди ко мне, Катенька, давай с тобой нарисуем наш дом и белку.

Держа палец во рту, девочка не двигалась, рассматривала меня:

— Убирайся от нас! Ты — нищая. А нам голо-во-дранки не нужны!

— Съезжайте от нас. Нам комната нужна. Родственники приезжают, — подвели вечером черту взрослые.

Так я снова вернулась к Шпаковым на кухню, где с благодарностью за приют продолжала обитать Хелла.

Повсеместно, на службе и в быту, естественное стремление сравняться с людьми, с которыми мы работали, разбивалось вдребезги о добротное сработанное клеймо: «лагерник», «бывший».

Некоторые из сослуживцев откровенно сторонились нас с Хеллой. Не многие из молодых врачей безбоязненно пошли навстречу дружеским отношениям.

Особенно близко мы сошлись в ту пору с детским врачом Ритой Д. С черными блестящими глазами, она была самой отважной и жизнелюбивой. Но вот, заметив, что Рита Д. не разговаривает с такой же, как она, молоденькой выпускницей, врачом-окулистом Калининой, я спросила:

— Поссорились? Из-за чего?

— Из-за вас, — после некоторого колебания ответила Рита.

— Что так?..

Симпатизирующие мне высказались так: раз освободилась — теперь, «как все». У доктора Калининой родной брат служил в архангельском НКВД. Она была подкованнее прочих и в подобных вопросах разбиралась лучше.

«Она — как все? — И врач-окулист, говорят, поводила указательным пальчиком слева-направо. — Никогда не будет — как все! Навсегда останется чужой! Пятна этого ей не смыть! И никогда она полноправной в нашей жизни не будет».

Зловещее пророчество хорошенькой чревовещательницы на неофитов произвело впечатление. Испугал и тон. В сознании «небывших»

по отношению к нам были возведены частоколы не ниже лагерных. В быту это называли «неопубликованной гражданской войной».

Все, что касалось сына, продолжало быть не мыслью, не тоской, а изныванием.

Принудить начальницу лечообъединения дать мне жилье я власти не имела. Искать другое место службы не решалась. Без разбору бралась за любые командировки, только бы проехать через Вельск, увидеть и обнять сына.

Я писала обоим Бахаревым, то одному, то другому, выпрашивая сообщать мне о Юрочке. Регулярнее, чем он, отвечала она:

«Тамара Владиславовна! Получила ваше письмо, в котором просите меня написать вам о сыне. Мне, конечно, не трудно, но мне категорически запретили писать вам, кто — вы знаете, не знаю, почему, но я тем не менее пишу вам...»

«Тамара Владиславовна, как только будет совсем тепло, обещаю привезти вам Юрика. Вы проведете с ним несколько часов. Я знаю, что «он» не позволит мне этого, но я это сделаю. Чтобы вы были абсолютно спокойны. В общем, не беспокойтесь, он одет, обут, пока я с ним...»

Я даже вычитывала искренность в обещании Веры Петровны привезти сына. И, сгребая наворот обстоятельств в клубок общей беды, давала себе зарок: «Я ей тоже дам возможность видеться с Юрочкой. Ведь она привязалась к нему».

Сына она не привезла. До объяснений, почему Филипп не разрешает отвечать мне на письма, додуматься надо было самой.

После продолжительного отмалчивания пришло письмо и от Филиппа:

«Милая Тамара! Пойми, одно искреннее молчание дороже 100 ложных писем. Не надо такой обиды: «Ты не пишешь потому, что я не могу жить без Юрика». Я тоже живу только для него. Он ни в чем не нуждается. Он — моя радость, моя надежда, моя мечта. За его счастье я готов отдать себя истерзать на куски. Прошу Тебя, не беспокойся, верь мне, думай хорошо. Ю. на глазах растет. Я наблюдаю, как он засыпает и как пробуждается. Мы рассматриваем букварь, который Ты прислала, но не заучиваем — еще рано.

О себе: сегодня еду в Печору. Из Печоры дам Тебе телеграмму, чтобы Ты вышла к поезду. Тамара! Родная моя! У Тебя прекрасный ум и чудесное чутье. Пойми меня. Если поймешь — будешь спокойна. Жди телеграммы. Т.! Я все такой же. Филипп».

Что именно следовало в нем «понять»? От чего возможно было стать «спокойной»? И все-таки лояльным обращением, апелляцией к чутью, письмо, в самом деле, вселяло надежду на мирное разрешение.

Через несколько дней от Филиппа пришла телеграмма. Я встретила его.

— Решил сойти. Через пять часов будет следующий поезд, — объяснил он. — Покажи, где ты живешь?

— Живу вместе с Хеллой. Она после ночного дежурства отдыхает. Пойдем в поликлинику, — насочинила я.

Он зашел в амбулаторию, где были знакомые врачи. В частности, бактериолог Белик, у которого я работала лаборанткой.

— Как тут Тамара Владиславовна? — спросил его Филипп.

Уверенный, что совершает богоугодное дело, Белик начал меня расхваливать:

— Пообещала отыскать под микроскопом возбудителя, которого мне не посчастливилось увидеть за сорокалетнюю практику. Так, представьте, на днях зовет: «Посмотрите!»

В недобром, холодном тоне Филиппа не содержалось, кажется, и доли иронии, когда он сказал:

— Да? Она страшновата своими талантами!

«Что он имеет в виду? — поразила я. — Вера Петровна рассказывала ему о том, как я при встречах вызываю у сына радость? Или то, что я все-таки выкарабкалась и работаю не только санитаркой, но и лаборанткой?»

Я вдруг впервые поняла: я боюсь его, а Филипп боится меня. И когда поняла это, страх не убавился. Только возрос.

Когда я перед освобождением сказала ему, что приеду за сыном, то удивилась его двусмысленному «посмотрим». Но он знал, что отвечал, провидя долготельство Зла, господству которого я была обязана нищетой, тем, что до сих пор жила на кухне у чужих людей и под угрозой повторного ареста.

Мы сели на скамью возле поликлиники. Казалось, сам воздух жестенел в его присутствии. Слова его — одно. Он сам — другое. Непостижимым образом этот чуждый человек когда-то был моей защитой.

— Расскажи, как ты живешь, — повернулся он ко мне.

— Тебя интересует, как я устроена? С работой все хорошо. У меня их — две. Скоро обещают дать отдельную комнату, — сказала я как можно увереннее. — Как только получу, приеду за Юрочкой. Надеюсь, мы сами решим это все?

— Знаю, что приедешь. Но пока тебе некуда его забирать. Я знаю, как и где ты живешь. У меня он пока ни в чем не нуждается. Ни в питании, ни в уходе, ни в удовольствиях. И он привык к этому. Он — смысл моей жизни. Но я обещал тебе, что все будет хорошо. И сейчас повторю: все будет хорошо.

— Ты говоришь обо мне сыну? Ты как-то все объясняешь ему? Он спрашивает что-нибудь обо мне?

— Ну, он же еще просто мал для таких вопросов. Не надо пока ничем отягощать его детскую душу.

— Разумеется, отягощать не надо. Но все-таки когда-нибудь он что-то спрашивает. Как и что ты ему отвечаешь?

— Успокойся. И ни о чем не тревожься.

— Мне невыносимо плохо без сына.

— Понимаю.

Ощущая непроходимую между нами пропасть, а точнее, открытую рану, по краям которой мы были расположены друг против друга,

балансируя на грани мира и войны, я неожиданно для самой себя задала едва ли не самый неуместный из всех вопросов:

— Скажи, чего тебе во мне не хватало?

То была отчаянная потребность хоть как-то пробиться к его истинной сути. Он сглотнул, помолчал.

— Боже, какой ты задала вопрос!

— Чего же?

— Я не верил, что ты будешь меня любить.

Возможно, и впрямь среди лицемерного речеведения Филипп на сей раз простодушно оговорился эгоистичной правдой.

Он уехал. Из карусели искренности и увертливости я хотела извлечь точный ответ на вопрос: «Зачем он приезжал? Удостовериться в том, что у меня нет угла? Понять степень моей готовности к суду?»

Мысль то была ответом или ощущение — не знаю, но это промелькнуло, как холодный отблеск чего-то непререкаемого: он приезжал меня убить!

В поездах на отрезке Микунь — Княж-Погост я встречала «прекрасных дам тридцать седьмого года», скинувших бушлаты три года назад.

Лица их год от года становились суровее, утрачивали подвижность. Они нередко держали в руках железные совки для мусора, ведра, кочергу, другие скобяные товары. Размахнуться на подарок побогаче возможностей не имели, а предназначались эти дары на новоселье счастливым, получившим наконец жилплощадь.

Было в этой картине нечто хватающее за горло.

Мы перекидывались вопросами: «Целы пока? Кого еще взяли? Известно ли что-нибудь о Тамаре Цулукидзе, про Ерухимовича?»

Княж-погостское кладбище оставалось для меня местом постоянного притяжения. Каждый выходной день я ездила к Колюшке на могилу. Поставила ограду, крест. Высадила цветы. Уместила скамеечку. Подолгу сидела там, говорила с ним обо всем.

Был момент, когда я предлагала Колюшке вместе покончить счеты с жизнью. Он отговорил. Его самого не стало, а я — жила. Винилась теперь перед ним за это. Мысли о его тайном помысле бежать, о том, как его сердце сторе́ло, гнала прочь.

После кладбища я заходила в Княж-Погост к знакомым. Непременно — к Фире.

— Есть что-нибудь от Сени?

— Есть. Представляешь, куда его загнали? В Новосибирский край. Двести верст от железной дороги. Работает плотником в колхозе.

— Что же вы решили делать?

— Что тут решать? Пишет: как только займет крышу над головой, так вызовет нас с мамой. Поедем. Не пропадать же ему одному.

Для нас, теснимых официальной жизнью к некоей резервации, весь мир с его сдвигами был опрокинут в отношениях друг с другом.

— Фира, я видел, Тамара Владиславовна бежала к вам, — постучал в квартиру Илья Евсеевич. — Знаю, что ей неприятно меня видеть. Но мне необходимо с ней объясниться. Попросите ее выйти.

Он стоял у дерева в их дворе. Подавленный, искренний, каялся: «Простите меня. Симон был прав. Я вел себя, как подлец».

К концу разговора стало уже непонятно, кто мучитель, а кто — жертва, кто больше располовинен: тот, кто тяготел к официальным нормам, или тот, кто, как я, этим пренебрегал. Мы помирились. Ссора была тяжела и мне.

Когда Симон не был в командировке, я заходила и к нему. Он встречал радушно:

— О-о! Кто пришел! Сейчас попьем чайку. Имеется московское печенье. А вас ждет упоительный подарок. Держите. Наслаждайтесь: «Сонеты Шекспира». Перевод Маршака. Нет, нет. Сидите. Царите. Приготовлю все сам.

— За стихи спасибо. Очень они нужны!.. А что это у вас за плакат: «Уважаемые товарищи воры! — читала я. — Берите все, что понравится. Убедительно прошу не трогать книги. С. К.».

Он смеялся:

— Оставляю сие прошение, когда убываю в Москву.

— Помогает?

— Представьте — да! Рубашки забрали. А книги не тронули.

— Друг мой, вы непобедимы.

— Нет, дорогая моя, победим, победим!

Симон благополучно вояжировал. Выезжая из Москвы в Княж-Погост, обычно давал телеграмму. Я в Микуни выходила к поезду, который стоял здесь пятнадцать минут. Симон успевал пересказать московские новости, пару остроумных анекдотов.

В очередной раз я ожидала прибытия московского экспресса. — Смотрел потрясающий спектакль в Театре имени Ермоловой о Пушкине с Якутом — чудо-актером в роли поэта, — рассказывал он. — Удалось, наконец, купить «Опасные связи», книгу, за которой гонялся года три. А это вам небольшой презент, — протянул он флакон духов.

И только когда к составу подцепляли паровоз, посерьезнев, Симон потерянно улыбнулся:

— Знаете, дорогая, я, кажется, еду прямехонько волку в пасть. Командировку прервал подозрительный вызов, смахивающий на ловушку.

— Что вы?.. Может, тогда не возвращаться?

— А как? Куда? Будь что будет. Если что, пусть хоть вас обойдет это лихо! — договаривал он уже с подножки вагона.

— Обещайте, что пришлете телеграмму! Буду волноваться! Буду жда-а-ать телеграммы! — кричала я вдогонку уходящему составу.

«Неужели и его арестуют?» — думала, шагая по шпалам.

Арестовали! Тут же! Едва он прибыл в Княж-Погост!

Еще с Урдомской колонны в течение всех этих лет он был верным другом. Вовремя бил тревогу, предостерегал, обвинял

Филиппа, помогал в самое тяжелое время Колюшкиной болезни. Умел посмеяться над тем, что того стоило. Никогда не докучал излияниями. Никого ничем не обременял.

Всех подмели. Власть боялась своих жертв. Их количество и нахождение в обозримом пространстве лишали ее комфорта. Припадочный политический смерч в злобном неистовстве подхватывал оставшихся «отсидевших», поднимал их над землей, как подсохшие листья, и сносил в необжитые края страны.

Наконец-то нам на двоих с Хеллой вручили ордер на одиннадцатиметровую комнату.

— Что ж, пока не арестовали, поспим на собственных топчанах, — приободряли мы друг друга.

Быт свой устраивали «из ничего»: фанера, козлы. Купили чайник, две кружки. Марля сошла за гардинное полотно. Что значит вдвоём поесть? Не знали такого. Забыли, что существует «второе блюдо». В наш рацион входили суп, чай с хлебом и с сахаром. Все.

Это только кажется, что боль в глубинах души спит. Она там зреет и набухает. Именно теперь, очутившись вдвоем в одной комнате, мы поняли до конца, что общая судьба личной беды не умеряет. На людях мы держались. Очутившись под собственной крышей, впервые отпустили себя. И что же? Мы были просто больны.

Приходя с работы, я шла на кухню вскипятить чай, а вернувшись в комнату, заставала Хеллу стоящей на коленях, уткнувшейся в подушку и истязавшую себя надсадными рыданиями. Чай остывал. Бессильные помочь друг другу, ни вместе, ни порознь мы не справлялись с собой.

Без вещей Хелла жить могла. Без своих друзей — нет. Тем более без Александра Осиповича. Мятежная, необузданная, она не умела ни ждать, ни терпеть. Диктаторский, бурный настрой порой принимал угрожающие формы. С ней бывало нелегко.

Она называла меня: «Свет! Светлана!» — и отводила мне роль подопечной. Но у каждого из нас были свои, непохожие желания, чудачества и цели. Моя самостоятельность была помехой в отношениях.

Я любила Хеллу больше, чем она меня. Любила ее за нее самое. Никто не был так одинок, как она, моя Хелла. Даже ее чужестранной красоты никто здесь не понимал. А значит, и не говорил, как она красива. Вечерами она иногда исчезала. Я находила ее на платформе нашей убогой железнодорожной станции.

— Вы хотите куда-то поехать, Хелли?

Она отвечала по-немецки: «Gehen die Lieder nach Hause» — «Песни идут домой!» Это из Гейне.

Хелла грезила дорогой в Прагу.

— Попозже! Потом! — уговаривала я ее. — А пока пойдем в этот наш дом.

«Моя Чехословакия! Моя Прага!» — то и дело говорила она. Читала всем стихи Иржи Волькера, посмертные письма Юлиуса Фучика. Выписывала десятки их сборников, рассылала друзьям. Если не хватало, переписывала от руки. Гордилась всем, что касалось ее Отечества. И никогда не чаяла туда попасть.

— Должно же быть кому-то из нас полюбше, Томик! — сказала она. — Поезжай за Юрочкой. Я отбываю в Сыктывкар. Там Шань и Борис Крейцер. Погошу у Беловых. Они единственная счастливая пара среди всех. Ольга Викторовна давно зовет к ним приехать. Дальше посмотрим, как сложится. Не пиши в заявлении, что я прописана, пусть для суда комната числится твоей.

Документы для суда были собраны.

Перед поездкой в Вельск, наверное, от волнения и лихорадки, мне в этой комнате виделся не сегодняшний мой пятилетний сынишка, а годовалый, каким он был в Межогое, в серенькой кофточке с зайчиком, которая ему была так к лицу.

Я летала на крыльях. Что-то притаскивала, устраивала. Наконец! Наконец!

Перед встречей с Бахаревыми нервничала так, что земля уходила из-под ног. Чем ближе к встрече, тем туманнее представляла, как сложится разговор с ними, какие их аргументы придется отражать. Но как бы там ни было, состояться эта схватка должна была. У меня теперь имелось все: воля, работа, комната. Телеграммы в Вельск я посылать не стала и, приехав туда, пошла прямо в поликлинику, где работала Вера Петровна. Решила говорить с ней первой в надежде на материнское союзничество.

На работе ее не оказалось. Сказали: «Больше здесь не работает». Направилась к ним домой. Открыл незнакомый мужчина:

— Они выехали отсюда.

— Куда?

— Не осведомлен.

«Куда выехали?» Переехали? Куда? Я не могла взять в толк.

Побежала к урдомской знакомой, у которой останавливалась при возвращении из Ленинграда: «Где они?»

— Неужели ничего вам не написали? Одним духом снялись с места и уехали.

— Как снялись? Куда уехали?

— Не знаю. Попробуйте сходить к Николаю Николаевичу. Они ведь дружили. А может, Федосов в курсе?

Те мотали головами: «Не знаем».

Кто-то из них дошел со мной до милиции. «Они не выписались!» — ответили там.

Кидалась куда-то еще. Никто ничего прояснить не мог. У Капы собрались какие-то люди. Из хора голосов вырывались отдельные:

— Он не хотел, чтобы у сына мать была бывшая зечка.

— Сами-то что? Не сидели, что ли?

— Он давно себе документы отладил.

— Это ж воровство! Украсть у матери ребенка.

— Да он все равно весь суд здесь подкупил. Видели мы все. Сама-то ведь мать, у-у, матерая баба...

Казалось, все не на самом деле. Сейчас разъяснится. Где-то лежит письмо. Его принесут. В нем что-то такое...

Если взять и поверить, что они расчетливо, обдуманно скрылись, украли моего сына, следующей минуты не должно было быть!

Когда Бахарев в Микуни успокаивал: «Я обещал и обещаю: все будет хорошо. Будь спокойна!» — мелькнуло ощущение, что он приезжал убить меня. Совершенное ими было адекватно убийству... И только ему. Моего мальчика увезли. Украли моего сына.

Только позже, когда я сумела хоть как-то вырваться из западни личных драм в объективное, поняла, как вся мерзость бессовестного времени сполна отлилась в Бахаревых. Вседозволенность. Ложь. Поворовывание. Умерщвление всех нажитых людьми за века чувств порядочности. Всего вообще, кроме животного эгоизма.

Я тратила силы на страх. Они — на точный расчет и сноровку. Я, чтоб только сохранить, тряслась и перепрыгивала при обысках в зоне письма-заверения, почитая их за человеческий документ. Они в это время за деньги обеспечивали себя подложными справками не подвергавшихся аресту людей.

Оказавшись лицом к лицу с их поступком, я осознала себя кустарем, отключенным от происходившего вокруг не на семь лагерных лет, а кажется, на целую эпоху.

Полагаясь на опыт розыска Колюшкиной мамы, я не сомневалась в том, что Бахаревых найду. Упрямо, бесславно искала!

Переправы с обрыва всех чувств и надежд в живую жизнь вроде бы не существовало. Но Богом были вживлены разного рода задачи, потребность исполнять долги и любовь к друзьям.

Когда умер Коля, окружающие слышали мою боль. Участие людей продержало. Теперь обостренный внутренний слух к бедам и несчастьям друзей стал бродом для меня.

Беловы, которых Хелла назвала «самой счастливой парой», в день ее приезда в Сыктывкар попали в автомобильную катастрофу. Ольга Викторовна Жерве скончалась на месте аварии. Хелла осталась там выхаживать покалеченного Ивана Георгиевича.

В страшном письме, где она все это описывала, была приписка: «Приезжай! Мы все потрясены тем, что сделали с Юрочкой и с тобой. Надо быть вместе. Нас здесь «могучая кучка». Ждем тебя».

Я и так кидалась из одного места в другое. На несколько дней метнулась к ним.

Неутешный Иван Георгиевич провидчески говорил:

— Мне недолго осталось жить. Олечка ждет меня там. Знаю, потеряв Колю и сына, вы, как никто, понимаете меня.

Я в самом деле была лишь «пониманием» и больше ничем.

В Сыктывкаре мы подолгу беседовали с отзывчивым Шанем. — Жить смогу только на родине, в Китае! Трудно мне здесь. — Верите, что когда-нибудь там окажетесь? — спросила я. Он кивал:

— Верю! Не удивляйтесь: верю, верю.

Я не стала спрашивать: «Каким образом, Шань? Такого случиться не может! Ни Хелле, ни вам своей родины не видать».

Иногда являлась мысль: а люди ли мы? Или что-то другое? Переживаем вторичные аресты, ссылки, утрату родины, своих детей, узнаем, что к подследственным применяли химию, в немецких лагерях — облучали, и доживаем притом отдельные судьбы в какой-то непонятной простоте; тянемся к разуму и теплу. Мощь жизни повсеместно предьявляла себя. По-божески ли человек отстраивал себя, прояснял каждый случай отдельно.

Письмо прекрасной Марго одно из внятных доказательств того, что может человек найти в самом себе, из чего творит основание жизни.

«Хороший Томик! Ваше письмо, как неожиданная ласточка в самую лютую зиму, нашло меня здесь.

Прибыв в Кылтово в твердой уверенности получить место придурка, я должна была получить очередной щелчок по носу, как это было на центральной. Проклятье над моей статьей. Нерадостное и так настроение было подавлено сознанием безысходности. Но работа подняла самочувствие. Я нашла привлекательность именно в массовой, дружной работе. Мне вспомнились пирамиды Египта. И бывали минуты, когда, стоя у края поля, уже нами «побежденного», у меня почему-то начинало сильно биться сердце и даже слезы навертывались на глаза в каком-то восхищении перед «оравой», перед общим трудом.

Потом я прочла у Станиславского «открытие давно известных истин» из «Моей жизни в искусстве». Он пишет о телесной свободе, экономии сил, об отсутствии всякого мышечного напряжения. Я использовала этот совет для себя. Пример: я несу носилки вместе с глиной (на носилках глины больше, чем у всех товарок, в 2 раза) — напряжены только грудные мышцы, руки только слегка ведут ручки носилок, а ноги идут, легко пружиня, как в танце. Я люблю свои руки, свои ноги, которые хорошо минуют скользкие щепы, легко идут под гору, по доскам над говорливой речушкой. Все тело отдыхает, и только в те минуты, когда этого требует необходимость, я напрягаю какой-нибудь мускул. Только таким путем я ни капли не устаю, а душа моя пылает каким-то озорством. Понятно, Томик? Разве нужно меня жалеть? Я — отличник производства. 130 процентов — мои! Коштер и отдых мне не нужны. Таким путем я свободна! Свободна! Моя статья больше не помеха, черт возьми! Без интриг, без просьб, без всякого того многого, что в лагере необходимо для получения места придурка.

Томик! Вы понимаете, как я счастлива в своей свободе, которой я добилась сама?..»

Человека обращали лицом вспять, насильно гнали к пещере, а ему удавалось рабский труд (я, разумеется, не имею в виду

ужаса рудников, шахт и «общих» работ тридцать седьмого года) превратить в повод «открыть себя» как внутренне свободную личность.

Являлась возможность любоваться неповторимой способностью каждого одолевать свою беду.

В детстве мне снился дышащий иероглиф, напоминавший схваченные между собой буквы «Ф» и «Ж». В более поздние годы преследовал другой: вдвинутые одна в другую железные конструкции из скрученных, фабричной выделки прутьев. Кроме этих кубических бесстрастных совмещений в пространстве — больше ничего. Конструкции ужасали прочностью и голостью, бесчувствием и неизносимостью. «Гляди, — словно говорил сон, — это линия твоей судьбы». Но мне было невозможно смотреть на разграфленные железные предназначения. Вытолкнутая из сна смертельной тоской, я, бывало, долго не могла успокоиться. Лучше уж пусть на эти бесстрастные, неумолимые стропила будут навешаны страдания, мука и боль, но только бы видеть цветение, сверкание росы, краски земли и неба...

Отбыв около двух месяцев следствия в тюрьме, пройдя через серию допросов, Симон был выслан в Печору. Как загнанный, метался там в одиночестве.

«Родная моя! Не выйдете ли Вы за меня замуж? Прошу Вас, тщательно подумайте и взвесьте все «pro» и «contra». Прибавьте к «contra» мою последнюю конфузцию и решите сердцем и разумом «да» или «нет», — просил он. — Только ради Бога никаких объяснительно-утешительных писем, если «нет». Прошу Вас телеграфом сообщить Ваше решение и когда Вы сможете приехать в Печору, если «да».

Сейчас 4 утра. Недавно прошла сильная гроза. Сейчас тишина, хорошо и легко дышится. Посылаю вам стихи одного известного поэта, которые я немного изменил, испортив ритм в угоду послегрозовому настроению:

Там, где берег пустынен и крут,
Где дороги кругом стерегут,
Поселюсь над рекой в тихом доме,
Как в старинном нечитаном томе...

В этот дом я тебя допущу,
Ты заплачешь — и я загрущу,
Засмеешься — и я засмеюсь,
И с Тобой ничего не боюсь...

Обнимаю Вас, моя родная. Остаюсь навечно вашим другом независимо от вашего «нет» или «да». Симон».

То был крик. Другу было скверно. Вместо того чтобы дать телеграмму, пошагала на вокзал, взяла билет до Печоры, дабы он увидел и понял: сердце мое смерзлось и не знает, оживет ли когда-нибудь для любви и семейной жизни. Колюшка из него не уходил.

Я в то время чуть ли не ежемесячно получала предложения выйти замуж. Одинокие мужчины надеялись таким образом спастись от удушья одиночества. И когда из Княж-Погоста приехал просить моей руки гривастый скептик Ф-г, стало ясно, что тоске сдалась сама Ироничность.

Но Симон — не Ф-г, не другие знакомые, милые или не слишком. Он стоял на платформе. У появившейся с деревянным ящиком торговки, в котором рядком стояли баночки с блеклыми северными цветами, он скупил все оптом и преподнес их мне. Посмотрев в глаза, сказал:

— Все-то я понял, моя дорогая. И больше о том говорить не станем. Так тому и быть. А теперь — здравствуйте! Какой же вы молодец, что доставили радость видеть вас!

Дом деревянный. Ветер колотился о расхлябанные ставни, скобки которых не то что скрипели — стонали. В небольшой его комнате висели полки, перегруженные книгами и папками. На стене висел мой портрет, переснятый с маленькой фотографии.

Хозяин дома готовил ужин, чай.

Здесь, в Печоре, ожидал еще один горький «сюрприз». За ужином Симон начал:

— Вы ведь знаете, как мы всегда с Ильей... ну, мягко говоря, схватывались. А сейчас ему худо. Потому прошу вас, будьте с ним помягче.

— Разве он здесь? Тоже арест и ссылка? — поразила я.

— Именно!

Илья Евсеевич уже стучал в дверь и выговаривал Симону:

— Сидите вдвоем? Чай распиваете? А я? А меня? Почему не сообщили, каким поездом она приезжает? Симон, я вам больше не верю!

После освобождения, отдав свои пять вольных отпусков второму институту, который он решил закончить, Илья только успел получить диплом, как тут же был вторично арестован и выслан в Печору.

Интеллигентность надо было истребить, как несъедобную для власти материю.

В печорской встрече втроем наличествовал и неутихающий словесный бунт против насилия, и душевное тепло, к которому так одинаково все стремятся. Илья целыми абзацами цитировал Библию. Набрасывали контуры предполагаемого будущего, которого быть не могло... но все же... Предоставив в мое распоряжение комнату Симона, мужчины ушли к Илье. Ветер и стонущие ставни не давали уснуть.

В Микунь меня провожали оба. Одаривали словами, придуманными в ссылочном одиночестве. На вокзале рыскали оперативники. Кто-то опять бежал. Искали. Теми же щупами протыкали наваленный в хопперы антрацит.

Возвратившись в Микунь, я тут же получила телеграмму:

«Не огорчайтесь родная тепла безмолвного оставили больше чем везли молвного остальное что женщина решает сердцем всегда верно обнимаю чудесного моего друга Симон».

В том, как по-язычески мы цепляли тогда боль одного к несчастью другого, была некая тайная тяга к весу, чтобы всей массой противостоять Злу, стаскивающему нас с условных и приблизительных точек опоры.

Мы в письмах возвеличивали друг друга и вырастали при этом сами. Становились друг для друга сестрами, братьями, любимыми, священниками и судьями. Пиететное отношение к страданиям каждого из друзей строило тот особый лад отношений, в котором не было места обману.

Такой вот мы, оттертые от общества особи, отыскивали для себя способ жизнеизвлечения. Ухватившись за небо, как-то ходили по земле. Одни — для кое-какой еще жизни, другие — уже в предсмертье.

С крайнего озера, из «Золотой тайги» писал человек, действительно пронесший ко мне любовь через многие годы жизни, которому досталась мученическая доля, — Платон Романович. Тот самый, из прежней ленинградской жизни, с которым мы позже встретились в лагере. После повторного ареста он очутился в особо жестокой ссылке.

«Ну, представь себе: в доме нас живет 9 работяг и одна уборщица. Пока ты в помещении, еще ничего, но как только вышел на двор... Дом наш один. Кругом сопки и тайга. Сам прииск — скопище двадцати-тридцати бараков в трех километрах от нас. Там магазин, школа, почта, приисковые мастерские. Есть река, сейчас занесенная снегом, покрытая льдом. Название очень странное — Юнашино. Раз в месяц привозят кино. Но после рабочего дня и пройденных туда, в тайгу, восьми километров отмеривать еще шесть не всегда хочется. Вот жизнь, в которую меня погрузили».

Платон Романович спрашивал в письмах: «Кто тебе пилит дрова? Кто растапливает печь? Кто носит воду?»

Заноса сама над очередным поленом топор, я веселее их колола, потому что заботливые слова вырывались из сердца любящего человека. Свыше посланные в жизнь, влюбленность и любовь друзей держали, как ничто другое.

«Милый, незабываемый друг! Трудно писать, откровенно скажу — плачу. Плачу от той бесконечной радости, которую ты доставляешь своими письмами. Без конца перечитываю строки, которые вселяют жажду жизни, которые именно сейчас так нужны. Друг мой единственный, настоящий, ведь только ты одна понимаешь и знаешь меня, мое сокровенное. Никто, никогда так, как ты, не постигал всего. Я боготворю тебя. Ты — мой кумир, и я стою перед тобой на коленях, благодарю за дружбу, которую ты даришь. Карточка твоя всегда передо мной. И сейчас: встаю ли я или ложусь усталый — улыбка твоя со мной. У карточки всегда цветы, знакомые, дикие, северные, но по-своему чудесные, с незнакомым ранее ароматом. Мне осталось немного жить... живу надеждой, что мы еще увидимся и мне будет хорошо умирать, после того как я увижу тебя. Живу тобой. Схожу с ума в тоске. Любимая, далекая, родная Тамусенька. Я одинок и останусь таким до конца. Никто, это

безусловно, не мог бы мне дать то, что могла бы ты. Молю тебя, хоть редко, но пиши. Твои письма — нектар Божий...»

Одиночество. Воспаленные листки. И — смерть. Платон Романович вскоре умер там же, на приисках.

Сооружая всякий материк культуры из человеческих возможностей, извлеченных не только из души, но из спинного мозга, мы добирались до Бога, но еще не до самых глубин себя. «Материк», подобно журавлиному клину, отлетал, когда надо было решать сугубо внутренние задачи. («Не можешь так жить? Изменись сама!»). Как всегда, в кризисные минуты Александр Осипович подсказывал путь для движения в себе и теперь:

«Меня и раньше угнетало, что Ты так болезненно не веришь в себя и себе. И теперь, после того что у Тебя украли сына, то же самое.

Понимаешь, Тамарочка, как бы нас ни захватывало то, что идет от «чувства локтя» в самом глубоком смысле, это, по существу, не дает ощущения личной полноценности, потому что и радость, и свободное дыхание приходят от растворенности, а все истинно творческое — в собранности. А если так, то всякий критерий самооценки тут неминуемо относителен, поверхностен, очень ломок и держится не на творческом, а на психологическом.

Ты же не заподозришь меня в желании обесценить то, что в творческой личности может родиться от поточности, от стихийного, от сознания своего участия в истории?

Пойми меня до конца. Это очень важно. Проблема полноценности — самая сложная, хрупкая, самая антиномичная из всех проблем, встречающихся в биографии Человека, и тут опасность примирения в себе во что бы то ни стало вредна людям огромного масштаба. Это трагедия многих биографий, трагедия неизбывная. Некоторых биопсихологические факторы плюс бессознательная трусость перед безысходностью (тоже пусть бессознательной) толкают к примитиву, прелесть которого в аксиоматичности. В той или иной степени каждая творческая личность в чем-то не выдерживает и сдает, принимая иногда спад за взлет. В этом своего рода самозащита...»

Александр Осипович был, как всегда, прав. «Чувство локтя» — только поддержка; сознание полноценности происходит от «творческой собранности», а не от сознания «участия» в поточности, стихийности и в дружеской «растворенности».

И все-таки я самозащищалась тем и так, как тому помогала жизнь. Хваталась за друзей, за то же «чувство локтя». «Собранностью» была потребность стать опорой для других. Проблема «сознания полноценности» оставалась горячей.

На микуньскую колонну по наряду привезли Бориса Маевского. Срок его заканчивался через три года. Как художник и скульптор он должен был оформить Дом культуры, который здесь строился

управлением железной дороги. От зоны, в которой его поместили, до работы он получил право вольного хождения.

«Наша дружба тише и зачарованнее, сокровеннее и чутче всех близостей, — определял позже Борис наши отношения. — Ведь то, что она дает, оборвись это даже неделю назад или вчера, осталось бы навсегда самым человеческим, напряженным, толкающим в сердце и предельно честным».

«Тихой» нашу дружбу назвать было нельзя, но ее трепет, ее смысл, заблуждения и перепады глубоко вошли в жизнь. Мы были друг для друга средой, союзниками, тягачами и оппонентами.

В тот период появилась уйма переводных романов. Книги Говарда Фаста, «Седьмой крест» Анны Зегерс, «Тропкою грома» Абрахамса, другие. Застенки. Дискриминация. Чья-то настоящая потребность покалечить, уничтожить и разможить гармонию и целостность. Казалось, все тут про нас, про воздух, которым мы дышим в XX веке, и, выходит, про общую мирскую боль и драму человечества.

Я была захвачена правдой жизни бесстрашной зарубежной литературы. После наших лакированных повестей даже ее натурализм был необычайно полезен. Со всей страстью пытливости ринулась я тогда из своей запертости в этот открывшийся планетарный мир. В литературных судьбах досматривала пути и беспутье борьбы с социальным злом и личным несчастьем. Это был именно прорыв. И помогли тому Борис, подаренный им приемник «Рекорд», оживлявший ночные часы голосами и музыкой разных стран, и книги.

«Прочла? Ну как?.. И — мне... И я!..» — вот те ежедневные беглые слова, которыми мы с Борисом успевали перекинуться, встречаясь утром на перекрестке, когда я шла на свою работу из дома, а он на свою — из зоны. Поделиться впечатлениями от книг, картин, музыки было так же важно, как увидеть и прочесть. Впрочем, нет. Рассказать о том в письме — важнее, несмотря на то что различение выявляло органическую разность. «Возвращаю «Тропкою грома» с глубокой благодарностью. Талантлив автор, зорок, богат сердцем, но в решении книги крепко и обидно ошибся, — рецензировал Борис прочитанное. — Хочется верить, что жизнь подскажет ему для новых книг такие же яркие, но не задушенные случайной трагедией звучания».

С присущим для него всепоглощающим оптимизмом Борис за просто называл трагедию века случайной. История, по Борису, была права. В том, что нажитый социально-исторический опыт приведет к «государству Солнца», о котором мечтал его любимый Томмазо Кампанелла, он не сомневался. (Книгу эту, написанную автором, проведшим двадцать пять лет в темницах инквизиции, он особенно выделял.) Рассуждения о социальных изуверствах Борис называл «коллекционированием нарушающих гармонию исключений». (Сюда сваливалась и наша судьба.) И логически заключал:

«Из произвольного набора редкостей не рождается представление о целом. Редкое в системе познаваемого не дает материала для обобщений, а обобщение — первая и основная функция мышления...

Главная идея жизни человеческой — в душевном единении с народом».

На множестве исписанных тетрадных листков этой мысли отводило главное место. «Байрон погиб за новую Элладу». Жизнь Шевченко, Федотова, Софьи Ковалевской, многих и многих других служила доказательством в пользу победы творческого начала над каверзами и надругательством общественного строя. Главное — возможности человека. Ориентироваться следует только на них. Борис и в лагере оставался чистой воды советским романтиком.

Не в пример моей приверженности к прошлому, он превыше всего чтит настоящий день. В его феноменальном трудолюбии, в свойствах таланта была потребность отзываться на то, что происходит в данный, текущий момент. Мразь и дрянь он тут же «накалывал» карикатурой. По поводу любой политической сенсации мог к вечеру написать злой фельетон. И в этой своей «зашоренной» страсти к Настоящему был одинок.

Бездну энергии он расходовал на то, чтобы призвать меня в союзники, увлечь в Сегодня. Почин был заразителен и кое-что сдвинул с места.

В общем, с Борисом вошли в жизнь отношения, объема которых я и сейчас не подыщу имени. Историю этих отношений вернее будет назвать борьбой. Долгой и несправедливой то по отношению к нему, то — ко мне. Я во многом изувечила его душу. Он сумел «восстать», все одолеть. Высшие силы должны знать, сколько в этом моей вины, сколько беды.

Я находилась в тисках своей боли и своих несчастий. Ничего поделаться с собой не могла. А Борис считал, что я сплю долгим, непозволительно затяжным сном, что меня необходимо пробудить, вытащить, заставить дышать в полную меру и силу.

В чем-то он был прав, но даже когда я обретала способность понимать это, прислушивалась, внимала его молодому пафосу и пыталась следовать его советам, все получалось вкривь и вкось.

Беда заключалась в том, что он не желал вникать в то, что произошло со мной после кражи сына, и не верил в то, что Коля был для меня единствен. Не мог и не хотел верить в это.

«Никогда, никогда, никогда не поверю, что высшее счастье, на которое ты способна, было тогда и осталось там. И потому нелепость, который год так связывающую и делящую нас, остается объяснить неумеренным мудрствованием двух запойных интеллектуалов и тем извечным, обо что разбился Владимир Владимович и тысячи рядовых обывателей, — бытом, случайностью факта. Однажды в Межог приехал не я. И только. Шутка Времени! Я никогда не боялся твоей трудности, хотя испытал ее, может, больше других. Ну а все-таки, тяжкая ты временно или навсегда? Надеюсь, что временно. Быт тебя не баловал, так избаловало с лихвой поклонение близких (лысого друга в том числе).

Мой-то ведь путь во всех случаях легче — я, правда, плебей, грубоватый счастливчик с массой дрянных допусков и неизменным рублем жизнелюбия в кармане. И никакие бочки дегтя не перебьют

мне медовый вкус жизни. Ты же умеешь и хочешь жить трудно. Так вот и сумей, отодвинь обиду на меня за прямое слово о Коле и взглядишь в этот год свой. Понимаешь, дико же, действительно, чтобы я тебе рассказывал, что ты чувствовала к этому мягкому юноше с большим талантом.

Мне больно от каждого своего царапающего тебя слова. Но кто скажет, если я не скажу? Я уверен. Прости. Ваша разлука и неожиданность упавшей беды, жуткие ее формы — извечная вина Остающегося перед Уходящим. Привычное сердечное благоговение перед гибелью, тяга к горьким глубинам души. Поэзия и мистика тишины как прибежище в поединке с жизнью, с судьбой, наконец. Лишенность ярких свободных дорог в сегодня — все чередой толкало, вело тебя к сотворению легенды...»

Борис грубо дотрагивался до неприкосновенного, до того, что было и оставалось только моей тайной.

Он жаждал тепла, простоты, но хотел он это признавать или нет, мое сердце оставалось с Колей. Я просила меня не торопить. Мне надо было выздороветь в тишине и во времени. Мне никогда не хватало последнего. Всегда что-то сбивало с ног. Я устала от атак. Оледенела от бесцеремонности. Борис в самоотречении соглашался: «Да, дружба! Я — твой друг», однако тут же срывался. Понимание, что он любит, страдание за него сменялись порой чуть ли не враждебностью. Ненависть вспыхивала и в нем.

«Что ты делаешь, Тамара? Ты понимаешь, что ты делаешь? — начинал он бить меня в письмах. — ...Чужая Тамара. Нелепая Тамара. Механическая, железно-одичалая Тамара. Откуда ты приходишь, холодно-сумасшедшая Тамара, не моего мира, не моей любви, недобрая, ненавистная, мучающая и мучающаяся, та, которой всегда жажду помочь и всегда в кровь разбиваю себе морду, с корнем срываю ногти? Та Тамара, что с безобразным хладнокровием робота топчет сердце, отданное ей во владение и под защиту...»

«Откуда приходишь?» — ответ был вряд ли нужен. Приходила из таких глубин боли, о которых он ничего не хотел знать.

Мы были ровесниками. А принадлежали к в чем-то разным поколениям. Нужнее и понятнее мне было то, что открывал Александр Осипович, объясняя, откуда проистекает чувство «собственной полноценности». Борис оспаривал его доводы, как нечто принципиально неверное, пытаясь доказать, что сознание «социальной полноценности» куда важнее «собственной»:

«Ясно, что никакое чувство одинокой силы, собранной «в себе», несравнимо в радости и творческих возможностях с чувством включенности в силы общие. Внутренняя отдельность враждебна творчеству. Внешняя — преодолима и не все определяет собой...»

Письма его были искренни, горячи, актуальны. Соблазнительно было ощущать себя «включенной» в общее. Ведь мир действительно обязан был принадлежать тридцатилетним. Нам. Даже здесь.

В переписке с Александром Осиповичем и Борисом я ощущала себя разной. Контрольное чувство регистрировало наличие двух языков, двух разных измерений, удивляло: и это — я, и то?

Александр Осиповичу, оставшемуся главным человеком жизни, я писала освобожденно, просто. Борису писала та, которая могла бы и порой страстно хотела быть воспарившей над своим грузом, если бы намеревалась предаться сиюминутному, современному, без «вечного». Возможно, разность в возрасте двух адресатов определяла это двуединство, а может, загадка того, как мироощущение одного человека проявляет другого. Во всяком случае, сама я переносила это раздвоение так, словно уличала себя во лжи.

В одной из болезненнейших схваток, происходивших в закоулке поселочной улицы, зимой, впотьмах, при его возвращении в зону, в злом отмщении Борис бросил:

— А ты знаешь, что мы с Александром Осиповичем давали друг другу читать твои письма?

Самое важное, долго-долго державшее меня, святое — Александр Осипович — покачнулось. Занести на это руку? Посягнуть на последнее, что у меня оставалось? И веря, и не веря сказанному, я взвилась:

— Не смей! Не тронь! Не дам! Не верю! Неправда!

— Да? Тебе иллюзии нужны? Уютик душевный? Правды не любим? Не хотим ее?

И Борис сек и сек хлыстом по единственному моему небу, на которое я еще молилась, и... рассек, хотя я еще кричала:

— Ложь! Ложь! Ложь!

Двое сорвавшихся с цепи людей рассчитывались друг с другом за вселенское зло, которым были скручены оба.

Под перемигивающимися звездами, стоя там, в закоулке, на морозе, мы хрипло выкрикивали разное обидное из своей сердечной засухи.

От бессилия что-то во мне сместить, прорваться в душу Борис упал на мерзлую землю, молотя кулаками по корке льда: «Каменная! Непробиваемая!» А я, исполненная чувства правоты, не обернувшись, уходила: «Скорей отсюда! Мне больно! У меня темно в глазах!»

Когда через короткое время отпустило, слынуло безумие собственной боли, обожгла его боль, ударило его отчаяние, его непонимание, кинулась обратно. Помочь. Сказать: «Наша мука едина, Боря! Так не надо, так нельзя».

Дорога была пустынна. Вокруг ни души. Заглядывая за штабеля дров, добежала до зоны. Всеми клетками существа своего ощущала, как ему там, за проволокой, плохо. Села за письмо: «Что это с нами такое?»

Борис понимал, что был жесток. Он и тогда, и позже не оставлял попыток объясниться по этому поводу. Неловко писал:

«Так вот. Даже на фоне тогдашних моих убеждений обмен письмами и откровенностями о тебе с А. О. был явлением кратким и исключительным. Насколько глубока, тесна была наша с ним «враждующая близость», даже ты еще не знаешь. Но еще больше была нужда понять тебя, помочь тебе, увести тебя из состояния тех лет, защитить от его (да, да, все-таки именно его) мировоззрения. Забавно, что от него я не скрывал и этой своей цели. Уровень наших отношений, нас троих, казался мне достаточно высоким для

такого необычного способа «искренности втроем». И были минуты такой тоски о тебе, такого недоумения, возмущения и нужды, что мне казалось: да будь твоя душа книгой, запертой в стальном сейфе под охраной, я, не позволив бы себе задуматься, убил бы часового, взломал бы замок и украл ее, чтоб прочесть, понять, вырвать мучительно мешающие, ложные, на мой взгляд, страницы и, вписав новые, вернуть тебе, как будто ничего не случилось. Ну понятно же, все это ужасно неверно. А на мой нынешний взгляд просто преступно, но это же я говорю, как было, как два рафинированных умника самовластно поделились подарками твоей души. Оба для «блага», которое каждый понимал по-своему, и оба вопреки твоей воле...»

Ну, а Александр Осипович? Мой прекрасный, высокий Учитель? Как мог он? И мог ли?

Не тогда — сразу, а позже я спросила его об этом в письме. Он ответил:

«...Сказать, что не читал — ты пойми: это было бы ему оскорбительно. Во мне была великая жалость (отвратительное и чувство и слово), но и нежность, потому что чувствовал, как он любит, и доверие к этой любви (помнишь: «Борису верь»). Я вернул ему тетрадь, но мы ничего не говорили. Я сумел отделаться неопределенными междометиями, вроде «Да!», «Тамара же!». Он был, конечно, убежден, что я прочел. И все. Пойми: ты во все годы нашей жизни была для меня святой во всем. И никогда, даже в самом начале, даже в Княж-Погосте, в Межого, не могло быть, просто не могло быть ничего от намека на предательство. Ты пишешь: «Если Вы это сделали, то так было нужно. Это продиктовано чем-то, чего я еще не поняла, но это от доброго!» Нет! Нет! Нет! Вечная моя, единственная. Никогда предательство не бывает «от доброго». Я бы просто не мог жить, конкретно, человечески не мог бы, если бы во всем всегда не был бы чист перед тобой. Не мог бы от презрения к себе...

Твой АГ.

Я как-то получила от него непривычно для него названные «Ламентабельные (то есть Жалобные) вирши».

Не избежать нам вечных перемен:
Где билась жизнь, там неминуем глеч.
От Времени тускнеет лик камен,
От Времени крошатся обелиски,
От Времени теряет крепость виски,
От Времени когда-то очень близкий,
Проверенный на испытаньях друг
Ненужным делается вдруг...

Я помню письма с ласковым приветом,
Хотя по некоторым явственным приметам
Они служили только рикошетом,
И выброшенный ныне вместе с тарой
Не более, не менее как Тамарой,
И жизнь влачу и немощный, и старый,
Обросший мохом и седой утес
От Времени свалился под откос.

АГ.

С каким простодушием говорилось в этих строчках о той же потребности в верности, жажде быть единственным для души другого человека. Всех знобит в этом загадочном мироздании. Все мы так странно одиноки. Ищем. Требуем. Разбиваемся. Вновь тащимся своими окровавленными коридорами к Истине, Теплу, Нежности.

Измученного и больного Александра Осиповича тем временем отправили в этап на дальний Север «в лагеря особого режима».

Командировки в Ленинград оставались неизбывным искушением. Ленинград был иной — и биографической, и психологической территорией. Я постоянно стремилась туда.

Задания были нелегкими: отвезти детей железнодорожников в санаторий под Ленинградом или тяжелобольного на консультацию. Я бралась за все.

С больными детьми в дороге приходилось туго. Поднять и снять с полок, вывести строем погулять на больших станциях, покормить... Кто-то из ребят постарше убежал, прятался, а поезд вот-вот должен был отойти. Нередко пассажиры, сочувствуя мне, принимали участие в розыске детей, увещеваниях, уговаривали: «Поспите часок!»

Мне, и правда, начинало казаться, что мало-помалу я возвращаюсь в реальное сегодня страны.

Главным в Ленинграде было повидать сестру. Мне все в ней нравилось: улыбка, походка. Я верила, что растоплю ее ледок по отношению к себе.

В одном из разговоров Валечка ответила на несколько вопросов:

— Да. Люблю одного человека.

— А он?

— И он меня любит.

— Кто он, Валечка? Живет в Ленинграде?

— Нет, в Москве.

— Вы собираетесь пожениться?

— Нет.

— Почему?

Сестра замолчала.

— Ты не сказала, где он работает. Кто он?

— Служит в войсках МВД. В охране Кремля.

Вот оно что! Вот в чем дело! Все это время сестра подавляла в себе... Горечь? Досаду? Или более определенное и сильное чувство? Шутка ли: невеста охраняющего Кремль человека имеет родную сестру, отсидевшую семь лет по политической статье!

Перенесшая блокаду, мобилизованная из детдома на рытье газопровода, проживающая в общежитии на тычке, сестра не могла быть счастливой из-за меня! Новая проблема.

Подсказать, как устранишься из биографии сестры, не быть ей помехой, может, подумала я, сам Аркадий (так звали жениха сестры). Написала ему.

«С вашей стороны, — ответил он, — помочь ничем нельзя. И прошу убедительно, если не хотите сделать хуже, то не принимайте ничего... Может, я и сам как-нибудь выпутаюсь из этого».

Когда я приехала в Москву, жених сестры назначил мне встречу: — На Воробьевых горах. Согласны?

Склоны гор были захлавлены. Мы поднимались все выше, выше.

— Взгляните отсюда на Москву. Красиво? — спросил Аркадий.

Мне понравился подобранный, красивый молодой человек.

— Что же мы будем делать с родственниками, вроде меня? — начала я, приготовившись к откровенному разговору.

— Родственники как родственники, — отвел он такое начало. — А вы с Валюшей похожи.

Сестру Аркадий называл «Валюша», Сталина — «батей».

— Что надо сделать, Аркадий? — настаивала я на своем. — Скажите все, как думаете. Может, мне куда-нибудь уехать? Или вовсе — не быть?

— Так ведь и умри вы, так что? Ничего не изменится. Все равно надо будет в анкете писать, где умер и похоронен Валюшин отец, да та ее сестра, — спокойно рассудил Аркадий.

— Ну, где кто похоронен, писать, наверное, не обязательно?

— Ошибаетесь. Надо. Вы, видать, давно в руках анкеты не держали.

Я еще рассчитывала на конкретный совет, подсказку, что делать, но лейтенант неожиданно ответил:

— Не ломайте себе голову. Уйду я оттуда, и все!

— Как уйдете? Откуда уйдете? — опешила я от возможности столь простого решения и от душевной ясности этого человека.

— Не так это будет просто, но уйду с этой службы. Я люблю Валюшу.

Цельного и бесхитростного человека встретила моя сестра на своем пути. Он и ушел. И потом никогда в жизни ни в чем ни он, ни моя сестра не кривили душой, жили по совести, по достоинству. Возможно, потому и воспитали двоих прекрасных сыновей.

Приезжая в Ленинград, я жадно искала встреч и бесед с подругой Ниночкой, порывистой, своевольной — в юности и неизменно ровной, неуязвимо спокойной, как человек, нашедший свое в религии, — теперь.

— Помогите установиться. Никак не могу понять чего-то самого важного в жизни! Ведь для чего-то дан человеку разум?

— Ты должна понять, Тамуса, что от нас самих ничего не зависит.

— Совсем ничего? Все априорно назначено? И даже то, что у меня отняли сына?

— Понимаю: такое принять не просто. Но испытания посланы, чтобы что-то в нас изменить. Они указывают нам путь.

Не просто. Да.

Перелистывая ленинградскую телефонную книгу, я находила знакомые фамилии. О-о, вот семья Д. Детство. Карповка. Их квартира этажом выше над нами. До блеска натертые полы. Трапедия в дверном проеме. На письменном столе — микроскоп. «Мамочка! Можно я пойду к Леле и Вове?» — «Иди».

С Вовой мы встречались позже, когда он был студентом медицинского института, а я — студенткой института иностранных языков. Вова пророчил мне карьеру дипломата: «Будешь вторая Коллонтай!» В белые ночи мы наперегонки мчались на велосипедах. Мне хотелось яблоневою цветущую ветку. Он — мой рыцарь. Мое желание для него — закон.

А Лелю я после отъезда с Карповки не видела ни разу. В телефонную трубку услышала ее низковатый голос:

— С ума сойти, Томка! Откуда ты взялась? Где? Что? Хочу тебя видеть!

Боже, как хорошо, что кто-то ничегошеньки не знает про мое!

— А Вова в городе?

— Непременно ему позвони. Запиши номер. Он теперь живет отдельно. Один. Он знаешь как будет рад. И служебный запомни.

Я набрала служебный.

— Ты? Быть такого не может! Правда, ведь так не бывает! Я только вчера тебя вспоминал, — басил он. — Где ты? Немедленно давай твой адрес. После работы приеду. Это можно? Ты одна? Сейчас мне надо на операцию.

— Ты хирург?

— Все расскажу, когда увидимся. Адрес! Хочу тебя видеть, понимаешь?

— Звоню тебе перед отъездом. Сейчас уезжаю.

— Куда?

— На Север.

— Зачем на Север?

— Живу там. Приеду в следующий раз, тогда увидимся.

— Нет, нет, дай тогда северный адрес. Ты не замужем?.. Тогда я прикачу к тебе, идет?

— Я тебе напишу.

— Подожди. Не вешай трубку. Я должен тебя видеть. Дай слово, что напишешь.

— Слово!

Из Микуни я написала в нашу с ним юность. Вова откликнулся: «Тамара! Милая! Твое письмо обрадовало и ошеломило. Я даже не подозревал, что ты так тонко и чувственно воспринимаешь жизнь, так чудесно умешь передать это. От строчек повеяло теплом, лаской.

Жизнь, в общем, очень неуютная штука, и когда ощущаешь искренность порыва, то так и хочется поверить в то, что еще есть на свете хорошее, доброе, ласковое. Ты вся откуда-то издалека, из далекого светлого, словно голос юности.

Ведь бывает так: человек меняется, а ты его помнишь таким, каким он остался в памяти. А ты у меня в памяти вот такая:

красивая, с копной золотых волос, с чудесными сияющими зубами. На тебе белое платье. Мы идем с тобой по Каменно-островскому через мосты на острова. Огромную широкополую шляпу ты придерживаешь рукой, чтобы она не улетела под порывами ветра.

Встречные мужчины провожают тебя взглядом. Мне это льстит и одновременно пугает, чувствую себя как-то младше, теряюсь. Многое, непонятное мне тогда, — и атмосфера всеобщего обожания, и поклонники в изобилии — все это отдалило меня. Но я очень часто и тепло вспоминал тебя. А когда услышал голос, то неудержимо захотелось видеть тебя, говорить с тобой. Показалось, что ты наполнена хорошим, добрым чувством. Очень потянуло к тебе, захотелось сказать много хорошего, ласкового, но тебя ждал поезд, а меня — следующая операция.

Ты просишь, чтобы я написал о себе. Работаю хирургом и нейрохирургом в академии. Очень люблю свое дело. Пропадаю в клинике с утра до позднего вечера. Прошел войну, где и сформировался как человек.

Личное пошло комом. Не хочется об этом писать. Скажу только одно: благородные поступки иногда гораздо сильнее калечат жизнь, чем неблагоприятные, которые как-то сами по себе сглаживаются.

Когда же ты приедешь? Я так хочу тебя видеть. Пиши чаще. Не считайся письмами. Да, большой привет тебе от папы, мамы и Лели».

Письмо друга детства и юности взволновало необычайно. «Привет от папы, мамы и Лели». Еще бы! Они знали и помнили всю нашу семью, всех нас.

Итак, за ним — война, академия, научные работы. Для меня он — ярчайший полпред Сегодня. Какой же будет встреча? Как он отнесется ко всему, если я решусь рассказать?

— Встретимся в семь часов на площади Льва Толстого, на остановке, — было сказано мне в трубку, когда я оказалась снова в Ленинграде.

Площадь Льва Толстого? Она так много значила в моей жизни. Там первая моя школа... Тот странный, загадочный дом, в котором был когда-то кинотеатр «Элита», переименованный затем в «Резец», а позже в «Арс».

Глаза слепил мохнатый снег. Он валил и валил. Вова уже ждал. В военной шинели. Не дав опомниться, посадил тут же в подошедший трамвай:

— Едем ко мне!

Успела только заметить: уверенный в себе человек. Мало изменился внешне.

Дом его находился на Каменном острове. Окна комнаты выходили на один из рукавов Невы.

— Входи. Вот моя обитель. Подожди, зажгу свет. Давай пальто... Слушай, это чертовски здорово, что ты совсем не изменилась.

— Ладно, ладно. Меня вот снег совсем засыпал.

— А тебе снег идет!.. Знаешь, что самое удивительное? Ты жива, и я жив. И мы с тобой сегодня встретились. Куда же тебя усадить? Сюда!.. И вот тебе скамеечку под ноги.

— Я же не совсем еще старенькая.

— Ты вовсе даже совсем молоденькая. А скамеечка для того, чтобы тебе было ужасно как удобно. А подушечку вот так, чтоб уж совсем славно.

— Мне это может понравиться.

— Ну, то ли еще будет! Дай-ка все-таки разглядеть тебя как следует.

— Не надо бы.

— Молчи.. Сейчас приготовлю ужин. А ты слушай музыку, отдыхай и готовься рассказывать все по порядку.

Он убежал на кухню, собирал на стол, весело оглядывал меня.

— Сейчас все будет готово. Хочу тебя удивить. Удивлю!

В памяти Вова — трехлетний, пятилетний мальчуган. Затем юноша... Сейчас — это взрослый, возмужавший человек, не разрешающий себе помогать. Почему так не тяжело плечам? Где и когда я сбросила приросший к спине рюкзак с горем и обидами? Что это со мной? Я отдыхаю? Кто-то хлопчет рядом. Для меня? Ах Боже мой! Так бывает, наверное, когда неведомо каким образом перемещаешься с одной планеты на другую.

— Ужинать подано. Прошу.

А совсем не надо бы. Длеть бы и длить этот отлет, забиться в тепло и тишину. Пусть бы еще он долго-долго готовил ужин, а я отдыхала бы так, как давно-давно не случалось.

— Рассказывай. Все. Считай, что заполняешь белую страницу, — приказал он.

И я вдруг без всяких раздумий:

— Хорошо. Сначала ссылка — три года. Потом арест. Тюрьма. Лагерь — семь лет. Сейчас фактически тоже ссылка уже третий год. Все. А ты?

Долго длилась пауза. Впрочем, мне было все равно, как это будет принято.

Он медленно поднялся. Достал из шкафа плед. Бережно накинул его мне на плечи. Сел на скамеечку у ног:

— Ты — и ссылка? Ты — и тюрьма? И лагерь? И столько лет! Говори все!

— Ой как мне не хочется!

— Самое главное хотя бы.

— Главное сказала. О самом-самом ведь все равно не смогу.

— За что хотя бы?

— А если ни за что? Лучше бы ты не задавал такого вопроса. До него мне было так легко на сердце.

— Прости. Я неуклюжий и глупый болван. Прости.

— Как ты?

— Я что? Военно-медицинская академия. Фронт. Ленинградский. Ладога. «Дорога жизни». Операции, операции. Бомбежки. Кровь. Тонул. Ранен. Была неудачная женитьба. Сейчас один. Люблю

хирургию. Заканчиваю не первую научную работу. В Медицинской энциклопедии известному тебе имени отведен солидный абзац. Мне, знаешь, стало вдруг стыдно всего этого...

— Не смей так!

— Я тебе правду говорю. Мне, знаешь, казалось, что оттуда люди возвращаются инвалидами, с погасшим взглядом, озлобленные, жестокие. А у тебя?! У тебя так сияют глаза! Невозможно представить себе, как ты прошла все это. Не верится.

— Правда, не верится? Как хорошо! Мне неожиданно самой показалось, что этого и впрямь не было, что я могу еще захотеть жить.

— Ты могла бы все забыть?

— Нет. Без забвения, как-то... иначе...

Электроприборы — на дистанционном управлении. Сидя на месте, можно зажечь лампу у двери или у письменного стола, включить приемник.

— Ты сам это сделал?

— Один больной. После сложной, но удачной операции. Хочешь, я поставлю пластинку? Мою любимую!.. Знаешь, что это?

— Нет.

— Как?

— Так.

— Постой, постой! Все, что было за эти годы: фильмы, спектакли, музыка, книги — все прошло мимо тебя?

— Кроме кое-каких книг. Что ты так вдруг?

— Мне стало страшно.

— Чего?

— Мне показалось, что я тоже в чем-то виноват перед тобой.

— Это не так.

— Так. Именно так. А ты поймешь, если я скажу, что мне жаль, что я не прошел с тобой «этого» вместе?

— Не кощунствуй. Ты прошел войну. Не грехи.

— Да. Конечно. Но что-то осталось непонятым. Может, это можно было там допонять.

— У тебя есть счет к жизни?

— Я его никогда не оглашал. А сейчас... тебе... мог бы, наверное.

— Слушаю.

— Нет, не надо. Впрочем, хочешь, я что-то скажу?

— Говори.

— Мне хочется, чтобы ты никогда, никогда не уходила бы отсюда.

— Говори.

— Мне кажется, что и тебе этого хочется.

— Ты говори. Все равно этого не будет. Потому говори.

— Ты — радость. Сегодня я услышал, как снова может биться мое сердце.

Лоскут детства, молодости... Сиюминутное присутствие здесь, в родном городе, что и есть моя родина... Что-то такое давнее и теперешнее срastaются. Наконец-то. Бывает разве так?

На следующий день договорились встретиться днем у Медного всадника. Стояли предпраздничные ноябрьские дни. Был легкий морозец. Но Нева еще не замерзла. Входили корабли. Развешивали флаги, гирлянды. Город жил хлопотливыми заботами об убранстве. Вова заново открывал мне забытое. «Открывал» и меня.

— Ты чертовски умна. Ты чертовски богата. Не смей так щедро разбрасывать мысли, слова, чувства. Побереги.

— Для чего? Зачем?

— Не знаю, зачем. Не знаю, для чего. Но так нельзя. Ты сумасшедшая... Помнишь, что здесь? Дом ученых. Зайдем.

Заходили. Выныривали опять под снег.

— Обедать пойдем в Дом писателей... Не так. Пересядь сюда, — он сам выбрал столик. — Возле окна. Отсюда будешь видеть петербургские фонари. Смотри, как их раскачивает ветер.

Мы бежали за автобусом. На нас оглядывались.

В запасе у меня было еще два дня. И каждый свободный час мы проводили вместе.

Шестого ноября встретились у Летнего сада. Заснежено. Хорошо.

— Седьмого я дежурю в клинике. Обещай, что приедешь туда. Окна выходят прямо на Неву. Будем смотреть салют. Придешь? Слово?

Ни один из оттенков настроения не настораживал. Все отвечало мере желаемого. Только единожды, при прощании, мелькнуло в его глазах что-то трезвое. Я насторожилась. Он обернулся раз, другой, и я сказала себе: показалось.

К вечеру 7 ноября разгулялся снежный буран. Я пришла в назначенный час. Вова спускался по лестнице в вестибюль. Был в белом халате. В огромном кабинете, куда он провел, высоченные, с мраморными подоконниками окна действительно выходили на Неву.

Он указал на старинное резное, обитое кожей кресло:

— Не сердись, что я попросил тебя приехать в клинику?

— Я рада, что увидела место твоей работы. Здесь все так роскошно. И белый халат — официально.

— Я так и хотел, — после небольшой паузы сказал он.

Уже в следующую долю секунды я знала, что меня сейчас больно, даже слишком больно ударят. Хотелось заслониться. Но я спросила:

— Что хотел?

— Что?

— Что именно хотел? Что случилось?

— Так сразу?

— Угу.

— Сядь вон в то кресло. А я — здесь (расстояние во всю ширь кабинета). Я... Говорить все так, как есть?

— Конечно.

— Я не должен, не могу больше тебя видеть. Я знаю себя. Еще одна встреча, и я погиб.

— Погиб?

— Именно. В том смысле, что не смогу от тебя отказаться. Я и сейчас, и вчера, и сегодня как в лихорадке. Все время думал о тебе. Ты молчишь? Ведь понимаешь, что вопрос встанет так: или партбилет, клиника, научная работа, все, добытое целой жизнью, или ты.

...Когда я слышала похожие слова? Одно к одному. Ах да, сразу после папиного ареста. Только для разговора меня вызвал к Академии художеств слушатель Военно-морской академии Миша К. «Мне сказали, чтобы я выбирал: или вы, или академия». Не дав ему тогда договорить, наступила на последнюю фразу: «Вы правильно решили, Миша, академия!» — и умчалась. Я была к нему совершенно безразлична, а все равно было больно. Тогда был 1937 год. Теперь — 1952-й. И ничего не стронулось с места? Я повторила те же слова:

— Ты все правильно решил.

Действительно. Все верно. Самое смешное и на этот раз заключалось в том, что я-то ведь от друга детства ничего не хотела, я не намерена была вторгаться в его жизнь. Просто доверилась ему. Поверила, что теперь этот мир — мой и время — мое, что оно все-таки припасло для меня место. «Забылась!»

— Ты такая родная. В тебя облекся весь желанный мир, все, чего я жажду. В тот вечер, во все эти дни не было ни века, ни обстоятельств. А потом пришел час, и все углы стали резкими, четкими... Нет, подожди! Не уходи!

— Пусти! Ну, пусти же!

— Еще одну минуту. Можем же мы поговорить, как старые друзья?

— Ты и сказал все, как старый друг. Мы знаем друг друга с трехлетнего возраста.

— Что же нам делать?

— Ничего. Только так. Я на тебя ничуть не сержусь. Честное слово, я тебя понимаю. И трудно не потому, что так рассуждаешь ты. Не то... Я жизни открылась. Ее именем ты сейчас ударил меня. Вот и все.

На Литейном мосту ветер гнул, раздирал на части, сносил платок с головы. Палили ракетницы в честь 1917 года.

Очередную расправу с ненасытным интересом к движению жизни и жаждой включиться в ее ход я переносила трудно.

Вова прямодушно напомнил еще раз о социальном климате. Для «чистых» жизнь назначалась одна, для «нечистых» — иная. Удивительно, что это так навсегда.

Я в самом деле не винила друга детства. Но «окаянной выносливости» где-то надо было брать силы. Они же не возникали сами собой!

Происшедшим я поделилась с Борисом:

«Так-то обстоят дела с твоей проповедью о «социальной полноценности». Борис не сдавался:

«Может, тут пошутил Голсуорси? Но проблема «Флер — Джон» — никак не социальная. Так при чем же тут обречен-

ность? — защищал «сегодняшний» день Борис. — И если тут не Голсуорси, то, думаю, что только обаяние детства, память, отсвет салютов и голые нервы заставили тебя услышать в звяканье оловянного солдатика голос страны и народа, приняв частное за типичное...»

Микуньский Дом культуры, украшенный картинами, горельефами, скульптурами Бориса (все было сделано им одним), наконец открылся. Поселковое начальство решило организовать при нем музыкальный и театральный коллективы. Для вокального из Княж-Погоста пригласили Дмитрия Караяниди. Для театрального — Анну Абрамовну Берзину, жену Бруно Ясенского.

Умевшая быть беспощадной и язвительной, Анна Абрамовна многое презирала, жила с каким-то душевным отчаянием, даже вызовом. Опекая кого-нибудь, становилась нежной, исполненной участия, как это было с обаятельным, добрым и удивительно славным Сашенькой Жолондзем, которого она пригласила к себе в коллектив.

Анна Абрамовна пришла ко мне:

— Если будете играть у меня в спектаклях — соглашусь вести здесь театральный коллектив. Ну?

Времени у меня на это не было. Желания — тоже. Она уговаривала.

— Специально для вас найдем что-нибудь интересное. Ну, чем мне вас соблазнить? Хотите, кофточку свяжу? Научилась и делаю это неплохо, — добавила она с грубоватой шутливостью.

— Разве что за это... — поддержала я предложенный тон. — Ладно. Для начала. Однажды.

— Может, у вас есть что-нибудь готовое на открытие?

У меня лежала вырезанная из газеты поэма Геслера «Говорит мать». Выучить ее ничего не стоило. Анне Абрамовне идея пришлась по душе: «Прекрасно. Учтите. Включаю в программу».

А с Дмитрием нас связывали многолетнее приятие друг друга, дружба вчетвером: наша певица Инна, он, Колюшка и я.

В Баку, где он жил до ареста, Дима не стал возвращаться. Семья не сложилась. Если бы не сияющие, распахнутые глаза и умение самозабвенно рассмеяться чьей-то остроте, этого смуглого красивого человека можно было бы считать крайне скупым на проявление каких бы то ни было чувств. Я была рада его участвующимся приездам сюда. Он был первоклассным пианистом. Музыка и была его главной страстью. Особенно он любил Рахманинова и Шопена. После занятий, в ожидании поезда на Княж-Погост, он часто играл для себя. Я заходила послушать эти концерты без публики. Тайга, поселок, хмурое небо над ним «гляделись» после этого иначе.

На концерте, в день открытия Дома культуры, у меня, два года не выходившей на сцену, подкашивались ноги. Почти в беспомощности я начала читать:

У меня был сын,
маленький сын.
Золото нив,
небесная синь
и красные маки
в зеленых полях
отражались в веселых его глазах.
Цвета спелого колоса
были у мальчика волосы.
Он в кроватке сидит,
хлопочет.
Ручки тянутся к солнцу,
достать его хочет.
«Погоди, мой сынок, —
пела мальчику я, —
подрастешь —
вся вселенная
будет твоя..»

Я читала о том, как взрывом бомбы сын был убит, как родился второй, которого мать поклялась в этот раз не отдать войне, призывая к тому и других. Услышала захватывающую дух тишину, воцарившуюся в зале. Мне бурно аплодировали. Вызывали много раз. Что-то было сброшено, отдано, а забытое чувство высоты и полета куда-то еще несло.

У выхода со сцены Дмитрий меня задержал. Его глухой голос, взгляд многое сказали сами за себя. И я, наверное, ждала слов, подобных тем, что услышала:

— Сколько в вас сценического темперамента, сколько огня!..

В день рождения Сени Ерухимовича я на почте отправляла ему телеграмму.

— Кому пишете? — шепотом спросила меня соседка по дому, оказавшаяся рядом.

Вход в квартиры у нас с ней был разный, а стена между комнатами — общая. Я считала ее вполне «своей».

— Своему товарищу. В ссылку.

Поджав губы, она выразительно опустила глаза, но тут же подняла их и указала мне взглядом на дверь. Обождав, я вышла за ней на крыльцо поселковой почты.

— Прекратите переписку с ссыльными друзьями!

— Почему?

— Вы же умный человек. Немедленно порвите с ними. Послушайте меня.

С чувством исполненного долга она сошла с крыльца.

Дописав и отправив телеграмму в далекую новосибирскую деревню, я еще долго сидела на почте. Не хотелось никуда идти. Домой — тоже.

Это было явным предупреждением. Чему? Чего? Душа налилась изведенной мутью дурного предчувствия.

Из амбулатории все ушли. Я сидела в одном из освободившихся после врачебного приема кабинетов. Как медстатистик, кем теперь работала, я заканчивала годовой отчет по лечобъединению.

Неожиданно открылась дверь. Прежде чем я осознала, кто этот вошедший в кабинет человек, сердце схватило клешами.

Ежедневно проходя мимо одного из домов поселка, я видела, как он в галифе, нижней белой рубашке то колол дрова, то складывал их в штабеля или в форме гебиста закрывал за собой калитку, идя на работу... Арест?

Он по-хозяйски отодвинул стул и сел против меня:

— Завтра в восемь часов вам надлежит явиться в РО МГБ. Пока без вещей. Об этом никто не должен знать.

...Его уже давно не было, а я никоим образом не могла справиться с собой. Страх — отстоявшийся, ядовитый — заполнил меня всю. Я ничего так панически не боялась, как вызова в МГБ. Боялась — не то слово: теряла способность что-либо соображать. Все несчастья, все ужасы жизни исходили от МГБ: папин арест, беды семьи, вызовы подруг с вопросами обо мне, собственный арест, вызов Колюшки, повторные аресты и судьбы друзей.

Про себя-то я отлично знала: при всем пережитом тот самый-самый лагерный ужас — окровавленные трупы беглецов, опозоренные женские тела — меня обошел. И хотя это был еще не арест, сейчас, когда явился поселковый гебист, сказав: «Завтра в восемь. Пока без вещей», — он, этот ужас, меня настиг и пригвоздил! «Вот оно! То, чего я так боялась! Будут бить. Бить будут душу. И на этот раз добьют».

Пришли за ней, за душой. За тем, что им неподвластно и что составляло их извращенный, сладострастный интерес. Пришли за одною мною — лично. Я почувствовала: не вынесу. Не смогу. У меня нет воли! А без нее что делать? На что опереться? Борис проповедовал: человек должен быть управляемым механизмом. А я? Не отождествляя себя ни с разумом, ни с силой, до сих пор не знала, что я такое. Страх и растерянность — вот что я есть!

Дом РО МГБ, как и остальные в Микунь, одноэтажный, деревянный, только с решетками на окнах. За столом — пожилой, морщинистый начальник «учреждения». Над столом в раме — Сталин. Предложил сесть:

— Располагайтесь... Ну, как работается? Как живете?

— Хорошо.

— Правильно отвечаете. Хорошо, когда хорошо. Как относятся товарищи по работе?

— Хорошо.

— Знаем, что хорошо. Ну, а мы к вам как относимся?

— Не знаю.

— Вот тебе раз! В Ленинград сколько раз ездили? Мы вам препятствовали? Дали возможность? А могли бы ведь не разрешить? Как думаете?

— Наверное.

— То-то и оно. Значит, как относимся? Хорошо, значит. Доверяем. А мы разве каждому доверяем? Не-ет, далеко не всем доверяем. Так-то. Ну, а что вам там из Красноярского, Новосибирского пишут?

— Живут. Работают.

— Это понятно. У нас все работают. Все и должны работать. Скучают?

— Скучают.

— Ну, а сестрой, как, довольны остались? Вы сколько лет с ней не виделись? Вот встреча-то была, наверное... за душу хватала? Так?

— Так.

— А сильно вы прочли на концерте про мать. Мо-о-лодец! Артистка! Моя жена, так та всплакнула, знаете ли. И друзей у вас вон сколько. Любят вас люди. Писем-то вы тьму-тьмушую получаете.

Так, пробужкой, напомнили: все знаем! От нас ничего не скроешь. Все ведомо! Это — знакомо по следствию. Что будет дальше?

— Так, установили: мы к вам относимся хорошо. А если так, нам тоже следует ответить тем же. Надо и нам помочь. Ясно?

— Нет.

— А что непонятного? Каждый честный человек должен нам помогать. Если что — вовремя предупредить, заметить. Дать нам знать. Иначе пока нельзя. Не выходит.

— Если что... Я понимаю.

— Э-э, нет. Не по случаю. Тут у нас найдется кому предупредить и поставить в известность. Нам своевременно надо все знать и про людей, с которыми вы общаетесь, и про факты, и про настроение. Вот в чем надо помочь.

— Я этого не смогу.

— Торопиться-то не надо. Погодите. Сразу: «Не могу!» Грязная работа, так, что ли? Не для вас? Пусть другие?

— Я не могу! Поймите! Просто не могу!

— Видите, как у вас получается? Мы вам: здравствуйте, а вы нам спину показываете. Не выйдет. Не выйдет, говорю.

«Дружелюбный» тон сменило раздражение; за ним — угрозы.

— ...Эти мне беловшейки. Да мы вас...

— Что?.. Что вы — меня?

— А есть у нас лесопункты, верст эдак за триста от железной дороги. Слышали про такие? Там голова начинает соображать лучше, чем здесь. Только поздно бывает. Так-то. Подумайте обо всем. Вызову еще.

Следующий вызов и разговор отличало нагнетание угроз. Снова обещание повторить вызов.

С момента ареста в сознание было вколочено: решительно все, вплоть до самой жизни, находится в прямой зависимости не только от логики, но и от прихоти этого ведомства. Юридические права? Блеф. На МГБ осекается все.

На службе я теперь постоянно оглядывалась на дверь. Не стремилась домой. Никого не хотела видеть.

Борис не поверил в мое объяснение: больна.

— Что происходит? Прошу! Требую! Умоляю!

Ну и что, если запретили: «Никто не должен знать». Черт с ним, что «нельзя». Все одно—конец! Я рассказала ему.

— Они чем-то грозят?

— Ссылкой на лесопункт «верст за триста».

— И сделают это. Понимаешь?

— Лучше бы не понимала.

Борис испугался за меня. На следующее утро по дороге на работу вложил в руки письмо. Оно выдавало не меньшую растерянность:

«Надо спросить себя: неужели мои чувства, надежды мои не так горячи, чтобы убедить, вызвать кроху доверия и сочувствия в самом холодном человеке. Ведь какой бы машиной ни казался человек — не из жести и стекла он, где-то в нем нервы, чувства, сердце, где-то в нем то домашнее, что знает жена его, дочь, какие-то близкие ему люди. Так не может быть, чтобы со всей страстью человека, борющегося за жизнь, ты не прорвалась бы, не дотронулась бы до этого человеческого понимания. Это надо поставить себе первой задачей в предстоящем разговоре...»

Мой опыт был беспощаднее. Я ни на чью на свете милость не полагалась. Не верила. Разве не прошла я этот путь надежд «горящими ступнями», чтобы пробиться к человечности в Филиппе и Вере Петровне? Добралась я до этих чувств? Пожалели они? Пошадили? Наивная вера обернулась сознанием собственной вины, преступлением против самой себя и сына. Сердечной болью, горячностью чувств выправить кривду и разврат общества? Как юно, наивно. Я ведала грань, за которой из людей выделяют оборотней.

У Бориса в мастерской горел свет, когда я, не находя нигде места, обойдя Дом культуры со стороны леса, поднялась к нему:

— Что все-таки делать? Что?

Четче, чем в письме, была сформулирована еще одна возможность:

— Мы же, ей-Богу, не дураки, Том. Даже месяц в лесу, в волчьей дыре способен стать необратимым несчастьем. Ведь ты очутишься среди гадства! Да не будешь же ты доносить на кого-то! Глупо. Отработаешь нейтральные формулировки, где-то прикинешься дурочкой. Нельзя, чтобы тебя сгребли. Нельзя поднимать лапы. Поганю говорю! Понимаю! Но не сдаваться же им ни за грош. Дан же для чего-то ум человеку, право!.. Сообразим, подумаем...

Чтобы прижать к стене, при следующем вызове мне предъявлялся один «лавочный» счет за другим: за то, что меня не арестовали вторично и не выслали, как других, я обязана органам; за то, что получила комнату, — также; за то, что не уволили с работы, — им, а не кому-то.

Начальник РО МГБ сокращал «железной» логикой:

— Кто с вами разговаривает? Враг? Фашист? Кому вам предлагают помощь? Власти, которая вас защищает (защищает? меня?), которая хочет, чтобы ее народ жил и радостно трудился (для моей радости тоже?).

— Но я не могу о чем-то говорить с человеком, а потом доносить на него.

— Нам не нужны доносы! Шельмовать советских граждан мы сами не позволим! Разговор разговор у разный. Нам нужна объективная правда!

— Но вокруг меня нет антисоветски настроенных людей. Я таких не знаю.

— Вот оно что?! Поскромнее надо быть. Антисоветских людей нет, а заговоры врачей из воздуха берутся? Вы про свою подругу Д., к слову, все знаете? А?

— Она ничего предосудительного не делает и не говорит.

— Вот и защитите ее.

— От чего?

— А от своих же антисоветских разговоров с нею. Кто у вас зачинщик?

— Где? Когда?

— Не знаете, стало быть? Могу напомнить. Кто из вас о невинности Локшина плел? (Речь шла о недавно арестованном микуньском работнике амбулатории.) Очень горячо рассуждали. Не такой уж, значит, вы наш человек. Предъявить вам статью ничего не стоит. Что скажете? — лихо изменил он стратегию.

— За что статью?

— За это самое. За многие ваши высказывания. За связь с заключенным Маевским.

— Что значит «связь»?

— Связь и значит. Я к нему в мастерскую бегаю или вы? А ваша переписка с высланными о каких ваших настроениях говорит? Выбирайте, Петкевич. Или честная жизнь, чтоб мы вам верили, или — чужие нам не нужны.

— Я не чужой, — бестолково и жалко отбивалась я.

— Докажите. Делом. Слова нам не нужны. Мы без вас обойдемся. А вы — вряд ли. Лес предпочтаете? Он дощипает вас, как надо. Но и там распространяться против нашего строя мы вам не дадим.

Это я делала вид, что грязь и смрад повседневности меня не касаются. Даже медицинская практика ежедневно сталкивала с переломами и увечьями, со всем, что творила дикая энергия на подобных лесопунктах. Мозг отупел. Стиснутая со всех сторон дурным добытийным страхом перед неотвратимостью очутиться на лесопункте среди матерых, отпетых бандитов, я цеплялась за иллюзию возможного «выхода». «Погонщик» продолжал:

— Мы вам протягиваем руку. Хотим помочь жить молодому, энергичному человеку. От вас зависит подтвердить, наш вы или не наш человек.

— Я не могу!

— Значит, так: или — вот лист бумаги, или — идите домой и ждите.

Страх перед мраком в безголосом лесу смял. Малодушие победило. Я подписала бумагу.

Худшего не случилось. Так омерзительно и гадко не было никогда. Добили. Расплющили.

Все, за что я пряталась прежде, предстало бутафорией. Я очутилась Нигде! Там — худо! Попытки пробиться оттуда к свету ни к чему не приводили.

Сон выталкивал из себя. Меня куда-то тащили волоком через мертвую пустыню. Там приводили в чувство и говорили: «Смотри, как здесь «идейно»! Дыши!» Но я была умерщвлена.

Через два дня я попала в больницу. Лежала, отвернувшись к стене. И когда в палату кто-то зашедший окликнул меня по имени и отчеству, я не сразу поняла, что это приходивший в амбулаторию гебист.

— Не найдется ли у вас чего почитать? — обратился он. — Больно тут скучно лежать.

«Специально лечь в больницу, чтобы додушить? Садисты!»

Я попросила врача немедленно выписать меня.

Как в одиночке, за закрытой дверью своей комнаты я провела несколько похожих на слипшийся ком суток. Диких суток! «Я ли это? Что со мною? Смерти испугалась? Жить хочу? Чего еще жду? Какой жути недополучила?»

Я ощущала себя на том краю жизни, где обязан наконец определить: что есть ты сам? Именно — сам. Человек ты или нет? Или уводи себя из такой действительности, потому что смерть чище, или живи среди нечистот. Навсегда! Или ясность духа, или тьма.

Вслепую, спотыкаясь о десятки маленьких и больших страхов, один на один с высшим повелением, без посредников и спасителей, сравнивая себя со всеми Роксанами и «Нордами», которые доносили на меня, я на четвереньках выползала к свету, перемещаясь к самой себе, к собственной точке в пространстве, которую должна была ощутить единственным местом обитания. Сама ли я шла, была ли ведома Богом — не знаю, но почувствовала наконец, что готова все отринуть, все пропороть на своем пути, лишь бы ни клочка себя не отдать, не уступить никаким угрозам власти. Я не умела и не хотела становиться «умной» и ухищренной. Не имела права на тьму перед всем светлым, чего было немало в судьбе. Я просто-напросто не могла жить так, как «желало» МГБ, а не я сама.

Неукротимый порыв идти своей дорогой, какой бы она ни была, нестерпимый стыд за свою слабость перевесили унижающий страх. Оформились в волю: душу оставить своей. Без совладельцев!

Проснувшись ночью, я ощутила, как откуда-то прибывали и прибывали силы. Вскинувшись с постели, я стала вихрем кружиться по комнате, кружиться в инстинктивном первобытном танце без музыки, слившись с ритмами вселенной, в согласии с ними и с ней. С силой выбрасывая в стороны руки, рубила, крушила собственный страх. Всем существом созная, зачем человеку дан час рождения, зачем в него вселена душа.

Я наконец победила страх. Рассчиталась с ним. Это была первая и главная победа моей жизни.

Страх еще не раз душил и скашивал, сваливал, но его липкая, уничтожающая основа была замощена навсегда.

Теперь бы я могла ответить матери ленинградской подруги так и то, как она ожидала. Я знала, кого и что ненавижу. Знала нынче и другое: члөб не увязнуть в ненависти, о смерти надо думать как о неотъемлемой части существования.

Как могли сложиться с этим учреждением отношения теперь, я еще не представляла, но чувство свободы и собранности дали право смотреть на Божий свет.

Именно в этот вечер пришел незванным Дмитрий Караяниди. С шампанским, банкой консервированных ананасов.

— По какому случаю, Дима? Что за торжество?

— Так просто. Можно?

— Вчера — нет. Сегодня — да. Я рада вам. Даже очень и очень. В самом деле то был сюрприз.

Многолетняя, ясная наша дружба недавно споткнулась обо что-то смущающее. Он спрашивал, что со мной. Я рассказала: таскают в РО МГБ, хотя, чтоб я им «помогала». Замучили совсем.

Не слишком разговорчивый человек поддержал единственно нужными словами:

— Не бойтесь их! Даже если наганом станут грозить. Так они тоже умеют. Так было со мной. Но если сам человек не захочет, они ничего сделать не смогут. Стойте твердо на своем.

— А где вы были раньше, Дима?

Знал бы он, из какой я только что выползла ямы, как все изодрано внутри... и как все-таки хорошо жить на земле, ожидая каждый день рассвета с незамутненной совестью.

Но он это знал.

Я радовалась тому, что он в доме, так близко.

Однако, уходя, не поднимая глаз, он сказал нечто неожиданное:

— Я больше не приду никогда.

Разъяснений я не попросила.

Меня вызывали еще и еще. На мое: «Не стану! Не буду!» — тот же поток гнусных угроз.

— Сами запроситесь. Слушать не станем! Даю еще неделю. Вызовем.

Долго никто не вызывал. Зато на работе обстановка вокруг меня стала грозовой. Ни одной командировки не давали. Неожиданно пропал сделанный мною годовой отчет. Его нигде не удалось обнаружить. В приказе вынесли выговор.

Как-то поздно вечером меня вызвала Анна Абрамовна.

— Поговорим на улице. Объясните: что происходит? Директор Дома культуры наказал не занимать вас ни в концертах, ни в репетициях.

Я объяснила: вербуют.

— Мерзавцы! — возмутилась она. — Ах, какие мерзавцы! Держите с ними ухо востро.

Вскоре я почувствовала, что нахожусь вообще в полной изоляции. Бойкот. Ареста или повестки на выселение ждала каждый день.

Борис по дороге подбрасывал ответные письма:

«О каком «вот и все», о каком «конце» может идти речь? Еще не случилось. Еще не факт. Пока человек жив, пока есть у него завтра, до тех пор есть надежда, право и долг надеяться, драться за надежду, за уверенность и осуществление. Страшна только смерть».

Смерть — страшна. Конечно. Но я приручала себя к мысли о ней.

Когда после длительного перерыва меня вызвали опять, оказалось, что произошла смена руководства. За столом сидел новый начальник. После первых же фраз стало ясно, что прежний был лояльней.

Среди многих цветных папок он отыскал мою объемистую, синюю, начал ее перелистывать, реагируя кивком головы на чьи-то неизвестные мне умозаключения.

Переживая затянувшееся молчание, я смотрела на руки этого человека. Такими широченными и тяжеловесными выглядели его ржавые ногти на последних фалангах пальцев, что, казалось, каждый из них увенчан отдельной головой. Социальная сущность явственно была прописана во всем его облике. Представить историю «восхождения» этого человека не составляло труда. В тридцать седьмом году ходили осанистые, брезгливые энкаведешники с собаками, в зеленоватых габардиновых пальто. Тех сменили эдакие.

Разговор сразу принял неожиданный и крайне тяжелый поворот:

— Бахарев — это муж, значит?

— Нет.

— Ну сын-то от него?

— От него.

— Значит, муж. Как же это он с вами так поступил?

— Поступил.

— А что так скупо? Худо без сына? Ничего. Сына мы вам — в два счета... Отыщем... Ну, так как собираетесь жить, Петкевич?

— Я живу. Работаю.

— Ясно. Возились с вами долго. Времени потратили много. Будете нам помогать?

— Уже сказала: не буду.

— Хорошо себя проявите — пошлем учиться. Вы английский язык изучали? Поможем и в этом. И работа будет интересной, и жить станете иначе. В настоящую жизнь включитесь.

— Нет! Об этом больше говорить не будем. Я ясно сказала: не буду...

Меня еще один раз отпустили «на срок, подумать». На следующий раз, потеряв терпение, распоясавшийся новый начальник стал кричать:

— А нам легко? Вы что думаете, я сюда сам пришел? Больше ничего не умею? Меня партия призвала на этот пост. Сказала: ты здесь нужнее! Вот почему я здесь!

Он расхаживал по кабинету — «цельнокроенный», убежденный в своих правах и правоте.

— Сложь руки сидеть, понятно, проще!

— Я работаю!

— Слыхал. Одной вашей службы мало. Сегодня мир сложнее. За каждым кустом враг. Только и ждет нашей промашки. Это кому-то предотвращать надо?

Весь мир, в его представлении, находился в кулачном бою. Все дрались, кубарем катались, вцепившись друг другу в глотку. Он это понимал. Я — нет. Он свой долг выполнял, выкладывался до конца, был гражданином своей страны, а некоторые «безмозглые баронессы» били баклуши, занимались одной «брехней». С неприкрытой ненавистью глядя на меня, он наступал опять:

— Еще раз обращаюсь к вашей совести. Ну? Есть она у вас? Ну?

— Ведь я же сидела, в конце концов, Господи!

— Это нам и надо. Меньше подозрений будет, — обрадовался он вдруг. — О ваших, о таких нам более всего знать необходимо.

— Нет! Не могу! Еще раз говорю: не буду!

— Затвердила: не буду! — внезапно перешел он на «ты». — Ты мне в дочку годишься. Понимаешь ли, кому говоришь «нет»? Ты самому Сталину это говоришь. Вот он стоит на Красной площади, на трибуне, как в войну, обращается к народу: помогите, надо! А ты ему: «Не могу!» Что же получится, если ему все так отвечать станут? Тебе жизнь предлагают. Вместе со всеми быть предлагают. А ты? Твое дело — оправдать доверие, которое тебе оказывают. Тебе сына найти обещают. Ты человек вообще или нет?

Я была не человек. Исчадие боли. И он, в конце концов, не смел говорить со мной, как с детдомовским подростком. Не смел обещать, что за доноительство мне выдаст адрес сына. Но он не унимался, жал и жал:

— Ей говорят: сына найдем, а она...

Я не могла этого выдержать. Я его ненавидела! И я сорвалась. Я закричала:

— Не смейте! Не надо!

Что-то выкрикнув в ответ, начальник с силой хлопнул дверью и вышел, оставив меня одну в кабинете.

Постепенно успокоившись, я подумала: это не может быть просто вербовкой. Я им понадобилась, чтобы пробиться к кому-то конкретному именно через меня. Но какое мне до этого дело, «господа нелюди»?

Открытой на столе лежала папка — «собрание сочинений» доносов многих авторов на меня. Как и при аресте, меня выморачивали одиночеством. За спиной в уголья разваливались поленья, догоравшие в «голландке». На оконные стекла давил налетающий ветер. Домов через пятнадцать отсюда находилась моя комната. Лечь бы в постель и проснуться в другом веке, лучше — в прошлом...

От неожиданного дробного стука в окно вздрогнула. Встав и открыв дверь, крикнула:

— Здесь кого-то зовут!

Вернувшийся в кабинет начальник открыл форточку:

— Кто там?

— Я, сынок, уборщица со школы, — раздался оттуда масляный женский голос. — Там сейчас к учительше ейный заключенный хахаль пришел. В классе они. Без света сидеть. Третья дверь справа по коридору. Если сразу кого своих пошлете, так словите их на месте.

— Хорошо, мать. Спасибо, мать.

...Вот как мастерится подноготная этой жизни. Сознательные представители населения в ролях «матерей» и госчиновники — «сын-ки». «Пошлите! Словите!» Основы безбедного существования общества. Вот они!

— Ну? — кратко спросил начальник.

— Бесполезно.

— И я так думаю.

Он нажал на звонок под крышкой стола. Как во фрунзенской внутренней тюрьме, тут же вошел дежурный:

— Идем.

Это — мне? Ноги плохо слушались. Звенело в ушах. Открыли дверь в небольшой закуток. Закрыли. Теперь и вправду — все!

Села на лавку. Потом легла. Хотелось забыться, ничего не чувствовать. Как долго все это обматывало мутью, кружило. Через это прошли все: Семен, Илья, Тамара Цулукидзе, Симон, Мира, Алексей. У них так же заваливалось сердце... так же не было никого вокруг. От меня самой ничего не зависело.

— Так куда ее? — слышалось из-за двери.

Про меня?

— В путевом листе написано.

— Конвой вызывать?

— Давай, — юрко сновал челнок из слов между дежурным и кем-то еще.

Затем все стихло. На ручных часах стрелки показывали пять часов утра, когда загремели ключи.

— Выходи.

— Куда?

Указали на кабинет.

— Ну что? Будем кончать. Соглашаетесь с нами сотрудничать?

«Он, что же, сидел здесь всю ночь, этот нелобастый, рукастый начальник? Или выспался дома и пришел опять?»

— Нет! Делайте, что задумали. Я все сказала.

— Идите. Вызову еще.

Не доверяя этому «идите», шла к двери, спиной ожидая чего угодно.

Все внутри дрожало: не арестовали? Одной стороной дорога лепилась к поселку, другой была обращена к лесу. Густой молочный туман, исходивший из болота прилесья, рассасывался на глазах. Пели птицы. Квакали лягушки. Я не шла, ступала. Сейчас, сию минуту должно было, казалось, открыться нечто бесконечно важное. Сама Истина. Вот сейчас, в этом рассеивающемся тумане... в поселке Коми...

Почудилось почему-то там, в белесых испарениях, пять повешенных... Я шла и плакала, повторяла их имена. Все, что было с ними, после них и теперь, соединилось в одно. Я ощутила фантастическую связь всех жизней. И тех, великих, и отца, и собственной.

...Не успела я открыть дверь в квартиру, как тут же из своей комнаты выскочила соседка Фаня, работавшая в регистратуре, а за нею медсестра Анна Федоровна, непонятно почему оказавшаяся в гостях в столь ранний час. Обе были сильно пьяны. По одежде было видно: спать не ложились, глушили водку. Я обессиленно привалилась к притолоке. Опухшая от слез, рыжая, веснушчатая Фаня метеором слетала к себе в комнату, и обе, приставив мне ко рту стакан водки, заставили выпить.

— Думала, не увижу вас больше. Простите меня, я подлая, подлая! — запричитала Фаня.

Ах вот оно что! Ну конечно же. Вот откуда у них такая точность чисел и часов. Она давно приставлена ко мне. Потому и поселили вместе. Сколько же их было за жизнь? Серебряков, Роксана, «вторая подруга», Евгения Карловна в Джангиджире... Разве всех перечтешь? И я могла очутиться в их стане?

— Ладно, бедная Фаня, не плачь.

Хорошо, что не постеснялась попросить прощения.

Я с рюмкой-то водки не справлялась, а сейчас и стакан не подействовал. Голова оставалась пронзительно ясной.

Теперь, закрыв дверь, все надо было додумать до конца. Ни вызовов, ни вида этих пальцев с пугающе желтыми набалдашниками ногтей ни при каких обстоятельствах я больше видеть не могла. Паспорт? При мне. Трудовая книжка? Кого-нибудь попрошу выволить после. Вещички? Без них!

Не знала только — куда ехать. Не было и главного — денег. Где их взять?

В восемь утра Бориса выпускали из зоны. Вышла ему навстречу:

— Всю ночь продержали под арестом, якобы готовили к этапу. Больше не могу! Уезжаю.

— Уезжай! Уезжай! Деньги? Сейчас раздобуду. Принесу. Поезжай к моей маме. Там рассудите, как действовать дальше. Жди на станции со стороны леса, — поддержал обрадованный Борис.

Вручив мне деньги, помчался обратно в зону:

— Поезд идет мимо колонны. Провожу оттуда. Счастливо! До встречи на свободе. Уезжай! Не медли!

Все произошло с молниеносной быстротой. Не сама, а попавшегося на глаза знакомого осмотрительно попросила купить мне билет.

Поднявшись по ступенькам в подошедший к Микуни поезд, повернулась лицом к Княж-Погосту:

«Прости, Колюшка, родной, прости. Не сумела приехать проститься. Прощай, единственный! Прощай...»

Приткнувшись к железнодорожной станции микуньская колонна из тамбура вагона смотрелась аккуратным чертежом: квадрат зоны с вышками по углам, внутри — ряды прямоугольных барakov. Поскольку заключенных уже вывели на работу, в пустом зонном

пространстве между бараков стоял лишь один человек — Борис. Закинув голову, он в прощальном жесте вздернул обе руки, затем раскинул их. Фигура походила на распятие. Заклинательно-преданный порыв ударил в сердце.

Я бежала с Севера.

Совершала фактически то, что когда-то советовал сделать начальник колонны Малахов. С той трагической разницей, что бежала теперь не с сыном на руках, как он подсказывал, а без него.

Поезд шел на Москву. Я мучительно старалась сообразить: что потом?

Из открытки, полученной от Александра Осиповича в Микуни, стало известно, что из лагерей «особого режима» он имеет право писать только раз в полгода. Позже он сумел с нарочным переправить более обстоятельное письмо. Просил не волноваться о нем и как можно чаще писать. Рассказывал об интересном окружении. Были там математики, астроном, веривший в Бога, и митрополит, отрекшийся от Него. Вместе с Александром Осиповичем сидел поэт Ярослав Смеляков, имевший пятнадцать лет срока. От своего и его имени Александр Осипович просил, если я буду в Москве, навестить жену Смелякова Евдокию Васильевну, сообщить ей адрес мужа, если по каким-то причинам он до нее не дошел.

Меня мучило то, что я до сих пор не выполнила данного Александру Осиповичу обещания съездить к его жене Ольге Петровне. Из всех душевных долгов этот был первоочередным.

Купив теперь билет до Москвы, повидав мать Бориса и жену Смелякова, я хотела добраться до Ольги Петровны, которая жила в Одессе. Прямо ехать к ней не решилась. Взяла билет до Черновиц, куда меня давно приглашала работавшая до этого в микуньской амбулатории зубной врач Анночка Бородина.

Еще из Москвы я отправила Шпаковым в Микунь письмо, заявление с просьбой об увольнении, доверенность на получение причитающейся мне зарплаты и трудовой книжки, то есть всего необходимого для того, чтобы где-то обосноваться на жительство и службу.

Через полторы недели на Черновицком почтамте мне выдали письмо. Не из Микуни. Из Москвы от матери Бориса. Она сообщала: микуньским РО МГБ на меня объявлен всесоюзный розыск! На случай перлюстраций корреспонденции Шпаковы, извещая о дальнейшем, будут именовать меня в письмах «Ростислав», писала она.

Ужас. Он имеет множество ликов. В том, как за мной охотилось и расставляло капканы это ведомство, был захлеб оголтелой и примитивной мести: они прозевали мой отъезд.

Я не притрагивалась к еде. Не спала. Пять дней просидела, не выходя из квартиры Анны Емельяновны. Не выдержав самоза-

точения, нервы в конце концов взорвались. Поправ все на свете, я безрассудно пошла не куда-нибудь, а в кино. Затылком ощущала чей-то сверлящий взгляд, фильма не видела. Переждав, пока выйдет публика, мысленно смирившись с концом, направилась к выходу.

Во дворе кинотеатра поджидал высокого роста мужчина.

— Торопитесь? — спросил он.

Желая быть при аресте храброй, ответила:

— Нет.

— Тогда, может быть, пройдемся? Я покажу вам город.

«Он откровенно оговорился, что я нездешняя, разыскиваемая. Ошибки нет».

— Спасибо. — ответила я. — Я уже все в этом городе видела.

— А тюрьму? — спросил он, улыбнувшись.

— Тюрьму? Еще нет.

И я пошла с ним рядом.

Лишь по мере того, как он рассказывал о себе, я начала слышать и понимать, что этот человек отправил свою семью на курорт и «вот сейчас свободен». Он был даже остроумен. Все это уже походило не на драму, а на фарс. Только захлебнувшись в своем неумении плавать, человек совершает полезное движение. Поняв, что теряю разум, я утвердилась в бесповоротном решении: немедленно сесть в поезд, ехать в Москву. Прямо в Министерство ГБ. Выяснить наконец в их «головном центре», чего от меня хотят, что им нужно. Сказать, что не боюсь смерти, что, если меня не оставят в покое, я тут же кончу жизнь самоубийством.

Наивно? Конечно. Но!.. По тому, как успокоилась, поняла: верно! Другого выхода у меня нет.

Я ехала в ведомство, которое иссекло всю жизнь. И подумала: «В действительности все может случиться, а если же обойдется, то когда я еще окажусь в этих краях?» И перед «концом», не прячась, не таясь от «розыска», послушная сильному внутреннему толчку, я вышла из поезда на станции Раздельная, чтобы ехать в Одессу.

Разомлевшие от жары, одетые в яркие сарафаны, загорелые, смеющиеся одесские женщины показались диковинными, а жизнь южного города — ненормальной. Похоже, я была безнадежно больна, а эта жизнь — бессовестно здорова.

На дребезжащем одесском трамвае я доехала до улицы Павлова. Дверь в квартиру с нужным номером отыскала в подворотне давно не отремонтированного дома.

Ванда Разумовская, видевшая Ольгу Петровну на Севере, когда она приезжала на свидание к Александру Осиповичу, сказала однажды: «Эта дама в белых перчатках». Вспомнив об этом только сейчас, я, смущенная тем, что буду не способна к светскому общению, с замиранием сердца нажала на кнопку звонка

Дверь открылась не сразу, после щелчка. За ней никого не оказалось. Откуда-то сверху женский голос спросил:

— Кто там? Вам кого?

Оказывается, наверху нажимали на педаль, и дверь на первом этаже отворялась.

— Мне нужна Ольга Петровна, — сказала я.

— Она сейчас в Кишиневе, — ответили оттуда же. — Работает теперь там на «Молдовафильме» (а я ведь только что проезжала мимо Кишинева).

— Спасибо. Извините.

Я повернулась, чтобы уйти. Сверху опять окликнули:

— Вы не сказали, кто ее спрашивает. Как передать?

— Мое имя ей ничего не скажет. Она меня не знает.

— Минуточку, минуточку! Подождите.

Кто-то сверху начал спускаться. Появилась пожилая женщина с очень добрым лицом.

— Кто же все-таки? Я — сестра Ольги Петровны, Елена Петровна. А вы?

— Передайте: спрашивала Тамара Петкевич.

— Кто, кто? — женщина изумленно вскинула брови. — Тамара Петкевич? Вы и есть она? И что? Могли бы так взять и уйти? Кто ж так делает?

Я растерялась.

— Саша столько о вас писал! — качала головой Елена Петровна. — Так мы вас ждали! А она — уходить... Сейчас же поднимайтесь.

Я подчинилась повелительному тону. А Елена Петровна продолжала командовать:

— Наденьте эти туфли. Теперь познакомьтесь с нашей мамой. Ей девяносто пять лет. Зовем мы ее «Зайка». Садитесь на диван. Сейчас накормлю, пойду налью ванну, а пока она будет наполняться, спущусь вниз и дам Олюшке телеграмму, почта в нашем доме. Вот книга. Здесь ягоды, ешьте, отдыхайте.

Сама не знаю, почему, мне показалось в тот момент, что я каким-то чудом дошла до родного дома. Я страшно, невыносимо устала. И выбилась из сил.

Получив телеграмму, Ольга Петровна к вечеру уже примчалась в Одессу. На пороге появился светлый человек. Это было первым, побеждающим все остальное, впечатлением. Мне подумалось, что внешность ее придумана лишь для того, чтобы притушить строгостью сияние и теплоту.

От Александра Осиповича письма не приходили. Получал он от нее посылки на новый адрес или нет, Ольга Петровна не знала. Надеяться на послабление в лагерях «особого режима» не приходилось.

Ольга Петровна спрашивала об Александре Осиповиче. Я рассказывала. Какие там «белые перчатки»! Рядом сидел трепетный, отзывчивый человек. По профессии кинорежиссер, Ольга Петровна не отказалась от репрессированного мужа, как от нее того требовали. Ее ущемляли, притесняли. В конце концов она перевелась с Одесской киностудии на «Молдовафильм».

Сестры уговаривали меня погостить в Одессе, походить на пляж. О собственных обстоятельствах я ничего не рассказала, путано объяснила, что остаться не могу.

Под предлогом, что ей ничего не стоит закомпостировать билет, Ольга Петровна настояла на том, чтобы я отдала его ей. Когда же мы приехали на вокзал, сестры подвели меня к международному вагону (после телячьих-то, товарных).

— Это наш маленький подарок, — пояснила Ольга Петровна. — И поверьте, нам это нужнее, чем вам, так что не смущайтесь.

— А тебе не кажется, — указав на меня, обратилась в довершение ко всему Елена Петровна к Ольге Петровне, — что она наша младшенькая сестрица?

Я уезжала в свою «последнюю сватку» с чувством обретения особых, неожиданных ценностей — став «младшенькой сестрой» жены Александра Осиповича и Елены Петровны.

В Москве на Кузнецком мосту я заняла очередь в приемной МГБ.

Мне обязаны были наконец разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности, что приравнивает меня к особо важным преступникам, на которых объявляется всесоюзный розыск.

Мучило, что у них оставалось свидетельство моей паники и замешательства — подпись на их бумаге. Разрубить все узлы должны были здесь, сейчас и навсегда. Тем самым решался вопрос, жить или не жить в самом буквальном смысле.

Проходивший через приемную военный в большом чине неожиданно остановился возле меня:

— А у вас что? Заходите... Слушаю.

Сжатая пружина выбила затворы. Я как в бреду рассказывала о том, как была доведена до больницы преследованиями РО МГБ в Микуни, о подписи и своем отказе, об их угрозах заслать меня на лесопункт и «пришить» уголовное дело, о спекулятивном обещании разыскать украденного от меня сына, об инсценированном ночном аресте, всесоюзном розыске и о том, наконец, что я на свете одна, и если меня не оставят в покое, то, выйдя отсюда, брошусь под первый попавшийся транспорт.

Мне принесли стакан воды. И когда я унялась, сказали:

— А сейчас идите в приемную. Вас вызовут.

Сидеть пришлось долго. Узнавали. Проверяли. Наконец, снова пригласили в кабинет.

— Езжайте, куда хотите, за исключением неположенных, предусмотренных «статьей 39», городов. Устраивайтесь. Работайте спокойно. Больше вас никто беспокоить не будет. Если возникнет что-то конфликтное — вот наш адрес, вот моя фамилия. Пишите. Понадобится приехать — приезжайте. — Есть еще вопросы? Просьбы?

— Нет!

— Тогда — все.

Я поверила этому человеку. Он освободил душу. Снял с нее убивающей тяжести гнет.

«Мне на этот раз повезло, — говорила я себе. — Посчастливилось встретить человека, который слышит! Повезло, и все тут!»

В государственном органе власти, наевшемся уничтожением такого количества невинных людей, что этого и не представить, пообещали больше не мучить меня.

Опустошенная до дна, я по сути лишь в тот момент действительно вышла из зоны. Освободилась только сейчас.

Потом подумалось: вряд ли это частный случай. Может, что-то стонулось с места вообще? Личная свобода — хорошо, но еще не все! Вдруг в самом деле что-то изменилось в стране? Мысль была настолько хороша и так певуча, что лучшего компаньона для «шатанья» по Москве придумать было невозможно. Опьяненная волей, я, неторопливо исхаживая одну улицу за другой, направилась на Главный телеграф Москва-«9». В окошечко мне выдали несколько писем, извещение на телеграмму и перевод на триста рублей, как я полагала, выписанный ошибочно, поскольку такой суммы никто из моих неимущих друзей прислать не мог.

Пробежав глазами телеграфный текст, вчитываясь в него снова и снова, я ухватить ее смысл никак не могла. Написано было следующее: «Тамарочка Саша приехал все хорошо письмо ваше получили перевожу триста телеграфом крепко вас любим целуем пишу Оля». Оля — это Ольга Петровна! А Саша — Александр Осипович? Его освободили? Возможно ли? Поистине где-то что-то сдвинулось.

Я пыталась составить ответную телеграмму, но, оставив ее на полуслове, бросилась на Киевский вокзал и на присланные Ольгой Петровной деньги купила билет до Одессы, к чужим, но самым близким людям.

Ни Александра Осиповича, ни Ольги Петровны в Одессе я уже не застала. Елена Петровна рассказывала, как чуть ли не на следующий день после моего отъезда Ольгу Петровну вызвали в отделение ГБ и спросили, согласна ли она взять на свое иждивение мужа, освобожденного по инвалидности, с условием его проживания на сто первом километре от Одессы.

— Сашу не узнать, — качала головой Елена Петровна. — Ведь он был когда-то красив, как Бог. Чувствует себя плохо.

За 101-м одесским километром Ольга Петровна выбрала Веселый Кут и сняла там комнату для Александра Осиповича. Туда я, не медля, и отправилась.

Представить себе, как Александр Осипович будет существовать здесь один, в украинском селе, где нет ни библиотеки, ни общества А. С. Эфрон, философа Л. П. Карсавина, поэта Я. Смелякова и других, было мудрено. Но как все, превосходящее логику, его освобождение в те годы было событием чрезвычайным, и хотелось, чтобы он подышал волей.

Нагруженная продуктами, в Веселый Кут приехала и Ольга Петровна.

Уже поздно вечером, когда все спали, она пошла проводить меня к хате, в которой я устроилась на ночлег. Мы долго прохаживались на улице украинского села.

При нашем приближении к чужим садам срывались и тявкали собаки. Все было облито ослепительным лунным светом. Вспоминались гоголевская «Майская ночь» и «Страшная месть», и казалось, что причудам и дьявольским козням возникать из этого фантазмагорического лунного блеска так же сподручно, как и из тьмы.

С неожиданной откровенностью и доверием Ольга Петровна поведала о современной дьяволиаде:

— Помню то страшное собрание на Киевской киностудии, когда один за другим вставали те, кого мы считали своими товарищами, и уничтожали Сашу. Обвиняли его в том, что картины, которые он создает, искажают советскую действительность, чужды пролетариату, не нужны ему. Никто не встал на защиту. Ни один. В лучшем случае отмалчивались.

Это был рассказ о начале их жизни с Александром Осиповичем. О том, как она, тогда его ассистентка, представив, как ему одиноко и худо после разгрома, постучала в номер своего «патрона» и как уже после этого они не расставались.

В тридцать четвертом году их семью, их жизнь порушили. Только-то и всего: фильмы, которые Александр Осипович ставил, были «чужды пролетариату». Разве недостаточно для того, чтобы режиссера два десятилетия продержать в лагерях.

— Давай говорить друг другу «ты», как сестры. Скажи мне: «Оля! Ты!» — обратилась вдруг Ольга Петровна. Преодолев зажатость, повторила: «Ты! Оля!» Я уже любила ее.

Александр Осипович обрадовался, что я имею приглашение на работу в театр:

— Уж тут-то я тебе понадобится, буду нужен, как никто.

— Только театр, дорогой Александр Осипович, слишком далеко. На Урале. Ведь ни в одном из мало-мальски крупных городов, как и вас, меня не пропишут.

— Удружила, — огорчился он. — Нельзя сейчас жить далеко друг от друга.

Мне и самой было страшно уезжать одной за Уральский хребет. Я тогда не предполагала, что пообещавший в Микуни никогда больше ко мне не приходиться, разыскав меня, туда придет Дмитрий Фемистоклевич, с которым нас свяжут добрые и безупречные семь лет жизни.

Через год после уральского сезона нас пригласили в театр одного из приволжских городов. А потом Оля настояла на нашем с Димой переезде в Кишинев. И только уже спустя десять лет после освобождения я переехала одна в свой родной город — Ленинград.

КОММЕНТАРИЙ

Год спустя после визита в Министерство ГБ, в конце 1954 года, когда историю с МГБ я отнесла к прошлому, к одной из самых отвратительных экзекуций, этот орган еще раз напомнил о себе. Я работала тогда в одном из театров средней российской полосы.

Вызвавший меня рослый, тестообразный майор не походил на микуньских кустарей. Неживые глаза, неподвижные черты лица говорили о недюжинном опыте костолома. Был задан тот же ходовой вопрос: «Согласитесь нам помочь?»

— Нет! — ответила я с вызовом.

— Мы предлагаем...

Я пояснила: была в Москве, в МГБ, где обещали — никто, никогда не вызовет. Имею адрес и фамилию того, к кому буду обращаться. Майор подчеркнуто издевательски пропел: «О-о-о-о!» — и протянул отпечатанный на бланке текст:

— Подпишите!

«Органы ГБ в лице (его лице) оповещают тов. Петкевич о том, что отказываются с нею сотрудничать». Год, число, месяц.

— Я с вами не сотрудничала. Что значит вы отказываетесь? Сотрудничать с вами отказалась я. Не пишу.

— Подписывайте. Здесь не театр.

Майор отстаивал честь фирмы. Всегда и во всем победителями должны были оставаться они. Даже во внешнем оформлении своего неуспеха.

Неусыпные мечь и надзор этого департамента не оставляли меня и затем. Едва я получила приглашение на интересную для себя работу, как тут же возникало непреодолимое препятствие. Я — «не рекомендовалась». Навсегда.

Выручало сознание: я не позволила превратить им свою жизнь в позорное существование. Не разрешила поругать себя.

ГЛАВА XIII

Рассылая бесчисленные запросы в адресные бюро крупных и небольших городов, в горздравотделы страны, все эти годы я одержимски разыскивала сына. Кипы ответных справок, кроме «Не проживает», «Не значится», «Не числится», не приносили ничего. Старались помочь и друзья. Списываясь со своими северными знакомыми, расспрашивали, не встречал ли кто и не слыхал ли чего-нибудь о Бахарева. Иногда кто-то сообщал: видели его в Саратове, слышали, что он живет в Кинешме. Но и оттуда приходило все то же: «Не проживает».

— Напишите в Мурмаши, — подал идею доктор Яшунский. — Один приятель из тех краев упоминал о Бахарева.

Из управления милиции Мурманской области пришел перебудораживший ответ: «В настоящее время проживающим не значится, выбыл неизвестно куда без выписки». Значит, действительно был там! Теперь снова маневрировал, менял место жительства, прятался.

Снова и снова я забрасывала розыскными просьбами адресные столы городов. И только в 1956 году, когда сыну было уже одиннадцать лет, я получила от Анны Абрамовны Берзинь открытку: «Случайно узнала: Бахаревы живут...» — и она называла город.

Перемученная весть обернулась лобовым ударом, при котором теряешь все ориентиры. Длительно и насильственно скручиваемая мука взорвалась.

Предложение знакомой, по профессии юриста, помочь мне пришлось как нельзя кстати. Юридический опыт мог подстраховать, принести реальную пользу.

Я спешно запасалась ходатайствами и характеристиками. Нелли К., как звали юриста, не медля выехала в город, где жили Бахаревы. Оттуда одна за другой стали приходить телеграммы:

«Почти все закончила, — извещала она, — разговаривала с Юрочкой он отличник говорила с Бахаревым подробности письмом жди моего вызова»; «Бахарев испугался, боится подорвать авторитет препятствовать знакомству с сыном не будет запасись временем для этой цели предлагает решить вопрос мирным путем думаю что будет предлагать брак убежден в твоём приоритете ждёт тебя для согласования этого вопроса вылетай не волнуйся все утряслось Нелли».

Я ни на грош не верила в намерение Бахарева «согласовать» и решить дело «мирным путем». Он существовал как фантом изворотливости, зла. И только.

В стремлении обезопасить себя, перенаправить инерцию вала, который несся на него, Бахарев, не дождавшись, пока я дойду до здания аэровокзала, выбежал на летное поле. Перекрикивая завывание метели, тут же нервически спросил:

— Мы запишемся? Да? Запишемся?

От приглашения сесть в его машину, на которой они с Нелли приехали меня встречать, и скороговорочного Неллиного назидания: «На все отвечай сейчас: да! Остальное — после» — все, как при аварии, скрежетало, громоздилось одно на другое.

Пользуясь тем, что Бахарев отошел, Нелли быстро пересказала:

— Пришла к нему в больницу, дождалась очереди, он спросил: «Что у вас?» Узнав, что я от тебя, страшно побледнел, схватился за голову, отменил прием. Долго молчал. Спросил: «Как думаете, она согласится на брак?» Юрика видела. Хороший мальчик. Очень плохо одет.

Для разговора Бахарев повез в больницу.

Меня вразумляли: «Чувства сейчас неуместны... В этих обстоятельствах они губительны». Но когда на вырвавшееся против воли: «Что вы натворили? Что вы сделали?» — Бахарев опустил на колени и стал как-то нелепо подползать, не помня себя, я со всей силой выбродившей ярости оттолкнула его ногой. Иначе не получилось.

Даже сквозь завесу ненависти, тем более, когда этот приступ спал, я уже знала, что буду жестоко отомщена. «Сейчас он соберется и станет таким, каким уже давно живет на свете!»

Действительно, на вопрос: «Когда и где я увижу сына?» — ответил вполне овладевший ситуацией и собой человек:

— Завтра!

— Нет! Сегодня!

Как вышвырнутая из эшелона, я все эти годы догоняла его. Без промедления, сейчас же должна была уцепиться за поручни, дышать до мгновения, когда увижу сына!

— Хорошо! Сегодня, — уступил он. — При соблюдении неизменных условий. Первое: я вас представлю как «тетю»! Второе: никаких напоминаний о прошлом!

Сколь осторожной придется быть — понимала без него. Поначалу не слишком даже испугало: «тетя»...

Пытаясь восстановить сейчас в памяти обстановку того больничного помещения, куда Бахарев привез сына, упорно натываюсь на картину сырого, холодного полуподвала с облезлыми стенами: «Подальше от любопытных!» — объяснил он.

Вошедший подросток, в коричневого цвета вельветовой курточке с короткими, не по росту, рукавами, растерянно осматривался...

— Познакомься, Юра, это тетя Тамара! — услышала я бахаревский голос.

Тетя! Без пояснений: какая. Близкая тетя? Далекая? Добрая, наконец? Откуда?

Я задавала сыну вопросы:

— ..А шахматы ты любишь, Юрик? Какой предмет самый любимый в школе?..

Спрашивала, а сама, охваченная единственным желанием пробудить в сыне «обоюдную память», вслепую, в лихорадке то так, то эдак пыталась нащупать некий общий нерв.

Сын был скован, напряжен, вежливо отвечал... «А это, а то», — продолжала я разведывать, силясь ухватиться за то связующее, что никуда не могло деться. Но ни погруженность в вопросы, ни спрятанная в них потаенная мольба: «Вспомни же, Юрик, вспомни меня, я — твоя мама!» — не проникали в сына. Память и внимание его были отвлечены чем-то текущим, оставались непо потревоженными.

Сын показался мне робким. В нем будто не были заложены ни резвость, ни озорство, ни ребяческое любопытство. Маленький человек не впускал в себя!

— Я пойду, папа? Мне надо делать уроки.

— Иди.

Когда Нелли говорила, что Юрик плохо одет, могла это понять: «Не хотят баловать!» Но в сочетании с нерешительностью? Откуда она происходит?

Чувствую, что ничего не заронила в душу сына, я обязала себя ни в коем случае не отвлекаться на ненависть к Бахаревым.

Чтоб завоевать внимание и доверие сына, предстояло сделать многое. Это не страшило. Лишь бы чаще и подольше быть с ним!!! «Память обо мне под прессом! Исчезнуть она не могла! Проснется!»

В моем-то воображении преград между мною и сыном не существовало. Сердце было распахнуто ему навстречу и вширь и вглубь. «Мы с ним, с моим-то мальчиком, во всем разберемся сами. Без посредников. Я разгадаю его увлечения, войду в его мир. И — завтра же!»

Но... «завтра» у меня уже не было.

На следующий же день Бахарев пресек возможность дальнейших с ним встреч:

— Я увез сына за город к родственникам. Ни вам, ни ему свидания ничего кроме вреда не принесут.

Обескураженная неумностью самоуправства Бахарева, я только выговорила:

— Или вы сию минуту привезете сына в город и дадите мне с ним видеться, или я сегодня же иду с документами в суд!

— Суд вам ничем не поможет! — парировал он.

— Кто же мне тогда поможет???. Помогите — вы!!!

Сомкнув губы, Бахарев замолчал.

Так он быстрее, чем следовало, подвел все к необходимости судебного разбирательства.

Судья, привлекательная женщина лет тридцати, с ясными глазами, не то с недоверием, не то недоуменно, но тем не менее внимательно выслушала меня. Приняла документы. К тому же моими друзьями в адрес суда были написаны десятки писем. Каждый рассказывал в них все, что знал о рождении Юрика, о том, как он рос, как его украли и как я и они разыскивали моего сына.

В присутствии трех заседателей беседа со мной и Бахаревым была назначена на следующий день.

Отвечая на вопросы судьи, пришлось рассказать все с самого начала. Про лагерь, лазарет, рождение сына, про обещания и обман Бахарева, освобождение и все последующее.

Упершись локтями в колени, пригнув головы, сидели трое мужчин-заседателей. Похоже, из рабочих. Молчали.

Дослушав рассказ до момента, когда Бахаревы тайком скрылись с Юриком, судья прервала меня и обратилась к отцу моего сына:

— Скажите, Филипп Яковлевич, эта женщина рассказывает правду?

Ожидая препирательств и лжи, я поразились его неожиданно краткому ответу: «Да!» и волнению, которое он не сумел скрыть. Можно было подумать, что сам он только сейчас представил себе все таким, каким это было объективно.

Результатом встречи было единодушное решение заседателей: «Привезти ребенка, дать мальчику видеться с матерью».

Бахарев решения не оспаривал. Его уступчивость насторожила.

— Завтра в три часа дня приходите к нам домой, — сказал он, когда мы вышли на улицу.

— В таком случае поговорите до этого с Юриком. Объяснитесь с ним. Скажите ему что-нибудь вроде того, что я была приговорена врачами к смерти, отправлена далеко в горы. Вы думали, я не выживу, и потому скрыли, не сказали ему правду.

Я была готова к любому подвоху, к тому, например, что, придя к ним, не застану сына. Но ожидало куда более коварное и страшное.

Едва мы с Нелли вошли в комнату, где Юрик за обеденным столом готовил уроки, как Бахарев, предварительно с ним ни о чем

не поговоривший, указал на меня и, словно рванув на себя какую-то страшную рукоятку, выпалил:

— Юра! Это — твоя мать!

Сын испуганно вскинул глаза и тихо выдохнул:

— По-че-му?

Помертвев от тихого и страшного вопроса сына, сбитая с ног оголтелым штурмом Бахарева, пытаюсь хоть что-то и как-то спасти, я бормотала:

— Юрочка, ничего страшного. Так бывает. Ты сейчас все поймешь. Разве ты меня не помнишь, забыл, как я приезжала к тебе в Вельск? Несколько лет я не вставала с постели. Теперь поправилась. Сразу приехала к тебе. Мы все тебя любим...

Ни на кого не глядя, не поднимая глаз, сын повернулся и вышел из комнаты.

У Бахарева это был не стихийный срыв чувств. Подготовленный, изощренный удар по обоим сразу! Даже по пространству вокруг нас. Удар шоком, загодя перекрывающим то, что неминуемо и естественно должно было родиться у Юрика ко мне.

В доли секунды Бахарев вогнал в психику сына ощущение катастрофы. Я стала для него обозначением несчастья. Первого несчастья! И залечить, снять это с души сына мог один отец. В своем доме. Без «гостыя». Оставшись с ним наедине.

Математика хода. Внезапность нападения. Я с этой тактикой сталкивалась. Не раз попадалась на этом.

Основным условием для дальнейших встреч с сыном было, как заявил Бахарев, непременное присутствие при них Веры Петровны.

Говорить с сыном, видаться в ее присутствии? Не дать нам быть вдвоем? Могло ли быть что-нибудь кошунственнее и невыносимее?

— Нет, нет и нет! — запротестовала я. — Только не это! Только не она!

— Как хотите! Без этого не разрешу! И никакие суды мне здесь не указ! — стоял на своем Бахарев.

Имея в виду собственный опыт воровства, Бахаревы стерегли нас с сыном, опасаясь того же с моей стороны.

С завидной энергией, то вбегая, то выбегая из комнаты, Вера Петровна хлопала дверьми, демонстрируя тем свое неудовольствие и раздражение происходящим.

«Суды — не указ!» «Не разрешу!»

Она теперь повсюду следовала за нами третьей.

— Тебе понятно, Юрик, почему герой фильма?... — наклонялась я к нему в кинотеатре на картине «Между двух океанов».

— Ой, не забивайте вы ему голову заумными вещами. Он еще маленький, — вмешивалась она. — Помнишь, Юрочка, как ты купался в таком же море с папой?

Мы ехали в планетарий. Вера Петровна прихватила с собой племянника Сережу. Живой, смысленный мальчик то и дело задавал вопросы. Юрик смотрел в окно.

— Не хочешь туда ехать? Так и скажи, — подталкивала его локтем Вера Петровна. — Чего молчишь?

Но он хотел ехать, с интересом слушал историю Тома Сойера, которую я рассказывала им с Сережей. Заметила даже, что он недовольно косится на ровесника за то, что я уделяю ему много внимания.

В планетарии, в царстве вращающихся вокруг нас звезд, я удержала себя от того, чтобы притянуть сына к себе. Слишком неподатливы и напряжены были его плечи.

Было тяжело. Я отошла в угол сада. Следом примчалась Нелли.

— Только ты ушла, как Юрик спросил меня: «Где мама?»

— Неправда, Нелли! Он так не сказал! — взмолилась я.

— Клянусь! Спросил именно так.

Приготовившись ждать долго, очень долго, чтоб в нем это созрело, я не поверила тогда и клятве Нелли.

Воспользовавшись тем, что нас с сыном оставили на минуту вдвоем, обратилась к нему:

— Юрочка, мы поедem с тобой в южный, очень красивый, зеленый город.

— Зачем? Я не хочу.

— Я тебя очень люблю. Я так долго была без тебя. Нам будет хорошо. Жить и учиться будешь там. Сюда станешь приезжать, когда захочешь.

— Нет.

— Почему, Юринька?

— Не хочу.

Никто не помогал сыну составить обо мне хоть какое-то представление. Сын не знал меня.

Факта усыновления не было. Бахарев знал, что я не дала бы на это согласия.

— Каким же образом сын записан в школе как Бахарев, если в свидетельстве о рождении мальчика — Петкевич? — спросила судья.

Юридически правомочный вопрос и подвел к обнаружению мошенничества Бахаревых.

— Вам предстоит узнать сейчас нечто сенсационное, — предупредила меня судья при очередной встрече. — Соберитесь с силами. Так вот. Вовсе не вы действительная мать Юры. Не вы его родили, а Вера Петровна.

На столе передо мной были веером разложены не один, а три экземпляра фальшивых метрик сына. В графе «мать» было выведено: Вера Петровна Бахарева. Место рождения: вымышленный город. Не Межог. Вместо действительной даты рождения — 12 декабря 1945 года — три варианта: разные числа, месяцы и даже разные года рождения.

Поднаторевшая в уголовных делах, Вера Петровна, имевшая собственного сына, вписала себя матерью в свидетельство о рождении моего ребенка?

Какими темными страстями и делами были связаны между собой эти двое людей! В каком согласии они расправлялись со мной, уничтожив даже «документально»! Когда я увидела фальшивые метрики, узаконивающие похищение сына, вписанное в графу «мать» имя этой женщины, мне казалось — мир рухнет.

Ничего не рухнуло. Уцелело все, кроме меня...

Судье я не просто поверила. Доверилась вполне. Бескорыстная и сердечная, она глубоко вникала во все, но я чувствовала какую-то заминку:

— Я обязана вас предупредить. Суть дела в том, что вы опоздали ровно на год, — объяснила она. — Всего на год! По закону ребенок с одиннадцати лет уже сам решает, с кем из родителей хочет остаться. Сами понимаете, на суде ваш сын заявит: «С ними».

— Вы мне отказываете в суде?

— Нет, конечно. За вас многое. Но суд будет обязан считаться с тем, что пожелает ребенок. Поймите это.

Я и сама не однажды представляла сына в зале суда отвечающим в присутствии чужих людей на вопрос: «С кем ты хочешь жить?», «видела» его опущенные глаза, знала, как должно будет оцепенеть его сердце, когда он произнесет то же: «С ними»!

В эпицентре схватки была душа ребенка. Подставлять сына процедуре суда, бороться за него таким образом? Я и сама не могла. С трудом переносила, когда он отключался от разговора, замыкался. У него уже была своя воля. Я боялась его потерять.

— А как же с тем, что сына воспитывают люди, у которых все на подлоге? — спросила я судью.

— За это с них взыщут. Это другой вопрос. Все, что лежит здесь, в деле, основание для процесса иного масштаба. Когда-нибудь такой процесс состоится. Когда-нибудь! Но чем, кроме глубочайшего сочувствия, помочь вам сейчас? У меня душа переворачивалась, когда я читала письма ваших друзей.

— Каков же ваш совет?

— Заберите документы. Отдам вам даже все письма. Не хочу, чтобы к ним прикасался его адвокат. Кстати, Бахарев нанял лучшего из всех. Попробуйте как-то договориться с ними мирным путем. Должно же быть в них что-то человеческое.

У правосудия оказалось много необоримых, отнимающих надежды на то, чтобы мне вернули сына, подпунктов, статей. Как ни один из них не споткнулся закон, выдирая нас с корнем из жизни.

Я отказалась от публичного разбирательства.

Несмотря на решение заседателей «не препятствовать встречам», Бахарев периодически увозил сына. Каждое свидание приходилось «отбивать, выпрашивать».

Нелли постоянно призывала меня к дипломатии. Но я с Бахаревым надипломатничалась на Севере. Сейчас, проигнорировав этот совет,

совершала одну ошибку за другой. Все было агонически воспалено, и не было при этом права на стоны и слезы.

Нелли была единственным участником и свидетелем того больного, что попросту не может иметь адекватной формы пересказа. Отпуск ее кончался. Она уехала. Я осталась одна.

Итак, лучшие из людей чаяли: «Должно же в них быть хоть что-то человеческое?»

Я и оглянуться не успела, как шла в дом Бахаревых уже просительницей, в роли подыгрывающей в созданном ими же сценарии. Оставался узкий перешеек, по которому я еще надеялась добраться до сердца сына.

Центром безликой, унылой квартиры Бахаревых был буфет, набитый стеклом.

— У вас нет ни единой книги, — заметила я.

— Сегодня нет ни одной, а завтра будет целая библиотека, — ответил хозяин дома.

— Покажи мне свои фотографии, — попросила я сына.

— Какие?

— Все, где есть ты.

Юрочка с отцом идут через поле. Видно, к реке. На отдыхе. На другой — оба стоят около теленка... Юрик гладит животное... Сидят вдвоем с отцом на корточках и кормят кур. Восседая на табуретке, отец что-то чинит, а безмятежный, спокойный Юрочка стоит возле него.

Я смотрела на эти снимки — зримою плоть жизни сына, на расторопные движения бессовестной Веры Петровны, снующей по своей квартире, на высверк бриллиантовых сережек в ее ушах и только теперь, здесь до конца и вполне прозрела: мой сын любит этих людей. Любит, и все тут. Каждого в отдельности и обоих вместе. И они любят его. Он с ними сросся. Они для него изначальная, прочная реальность.

Все миражи отмелькали один за другим. Замедлился даже ход времени.

Разговоры с преуспевающим Бахаревым ничего изменить не могли. «Юра — мой наследник! Мое будущее», — твердил он. Жажда обессмертить себя, как и чувствовать сына ежечасно своим, сделали свое дело: душа мальчика принадлежала ему, им.

— Ребенок должен закончить школу в привычной для него обстановке, поступить в институт, — говорил Бахарев. — Вы что, считаете, что можете дать ему больше, чем я?

— Да! Да! Да! Считаю: да. Я — мать!

— А я — отец. Надо свыкнуться с тем, что поправить уже ничего нельзя.

«Свыкнуться!»! «Поправить ничего нельзя!»!

Когда-то один общий знакомый сказал: «Филипп на Севере ждал и хотел, чтобы вы подали в суд». Я посмотрела на него, как на сумасшедшего, хитроушлого человека: «Хотел?» «Да! Сына могли

бы присудить вам. Это дало бы ему возможность развязаться с Верой, как бы не по собственной инициативе», — объяснил он.

Указав сейчас глазами на Веру Петровну, Бахарев не постеснялся пожалеть себя, сокрушенно заявив:

— Вы же видите, с кем прожита моя жизнь...

В заявлении, написанном позже в партийные инстанции, Бахарев также отрекся и от меня, от всего, что было со мной связано, назвав прошлое «случайной связью».

Когда я уходила из дома, Бахарев встал:

— Я пойду вас провожу.

Какая-то припрятанная для меня милость? Но в его путаных человеческих потемках нашлось такое, чего нельзя было объяснить иначе, чем деградацией:

— Вы хотя бы понимаете, почему я в «тех» метриках всюду указал днем рождения сына... надцатое число? Как? Не понимаете? Ведь это день и месяц нашей первой с вами встречи тогда, на «Светике», — «утешил» он чудовищной пошлостью.

В системе нравственных координат этого человека я была запечатленной примышленным днем рождения в фальшивых метриках сына.

В ответ на письма, посылки, телеграммы детская рука сына не вывела ни единого слова. Отвечали Бахаревы. В два голоса перебивая друг друга, они сообщали, как мои письма раздражают Юру, что он наотрез отказывается на них отвечать.

По исковому заявлению прокурора города о непризнании фальшивых метрик суд вынес определение: «Признать свидетельство о рождении недействительным».

Дело было возбуждено не мной. Прокурором. Документы, определение суда — внятное тому свидетельство. Но при каждом удобном случае Бахаревы или приращивали, или подогревали в сознании сына превратное обо мне представление. «Несколько дней назад принесли извещение от прокурора, чтобы явиться к нему для разбора жалобы, — писала Вера Петровна. — Юра увидел это извещение и сказал: «Это Т. В. написала прокурору», — и нахмурил лицо».

Умалчиванием, клеветой, другими способами не только уважительное, а какое бы то ни было представление обо мне в душе сына было затоптано.

Пробиться к сыну я не смогла. Все попытки терпели крах. Не смогла! «Свыкнуться» с его утратой — тем более. Ездил в город, где он жил. Наблюдала за взрослеющим сыном издали.

Я тосковала по сыну. Неизбывно. Периодически лишалась сна. Неделями не спала вообще: «За что? За что?» Отвозили в психоневрологическую клинику. Клиника не помогала. Компетентных врачей для подобных недугов не существовало.

Все происшедшее с сыном — единственная в жизни боль, которую я ни во что иное претворить не смогла.

Бахарев умер.

— Отец оставил застенографированные дневники, — сказал при одной из встреч сын.

— Ты их расшифровываешь?

— Да. Хотя это не просто. Он пользовался старым, двадцатых годов ключом.

— И пока ты их не расшифруешь, не успокоишься? Верно?

— Да.

Не знаю, что доверил Бахарев дневникам, какую свою открыл в них «истину». Мне это неинтересно. Но сына переполнял ненасытный интерес к фигуре отца. И не интересовало ничего, относящееся ко мне. Верность воспитавшей его Вере Петровне оставила сердце сына неизменным.

— Вы их не любите?! — то ли утверждая, то ли спрашивая, обратился он как-то ко мне.

— Они отняли у меня сына!

История эта «Эпизоду» не подлежит. Она еще не завершена. Еще — живая. Возможно, все определится тогда, когда оборвется моя жизнь. А сейчас верую: меня поймут, почему я не касаюсь того ломкого и хрупкого, что так нерешительно, так едва пыталось пробиться к жизни в последующие годы.

КОММЕНТАРИЙ

В качестве комментария к главе привожу только одно письмо из многих, написанных друзьями в 1957 году в адрес суда, письмо Веры Николаевны Саранцевой (другом по камере фрунзенской тюрьмы). Привожу как попытку увидеть в случившемся не столько личную беду, сколько преступление режима.

«Уважаемые товарищи судьи! Я знаю Тамару Владиславовну (Владимировну) Петкевич с 1943 года — немного по Киргизскому медицинскому институту, где она училась, а я работала, а затем по так называемой внутренней тюрьме НКВД в г. Фрунзе, куда в том же году мы обе были посажены по ложным обвинениям в антисоветской агитации и где стали друзьями на всю жизнь.

Вы, конечно, знаете, что тюрьма унижает и калечит человека, особенно тогда, когда в нем намеренно стараются вытравить все — и волю, и мысль, и способность протеста, и физическую сопротивляемость организма. Мне пришлось испытать все это сравнительно немного, так как дело в отношении меня было прекращено за отсутствием состава преступления, и я вскоре вышла на свободу. Тамара же полностью отбыла свой срок заключения — все семь лет, которые ей были «пожалованы» судом неизвестно за какие грехи, — и только теперь наконец получила полную реабилитацию.

За эти семь лет да и после она перенесла столько физических и моральных страданий, что просто удивительно, сколько же, действительно, может человек пережить. Начать с того, что она еще до своего заключения потеряла почти всех своих близких — отца, мать, младшую сестренку. Муж — они только недавно поженились — был арестован вместе с нею и тоже фактически умер для нее. Представьте себе молодую, 23-летнюю, прекрасную во всех отношениях женщину, брошенную в одну камеру с бандитами, преступниками, человеческими отбросами всякого рода. Ее внешняя красота и привлекательность создавали для нее в тюрьме только лишние трудности, становились предметом наглых домогательств со стороны разных подлецов.

И вот в этой тяжелейшей обстановке, в холоде и грязи, в непосильной работе, во всей той гнусной атмосфере, которая была типична для бериевских лагерей, больная, оторванная от всего, что было дорого ее сердцу, лишенная возможности

учиться и заниматься разумной творческой деятельностью. Тамара не сломалась и не утратила ни одного из своих великолепных человеческих качеств—ни редкого ума, ни душевной теплоты и нежности, ни стойкости, ни честности, ни личного достоинства и уважения к достоинству других. Наоборот, как всякий сильный духом человек, она как бы выросла в аду всех этих испытаний, стала еще более твердой, можно сказать, выучилась героизму.

Счастливым случай помог ей раскрыть в тюрьме еще одну сторону ее многогранной, богато одаренной натуры. В ней обнаружился и расцвел артистический талант, который подарил ей впоследствии новую цель жизни, спасая в минуты отчаяния, пробуждая в ней радостное сознание того, что она нужна людям, неся им доброе, волнующее и высокое, что заключает в себе настоящее искусство.

Ее собственные переживания, бурная и трагическая судьба дали ей, как героине герценовского рассказа «Сорока-воровка», богатый материал для художественного творчества. Такие люди, как Тамара Петкевич, могут погибнуть только физически, но не духовно. Несчастье лишь возвышает их, умножает красоту их души, делают их примером для других. Я преклоняюсь перед мужеством Тамары, перед ее глубокой внутренней чистотой и глубиной ее чувств, которые не смогла помрачить никакая тюремная неволя.

В тот же период произошло еще одно событие в ее жизни. Она стала матерью. Нет надобности говорить о том, что в тех условиях, в которых находилась Тамара, материнство—это не только счастье, но в то же время и горе.

Ей угрожала разлука с сыном, который с самого начала, с момента рождения, стал для нее самым любимым существом на свете. Необходимость отдать его в чьи-то неизвестные руки убивала. В таких обстоятельствах она вынуждена была согласиться на то, чтобы отец временно взял его к себе, с обязательством вернуть ребенка матери, как только она станет свободной.

Я не хочу здесь выносить какого-либо суждения об отце Юрика, который из ложно понятой любви к ребенку совершил, по существу говоря, преступление, лишив его матери, и такой матери, как Тамара Петкевич, а ее—единственной радости и утешения в жизни, которая и без того была так бедна радостями. Выносить по этому поводу решение—функция суда, который, очевидно, внимательно разберется в подробностях этого не совсем обычного дела. Я могу сказать только одно: нет таких сил и прав на свете, что позволяли бы отнять ребенка у живой матери, которая его любит, тоскует о нем, жаждет всей душой видеть его возле себя. Я просто не могу представить себе этого. История Тамары и ее сына Юрика заставляет вспомнить историю Отрадиной-Кручининной из всем известной драмы Островского «Без вины виноватые». Последняя страница несправедливости, причиненная прекрасному человеку, артистке и матери Тамаре Владиславовне Петкевич, должна быть исправлена немедленно.

Прилагаю письма Тамары мне и моей матери. После моего выхода на свободу мы с Тамарой все время переписывались и виделись после освобождения. В переписке со мной она изливала всю душу, и я была хорошо осведомлена о том, что касалось судьбы ее ребенка, поисков его адреса, скрытого отца, и всех переживаний Тамары в связи с этим. Все эти письма у меня бережно хранились, и почти в каждом из них выражение глубокой любви к сыну, заботы и тревоги о нем, тоски от разлуки с ним. Невозможно читать их без сердечного волнения. В этих письмах во весь рост встает благородный образ человеческой, женской души, созданной для любви, света и свободы, но силой вещей закованной в цепи и посаженной в тесную клетку. Я свято верю, что мудрый и сердечный суд воздаст ей должное и, хотя бы с опозданием, возвратит ей счастье материнства, которого она так достойна.

В. Саранцева
6.III.1957 г.»

Не знаю, что мучило Барбару Ионовну больше всего, но ее просительное: «Хочу тебя видеть! Пожалей! Не дай умереть, не попросив у тебя прощения!» — не могло оставить меня безучастной. Отошедшее, на котором не поставлена точка, не желало еще ставиться прошлым.

Барбара Ионовна с внучкой Таточкой и старшим сыном жили в ту пору недалеко от Москвы. Поколебавшись, я поехала.

Было около восьми часов утра, когда я разыскала домик на окраине, где они снимали комнату. Успела только спросить хозяйку, здесь ли живет... как из какого-то закутка выметнулась, будто там поджидала, уже совсем седая Барбара Ионовна и бросилась передо мной на колени:

— Прости меня, прости, Тамара! Простишь?

За что мне было теперь прощать или не прощать постаревшую и нищенствующую мою первую свекровь? Надломленная Барбара Ионовна плакала. Потом мы плакали обе о чем-то большем, чем свое и наше. Истосковавшись по собеседнику, она подробно рассказывала, как жила после нашего с Эриком ареста, как бедствовала.

— Ведь и тебе досталось, — спохватывалась она, — сколько всего пришлось пережить...

— С Эриком отношения так и не наладились, не получается у нас с ним ничего, — жаловалась она. — Приезжал сюда с семьей. У него двое детей. Жена — хохлушка. Толстая, но добрая, кажется. Командирша. Любит Эрика и детей.

Неискоренная привычка говорить все так, как есть, привела к тому, что при получении паспорта на вопрос: «Была ли замужем? Место? Имя?» — я написала: «Была», указав место регистрации и имя Эрика. Винить, кроме себя, за то, что в паспорт «шлепнули» печать о браке с ним, было некого. Эрик оказался прозорливее. Оформляя свои документы о браке, ни словом не обмолвился. В мире были мать и сын или в ссоре, но Барбара Ионовна стала просить:

— Ты не обнаруживай этого. Понимаешь, он скрыл от жены, что был с тобой зарегистрирован. Сейчас у него в паспорте вписаны дети и эта жена.

В дополнение, мимоходом, сказала:

— Он и сейчас считает, что, если бы не женился на тебе, не попал бы в лагерь.

Место было больное. И удар есть удар. Смягчила его как-то восьмиклассница Таточка, сидевшая возле.

— Тетя Тамара, тетя Тамара, — зашептала девочка жарко. — Не расстраивайтесь так. Не жалейте о нем! Не думайте о нем...

В Москву я уезжала автобусом. Лил сильный дождь. Ветер расчесывал его струи в дорожки, перегонявшие друг друга по стеклу. Я уговаривала себя: пусть ничто из услышанного об Эрике во мне

не задержится. Пусть, наконец, все стечет вместе с этим дождем. Всего-навсего — то же предательство.

Скрыть от семьи, что был женат? Зачем? Почему?

Несколько лет спустя вместо прежней комфортабельной квартиры Барбаре Ионовне с Таточкой дали в Ленинграде ордер на девяти-метровую комнату.

Одно время они обе через воскресенье приходили на обед. Худенькая, бедно одетая, Барбара Ионовна держалась с былым достоинством. Улыбалась редко. Я ждала ее приходов. Хотела доставить ей хоть какую-то радость. В чем-то хорошо понимала ее.

В 1956—1957 годах, после реабилитации, за конфискованное имущество можно было получить денежную компенсацию. Следовало представить перечень изъятых вещей, указав их примерную стоимость. Это сверялось с актом в деле.

Ответ пришел неожиданный: «Акта о конфискации имущества в деле не имеется». Выяснялось, что следователь, вопреки приговору, конфисковывать имущество не стал, а отдал все Барбаре Ионовне.

— Ты должна понять, Тамара, нам не на что было жить. Постепенно я все продала, — объяснила Барбара Ионовна.

Я знала страдный путь голода и нужды. И, разумеется, понимала человека, умеющего жить единственным способом: честно.

Умерла она в Москве.

Эрик, с которым они так и не помирились, ездил на похороны. Таточка рассказала, что, просидев возле тела матери несколько часов, он вышел из комнаты постаревший и черный.

В ленинградском костеле Таточка заказала молебен по воспитавшей и вырастившей ее бабушке.

Не помню случая, чтоб официальное учреждение разрешило хоть какой-то вопрос во благо просителю. Тщедушным «службистам» справиться с последствиями беззакония было не по плечу.

Потребность избавиться от дурацкого штампа о браке с Эриком погнала меня по канцеляриям и учреждениям. Разводя руками, отвечали: «Да уж, действительно... Но сделать ничего не можем. Сходите к адвокату».

Юрист рассудил так:

— Сначала ваш бывший муж должен развестись с женой, с которой сейчас зарегистрирован. Потом сможет подать в суд и просить развода с вами. Затем пусть регистрируется с кем хочет.

Я возмутилась не на шутку:

— Да что вы порете? Прошло семнадцать лет. У него дети. Врываться в дома и арестовывать — умели. Рушить — могли. А поправлять? Ни мужества, ни профессионализма не хватает?

Когда в 1959 году вернулась в Ленинград, Эрик жил уже здесь несколько лет. Отпечатав на машинке: «Прошу позвонить по телефону номер такой-то», я отослала ему письмо по адресу. Он тут же позвонил.

— У меня к вам есть поручение от Тамары Владиславовны, — сказала я.

— А где она сама?

— В Ленинграде.

— Полагаю, нам лучше самим увидеться, чем что-то передавать через третье лицо.

— Возможно. Что ж, это я.

— Господи!.. — последовала долгая пауза.

— Можно сейчас же приехать?

— Завтра.

Договорились встретиться на следующий день вечером возле здания «Ленфильма».

— Вот и встретились муж и жена через семнадцать лет. Семнадцать лет с того самого утра, когда... Это ты?! Запросто стоишь рядом! Или мне все это снится? Что с нами сделали, Тамара? Ты знаешь этому название? — спрашивал он.

Он был когда-то красив. С мягкой полуулыбкой, вкрадчивыми полуленивыми движениями. Теперь пополнел... Все так же поправлял очки. Последний раз я видела его через «глазок» на прогулке во фрунзенском тюремном дворе, где мы с уголовницей Валей руками сделали подкоп под дверью собачника.

— Посидим в кафе? — спросила я.

— Туда, где много людей? Нет, нет! Только не это.

— Хорошо. Я живу рядом. Пойдем ко мне.

Сели друг против друга.

— Помнишь, как ты меня встречала с работы, в аллее? Помнишь, как бежала навстречу и упала?

— Нет.

— Ты упала.

— И что?

— Когда вспоминал там, всегда болело сердце. Все хотелось помочь тебе подняться... Я тогда не успел. Ты сама встала. Ты и потом поднималась всегда без меня... А как топила чугунок тряпками, намоченными в мазуте, как лепешки пекла, помнишь?

— Помню.

— Помнишь, как я тебя любил?

— Любил?

— Да. Одну. Всегда. Тогда и потом.

— Полно, Эрик. Не надо. Все было иначе.

— Все было именно так! Так! Только благодаря тебе я закончил институт!

— Ты счастлив сейчас?

— Счастье осталось в той комнате с земляными полами, во Фрунзе.

— Хорошо. Пусть такая неправда. У тебя дети?

— Двое. А где Юрик?

— Не со мной. Я ни с кем об этом не говорю.

— Как ты смогла все это?

— Как-то.

— Лучше бы мне дали два срока сидеть, чем тебе... Я не мог себе представить, как ты перенесешь.

— Я тоже думала, что ты не выдержишь, хотя ты и грозился когда-то: «Если они только посмеют тебя тронуть, то я, я с ними такое сделаю!»

— Они посмели. И я ничего не сделал.

— Ты и не мог.

— Не мог. Потому ты меня и разлюбила. Я, правда, потом сделал очень удачную операцию начальнику колонны. Ему ничего не стоило соединить нас уже там. Но операцию я сделал хорошо, а упрямости его помочь нам не смог. Клял себя, презирал, но не смог!

— Потом все равно разлучили бы.

— Пусть, но важно было смочь!.. Мы так с тобой хорошо жили. Ведь мы никогда не ссорились. Мы бы и теперь так жили.

— Мы ссорились, Эрик.

— Я не помню! Не помню! А вот как покупали тебе черное панбархатное платье — помню. Как оно тебе шло! Когда я хотел хорошего, то просил: «Пусть мне приснится Тамара в черном платье!» И ты мне снилась, но на тебе была дерюга, и я просыпался с болью в сердце.

— Не надо, Эрик.

— Какой за тебя был страх, когда ты уехала в дальний этап! Я тебя уже не застал в Беловодске. После этого я стал другим человеком. Узнал злобу. И месть.

— Человек непременно проходит через это.

— Ты думаешь, я уже прошел?

— Думаю. Семья, дети. Это смягчает.

— У моей жены случаются приступы ненависти ко мне.

— Наверное, ты бываешь в чем-то виноват. Не просто же она человеконенавистник?

— Ты хочешь сказать, что по-прежнему не поручилась бы за меня?

— ..Вот о чем я, собственно, хотела поговорить с тобой. У меня в паспорте печать о браке с тобой. Нелепость. По моей глупости, конечно...

В глазах его мелькнул испуг. Но, помолчав, он сказал:

— И ты думаешь, что я соглашусь на развод?

Говорить о том, что знаю: его брак с женой оформлен — было незачем. Яснее ясного стало, что он мне ни в чем не поможет. И о том, как может считать меня виновницей ареста, затевать разговор тоже было бессмысленно. Да, наверное, он на самом деле так и не думал. Я посмотрела на часы.

— Ты хочешь, чтобы я ушел? Мне пора?

— Пора.

Трудно сказать, почему стояла возле двери, которую захлопнула за ним. Послышалось что-то вроде стога.

Пролетом ниже Эрик стоял и плакал.

Сошла к нему:

— Ну же, Эрик!

— Я только сейчас понял, как дико изголодался по твоей душе, по уму, по глазам и голосу. Зачем они все это сделали? Зачем им это было нужно? Что делать сейчас?

— Все уже сделано. И не без личного вклада, Эрик. Успокойся. Не надо так. Не надо.

— Я не могу без тебя. Не умер тогда, так сейчас...

— Ни тогда такого не случилось, ни тем более сейчас. Ты жив, и все у тебя прекрасно. Остальное — ненадолго. Отойдет.

Он позвонил на следующий же день:

— Я у твоего дома. Выйди. Мне надо что-то тебе сказать.

Навстречу шел, чему-то улыбаясь:

— Ты надела кофточку? Почему ты кашляешь?. Так вот, что я тебе скажу. Ты — родная. Ты — моя жена. Я — твой муж. И никем другим я в твоей жизни не буду. С тобой я чувствую себя самым собой. Нет никого прекраснее...

Улыбнулась и я:

— Хотела бы я в тебя проникнуть, Эрик. Какой же ты на самом деле? Знаю одно: за то, что говоришь, по-прежнему не отвечаешь. Не верю ничему. С тех давних пор не верю. Ты просто забавляешься. Да? Почему не стесняешься это делать?

— Я мог быть другим. Ты поверила им, — перешел он в наступление. — Ты сдала меня им. Почему? Почему? Я сейчас полон злобы за то, что они покaleчили нашу жизнь.

— А под злобой?

— Под злобой? Тоже нет прощения!

— Не так уж плохо.

Мы увиделись еще однажды. Когда он особенно на том настаивал. Я шла в Дом кино на просмотр картины.

— Знаешь, — рассказывал он, — дочь вчера подошла ко мне и спросила: «Папа, что с тобой? У тебя что-то случилось?» Она меня очень чувствует. Она самое близкое мне существо.

— Сколько ей?

— Девять лет.

— Уже большая девочка. Хорошо, что у тебя такой друг.

Сидя рядом, он на экран не смотрел. Не видела картины и я. Как бы просчитывала то, что в нем происходило: вот всплеск его фантазии истаял; сознание обрело способность все здраво оценивать; он понял, что имеет хороший дом и семью, и вдруг панически испугался, что может это потерять из-за вспышки чуть-чуть недозитого прежнего.

— Я забыл... Я вспомнил. Мне надо еще забежать в институт.

Он мог не объяснять. Я знала, что он заспешит спасти себя и семью от собственных минутных завихрений.

Понимала я и то, что эту свою семью он уже не предаст. Она дана ему судьбой, она — его настоящее. И мысленно помогала ему:

«Ступай! Слава Богу, тебе есть куда стремиться. Хорошо, что ты вовремя сумел создать все свое. А я? Нет!» Мне, видно, никогда не разгадать умысла судьбы, поочередно отнимавшей у меня близких.

Желания бросать в него камень не было. А боль? Еще была.

Так мы расстались уже навсегда, чтобы, проживая в одном городе, никогда уже не встречаться и ничего друг о друге не узнавать.

Будучи в Москве, я навестила одну свою северную знакомую, в доме которой собрались «отсидевшие» с 1937 года — преклонного возраста женщины. Их было человек восемь.

В необычайном возбуждении они в тот момент обсуждали московскую новость: все они, старые большевики, были приглашены в партийные инстанции, где им сказали: «В публичной библиотеке имени Ленина для вас отведена специальная комната, в которой вы можете писать воспоминания и о своей революционной деятельности, и о лагерях».

За столом царил неподдельное ликование по поводу того, что они не сброшены со счета, вновь приважены «самим» государством и прижаты им к груди.

— Что вы хотите? Чтоб я была на партию в обиде? Не дождетесь... Если так поступили, значит, так было надо! — говорила самая громкоголосая из них.

«Мы — ленинцы! Старая гвардия! Большевики, не предавшие идеалов молодости». «Нас спутали с настоящими врагами. Прихватили по ошибке! Да, была допущена ошибка!» — повторяли они порознь и вместе.

Даже не пытаюсь увязать «светлые идеалы» с судьбами тех, кто остался лежать в свалочных ямах, под шпалами восточных и северных дорог, эти женщины отмахивались не только от чужих, но и от собственных страданий. Они жаждали одного — признания политической непогрешимости их партии. Лишь бы сохранить иллюзии и вернуть желанное признание. Ополитизированная, а по существу биологическая тяга к бездумному существованию составляла фундамент для этих людей. И эта внутричеловеческая поврежденность была отвратительна и страшна.

Во мне все воспротивилось попыткам приторочить к собственной жизни теорию случайности. Не попрощавшись, я ушла из этого дома навсегда.

Внезапно и нелепо умер в Ленинграде друг моего детства.

В «душевную» биографию он вошел не тем даже, что с ним было связано детство. Не памятью о лирических встречах в семнадцать, а затем в тридцать лет. Иным. Тем, что отречение от меня переплавилось в нем в не оставлявшее его чувство вины.

По возвращении в Ленинград я узнала: все в его жизни сложилось удачно. Он страстно любил профессию. Имел кафедру. Звание профессора. Женился по любви. Растил двух детей. Спокойной жизни мешал нелегкий характер. Он был излишне самолюбив. Крут. Сумбурен. И беззащитен при всем.

Когда он серьезно заболел и лежал в клинике, попросил его навестить.

— В жизни есть одно действенное средство: сила. Я стал самоуверен, нескромен, не считаюсь ни с чем, если что-то встанет на пути, — стал он пугать меня «определившимися» взглядами.

Я не слишком верила его браваде. Спросила:

— На каком, собственно, пути? К чему? Карьеру ты сделал блестящую.

— Бей меня! Бей! — не дал он договорить. — Так легче, чем жить про себя с этим скребущим душу стыдом! Говори! Говори! В самом деле, о чем я? О каком пути и каких дорогах, когда они ведут в сторону от самого себя! Какой от тебя веет самостоятельностью! Какая ты сильная! Ты — мое романтическое богатство. Когда мне плохо, я сам себе рассказываю сказку про тебя.

Иногда он звонил:

— Хочу увидеть тебя.

— Зачем?

— Мне надо.

— Но мне не надо! — сердилась я.

— Тогда утешь меня по телефону. Скажи, что у тебя есть человек, который говорит тебе ласковое и доброе, который любит тебя, не дает тебе чувствовать себя одинокой.

— Что с тобой?

— Скажи: есть.

— Есть.

— Поклянись!

— Клянусь.

— Тогда спасибо! Спасибо!

Без разрешения на то он пару раз встречал меня у места службы. Потерянный.

— Представь, мой аспирант, на которого ухлопана масса сил, оказался просто подонком. Каково?

В следующий раз — совсем смятенный:

— Просто надо было увидеть тебя. Завтра предстоит самому сделать операцию младшей дочери. Понимаешь?

А затем такой звонок:

— Меня уволили!

— Как это? Почему?

— Как еврея!.. Наверное, так и надо... Знаешь, это за тебя.

Он как-то умышленно не закрывал счет к себе.

...Врачи отчаянно боролись за его жизнь, когда с ним случилось несчастье. Помочь не смогли.

Увольнение оказалось смертельным ударом — напрямую в сердце.

Горевала семья, которую он любил. Сестра. Мать. Не приходясь ему никем по жизни, я тоже. Очень.

Я и сейчас нередко вспоминаю его. Он был единственным в жизни человеком, догадавшимся спросить: «Постой, постой, значит, все эти годы, пока ты находилась там, ты не читала, не смотрела фильмов, не слушала музыку, была лишена всего, чего имели мы?»

Его пронзительная догадка была нужна жизни.

Фактически жизнь в Веселом Куте означала для Александра Осиповича бессрочную ссылку.

Он очень постарел. Ему было трудно ходить. Осенью ли в непролазную грязь, зимой ли Александр Осипович обязан был в положенное время ездить отмечаться в районный центр и делал это исправно. пока, наконец, милиционер не сжалился над ним и не стал заскакивать сам.

Когда я переехала в Кишинев, часто навещала его.

Потолки в хате низкие. Возле крошечного оконца, выходящего на огород, сидел человек с глазами мудреца. А за этим оконцем виднелась куча наваленных друг на друга оранжево-болванных тыкв.

— Это называется — тыквы? — улыбнулся Александр Осипович. — А я думал — дыни. Знаешь, вкусные такие были когда-то. Я все стеснялся попросить хозяйку дать попробовать.

В 1971 году, когда его уже не было в живых, открыв журнал «Знамя», № 7, в автобиографической повести Юрия Нагибина «Переулки моего детства» я неожиданно прочла о матери Александра Осиповича — Высоцкой.

«Выселенная революцией из своих палаток, старуха Высоцкая поселилась в нашем доме, на первом этаже, в комнатах с окнами на помойку. Окна находились под прямым углом одно к другому, и сметливая старуха поставила заборчик от окна к окну, не только загородившись от помойки, но и выгадав себе треугольный участок, где посеяла траву, посадила цветы и врыла в землю лавочку. Межколонья она увила плющом и диким виноградом. И хотя весь ее надел был чуть больше тех садиков, что андерсеновские хозяйки выращивали на подоконниках, домовый комитет потребовал, чтобы Высоцкая сделала свой сад доступным для всех граждан, проживавших в доме. Старуха согласилась, но повесила объявление, что «в открытом для массовых гуляний саду категорически запрещено ездить на велосипедах».

Мать — капиталистка. Сын — революционер, устраивавший на ее фабрике митинги протеста. И Боже, как сходно они заканчивали жизни в загонах и закутках!

Вокруг Александра Осиповича здесь толпились сельские ребята. Кого-то он натаскивал по математике, кого-то учил немецкому языку, игре в шахматы. Продолжал писать свои философские заметки, решать математические задачи. Листы бумаги, которые привозила Олюшка, были испещрены цифрами. Математика и философия оставались его пристрастиями, но надежд на публикацию не было никаких. Иждивенчество убивало его.

Ольга приезжала в Веселый Кут регулярно. Платила хозяйке деньги за жилье, за уход, пополняла продуктовые запасы мужа, среди которых кофе оставался главным.

Сюда навевывались досеверные и северные друзья. Чаше и дольше всех гостила в Веселом Куте Хелла.

Все мы были отвратительно бедны. Скрасить убогий быт его жизни возможности не имели.

Приезжая к Александру Осиповичу, я неизменно попадала в атмосферу заразных идей и «внутренних размышлений». Можно было спорить о тайнах бытия, о Боге, в которого он не верил. И более всего слушать.

«Ну, вот тебе схема, как раскрыть секрет личности, — начинал Александр Осипович. — Весь комплекс внутренней жизни условно назовем статикой. А то, что наступает как разрядка, в узком смысле — осуществление, формулировку для ясности обозначим динамикой. Понятно? В сочетании двух начал и...» И сразу все удивительным образом становилось понятно и — хорошо, как нигде.

К вечеру в хате зажигалась керосиновая лампа. Хозяйка приносила жбан молока.

Александр Осипович не сетовал, не жаловался ни на что.

Я все-таки не постигала его. И как-то спросила: «На кого из литературных персонажей вы считаете себя более всего похожим?» Подумав, он ответил: «На Нагеля, пожалуй».

Ответ поразил. Даже задохнулась. «Мистерии» Гамсуна читала. «Викторией» была задета с юности. Но от знакомства с Гамсуном оставался скорее привкус, чем ясное представление. Нагель и ранее смущал, был неясен. Однако я поняла: Александр Осипович проговорился не просто об одиночестве, но и о катастрофическом отрыве от всего и всех, когда между внутренним миром человека и остальными гуляет космический сквозняк. Нагель — обособленность, замкнутый мир. Мистификатор.

Как же Александру Осиповичу худо!.. Какое непроглядное, ледяное одиночество.

В 1956 году Александра Осиповича реабилитировали.

Имея справку Военной коллегии Верховного суда об «отсутствии состава преступления» после отбытия трех сроков, обошедшихся ему в двадцать пять лет, Оля могла теперь перевезти мужа к себе, в Кишинев.

В общей сложности они прожили вместе не более шести-семи лет. Остальную жизнь — порознь. Муки и благо из их воссоединения после столь долгой разлуки не каждый, уверена, сможет домыслить сам. Вживание в так называемую нормальную жизнь — процесс чрезвычайно болезненный. Во многом неодолимый и непременно драматичный.

Когда, приезжая в Веселый Кут, я пересказывала Александру Осиповичу итальянские картины, которые тогда так потрясали: «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов» и другие, он сокрушался: — Я безнадежно отстал от всего, что сейчас делается в кино. А ведь мог бы помогать Олюшке.

За маленьким письменным столиком вечерами сидела Оля, сочиняя и правя режиссерские сценарии. Утрами, когда она уходила на студию, это место занимал Александр Осипович.

Кинорежиссер-документалист, Олюшка много ездила по Молдавии. В холод, в жару. На поезде, на дрезине, на газике. Я видела

ее киноленты: о медиках-кардиологах, о маленьких детях, о подпольщиках Молдавии, о раскинутых по холмам в красноватом мареве заходящего солнца молдавских селах, где мастерили, выращивали виноград, танцевали их жители. Ее картины неизменно трогали душу человечностью, были благоуханны, теплы и поэтичны.

Желая теперь привлечь к своей работе мужа, она просила его послушать тот или иной сценарный план. Советовалась с ним. Однажды всплыла: «Тебя это не греет! Ты снисходительно все выслушиваешь, Сашенька!»

Скорей всего, действительно не грело, и, наверное, — снисходительно.

В одной реальности они нынче видели разное. Двое близких, родных людей, в прошлом связанных общими идеями и одной профессией, могли, думаю, создать теперь до курьеза взаимоисключающие фильмы об одном и том же историческом отрезке времени.

Для того чтобы оставаться реальной материальной базой семьи, Оля обязана была считаться с тем, чтобы в «идейном» плане ее фильмы были непогрешимы. Потому, как честный, искренний человек, она всеми силами стремилась удержать хоть какое-то внутреннее согласие с собой. Оптимистическая модель мира, утверждавшаяся в искусстве того времени, оставалась и ее моделью, несмотря на судьбу Александра Осиповича.

Ни о чем тюремном, лагерном она никогда не спрашивала ни мужа, ни меня. Наше прошлое воспринималось ею как внесоциальное, внеполитическое, несчастье вообще. Она инстинктивно отстранялась от того, чтобы выносить суждение о смысле и содержании исторической трагедии.

А душевная зажатость Александра Осиповича, напряженность его сцепленных рук, сознание ненужности и бессилия тем временем убивали его. Он жил где-то в глубинах подлинной, истинной жизни, в мире вечных, несуетных истин. Но существовал там один.

Любя обоих, я страдала за него. Видя, как бьется Олюшка, проникалась глубоким сочувствием к ее одиноличной бесславной битве «добытчика».

Поистине это была душераздирающая драма.

Вскоре к тому же произошел тяжелейший разлад с Хеллой.

Наезды Хеллы в Веселый Кут не вызывали особых осложнений. Ее обожание Александра Осиповича и уважение к Ольге удерживали ситуацию в границах достойного. Визиты же в Кишинев на девятиметровую площадь осложняли существование хозяев дома.

В одно из своих посещений, поддавшись соблазну, Хелла прочла полугодовой давности письмо Александра Осиповича к жене, в котором он писал ей, что устал от затянувшегося пребывания Хеллы в Веселом Куте.

На Хеллу, благословлявшую все, вплоть до обильного снегопада, отрезавшего как-то зимой хату Александра Осиповича от мира («Пусть бы навсегда все засыпало, только бы сидеть там возле него»), письмо подействовало так, как если бы ее смертельно ранили. Скрыть самочинного прочтения письма она не смогла. До сих пор

закрывавшая на все глаза Ольга Петровна возмутилась и сказала, что больше не хочет видеть Хеллу.

Поступок Хеллы был, очевидно, некрасив. Но!.. Мы были подсудны иным законам. Я-то знала, что такое за предел дремучего Хеллиного одиночества. Кроме Александра Осиповича и нескольких друзей, на этой земле у нее никого и ничего не было. Ее толкнула на этот поступок потребность убедиться в том, что она хоть что-то значит для Александра Осиповича.

Вышвырнув нас из жизни, действительность ничуть о том не печалилась. Это нам самим не давали покоя непрожитые, недотраченные жизни, не востребованные наши силы. Оставаясь неприкаемыми, мы продолжали виснуть друг на друге, как гири. Все утраты обязан был возместить друг. Мы измучивали друг друга вопросами: «Кто я тебе? Поклянись, подтверди хотя бы, что моя привязанность тебе в радость».

После случившегося разлада Хелла угодила в московскую психиатрическую клинику. В свое время возрожденная к жизни Александром Осиповичем, она сейчас не выдержала его невольного удара.

Никто тогда не удосужился вникнуть в буквальный смысл, вложенный Александром Осиповичем в злополучное слово «устал». А он устал. От всех и от всего. Он был смертельно болен. И состояние его все ухудшалось и ухудшалось.

Справка о реабилитации дала возможность Ольге поместить Александра Осиповича в правительственную больницу Молдавии.

После репетиций я теперь спешила туда: побыть возле него.

Именно в этот момент на «Молдовафильме» приступили к съемкам художественного фильма «Атаман кодр». Снимать картину предложили Оле. После стольких лет ущемления и гонений за мужа за ней, наконец, признали право снимать полнометражную художественную картину. Александр Осипович настаивал: «Соглашайся! От одного этого я поправлюсь». Уговаривала Олю и я: «Каждую свободную минуту буду сидеть возле Александра Осиповича».

Согласиться Оля согласилась, но взяв на себя и фильм, и больницу.

Съемки велись на натуре, в пятидесяти километрах от Кишинева. Измученная работой и сильной июльской жарой, к ночи Оля на газике добиралась до города, чтобы дежурить возле мужа. Александр Осипович нетерпеливо поглядывал на дверь:

— Не знаешь, скоро примчится мой Зулус?

Все отошло. Снова и, видно, как никогда еще до этого, они были едины, слитны. Болезнь освободила Александра Осиповича от комплекса «иждивенца». Едва боль отступала, он становился мягким, удивительно точным, не переставая удивлять то одним, то другим человеческим проявлением.

Лето было несносно жарким. В больнице — духота. Чтоб больным легче дышалось, на двери навешивали мокрые простыни. Александр Осипович лежал в палате один. Тихо подойдя к двери, я услышала его стоны. Но едва приподняла край простыни, как он тут же перевел стон в напев, будто что-то про себя мурлыкал. Никто не должен был знать, что он уступил боли.

— Я ведь умру, Тamarочка, — тихо сказал он однажды. — Все идет к концу. Я устал. Не помню, кажется, у Герцена есть слово «усталь». Нет, нет, сейчас все спокойно. Я только теперь понял, как хорошо чувствовал себя до приступов... Так я хотел тебе подарить «Охранную грамоту» Пастернака. Не сумел. Боря любил мою сестру Высоцкую. Ей посвятил «Марбург». Мы были в юности дружны. Вдруг ты с ним когда-нибудь встретишься? Расскажи ему про меня. Спасибо тебе за все! Спасибо! Ты не знаешь, кто ты. Не знаешь. Ты — сестра милосердия.

Временами он терял сознание. Уколы помогали не сразу. Лишь спустя какое-то время помутневшие глаза постепенно становились осмысленными. Выбравшись вроде бы уже из небытия, осознав, что рядом нахожусь именно я, как бы в продолжение нашего давнего спора о Боге, в опровержение себя он неожиданно произнес:

— Знаешь, а там кажется что-то есть!

Где он побывал? Что ему открылось, когда сознание не властвовало над душой? И не это ли самое он исповедовал, когда говорил: «Ни во что в своей жизни, кроме как в чудо, не верю». Потрясенная откровением, посетившим его, я сидела возле постели уходившего из жизни Учителя и беззвучно рыдала, теряясь перед бесконечностью путей живого.

Оля видела, с каким нетерпением ожидал Александр Осипович ее прихода.

— Я отказалась от картины, — объявила она. — Никаких фильмов. Хочу быть неотлучно возле Саши. Все остальное не имеет значения.

Сосредоточенная, любящая, она наклонялась над ним.

С пронзительной силой я поняла однажды, что нечаянно присутствую при их изъяснении друг другу в необычайной, величайшей нежности, в любви и благодарности. Одним им была ведома сила, повзавшая их на мученическую жизнь врозь, на страдание и такой живой, исходящий из сердца итоговый трепет — нынче.

Благодарю жизнь за наглядную ту очевидность: не все удастся разбить вдребезги. Верности воздается истиной и любовью. В конечном счете это лучшее, что я увидела и поняла о пребывании человека на земле вообще. Душа человека неожиданнее зоркости разума.

Я понимала потребность Оли одной находиться возле мужа. Она и меня допускала скрепя сердце. Не раз срывалась, сменяя меня: — Спасибо! Иди!

— Нет, пусть останется, — просил Александр Осипович.

Хелла, выписавшись из больницы, молила, рвалась навесить Александра Осиповича.

Я решилась:

— Олечка, родная, разреши Хелле приехать повидать Александра Осиповича.

Мы были в комнате вдвоем. Оля сидела вполоборота ко мне. Я с ужасом увидела, как на ее щеках, на шее появились красные

пятна. Они багровели, множились. Оля молчала. Из-под тяжелого, нависшего молчания, казалось, рвался крик: «Оставьте же вы нас одних, наконец! Не хочу никого из вас видеть! Не могу выносить ваших притязаний! Он мой! Я у него — единственная!» Но Оля не проронила ни слова.

До той минуты я полностью не отдавала себе отчета в том, что к границам их жизни можно приблизиться, но никто не смеет их переступать, что отношения, которыми мы спасались в лагере, — достояние Прошлого.

— Прости! Прости меня! — только и могла я сказать.

Подошло время моего отпуска. Я полагала, что смогу помочь чем-то большим. Оля была неумолима:

— Уезжай! Ничья помощь мне не нужна! Я сказала: уезжай!

Не подчиниться ей я не могла.

Убитая, я бессвязно объясняла Александру Осиповичу, что уезжаю на гастроли. Но едва мы с Димой доехали до места отдыха, как принесли телеграмму: «Если можешь вернись страшно оставлять одного Ольга».

В Кишинев мы вылетели первым же рейсом. К одиннадцати часам вечера я была у дверей больницы. Меня не пустили: «Сейчас у него жена. Придете утром».

А в семь часов утра Александра Осиповича не стало.

В жаркое июльское утро 1958 года в южном городе Кишиневе на киностудии «Молдовафильм» собралось большое количество народа. Было много музыки, мало речей. Александра Осиповича здесь знали как мужа Ольги Петровны, много лет отсидевшего в лагерях.

Могила Александра Осиповича находится близ церкви на армянском кладбище города Кишинева. На сером гранитном памятнике Ольга Петровна попросила выбить:

1888—1958 гг.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ГАВРОНСКИЙ

Ты любил людей,
Ты помогал им жить,
Ты всегда будешь с нами
Живой, неизменный, любимый.

Да. Он вдохновенно любил людей. Каждому помогал отыскать дорогу к себе. Мы все — поправленные им рисунки.

Если бы бросить клич: «Все! Пришлите письма, написанные вам Александром Осиповичем!» — думаю, собрались бы тома.

У милой, доброй Лялечки Клавсутъ воспоминания начинаются так: «Я в своей жизни любила маму и Александра Осиповича Гавронского».

Изидор Григорьевич Винокуров — ученик, помощник и верный друг Александра Осиповича и Ольги Петровны — вспоминал ска-

занное драматургом И. Ф. Поповым: «Беда в том, что Саша возомнил себя революционером, а он — ученый. Им бы ему и быть!»

Действительно! Мне не давала покоя мысль о стопах исписанных листов, оставшихся в Веселом Куте.

— Если хочешь, я съезжу в Веселый Кут и привезу бумаги Александра Осиповича, — предложила я Оле.

— Как раз об этом и хотела тебя попросить. У самой нет сил туда ехать, — обрадовалась она.

Поезд в Веселый Кут приходил ночью. На вокзале меня ждал славный и умный мальчик Витя Врублевский, которого Александр Осипович особо отличал из всех.

Августовское небо было усеяно крупными звездами. Свет их настраивал на тот лад, когда не хочется разговаривать. Если умешь стать под мерцающим сводом затаенней и тише ночного безмолвия, можно почувствовать себя органической частью мироздания, вибрирующей с ним в унисон. Великое искомое ощущение целокупности.

Утром в комнату, отведенную мне под ночлег, вошла Витина мать с малышом на руках. За подол держались еще двое. Всего было семь. Десятилетняя девочка внесла тарелку с творогом, огурцами и медом.

— Ижте, ижте, гостичка дорогая. Не соромтеся, — без улыбки говорила хозяйка.

В ожидании, когда отведают ее угощения, она притулилась с ребенком к дверному косяку. Дети сбились вокруг.

— Нету Осиповича! Нету!.. Не соромтеся! Ижте, — все приговаривала она и утирала слезы.

От Врублевских я направилась к хате, где раньше жил Александр Осипович. Хозяйка возилась в огороде.

— Здравствуйте. Приехала взять бумаги Александра Осиповича.

— Все я собрала. Все сложила. Все теперь на чердаке лежит, — степенно ответила она.

На чердаке было чисто, душно. В углу, завернутые в занавески, лежали вещи Александра Осиповича.

— А бумаги?

— И бумаги тут. Все сложила. Ни одной бумажечки не выкинула.

Я перебирала аккуратно связанные письма: Олюшкины, Хеллины, Тамары Цулукидзе, Нины Владимировны Гернет, мои, еще и еще.

— А листы такие были... не письма. Цифры там, много цифр, и все исписано?

— Не было больше ничего. Все тут.

— Вспомните. Листы были большие. Ольга Петровна привозила специальные такие...

Хозяйка приподняла плечи: не знаю, мол. И тогда я без обиняков спросила:

— Кто-нибудь приезжал сюда после смерти Александра Осиповича? Да?

Немало я слышала и знала об отношениях сторонних людей к нашим судьбам. Сказали: «Враг народа», значит — враг. Но было и другое. Протянутая кем-то кружка молока. Сердобольный вздох. Сочувственный взгляд.

В Теньтюково Мира Гальперн жила у коми. «Как это вы не пойдете за стол? — говорили хозяева. — Как это мы чужие? Вы — люди, и мы — люди... И-и-и, каких людей уничтожают!..»

В Ярославле в тридцать седьмом на расстрел возили в фургонах за город. Жители окраин рассказывали:

«Постреляют там. Хорошо — не закопают. Так мы несколько часов подождем, а потом возьмем лопаты да набросаем землицы, чтоб ноги да руки те не торчали, чтоб их не видно стало».

Суровая украинская крестьянка была из раскулаченных. Преодолев страх, она на прощание сказала:

— Милицейский, что отмечать его ездил, что-то брал.

Это я и предполагала. Как Александр Осипович страдал в Княж-Погосте, когда вохровцы при обыске отбирали его труды! И вот, в который раз... Воровство! Будет где-то пылиться? Или выйдет в свет под именем пройдох и невежд?

Складывая в чемодан пачки писем, я открыла старый, потертый блокнот: «Здравый смысл — это концентрированный опыт прошлого». «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». «Только простые души верят в могущество правды. Единственно ложь сильна и действует на человеческий разум своими прелестями, разнообразием и своим искусством развлекать, хвалить, утешать. Ложь дает человеку бесконечные надежды. Без нее оно погибло бы от отчаяния и скуки...»

«Сколько честолюбия нас гложет на заре наших двадцати лет. Все горизонты земли и все дымы славы малы для нашего желания завоеваний».

Уже не возразишь, не спросишь: «Что, собственно, есть правда? Что — ложь? Как быть с горизонтами земли и дымами „славы“...»

И, главное, как примириться с его уходом из жизни?

Ольга Петровна Улицкая

После смерти Александра Осиповича Олюшка прожила двадцать лет.

В одной из прижизненных статей о ней замечено:

«Она располагает к себе сразу, одним поворотом головы, одним взглядом, в котором мудрость, доброта, сердечность. Все больше узнавая Ольгу Петровну, я невольно восхищался ее человечностью... молодым задором, без которого трудно представить этого человека».

Именно одним поворотом головы, одним взглядом она сразу привлекала к себе.

На одной из подаренных мне фотографий она написала: «Не казни ты себя и не мучай, человеческой доли раба!» «Человеческой доли раба» к ней относилось более чем к кому-либо другому. Она всегда жила для кого-то. Не для себя.

Ее способность сострадать любой человеческой беде, равно как и собачьей бездомности, по сути, границ не имела. Она могла привести к себе в дом и накормить любого оборванца, дать ему с собой десятку. Не раз покупала для своих знакомых путевки в санатории.

Отдав свою жизнь Александру Осиповичу, пожертвовав всем, она — человек глубокий и чуткий — и после ухода мужа боялась додумать его судьбу до конца. Для нее это было бы — смертельно, не менее того:

«Мчишься, стоя на месте, как на каком-то безумном эскалаторе. Боишься оглянуться назад, чтоб не потерять равновесие, боишься заглянуть вперед по той же проклятой причине. Так и топчешься на мучительном пятачке своего «сегодня» — без глубокого дыхания, только на поверхностном, минимальном, — писала она. — Спасательная корка? Профилактика? Анестезия? Что-то в этом роде».

«Вот сейчас, Томик, мирным и одиноким воскресным вечером, сидела на кухне, пила чай, что-то читала при этом (чтоб не бродили мысли где попало, хорошо их приковать к книге), потом перешла в комнату, где еще не был включен свет. Это было волшебство. Я попала в другой мир. Тени от еще не опавших листьев — по окнам, по стенам, легкие, колеблющиеся, фонарь за окном — как тонкая вытянутая луна. Комната стала другой, сокровенной, лишенной будничной трезвости. Я подумала: «Вот хорошо бы посидеть на тахте, не зажигая света, пустить «душу под пар». Пусть поднимется что-то из глубины твое, дорогое».

И что же я сделала? Сейчас же включила свет. Нельзя. Не могу «остановиться, оглянуться». Слишком много нахлынет боли. Она парализует. А жить нужно дальше. Прими эту одну из моих минуток, прими, как умеешь понимать и принимать все только ты одна! Обнимаю тебя, сестра моя по жизни! Твоя Ольга».

Сравнивая нас, она писала: «Ты — стремительный поток, рвущийся вперед, а я колодец, где все сковано и спрятано где-то на дне». Я угадывала «скованное и спрятанное», знала ее срывы, страхи, вспышки и любила Олю преданно, всем сердцем. Всегда рвалась к ней и после отъезда из Кишинева.

Дружба с ней, с одной из самых светоносных и прекрасных женщин, встреченных в пути, стала не только убежищем и утешением, но и клеем жизни. Никто не сосудил мне столько тепла, добра и участия, сколько она.

Человеку необходимо, чтобы его любили. Мне нужно было, чтобы верили моей любви. Олюшка подарила мне и это, за что я ей благодарна особо! «Мой самый близкий, самый родной и единственный Том! Писать бы мне тебе и писать нескончаемо. Разве может когда-нибудь кончиться разговор между нами? Даже во времена молчания он продолжается, ведется ежедневно. Детка моя трогательная, спасибо тебе за все. А главное, за твою неизменную любовь, верней которой нет ничего на свете».

Летом 1976 года принесли телеграмму: «Заболела если можешь приезжай Ольга». Оформив отпуск, выехала.

— Операция нужна безотлагательно, — сказали врачи.

Наихудший диагноз торопил. В маленькой послеоперационной палате на двоих поместилась и я, чтобы быть возле Оли.

Осложненный особенностями заболевания послеоперационный период был до крайности тяжел. Оля изо всех сил держалась: «А как Сашеньке было? Помнишь?»

К ночи третьего послеоперационного дня я погасила в палате электрический свет. В больничное, до половины затертое мелом окно бил яркий лунный свет. Оля ровно дышала. Казалось, уснула.

Тихо лежа на койке рядом, я от неожиданности вздрогнула, когда услышала ее голос:

В поле не видно ни зги.

Кто-то зовет: «Помоги!»

Что я могу?

Сам я и беден и мал,

Сам я смертельно устал.

Как помогу?..

— Чье это, Олик?

— Федора Сологуба. Хорошо?

— Господи, как!..

Я вышла на балкон больничной палаты. Видны были: овраг, лес, холмы. На нижней незаощенной дороге грохотнула телега. Укрытый теплой лунной ночью, в ней, должно быть, ехал угрюмый крестьянин. Рядом Олечкино сердце сводило счеты с болезнью и с поэзией: «...кто-то зовет: «Помоги!» Откуда рядом с беспомощностью такая нежность и боль за другого человека? Что за пронзительное, неличное чувство живого? И почему эта печаль кажется лучшим и горчайшим из всего, что испытал? Может, так: от перенасыщенности когда-то на зеленом стебле появился цветок, родился аромат и вспыхнуло сверкание в камне?..

Олечка хотела жить. Вскоре ей стало чуть легче. Половина моего отпуска кончилась. Оставшиеся дни я решила приурочить к моменту второй операции. Из Ленинграда звонила ежедневно. Сама Олюшка писала:

«Сердце мое, Томик! Друг и товарищ многих здешних ночей и бесед! Смотрю на пустую койку рядом, и все мне кажется, что ты здесь. Тебя вспоминают здесь все врачи, сестры и нянечки. Ах, Томик, как полно сердце, как много хочется тебе сказать. Почувствуй все, что во мне к тебе, как ты всегда умеешь это чувствовать. Обнимаю тебя, сестра моя Жизнь! Целую тебя».

Я почти верила, что, вопреки пессимистическим прогнозам врачей, она победит недуг. Но на мою телефонную просьбу подойти к палате и позвать ее ответили вдруг: «Там уже никого нет. Вынесли».

Друзьями и сослуживцами по киностудии было сделано все возможное, чтобы прощание с Ольгой Петровной Улицкой стало достойным ее высокой души.

Студия «Молдовафильм» установила Олюшке памятник из такого же, как у Александра Осиповича, серого гранита.

Супруги, прожившие столько лет врозь, находятся теперь друг возле друга. Могила к могиле.

Елена Густавовна Фришер — Хелла

Хелла приехала в Кишинев уже на могилу Александра Осиповича. Приехала вместе с Ниной Владимировной Гернет. Кружила вокруг холма, присаживалась, пела ему колыбельную на немецком языке, что-то шептала...

Мы с Ниной Владимировной, стоя поодаль, караулили ее.

Она точно определяла суть своей драмы:

«Я не только одинока, но и раздвоена! Без памяти люблю Александра Осиповича. Я люблю его по сей день, и нет мне покоя, нет выхода, пока не покончу со всем на свете».

Россия, Чехословакия, свобода, неволя, малопохожие друг на друга друзья, в самом деле, располовинили ее душу.

После освобождения на родину, в Прагу ее не пустили.

«День-ночь, день-ночь я на родине, с теми, кто давно меня похоронил. Так всецело я там, что признаюсь тебе (никогда, никому больше), я не хочу видеть никого, кто не они, кто после вошел в мою жизнь. А ведь я многих любила, не могла не полюбить за десятилетия трудного пути».

Когда через несколько лет стало возможно поехать в Чехословакию хотя бы по туристической путевке, она не решилась сама. «Долгие ночи думала. Отказалась. Зачем я ей, Лилли (сестре), которая уже 37 лет считает меня мертвой?»

Узнав об Ольюшкиной смерти, Хелла написала:

«О жизни Ольги вспоминать не могу. Думаю, как о несправедливом потоке мук, ожидания, самоотверженности, непосильном труде. Справедливость? Откуда ее ждать?.. Ты сделала много сверх возможного для своей подруги. Пусть это облегчит твою боль, которая неумолима. А вот я в себе могу отыскать только горечь и вину, вину!»

Чувство вины снедало ее: перед сыном, сестрой, расстрелянным мужем. Перед Ольгой Петровной — также.

После реабилитации она получила в Москве комнату. Ей надарили кое-какую технику: телевизор, приемник. Страдая бессонницей, она ночами ловила «голоса», была в курсе гонений, танковых вторжений, всех мировых событий.

Лишь дружба с удивительной и щедрой Ниной Владимировной Гернет вывела Хеллу к жизни. Она предложила Хелле переводить с чешского на русский пьесы для театра кукол. Брала ее с собой на все фестивали этих театров. Хелла оживала. Преображалась. Становилась даже кокетливой. Появлялся шарм. Ее библейская красота останавливала на себе взгляды многих. Меткие, талантливые суждения поражали окружающих. «Он всю жизнь прожил возле себя!» — припечатывала она одного. «Сегодня мне не хватает еще одной головы». Или: «У меня несколько сердец. Одно из них сейчас

работает хорошо», — говорила, смеясь. Любимым ее изречением было: «В нашей жизни много раз так трудно не было».

Но «бал» кончался. Хеллу вновь атаковала бессонница, тоска, грызущая боль одиночества. Когда в жизни «все слишком сложно, слишком много, слишком густо», это квалифицировалось врачами как душевная болезнь. Но Хелла выбиралась из этих расщелин, снова на время возрождалась, выверяя вопрос Бетховена: «Неужели иметь опору надо всегда и навсегда только в себе самом?!»

Над сотворением этой опоры мы непрерывно трудились всю жизнь. Ее изничтожали. Мы пытались отстроить ее заново.

Две писательницы — Энна Михайловна Аленник и Нина Владимировна Гернет усадили Хеллу за письменный стол: «Пиши! Все, что видела, что пережила». Правила. И написанное «русской писменницей» Хеллой Фришер было одобрено и признано людьми «с именем». Хелла победила себя и на этот раз.

«Дорогая моя, — писала она мне. — Да, жизнь наделила нас суровой судьбой. Но такое случается с миллионами. А нас с Тобой, Тебя и меня, наградила еще каким-то изнутри идущим огнем. Потушить его мы не можем, как не можем жить без сердца или дыхания. Все это мы знаем, но знать здесь — не выход».

Хелла на шестнадцать лет была старше меня, но связаны мы с ней были «смертно» именно этим «огнем», возраста не имеющим.

Стоило грянуть моей сердечной грозой, как именно Хелла не только стала за меня горой, но, подставив плечи, «горела» рядом:

«Томи! Держись! — требовала она. — Ты опять стала самой собой со своим внутренним вихрем, бурей и трепетом! Я прошла такое. Ты должна! Прошу! Не сделайся горькой! Если новое станет требовать тебя категорически — не обманывай себя. Живи правдой! Какая бы высокая цена ни была. Да, буду я, моя Судьба Тебе уроком навсегда!.. Я выгорела, и на этом месте ничего уже не прорастет. Эта горячая зола не остывает. Жжет и жжет. Я хочу, категорически хочу правом любви к Тебе и правом пережитой мною трагедии, чтобы теперь — не Ты! Помни мои страдания, мою погубленную жизнь. Я одна знаю, что знаешь Ты. Умоляю! Иначе Ты погибнешь, как погибла я».

Превратившись в свободную энергию, мы уже сами рушили жизни других людей. Ужасаясь себе, я писала ей об этом.

«Да. Ты права, — отвечала Хелла. — Жизнь железная. Сердце еще более железное. Никому не говорю, не пишу такое. Только Тебе. Мы понимаем друг друга. Это наша совместная тайна. Если она и не утешает, она все же нужна нам. Мы, Ты да я, не станем друг перед другом бодриться. Нам так легче!»

Что-что, а захватывающую душу искренность мы отвоевали у жизни с лихвой. И существовать без нее не умели.

Да, жизнь Хеллы — пепелище. Она пережила крушение своих социальных идей, любви, материнства. Но вот я получила письмо:

«Приезжай! Непременно! Хочу познакомить тебя с моими молодыми друзьями: Киной, Розикой, Ритой, Аликом, Наташей».

Решительно все тут было не похоже на прежнюю Хеллу, на строй отношений с прежними друзьями. В ее душе хватило горячего пепла на победительный роман с последующим поколением. Смеею сказать: с лучшей частью московских молодых людей. И это было откровением. Грандиозным. Оно имело уже отношение не только к отдельному человеку, но и к человечеству в целом.

Из тостов на Хеллином семидесятипятилетию явствовало: молодые друзья ее угадали и поняли объемнее, чем мы. Для нас мостом к пониманию была общая боль. Новым друзьям было в ней все понятно: и одиночество, и юмор, и игра натуры. И я поразились духовно-вещной сопричастности мыслящих молодых людей к исковерканной Судьбе во многом уже творчески погасшего человека.

«...О Родине, родных — о самом больном и далеком — они никогда не спрашивают, — делилась Хелла. — А в доме у Киры (Киры Ефимовны Тверовской) стоит на видном месте фото Александра Осиповича. Господи! Какая она всем нужная, Кирюша! А трудно ей, преподает электронику, даже суббот нет свободных. Собрания. Конференции. Стиральная машина. Большая квартира, трое мужчин, но всегда приветлива, на высоте...

Алик притащил огромный рюкзак с подарками. Рита пригласила меня на дачу. Марик и Саша притащили на своей лошади (велосипеде) много зелени, компотное...»

«Доживу до восьмидесяти лет! Благодарность заставит!» — обещала Хелла. Дожила. Перед кончиной мало на что реагировала. Кира Ефимовна пыталась ее отвлечь письмами, рассказами. Она выслушивала и отвергала: «Не интересно».

Удивительные Хеллины друзья из другого поколения одинокой иностранке установили в Москве памятник. Высекли на нем: «1904—1937—1984» и имя Елены Густавовны — Хеллы Фришер.

В лаконизме, в дополнительной между годами рождения и смерти дате можно многое прочесть и понять про жизнь вообще.

Тамара Григорьевна Цулукидзе

В 1951 году в места ссылки за подписью Молотова был разослан правительственный циркуляр: «Бывших политических заключенных использовать только на физической работе». Человеконенавистнический документ существенно сказался и на судьбе Тамары Цулукидзе. В глухой красноярской деревне, куда она была выслана, ее с клубной работы уволили. Блистательную когда-то актрису определили на работу в колхоз птичницей. На одной из любительских фотографий, сделанных там, Тамара сидит на срубе колодца и, запрокинув голову, смотрит в небо; на другой — держит на руках курицу, словно бы разговаривая с ней. Тепло домашней птицы, должно быть, утешает, поведывает о чем-то.

Мы встретились с нею в переделкинском Доме писателей после всех ее мытарств, через пятнадцать лет после моего освобождения. Встретились случайно. Друг друга не сразу узнали. Очень изменились

обе. Проговорили несколько часов кряду. Без утайки поведали одна другой обо всем пережитом за эти годы и расстались не просто близкими, а родными.

После возвращения из ссылки Тамара сыграла в тбилисском театре Руставели несколько ролей, но вскоре переехала в Минск. Ссылку ей помог пережить такой же измученный и одинокий человек, белорусский писатель Алесь Осипович Пальчевский. Она вышла за него замуж.

Седоголового, красивого Алеся Осиповича нельзя было не полюбить. Еще не видя его, я приняла этого человека в сердце через знакомую боль. После освобождения сын Алеся Осиповича, взрослый уже молодой человек, не захотел в нем признавать отца. Сама трагически потерявшая ребенка, Тамара сердцем делила эту драму с мужем.

«Если бы ты только видела эту невыносимую тоску в глазах Алеся при редких встречах с сыном», — рассказывала она.

Когда, устроившись в кресле под торшером, в один из приездов к ним в Минск, Тамара стала читать страницы своей будущей книги «Всего одна жизнь», в которой описывала театральные искания Александра Васильевича Ахметели, спектакли этого выдающегося режиссера, свою собственную артистическую судьбу и недолгую, но счастливую жизнь с ним, я увидела, как горд Алесь Осипович ее проявившимся литературным дарованием.

Бережное приятие предыдущей жизни друг друга открыло и смысл и силу брака Тамары и Алеся Пальчевского как союз двух пострадавших, все на свете утративших людей.

История издания ее книги — сюжет особый. Препград на пути было много. Однако нашлись подвижники (имя Нателлы Арвеладзе хочу упомянуть особо), и книга увидела свет. Поток читательских откликов, писем детей и внуков людей со схожими судьбами дали Тамаре не второе... седьмое, а уже «энное» дыхание и продлили ее жизнь. Удивительными были эти письма с родины: доверительные, как исповедь, горячие и благодарные. Все шли и шли. Она их бережно складывала одно к другому, чтобы как архив подлинной исторической и человеческой ценности отдать затем в музей.

Память о своем муже Ахметели она достойно увековечила и своей книгой, и тем, что собрала обширнейший, громадной ценности архивный материал для тбилисского театрального музея.

К слову памяти о моей дорогой грузинской подруге упомяну об одном изобретении распнувшей нас власти.

— Помнишь известного армянского актера... — Тамара называла его имя. — Представь, он утверждает, что в тысяча девятьсот сорок шестом году видел Сашу живым. Будто встретил его в трамвае. На Саше, мол, был бушлат. Они обнялись. Саша сказал, что едет в Ленинград; приглашен на постановку «Царя Эдипа». Что Саша хотел остановиться у Чувячича, но он, дескать, заставил его поехать к себе. Дал помыться, уложил спать. Саша, по его словам, спал целые сутки... Конечно же, не сам он такое сочинил. Его принудили, заставили распространять эту ложь. Скажи: зачем? Как это можно?

Поистине, как можно замахиваться, покушаться на покой Памяти об уничтоженном человеке?

Пробивались и правдивые версии о последних днях Ахметели. Будто он был привезен из Москвы в Грузию. В кандалах. Его вывели в сторону Мцхеты. Охранник шепнул: «Беги!» Александр Васильевич, повернувшись, спросил: «Будете стрелять в спину? Наберитесь мужества — стреляйте так!»

Рассказывали еще:

«Его забросили в камеру обессиленного, окровавленного. Он сумел только сказать: «Я — Александр Ахметели. Прошу передать всем: я никого не предал. Завтра меня расстреляют».

Додумывать такое было выше сил. И откреститься невозможно. Снова оставшись одна после смерти Алеся Осиповича, Тамара воздала и ему все почести. На деревенском кладбище, которое приютило Алеся, поставила прекрасный памятник. Библиотеку отдала в книжный детский фонд. Дом, в котором родился Алесь Осипович Пальчевский, был превращен в музей.

Тамара всегда рвалась в Грузию, но и полюбившуюся Белоруссию покинуть уже не могла.

Моей жизни она успела «подарить» свою прекрасную страну. Я увидела слияние рек Арагвы и Куры, Пантеон на горе Давида, поклонилась любви Нины Чавчавадзе к Грибоедову, окунулась в историю грузинского жилища, утвари, очагов и костюмов. Прониклась этим и — полюбила родину моей сердечно богатой подруги.

Тамара Григорьевна Цулукидзе умерла в Минске. Минчане достойно и горестно простились с нею и отвезли ее прах на родину — в Тбилиси. Урна ее захоронена рядом с матерью и сыном Сандиком.

Как и все, я плакала, когда смотрела кинокадры последней съемки в минской квартире Тамары: скорая помощь стояла у подъезда; с трудом набирая дыхание, смертельно больная, она торопилась рассказать приехавшим работникам телевидения не о себе, а о последних тюремных днях своих товарищей по театру.

Я все хотела понять, почему так пронзительно, но так по-разному сжимается сердце за ушедших друзей. Тбилисское театральное общество устраивало вечер памяти А. В. Ахметели и Т. Г. Цулукидзе. Зал был переполнен. Грузия чтит знаменитых соотечественников. Была приглашена и я. И вдруг, в сценарии вечера, в старой радиозаписи прозвучал волшебный голос Тамары, в одной из сыгранных ею в тридцатые годы ролей, и я поняла: загублен талант! Вот откуда такая боль!

У актрисы, знавшей большую сцену, отняли подмостки. Слишком мало площади оставили ее артистическому таланту: чтение вслух поэм в домашнем кругу, тост при добром застолье да вечное придумывание сюрпризов окружающим. Единственным за последние годы выходом на публику был юбилей театра Руставели, когда она в знак признания заслуг руководителя театра Роберта Стуруа преподнесла ему репетиционный коло-

кольчик А. В. Ахметели, пленив присутствующих изяществом произнесенной речи.

Освободился, вышел на волю и женился на хорошей женщине Борис. Он стал известным и заслуженным. Разносторонность таланта проявила его недюжинную натуру в искусстве вполне. Нелегкая, содержательная наша дружба впечатана в душу взволнованной благодарностью и гордостью за него.

Умер урдомско-печорский друг Симон, оставив книгу собрания «мудрых мыслей».

Одолел все невзгоды одаренный Семен Владимирович Ерухимович. После лагеря и ссылки он в Ленинграде блестяще закончил Финансово-экономический институт, но самые большие радости ему, по-моему, принесла семья: жена Мэри и двое сыновей — Марик и Вова.

Еще в 1952 году от Шаня пришло ошеломившее письмо:

«Дорогая Тамарочка! Сегодня, 16 декабря, в 11 часов утра я получил извещение о том, что могу ехать на родину. И я снова родился. Делюсь с Вами этой радостью. Очень хотелось бы увидеть Вас в последний раз. Пишите или телеграфируйте. Целую вашу руку. 16.XII-52 г. Ваш Шань».

Шань просил разузнать, идет ли поезд на Пекин мимо моего тогдашнего уральского пристанища. Увы, магистраль, ведущая в Китай, отстояла на сотни верст к югу.

На родине он был назначен главным редактором иллюстрированного журнала «Китай». Много ездил по стране. От него приходили счастливые письма. Во время «культурной революции» переписка прервалась. Очередная историческая передышка отняла у Шаня еще 6 лет жизни. Только двадцать лет спустя, благодаря Хеллиной подруге (из молодых)—Рите мы снова нашли друг друга.

От настоящей потребности поехать на Север и побывать на Колюшкиной могиле я не уклонилась. К поездке подтолкнуло одно событие.

Услышав, как я открываю дверь в квартиру, вышла соседка по площадке:

— У меня сидит женщина. Вас дожидается. Говорит, приехала издалека.

Навстречу мне поднялась незнакомка:

— Здравствуйте. Вы меня не помните? Я дочь Ванды Георгиевны Разумовской — Кира.

Я помнила ее двенадцатилетней. Теперь ей было тридцать пять.

До этого, пару лет назад на Невском, на бегу задержалась взглядом на шагавшей навстречу женщине. Успела подумать: «Как хороша!» И мысль эту тут же сопровождал толчок в сердце. Обернулись мы обе, одновременно. Поначалу скорей догадались, чем узнали друг друга.

— Ванда? Вы?

— Тамара! Где я только вас не искала!

Ванда поразила собравшихся у меня вечером знакомых: «Королева!» Год назад она перенесла операцию. Нашли рак. Удалили почку. Эффектная, темпераментная, она яростно противилась болезням.

Закончив в городе Горьком педагогический техникум, возвратилась к матери Кира. Взаимоотношения матери и дочери интересовали меня более прочего. Я не могла забыть их ссор, их конвульсивных схваток.

— В общем, Кира оказалась совсем нехлюхой дочерью, — сказала в тот раз Ванда. — Но совсем неразвита. Упряма. Даже женщину в ней не могу пробудить. Ей безразлично, как причесаться, что на себя нацепить. Самолюбия нет никакого.

— Значит, она и замуж не вышла?

— Господи, да кто возьмет замуж мою убогую дочь?

После отъезда Ванды мы переписывались. Затем пришло письмо от Киры:

«Мамочке совсем плохо. Мамочка не встает. Просит апельсины, а их тут не бывает».

Выслала посылку с лимонами и апельсинами. Кира ответила благодарственным письмом и вскоре сообщила, что Ванда умерла. И вот она приехала в Ленинград. Я отвела гостью в ванну: «Прими с дороги душ, пока я что-то приготовлю». Все показала: «Захочешь воду сделать погорячее — поверни направо, похолоднее — здесь». Хлопотала по квартире и вдруг поймала себя на том, что не слышу, чтоб в ванне лилась вода. Постучала: «Как ты там?»

Тридцатипятилетняя женщина стояла в ванне раздетая, озьябшая, скрестив на груди руки.

— Не получается. Не знаю, как...

— Почему же ты не позвала? Почему не постучала?

— Неудобно. Вы же заняты.

Забитость. Самочувствие человека, пребывающего всю жизнь на краешке стула. Как мучительно это было знакомо.

— Да что же это ты, Киронька? Что же это такое, детка?..

Вечером, осторожно допытывалась: как вы с мамой? Ладили? Хорошо было вдвоем?

Кира не заплакала даже, а, захлебнувшись слезами, жутковато, тоскливо завывала:

— Я так виновата перед мамочкой! Так перед ней виновата!

— Господь с тобой, Кирочка! В чем ты перед ней виновата?

— Мамочка так хотела, чтоб я была умная, чтоб много читала, училась дальше, а я не хотела, не могла. Ей за меня было перед всеми стыдно. Она ведь такая образованная, такая красивая была, так хорошо играла на пианино...

Вот оно, оказывается, как бывает в жизни! «Убогие» дети пронзительно жалели своих красивых матерей, да еще так неизбежно. Сами стыдились своего несовершенства, не ведая, кто и в чем так неискупимо перед ними виновен.

Подробные рассказы Киры о детдомовской жизни, о помойках, где добывался дополнительный прокорм, о том, как лупили и отнимали добытое те, кто был посильнее и подлее, ее душераздирающие и безутешные истерики подстегнули, заставили быть активнее: подыскать для нее место воспитательницы в детском саду. Диплом давал ей на это право. Она любила детей. Но, недолго поразмышляв, Кира отказалась:

— А как же мамочкина могила?

— Будешь ездить на могилу в отпуск.

— Нет. Мамочка станет сердиться, если я оттуда уеду. Я не могу.

В Княж-Погост я поехала в конце августа 1972 года. Кроме меня в купе разместились учительница из Ухты с пятилетней дочкой и райкомовский работник из Княж-Погоста.

Люди с плохо развитым воображением немало отягчили дорогу. Желая просветить меня, они рассказывали о бывших здесь «политических зеках» как о чуме, сетовали на то, что кое-кто из них остался жить в этих местах после освобождения.

— А кто строил эту железную дорогу? — замерев, спросила я. Они не знали.

— Завербованных привозили... А может, и лагерники.

Я смотрела через окно на побеленные известью камушки, из которых на насыпи было выложено: «Наша цель — коммунизм!.. Выполним!.. Перевыполним!.. Миру — мир!» На станциях видела приготовленные к транспортировке аккуратно сложенные в штабеля бревна и распиленные поленья, вписавшиеся в пейзаж подъемные краны. Вдольдорожная «витрина» с лояльными вывесками «Леспромхоз такой-то» и впрямь отводила какую бы то ни было мысль о тех, кто, налаживая все это вручную, разгружал, распиливал и погибал.

На мостах поезд отчаянно громыхал. Реки иссохли. Резонировала пустота. Только на песчаном дне бывших рек виднелись застрявшие бревна, напоминая о лесосплавах.

Всюду в тот год полыхали лесные пожары, горел и торф. Под Москвой огонь тушили. Здесь — нет. Сквозь дым не проглядывал и первый перекат леса. По мере продвижения я погружалась в какую-то зловещую несообразность.

Въезд в Прошлое начался с Вельска... В памяти все возникало без окраски. Услышанные здесь слова Веры Петровны: «Покажи, как ты любишь свою маму, Юрочка»... Здесь оба «те» сочинили способ украсть его, избавиться от меня.

Ничего уже нельзя было поправить. Жизнь была прожита без сына. Я не наблюдала, как он развивался и рос. Не услышала обращения «мама». Ведь я фактически была убита еще тогда, здесь, но каким-то образом жила.

Кулой... Здесь похожий на сильную хищную птицу, но человеческий начальник колонны Родион Евгеньевич Малахов внедрил в мою неразумную голову идею подкараулить сына и сесть с ним в самолет, никого больше в то не посвящая.

Котлас. При разъездах ТЭК мы ожидали здесь с Колюшкой пересадок. Усталость сваливала с ног, и, кое-как пристроившись, мы засыпали на замусоренном, заплыванном полу вокзала.

Светик... Стужа вымораживала здесь до костей. Лесоповал. Цинга. Мстительное «сгною!»...

Как ни силилась в Урдоме разглядеть крест на могиле Матвея Ильича — не получилось.

Межог, где родился мой сын, стоял в стороне. Различно было лишь направление. Неужели это я сама, собственными руками донесла там до вахты завернутого в одеяло своего годовалого мальчика? Сама вручила, доверила его отцу?

Проехала и Микунь. Зачумленное сознание отвоевало здесь себя у страха перед МГБ, страха, которым была прошита вся жизнь.

Княж-Погост... Я должна была, не могла еще раз не ступить на землю, укрывшую Колюшку.

Кира вела меня по пыльной дороге к своему дому. Справа, в полутора километрах от поселка, находилось кладбище, Колина могила. Я явственно почувствовала возникшее натяжение между собой и этой точкой на Земле... «Сила» требовала меня туда сейчас же. И я хотела быть там, в тот же момент, но была ночь и тьма.

Стены Кириной комнаты в двухквартирном домике были увешаны фотографиями Ванды. В углу — старенькое пианино. Шкаф. Коробки одна на другой до самого потолка. Возле штепселя за проводкой прикреплен листок с начертанными рукой Ванды «Наказами самой себе»: «1. Воспитание воли. 2. Ежедневная гимнастика...» Было еще и третье, и четвертое. Споткнулась о первые два пункта, перехватило горло, и я не смогла читать дальше. Изувеченная судьба, не вызвавшая у окружающих сочувствия. Как все в жизни — строго и жестко.

На кухонном столе у Киры стояла батарея трехлитровых банок с маринованными огурцами, помидорами и соками, все, что бывало в сельпо и райпищеторгах отдаленных уголков страны. Обездоленная дочь моей давней приятельницы, накупив все это, хотела встретить меня «по-царски».

Идя на кладбище, я взяла с собой привезенную голубую масляную краску для ограды, гвозди, молоток, чтобы подбить доски, поправить скамеечку... Сейчас, недалеко от входа, слева. Еще несколько метров. Вот...

Все здесь было починено, прибито. Кем? Как? Только крест покосился.

Внутри ограды я насчитала пятнадцать небольших проросших сосен.

Сухие потрескавшиеся доски ограды ненасытно поглощали в себя масляную краску. Было тихо. Дымно.

Я ждала. Должно было прийти либо чувство нестерпимой боли, либо успокоения... Не приходило ни то, ни другое. Я стояла у какого-то порога. За ним — заслон толщиной в двадцатидвухлетнее отсутствие.

Все перебрала в памяти: Колюшкину лучащуюся доброту, истовость, артистизм, любовь, посетившую две наши жизни. Долго пробыла там. Несколько часов. Прошлое со мной не заговорило. Отступилось. Не приняло меня. Колюшка на меня сердился, что живу без него. Так же, как, по искреннему убеждению Киры, могла бы сердиться Ванда, если бы она осталась в Питере. Наивно? Глупо? А может, и не слишком.

Тем, что на земле существовала Колюшкина могила, я была обязана стальногоглазому надзирателю ЦОЛПа. Помнила его всегда. Сердцем. Хотела найти его или хотя бы узнать его адрес. Пошла в поселок: вдруг?! Спрашивала в каждом доме:

— Не помните? Был такой!.. — Описывала, какой именно.

— Как будто знаю, — ответил наконец кто-то. — Он долго здесь потом сапожничал. Уехал куда-то на Украину, что ли. А как его имя?

— Имя? Не знаю! Это не принято было знать. Старший надзиратель Сергеев!

Пошла к месту, где когда-то располагался ЦОЛП. Вышек не было. Заборы свалены. Лишь пустующая вахта обозначала границы бывшего квадрата зоны. Рядом с полуразвалившимися почерневшими бараками, наполовину ушедшими в землю, были построены новые коттеджи. Между постройками и остатками барakov бродили свиньи и квохтали куры. Похожая на бред уродливая бестолочь жизни.

Я поймала себя на немилосердном воспоминании о том, что здесь, за проволокой, когда-то находился «мозговой центр». Здесь исхаживали тропинки значительные и прекрасные люди: Александр Осипович, Кагнер, Шварц, Финк, Белоненко, Шустов, Контарович. Тот трагический материк затонул. Всплыл этот, не осознавший своего убожества, недоброты и грязи.

К Кириному дому брела через поселок.

Облокотившись о низкий забор, у ветхого дома стояла сухонькая женщина. Чем-то ее лицо показалось знакомым. Я задержалась:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Тамара! — ответила она тусклым, равнодушным тоном.

В старой женщине я узнала когда-то привлекательную кавезединку Веру Бусыгину.

— На могилу к Коле приехали? — Она спросила это так, словно видела меня не двадцать два года спустя, а неделю назад, как обычно приезжавшую на кладбище из Микуни.

И вот тут открылись все шлюзы. Я проломилась наконец к чувствам, к которым с такой тоской рвалась. Прошлое подцепило и потащило меня, начало втягивать, всасывать в себя.

Но в прошлом не оказалось добрых зеркал, не было отражений зенита чувств. Зеркала гримасничали и пугали.

Раскрутившаяся энергия, до которой я посмела дотронуться, возжелав выручить у прошлого отрадные воспоминания и успокоение,

стала бить наотмашь, требуя, чтоб я посторонилась, если хочу уцелеть. Эта энергия была, казалось, только по мне, не касаясь Веры Бусыгиной. Я упрячилась. Все еще расспрашивала старую знакомую.

— Муха? Жива, — отвечала Вера. — Ш.? Он повесился. Броня? Та отравилась. И. М.? Он в Нальчике. Хорошо устроен. Кто-кто? А-а, нет, она умерла еще десять лет назад...

Казалось, что никакое сопротивление натиску мстительных сил меня не спасет, что ни за что не вынесу их агрессивного нападения, если немедленно не сяду в поезд и не уеду отсюда.

У Киры меня ожидало семь-восемь оставшихся здесь «бывших». Среди них и добрый человек Анатолий Куценко, который все укрепил и поправил на Колюшкиной могиле.

Билетов на Ленинград не было. Но Север гнал от себя. Я попросила взять плацкарту на Москву.

Колюшки на Севере — «не было».

Он снился мне редко. Раз пять-семь за все годы. В последний раз пришел очень подавленный и внятно, размеренно сказал: «Теперь я должен уйти навсегда!» И я во сне поняла, что он действительно уходит лишь сейчас, и теперь действительно навсегда. Я только не знала, куда, хотя понимала, что это — неотменимо и что за пределами смерти все движется, изменяется тоже по еще более строгому и неумолимому закону.

Многим из нас не однажды задавали вопрос: «Как вы смогли все это пережить?» Хелла как-то исчерпывающе на это ответила: «А кто вам сказал, что мы это пе-ре-жи-ли?» И все же: как? Жили на земле в тоске по земному, стремясь к недостижимому — божественному. Пытались, пробовали додумать до конца все, что хлебнули, хотя самим так нелегко уяснить свой опыт.

Эта исповедь только попытка понять и ответить на этот же вопрос: «Как смогли?»

В одном из писем Александр Осипович коснулся в этом плане чего-то чрезвычайно важного. И дело не в том, что письмо адресовано мне, а в том, что вообще может быть сказано одним человеком другому:

«...Я никогда не боялся тебя потерять, потому что в нашей совместности я всегда чувствовал особый мир. Ну что значит любое биографическое явление, любое биографическое событие, пусть даже совсем значительное, довлеющее, неоспоримой глубины и красоты, безгранично волнующее и длящееся, когда ему противопоставляется... человеческая и творческая несоизмеримость наша, и только наша с тобой, Тамарочка. В этой неразрывности всегдашняя победа, простор, свет, освобожденность, единственность друг для друга наперекор любой биографии, которая не подчиняет ни тебя, ни меня, как бы значительна она ни была...»

Александр Осипович посмел сформулировать едва постижимое, даже мистическое. Он называл это «надмирным пространством», «ощущением бессмертия в самой жизни».

В самом деле, опередив техническую мысль, мы, чтобы жить, выносили за сферы земного притяжения свои орбитальные комплексы боли, муки и творчества в «надмирное пространство». Оно, конечно же, у каждого — свое.

Я, в общем, изумляюсь и жестокости жизни, и мудрости, с которой она пересчитала пережитое на отрицание, проклятие и на любовь. Тому, что благодаря способности слышать и любить людей душа каким-то чудом восторжествовала над ненавистью, порожденной бесчисленными унижениями неволи.

Благодарю жизнь за все человеческое, что встретилось на пути.

Военный трибунал Ленинградского
военного округа
28 сентября 1957 г.,
№ 6864

СПРАВКА

Дело по обвинению гражданина Петкевич Владислава Юсифовича, 1890 года рождения, уроженца города Риги, арестованного 23 ноября 1937 года, пересмотрено Военным трибуналом Ленинградского военного округа 16 сентября 1957 года.

Постановление комиссии НКВД и Прокурора СССР от 20 января 1938 года в отношении Петкевич В. И. ОТМЕНЕНО, и дело производством ПРЕКРАЩЕНО ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Пр-н Петкевич В. И. РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.

Зам. председателя ВТ Ле нВО полковник юстиции
(подпись) Ананьев.

Верховный Суд
Киргизской Советской Социалистической Республики

СПРАВКА

Верховный Суд Киргизской ССР сообщает, что Постановлением Президиума Верховного Суда Киргизской ССР от 17 января 1957 года приговор судебной коллегии по уголовным делам Фрунзенского облсуда от 4 мая 1943 года и определение судебной коллегии Верховного Суда республики от 18 мая 1943 года в отношении Петкевич Тамары Владиславовны ОТМЕНЕНЫ И ДЕЛО ЗА НЕДОКАЗААННОСТЬЮ предъявленного ей ОБВИНЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНО.

Петкевич Т. В. ПОЛНОСТЬЮ РЕАБИЛИТИРОВАН.

Зам. председателя Верховного Суда Киргизской ССР
(подпись) Гутичев

Ни освобождение с его запретами на выбор местожительства, прописку и работу, ни даже полная формальная реабилитация не дали мне прямого выхода в жизнь. Свободной для меня оставалась одна дорога — театр. Его магическая сила всей своей мощью подчинила меня. Увлекало созвучие иной драматургии тому, что чувствовала и знала про жизнь, часто восхищала режиссерская трактовка пьесы, выполнение мизансцен; околдовывали и завораживали роли, характеры моих героинь, одним словом, вся сложная и прекрасная стихия театра.

Были удачные сезоны на Урале, в Чебоксарах. Пять лет проработала в кишиневском русском Драмтеатре.

В 1960 году круто изменились обстоятельства всей моей жизни, и я переехала в Ленинград.

Актерская судьба пресеклась. Не было уже молодости, не было и диплома о высшем образовании. Но слишком много людей в те прошлые годы верило в меня. Чтобы не обмануть этой веры, я уже в свои сорок лет поступила в Ленинградский театральный институт на театроведческий факультет и закончила его.

Врученный мне диплом «с отличием» прежде всего как иносказание говорит о той внутренней работе, которая исподволь происходит в обществе и сознании людей. И, понятно, он говорит не столько о моих успехах, сколько о замечательных институтских преподавателях ЛГИТМиКа и об удивительном курсе — шестом «А», на котором я училась. Это они, мои друзья-сокурсники и педагоги, пожелали возместить мне почти невозможное, повиниться за сотворенное не ими. В их лице я обрела среду, в которой и по-человечески, и профессионально свободно дышалось.

Впереди было еще немало драм, радостей, ошибок и горя, но то во многом была уже другая жизнь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Гармоничный и светлый Пушкин понимал, что мир сложен и страшен. «Пир во время чумы». «Не дай Бог сойти с ума». Пугачевщина. Жутковатый сон Татьяны, которую окружила всякая нечисть. Но могли ли гениальный поэт XIX века предположить, что Татьяна не во сне, а наяву будет много лет находиться в адском логове? Что вся Россия на несколько десятилетий попадет под власть шайки уголовников?!

Куда там XIX век! Только после солженицынского «Архипелага Гулага» мир по-настоящему увидел, что такое советская действительность.

Любая эпоха запечатлевается в искусстве и в документах официальных и неофициальных. Что останется потомкам из советских лет? Правдивого искусства было чрезвычайно мало: нужно было обладать незаурядным мужеством, чтобы пытаться честно описывать тогдашнюю жизнь. Тем большая честь и хвала писавшим письма, дневники, воспоминания. Ведь так важно, пока еще хранит память воспоминания, оставить потомкам материал о нашей жизни — часто уникальный — и иметь мужество хранить этот материал без всякой надежды на его скорую публикацию.

Сейчас, в пору издания такого рода мемуарной литературы, составляется изрядное собрание тюремных и лагерных воспоминаний.

Теперь в него включается еще один том, плод многолетнего упорного труда Т. В. Петкевич. Он не оттеснит, но и не уступит книгам В. Шаламова, Н. Заболоцкого, Е. Гинзбург, Н. Гаген-Торн. Без всякого преувеличения можно утверждать, что он займет выдающееся место в этом ряду. Прежде всего — по охвату жизненного материала.

Воспоминания Т. В. Петкевич — воистину роман, неторопливое скрупулезное повествование почти о целой жизни женщины советской эпохи, с обилием действующих лиц и событий, художественно, поэтически изображенных, с подробным освещением душевных переживаний и трудного духовного роста автора. обстоятельно показано становление и воспитание человека: начинается «роман» с детства и юности, а кончается изложением послелагерных событий и судеб. Конечно, «роман» надо понимать условно, в кавычках, ибо все события здесь — подлинные, географические названия, даты, имена и фамилии персонажей — подлинные (изменены лишь некоторые имена).

Громадный жизненный материал, подробный и обнаженно бескомпромиссный рассказ о самых различных людях и самых различных чертах и свойствах автора убедительно доказывают его крайнюю искренность. Нельзя не верить такому автору. Тамара Владимировна в самом деле чистый, честный, добрый, умный, поэтический, тонкий

человек... Да еще и талантливый: и как собеседник и друг, и как ставшая профессионалом актриса, и как писатель — ведь воспоминания, помимо других достоинств, ценны мастерством характеристик и очерков (психологических, бытовых, пейзажных), живым, образным, прозрачным стилем. И все эти достоинства читатель извлекает из самой книги, а не из каких-то побочных сведений об авторе.

Сколько же было у юной Тамары причин для нравственного надрыва, слома, падения! Когда читаешь книгу, то чем дальше, тем больше охватывает оторопь: Господи, сколько же может навалиться горя и мрака на одного человека! Аресты и смерти близких и дорогих. Измена и предательство людей, которым верилось. Животный эгоизм и страсти подонков. Голод и болезни. Адские муки заключенного, да еще молодой красивой женщины. И наконец самое страшное, чему трудно подобрать слова, от чего душа цепенеет в ужасе, — отнятие единственного сына, отнятие навсегда, неоправдимо, невозвратно... Вообще одно из самых жутких преступлений сталинского режима — разлука арестованных родителей с детьми, оставшимися на «воле», разлука с малышами, с грудными — этому нет прощенья, нет забвения.

И все-таки были люди, сумевшие сохранить человеческую душу, человеческую сердцевину да еще находившие силы помогать другим: солидарность, взаимовыручка помогали противостоять Злу, чуть ли не вселенскому. В этом есть что-то религиозное, даже мистическое: значит, внутри некоторых людей — пусть их малое меньшинство! — находится такое ядро, чья оболочка оказывается крепче адского беспредела и насилия. Т. В. Петкевич опытом нечеловеческих страданий и — в противовес — выдержкой и открытостью заслужила право принадлежать к таким людям.

Тема театра в книге занимает особенно большое место. Это и отдушина, и очищение души, и нравственная опора, и наконец выбор будущей профессии. И знакомство с замечательными людьми: с выдающимся режиссером А. О. Гавронским, ставшим Учителем Тамары, не только театральным, но и жизненным; с великой грузинской актрисой Тамарой Цулукидзе, О. П. Тарасовой, А. А. Берзинь и другими.

Одна из главных ценностей книги — подробное изображение людей альтруистичных, светлых. Они воочию здесь зримы, на них держится жизнь, ее движение, они внушают веру в человечество, они рождают надежду на просвет в конце нашего туманного тоннеля. Они реабилитируют не только себя лично, но и великое сословие интеллигенции. Да будут нетрагичными оставшиеся годы тех, кто выжил. Да будет вечной память об ушедших светлых людях. Ибо если мы верим в человечество, значит, мы верим в ход жизни, в историю. А если есть история, есть и память.

Б. Ф. ЕГОРОВ,

*доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского отделения
Института истории.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
Глава I	6
Глава II	39
Глава III	83
Глава IV	112
Глава V	159
Глава VI	201
Глава VII	259
Глава VIII	293
Глава IX	332
Глава X	354
Глава XI	385
Глава XII	414
Глава XIII	459
Вместо эпилога	470
Послесловие	500

ПЕТКЕВИЧ

Тамара Владимировна

ЖИЗНЬ — САПОЖОК НЕПАРНЫЙ

Технический редактор *Н. Н. Дмитриева*
Корректоры *И. В. Левтонова, З. Б. Бунис*

Подписано к печати 19.04.93 г.
Формат 60x90 1/16. Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Зак. 564. Тираж 15000. Цена договорная.

Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ

Петкевич Т. В.

П29 Жизнь — сапожок непарный.—СПб.: Астра-Люкс, 1993.

503 с., ил.

ISBN 5-8227-0029-2

Книга повествует о судьбе семнадцатилетней девушки, семья которой попала в историческую катастрофу 1937 года. Разрушение и гибель семьи, заключение юной Тамары в лагерь, беспредел, мрак и унижение воскрешают трагические страницы проклятых сталинских времен.

Многие страницы посвящены рассказу о том, как реальность неволи вместила в себя и встречи с интереснейшими людьми, как в молодой девушке открылось яркое актерское дарование, и о том, как сложилась ее личная жизнь.

Книга читается с захватывающим интересом благодаря незаурядному литературному дарованию ее автора.

63.3

